"Падение царского режима"
-5-
М.-Л., 1926.

ПАДЕНИЕ ЦАРСКОГО РЕЖИМА

ПО МАТЕРИАЛАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1926

ПАДЕНИЕ ЦАРСКОГО РЕЖИМА

СТЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ
допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства

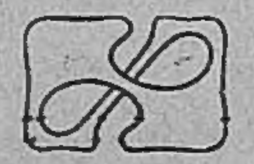
РЕДАКЦИЯ

П. Е. ЩЕГОЛЕВА

Т. V

ДОПРОСЫ И ПОКАЗАНИЯ:

Г. Е. Рейна, графа Фредерикса, И. М. Золотарева, В. Ф. Джу́нковского, Б. В. Штюрмера, Н. А. Маклакова, С. Е. Виссарионова, А. Д. Протопопова, С. П. Белецкого, М. В. Челнокова, ген. Н. И. Иванова, Н. Н. Покровского, Ф. А. Головина, С. Е. Крыжановского, А. А. Хвостова.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД



Гиз № 6661,а.
Ленинградский Гублит № 2437.
30 л. Отпеч. 10.000 экз.

К ПЯТОМУ ТОМУ.

В настоящем томе, кроме повторных допросов, читатель найдет и первые допросы персонажей, ему неизвестных по предыдущим томам. Одни из них допрашивались по линии обвиняемых, другие по линии свидетельской. Особое внимание привлекают две фигуры: граф Фредерикс, являющийся наиболее крупной фигурой среди столпов режима — министр двора, одно из самых близких лиц к царю, и С. Е. Крыжановский, государственный секретарь, игравший крупнейшую роль при отражении атак на самодержавие. Показания Фредерикса разочаруют читателя, ожидающего от них чего-либо значительного. Они поражают крайней невразумительностью, чтобы не сказать более; сам Фредерикс на допросах производит впечатление выжившего из ума человека, и приходится разводить руками и удивляться, как такой яркий образчик государственных бездарностей мог занимать какое-либо место на государственной лестнице и в какой-либо мере задерживать свой скудный ум на вопросах государственных, а он все-таки задерживал, был министром и объединял родственными и иными связями довольно большую группу придворной камарильи. Полная противоположность ему С. Е. К... крепкий,
карьеру
ратился
бюро-
ический
ельства.
казывал
я, ужи-
после-
мента-
своих

и двух
олота-
нистра
ростова,
альной

К ПЯТОМУ ТОМУ.

В настоящем томе, кроме повторных допросов, читатель найдет и первые допросы персонажей, ему неизвестных по предыдущим томам. Одни из них допрашивались по линии обвиняемых, другие по линии свидетельской. Особое внимание привлекают две фигуры: граф Фредерикс, являющийся наиболее крупной фигурой среди столпов режима — министр двора, одно из самых близких лиц к царю, и С. Е. Крыжановский, государственный секретарь, игравший крупнейшую роль при отражении атак на самодержавие. Показания Фредерикса разочаруют читателя, ожидающего от них чего-либо значительного. Они поражают крайней невразумительностью, чтобы не сказать более; сам Фредерикс на допросах производит впечатление выжившего из ума человека, и приходится разводить руками и удивляться, как такой яркий образчик государственных бездарностей мог занимать какое-либо место на государственной лестнице и в какой-либо мере задерживать свой скудный ум на вопросах государственных, а он все-таки задерживал, был министром и объединял родственными и иными связями довольно большую группу придворной камарильи. Полная противоположность ему С. Е. Крыжановский: крепкий, упрямый, с упорной волей, образованный юрист, он сделал карьеру собственным горбом; из либеральных студентов он превратился в настойчивого черносотенца и стал одним из виднейших бюрократов. У него была специальность — подводить теоретический фундамент под все попытки ниспровержения представительства. С усилием и рвением, достойным лучшей участи, он доказывал теоретическую допустимость неограниченного самодержавия, уживающегося с представительством, и практически разрушал последовательно, шаг за шагом, скудные ростки нашего парламентаризма, о чем с известной долей цинизма рассказывает он в своих ответах.

В одну категорию с Крыжановским нужно занести и двух видных слуг самодержавия, образованных юристов: И. М. Золотарева, запечатлевшего себя по службе на посту товарища министра внутренних дел, заведывающего полицией, и А. А. Хвостова, министра юстиции и внутренних дел. Последнего в либеральной

буржуазной прессе противопоставляли его беспардонному племяннику и распутинцу «Алешке» Хвостову и прославляли якобы за личные качества: на самом деле и он был сделан из того же теста, так же делал карьеру и умирал от преизбытка чувств благоговения к священной особе монарха. Правда, он был приличнее других своих сверстников: в нем было столь много характерных для деятелей конца режима черт: заносчивости, наглости и безудержности. И. М. Золотарев хотел бы, быть-может, походить на А. А. Хвостова: на допросе он прямо и выставлял себя непоколебимым хранителем законности, а на самом деле этот юрист совершил ряд преступлений мелкого и крупного калибра, с точки зрения столь яростно защищаемого им закона.

Особо следует поставить В. Ф. Джунковского и Н. Н. Покровского. В. Ф. Джунковский, призванный оздоровить гиблые недра департамента полиции, пытался кое-что сделать на этом пути и даже потребовал оздоровить атмосферу, в которой жил обожаемый монарх, изобразив в натуральном виде все сногсшибательные похождения великого старца Григория. Царь не любил, когда ему докладывали правду в глаза, и Джунковский вылетел с своего места. Н. Н. Покровский, специалист-финансист, трудолюбием достигший высших постов в финансовом ведомстве и затем подневольный министр... иностранных дел, является представителем немногочисленной группы бюрократов, которые «про себя» чувствовали неизбежность падения самодержавия, но в то же время они были, конечно, осторожны, чересчур осторожны. Его показания чрезвычайно содержательны.

Нельзя отказать в порядочной доле комизма двум «чудакам» царского режима — профессору Г. Е. Рейну, который прославился тем, что сам себе, не взирая на нежелание «представителей народа», устроил министерство, и генералу Н. И. Иванову, который внес свое имя в историю «блестящей обороной» самодержавия от революции в 1917 году: во главе георгиевских кавалеров он собрался в поход на революцию и сдался, даже не вступив в бой.

Свидетелями, представителями общественности, выступают в этом томе видные кадетские вожди: председатель 2-й Государственной Думы Ф. А. Головин и московский городской голова М. В. Челноков.

П. Щеголев.

XLIV.

ДОПРОС Г. Е. РЕЙНА.

29 мая 1917 года.

Содержание: Звание и положение Рейна. Учреждение главного управления государственного здравоохранения. Законопроект. Внесение его в Совет министров. Отношение нового ведомства к земским и городским организациям. Центральный совет. Резолюция бывш. императора. Мысль об ускорении возникновения ведомства в связи с возможностью развития эпидемии. Цель заменить общественные центры правительственными. Резюме работ комиссии. Основания для проведения законопроекта вне общего порядка. Несочувствие к проекту. Доклад бывш. царю и резолюция. А. Н. Хвостов. Принц Ольденбургский. Штюрмер. Применение противозаконной контр-ассигнатуры. Издание закона. «Воля» царя. Предположенные штаты. Доклад думской комиссии о народном здравии. «Мера, вызванная чрезвычайными обстоятельствами». Отрицательное отношение законодательных палат к 87-й статье. Взятие Рейном обратно законопроекта. Изменения в законопроекте и вторичное внесение его в Государственную Думу. Отклонение Думой законов, проведенных по 87-й статье. Закон уничтожен, но правительство может снова его внести.

Председатель. — Вы лейб-хирург, академик Рейн. Ваше имя, отчество?

Рейн. — Георгий Ермолаевич.

Председатель. — Георгий Ермолаевич, мы послали вам повестку, приглашая вас в наше заседание на основании положения о нашей Комиссии, которая дает нам право, в порядке расследования действий высших должностных лиц, между прочим, требовать от них объяснений по тем действиям, о которых Чрезвычайная Следственная Комиссия осведомлена и которые, с ее точки зрения, недостаточно выяснены. Так что, в данном случае, вы допрашиваетесь не в качестве обвиняемого и не в качестве свидетеля, но от вас требуются разъяснения по некоторым вопросам, которые я позволю себе вам задать. Вы состояли членом государственного совета?

Рейн. — Так точно.

Председатель. — По назначению?

Рейн. — Так точно. С марта 1915 года.

Председатель. — Но еще до того вы были председателем комиссии, которая называлась междуведомственной комиссией для пересмотра врачебно-санитарного законодательства?

Рейн. — Так точно.

Председатель. — И которая была учреждена 17 марта 1912 года?

Рейн. — Так точно.

Председатель. — И по должности председателя этой комиссии, вы имели право доклада высочайшего?

Рейн. — Так точно.

Председатель. — В пределах круга ведения этой комиссии, может быть, вы в нескольких словах восстановите пред нами историю вашего отношения к учреждению особого главного управления государственного здравоохранения?

Рейн. — Слушаю-с. Как, подробно прикажете?

Председатель. — Нет, вкратце; по документам она нам более или менее известна. Так что на документы будьте добры не ссылаться. А ваш рассказ будет наиболее целесообразен, если вы комментариями устными дополните то, что мы уже имеем.

Рейн. — Слушаю-с.

Председатель. — Так вот, благоволите начать.

Рейн. — Первым поводом к образованию этой комиссии послужило у меня мое назначение председателем медицинского совета, когда я. . .

Председатель. — Которое последовало?

Рейн. — В 1908 году. Когда я обратил внимание на состояние врачебно-санитарного законодательства и на правительственную врачебно-санитарную организацию, в качестве председателя этого высшего учреждения по медицинской части в империи, я увидел, что там прямо какой-то хаос. Законодательство страшно устарело. Некоторые статьи держатся чуть ли не с екатерининских времен. И те последние мелкие изменения, которые были сделаны, не внесли никакой систематичности. Затем, рядом, я встретился с громадной смертностью населения Российской империи, которая, как всем известно, теперь вдвое почти превышает смертность других стран. И в это самое время у нас в России, как и везде заграницей, появилась холера. Холера появилась в 1907 году. А в 1908, в первый раз, когда я вступил в исполнение обязанностей председателя медицинского совета, она уже проникла в столицу империи — в Петроград, и были такие грозные дни, когда в Петрограде заболевало холерой до 400 человек в день. Это послужило большим толчком, и я счел своим долгом с возможно большею энергией взяться за это дело, за врачебно-санитарную организацию и за врачебно-санитарное управление. Тем более, что в то время я уже окончил свои профессорские занятия: 35 лет освобождали меня от занятий по профес-

суре и я предался этому делу. Чем больше я его расследовал, чем больше я сталкивался, по делам медицинского совета, с этим вопросом, тем более я приходил к убеждению, что только самые радикальные, всесторонние реформы могут довести это дело до положения, от которого оно отстало почти на пятьдесят лет. И понемногу сложилась у меня мысль о полном преобразовании врачебно-санитарной части. Причем, по мнению бывшего министра Столыпина, выяснялось, и я с ним вполне согласился, что задачу эту следовало разделить на две части. Одно преобразование управления ничего не дало бы, если бы вместе с тем не был предпринят пересмотр всего врачебно-санитарного законодательства, ибо без твердого определения в законах что могло оно сделать и на каких основаниях, и на какие средства, при каком участии местных элементов, при каком участии правительства, и пр. и пр.? Тогда явилась мысль образовать специальную комиссию для пересмотра. Комиссий этих уже было, я не знаю сколько, начиная с С. П. Боткина. Но, все-таки, потребовалось, по мнению Столыпина, образовать еще последнюю комиссию с целью свести воедино все труды предшествующих. И тогда, в 1911 году, была образована комиссия под председательством сен. Крыжановского, бывшего тогда товарищем министра внутренних дел. Эта комиссия определила главные основания как санитарного законодательства, так и управления. Но в отношении центрального органа члены комиссии не пришли к одинаким результатам. Одни говорили, что это должно остаться в ведении министерства внутренних дел, другие — что оно должно вылиться в особое ведомство здравоохранения. В это время, и еще немного раньше, я был командирован на юг России, где была холера, перекинувшаяся с севера и особенно свирепствовавшая в области Донецкого угольного бассейна, где дело доходило до серьезных положений. Это еще более заставило нас, и во главе нашей Столыпина, заняться энергичнее этим делом. Затем, смерть Столыпина остановила его на некоторое время. А следующий министр, Макаров, нашел необходимыми, согласно моему докладу, образовать еще одну большую комиссию с участием общественных элементов, и здесь нужно было выработать не только основания, но и пересмотреть все законодательство. Комиссия эта, как изволите заметить, была собрана.

Председатель. — Это комиссия 17 марта 1912 года. И председателем ее сразу же стали вы?

Рейн. — Так точно. Комиссия очень широко повела дело. Она разделилась на пять подкомиссий: санитарную, врачебную, потом, по образованию врачей, затем, судебно-медицинскую и затем, организационную.

Председатель. — Но это частность.

Рейн. — Это широко все было охвачено. Вот почему я и говорю, что когда выяснилось, при какой широкой постановке вопроса и какая громадная работа предстояла государству в этом направлении, тогда все это поневоле вылилось у членов комиссии в учреждение главного управления государственного здравоохранения. Это было принято очень большим количеством голосов.

Председатель. — Это когда же было принято?

Рейн. — Это на второй или на третий год работ комиссии. Значит, я думаю, во вторую или третью сессию 1914 года.

Председатель. — Сессию чего?

Рейн. — Комиссия так работала: она собиралась сессиями. А в промежутках работали подкомиссии, и затем, уже в полном собрании сессии, обсуждались заготовленные материалы, которые были отпечатаны и всюду разосланы. Так что, стало быть, это было в третью сессию.

Председатель. — Значит, «сессия», этот термин законодательных учреждений, был в положении об этой комиссии, или это уже просто в порядке внутреннего устройства было дано?

Рейн. — Это не имело значения законодательного. Вернее сказать, полное собрание комиссии, съезд комиссии, ибо многие члены комиссии сидели на местах, в провинции, и специально для этого съезжались.

Председатель. — Скажите пожалуйста, мысль о необходимости особого ведомства здравоохранения, когда она пришла — в конце занятий комиссии, к весне 1914 года, или же она возникла раньше, в начале занятий, в 1912, в начале 1913 года?

Рейн. — У некоторых членов может быть и была раньше. В частности и у меня, я этого не отрицаю. Собственно такой порядок был: в первую сессию мы рассматривали губернские управления. Во вторую — уездные. А в третью — уже центральное.

Председатель. — На сессиях этой комиссии вы председательствовали?

Рейн. — Так точно. А в отдельных подкомиссиях были особые председатели.

Председатель. — Многочисленная была сессия, пленум комиссии?

Рейн. — Пленум по различным вопросам доходил до ста человек. Затем выработанный комиссией законопроект представлен был в совет министров. Это было за несколько дней до начала войны, в 1914 году, я думаю, в июле. Этот законопроект в совете министров находился года полтора. Если не ошибаюсь, он закончен в октябре 1916 года.

Председатель. — Вы изволили сказать — находился. Но он не был в спокойном состоянии. Он имел некоторое движение, и может быть вы будете добры вкратце сказать, каково было это

движение. Не припомните ли, когда в первый раз внесен был в заседание совета министров ваш законопроект?

Рейн. — Слушаю-с. Нужно вам сказать, что я вчера только приехал из Киева и точно данных не мог собрать. Но это дело так занимало все мое существо, что, я думаю, я больших ошибок не сделаю. Если же какие ошибки в датах сделаю, покорнейше прошу меня простить. Я думаю, что это было в сентябре 1914 года.

Председатель. — 1914 года, 20 сентября.

Рейн. — Так точно. Это было общее собрание совета министров, большого совета, на котором в принципе был рассмотрен вопрос: образовать ли особое ведомство или оставить его в составе медицинской части министерства внутренних дел? Были большие споры, большие дебаты. Почти пополам разделился совет министров, и голосом председателя, кажется, составилось большинство. А затем, государю императору благоугодно было согласиться с мнением большинства, и тогда было. . .

Председатель. — Т.-е., с мнением председателя совета министров и пяти членов?

Рейн. — Да, значит: шесть и шесть, но голос председателя. Засим было приступлено уже к постатейному рассмотрению.

Председатель. — Скажите, а как в вашем представлении должно было относиться это ведомство, во-первых: к земским и городским установлениям, в тех частях, в которых они ведают медицинское дело, и во-вторых: к ряду учреждений, которые стали возникать с первых моментов войны, вызванные к жизни своими же городским и земским союзами?

Рейн. — В основу учреждения главного управления, а также и других, которые ведала комиссия, положено было, как и прежде, возложить исполнительную часть на земства и города. Но в старом законе сказано, что земства и города принимают участие во врачебно-санитарных мероприятиях, а в новом законе это было выражено словом «обязанность». И это, со стороны земцев, не встретило никаких возражений ни в комиссии, ни еще раньше, когда в Думу было представлено несколько санитарных законопроектов, таких, как обеспечение чистоты воздуха, воды и почвы, стало быть, водопроводов и канализации. И там было это выражение «обязанность» упомянуто, и со стороны земцев оно не встретило возражений.

Председатель. — Это несколько побочный вопрос — встретило оно или нет протест со стороны земской среды. Но мне интересно, что фактически должно было изменить в отношении земства и городов создание этого ведомства по медицинской части. Вы изволили сказать, что исполнительную часть предполагалось возложить на земства и города.

Рейн. — Осуществление.

Председатель. — Стало быть, всю самостоятельность в этом деле, инициативу и направление деятельности, хотя бы в общих чертах, должно было взять на себя новое ведомство?

Рейн. — Нет, это не совсем так. Новое ведомство проектировалось таким образом, чтобы в центральном органе учреждался новый совет, так называемый центральный совет, с большим участием земцев: по выборам, от каждого земства. Это в первый раз еще осуществлялось в такой форме, в форме постройки такого центрального совета. Как известно, при министерстве внутренних дел такой совет по делам местного хозяйства существует. У нас проектировалось самое широкое участие от каждого земства и от тех городов, которые имеют самостоятельные выборы в Государственную Думу, путем выбора одного из членов. Таким образом, предполагалось, что здесь общественные элементы могли выставлять свое представление и свою инициативу в тех или других новых законах, а отчасти также и в распределении средств. Затем, в губерниях — губернские советы, где они тоже приблизительно составлялись наполовину из правительственных элементов, а наполовину из общественных.

Председатель. — А в центре?

Рейн. — А в центре — главный санитарный совет. Тоже почти половина, если не больше, земцев.

Председатель. — Нет, как «если не больше»? Очевидно, определялось положением.

Рейн. — Такая конструкция применялась.

Председатель. — А председатель?

Рейн.—А председатель—главноуправляющий государственным здравоохранением. Затем в губерниях — губернские советы с участием представителей всех ведомств и общественных элементов.

Председатель. — Я понимаю таким образом, что дело, которое ведали исключительно земства и города, т.-е. общественные учреждения, это дело в главной его части направления и руководства, под титлом необходимости объединения, переходило в смешанные коллегии правительственные и общественные?

Рейн. — Да.

Председатель. — Вернемся к историческому изложению. Значит, бывший император, 9 ноября 1914 года, положил резолюцию, благоприятную для проекта.

Рейн. — Да.

Председатель. — Благоволите вкратце изложить эту историю.

Рейн. — Затем вы изволили спросить, какое отношение было к союзам — земскому и городскому. Это в проект не вошло. Как я уже имел честь доложить, это было у нас за несколько дней до войны представлено. Но в виду того, что союз есть соединение тех же земских и городских установлений, само собой разумелось, что отношение правительства было бы приблизительно такое же,

но это в закон не вошло. Затем, как вы знаете, во время войны большие перемены произошли во врачебно-санитарной части. Было учреждено новое правительственное учреждение — управление верховного начальника санитарно-эвакуационной части, которое, по мнению некоторых, даже и членов совета министров, исключало необходимость учреждения главного управления государственного здравоохранения. Я этой точки зрения не разделял на том основании, что то учреждение временное и, собственно говоря, в основу его деятельности не положено какого-нибудь определенного закона, а это есть положение, состоящее из 10 — 12 параграфов, которые даже не прошли через какое-нибудь компетентное учреждение. И мне казалось, что это не исключает того, чтобы дело упорядочения врачебно-санитарной части на основании закона не шло своим чередом.

Председатель. — Но, как бы то ни было, в стадии своего осуществления, этот законопроект попал в полосу войны. В полосе войны возникло очень крупное учреждение в виде учреждений союзов городского и земского; это с одной стороны, а с другой стороны, — в силу высочайшего повеления от сентября 1914 года возникло, значит, ведомство начальника врачебно-санитарной эвакуационной части. Как же этот законопроект, который проходил под флагом объединения, как же он мог не отразить в себе отношения и к этим городским и земским учреждениям, и к учреждению принца Ольденбургского? Какое же тут могло быть объединение?

Рейн. — Но ведь никто не знал, когда кончится война. Там, в положении о верховном начальнике, сказано категорически, что учреждается на время войны. Представьте себе, что в октябре кончилось бы рассмотрение в совете министров, в ноябре было бы утверждено государем, и к этому сроку кончилась бы война. Тогда бы и врачебно-санитарная часть оказалась на месте. Старое управление врачебной инспекции абсолютно не удовлетворяло требованиям. Это делалось независимо, закон разрабатывался независимо от войны и проходил свои стадии.

Иванов. — Вы полагали, что союз мог закрыться?

Рейн. — Может быть, союзы могли закрыться. Словом, разрабатывались мероприятия тщательно, с тем, чтобы в каждый данный момент можно было пустить в ход это новое учреждение и быть наготове.

Председатель. — Значит, создавалось ведомство. Но вопрос, как это ведомство объединит существующие учреждения, не был поставлен?

Рейн. — Нет, это временно.

Председатель. — Значит, это учреждение трактовалось, как временное, и потому создатели проекта не находили нужным заранее определять отношение проекта к этим учреждениям?

Рейн. — И в совете министров никто этого не поднимал.

Председатель. — Благоволите изложить дальше историю.

Рейн. — Затем война затянулась, и по мере того, как она затягивалась, все более и более грозной становилась перспектива этого врачебно-санитарного устройства. Было принято во внимание, по истории всех предшествующих войн, что редко война, при самом сплоченном действии со стороны армии, оканчивается благоприятно в смысле развития болезней заразных, эпидемий и пр. Тогда у меня и у нескольких членов комиссии явилась мысль ускорить возникновение этого ведомства в жизни главного управления государственного здравоохранения, тем более, что на самое осуществление требовалось известное время. Затем возник вопрос о демобилизации: куда вернутся все эти учреждения, которые были во время войны в громадном масштабе организованы как земствами, так и городами, так отчасти, и управлением верховного начальника санитарно-эвакуационной части — все эти заводы, больницы, госпитали, санитарные лаборатории, дезинфекции и т. д. Затем уже возник вопрос об учреждении институтов физико-терапевтических с целью возвратить трудоспособность всем этим инвалидам. И тут явилась идея — ускорить осуществление этого санитарного управления.

Председатель. — Но почему же эта идея ускорить явилась в связи с существованием громадного количества учреждений, которые были созданы союзами земств и городов? Те центральные учреждения, которые создали все эти многочисленные ячейки, они, быть может, сумели бы и ликвидировать их в случае окончания войны?

Рейн. — Конечно, но все-таки требовалось, в интересах государства, чтобы это было сделано по общему какому-нибудь плану, который был бы выработан совместно правительством и земством. Например, такая история. Расположены различные приспособления, госпитали, дезинфекционные камеры больше в центре России. Между тем, в санитарном отношении самые обездоленные части России — это окраины и не земские губернии, а сибирские и т. д. При демобилизации, по соглашению с земством, по общему плану, эти приспособления можно было распространить на всю Россию. Такова была идея.

Председатель. — Она имела бы бесспорное отношение, если бы у земских и городских учреждений не было своих центров. Но ведь эти центры были, значит, дело шло не о том, чтобы создать центр, где его не было, а о том, чтобы центры общественные заменить центрами правительственными?

Рейн. — Нет, не совсем так. Я так понимал, может быть, я и ошибаюсь, но в моем уме это так слагалось, чтобы сообща, в одном главном санитарном совете, в губернских советах, выработать такую программу, чтобы этот миллиард (около миллиарда

было затрачено на врачебно-санитарные приспособления) был распределен так, чтобы все на него было приобретено сообразно потребности каждой данной ячейки, независимо от того, в центре она расположена или нет. Один раз я даже беседовал с кн. Львовым в Москве (надеюсь, он не забыл этого), и в общем с правильностью самой идеи он совершенно согласился.

Иванов. — Вам было известно, что все эти задачи, физико-терапевтические институты и лаборатории были предметом ведомства союза городов и земств, и у них был центральный съезд, который мог распространять свою деятельность на всю Россию? Все это было поставлено на определенных планомерных началах. Вы это знали? Почему же вы думали, что эти организации выполнить и удовлетворить потребности в той или другой местности не могут? Все эти планы были выработаны, все было установлено, потребности приняты были во внимание. Почему вы предполагали, что только в руках правительственного органа это могло быть проведено?

Рейн. — Во-первых, потому, что эти приспособления, эти затраты были сделаны не только земским и городским союзами, но еще рядом других учреждений. Возьмите Татьянинский комитет, возьмите Красный Крест, верховный совет под председательством императрицы, затем юго-западный фронт, частные различные учреждения — целая масса организаций. Конечно, в целях общегосударственных было бы желательно, по взаимному соглашению, выработать план для распределения всего этого по всей России.

Иванов. — Не только выработать, но и осуществить.

Рейн. — Вы изволили сказать, что план составлен; насколько мне известно, он еще не составлен и не может быть составлен, потому что конечные итоги не подведены, но работа подготовительная должна была начаться, и конечно, предполагалось, что это будет работа сообща, наподобие того, как министерство земледелия в последние годы работало.

Иванов. — Т.-е., союз был бы сохранен?

Рейн. — Конечно, но это не вошло в план потому, что все это останавливалось, а идея была такова. Были даже такие взгляды, например, в Красном Кресте, чтобы построить сараи и большие склады, туда все свезти и там сохранять. Разумеется, это было бы гибелью для дела. Напротив, я должен был доложить, что в числе законопроектов, которые выработала комиссия, есть незаконченный, — об общегосударственной врачебной помощи. Этот законопроект построен по типу общедоступного обучения, и он распространяется не только на земские губернии, но и на всю Россию. Я не знаю, имеет ли Комиссия эти документы. Я с собой захватил вот это резюме работ комиссии, которое мы, может быть, немножко смело назвали «Уставом здравоохранения и учреждений, ведающих врачебно-санитарным делом».

Председатель. — Вот, например, вопрос о всеобщей врачебной помощи. Это ведь вопрос, который очень интересовал земство и который, насколько я знаю, и как это вообще известно, весьма многими земствами очень благополучно разрешался. Зачем же центру было входить в это дело? Зачем нужна такая всепоглощающая централизация? Такое стремление к всеобъемлемости медицинско-санитарного дела? Вызывается ли это обстоятельствами?

Рейн. — Я считаю, что этого именно не было. Если вы посмотрите эти главные законы или проекты законов, то вы усмотрите, что именно не было такого преобладания центра, что именно предполагалась совместная работа центра с общественными установлениями. Во всех законах это проходит красной нитью.

Председатель. — Вы позволите нам взять это на некоторое время?

Рейн. — С удовольствием. Я уже разослал многим общественным деятелям в Москву, в земский союз. Это было напечатано нынешней осенью, это труд еще не законченный, потому что вы сами понимаете, как юрист, что это громадное дело — пересмотреть все врачебно-санитарное законодательство.

Председатель. — Позвольте вернуть вашу мысль к изложению формальной стороны вопроса, которая нас, главным образом, интересует. Дальнейший этап проведения этого законопроекта — это 10-го октября 1915 года. Вы изволите помнить эту дату? Эта дата — представления вами бывшему императору отчета о трудах вашей комиссии.

Рейн. — Это было в октябре. Я только числа сейчас не помню. Когда эта мысль возникла, мне пришло в голову, что желательно ускорить осуществление этой реорганизации врачебно-санитарного дела по обстоятельствам военного времени, в виду затянувшейся войны и тех соображений, о которых я имел честь вам доложить.

Председатель. — Результатом вашего доклада государю было что же?

Рейн. — Обсуждение в совете министров.

Председатель. — Вы вошли в совет министров о необходимости обсудить этот проект 28-го октября 1915 года, и, если вы припомните, 10-го ноября 1915 года совет министров рассмотрел этот вопрос. К какому выводу пришел совет министров?

Рейн. — Совет министров не согласился с моим заключением. Я думаю, что у вас есть журнал — там приведены были мои доводы и доводы господ членов совета министров. Я все-таки считал своим долгом, будучи убежден в справедливости этой идеи, настаивать, и изложил свои доводы, которые, кажется, и вошли в этот журнал.

Председатель. — Какова была отметка бывшего императора на вашем докладе 10-го октября 1915 года?

Рейн. — Кажется, такая: «Внести в совет министров».

Председатель. — Вы принимали участие в этом заседании совета министров 10-го ноября 1915 года?

Рейн. — Да.

Председатель. — В каком порядке? Вы были специально приглашены?

Рейн. — Приглашен. На основании положения своего совета, министры приглашают всех лиц, которых участие представляется полезным.

Председатель. — Тут шел вопрос, главным образом, не по существу, а с формальной стороны: нужно ли проводить ваш проект в порядке 87-й статьи?

Рейн. — Да.

Председатель. — Вы отстаивали необходимость проведения закона в этом порядке?

Рейн. — Причем мои доводы, главным образом, были те, чтобы это дело, которое, по моему глубокому убеждению, назрело вследствие затянувшейся войны, возможно скорее привести в осуществление.

Председатель. — Хотя вы и не юрист, но все-таки познакомились ли вы с текстом статьи 87-й основных законов?

Рейн. — Так точно.

Председатель. Может быть, вы знаете, что она корреспондирует со статьей 86-й, которая со времени учреждения нового строя России предоставляет права и обязанности издания законов высшим законодательным учреждениям, т.-е., значит, Государственной Думе и государственному совету. А по 86-й статье только при чрезвычайных обстоятельствах мера, которая бы требовала при нормальных обстоятельствах обсуждения в порядке законодательном, могла быть внесена в порядке 87-й статьи. Останавливались ли вы на вопросе о том, что создание целого ведомства не является той мерой, о которой говорит статья 87-я?

Рейн. — Я имел честь докладывать, что мерой я считаю не учреждение министерства или главного управления, а всю врачебно-санитарную реформу, и это только одна из составных частей; этот закон занимает в этой книге, может быть, 30-ю или 40-ю часть.

Председатель. — Если вы имели в виду некоторые санитарные меры, которые нужно провести, то почему вы не шли нормальным законным порядком? Вы стояли во главе междуведомственной комиссии, которая могла выработать известные меры, и эти меры должны были пойти своим обычным порядком.

Рейн. — Я и еще несколько членов комиссии мы считали, что если это пойдет обыкновенным порядком, это может быть осуществлено не раньше, как через 5 — 6 лет.

Председатель. — Таким образом, вам казалось, что это слишком медленно было бы вести обычным порядком; но если центр

вашего законопроекта заключался не в создании ведомства, а в проведении мероприятий, то почему вы не стали на путь проведения этих мероприятий, а стали на путь проведения в первую очередь всего ведомства, хотя бы и в исключительной форме установления верхов без низов, центра без периферии?

Рейн. — Одним из главных мотивов был тот, что по закону в Государственную Думу и в государственный совет вносят законопроекты начальники отдельных частей, т.-е. министры и главноуправляющие. Если бы это обычным порядком пошло, значит, через представление министру внутренних дел, а за время этой работы министров внутренних дел переменилось, кажется, 6; один был бы за министерство, другой — против, один говорил бы, что нужно оставить в министерстве внутренних дел, а другой — что нужно выделить, — спрашивается, если бы это попало в сферу министра, который не желал бы выделить в особое ведомство, как он стал бы проводить его через Государственную Думу? Тут бы все дело остановилось.

Председатель. — У вас были другие законные способы. Например, вы могли в порядке думской инициативы, инициативы государственного совета поставить эту меру.

Рейн. — Это можно было, и я даже должен сказать, что Государственная Дума третьего созыва уже эту инициативу обнаружила, она составила законодательное предположение, подписанное 83 членами; но так на этом и остановилось. Чтобы провести закон, нужно его выработать; чтобы выработать, нужен громадный труд и громадные силы, а в особенности такой специальный закон. Здесь, в комиссии, работали специалисты со всей России, и только с их помощью можно было создать такой закон. Почему Государственная Дума не проявила этой инициативы, я не знаю. Почему она ограничилась только тем, что действительно очень энергично написала это законодательное предположение? Там, кажется, есть даже такое выражение, что ни одной минуты мы не должны ждать, и это дело, такое важное для народа, не должны откладывать в долгий ящик; но тем не менее, его отложили.

Председатель. — Но вы знаете, если лицо, заинтересованное и убежденное в справедливости и желательности меры, которую оно наметило, если оно для создания этой меры начинает создавать ведомство и создавать его вне обычного порядка, — это все-таки вносит расстройство в ход государственного организма.

Рейн. — Я согласен, что, может быть, в мирное время этого бы не было, но война вносит в этот вопрос столько неотложного, что мне, врачу, работающему 42 года, который видел это дело и в создании его участвовал, в качестве председателя медицинского совета, мне прямо преступным бы это казалось, если бы я не принял все законные меры для его проведения. Вы изволите намекать, что это было все незаконно. С этим я не могу согласиться. Если

вы прочтете текст 87-й статьи, вы увидите, что это вполне законно. Если правительство убеждено, что данная мера неотложна, что данная мера полезна, то, судя по смыслу 87-й статьи, это предоставляется компетенции самого правительства, и затем Государственная Дума не лишается своего права, и мера не должна итти мимо.

Председатель. — Если вы изволите припомнить, правительство именно и было убеждено в том, что никакие чрезвычайные обстоятельства этой меры не предписывают, вы же убеждены были в обратном и шли против постановления и против мнения совета министров. Так что, аргументируя, нельзя ссылаться на то, что по мнению правительства чрезвычайные обстоятельства вызывали эту меру, не говоря уже о том, какого рода была эта мера и подходила ли она под понятие мер, имевшихся в виду 87-й статьей. Ведь правительство было обратного мнения, а вы находили, что чрезвычайные обстоятельства требуют проведения этой меры. Именно вы, а не правительство эту меру в чрезвычайном порядке проводили.

Рейн. — Что называть правительством?

Председатель. — То, что называет закон, и то, что все называют, и в первую очередь совет министров.

Рейн. — Совет министров и государь.

Председатель. — Именно «и», а не «или».

Ольденбург. — На чем основывается этот расчет: пять или шесть лет, которые по вашему мнению требуются для проведения законопроектов через законодательные учреждения?

Рейн. — Позвольте доложить. Расчет такой, что в 1917 году истекал срок полномочий Государственной Думы. Это было в конце 1916 года, следовательно, оставался один год полномочий. Затем, в Государственной Думе, если я не ошибаюсь, не то 500, не то 600, не то 700 законопроектов еще дожидались своей очереди. И даже, если допустить, что этот законопроект был бы поставлен в первую очередь, то, так как в Думе есть комиссия народного здравия, которая должна рассмотреть это дело, затем комиссия законодательных предположений, затем бюджетная комиссия, то, по подсчетам опытных людей, это заняло бы год, а вернее, и в год это не успело бы пройти. Затем надлежит сообразить, что поступит это в государственный совет. В государственном совете опять комиссии — одна, другая, и в заключение мы пришли к тому, что эта Государственная Дума и этот государственный совет не успели бы нашего дела сделать. Тогда, следовательно, другая Государственная Дума, а ведь известно (я сам был членом второй Государственной Думы), что почти весь первый год уходит на организационные работы; потом опять комиссии. Комиссии эти неопытны, едва начнут работать. Таким образом

предполагалось еще два, а то и три года в Государственной Думе, затем опять в Государственный совет, по крайней мере, на год.

Ольденбург. — Я не могу с этим согласиться. Это, конечно, относится к обычному течению, но если, действительно, данный законопроект заключает в себе элемент срочности, то мы знаем из практики законодательных палат о проведении необыкновенно срочных законопроектов. Затем, у вас, как у члена государственного совета, было право, если вы считали это такой важной мерой или были убеждены, что она привлечет сочувствие законодательных палат, право законодательной инициативы. Вы могли предъявить государственному совету то же право, как и Государственной Думе, и законопроект мог пройти в ближайший срок в государственном совете, мог быть внесенным в Государственную Думу, пройти там в ближайшее время и стать законом. Я тоже имею известную законодательную практику и не могу согласиться, чтобы ваш расчет был верен, если дело идет о законопроектах, которые признаны законодательными палатами срочными и вызывают сочувствие.

Рейн. — Я не смею возражать, потому что это более или менее приблизительно, но если принять во внимание, что тут военное время, что имеется масса других законопроектов, масса всевозможных совещаний и т. д., то, конечно, наверное нельзя сказать, но в моем уме и у нескольких еще членов сложилось такое впечатление, что это займет около 5 лет.

Председатель. — А было у вас предположение, что хотя бы и через 5 лет законодательные учреждения с вашим мнением все-таки согласятся, или вы думали, что этот проект и ваше мнение не будут в конце концов разделяться Государственной Думой и государственным советом?

Рейн. — Это очень трудно сказать. Мне казалось, что раз так горячо и единодушно это учреждение взялось, затем все-таки дело совершенно готовое (составить закон — это одно, а его проверять и контролировать — это другое), я бы думал, что это не подлежало сомнению. Мое глубокое убеждение было, что если бы Государственная Дума приступила к его обсуждению по существу, она не могла бы его отклонить. Больше того, если бы Государственная Дума, скажем, не согласилась учредить главное управление самостоятельно, она все-таки могла бы притти к такому заключению, что можно создать главное управление с большой компетенцией, в составе министерства внутренних дел или в составе другого министерства. Здесь, между прочим, одна из причин, почему комиссия не назвала это министерством народного здравия. Меня часто упрекают и говорят: «Что же, министерство, так и говорите, что министерство». Зачем? Очень может быть, что Государственная Дума найдет нужным организовать главное

управление по типу коннозаводства, по типу главного управления местного хозяйства, или почт и телеграфов, и т. д.

Председатель. — Одно из двух: или опыт внесения законопроектов в третью Думу позволял вам ожидать горячей и сочувственной встречи, тогда отчего вы не стали на этот путь? Или, наоборот, опыт вам подсказал, что хотя бы в части создания особого ведомства этот проект не встретит сочувствия народных представителей, тогда зачем вы пошли на исключительный путь? Ведь вы предполагали, что народные представители сочувствовать вам не будут? Из этой дилеммы вам не выйти.

Рейн. — Это очень трудно сказать. Например, теперь, какие события мы переживаем. Министерство Труда было создано очень скоро.

Председатель. — Если вы говорите, что к вам сочувственно отнеслись господа Анреп, Балашов, Головин, Шейдеман, Гамалей, может быть, они так же горячо и сочувственно провели бы и всякий законопроект, как бы он ни назывался, хотя бы законопроектом по министерству.

Рейн. — Это очень трудно сказать, но несомненно сложилось мнение, что при существующих обстоятельствах, при войне, при той громадной потребности во врачебно-санитарных учреждениях, при тех громадных средствах, которые затрачены, и при той громадной разрозненности и распылении врачебно-санитарной части по разным организациям, это был самый правильный путь. Причем только одно прошу покорнейше поставить под этой нотабеной, что ни в коем случае, самым отдаленным образом, здесь не имелось в виду посягнуть на Государственную Думу. Здесь были соображения чисто практические, чисто деловые, те, о которых я имел честь вам докладывать. Это есть мое вам откровенное признание.

Иванов. — Профессор, в качестве члена государственного совета вы не пытались узнать, каково было его мнение? Если бы вы в порядке инициативы предложили, нашли бы вы там сочувствие или нет?

Рейн. — Бог знает, я не знаю. Среди правительства я встретил очень много возражений.

Иванов. — Так что, вы думали, что и в государственном совете все то же будет?

Рейн. — Изволите видеть, тут есть журнал,—Маклаков, Щегловитов и Кассо обрушились на меня.

Иванов. — Я говорю о государственном совете.

Рейн. — Я неприсутствующий член, я внести не мог. Я считал все-таки, что через Думу я имел больше шансов. Это дело культурное, важное для народа. Его надо было провести скорее.

Председатель. — Когда совет министров предложил в своем заседании 10-го ноября отклонить предложенное в порядке 87-й статьи осуществление законопроекта об учреждении главного

управления государственного здравоохранения, вы обратились с всеподданнейшим докладом к государю императору?

Рейн. — И в докладе написал, что я не согласен с мнением членов таких-то совета министров, не согласен потому-то и потому-то. Это было мое мнение.

Председатель. — Это был ваш доклад 30 декабря 1915 года?

Рейн. — Уж я не помню, в конце года.

Председатель. — Но может быть, вы вспомните по резолюции, которую положил бывший император: «Внести в порядке статьи 87-й, после окончания первой думской сессии».

Рейн. — Этот первый всеподданнейший доклад, если не ошибаюсь, не я вносил. Я думаю, что его внес министр внутренних дел.

Иванов. — Сочувствовавший вашему проекту?

Рейн. — Один из тех шести.

Председатель. — Не этот ли доклад вы изволили внести и не на этом ли докладе бывший император положил резолюцию, которую я только что огласил? (Подает бумагу.)

Рейн. — Да, тут все мотивы изложены. (Читает.) Что этот путь есть единственно правильный...

Иванов. — На этом докладе последовала резолюция бывшего царя?

Рейн. — Так точно. А я могу и теперь утверждать, прямо, положительно и серьезно, и даже больше того, могу предсказать, высказать предположение, что эта идея осуществится, немного раньше, немного позже, но это назревший вопрос.

Председатель. — Но осуществится, вероятно, законным порядком?

Рейн. — Я с вами не могу согласиться. 87-я статья такая же, как и другие статьи основных законов. Я не юрист, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это не есть какой-нибудь поход против Государственной Думы, потому что два месяца пройдет, Государственная Дума обсудит этот законопроект, признает или отвергнет. Я был глубоко убежден, что она его признает, согласится с ним, если только перейдет к постатейному перечтению. Но вы знаете, что комиссия не пожелала перейти к постатейному перечтению. Это я считаю неправильным.

Председатель. — Значит, в конце концов, вы были убеждены, что она не перейдет к постатейному перечтению, и поэтому ваш законопроект будет отвергнут Государственной Думой?

Рейн. — Нет, наоборот, я считал, что не может не перейти, в виду того, что сама же Дума три или четыре года тому назад выразила желание, чтобы проект был разработан.

Иванов. — Разве Дума высказывала? Это заявление 83 членов Думы.

Рейн. — Дума еще раз высказалась, что она обращает внимание правительства на усиленную смертность в населении Российской империи. Это уже было принято всей Думой?

Председатель. — Если вы были убеждены, что Дума примет этот законопроект, а если не примет, он по 87-й статье долго не просуществует, или может существовать только в случае роспуска Думы, отчего же вы в Думу не внесли?

Рейн. — Изволите видеть, я доложил.

Председатель. — Долго. Но вы говорите, что Дума не могла не принять, и выяснилось, что некоторая часть членов Думы прошлого созыва очень горячо отнеслась, не правда ли?

Рейн. — Да. Затем я поступил с осторожностью, я не осуществлял всей части, а только настолько, чтобы я и мои ближайшие сотрудники могли законным образом защищать в Думе этот законопроект. Создано было несколько должностей и учебный отдел.

Председатель. — Простите, учебный отдел, это нас далеко заведет. Вы изволили сказать, что не вы представляли этот всеподданнейший доклад, а представлял его министр внутренних дел. Вы не помните, кто был тогда министром внутренних дел?

Рейн. — Я думаю, что был А. Н. Хвостов.

Председатель. — Значит, доклад был ваш, т.-е. он вами был написан, а представлял его А. Н. Хвостов?

Рейн. — Да.

Председатель. — Это ясно сохранилось в вашей памяти, что это он именно сделал?

Рейн. — Да. Я этого доклада не представлял. Но, конечно, если бы он не представил, я бы его послал.

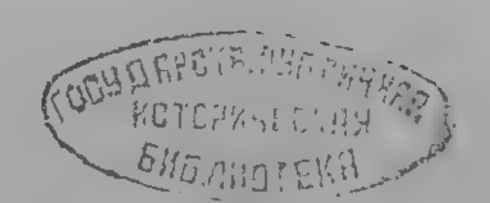
Председатель. — Автор этого доклада вы. Именно на этом докладе последовала высочайшая отметка: «Внести в порядке статьи 87-й после окончания первой думской сессии». И этот именно доклад был представлен 30 декабря 1915 года. Будьте добры, тут внизу вы прочтете, что его императорское величество начертал. Это был этот самый доклад?

Рейн. — Так точно.

Председатель. — Затем против вас и в данном случае, по совпадению, за законный порядок и за совет министров, вступился принц Ольденбургский. Я имею в виду телеграмму председателя совета министров от 6 февраля 1916 года, в которой он извещал вас, что бывший император повелел отложить рассмотрение вопроса об учреждении главного управления народного здравоохранения.

Рейн. — Так точно.

Председатель. — Таким образом, вы имели против себя не только совет министров, но и новое высочайшее повеление. Тогда, не соглашаясь с этим, вы представили новый всеподданней-



ший доклад 18 июля 1916 года. Вы сами изволили доложить его бывшему императору?

Рейн. — Сам.

Председатель. — На этом докладе была положена бывшим государем резолюция: «Согласен. Учредить с 1-го сентября также и учебный отдел и совет главноуправляющего». Вы изволили контр-ассигнировать, т.-е. скрепить эту резолюцию. Этот доклад в качестве кого вы скрепляли?

Рейн. — При мне государю императору угодно было эту резолюцию постановить; значит, поэтому. За сим, перед тем, как докладывать государю, я председателю совета министров доложил.

Председатель. — Т.-е. председателю совета министров, который был против вас?

Рейн. — Нет, тогда уже переменился председатель.

Председатель. — Это уже был Штюрмер?

Рейн. — Это Штюрмер был.

Председатель. — Который был согласен?

Рейн. — Я ему прочитал. Думаю, что он имел указания со стороны государя. Это мое предположение.

Председатель. — Вам известно, что, исходя из того положения, что носитель верховной власти безответственен, закон, существующий у нас с 1906 года, требовал скрепы другого, ответственного лица за законность той нормы, которую он скреплял?

Рейн. — Не знаю. Я думал, что тот, кто докладывает, он и свидетельствует.

Иванов. — А отвечает государь император?

Рейн. — Затем, это уже в совете министров было. Следовательно, всегда можно было возразить, что это незаконно.

Председатель. — Тут было написано: «Учредить с 1-го сентября также учебный отдел и совет главноуправляющего», подпись — «согласен». Т.-е., таким образом был создан известный закон, введено известное учреждение, вне зависимости вотума совета министров, против мнения совета министров, с вашей контр-ассигнатурой, как председателя комиссии?

Рейн. — Нет, я опять представил в совет министров. Это не есть контр-ассигнация закона. Это есть только подтверждение резолюции. Собственно контр-ассигнировал не Рейн, а председатель совета министров, после обсуждения в совете министров. Я думаю, что тут я не виноват, хотя должен сказать, что мог бы попасться, потому что я этого точно не знал. Я себе представлял, что тот, кто докладывает, если в его присутствии государь сказал, он и подписывает.

Председатель. — Так что вы скрепили, считая, что это еще не закон и что это должно быть внесено в совет министров? Вы и представили это совету министров?

Рейн. — Да.

Председатель. — Что же совет министров?

Рейн. — Совет министров издал этот закон.

Председатель. — Рассмотрев его в заседаниях 23 августа 1916 года и 31 августа 1916 года. Вот как, по документам, представляется дальнейшая внешняя история этого акта. Значит, согласно той отметке, которую вы получили по личному докладу. Действительно, как вы изволили сказать, ваш доклад пошел на обсуждение министров. 23 августа совет министров остался при прежнем своем мнении, и это было доложено 30 августа председателем совета министров, с вашим участием или без вашего участия?

Рейн. — Нет, без моего участия. Надо еще при этом прибавить, что это совершенно другой был совет министров, т.-е. даже третий. Когда, в принципе, решалось, это был один совет министров, когда решалось в первый раз, затем в декабре, по 87-й статье, а тут уже третий — совершенно новые люди, которые этого самого дела по существу еще не знали. Тогда Кривошеин вотировал.

Председатель. — Соображения совета министров, шедшего против вашего предположения, были доложены бывшему императору, который положил резолюцию: «Настаиваю на точном исполнении моей воли». В заседании 31 августа ваш доклад был принят. И затем?

Рейн. — Это без моего участия.

Председатель. — А 23 августа вы участвовали?

Рейн. — Так точно.

Председатель. — Последовал журнал совета министров от 31 августа 1916 года. Доклад был принят. На нем было написано «исполнить», и его скрепил председатель совета министров Штюрмер. Таким образом, когда открылась сессия Государственной Думы 1 ноября, то в составе министров Государственная Дума увидела нового министра, который назывался...

Рейн. — Главноуправляющим государственным здравоохранением.

Председатель. — Скажите, предположенные вами штаты этого учреждения какого годичного расхода требовали от казны, 9 миллионов с чем-то?

Рейн. — Нет, не 9 миллионов, это с местными учреждениями.

Председатель. — Вообще 9 миллионов с сотнями тысяч?

Рейн. — Причем тут надо принять во внимание, что это совпало вообще с увеличением штатов губернских и уездных врачей, чего и без этой реформы потребовала бы казна. Там были архаические, старые штаты. Так что в связи с моей реформой вышло гораздо меньше.

Председатель. — Ведь в таком порядке введен был известный законопроект, который требовал и местных учреждений, не только

центра. И если все это осуществить, то на это нужно, по вашему собственному вычислению, 9 — 10 миллионов в год?

Рейн. — Если я не ошибаюсь, в моей сумме 5 миллионов определяется на пособие земствам и городам для осуществления врачебно-санитарных мероприятий; этих денег прежде не было или они давались неопределенно.

Председатель. — Таким образом, между двумя Думами было создано новое министерство, и вы явились главой этого министерства. Дума начала функционировать 1 ноября, а 5 декабря 1916 года вы вошли в Государственную Думу с законодательным представлением тождественного содержания, с тем проектом, который был проведен в порядке 87-й статьи?

Рейн. — Точка в точку.

Председатель. — Ваше представление получило какое-нибудь движение?

Рейн. — Да, было назначено заседание комиссии народного здравия.

Председатель. — И комиссия эта?

Рейн. — Подвергла его обсуждению.

Председатель. — В вашем присутствии?

Рейн. — Так точно. Причем между членами комиссии возникло разногласие — одни высказались вполне отрицательно, другие же высказались сочувственно.

Председатель. — Но как бы то ни было?

Рейн. — Отложили на следующее заседание.

Председатель. — Которое состоялось?

Рейн. — Состоялось, кажется, 23 февраля.

Председатель. — В заседании комиссии высказывались мнения, что применение в данном случае советом министров чрезвычайного порядка, предусмотренного статьей 87-й основных законов: «Не оправдывается ни с какой стороны. Создание целого ведомства, с рядом местных учреждений, вместе с установлением значительных по своим размерам штатов, с новым расходом из казны в 9.186.176 руб. в год отнюдь не может быть отнесено к категории тех мер, которые имеются в виду упомянутой статьей. В особенности это становится очевидным, если принять во внимание, что мера эта, осуществление которой требует по крайней мере нескольких лет, была принята менее, чем за два месяца до возобновления занятий Государственной Думы». Это и было положено в основу окончательного доклада комиссии, которая предлагала внесенные вами мероприятия отклонить. Вы припоминаете это обстоятельство?

Рейн. — Так точно. Были сделаны комиссией тоже большие возражения, которые собственно распадались на две части. Одни говорили, что эта мера вполне отвечает 87-й статье, ибо забота о народном здравии, во время войны, когда предъявляются к народ-

ному здравию особенно большие требования, совершенно подходит под понятие неотложной и чрезвычайной меры.

Иванов. — Раньше вы изволили говорить о мерах будущего, не только о времени войны. Вы заботились о скорейшем проведении для того, чтобы принять меры в будущем. Во время войны меры были приняты?

Рейн. — Так точно.

Председатель. — Те чрезвычайные меры, которые были приняты во время войны, заключались в том, что была учреждена должность министра, товарища министра и при них канцелярия. Вот та мера, вызванная чрезвычайными обстоятельствами, которая была проведена реально, а весь проект должен был быть проведен в течение нескольких лет.

Рейн. — Нет, он мог и скорее пройти. Возьмите, с пьянством, как это было сделано.

Председатель. — Вот тут господин сенатор ставит вопрос так. Вы провели меру, которая предусматривает целое ведомство. Чрезвычайные обстоятельства требовали создания этого ведомства. Предполагается, если чего-нибудь требует чрезвычайное обстоятельство, то это должно быстро реализоваться. Между тем, сами вы реализовали быстро только должность начальника главного управления, помощника его и канцелярии. И сами же предполагали, что реализация этого проекта есть дело значительного количества времени, может быть, даже 5 лет. Так что где же тут мера, которую вызывают чрезвычайные обстоятельства для немедленного осуществления?

Рейн. — Я имею честь доложить, что это был первый шаг для того, чтобы дать возможность осуществлению всей меры. Без того, чтобы существовал главноуправляющий и его канцелярия, нельзя было войти в Государственную Думу с таким законопроектом.

Председатель. — Т.-е. с таким законопроектом, который неприемлем для совета министров, неприемлем для членов Думы и неприемлем в государственном совете. Конечно, с таким законопроектом войти было нельзя, но нужно было с этим «нельзя» считаться и не прибегать к такому незаконному порядку.

Рейн. — Я рассуждал иначе, я рассуждал, может быть, так, как все изобретатели, которые увлечены известной идеей. Я считал, что я приду в комиссию, комиссия начнет обсуждать этот законопроект по существу, увидит, насколько это важное и неотложное дело, внесет, может быть, известные поправки, и почем знать, когда это будет осуществлено!

Председатель. — Но нельзя же для того, чтобы иметь право войти в комиссию с известным предложением, издавать в порядке 87-й статьи целый законопроект о целом ведомстве.

Ольденбург. — Вы же имели возможность через министра внутренних дел вносить любые законопроекты. Ведь несомненно, если бы министр внутренних дел был с вами согласен, он, конечно, внес бы любой законопроект, который бы ему предложили. Так делается во всех ведомствах. Иначе та конструкция, которую вы себе представляете, сделает через некоторое время совершенно невозможным всякое законодательство. Если в дела законодательных палат будут вторгаться, хотя бы с самыми лучшими намерениями, лица, полагающие, что они знают секреты, нужные для благодетельствования страны, то никакая нормальная законодательная деятельность невозможна.

Рейн. — Я в свою защиту только две вещи могу привести, — с одной стороны, чрезвычайные обстоятельства военного времени, которые бог даст никогда больше не повторятся, а второе, что это не было изобретением, написанным в один вечер, а это плод семилетних трудов не только председателя, но и всей комиссии. Вы посмотрите этот том и еще 10 томов комиссии.

Ольденбург. — Тогда существовал законный путь, законодательные палаты, где было вам обеспечено тщательное рассмотрение всего этого.

Рейн. — Я только говорю, я привожу свое мнение, что этот закон, который составлен с таким большим трудом, если он 5 лет будет лежать, он устареет.

Ольденбург. — Вы должны были отдавать себе отчет в том, что законодательные палаты относятся в высшей степени отрицательно к 87-й статье, и признают ее только в тех случаях, когда действительно есть настоятельная, срочная необходимость в какой-нибудь экстренной мере. Следовательно, уже по существовавшим примерам вы могли себе представить, что это одно обстоятельство вызовет отрицательное отношение к вашему законопроекту, и впоследствии он отодвинется eo ipso. Следовательно, это был наилучший способ гарантировать себе непрохождение данного законопроекта, или, в сущности, создание эфемерного законопроекта и введения главы верховной власти, я сказал бы, в трудное положение. В данном случае он лицо безответственное, и его заставляют сделать акт, против которого и совет министров и законодательные палаты. Я думаю, что этим создается трудное положение в государственном отношении, и если бы такое положение создавалось часто, это было бы в высшей степени опасно для государства.

Рейн. — А что, если бы такой случай, — слава богу его не было и, бог даст, не будет, — эта громаднейшая война, которой подобной в истории не было, все эти громаднейшие жертвы, и вдруг, в самый последний момент, когда победа близка, вследствие неправильной организации врачебно-санитарной части, победа уходит из наших рук, вследствие того, что развиваются эпидемии, как

это много раз и бывало, и тогда мы понесли бы на себе громадную ответственность. И я, как человек, который столько лет над этим трудился, я бы считал это чрезвычайным фактом, который заставил бы меня всю жизнь плакать.

Ольденбург. — Но вы забываете обо всех остальных организациях. Ведь вы предлагали только частичное добавление и изменение.

Рейн. — Из тех записок, которые тут есть, из того, что я писал в совет министров, я полагаю, можно усмотреть, насколько тут совершенно новая постановка врачебного дела в государстве, насколько она могла бы совершенно изменить всю физиономию того, как вылилось это теперь. Кто-то в комиссии сказал, кажется, один из членов Государственной Думы, что каждый англичанин имеет вдвое больше шансов не умереть, чем каждый русский. Чего для этого не сделаешь, господа?

Председатель. — Для этого англичане соблюдают закон и живут в законных нормах, вероятно, потому у них и жизнь дольше длится.

Рейн. — В конце концов, это тоже вошло бы в законные нормы.

Председатель. — Вот вы изволили указать на эпидемии, которые могли бы развиться и помешать победе; но что же один главноуправляющий и его помощник могли бы сделать против этих эпидемий, в особенности, если принять во внимание, что учреждения земского и городского союза как будто удовлетворительно делали свою работу? Так что, с одной стороны, есть сеть учреждений, которые благополучно функционируют и выдерживают страшный натиск со стороны правительственных центров, а с другой стороны, к ним прибавляется еще начальник главного управления, его помощник, канцелярия, и такое быстротечное рождение на свет божий этой группы диктуется возможными эпидемиями.

Рейн. — Никогда нельзя целой книги написать без того, чтобы не написать первой строчки. Это и была первая строчка, а какое бы тут дальнейшее развитие было, — это мне было совершенно ясно. Если бы мы только мало-мальски добились того, чтобы Дума спокойно и объективно рассмотрела этот законопроект, тогда бы вышло логически, что управление верховной санитарной частью упразднилось бы само собой, и все учреждения, не только земский союз, но и городской союз, и Красный крест, и правительственные учреждения, и верховный совет — все стали бы действовать сообща, по согласованной, выработанной сообща, программе.

Иванов. — Ваше указание, что необходимость введения этой меры была вызвана опасением, что после окончания войны могли бы наступить моменты опасные в санитарном отношении, это указание заставляет меня задать вам один вопрос: известно ли вам,

что во время войны была очень грозная страница распространения холеры с фронта, в особенности во время отступления, во время беженского стихийного движения, и меры были приняты союзом земств и городов? Это бесспорный факт, который констатируется рядом доказательств. Почему же вы не изволили верить, как заявили сейчас, в эти силы, а верили в то, что если правительство возьмет в свои руки это дело, тогда Россия будет спасена? Простите, что я задаю вопрос в такой форме.

Рейн. — Пожалуйста, я очень счастлив проверить свой взгляд. Я уверен, что это дело не остановится, что оно дальше пойдет, в той ли форме или в другой — это безразлично. Я скажу на это так: лучшее есть враг хорошего. Один раз удалось это сделать.

Иванов. — Случайно?

Рейн. — Не то, что случайно... например, была холера в Донецком бассейне, я приехал с 30 тысячами рублей, и, когда вернулся, меня Столыпин спрашивает: — «Как вы думаете, отчего остановилась холера, оттого, что вы меры приняли?».—Я говорю: «Не знаю, этого никто не знает». Но нужно, чтобы такое громадное государство, как Россия, чтобы оно сделало все для того, чтобы заблаговременно предвидеть возможность таких несчастий и сражаться с ними возможно лучшими средствами. В этом отношении совместные работы правительства и общественных установлений, как мне представлялось, должны были дать самые лучшие результаты. Ведь никто не станет отрицать, что одно земство работает лучше, а другое хуже. В эту самую эпидемию холеры, в 1910 г., в екатеринославской губ. земство издержало в два месяца 400 руб. Рядом Донская область, Екатеринославская губерния ничего не могла добиться, потому что рядом неорганизованная санитарная часть. Там есть только один врачебный пункт с радиусом в 25 верст, имеется фельдшер, но санитарной организации никакой.

Иванов. — Может быть, вы примете к сведению, что в 1910 году объединения земств еще не было?

Рейн. — Это правильно, с этим я согласен.

Председатель. — Возвратимся к вопросу. Вы изволили следить за прохождением внесенного вами законопроекта в государственных учреждениях. Вы наблюдали, какое слагалось отношение Думы к вашему проекту?

Рейн. — Так точно.

Председатель. — Вам известно было, что комиссия постановила отклонить проект, проведенный по 87-й статье?

Рейн. — Так точно.

Председатель. — Вам известно было, что Дума 23-го февраля 1917 года, уже в общем собрании, должна была рассмотреть это заключение комиссии?

Рейн. — Да.

Председатель. — Что тогда сделали вы?

Рейн. — Я взял назад свой законопроект.

Председатель. — Вы сделали это письмом на имя председателя Государственной Думы, от 23 февраля 1917 года?

Рейн. — Раз я видел, что это не поставлено на ту точку, на которую я хотел, т.-е. не по существу, а чисто на политическую, то я, конечно, счел своим долгом лучше взять назад.

Председатель. — Что значит — на политическую?

Рейн. — Т.-е., как вы изволили прочесть, в заключении комиссии ни слова не сказано, что такой-то закон нецелесообразен, что отношение правительства определенно неправильно на основании таких-то данных; вы сами видите, тут прямо цитировано, что закон не подходит под статью 87-ю. Откровенно говоря, мне неудобно, да и не принято высказывать осуждения законодательным учреждениям, но я должен сказать, что комиссия народного здравия неправильно поступила. Она должна была по существу обсудить вопрос, как он на народном здравии должен отразиться, что же касается политической стороны, насколько это соответствует основным законам, насколько правильно применена статья 87-я, это, казалось бы, дело общего собрания. Комиссия, главным образом, состояла из врачей и должна была (это, конечно, мое мнение) доложить с точки зрения существа дела, хорошо оно или нет, целесообразно или нет и, если нет, то почему. Раз такое отношение выяснилось, то для меня было совершенно ясно, что проект нужно взять обратно, так как законодательные учреждения не желают рассматривать его по существу. Может быть, я неправильно поступил, но мне это казалось правильным, может быть, впоследствии, когда-нибудь кто-нибудь другой это внесет. Может быть, я сделал ошибку, что внес по 87-й статье, конечно, теперь я это вижу, что сделал ошибку, но она была продиктована не желанием нарушить закон и уменьшить права Государственной Думы, а исключительно соображениями целесообразности, которые внушила мне моя 42-летняя деятельность.

Председатель. — Значит, совет министров поступил неправильно, комиссия Государственной Думы поступила неправильно, общее собрание Государственной Думы готовилось поступить неправильно, и поэтому вы, в конце концов, решили взять свой законопроект обратно, т.-е. решили, не будучи согласны с этими учреждениями, тем не менее им подчиниться?

Рейн. — Я не смею выражаться так резко, как вы изволили выразиться, но мне казалось, так как я сам был председателем высшего установления, что, если комиссии дается рассмотреть какой-нибудь специальный вопрос, то она должна рассмотреть его по существу. Так мне кажется. Может быть, я не прав. Но если бы комиссия это сделала, то, разумеется, Государственная Дума должна была высказаться по существу, и тогда я считаю,

что я был бы очень силен, а если так — на политической почве, то я не силен.

Председатель. — Что же вы тогда решили делать с вашим законопроектом?

Рейн. — Взять назад.

Председатель. — А в дальнейшем?

Рейн. — Может быть еще раз внести с изменениями, узнав, какие изменения нужны.

Председатель. — Откуда узнать?

Рейн. — Частным образом, посоветоваться с членами Государственной Думы; у меня там есть много товарищей.

Председатель. — Что значит — еще раз внести, т.-е. когда?

Рейн. — Тут возник вопрос, истек ли двухмесячный срок. В этом отношении я не считал себя компетентным и должен был это точно выяснить. Это было 23 февраля, а 27 разразились события. В какой-то из южных газет (потом мне прислали вырезку) один из авторов вычисляет, что двухмесячный срок еще не истек.

Председатель. — Т.-е. с какого момента?

Рейн. — С момента внесения в Думу, согласно статье 87-й.

Председатель. — Т.-е. не с момента внесения в Думу?

Рейн. — С момента открытия Думы.

Председатель. — Тут никакого вопроса нет, раз Дума открылась 1-го ноября.

Рейн. — И тогда, казалось бы, что 31 декабря истекает двухмесячный срок. Я не дождался этого срока и внес, как вы изволили прочесть, 5 — 6 декабря, а затем уже 16-го проект обсуждался. Тут мне была очень большая надежда внушена, что он пройдет, потому что один из членов Государственной Думы, я его могу назвать — Варун-Секрет, товарищ председателя Думы, он так тепло, так основательно высказался за этот законопроект, что я не терял надежды, думал, что и в другом заседании то же самое повторится. Но, по несчастью, не знаю, случайно это или нет, в промежуток между этими заседаниями он вышел из состава комиссии. Слухи есть, что его будто заставили выйти, я не смею этого утверждать, но, как только он коснулся существа дела, так сейчас же все представилось совершенно иначе, чем когда смотрели с точки зрения политической, а я, повторяю, я, как старый врач, работавший 42 года, смотрю на это дело по существу.

Председатель. — Вы это уже изволили сказать. Это ваше письмо, которое вы послали Добровольскому? (Показывает.)

Рейн. — Конечно, мое (читает). До сих пор не опубликовано.

Председатель. — До сих пор не опубликовано потому, что если законопроект внесен, и потом министр взял его обратно, то это не игрушка, и значит, он должен считаться невнесенным; так говорит закон, и значит, не нужно опубликовывать об отмене,

эта мера пала за невнесением. Теперь позвольте огласить письмо. «№ 346. На бланке главного управления министерства здравоохранения от 27-го февраля 1917 года, адресованное его высокопревосходительству Н. А. Добровольскому. (27-го февраля — это понедельник) — «Милостивый государь, Николай Александрович. 23-го сего февраля, до истечения двухмесячного срока, предусмотренного ст. 87-й основных государственных законов, мною было взято по 47-й статье учреждения Государственной Думы из Государственной Думы представление от 5 декабря 1916 года за № 421 об учреждении главного управления государственного здравоохранения, для некоторых дополнений. Предполагая в ближайшее время возвратить означенное представление с некоторыми дополнениями в Государственную Думу, имею честь сообщить об этом вашему высокопревосходительству и покорнейше просить вас не опубликовывать об упразднении главного управления государственного здравоохранения, так как, за истечением установленного законом двухмесячного срока, высочайше утвержденное 3 сентября 1916 года Положение совета министров, распубликованное в собрании узаконений и распоряжений правительства от 21 сентября 1916 года за № 252, остается в силе. Прошу принять уверение в совершенном моем уважении и искренней преданности. Подпись. 27 февраля 1917 года № 346».

Иванов. — Так что вы считаете это учреждение функционирующим, существующим?

Рейн. — Я не считаю его существующим, но у меня тогда были известные сомнения. Предполагалось, что можно было внести какие-нибудь изменения, и Государственная Дума согласилась бы. Я не просил бы ничего другого, как передать в комиссию о народном здравии, для рассмотрения по существу.

Иванов. — Откуда вы получили кредиты на содержание главного управления и других членов? Каким порядком вы устроились? Министерство финансов отпустило?

Рейн. — Я думаю, что министерство финансов. Я думаю, что из каких-нибудь остатков, по смете.

Иванов. — Какого ведомства?

Рейн. — Может быть, министерства внутренних дел.

Иванов. — Позвольте, ведь у вас штаты были. Что же эти чины остались за штатом?

Рейн. — Я считаю, что они остались за штатом.

Иванов. — Значит, они штатные суммы должны получать?

Рейн. — Да, должны получать. Там было, кажется, 100 тысяч.

Председатель. — Тут сказано: «для некоторых дополнений». За этим стоит что-нибудь реальное?

Рейн. — Ничего реального.

Председатель. — Каким образом все-таки вы предполагали внести вновь этот законопроект? Все-таки вы врач, не юрист,

но знание закона обязательно для всех, в особенности для главноуправляющего ведомством, который является министром. Те же врачи, которые сидели в Думе, они этот законопроект рассмотрели с формальной точки зрения. Ведь вы говорите, что там много врачей было. Каким образом, после того, как все вам не сочувствовали, начиная с совета и комиссии, и предполагался отрицательный вотум Думы, каким образом вы добивались, во что бы то ни стало, сохранить в силе то, против чего и совет министров, и комиссия и что не проходит в Думе, и прибегли в этой бумаге к некоторому толкованию закона, которое вряд ли является правильным?

Рейн. — Все, исходя из того, что я не хочу, чтобы каждую минуту лишних три человека умирали в России. А так выходит.

Председатель. — Простите, это великолепная цель, но разве вы не признаете, что для достижения хорошей цели мы с некоторым вниманием должны относиться к законному порядку, к осуществлению?

Рейн. — Я предполагал войти в сношение с президиумом Гос. Думы и с лидерами.

Председатель. — Почему вы предполагали, что вам удастся войти с сношение с президиумом Думы, если вам юристы сообщили, что самый факт взятия законопроекта обратно уничтожает его существование и, тем самым, прекращает свое существование и то ведомство, во главе которого вы стояли? Как вы предполагали, в качестве кого внести этот законопроект? Вопрос заключается в том, что до конца февраля оставался один день, вторник 28, это был последний день всевозможных внесений.

Рейн. — Можно ли так рассматривать? Ведь в делах Гос. Думы, во всяком случае, существует указание, что такого-то числа доложено было Думе, что вступил такой-то законопроект. Затем состоялся вотум Гос. Думы о передаче его в комиссию о народном здравии; затем комиссия эта рассматривала его в двух заседаниях, и затем, после всего этого, законопроект был взят обратно. Можно ли этот случай так толковать, как будто этот проект совсем не был внесен, когда он в действительности был внесен, и состоялись по поводу его известные действия законодательного учреждения? По-моему, надо его рассматривать, как гласит, кажется, ст. 87, где говорится, что Дума может не принять, но это не значит, что его надо рассматривать, как будто он не был внесен.

Председатель. — Значит, вы таким образом думаете, что если мера по статье 87-й принята, то она будет существовать вне зависимости от того, примет ли ее Дума или отвергнет?

Рейн. — Напротив, когда Дума примет, она остается навсегда, или до нового закона, а если Дума не примет, то с этого момента считается закон отпавшим.

Председатель. — Значит, с 23 февраля, когда вы взяли законопроект обратно, самый вопрос о том, что этот закон может существовать, — пал?

Рейн. — Но надо сказать, что таких законов за все время существования Думы, если я не ошибаюсь, было 7 или 8.

Председатель. — Это единственный случай.

Рейн. — Во второй Думе было.

Председатель. — Но чтобы целое ведомство — это «уникум».

Рейн. — Мне это, если можно так выразиться, ухо всегда режет — что значит целое ведомство? Ведь у нас сейчас целое новое ведомство создано. Почему это так страшно? Как будто это есть нечто выдающееся из числа событий, которые наблюдает история. Ничего подобного. Это такое же мероприятие, как, напр., уничтожение пьянства, которое было без всякой 87-й статьи применено, или уничтожение винной монополии, а затем создание новых министерств труда и проч. Так что я не могу себе представить, чтобы самому факту учреждения нового ведомства надо было какое-то особенное значение придавать. Суть — это законы.

Председатель. — Суть в том, что Дума не принимала вашего законопроекта.

Рейн. — Важна реформа врачебно-санитарной части, а будет ли главное управление самостоятельным ведомством, или построят его по типу почтово-телеграфного — это в сущности уж не такая большая разница. Вся суть во врачебно-санитарной реформе, на которую было потрачено несколько лет упорного и громадного труда целой комиссии и массы специалистов, знакомых с этим делом.

Председатель. — А законность проведения в общественную или государственную жизнь того, что называется сутью, вы не думаете, что это в некотором роде анархизм?

Рейн. — Это тоже законно, это статья 87-я. Что же касается до практических соображений о том, был ли внесен законопроект и как на это смотреть, то Гос. Дума почти не имеет опыта в этом направлении. Я не говорю о создании ведомств, но вообще о законах, проведенных по 87-й статье и отклоненных Думой, их, если не ошибаюсь, было за все время шесть или семь. Во второй Думе — два, в третьей Думе — кажется, ни одного или один, и в четвертой Думе, — в декабре, эти четыре закона о сыскных отделениях и, затем, тот. Так что тут практики законодательной совершенно нет. И посему, даже и не юристу извинительно различное толкование практической стороны дела. Я считал, что закон был введен без ведомства, так как многие дела, уже начатые, теперь переданы в министерство внутренних дел. Много труда было здесь положено. Начались переговоры с принцем. Многое можно было бы сказать. Встречалось очень и очень много

препятствий. Вы изволили сказать, что пять лет понадобилось бы для того, чтобы губернские управления устроить.

Председатель. — Нет, это вы изволили сказать.

Рейн. — Но губернские управления можно было взять в 24 часа в ведение нового ведомства. Тут только его высочество мое предложение положил под сукно, а работа по здравоохранению была большая.

Крохмаль. — Я хотел уяснить себе ваш взгляд на юридическую сторону. Насколько я понял, вы предполагали, что факт взятия временного законопроекта обратно не уничтожает существования закона, проведенного по 87-й статье.

Рейн. — Никак нет, я считал, что уничтожает.

Крохмаль. — Сами вы сознавали.

Рейн. — Но правительство может внести.

Крохмаль. — Вы предполагали, что путем нового высочайшего повеления по 87-й статье можно вновь внести этот законопроект, т.-е. можно вновь ввести его в действие, а потом в двухмесячный срок внести его в Думу?

Рейн. — Никак нет, я думал согласно постановлению совета министров.

Крохмаль. — Но в связи с тем, что вы взяли законопроект обратно, вы сознавали, что взятие его обратно уничтожает ведомство здравоохранения?

Рейн. — Да.

Крохмаль. — Если так, то в качестве кого вы могли вносить законопроект, как вы предполагали?

Рейн. — Это, извините, совершенно сырая, неразработанная мысль. Этого бы я, конечно, не сделал без совета министров. Если бы я встретил сочувствие в совете министров, тогда, конечно. А это в виде сырой мысли, которая пришла в голову.

Председатель. — «Предполагая в ближайшее время возвратить означенное представление». Из этих слов не видно, чтобы вы считали себя уничтоженным взятием проекта, а напротив, здесь предполагается, что главноуправляющий государственным здравоохранением, вопреки многочисленным неудачам и в совете министров, и в Гос. Думе, продолжает считать себя существующим.

Рейн. — Видите, об этом я позволил себе говорить с некоторыми из г.г. членов совета министров. Было разногласие. Некоторые считали, что я с этого момента уже не член совета министров. Я больше и не посещал. Но что касается внесения, если бы соглашение с президиумом и с лидерами состоялось, тогда мне казалось, что я бы мог внести, пока не получил указа о своей отставке.

Председатель. — Значит, вы предполагали, что до указа вы можете совершенно противозаконно и против желания народного представительства сохранять за собою пост главноуправляющего?

Рейн. — Только с дополнением: помимо того законопроекта. Но повторяю, это совершенно сырая мысль, которая осталась неосуществленной и еще в окончательную форму не вылилась.

Председатель. — Мысль не только сырая, но противоречащая существующему закону. Скажите, кто же из совета министров находил, что вам можно все-таки сохранять за собою должность главноуправляющего государственным здравоохранением?

Рейн. — Председатель.

Председатель. — Штюрмер?

Рейн. — Нет, князь Голицын.

Председатель. — А еще кто?

Рейн. — Больше я не помню. Я ему докладывал, как мне считать себя. Он говорит — до указа. Я никакими правами не пользовался. В дальнейших заседаниях совета министров не участвовал, и это осталось невыясненным.

Председатель. — Заседание позвольте считать закрытым.

XLV.

ДОПРОС ГРАФА ФРЕДЕРИКСА.

2 июня 1917 года.

Содержание: Отношение Фредерикса к вопросам общей политики. Отношение к войне. Немецкая партия при дворе. Влияние Распутина, Вырубовой и Воейкова. События конца февраля. Отношение бывш. го царя к обсуждению политических вопросов. Отношение прислуги Фредерикса к отбыванию воинской повинности. Дело Сухомлинова. Андроников. Союз русского народа. Служебный стаж Фредерикса.

Председатель. — Граф, будьте добры занять место. Вам известно, что вы в заседании Чрезвычайной Следственной Комиссии, которой предоставлено право прежнего первого департамента государственного совета истребовать объяснения от высших должностных лиц первых 3-х классов? Вы не в следственной коллегии, вы допрашиваетесь не в качестве обвиняемого и не в качестве свидетеля, а от вас требуются объяснения, которые, судя по материалам, которыми мы располагаем, вы можете дать. Вам ясно ваше юридическое положение?

Фредерикс. — Ясно.

Председатель. — Ваше имя и отчество?

Фредерикс. — Владимир Борисович.

Председатель. — С какого времени вы изволили занимать должность министра двора?

Фредерикс. — С 1893 года я был помощником у графа Воронцова. В 1897 году граф Воронцов ушел совсем, и я все время занимал это место. За это время мне удалось также увеличить капитал уделов на 116 миллионов, которые поступили теперь в собственность государства. Было 100 миллионов, а в последний год я отложил еще, т.-е. князь Кочубей мне представил 16 миллионов. Прежде обыкновенно был дефицит до миллиона, до полутора миллионов — передержки по разным расходам министерства; а за последний год я откладывал миллион, полтора.

Председатель. — По должности министра двора вы имели доклады у бывшего императора?

Фредерикс. — Конечно.

Председатель. — Эти доклады касались исключительно двора и уделов, или они касались также и общих политических вопросов?

Фредерикс. — Когда я был назначен, государь начал со мной говорить, но я доложил его величеству, что убедительно прошу меня от этого уволить. Я ни разу не был в совете министров, потому что у меня столько дела было своего, такая громадная была администрация, что для меня было достаточно, в мои годы в особенности, и того, что у меня было; и в дела государственные я не вмешивался.

Председатель. — Вы были в добрых отношениях еще с отцом отрекшегося императора, с Александром III?

Фредерикс. — С Александром II.

Председатель. — Даже и с Александром II? Так что и независимо от вашей должности, вы сохранили личные отношения с отрекшимся императором?

Фредерикс. — Личные и дружеские отношения с кем?

Председатель. — С императором, который отрекся от престола.

Фредерикс. — Он со мной об этом не советовался, потому что, если бы он советовался, я бы ему этого никогда не посоветовал.

Председатель. — А что бы вы посоветовали?

Фредерикс. — В такое время, как теперь, надо быть, по возможности, дружнее, мне так казалось. Я ему часто говорил, чтобы он, ради бога, Распутина прогнал; на это его величеству угодно было мне сказать: «Вы, граф, мне неоднократно говорили, что у вас и без вмешательства в дела политические достаточно дела; потому, вы этого вопроса не касайтесь, это мое дело».

Председатель. — Вы признали, что у вас были добрые отношения; быть может, вам приходилось давать государственные советы бывшему императору не при докладах, а во время ваших встреч?

Фредерикс. — Я никогда бы этого себе не позволил, и государь этого не допустил бы. Государь не любил, когда к нему без спроса обращались, и я мог мало принести ему пользы, в виду того, что я не был в курсе дела. Я ни разу не был в совете министров, я даже не знаю, где он собирался. Он меня никогда в совещания свои не вводил, потому что я постоянно говорил, что у меня есть свое дело, и я не вмешиваюсь; если вы меня что спросите, что же я вам отвечу, когда я не знаю?

Председатель. — Но, занимая один из высших постов в государстве, вы все-таки имели свои взгляды на ход политических событий и на направление государственной деятельности?

Фредерикс. — Нет. У меня начинались занятия с 10 часов утра, и с утра до ночи я был постоянно занят, но не вопросами

государственными, а вопросами довольно важными для интересов государя, потому что я вел все, что касалось министерства двора, и никого не допускал, просил, чтобы никто не вмешивался, чтобы — руки прочь. Я никогда не вмешивался в чужие дела, но просил, чтобы это было обоюдно.

Председатель. — Как часто происходили ваши встречи с бывшим императором?

Фредерикс. — Я его видел в те дни, когда были доклады. У меня прежде были доклады два раза в неделю — по вторникам и субботам, а потом, в виду того, что приходилось ездить в Царское Село, я просил разрешения государя приезжать с докладом только по субботам. Я приезжал по субботам и имел доклад у государя в 11 часов. Потом государь всегда говорил: «хотите (это было его всегдашнее выражение) с нами позавтракать?» Я говорю: «Очень счастлив».

Председатель. — А в другие дни вы присутствовали за высочайшими обедами и завтраками?

Фредерикс. — Да.

Председатель. — И во время поездок государя вы его сопровождали всегда?

Фредерикс. — Всегда.

Председатель. — Значит, в последний год, когда бывший император был часто в отъездах, вы были при нем?

Фредерикс. — Я был в поезде в своем отделении, занимался своими делами и ходил к государю, когда у него был доклад или вопрос, касающийся путешествий. Одним словом, мое положение было положение министра двора: министр двора, это — управляющий; я управлял его имуществом.

Председатель. — Как вы смотрели на войну?

Фредерикс. — Как на большое несчастие.

Председатель. — Но вы считали, что ее следовало вести?

Фредерикс. — Этого я не могу вам сказать, потому что я не был в курсе всех переговоров и всего того, что я слышал. Кто начал — государь наш или германский император — я не знаю; я люблю, когда о чем-нибудь сужу, быть в курсе этого.

Председатель. — Значит, по вопросам войны и мира вы не давали никаких советов бывшему императору?

Фредерикс. — Я не позволил бы себе этого сделать, потому что у меня никакого мнения нет.

Председатель. — Так должно было быть, но, может быть, в действительности было несколько иначе, т.-е., вы были негласным советчиком бывшего императора по такого рода вопросам?

Фредерикс. — Никогда. Государь даже на это смотрел неблагожелательно, он мне часто говорил: «Это, милейший граф, вопрос совершенно не касающийся министерства двора». Я говорю: «Точно так, ваше величество, я только так высказал, но у меня

мнения нет». Я говорил государю, как я вам говорю, что я честно не могу говорить мнение, когда не знаю.

Председатель. — Но, граф, частенько случалось, что вы обращались к государю с тем или другим советом, и государь вас останавливал?

Фредерикс. — Зачем же ставить себя в такое положение? Я совершенно не вмешивался.

Председатель. — Вам известен тот факт, что не только в широких кругах общества и народа, но и среди приближенных к особе императора составилось мнение о вас, как о стороннике так называемой немецкой партии?

Фредерикс. — Нет, т.-е. мне говорили. Я всегда говорю, что кто это про меня рассказывал, говорил величайшую ложь. Я жил довольно в стороне ото всего. Что набралось много немцев у двора, — я государю говорил, что это нежелательно; на это он говорил: «что же вы их держите?». Я сказал его величеству, что все это люди порядочные. Например, граф Бенкендорф; как же я ему скажу: «Вы всю жизнь служили, а теперь должны уйти, потому что война?». Ведь это — оскорбление для человека. Грюнвальд, который был по конюшенной части, не мной взят. Штакельберг придворным оркестром заведывал, тоже немецкая фамилия; вы помните одно, что я не немец. Наш род шведский. Мои именья в Финляндии. Мы пришли в Россию при Петре Великом. Когда была война между Россией и Швецией, взяли в плен одного из моих предков, я не помню, какая это генерация; он в Архангельске женился и, с тех пор, остался в России, сделался русским подданным, и все мы служили в России. Все, кроме меня, который Георгия не получил, потому что не было войны, были георгиевские кавалеры.

Председатель. — Значит, вы даже обращали внимание государя на окружающих немцев?

Фредерикс. — Обращал. Я с ними был вежлив, но интимной связи у меня не было, потому что те, с которыми я был интимен, были старики и, в большинстве, умерли.

Председатель. — Может быть, вы можете как-нибудь объяснить, почему такое мнение о вас сложилось, были какие-нибудь факты, которые давали повод так думать?

Фредерикс. — Лица, которые мне не благожелали и завидовали, что я занимал исключительное положение; действительно, я был самый близкий к государю, и государь говорил: «Я вас люблю, как второго отца, потому что вы всегда ровны, одинаковы, и я знаю, что я на вас могу положиться». Поэтому я еще строже относился к тому, чтобы советы давать. Это я предоставлял другим, а сам в это не совался. Неблагожелательные люди завидовали, что я близок к государю, и говорили то, что им в голову приходило. Это неправда, это ложь.

*

Председатель. — Вы помните, что тотчас после отречения среди придворных и военных образовалось настроение к вам враждебное, требование вашего ареста и вашего отозвания?

Фредерикс. — Не знаю. Я был уже болен и теперь очень болен. — Эта моя жизнь — это прямо моя могила.

Председатель. — Граф, что вам известно о влияниях на бывшего императора и на императрицу разных темных личностей?

Фредерикс. — Я Распутина никогда в глаза не видел, но я слышал про него, что это был чрезвычайно вредный человек.

Председатель. — Почему вы считали его вредным человеком?

Фредерикс. — Так я слышал. Извините за выражение, но мне говорили, что это мерзавец. Я никакого желания не имел его видеть. Может быть, это и незаслуженно, но я его невольно считал таким.

Председатель. — Но вам известно, что этот негодный человек имел влияние на некоторых лиц, близких ко двору бывшего императора, и на самого императора через его супругу?

Фредерикс. — Т.-е. на супругу имела большое влияние дочь Танеева — Вырубова, которая верила в этого Распутина. Я ей говорил: «Бросьте, ради бога, ведь желая добра, вы делаете величайший вред и государю, и императрице. Говорят, это форменный негодяй». — «Если бы вы его выслушали». — «Бог с вами, слышать и видеть не хочу». Я его, действительно, никогда не видел.

Председатель. — Вам известно, что, пользуясь личным влиянием, некоторые лица проводили враждебную народу политику через Распутина, через Вырубову и бывшую императрицу?

Фредерикс. — Я слышал, что Вырубова делала большой вред. Сколько мог, я это говорил, отца я давно знаю, я с ним служил. Говорю: «Не делайте, это дело нехорошее: вы делаете величайший вред императрице и государю, между тем говорите, что вы им преданы до гроба, и такую фальшивую политику ведете».

Председатель. — Вы имели в виду, что некоторые лица, желавшие иметь влияние на политику, пользуются этим путем?

Фредерикс. — Это мое мнение. Может быть, я ошибаюсь.

Председатель. — Кто же еще из придворных кругов делал эту политику, при посредстве Распутина?

Фредерикс. — Я от этого дела держался далеко, потому что был возмущен. Конечно, я не хотел даже слушать про те гадости, которые они там делали. Против меня были также военные сферы. Грех у них на душе. Кому я сделал вред? Никому, никогда.

Председатель. — Вы не станете отрицать, что в числе лиц, делавших эту политику, был и Воейков, дворцовый комендант?

Фредерикс. — Это — положительно нет. Он — помоложе меня и резкий. Я сам слышал, как он говорил ей крайне резкие вещи. Он говорил Вырубовой, что, если она будет так продолжать, он не желает иметь с ней никаких сношений.

Председатель. — Постарайтесь припомнить и изложить нам вкратце события, предшествовавшие отречению и последовавшие за ним. Когда вы выехали в ставку перед революцией?

Фредерикс. — Я вам скажу, что, с тех пор, как я хвораю, это ужасно как отразилось на моей памяти. Я в таком нервном состоянии, что не могу вам честно сказать, я не помню.

Председатель. — Вы вместе с императором за несколько дней до событий конца февраля выехали из Царского Села в ставку. Какие сведения стали приходить к вам из Петрограда?

Фредерикс. — Ко мне? Никаких.

Председатель. — Я имею в виду двор и самого императора.

Фредерикс. — Государь мне сказал: «Есть сведения, что вас хотят арестовать. Для меня это было бы еще лишним оскорблением, если бы в моем доме (я помню, что он сказал — не во дворце, а в моем доме) кого-нибудь арестовали, особенно моего министра двора. Поэтому вы сделаете мне одолжение, если выедете в Петроград».

Председатель. — Граф, это было уже после отречения и после революции.

Фредерикс. — Нет, до. Именно, он был императором и не хотел, чтобы меня арестовали в его дворце.

Председатель. — Что же вы сделали?

Фредерикс. — Выехал.

Председатель. — Когда?

Фредерикс. — Не могу сказать, потому что не помню. Я выехал и, когда проезжал через Могилев, в мой вагон вошла целая компания; один из этих господ говорит: «Вы арестуетесь». И меня арестовали.

Председатель. — Граф, вам память несколько изменяет. Мы хотим знать, что было при вас в дни, непосредственно предшествовавшие отречению императора. Например, что было в понедельник, 27-го февраля, в связи с тревожными для вас вестями из Петрограда?

Фредерикс. — Я не тревожился, я только просил разрешения у государя его не оставлять и остаться.

Председатель — Может быть, вы тревожитесь не за себя, а за других?

Фредерикс. — Знаете, такая придворная болтовня.

Председатель. — Я говорю не о придворной болтовне, а о донесениях властей, которые до вас доходили.

Фредерикс. — Они до меня не доходили. Я во всем держался в стороне.

Председатель. — Вы помните, что генералу Иванову было приказано итти на завоевание Петрограда, на борьбу с восставшим народом?

Фредерикс. — Я даже это не знал. В первый раз слышу.

Председатель. — Вечером 27-го февраля, в присутствии государя, Алексеева, вас и Воейкова было маленькое заседание, на котором бывший император хотел узнать мнение о событиях наиболее близких к нему людей?

Фредерикс. — Я не знаю, или я по старости все путаю. Я не помню, чтобы было у меня в квартире.

Председатель. — Не у вас в квартире, а в ставке, может быть, в вагоне?

Фредерикс. — Не помню. Я чистосердечно говорю — не помню.

Председатель. — Какое было ваше отношение к надвигавшимся событиям? Гроза надвигалась, и естественно шел вопрос, не сделать ли уступки народу?

Фредерикс. — Ко мне по этому поводу не обращались; как я вам говорю, я никогда не вмешивался в дела государственные, в это можете поверить.

Председатель. — Может быть, не нужно говорить о заседаниях, можно говорить о простом разговоре. Вспомните, что в присутствии вашем был возбужден вопрос, не согласиться ли на желание, которое приписывали Родзянко, дать конституцию?

Фредерикс. — Могу вам только сказать, что государь со мной почти не говорил. Он только сказал: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать». Когда же я хотел узнать, что он сказал, государь говорит: «Это не касается министерства двора». Он всегда так говорил.

Председатель. — Неужели в момент событий, столь важных для судеб России и трона, вы находили возможным оставаться в пределах вашего министерства двора?

Фредерикс. — Когда государь меня не слушает, что же я мог сделать? Он прямо говорил: «Это совершенно до вас не касается».

Председатель. — Когда зашел вопрос о требованиях вот этого толстяка Родзянко, вы не припомните, что Н. Н. Воейков убеждал императора не уступать Родзянко и не принимать его?

Фредерикс. — Это может быть, это было не при мне. Об этом я с Воейковым совершенно не говорил, потому что мы с ним разных взглядов.

Председатель. — В чем же была разница ваших взглядов?

Фредерикс. — В том, что он, например, сказал — не принимать Родзянко, а я сказал — как не принять, его надо принять. Но меня не спрашивают. Родзянко я давно знаю.

Председатель. — Что же, уступить или не уступить?

Фредерикс. — Принять.

Председатель. — Т.-е. уступить?

Фредерикс. — Опять его дело решить, я не могу. Я считал недобросовестным в дело вмешиваться, которое я не знаю. Если

меня спросите, что теперь делать, то я заявил бы одно: чтобы дали мне спокойно умереть.

Председатель. — Граф, что вам известно о командировке в Петроград генерала Иванова?

Фредерикс. — Этого я не знаю. А когда Иванов был отрешен? Он, кажется, не командует ничем больше?

Председатель. — Он состоял, в момент этого поручения, при особе бывшего императора. Он не получил никакого назначения.

Фредерикс. — Он — добрый старик. С ним мы иногда рассуждали о разных делах.

Председатель. — Потом, вы двинулись с бывшим императором из ставки в Псков?

Фредерикс. — Меня уже не было. Я уже был арестован. Государя арестовали после меня.

Председатель. — Его арестовали, но он отрекся. Ведь вы знаете, где произошло его отречение?

Фредерикс. — Не помню.

Председатель. — Я могу напомнить вам, что вы уехали от бывшего императора 5-го марта, а отрекся он 2-го марта. Значит, путь из ставки в Псков вы проделали вместе с государем.

Фредерикс. — Нет, это наверно нет. Я это помню, потому что меня поразили слова государя, когда я сказал ему: «Ваше величество, я с вами приехал, позвольте вернуться с вами в Петроград», он сказал: «Нет, я прошу вас уехать теперь, потому что имею сведения, что на вас хотят сделать покушение, вас хотят арестовать. Для меня было бы крайне оскорбительно, если бы это случилось в моем доме». Я говорю: «Мне ужасно больно, ваше императорское величество, в такую минуту вас бросить, но я сегодня же уеду». В тот же день я уехал, а в Могилеве меня арестовали.

Председатель. — Скажите, разве во время поездок, за высочайшими завтраками и обедами, не говорилось о политике, не обсуждались государственные вопросы?

Фредерикс. — Нет. Государь всегда не любил говорить за столом о политических вопросах. Он всегда говорил с тем министром, который докладывал.

Председатель. — А во время прогулок не было бесед?

Фредерикс. — Во время прогулок . . . я не мог ходить. Я никогда во время прогулок не сопровождал государя. Государь молодой человек, а я старик, мне будет 79 лет, куда мне . . . А государь бежит так скоро, как лошадь. Я оставался, скучал дома. У меня развивалась нервная болезнь, которая теперь дошла до высшей степени. Я вам ничего интересного сказать не могу.

Председатель. — Граф, скажите, у вас много было прислуги в доме?

Фредерикс. — В доме, т. е. когда его еще не сожгли?

Председатель. — Да, до событий.

Фредерикс. — И все, что там есть. Это — громадной ценности . . . все это сожжено . . . все мои документы, все мои бумаги, все портреты семейные, все, что у меня было, все сожжено . . .

Председатель. — Мне интересен вопрос о прислуге. Вы не помните, часть вашей прислуги была обязана по закону итти на войну, т.-е. отбывать воинскую повинность?

Фредерикс. — Нет.

Председатель. — А не принимали вы мер к тому, чтобы они не шли на войну?

Фредерикс. — Те, которые должны были итти, ушли. Например, выездной моей жены, солдат Преображенского полка, — он ушел.

Председатель. — Не принимали вы мер к тому, чтобы укрыть от воинской повинности ряд людей из числа вашей прислуги?

Фредерикс. — Чтобы я, старый солдат, это сделал. Я бы его выдал немедленно. И они прекрасно, все мои бывшие подчиненные, например, швейцар — старый конногвардеец. . .

Председатель. — Помните, у вас был повар Д. Еремеев?

Фредерикс. — Что он солдат, я не знал.

Председатель. — Затем управляющий Ктиторов?

Фредерикс. — Это до меня не касается. Я человек больной. У меня есть главноуправляющий, который, к сожалению, совершенно самовластно ведет мои дела, что для меня совершенно непрактично; но в том состоянии, в котором я нахожусь, да еще раз арестован, я своими делами заниматься не могу.

Председатель. — У вас был Церингер, Н. К.

Фредерикс. — Церингер был, только я хочу припомнить, где он был; а что, он тоже солдат?

Председатель. — В делах имеются сведения о целом ряде лиц. Я могу назвать 12 фамилий, из которых десять человек — ваша прислуга.

Фредерикс. — Да я никогда бы эту вещь не сделал.

Председатель. — Скажите, вы не имели никакого отношения к охранной агентуре?

Фредерикс. — Нет.

Председатель. — Вы признаете некоторых из этих лиц, например, истопника И. Ежова, вашими слугами?

Фредерикс. — Может быть.

Председатель. — Повар Д. Еремеев?

Фредерикс. — Да, и он очень хороший повар.

Председатель. — Буфетный мужик Савва Яков Иоган?

Фредерикс. — Его я не знаю.

Председатель. — Выездной Эммы Владимировны — И. А. Солтан?

Фредерикс. — Я его не знаю.

Председатель. — Наконец, ваш буфетчик, Д. А. Васин. Все эти лица фиктивно были чинами агентуры, а на самом деле, служили вам. Ведь служба у вас — не есть законный повод для освобождения от воинской повинности?

Фредерикс. — Но ведь они ничего незаконного не сделали.

Председатель. — И они, и вы — делали нечто незаконное. Они, по должности, должны были отбывать воинскую повинность, а вы устроили так, что они были фиктивными чинами охранной полиции, потому что они — ваша прислуга.

Фредерикс. — Мне это неизвестно, потому что, в виду моей болезненности, я очень мало занимался своими делами. Быть может, дворцовый комендант Воейков...

Председатель. — Но не сделал ли он этого по вашей просьбе?

Фредерикс. — Нет, я никогда бы об этом не просил; кто меня знает... Я столько лет, я всю жизнь прослужил на военной службе, чтобы я такую штуку сделал... Я сам начал с солдата в 1856 году...

Председатель. — Вы все время говорили, граф, что вы не вмешивались в дела политические и занимались только делами министерства двора. Вам известно было, что в 1915 году военный министр Сухомлинов был уволен от должности, о его действиях было назначено расследование, которое перешло потом в предварительное следствие, и он был привлечен по обвинению в государственной измене?

Фредерикс. — Я слышал. Только, насколько он действительно виноват, я не знаю.

Председатель. — Не принимали ли вы какого-нибудь участия в этом самом Сухомлинове?

Фредерикс. — Господи, да никакого. Я его знал в молодые годы, когда я командовал бригадой, а он был начальником штаба первой гвардейской кавалерийской дивизии. С тех пор мы потеряли друг друга из виду. Он женился, не знаю, кажется, не совсем удачно. Одним словом, мы домами не были знакомы.

Председатель. — Позвольте вас просить выслушать документ, который я сейчас оглашу: «По сведениям от лица из состава Государственной Думы, генерал-адъютант Сухомлинов избран как наиболее подходящий предлог для дискредитирования правительства и подкопа под самодержавие. Депутат Милюков заявил, что на Сухомлинове зиждется весь центр борьбы с Государственной Думой. Председатель совета министров Штюрмер знал заранее содержание возмутительной речи Половцова, бывшего его подчиненного. Генерал Поливанов эти ложные обвинения бывшего военного министра оставил без возражения. Под влиянием членов Государственной Думы на комиссию генерала Петрова производился нажим для того, чтобы добиться суда, который вызвал бы скандал, подрыв правительственной власти и привлечение к ответ-

ственности крупных лиц, до членов императорской фамилии включительно. По частным сведениям, сенатор Гарин высказался за то, что для обвинения не имеется никаких юридических данных. Опасение, что при таких условиях суда может и не быть, по необоснованности и бездоказательности обвинения, в речах членов Государственной Думы произносятся беспрерывно возмутительные нападки, намеки на какие-то письма, которые Сухомлинов якобы не желает выпускать из своих рук и т. п. инсинуации, вплоть до обвинения его чуть ли не в измене. Появляющиеся слухи о полученном будто бы Сухомлиновым назначении вызывают в Думе раздражение, новые выступления и ложь, на которую он лишен возможности возражать. Необходимо прекратить эту настоящую провокацию». Записка, которую я вам огласил, объявляет настоящее дело провокацией, направленной к дискредитированию правительства и являющейся подкопом под самодержавие. Вам известна эта записка?

Фредерикс. — Нет.

Председатель. — На ней имеется надпись: «Получено от В. А. Сухомлинова 17-го февраля 1916 года, гр. Фредерикс». Будьте добры посмотреть — ваша рука? (Передает Фредериксу бумагу.)

Фредерикс. — Вот видите ли, какие могут быть наговоры. Вот говорят, что я говорил то-то и то-то, а я в первый раз слышу. Я могу вам сказать, что по сходству оно похоже на мой почерк. Но чтобы я такую вещь написал, я могу поклясться, что я бы не сделал. Я бы поклялся, что я этого не писал, но я не могу поклясться.

Председатель. — Это только похоже на ваш почерк или это ваш почерк?

Фредерикс. — Я говорю: похоже, что не я писал. Я готов поклясться, что не писал.

Председатель. — Вы готовы поклясться, что не писали?

Фредерикс. — А сходство есть безусловно.

Председатель. — Граф, вы, может быть, желаете отдохнуть, я вас утомил?

Фредерикс. — Разрешите мне сделать вам заявление. Позвольте мне сидеть или стоять, как я хочу, потому что я иногда больше сидеть не могу, а в другой раз больше стоять не могу. Одним словом, я больной человек, очень много действует на мое здоровье тот образ жизни, который мне создан.

Председатель. — Позвольте вас допросить, а потом мы об этом поговорим. Вы можете стоять или сидеть, как вам угодно будет. Быть может, вы вспомните, при каких обстоятельствах вы получили эту записку?

Фредерикс. — Но зачем он мне это пишет?

Председатель. — Вспомните, пожалуйста, что год с небольшим тому назад Мосолов сделал вам в присутствии Б. В. Штюрмера доклад по делу Сухомлинова.

Фредерикс. — Очень жаль, что Мосолова нет. У него память лучше моей. Он все-таки это знал.

Председатель. — Оглашается письмо за подписью А. А. Мосолова от 23 февраля 1916 г. на имя Штюрмера: «Глубокоуважаемый Борис Владимирович, согласно выраженного вашим высокопревосходительством желания, поспешаю представить вам список с моего доклада гр. Фредериксу, который имел честь прочесть вам вчера в присутствии графа. Пользуюсь этим случаем, чтобы возобновить мои уверения отличного моего почтения и совершенной преданности. Всегда к услугам вашим А. Мосолов». Затем позвольте огласить доклад от 21 февраля: «Ожидание решения по делу Сухомлинова во всех слоях общества и населения волнует умы. Общий голос народный высказывается за то, чтобы его судили по всей строгости закона. Мотивы, побуждающие требовать суда над Сухомлиновым, весьма разнообразны. Народные массы требуют суда, ища виновника временных неудач на войне, приписывая их исключительно недостаточности снабжения армии оружием и боевыми припасами. Он является для толпы виновником гибели массы солдатских жизней, требующих возмездия. Из политических партий благомыслящие монархические желают суда, для справедливого наказания за совершенные преступления, если таковые будут доказаны беспристрастным судом. Эти элементы сравнительно малочисленны и во всяком случае не занимаются пропагандою, но другая часть политических партий, именно та, которая особенно энергично агитирует в народных массах, это антимонархические элементы, которые хотят взвинтить суд над Сухомлиновым во всесветный скандал, дискредитирующий правительство и могущий нанести сильный удар монархическому принципу. Вопрос о предании суду Сухомлинова по закону подлежит рассмотрению I департамента государственного совета. При утверждении государем императором решения I департамента Сухомлинов подлежит преданию верховному суду. Этот вполне закономерный порядок казался бы наиболее соответствующим, как более других снимающий личную ответственность с государя императора, но ранее чем на него решиться, следует принять во внимание последствия, вызываемые преданием Сухомлинова верховному суду, — а именно: 1) Дело затянется на месяцы. 2) Сухомлинов, защищая себя, притянет к делу массу лиц и неминуемо дискредитирует правительство, а в частности военное ведомство, что неминуемо, не только в Думе, но и в народе нанесет чувствительный удар правительственной власти, не говоря уже о впечатлении, произведенном этим делом на наших союзников, и ликовании в рядах наших врагов. 3) За тайну производства верховного суда

ручаться нельзя при большом числе судей и причастных к делу лиц, когда суждение даже в совете министров на следующий же день комментируется уже в клубах и биржевых кругах. 4) Следствием огласки того, что происходит в судебных заседаниях, может явиться и огласка военных тайн, что теперь едва ли допустимо. 5) Суд над Сухомлиновым неминуемо разрастется в суд над правительством. Эхо происходящего в суде раздастся преувеличенно в кулуарах Думы, откуда в чудовищных размерах разольется на улицу и проникнет в искаженном виде в народ и армию — пятная все, что ненавистно народу, — полагаю при этом, что правительство, несмотря на все им принятые меры, не будет иметь полной уверенности оградить верховную власть от брызг той грязи, которую взбаломутит этот суд. 6) Наконец, является вопрос, — допустимо ли признать гласно измену военного министра Российской империи. Казалось бы, что по изложенным причинам верховный суд над Сухомлиновым недопустим. Непредание Сухомлинова суду тоже немыслимо, как в виду общественного мнения страны, так и потому, что масса подробностей следствия проникла уже в Думу и там обсуждается. Если было бы возможно, невзирая на право Сухомлинова быть судимым верховным судом, — передать дело о нем в военно-полевой суд, то этим сократилось бы время, возможно бы до минимума, уменьшить огласку происходящего на суде, а государь император мог бы указать те поступки, которые бы судились и тем весь этот суд остался бы в размерах личных проступков и преступлений Сухомлинова. Решение вопроса, возможно ли Сухомлинова судить военным судом за деяния его в бытность министром, может только последовать при рассмотрении этого вопроса опытными юристами. Если бы предание военному суду оказалось невозможным, то казалось бы, общественное мнение могло бы вполне удовлетвориться, если вопрос о предании суду будет теперь же решен в положительном смысле, но самый суд будет отложен до окончания войны. Теперь же, для удовлетворения того же общественного мнения, не ожидая предстоящего суда, — если данные следственной комиссии в достаточной мере доказывают виновность Сухомлинова, то представлялось бы необходимым испросить высочайшего указания государя императора о лишении Сухомлинова звания генерал-адъютанта и заключения его до суда в крепость или же разжаловать его в солдаты с отправлением на персидский фронт, — последнее, конечно, лишь в том случае, если его величество не признает в деяниях Сухомлинова измены. Во всяком случае напряженность ожидания решения вопроса о Сухомлинове теперь так велика, что для правильного течения дел государственных необходимо возможно безотлагательно принять то или иное решение». Эта записка направлена опять к тому, чтобы, по возможности, ограничить гласный суд над Сухомлиновым, потому что это вредно

для престола. Да еще неизвестно, допустимо ли, чтобы гласно был признан изменником военный министр Российской империи. Граф, ведь тут есть имена: это ваша беседа со Штюрмером и с Мосоловым. Что вы можете объяснить по этому поводу?

Фредерикс. — Но я ничего вам не могу сказать, потому что не помню.

Председатель. — К категории тех же попыток затушить через вас дело Сухомлинова относится следующий проект рескрипта бывшего императора на имя военного министра Сухомлинова: «Ознакомившись с докладом назначенной мной верховной комиссии по расследованию причин недостаточного пополнения запасов воинского снабжения армии, я пришел к заключению, что нет фактических данных относить это исключительно к вашей виновности. В короткий сравнительно срок после предшествовавшей войны вы смогли, при известных мне не легких условиях, восстановить боевую готовность армии настолько, что она блестяще отмобилизовалась, сосредоточилась, и доблестные войска наши второй год ведут упорную борьбу с сильными врагами. Признаю поэтому справедливым выразить вам мою благодарность за понесенные в этом деле труды и разрешаю воспользоваться продолжительным отпуском для восстановления расстроенного вашего здоровья». Вы не припомните такого проекта?

Фредерикс. — Я совершенно мало знаю Сухомлинова. Я презирал его и очень мало видел. Прежде, когда он был молодой человек, дело другое.

Председатель. — Когда и за что вы стали презирать Сухомлинова?

Фредерикс. — Теперь, когда начали слухи ходить, я перестал с ним быть знакомым.

Председатель. — Как же вы перестали быть знакомым, а 17 февраля 1916 года делаете пометку, что от Сухомлинова получили документ?

Фредерикс. — Я не знал содержания, но — что он мне передал. Тогда я объявляю, если мне кто-нибудь даст бумагу, я передам ее, а не оставлю у себя.

Председатель. — Зачем же вам от человека, с которым вы раззнакомились и которого презираете, брать бумагу, которая не относится к министерству двора, а относится к его собственному делу?

Фредерикс. — Если бы Мосолов здесь был, он мне помог бы припомнить, что вот в такой-то комнате. Я откровенно говорю, я не помню. Это очень для меня прискорбно, потому что я не могу ответить на те вопросы, которые вам желательно было бы знать.

Председатель. — Чем объясняется, что вы ходатайствовали перед председателем совета министров Штюрмером, чтобы Сухо-

млинову дали несколько больше удобств в крепости, чтобы его перевели в другую комнату, так как, по заявлению госпожи Сухомлиновой, в помещении есть клопы?

Фредерикс. — Это я сделал бы для всякого, для того, чтобы не пытать людей. Ну, он — дрянь, это дело его совести. Если я увижу, что этот Сухомлинов будет тут тонуть, то, конечно, постараюсь его вытащить. Нельзя же мне сказать: «Послушайте, как же вы такую дрянь спасаете?»—Да потому, что он — человек.

Председатель. — Но Сухомлинов не тонул, он сидел под арестом, а госпожа Сухомлинова жаловалась, что в помещении его есть клопы, и вы по этому случаю берете на себя предстательство за него.

Фредерикс. — Я не знаю, почему он обратился ко мне о клопах; кто-нибудь попросил, тот же Мосолов, может быть.

Председатель. — Вы не помните, что вы просили Штюрмера, чтобы Сухомлинова не ели клопы?

Фредерикс. — Этого я не помню. Я мало этим интересовался.

Председатель. — Разве вы не помните, что была сделана попытка предать Сухомлинова военно-полевому суду, чтобы было меньше огласки?

Фредерикс. — В этом я не принимал участия. Я вообще, за последнее время, очень мало принимаю участия. Я не в состоянии. Теперь у меня одно — готовиться к смерти с чистой совестью, больше ничего. Служить или что, куда мне. Я такого человека, как я, сам пожалел бы. Когда мог, я делал добро, помогал всегда.

Председатель. — Граф, как ваше имя и отчество?

Фредерикс. — Владимир Борисович.

Председатель. — В каких отношениях вы были с князем Андрониковым?

Фредерикс. — Кто он такой, Андроников? Он военный?

Председатель. — Ни военный, ни штатский, неопределенных занятий был человек. Занимался тем, что писал письма и проводил всякие дела.

Фредерикс. — Ах, знаю! Ни в каких отношениях, насколько я могу вспомнить. Я всегда отказывал ему в приемах. Он всегда вмешивался в дела, до него не касающиеся, очень много болтал, и я всегда его просил меня не впутывать в дела. Он очень красноречив, хотел объяснить, что это моя обязанность. Мосолов этого Андроникова ненавидел, выходил обыкновенно и прямо его выставлял из моего дома. Я припомнил теперь — такой толстый, белокурый.

Председатель. — Граф, если вы так относились к Андроникову, чем объясняется то, что верноподданнические телеграммы Андроникова вы доводили до высочайшего сведения?

Фредерикс. — Он часто через разных лиц. Государь его знал.

Председатель. — Нет. Но именно вы — доводили до сведения

Фредерикс. — Шутя, чтобы государь не поверил. Государь тоже спрашивал, что это за человек. Я говорю: «Репутация у него отвратительная. Больше я ничего не могу сказать, потому что подтвердить этого я не могу, особенно в глазах вашего величества». Он ко мне лез, я его не знаю. Я всегда держался в стороне. Не понимаю, как меня притянули. Люблю охоту, это дело другое, а вмешиваться в дела, меня не касающиеся, — это не мое дело.

Председатель. — Граф, вы получали от кн. Андроникова письма по государственным делам?

Фредерикс. — Получал, но я их не читал. Я передавал это Мосолову.

Председатель. — Часто бывало, что вы докладывали его телеграммы «для шутки», как вы говорите, государю?

Фредерикс. — Нет, я передавал. Это лежит в канцелярии министерства двора. Что я буду держать письма? Мне мало интересен этот Андроников. Когда он придет в канцелярию и скажет: «Мне только на два слова», я говорил тогда Мосолову: «Пожалуйста, вы с ним сидите, и, после двух слов, уведите его».

Председатель. — Вы не припомните, что тот же Андроников составил какую-то работу к юбилею Горемыкина? Эту работу Андроникова вы препроводили государю императору.

Фредерикс. — Это в канцелярии делали. Говорил мне Мосолов или нет, но Андроников мне лично ничего не передавал, потому что я с ним никаких дел не хотел иметь.

Председатель. — Важно то, что вы эту брошюрку предлагали государю императору, хотя она ко двору никакого отношения не имела. Мосолов пишет Андроникову: «Милостивый государь, князь Михаил Михайлович, по поручению г. министра императорского двора имею честь сообщить, что доставленная вашим сиятельством для поднесения государю императору брошюра, посвященная деятельности председателя совета министров статс-секретаря И. Л. Горемыкина, представлена по высокому назначению, и за означенное подношение повелено благодарить вас от высочайшего его императорского величества имени. Примите, милостивый государь, уверение в истинном почтении и совершенной преданности. А. Мосолов».

Фредерикс. — Это может быть, что я передал брошюру.

Председатель. — Есть еще целый ряд писем на ваше имя от Андроникова по поводу деятельности различных министров и разных вопросов государственной жизни.

Фредерикс. — Писем я не читал, безусловно. Во всяком случае, не помню. Он много писал, это верно, но он меня мало интересовал, и что я не высокого мнения о нем, это тоже верно. Он, кажется, не глуп...

Председатель. — Вот телеграмма, в которой вы благодарите его за поздравление. Так что вы не только принимали письма, но в некоторых случаях и отвечали.

Фредерикс. — Это может быть связано с моими именинами. Тогда я из вежливости ответил.

Председатель. — Значит, иногда отвечали? Это — 17-го июля 1915 года.

Фредерикс. — Это может быть, потому что я всегда вежлив. Если меня кто-нибудь поздравляет, я всегда отвечаю.

Председатель. — Граф, что вам известно об организациях «Союза русского народа»?

Фредерикс. — Ничего.

Председатель. — Вам не приходилось, исполняя чье-либо поручение, обращаться к этого рода организации с циркулярными обращениями? Может быть, тоже по случаю какого-нибудь поздравления?

Фредерикс. — Я не знаю, что это такое за учреждение.

Председатель. — Граф, что угодно вам сказать по поводу вашего положения?

Фредерикс. — Когда человек поступил на службу в 56 году, это все-таки известный срок; за службу я, кроме благодарности, ничего не имел. Я поступил во время крымской войны нижним чином, охотником, в Конный полк. Потом прослужил всю службу в Конном полку. Потом при императоре Александре II я был произведен в офицеры конной гвардии, в 58 году. Потом служил в Конном полку до полковничьего чина, когда государь император назначил меня командиром полка. Командовал я этим полком Конной гвардии 8 лет. После этого я получил бригаду, еще будучи командиром полка, мне дали бригаду. Так что я бригадой командовал 10 лет, Кавалергардским и Конным полками. Я хотел заявить, что мои жизненные условия теперь для меня ужасно тягостны. Я живу в больнице, под стражей. Раньше были преображенцы, а теперь Финляндский полк.

Председатель. — Граф, я должен сказать, что мы не имеем отношения к вашему содержанию под стражей. Вы арестованы по распоряжению Временного Правительства. Мы можем довести до сведения министра юстиции о том, что с нашей стороны не имеется препятствий, но сами освободить вас не можем.

Фредерикс. — Я понимаю. Только, чтобы он не принял это в дурную сторону, чтобы мне не было хуже, не дай бог. Я хочу только сказать, какого рода мое состояние. Ко мне приставили 4-х человек. Дверь моя должна быть открыта постоянно. В дверях сидит часовой с ружьем со штыком. Сидит и смотрит, когда я лежу в кровати. Я всю ночь дверь не могу закрыть. Одеваясь, я должен все детали моего туалета делать при нем, всегда перед этим человеком, который стоит и смотрит, как я одеваюсь.

Председатель. — Граф, позаботьтесь о том, чтобы ваша супруга и дочь хлопотали перед министром юстиции.

Фредерикс. — Они уже это сделали. Моя жена очень серьезно больна сердцем и не может ко мне приехать, и я не могу видеть ее. За что? Что я сделал?

Председатель. — Граф, это будет сделано.

Фредерикс. — Пожалуйста, только, чтобы не стало хуже. Хуже трудно, чтобы сделали. Вообще, ужасная грубость этих людей, они — на «ты».

Председатель. — Граф, нужно пожаловаться их начальству.

Фредерикс. — Ради бога, чтобы меня не перевели еще в крепость. Я не выживу там недели, умру. Они говорят так: «Ну, слушай, тебе вот до этого места ходить». — «Почему? Меня вчера пускали . . . ». — «Ну, я не намерен с тобой разговаривать». Я говорю: помилуйте, чтобы с генералом так говорил нижний чин. Я, как старый военный . . . Разве вас не возмущает подобное обращение?

Председатель. — Да, конечно. Вы должны были сказать начальству, и это было бы прекращено.

Фредерикс. — Я сообщал, но никакого результата нет.

Председатель. — Вы в какой больнице?

Фредерикс. — Во французской. Очень прискорбно для нас, потому что французские доктора и другие, кто там, все вежливы, а наши — все грубы неимоверно.

Председатель. — Граф, мы сообщим министру юстиции.

XLVI.

ДОПРОС И. М. ЗОЛОТАРЕВА.

2 июня 1917 года.

Содержание: Заведывание Золотаревым департаментами: полиции, духовных дел и строительным. Работа Золотарева в департаментах после назначения Джунковского товарищем министра. Замещение Золотаревым министра внутренних дел. Заведывание полицией. Взгляд Золотарева на деятельность департамента полиции. Агентура. Убийство Столыпина. Агентура секретная. Инструкция по организации и ведению внутренней агентуры. Съезды по вопросу об изменении характера агентуры. Особое совещание по вопросам политического розыска. Дело Малиновского. Ревизия Виссарионовым охранного отделения. Власть товарища министра внутренних дел. Взаимные отношения министра, товарища министра и директора департамента полиции.

Председатель. — Игнатий Михайлович Золотарев, вы изволили быть товарищем министра внутренних дел с 22 октября 1911 года по 24 июля 1915 года. В течение какого времени вы заведывали департаментом полиции и какие обязанности несли до этого?

Золотарев. — Когда я вступил в заведывание департаментом полиции, точно доложить комиссии не могу. Вероятно, я приехал из Новочеркасска 1 ноября и заведывал департаментом до назначения министром Маклакова. Фактически, до вступления в должность товарища министра Джунковского, я исправлял обязанности по заведыванию департаментами полиции и духовных дел, технически к ним присоединился также строительный департамент. Когда министром внутренних дел был назначен Маклаков, я просил уволить меня от всех обязанностей, но меня не уволили, и я согласился остаться при других обязанностях, но с этого времени прямо департаментом полиции я не заведывал. Я не входил подробно во все дела, но все-таки ответственность, лежащая на товарище министра до вступления Джунковского, лежала на мне. Вероятно, это было 26 января.

Председатель. — 25 января 1913 года. После того, как Владимир Федорович вступил в отправление обязанностей товарища министра, чем вы заведывали?

Золотарев. — Главными департаментами, лежавшими на моей ответственности, были департаменты общих дел и духовных дел, затем на мне была медицинская, ветеринарная части и строительный отдел. Вот собственно все главные отделы, других отделов не было. Затем, так сказать, через меня проходила законодательная работа, и на меня же было возложено выступление в Гос. Думе по вопросам, касавшимся департамента полиции.

Председатель. — Так что вы, даже и не ведая делами департамента полиции, выступали в Государственной Думе по запросам, касавшимся этого департамента?

Золотарев. — Что касается ответов, которые я давал на запросы в Государственной Думе, то ни один запрос не касался времени моего заведывания департаментом полиции; я давал всегда ответы по запросам, касавшимся предшествующих дел, не проходивших во время моей деятельности, а также по вопросам, которые были подняты впоследствии. Их было не особенно много, и многие из них мне были переданы с подготовленными ответами, но так как или сроки не подходили, или в повестках их не было, я на них не отвечал. Насколько мне помнится, из времени моей деятельности по департаменту полиции мне не пришлось отвечать.

Председатель. — В какие периоды вы исполняли обязанности министра внутренних дел?

Золотарев. — К этому вопросу я не подготовился и точно сказать ничего не могу. Считаю обязанным доложить по этому вопросу комиссии, что общее руководство министерством как при Макарове, так и при Маклакове, во всех случаях, когда я исполнял обязанности, оставалось за самими министрами. Я, исполняя за министров обязанности, только направлял срочные высочайшие доклады и срочную переписку. Все это я позволяю себе подчеркнуть не в целях снятия с себя ответственности, но в виду того, что у меня не было докладов директоров, получавших указания, как действовать у министров; текущая переписка шла тоже помимо меня. Объясняется это тем, что сроки, в продолжение которых я оставался за министра внутренних дел, были незначительны. Засим, если позволите от себя прибавить, в то время, когда департаментом полиции заведывал Джунковский, он, перед самым приездом президента Французской Республики в Петроград, уехал в Баку, в виду бывших там беспорядков, и на меня было возложено в это время наблюдение за порядком в городе. Когда была объявлена война, то после инцидента, бывшего здесь на площади перед германским посольством, министр внутренних дел, не особым ордером, а словесно, передал, что обязанности наблюде-

ния за порядком в городе возлагаются опять на меня. Всего этого в моих формулярах нет.

Председатель. — Когда до Джунковского вы были товарищем министра внутренних дел, в ваше ведение входил департамент полиции, и, стало быть, директора обращались к вам по делам?

Золотарев. — Директор департамента полиции находился в том же классе должности, как и товарищ министра, в должности III класса. Он имел непосредственные доклады министру внутренних дел, помимо товарища министра. Доклады, хотя и происходят в присутствии товарища министра, но делаются непосредственно министру внутренних дел, и вся обязанность затем ложится на директора департамента полиции. Я должен сказать, что если бы было иначе, я не пошел бы в товарищи министра внутренних дел, в заведующие полицией. Я смотрел на эту должность особо. Товарищ министра исполняет обязанности как товарищ министра, как это сказано в законе. Вся обязанность лежит на директоре департамента. Как известно Следственной Комиссии, прежде существовал особый товарищ министра, заведывающий полицией. Засим, если не ошибаюсь, в 1905 году (точно не помню, но помню, что в собрании узаконений и своде законов имеется указание, в каком году) эта должность заведывающего полицией была отменена. Если я лишнее что говорю, будьте добры сказать, чтобы не задерживать Комиссию.

Председатель. — Пожалуйста, продолжайте, я слежу.

Золотарев. — Я говорю, что не пошел бы в товарищи министра, потому что, когда мне предлагали должность директора департамента полиции, а мне два раза она предлагалась Столыпиным, я от этого самым категорическим образом отказывался потому, что имел сведения, как должен действовать товарищ министра, директор департамента полиции, у которого должны быть особые свойства и особый навык, у меня лично отсутствовавшие. Вот, собственно, почему я так сделал. Когда я заведывал департаментом полиции, мне приходилось выступать в Государственной Думе и особенно в государственном совете, по делам местного хозяйства, так как начальник главного управления по делам местного хозяйства не имел полных прав товарища министра в вопросах, соприкасавшихся с какими-нибудь другими частями министерства внутренних дел и потому выступать в гос. совете в качестве представителя министра не мог.

Председатель. — Директорами департамента полиции при вас были Зуев и Белецкий?

Золотарев. — Зуев и Белецкий.

Иванов. — А вице-директором Виссарионов?

Председатель. — И отчасти Брюн-де-Сент-Ипполит?

Золотарев. — Нет, Брюн-де-Сент-Ипполит был назначен по выбору Джунковского. Затем был период в 1914 году, когда

Брюн-де-Сент-Ипполит уезжал вместе с товарищем министра Джунковским в Баку. За это время его заменял вице-директор Кафафов, заведывавший не политической, а законодательной частью. Значительно позднее был Васильев.

Председатель. — Кто же еще был, не припомните?

Золотарев. — Вице-директором Виссарионов, но кто-то был потом опять.

Иванов. — Может быть, Браевский?

Золотарев. — Нет, при мне Браевского не было.

Председатель. — Должен сказать, что мы не допрашиваем вас ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого, а лишь в виду принадлежавшего раньше первому департаменту гос. совета и предоставленного комиссии права, просто, по ходу дела, нуждаемся в объяснениях. Это истребование объяснений по вашей должности по некоторым интересующим нас моментам. Благоволите, прежде всего, дать нам картину внутренней деятельности департамента полиции, краткий очерк того, что вам известно, как товарищу министра, об особых свойствах и навыках, о которых вы упоминали в связи с тем, что не нашли возможным занять должность директора департамента полиции?

Золотарев. — Я не хотел сказать, что отказывался занять должность директора департамента полиции потому, что усматривал провокационные действия. Если бы я их усматривал, я бы мог взяться за это с целью их уничтожить. При деятельности моей по прокурорскому надзору в Москве, где я заведывал одно время политическими делами, а потом выступал в качестве обвинителя и затем, при деятельности в качестве прокурора новочеркасской палаты, по раскрытию преступлений, подлежащих обследованию по уголовному уложению, были случаи, где установлены неправильные действия. Я предполагал и считал, что директор департамента полиции, как человек, стоящий во главе розыска по государству, должен обладать знанием технической стороны, должен знать приемы, которые являются допустимыми и законными. Я считал, что всякое раздробление его по ветвям в разных местах является не совсем удобным, в виду того, что чем больше будет должностей, тем больше будет лиц, которые, не обладая достаточных опытом и знанием дела, могут сделать что-нибудь не только злонамеренное, но и ошибочное. Проследить же за всею сетью представляется на мой взгляд невозможным. Поэтому я предполагал, что все руководящие нити должны находиться в руках директора департамента полиции. Что касается вопроса относительно деятельности полиции вообще по империи, то я об этом затрудняюсь что-либо сказать. Общая характеристика находится в соответствии и уровне с существующими нравами, которые иногда трудно преодолеть, т.-е. нравами не только лиц, призванных водворять порядок, но и лиц, среди которых порядок водворяется.

Мне кажется, в руках Комиссии может быть много материала в этом отношении. Я сам не мог этот вопрос изучать, а потому об этом доложу Комиссии в следующем моем рассказе. Что касается внутренней деятельности департамента полиции, то агентуры, находящейся в заведывании директора департамента, не имелось. Так что следить за ведением агентуры в самом департаменте не было материала. Год с небольшим, когда я заведывал департаментом полиции, на мне, собственно, лежала обязанность устройства поездки по открытию памятника императору Александру III. Затем всех торжеств, которые должны были быть по случаю 12-го года. В этом, собственно, самая главная часть по департаменту полиции лежала на мне. Эта первая поездка была в течение мая месяца. Потом позднее была...

Председатель. — Уже 12-го года?

Золотарев. — Я вступил в ноябре 11-го года. Это была первая поездка, требовавшая к себе очень серьезного внимания, потому что нужно было разработать план устройства торжеств в Москве и принять меры для охраны. Должен вам доложить, что принятие каких-нибудь мер, в ожидании террористических актов, я совершенно отрицал, потому что в то время таких актов не было. Так что меры заключались вовсе не в том, чтобы кого-нибудь арестовать или удалить, а были чисто внешние.

Председатель. — Игнатий Михайлович, как вы говорите, что не было террористических актов, когда как раз за два месяца перед тем был убит Столыпин?

Золотарев.—Я не отрицаю, что террористические акты были. Это обстоятельство заставило меня сильно призадуматься, какая же такая организация розыскного дела, если произошло убийство, неизвестно откуда, как с неба упавшее. Но на этом мысль останавливалась, и это меня чрезвычайно мучило. По данным, что я имел, я не говорю об отдельных министрах, а говорю только о личности государя и о мерах, которые я принимал. О министрах я этого не берусь сказать.

Председатель. — Итак, вы вступили в должность товарища министра, заведывающего департаментом. Что вы нашли здесь касательно постановки внутренней агентуры и было ли благополучно или неблагополучно то, что вы констатировали?

Золотарев. — Общая схема организации агентуры. Один вопрос, что я осуществил, вопрос о принятии тех или иных сведений, которые даются к возможному руководству. Я никогда, в виду своей принадлежности к судебному ведомству, к прокурорскому надзору, не считал, что показания какого-нибудь агента могут иметь значение доказательства или улики. Они могут быть только расследованы; если считать по судебному уставу, то там сказано: «если полиция, узнавши по слухам» — вот эти-то слухи и должны быть проверены. Если эти слухи не подтвердятся, я не могу

лицам, являющимся источниками или первоисточниками слухов, доверить, что слухи верны. Это вопрос техники — искусство применения сведений, которые даются. Ведь вопрос, конечно (это, может быть, несколько академично, я хотел только сказать свою точку зрения), заключается все-таки в том, что агентура представляется в таком виде, что, если лицо желает знать, что происходит, то оно без агента обойтись не может, потому что иначе оно ничего не будет знать. Вопрос, как оно относится к объяснениям агента. Затем, при признании агентуры, ведь всякое лицо поставлено в положение, что приходят и сообщают ему: я имею сведения и возможность раскрыть преступление. От услуг такого лица, если оно может дать объяснения, отказаться невозможно. Опираясь на это, едва ли можно признать, что Богров был рекомендован лицами, которые им пользовались.

Председатель. — Это уже вопрос судебный. Но не останавливали ли вы своего внимания на основном вопросе, о недопустимости, с точки зрения существовавших тогда законов, самого учреждения секретной агентуры?

Золотарев. — То-есть существования закона?

Председатель. — Не внешней агентуры, а агентуры секретных сотрудников, т.-е. лиц, служивших на жалованьи по вольному найму у правительства, чинов, подведомственных департаменту полиции, и, вместе с тем, состоявших членами преступных, с точки зрения существовавших тогда законов, организаций?

Золотарев. — Этот вопрос тоже находится в связи с тем, что вы изволите говорить, т.-е. вопрос политики, принятой по производству розыска. Конечно, этот вопрос оставался.

Председатель. — Как решали его в департаменте полиции, как решали его вы?

Золотарев. — Нельзя сказать, чтобы в департаменте полиции вопрос был решен отрицательно. Раз агентура существовала, это было невозможно. Но этот вопрос обсуждался. Взять на себя разрешить его в отрицательном смысле я не мог. Тем более, вы изволили совершенно верно поправить меня, только что совершено было убийство Столыпина. И если у меня существовал взгляд, что не будет террористических актов, то я не мог убедить других министров, что этого не будет. Я, конечно, не могу сказать, что видел какие-либо практические результаты из того, что были лица, которые служили и давали сведения. Напротив, Богрову, при неумелом ведении этого дела, легче было бы совершить преступление, если бы он не был агентом. Так что я не могу сказать, что агентура является совершенным способом, который подлежит несомненно сохранению. С внешним наблюдением я, как прокурор, имел дело при постановке суда. Внешнее наблюдение всегда нам давало возможность собрать такие улики, которых внутреннее наблюдение никогда не давало. Все данные, которые

прошли через мои руки, за то, что никогда ни один агент, ни внутренний, ни внешний, на суде никаких показаний не давал. Так что и в этом отношении надобности мнения агентуры внутренней, которая дает вам сведения, не имеется. Внешняя агентура, которая дает вам возможность выяснения, без нее, конечно, обойтись не представляется возможным. Этот вопрос существует в течение многих лет, и его нельзя было разрешить так скоро, в течение года.

Председатель. — Не убедились ли вы, что существование учреждения секретной агентуры, вкоренившись в нравы департамента полиции, является источником преступлений, творившихся в недрах департамента?

Золотарев. — Нет, я этого не скажу. Но скажу, что оно, может быть, являлось источником незнания того, что творилось кругом, так как начальник охранного отделения, имеющий агента, возлагал на него все свои надежды и на этом агенте, выражаясь тривиально, выезжал. Не то, чтобы это было источником, этого я не могу сказать. Я позволю себе только заметить, что я, как бывший судья, по моей прокурорской деятельности и по тем сведениям, которые у меня имелись в руках для раскрытия преступлений, непосредственных свидетелей, как из числа специальной, так и общей полиции, не имел.

Председатель. — Вы, заведуя полицией, конечно, знали документ, называвшийся инструкцией по организации и ведению внутренней агентуры наблюдения?

Золотарев. — Я должен доложить, что в то время, когда был товарищем министра, у нас по вопросу о переорганизации было несколько съездов. Не могу сказать, чтобы я всемерно проводил свое мнение, но я старался влиять на этот вопрос в смысле изменения, в виду возможности объяснения обстоятельства дела, но это ни к чему не привело. Я не могу говорить против факта и не могу сказать, что положение было правильно, раз мы видим, что Богров, сотрудник охранного отделения, убил председателя совета министров, причем Богров был лицом, на которое указывал товарищ министра.

Председатель. — Одни лица, работавшие в департаменте полиции, находили, что это недостаток умения руководить, ошибка агента, другие же полагали, что корень зла в существовании самого института, ведущего за собою неизбежно ряд преступлений. Что вы знаете в этом отношении?

Золотарев. — Я не знаю, что могу сказать в этом отношении. Я нахожу, как изложил уже раньше, может быть, недостаточно только определенно, что это институт, без которого можно, и даже, может быть, должно обойтись.

Председатель. — Но что если, например, агент, который дает сведения, принимает активное участие в деятельности кружка, к которому принадлежит?

Золотарев — Конечно, это недопустимо, потому что может повлечь за собой много такого... Собственно, я не уразумел вашего вопроса.

Председатель. — Как вы относитесь к инструкции, которая допускает такую вещь, как введение таких лиц в кружки?

Золотарев. — То-есть вы хотите сказать, что я должен был отменить эту инструкцию?

Председатель. — Нет, я не ставлю так вопроса.

Золотарев. — Инструкция издана в 1907 году, и без изменения существовала при мне. Я не хочу снимать с себя ответственности, которой и не считаю на себе, и нравственно и по закону. Ведь я был не исполнительною властью в качестве товарища министра. Ведь положение товарища министра совершенно определенно и ясно. Товарищ министра, один по себе взятый, это — нуль. Он подписи не имеет. Моя бумага, подписанная как тов. министра, не имеет никакого значения. Следовательно, я должен только путем докладов высказывать свой взгляд. Конечно, от характера человека зависит, чтобы настоять на проведении своих взглядов, и можно винить человека за то, что он не проводил своих взглядов. Во всяком случае взгляды не так-то легко проводить. Одним словом, положение было тогда таково, что по времени, которое воспоследовало вслед за этим, ломка не могла быть совершенно осуществлена. Я доложил, что, когда ушел Макаров и был назначен Маклаков, я просился уйти, и была сделана комбинация с перемещением меня в другие департаменты, на что я и согласился.

Председатель. — Но в течение времени, когда вы близко стояли к деятельности департамента полиции, вы не делали попытки коренным образом переработать или уничтожить инструкцию?

Золотарев. — Я докладывал, что были собрания по вопросу о выяснении, каким образом улучшить положение; но самую инструкцию видоизменить, такой попытки я не делал, и должен сознаться, не делал потому, что мне, как человеку, который только что вступил в должность, нужен был все-таки некоторый промежуток времени, чтобы ознакомиться. Отменить ведь это недолго.

Председатель. — То-есть нескоро?

Золотарев. — Нет, я говорю отменить недолго: взять и написать—инструкция отменяется,—недолго, но ведь ее нужно было заменить новым положением.

Иванов. — По чьим инициативам были созваны при вас съезды?

Золотарев. — Я этого точно сказать не могу. Может быть, по инициативе министра.

Иванов. — А под чьим председательством, не помните — Виссарионова?

Золотарев. — Я председательствовал. Виссарионов был в подкомиссиях.

Иванов. — Ах, под вашим председательством. Эта инструкция не была пересмотрена на съездах?

Золотарев. — У нас были общие положения. Я высказывал, конечно, свой взгляд.

Председатель. — Как вы относились к тому основному вопросу, что лицам, которые должны были бы быть арестованы, выплачивалось жалованье и допускалось, чтобы они развивали свою деятельность и принимали участие в организациях? Как вы относились к положению, что учреждение, которое должно пресекать преступления, в сущности говоря, разводило эти преступления, с которыми на местах вы, как прокурор суда, боролись?

Золотарев.—Если разделить на два вопроса, то основное предложение: допустимо ли вообще пользоваться за денежное вознаграждение сведениями, даваемыми лицами, заведомо принадлежащими к революционной организации?

Председатель. — И продолжающими там работать.

Золотарев. — И продолжающими там работать. Совершенно верно. Затем, иногда происходило таким образом, что были целые организации, которые состояли именно только из одних агентов. Конечно, здесь преступление. Во всяком случае безотносительно к вопросу о том, допустима ли такая система со стороны того лица, которое это допустило, конечно, это ведет к совершению преступления.

Председатель. — Ну, это частности. Вот система говорит, что там, где есть организации, должны быть агенты, которые должны в ней оставаться, т.-е. работать и получать жалованье за доставление сведений.

Золотарев. — Я точно не помню всех пунктов. Относительно обстоятельства, что должен оставаться в организации, может быть, оно таково, что не преступно само по себе, т.-е. если они в своем кругу занимаются исследованием вопросов, которыми занимается партия с.-р., то само по себе это не есть что-либо преступное.

Председатель. — Ну, это гипотетический случай. Инструкция говорит: членами одной из революционных организаций. Конечно, при существовавших законах кружок лиц, теоретически изучавших положение с.-р. учения, был не преступен. Но здесь, когда инструкция имеет в виду революционную организацию и внедрение сотрудников, то она предполагает кружок лиц, который наказуем по 102 статье Уголовного Уложения.

Золотарев. — Я, конечно, затрудняюсь сказать потому, что инструкции я точно не помню. Представить это трудно. Вопрос

в том, раз система принята, хотя бы и решено ее отменить, но пока она существует, известные указания, конечно, должны быть даны. Так что мне кажется, этот вопрос нужно было разбить на две части. По поводу второй части я бы посмотрел на нее, как на разногласие. Потому что злоупотребления несомненно здесь являются действиями провокационными, за которые эти лица являются ответственными.

Председатель. — Особое совещание, посвященное вопросам политического розыска, происходило в 1915 году, и первой наиболее многочисленной секции его были предложены самые жизненные, в розыскном отношении, вопросы о современном положении политического розыска, о причинах его упадка и способах поднятия на надлежащую высоту. Казалось бы, если съезд работает под вашим личным руководством, то вопрос о законности, в связи с этими общими вопросами о современном положении, должен был быть поставлен, тем более, что вы занимались как раз и пересмотром действовавших инструкций и положений о розыске?

Золотарев. — Я не думаю, чтобы это был вопрос о законности. Раз эта система принята, исходной точкой было то, что агентура остается и должна существовать.

Председатель. — В департаменте полиции существовала очевидно мысль двинуть туда юристов, чтобы они внесли туда законность. Как известно, например, сто лет существовала перлюстрация писем, не имеющая законного основания. Для нас, юристов, ясна незаконность этой системы, так что нельзя ссылаться на факт при суждении о законности.

Золотарев. — Я не ссылаюсь на факт. Я говорю, что в это время уничтожения агентуры, т.-е. системы, которая была, было признано несвоевременным. С этой системой надо было считаться, что она существует и что она будет продолжать существовать, не могу вам сказать до чего...

Председатель. — Но, признавая это, как вы не подошли к вопросу с точки зрения, насколько это допустимо по закону?

Золотарев. — На совещании этот вопрос, конечно, выставлялся, но не в такой форме, что оно должно решить, что агентура не должна существовать.

Председатель. — Будем говорить не о совещании, но в обыденной действительности, в департаменте полиции?

Золотарев. — В практике, в применении, иногда предусматривались дела и расследования, которые производились; в то же время, когда я был товарищем министра, они не производились.

Председатель. — Но вообще?

Золотарев. — Как осуществлялось в жизни, в действительности то, что было признано не подлежащим немедленному устранению?

Председатель. — Возьмем как отдельный пример дело Малиновского. Что вам известно о том, как Малиновский, агент департамента полиции, стал членом Государственной Думы?

Золотарев. — Ничего не известно.

Иванов. — По делу Малиновского вам никогда не докладывали?

Золотарев. — Ведь выборы в Гос. Думу были во время моего отсутствия, я был за границей. Как производились выборы в Гос. Думу, как попал Малиновский — об этом я не знаю. Затем, я вернулся, это было в ноябре месяце 1912 года, но от этого дела я отошел. Вообще об именах агентов мне не докладывалось, я не интересовался, интересуясь только данными дела, которое мне докладывали.

Председатель. — Были вам доклады в связи с прохождением в Думу Малиновского?

Золотарев. — Нет, не было.

Председатель. — Игнатий Михайлович, вы помните, что при вас, да и после вас Виссарионов занимался тем, что ревизовал охранное отделение. Он представлял вам доклады по этому делу?

Золотарев. — Доклады были.

Председатель. — Вот один из рапортов, относящийся, кажется, к 1912 году. Есть здесь ваша рука, на этой странице? (Показывает бумагу.)

Золотарев. — Есть.

Председатель. — Что написано вашей рукой?

Золотарев. — «Прошу Виссарионова переговорить и прошу обратить внимание на мою отметку в рапорте».

Председатель. — А это — карандашом налево, чья рука?

Золотарев. — Макарова.

Председатель. — «Прошу его высокопревосходительство С. Е. Виссарионова переговорить». Это ваша рука?

Золотарев. — Это моя рука.

Председатель. — А «прошу обратить внимание на это»?

Золотарев. — Это тоже моя.

Председатель. — А где же Макарова?

Золотарев. — Синим карандашом.

Председатель. — Ну, начнем иллюстрировать эти ваши положения. Вот рапорт Виссарионова. Не помните ли вы, не говорится ли здесь чего-нибудь о секретном сотруднике, которого предполагается выставить членом Государственной Думы?

Золотарев. — Может быть, я не отрицаю, но, как он попал в Думу, я не знаю. Это было в мое отсутствие.

Иванов. — Вы не знаете ничего о той переписке, которая предварительно производилась между начальником московского охранного отделения и департаментом полиции? Кажется, докладывалось министру и товарищу министра о тех обстоятель-

ствах, которыми сопровождались выборы Малиновского в Думу. Не известно вам и о том, что у Малиновского был дефект, по поводу которого тоже была переписка?

Золотарев. — Я не могу с положительностью сказать. Есть вещи, которые забываются.

Иванов. — Это крупное дело.

Золотарев. — Я не принимал участия в этом деле. Может быть что-нибудь приходилось слышать, как отголосок.

Иванов. — Вам не докладывали по поводу этих обстоятельств?

Золотарев. — Это должно было итти и могло итти только через тех лиц, которые принимали участие в подготовке к выборам в Гос. Думу.

Иванов. — Вы не помните, кто был начальником охранного отделения в Москве?

Золотарев. — В то время, должно быть, был Мартынов.

Иванов. — А здесь?

Золотарев. — Белецкий.

Председатель. — Так вот, Игнатий Михайлович, вы признали, что эти отметки сделаны вашей рукой?

Золотарев. — Это все моей рукой.

Председатель. — Позвольте вас спросить. Если ваша отметка против этого места, это свидетельствует, что вы его читали. «Другой сотрудник Пелагея избран разъездным агентом. . .» Вы отчеркиваете и убеждаетесь, что секретные сотрудники занимают активные посты в партии. Так, например, разъездного агента, обязанностью которого является разъезжать по России и нарушать статьи закона, т.-е. организовывать группы, распространять литературу и т. д., выбирают в транспортную комиссию, т.-е. вы убеждаетесь, что агент ваш, которому платит жалованье министерство, занимается тем, что транспортирует литературу в Россию, вообще является организатором революционного дела в России. Каково же было ваше отношение, приняли ли вы какие-нибудь меры к тому, чтобы все это уничтожить и если не приняли, то почему? «Московское охранное отделение обладает всей центральной с.-д. организацией». Это не пассивное наблюдение внутри, «Портной, рабочий, токарь по дереву — член Гос. Думы». Как вы знаете, это Малиновский. «Весьма ценный сотрудник». Когда жандарм этим занимается, ему и бог велел. Но как вы приложили свою руку к этому? Каким образом не явилась мысль пресечь все это ни у вас, ни у А. А. Макарова, который писал эту бумагу?

Золотарев. — Объясняется очень просто. Ведь безусловно при том положении, которое было, при всей той подготовке к работе, которая была, лица, находящиеся во главе, обязаны были нести всю ответственность и знать, что готовится и что делается. Вы сказали, что система никуда не годна, вы сказали, что система

незаконна, что мы нарушали закон. Да, но тогда я буду себя обвинять в том, что у меня нет умения и знаний заменить эту систему, которая признана несоответствующей, скажем, даже незаконной, какой-нибудь другой системой. Она все-таки что-то дает. Разве можно сказать, что это усовершенствованные методы? Разве можно сказать, что этим путем можно дойти до какой-нибудь истины? Я понимаю, что нет. Но мы должны итти к улучшению. Если я скажу, что мы стремились улучшить это дело, это будет голословное утверждение. Чем я могу доказать это? Я прихожу и застаю известную систему, которую нужно изменить, а пока я должен ехать на этой повозке. Существующее в продолжение 10-летий исправить в течение 10 месяцев немыслимо. Осведомленность должна быть. Предположите себе такое положение. Я сижу у себя в кабинете. Приходит человек и говорит: «Я вам могу сообщить сведения—подготовляется террористический акт, но я еще не совсем его раскрыл, мне нужен некоторый срок, мне на это нужны деньги». Я ему скажу: «Нет, я это не признаю законным, и вам денег не дам и слушать не желаю». Он не желает иметь дела со мной и уходит, а террористический акт имеет место. Ответственен я или не ответственен за это? По закону и нравственно ответственен я или нет, что убили человека? Потому что из каких побуждений — это другой вопрос.

Председатель. — А вы как отвечаете на этот вопрос?

Золотарев. — Я ставлю вопрос риторически. Я говорю: вот как создавалась агентура. А что всякий прием гипертрофируется, получает безобразное проявление — это совершенно верно, это в жизни всегда так. Безусловно нужно это исправлять. Если бы я был в состоянии исправить и поставить дело так, чтобы обезопасить каждого, я бы это сделал. В этом должно быть стремление каждого. Вот я говорю, какая дилемма. Я не могу сказать, чтобы я над этим не задумывался. Если в течение года я счел свои силы недостаточными, то потому, что положение было слишком тяжелое. Последующие обстоятельства показали, какое было положение. Невозможно было итти по этому пути. Одно дело — занимать известную должность, другое дело — если известный прием нужно заменить каким-нибудь другим, — тут нужно взять всю ответственность на себя.

Председатель. — В частности, по делу Малиновского вам докладывал Белецкий о том, что есть предположение, о котором вы знали по записке, чтобы Малиновского проводить в Думу?

Золотарев. — Этого он мне докладывать, вероятно, не мог, потому что я уехал, когда шли выборы в Думу. В выборах я никакого участия не принимал. Так что едва ли точно, что мне докладывали, что он проводится в Думу. Если это есть в показаниях, которые он дал, вероятно, это так и было.

Председатель. — Я вам напомню, что было препятствие в его прежней судимости, во-первых, это, что у него есть серьезный конкурент.

Золотарев. — Чтобы устранить это препятствие, я участия не принимал. Я вообще что-то смутно припоминаю об этих препятствиях, но, вероятно, произошло какое-нибудь недоразумение, что мне фамилия Малиновского не была известна.

Председатель. — Но «Портной»?

Золотарев.—Когда я в газетах читал фамилию Малиновского, мне это ничего не говорило, потому что подлинной фамилии его я, вероятно, и не знал. Затем, никаких распоряжений, чтобы препятствия были сняты, чтобы он прошел в Думу, я не делал. Я не понимаю, какой смысл в том, чтобы агент был членом Гос. Думы? Какая собственно цель?

Председатель. — Смысл в том, что член Гос. Думы занимает центральное положение в партии, стало быть, он может больше знать и вообще развить свою деятельность.

Золотарев. — Насколько это целесообразно, я не понимаю. Я в Думе бывал и знал, что такой-то член Думы говорит. Сношение с членами Думы существует.

Председатель. — Позвольте устранить вопрос о значении этого. До того, как его выбрали, вы не знали, что его выбирают, а после того, как его выбрали, вы узнали о том, что один из членов Думы состоит на жалованьи в департаменте полиции?

Золотарев. — Относительно жалованья я не распоряжался. Так что я не могу сказать, что он получал.

Председатель. — Это неважно, сколько он получал, а важно, что он агент.

Золотарев. — Что с ним были сношения, это я знал.

Председатель. — То-есть вы знали, что член Гос. Думы состоит агентом?

Золотарев. — Как понять слово агент?

Председатель. — Портной, рабочий, токарь служил с 1905 г.

Золотарев. — Что он был в Гос. Думе, этот самый агент, который был здесь указан, я должен сказать, что я это упустил из виду. Относительно же того, чтобы сведения сообщал Малиновский, я не слыхал.

Председатель. — Но самый факт, что ваш секретный сотрудник достиг известных степеней в том смысле, что занял одно из мест в законодательной палате — это вам было известно?

Золотарев. — Это было известно.

Председатель. — Как же вы себе представляли? Мы все читаем газеты, Малиновский говорил зажигательные крайние речи, требовал демократической республики, всего прочего. Как же, собственно, в сознании вашем сочеталось это с известным вам фактом, что он состоит на службе у охранного отделения?

Золотарев. — Позвольте доложить, что я тогда ушел из заведывания департаментом полиции. В декабре месяце меня не было. Никакой власти я не имел.

Председатель. — Как же вы власти не имели, вы же были товарищем министра? Малиновский с первого же дня функционирования Думы выступил с речами. Дума начала функционировать в конце 1912 года — это как раз дни вашего заведывания делами полиции в качестве товарища министра. Только с января или февраля 1913 года вы оставили этот пост.

Золотарев. — Совершенно верно. Я говорю, что я уходил с должности товарища министра, и власти изменить это положение у меня не было.

Иванов. — Игнатий Михайлович, вы все-таки признаете, что подобного рода факты и действия, как заведомое участие в проведении агента охранного отделения в депутаты Думы, являются совершенно противозаконными?

Золотарев. — Какое же участие я принимал? Никакого.

Иванов. — Я бы вообще хотел знать ваше мнение, что это — противозаконно или нет?

Золотарев. — Мое положение в этом отношении несколько затруднительно. Это теория, а есть практика; практически какой может быть результат от того, чтобы член Думы был агент?

Иванов. — Однако, Игнатий Михайлович, вы говорите, что вы все время хотели уйти, отойти от этого дела, вы, очевидно, сознавали, что все это неправильно, незаконно?

Золотарев. — Есть вещи, которые мне не по силам. А правильны они или нет, — это мне трудно сказать. Это вопрос, который не подлежит моей компетенции.

Иванов. — Вы уходили потому, что это не под силу, слишком большое дело?

Золотарев. — Проявлять свои убеждения, свои взгляды товарищ министра не может.

Иванов. — Неужели товарищ министра в таком положении?

Золотарев. — Тут положение такое: или подчиняйся, или уходи. Я говорю, как был поставлен вопрос. Я не могу сказать, что министр неправильно действует, я этого не говорю, это вопрос политики. Но есть закон, и надо расчленять вопрос о целесообразности применения известных мер. Если товарищ министра начинает распоряжаться по-своему, ему это не место.

Председатель. — Если это целесообразно с вашей тогдашней точки зрения, но незаконно, то почему вы занимаете позицию, что нужно было стать на точку зрения целесообразности, а не на точку зрения законности?

Золотарев. — Я не это хочу сказать, я хочу сказать, что я никакого участия в проведении Малиновского в Гос. Думу не принимал, что у меня никакой власти, чтобы устранить или уничто-

жить эти последствия, как у товарища министра, на точных основаниях учреждения министерства, не было.

Председатель. — Вы изволили сказать, что в департаменте не было агентов. Ведь Малиновский был как раз агентом, которым руководил директор департамента полиции. Вы знали это?

Золотарев. — Я сейчас говорю, что, когда я вступил в департамент полиции, то за все мое время агентов там не было. Потом я уезжал заграницу. Выборы в Думу были произведены в мое отсутствие, и через некоторое время по моем возвращении я собрался уходить. Пользовались ли сведениями Малиновского и в каких отношениях, — я не знаю.

Председатель. — Но вы знали, что имеется агент, называется ли он Малиновский или «Портной», я не знаю, которым руководит директор департамента полиции?

Золотарев. — Это обстоятельство мне было известно. Он говорил, но как он руководит, я в этот вопрос не входил.

Председатель. — Но позвольте, этот факт. Белецкий говорил, что «Малиновским руковожу я».

Золотарев. — Да, он это говорил.

Председатель. — Но когда вы читали, что Малиновский произносил зажигательные речи, а вам Белецкий говорил: «Я им руковожу», как у вас укладывались эти два факта?

Золотарев. — Хорошо, может быть, они у меня и не укладываются, мы не знаем.

Председатель. — Но мы хотели бы знать, это уж не по должности.

Золотарев. — Слушаюсь. Но я хотел сказать, что товарищ министра может сделать и что должен сделать.

Председатель. — Игнатий Михайлович, вы говорите, что террористический акт — большое зло, для предотвращения которого иногда приходится нарушать закон. Но какие террористические акты предотвращал Малиновский? Между тем ему позволяют развить его деятельность, ведь вы же не можете не согласиться, что, когда он был «Портным», то его деятельность, с точки зрения государственной, с точки зрения тогдашней ст. 102, была менее противозаконна, нежели его деятельность в качестве члена Гос. Думы.

Золотарев. — Если я говорил, что не считал террористическим актом, то говорил именно по вопросу о том, как создается иногда агентурная система. Я привел только яркий случай, пример террористического акта. Но ведь это может быть относительно такого обстоятельства, например, нападение, которое готовится. Это я взял для иллюстрации обстоятельства, что если человек отказывается от агентуры, как он может быть вовлечен в необходимость воспользоваться услугами ее? Относительно Малиновского я позволю себе повторить, что во всяком случае, как бы я к этому

вопросу ни относился, у меня нет никакой власти изменить это положение.

Апушкин. — Вы сказали, что присутствовали при докладах директора департамента полиции министру. В чем выражалось ваше присутствие при этих докладах?

Золотарев. — Я высказывал свое мнение.

Апушкин. — Стало быть, вы имели возможность высказывать свое мнение?

Золотарев. — Обязательно.

Апушкин. — И стало быть, путем своего мнения, как товарища министра, наблюдающего за деятельностью департамента полиции, вы могли отклонить предложение директора департамента полиции. Вы сейчас заявили, что не имели никакой власти локализировать?

Золотарев. — Совершенно верно.

Апушкин. — Стало быть, вы имели возможность присутствовать при докладах директора департамента полиции и докладывать министру свое мнение?

Золотарев. — Да.

Щеголев. — Скажите пожалуйста, разве вы не могли запретить директору департамента полиции иметь сношение с Малиновским? Ведь в этом докладе есть ваше мнение о том, что агентура поставлена плохо, что ее нужно улучшить и т. д. Разве вашего мнения для директора департамента полиции не было достаточно для того, чтобы прекратить общение с секретным сотрудником — членом Думы?

Золотарев. — Это зависит от авторитета лица, который высказывает свое мнение.

Иванов. — И власти?

Золотарев. — Власти у меня не было.

Щеголев. — Здесь, в вашей резолюции, сказано: отклонить или сделать. Почему в данном случае, если вы делали такое распоряжение, оно не было исполнено?

Золотарев. — Мне идет в доклад то, что не идет к министру, и я за министра делаю распоряжение. Это частное распоряжение. А вопрос, конечно, более значительный, который товарищ министра не может решить без министра.

Щеголев. — Вы не считали нужным давать директору департамента полиции какие-нибудь указания относительно сотрудников?

Золотарев. — По тем распоряжениям, которые были сделаны не от меня, конечно, не мог.

Председатель. — Игнатий Михайлович, то, что вы делали, вы делали с ведома министра внутренних дел?

Золотарев. — По департаменту полиции все доходит до министра. Незначительная часть идет только к товарищу министра.

Председатель. — Так что все, что идет по департаменту полиции, министр внутренних дел знает?

Золотарев. — Да, почти все. Конечно, иногда есть вещи, которые он не знает, но эти вещи особенного значения не имеют. Так что директор департамента делал доклады не особенно существенные — мне, а затем общие — министру внутренних дел. Я, конечно, не могу сказать, чтобы он все знал.

Председатель. — Он знал все главнейшее в этом отношении?

Золотарев. — Да, все главнейшее.

Председатель. — Вот, как мы видим, даже этот рапорт Виссарионова об отъезде имеет отметку министра внутренних дел. . .

Иванов. — Какого?

Председатель. — Макарова. И это не исключение, а правило. Министр внутренних дел интересовался деятельностью департамента полиции?

Золотарев. — Да, и поэтому директор департамента полиции был поставлен в такое положение, что мог непосредственно докладывать министру. Это была должность третьего класса.

Председатель. — А, как правило, доклад директора департамента полиции министру внутренних дел происходил в присутствии товарища министра?

Золотарев. — Да, это, так сказать, правило внешнего распорядка. Должны были присутствовать и другие товарищи министра, например, по департаменту общих дел и т. д.

XLVII.

ДОПРОС В. Ф. ДЖУНКОВСКОГО.

2 июня 1917 года.

Содержание: Реформаторские стремления Джунковского в качестве товарища министра внутренних дел по отношению к департаменту полиции. О секретном сотрудничестве в войсках. Противодействие реформе со стороны Белецкого. Отставка Виссарионова. Сотрудники в средне-учебных заведениях. Отношение Джунковского к провокации. Преемник Белецкого Брюн-де-Сент-Ипполит. Преемник Виссарионова Васильев. Характеристика деятельности Белецкого в департаменте полиции. Соотношения деятельности товарища министра и директора департамента полиции. Борьба Джунковского с Белецким. Белецкий и Распутин. Об отчетности в расходовании сумм из секретного фонда. Дело Малиновского. Дело Шорниковой.

Председатель. — Владимир Федорович, вы изволили быть товарищем министра внутренних дел с 25 января 1913 года, но приехали, кажется, несколько позже?

Джунковский. — Я вступил в должность 5-го февраля и сдал ее 16 августа 1915 г.

Председатель — По нашим сведениям, 19 августа 1915 г.

Джунковский. — Возможно. 16-го государь император меня уволил, но, может быть, фактически я ушел тремя днями позднее.

Председатель. — Значит, вы припоминаете, что были товарищем министра при министрах Маклакове и Щербатове. Вы приняли должность товарища министра при И. М. Золотареве. Директорами департамента полиции был при вас Белецкий и Брюн-де-Сент-Ипполит?

Джунковский. — Да.

Председатель. — А вице-директорами?

Джунковский. — Вице-директорами были Кафафов и Виссарионов. Виссарионов был вначале, потом Виссарионов ушел.

Председатель. — Кафафов был не по политической части?

Джунковский. — Политической частью, особым отделом, заведывал Виссарионов, а после него А. Т. Васильев.

Председатель. — Теперь вы изволите командовать дивизией?

Джунковский. — Я начальник 15-й сибирской стрелковой дивизии.

Председатель. — Вы приняли пост товарища министра по приглашению кого?

Джунковский. — Н. А. Маклакова.

Председатель. — Будьте добры изложить, что вы нашли в департаменте полиции. Какие изъяны были здесь, что остановило ваше внимание, с чем вы начали бороться, что вам удалось сделать и как? Внешняя структура нами уже изучена, а вот со стороны внутренней, со стороны политического розыска, мы желали бы получить дополнительные разъяснения, — особенно по вопросу о секретном сотрудничестве, о том, что на жаловании у департамента полиции состояли лица, бывшие членами революционной организации?

Джунковский. — Когда я приехал и вступил в должность товарища министра, то у меня, прежде всего, была мысль очистить корпус жандармов. Вот на что я, главным образом, обратил внимание.

Председатель. — Что именно вы считали нуждающимся в реорганизации?

Джунковский. — Мне хотелось отобрать от корпуса жандармов всю политическую часть и учредить политический орган, в который не входили бы офицеры. Вот в чем была моя основная мысль.

Председатель. — У вас была мысль наполнить этот особый политический орган юристами, представителями прокуратуры или просто порядочными людьми?

Джунковский. — Несомненно, мне хотелось это сделать. Но прежде всего мне нужно было, конечно, отобрать от жандармского корпуса все политические дела. Я хотел превратить жандармский корпус в боевую единицу и обставить его как жандармскую полицию на железных дорогах, в виду того, что железные дороги играют весьма важную роль в стратегическом отношении, а потому для сохранения порядка в смысле военном необходимо иметь там орган чисто-военный. Затем я предполагал реорганизовать конно-полицейскую стражу, которая имелась в то время во всех губерниях, но, по многим причинам, не достигала своего назначения, в дивизии, подобные тем, какие были в Петрограде, Варшаве, Москве и Одессе. Я хотел достигнуть того, чтобы конная стража не имела наемного характера, — чтобы это было настоящее войско по призыву. Я предполагал, что, при таких условиях, это будут рассеяны по всей России боевые эскадроны, которые будут иметь в себе, так сказать, мало полицейского, но будут призываться, в случае надобности, туда и сюда для сохранения порядка. Вот, собственно, какова была моя мысль относительно реоргани-

зации корпуса жандармов. Затем, первое, на что я обратил внимание и что, к счастью, скоро удалось сделать, относится к агентуре в войсках. Я считал, что иметь в войсках секретных сотрудников из самих солдат — это такой разврат и развал всей армии, что дальше терпеть этого нельзя. Встретил я в этом направлении большой отпор, так как многие из военных лиц с этим не соглашались, — находили, что только при такой агентуре и можно еще следить, чтобы в войска не проникла пропаганда. Я же доказывал, что эти агенты в войсках, которыми состоят сами солдаты, — какой-нибудь солдат, которому жандармский офицер платит три рубля за то, что он принес сведения, — недопустимы. Фактических данных у меня не было, я судил по рассказам. В Туркестане, например, было восстание в одном из саперных батальонов; говорили, будто это восстание произошло вследствие того, что сотрудник из солдат не давал сведений, что тогда ему передали прокламации и приказали распространить их, а затем посмотреть, у кого они найдутся. Все это я находил развратом, а потому принялся за уничтожение этого — с такою решительностью, что если бы не удалось, я бы ушел. Встретил я большое сочувствие в этом отношении у тогдашнего главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Я поехал к нему в надежде найти опору в этом деле и объяснил ему мою точку зрения. Он со мною вполне согласился и выразился так, что благословляет меня на это дело. После этого я с легкою душой мог это делать, потому что раз я имел такую крупную заручку, мне это было гораздо легче. Со стороны министра Н. А. Маклакова я тоже встретил, в этом отношении, полное сочувствие. Он сразу пошел мне навстречу и никакого противодействия с его стороны я не встретил. Противодействие я имел, главным образом, со стороны директора департамента Белецкого, который считал, что без этого все у нас пропадет. А я считал, что дело от этого может только выиграть.

Председатель. — Белецкий был против этого, а другие — Виссарионов, например?

Джунковский. — Я думаю, он тоже был против, — не могу сказать утвердительно, но департамент полиции, в полицейской его части, вообще был против. Вследствие этого я и стремился избавиться от них. И вот вначале избавился от Виссарионова, а потом от Белецкого, — потому что я встретил в них противодействие, а если и не встречал противодействия, то чувствовал, что говорят мне одно, а делают другое. Очень неприятное чувство было, поэтому я иначе не мог.

Председатель. — Значит, и Белецкий и Виссарионов должны были уйти по вашему настоянию?

Джунковский. — Безусловно. Виссарионова я сам, лично вызывал и сказал ему все, Белецкому же сказал министр внутренних дел Маклаков, по моей просьбе, в мое отсутствие.

Председатель. — А чем объясняется, что вы так долго терпели Белецкого?

Джунковский. — Очень трудно было отделаться от него.

Председатель. — Это вопрос о военной агентуре. Теперь не припомните ли что-нибудь, в связи с этим, об агентуре в средне-учебных заведениях?

Джунковский. — Это было то же самое. Не могу сказать, когда это было, но помню, что я наткнулся на этот вопрос, когда потребовались списки сотрудников по какому-то делу Я вдруг увидал: гимназист седьмого класса, гимназист шестого класса...

Председатель. — Это было по Петрограду?

Джунковский. — Не помню.

Председатель. — Может быть, это был доклад в связи с деятельностью полковника фон-Коттена?

Джунковский. — Вот, совершенно верно! Тогда я страшно возмутился и приказал, чтобы ни один учащийся в агентуре больше не был.

Председатель. — А не поднимался у вас общий вопрос о секретном сотрудничестве, — об оплате из средств государства лиц, которые, состоя в революционных организациях, совершали преступления? И если этот вопрос поднимался, то что говорили вам по этому поводу юристы, из числа тех, которые были в департаменте полиции? Ведь вы сами не юрист, не правда ли?

Джунковский. — Нет, не юрист.

Иванов. — Я хотел бы знать, Владимир Федорович, удалось ли вам добиться уничтожения военной агентуры?

Джунковский. — Удалось.

Иванов. — Но вам неизвестно, не восстановилось ли это потом, после вашего ухода?

Джунковский. — Удалось мне это с большим трудом. Несколько раз приходилось напоминать об этом. Сначала я один циркуляр издал об агентуре. Потом стали до меня доходить слухи, что прежний порядок все же сохраняется. Тогда я велел представить, для личной проверки, списки сотрудников и нашел в них несколько солдат. Тогда я отдал приказ, что если еще раз будет замечено это, то лицо, которое их привлекало, будет ли оно состоять в жандармской охране или охранном отделении, будет моментально отрешено от должности и предано суду за неисполнение приказа.

Иванов. — А после вашего ухода вам известно, что было?

Джунковский. — Я ведь сразу уехал на войну. До меня доходили слухи, что прежний порядок восстановлен, однако, утверждать я не могу.

Иванов. — У нас имеются данные на этот счет.

Джунковский. — Относительно того вопроса, который вы изволили задать мне сейчас, — о существовании сотрудников,

которые принимали участие в различных организациях, — я должен сказать, что не ставил себе этого вопроса в такой форме. Я поднимал вопрос о провокации вообще и где только мне удалось заметить какую-нибудь провокацию, там я старался, насколько я мог, вырвать ее с корнем. Но мне давалось это довольно трудно, потому что во все мелочи чисто практические я не входил, считая, что это не есть обязанность товарища министра: он должен давать лишь руководящие указания, а другие органы должны приводить эти указания в действие. Ведь на мне лежала такая масса дел, что вникать в подробности, следить за тем, кто такие сотрудники, откуда они и что из себя представляют, я не имел возможности, но я давал указания, чтобы провокации отнюдь не было. Наткнувшись на то, что после 1906 г. были организованы районные охранные отделения, и ознакомившись с деятельностью этих районных отделений, я увидел, что они поглощают колоссальную уйму денег; пользы от них не было никакой, а вреда очень много, потому что это было какое-то государство в государстве. На основании закона в России существовало три охранных отделения, — петроградское, московское и варшавское, и несмотря на мое желание произвести общую реорганизацию данного дела, для расформирования этих отделений не было решительно никаких данных. Но тут я наткнулся на существование районных отделений, как, например, центрального, северного, туркестанского, таганрогского — не помню уж теперь, сколько их было, но где только можно было, везде насажали охранных отделений, причем все они были вне закона, потому что на законном основании, повторяю, существовали только три, и если где процветала провокация, то как раз в этих отделениях. Для них создавались всевозможные инструкции, но агентуре предоставлено было такое широкое поле деятельности, что там все, что угодно, можно было делать. Поэтому в один прекрасный день я и уничтожил все эти охранные отделения, причем там, где ко мне очень приставали, что никак невозможно уничтожить, — в больших центрах и городах, — при жандармских управлениях учреждены были для регистрации особые розыскные или регистрационные бюро. Вот, собственно, что я могу вам сказать в ответ на ваш вопрос. А что касается состава сотрудников, вопроса о том, кто именно там работал или как работал, — я в это совершенно не входил, не спускался, так сказать, до этих низов.

Председатель. — Владимир Федорович, я забыл вам сказать, что мы спрашиваем вас не в качестве свидетеля и не в качестве обвиняемого, но нам принадлежит по закону право истребования объяснений о действиях высших должностных лиц. Именно этим объясняется этот вопрос. Вам совершенно ясно это ваше юридическое положение?

Джунковский. — Да.

Председатель. — Я обращаюсь к вопросу о том, как вы понимали провокацию и что натолкнуло вас на необходимость борьбы с нею?

Джунковский. — Провокациею я считал такие случаи, когда наши агенты сами участвовали в совершении преступления.

Председатель. — А самое участие их в революционном сообществе, в революционных организациях вы не считали совершением преступления?

Джунковский. — Это я не считал провокацией.

Председатель. — Вы не считали провокацией возбуждение к преступлению другого человека, а только совершение преступления самим вашим агентом?

Джунковский. — И то, и другое я считал провокацией. Но, если, например, принадлежа к той или другой организации, человек сообщил, что в организации то-то и то-то делается, я считал это не провокацией, а шпионажем. Если же, принадлежа к организации, он приходил и говорил, что то-то делается, и, пользуясь этим, сам устраивал преступление . . .

Председатель. — Ставил типографию, например . . .

Джунковский. — Одно время мода была такая — открывать тайные типографии. Сами устроят . . .

Председатель. — В департаменте полиции была такая мода?

Джунковский. — Да, да, в охранном отделении. Сами устроят типографию, а потом поймают и получают за это ордена. Вот относительно таких вещей я был немилосерден.

Председатель. — Вас натолкнул на этот вопрос какой-нибудь случай, который открылся вам по донесению?

Джунковский. — Я наткнулся на это, когда был московским губернатором. Я этого собственно не касался, но, по должности губернатора, я невольно замечал эти провокационные приемы и такие случаи, как был, например, в Москве, когда 13 каторжанок были выпущены из женской тюрьмы, причем их хотели поймать, но уже не могли поймать, потому что они удрали.

Председатель. — Вы установили, что это был провокационный прием охранного отделения?

Джунковский. — Я не мог этого установить, потому что у меня не было достаточных данных для этого, не было таких органов, при помощи которых я мог бы это доказать, но я вполне убежден, что это было именно так.

Председатель. — А другие известные вам случаи провокации?

Джунковский.—Были разные разговоры и слухи, что такую-то типографию открыли, такую-то типографию сами сделали. Опять-таки на основании фактов я не мог. Если бы у меня были факты, — хотя это меня и не касалось, — я бы вывел все это на чистую воду.

Председатель. — Вы изволили довольно широко определить провокацию, как такое явление, когда агент возбуждает на преступление другого человека, когда даже и сам он совершает преступление. Вы ознакомились с этой инструкцией, которая действовала там в департаменте полиции, — инструкцией по организации внутреннего наблюдения?

Джунковский. — Если вы покажете мне, я скажу вам. (Председатель подает документ.) Сейчас я вспомню. (Смотрит.) Нет, этого, вероятно, у меня не было. Кажется, не было. Я не читал, нет. Таких инструкций масса было, но многие не доходили до меня. Во всяком случае я не утверждал такой инструкции, насколько я помню.

Председатель. — Владимир Федорович, вы вообще с техникой розыскного дела были ведь не знакомы или мало знакомы?

Джунковский. — Совершенно был незнаком. Я ознакомился постепенно.

Председатель. — Позвольте поставить вам вопрос о провокации вне зависимости от этой инструкции. Человек, который совершает преступление, является по вашему собственному определению провокатором. Но наблюдается такое более общее явление, что государство платит жалованье лицу, которое продолжает оставаться в какой-нибудь преступной организации, в организации, нарушающей закон по 102 ст. угол. улож. Как вы смотрели на это?

Джунковский. — Я должен сказать, что я в это совершенно не входил. Меня это все время волновало и беспокоило, но я знал, что я ничего не добьюсь: во-первых, если я в департаменте полиции начну рыться, меня надуют самым лучшим образом, истины не скажут. Поэтому, чтобы очистить эту атмосферу, я стремился прежде всего избавиться от Виссарионова и от Белецкого. И когда мне это, наконец, удалось и директором департамента сделался Брюн-де-Сент-Ипполит, я успокоился, потому что это был чистый человек, и был уверен, что он во всем разберется, тем более, что мысли его всегда сходились с моими. Он смотрел на провокацию так же, как я. И я сказал себе, что пусть в этой области он занимается, а я буду исключительно заниматься корпусом жандармов.

Председатель. — А в числе тех лиц, которых вы хотели удалить, не было Васильева, который был потом директором департамента?

Джунковский. — Был. Я сам пригласил его на место Виссарионова. Дело в том, что, думая о том, кем бы заменить Виссарионова, я перебирал всех, кого знал: взять человека совершенно постороннего и незнакомого с департаментом полиции, я не решался, исходя из того, что сам я эту технику мало знаю и что при неопытном человеке нас могут еще больше запутать. Поэтому мне хотелось взять человека, который был бы все-таки

знаком с этим делом. Говорил я с разными лицами, которым доверял, и спросил относительно А. Т. Васильева. Мне сказали, что он ушел из департамента полиции вследствие разногласий, не сочувствуя тем приемам, которые там практиковались. Тогда я подумал: может быть, на нем мне и остановиться? Я его совсем не знал. Я пригласил его к себе, чтобы переговорить, и когда он высказал мне свои взгляды, он показался мне человеком подходящим и знающим это дело. Я и пригласил его на это место. Но должен сказать, что потом я очень раскаивался, что пригласил его, потому что чувствовал, что что-то от меня все-таки скрывается, а кроме того он показался мне человеком очень ленивым. Ничего дурного не могу о нем сказать, но он мне не соответствовал.

Председатель. — Потрудитесь формулировать, за что именно вы увольняли Белецкого и Виссарионова. Это понятно из того, что вы уже сказали, но мне хотелось бы, чтобы вы сами охарактеризовали ту деятельность, за которую вы нашли нужным их уволить.

Джунковский. — Я уволил их, главным образом, потому, что я им не верил. Это было главной причиной. А относительно Белецкого я определенно усматривал, что много было таких дел, которым я дам одно направление, а потом узнаю, что им дано другое направление.

Председатель. — Но каково же в общем было то направление, которое он давал вопреки вашему распоряжению?

Джунковский. — Все это касалось именно розыскного дела. Он считал, что я гублю розыск, что я вмешиваюсь в такие дела, в которые мне вмешиваться не нужно, а я настаивал. Кроме того, в департаменте полиции делалось много таких докладов, которые вовсе не доходили до меня, как до товарища министра. Я обратил внимание на то, что директор департамента полиции писал иногда: «товарищ министра приказал то-то и то-то», тогда как, в действительности, мне об этом деле даже и не докладывалось. Тогда я распорядился, чтобы безусловно все бумаги шли ко мне, и пока моей отметки на бумаге не будет, писать так нельзя. Писать, что товарищ министра приказал, можно только в тех случаях, когда я действительно приказал. Без доклада никаких бумаг мне не посылать. Это, конечно, отягощало мою работу, потому что мне приходилось вдвое больше бумаг писать и читать, чем раньше, но во всяком случае я был более спокоен.

Иванов. — При существовавшем порядке в министерстве внутренних дел взаимные отношения товарища министра и директора департамента полиции были таковы, что распоряжения товарища министра должны быть исполняемы директором департамента, или же директор департамента действовал самостоятельно?

Джунковский. — По закону директор департамента полиции может решать вопросы самостоятельно. Он тоже III класса должность имеет и является ответственным лицом за весь департамент полиции, а товарищ министра внутренних дел решает вопросы как бы за министра внутренних дел.

Иванов. — Значит, может делать распоряжения?

Джунковский. — Товарищ министра внутренних дел и директор департамента состоят в должности одного класса. Но раз министр внутренних дел поручает департамент полиции товарищу министра, то товарищ министра является в этих вопросах как бы министром внутренних дел.

Иванов. — И, следовательно, по известным делам департамента полиции директор департамента обязан ему подчиняться?

Апушкин. — Доклады директора департамента полиции министру внутренних дел происходили в вашем присутствии?

Джунковский. — Министр внутренних дел Маклаков никогда не принимал директора департамента без меня.

Апушкин. — Инициатива докладов исходила от директора департамента?

Джунковский. — Для этих докладов был назначен определенный день, раз в неделю, но при министре внутренних дел Маклакове доклады директора департамента были значительно сокращены против прежнего, потому что Маклаков сказал, чтобы ему докладывали только те бумаги, которые я найду необходимым довести до его личного усмотрения, все же остальные бумаги докладывались только мне, и я ставил на них резолюцию. У меня доклад департамента полиции делался два раза в неделю, — кажется, по вторникам и пятницам. В эти дни директор департамента являлся с докладом ко мне. Те дела, которые требовали принципиального согласия министра, так как я не решался сразу их разрешить, я приказывал отложить в доклад министру. Только они и докладывались ему. Поэтому доклад директора департамента министру в моем присутствии продолжался не более, чем час, полтора.

Председатель. — Позвольте вернуться к вопросу о провокации. Повидимому, вы себе этого вопроса не ставили под тем углом зрения, с какого мне хотелось бы их осветить. Между тем, если вы так широко понимали провокацию, как вы нам сказали, то как же можно было мириться с тем, что начальники охранных отделений губернских жандармских управлений выплачивали из казны жалованье людям, которых они должны были бы арестовать, потому что эти люди, состоя в тех или иных революционных организациях, совершают преступление?

Джунковский. — Вся система такая была до меня. Мне хотелось ее переделать, но я просто не успел ее переделать. Мне

хотелось получить именно такого директора департамента полиции, который бы взялся за эту перемену, но пока был Белецкий, я считал, что начну я переделывать или не начну, — все равно из этого ничего не выйдет.

Председатель. — Вам трудно было настоять на том, чтобы Белецкий оставил свою должность?

Джунковский. — Трудно.

Председатель. — У него была поддержка какая-нибудь?

Джунковский. — Да, у него были какие-то темные поддержки.

Председатель. — И вам трудно было бороться с ним?

Джунковский. — Он говорил: «хорошо», но я не имел никаких данных, чтобы проверить, будет это сделано или нет. Последним толчком к решению моему освободиться от него послужил вопрос о железнодорожных билетах. Департамент полиции имел много бесплатных билетов, не помню уже, сколько именно. Мне очень не нравилось, что эти билеты расходовались не на то дело, на которое они были даны, и что директор департамента полиции распоряжался ими для одолжения разным лицам. Один билет попался германскому комиссару из Млавы, который приезжал сюда к Фрейнату, чтобы переговорить относительно полицейских собак. Как-то раз министр путей сообщения прислал мне билет, который был отобран в поезде у какого-то пассажира, германского подданного, пограничного комиссара — не помню уже какой пограничной станции. Я сейчас же навел справку, кому этот билет принадлежит. Оказалось, что билет был выдан Фрейнату. Тогда я сделал распоряжение, чтобы Фрейната уволили, а от директора департамента полиции отобрали все билеты и передали их вице-директору Лерхе, который завел бы книгу для вписывания всех билетов и выдавал бы билеты по определенным правилам — так, чтобы все они были у него на учете. Я думал, что эта мера должна обидеть директора департамента: от него отбирают билеты, — значит, не доверяют ему. Я думал, что Белецкий обидится и уйдет. Но, к сожалению, он не обиделся, исполняя распоряжение, и не ушел. Тогда пришлось уже просить об увольнении его министра внутренних дел. Министр внутренних дел вполне со мною согласился, что надо избавиться от него.

Председатель. — Вы изволили сказать несколько раньше, что вы потребовали список сотрудников. Большой оказался список? Много секретных сотрудников в нем значилось?

Джунковский. — Это я не помню. Не особенно большой, кажется.

Председатель. — Вы взяли список по какому-нибудь отделению?

Джунковский. — По одному отделению. Может быть, в этом списке было человек 30.

Председатель. — В связи с вопросом об агентуре в средних учебных заведениях вы упомянули о фон-Коттене. Скажите, при каких обстоятельствах фон-Коттен ушел в отставку?

Джунковский. — Я приказал ему уйти.

Председатель. — В связи с каким случаем?

Джунковский. — В связи с ревизией охранного отделения.

Председатель. — В каком отношении обнаружилась неудовлетворительная постановка охранного отделения?

Джунковский. — Неудовлетворительность постановки сказывалась как в расходовании денег, насколько я помню, так и вообще.

Председатель. — Может быть, замечалось злоупотребление секретным сотрудничеством?

Джунковский. — Все вместе взятое. Очень много было мелочей.

Щеголев. — Не докладывалось ли вам во время ревизии о типографии, поставленной перед 9 января 1913 года и арестованной фон-Коттеном, причем выяснилось, что работали, набирали там сами сотрудники?

Джунковский. — Это, кажется, в Финляндии?

Щеголев. — Нет, в Парголове, по Финляндской дороге.

Джунковский. — Подробностей не помню, но помню, что факт этот был, и что в этом деле принимал участие фон-Коттен. Но главное, что я имел против Коттена, это была женская тюрьма в Москве.

Председатель. — Этот побег, о котором вы упомянули?

Джунковский. — Коттен был тогда начальником охранного отделения, и я считал, что это дело рук Коттена. Я ему высказал это, когда приехал в Петроград, — пригласил его к себе и предупредил.

Председатель. — Он отрицал это?

Джунковский. — Он не признавал, но и не особенно отрицал. Я сказал ему: «Вы знаете, что все это не доказано, но у меня есть в этом глубокое убеждение. Поэтому предупреждаю, что я смотрю на вас с подозрением. Чтобы оставаться на месте, вы должны быть чисты, как стеклышко. Если я малейше что-нибудь замечу, то нам придется расстаться». После этого я назначил ревизию охранного отделения, нашел там большие беспорядки, и он понял, что ему надо уйти.

Председатель. — При каких обстоятельствах состоялась отставка Белецкого и при чем тут было олонецкое губернаторство?

Джунковский. — Олонецкое губернаторство было ему предложено, чтобы как-нибудь поскорее от него избавиться, тем более, что у него были большие связи, а Маклаков ни за что не хотел просить, чтобы его сделали сенатором. Он говорил, что это слишком много для него. Вот в олонецкую губернию губер-

натором, это еще туда-сюда. А Белецкий говорил, что если его назначат губернатором, то он не уйдет. Тогда я говорю Маклакову: «По-моему, пускай лучше уходит хоть и в сенаторы — лишь бы только не оставался. Мне все равно». Не помню, кто был тогда министром юстиции, — кажется, Щегловитов. После этого вышло как-то, что Маклаков говорит: «Ну, Белецкий будет сенатором, значит, уйдет».

Председатель. — Вы не можете выяснить, на кого именно опирался Белецкий?

Джунковский. — В последнее время, я думаю, на Распутина.

Председатель. — Но тогда Распутин не был в такой большой силе.

Джунковский. — У него были большие связи в государственном совете.

Председатель. — Не замечали ли вы в бытность вашу товарищем министра каких-нибудь злоупотреблений по департаменту полиции в расходовании денежных сумм, в частности — расходовании на секретный фонд?

Джунковский. — Я замечал, что вообще расход денег в департаменте полиции колоссальный и что можно его значительно сократить. В силу этого при мне были проверены расходы по охранному отделению, районные охранные отделения были уничтожены. Затем были сокращены расходы в петроградском охранном отделении: я помню, они были в четыре раза сокращены по той смете, которую я утвердил. Может быть, я ошибаюсь, не в четыре раза, но мне так помнится; большая сумма была. Затем я обратил внимание на колоссальные траты на телеграммы. Это было что-то невероятное, какое количество тратилось на телеграммы, причем телеграммы писались совершенно зря и слишком многословно. На одних только телеграммах мне удалось сократить годовой расход тысяч на 30. Словом, экономия от всех этих сокращений вышла такая, что в то время, как в феврале месяце наличность сумм департамента достигала полмиллиона, в момент моего ухода я оставил там 1.600.000. Я могу ошибиться в сотнях тысяч, но все это есть в делах департамента.

Иванов. — Мне вот что интересно было бы знать относительно расходования сумм по § 5. Как вам известно, на расходы, не подлежащие оглашению, ассигновано было 3 миллиона с чем-то. Не обращали вы внимание на то, что весьма часто большие суммы давались в распоряжение директора? Вообще, какой порядок выдачи был установлен?

Джунковский. — Суммы эти выдавались директору авансом.

Иванов. — А директор департамента обязан был предъявлять отчет в этих суммах или они считались безотчетными?

Джунковский. — Он не предъявлял отчета. В департаменте полиции была отчетность.

Иванов. — В распоряжение директора департамента полиции выдавалось иногда несколько десятков тысяч. Требовалось ли, чтобы он представлял отчет в израсходовании этих сумм?

Джунковский. — В мое время таких выдач, я думаю, не было.

Иванов. — Я должен удостоверить это, но до вас это было.

Джунковский. — Это было, но я сразу запретил.

Иванов. — Получая в свое распоряжение такие суммы, директор департамента обязан был предъявлять отчет в них?

Джунковский. — Я добивался того, чтобы из этих сумм не давали посторонним лицам, ничего общего с департаментом не имеющим. Но это было.

Иванов. — Вы считали это законным или нет?

Джунковский. — Считал это незаконным. Я боролся с этим и встречил большую поддержку со стороны министра внутренних дел Маклакова.

Иванов. — По чьему распоряжению выдавались деньги лицам, не принадлежащим к составу департамента полиции?

Джунковский. — Это происходило так, что попросит кто-нибудь, — из подотчетной суммы дать нельзя, — ну, вот из секретного фонда департамента и возьмут.

Иванов. — Мне важно знать, признавалось ли это закономерным?

Джунковский. — Я признавал это совершенно недопустимым. Сам я больше всего боялся расходовать эти именно суммы. Я считал, что раз мне дается колоссальная сумма, которую я могу израсходовать одним росчерком пера и притом безотчетно, то я должен отнестись к расходованию ее особенно строго, — гораздо строже, чем к расходованию суммы подотчетной. Думаю, однако, что и в мое время проскальзывали такие безотчетные расходования. Во всяком случае это были очень маленькие суммы.

Председатель. — Как бы то ни было, эти секретные суммы требовали какой-нибудь отчетности. До кого простиралась эта отчетность?

Джунковский. — До министра внутренних дел.

Председатель. — А государственный контроль не имел сюда отношения?

Джунковский. — Это были забронированные суммы, о которых знал только министр внутренних дел. Каждый месяц подавался такой отчет, и министр внутренних дел писал на нем: «утверждаю».

Председатель. — Проходил этот отчет через товарища министра?

Джунковский. — Проходил. Всегда.

Председатель. — Товарищ министра не утверждал отчета, утверждал только министр?

Джунковский. — Да, но когда я был товарищем министра, я считал, что министр в этом отношении совершенно неповинен. Если уже кому отвечать, то мне нужно было отвечать, потому что я непосредственно производил расходование этих сумм.

Председатель. — Итак, суммы эти были безотчетными для государственного контроля, но внутри министерства отчетность соблюдалась?

Джунковский. — Отчетность по совести.

Председатель. — В последние месяцы существования старого режима обозначалось так: например, что дано Белецкому 24 000, причем он должен был представить отчет в этой сумме?

Джунковский. — У него должен был быть отчет.

Иванов. — Отчет в израсходовании этих денег?

Джунковский. — Да. В этих месячных отчетах есть, например, такие расходы, какие бывали во время путешествия государя: «товарищу министра на известные ему надобности 3 000 руб.». На эти 3 000 руб. от меня должна была быть оправдательная записка о том, на что и куда я их истратил. Я всегда избегал брать суммы, которые мне выдавались на путешествия, на разные мелочи, которые нужны во время путешествия. Я помню, когда во время первого путешествия государя я должен был сопровождать его, Белецкий принес мне сумму денег и говорит: «Пожалуйста, возьмите». Я ответил: «Мне ничего не нужно. Когда мне будет нужно, я потребую, но тогда обязательно должен быть оправдательный документ на это, — такого рода: «25 000 рублей уплачено туда-то».

Председатель. — Значит, вы считали нормальным такой порядок, при котором суммы эти, внутри министерства, все же контролировались, причем имелось в виду, что они не должны итти на цели, совершенно посторонние департаменту полиции?

Джунковский. — Суммы эти были такие. В охранных отделениях, например, на секретную агентуру назначалась круглая цифра — 20.000. Эта сумма отпускалась туда по смете и учитывалась департаментом полиции. До товарища министра доходил только общий отчет касательно этой суммы, — частности, мелочи не доходили. Какой-нибудь сотрудник расписывался: «Получил 30 рублей, получил 40 рублей». А кто там расписался, этого никто не удостоверяет.

Председатель. — Какие при вас были наиболее выдающиеся дела в жизни департамента полиции? Начнем с самого начала. Каким-нибудь краешком вы, вероятно, коснулись все же дела Малиновского, который был членом Государственной Думы?

Джунковский. — Малиновского, — да.

Председатель. — Когда вам стало известно о нем?

Джунковский. — В какое время это было, я затрудняюсь определенно сказать. Во всяком случае, думаю, не в первый год. Должно быть, мне стало известно об этом в 1914 году.

Председатель. — Вы реагировали на это тогда, в 1914 году?

Джунковский. — Я реагировал сейчас же.

Председатель. — Будьте добры рассказать, как вам стало известно об этом, что вы по этому поводу сделали. Расскажите про вашу поездку к Родзянко.

Джунковский. — Дело было таким образом. Когда Белецкий делал мне доклад о том или другом деле, он говорил мне: «Сотрудник «икс» сообщил то-то и то-то»...

Председатель. — Он так и говорил «икс» или сообщал различные клички?

Джунковский. — Нет, всегда так и говорилось — «икс», потому что это считалось личной агентурой директора департамента полиции. Я не углублялся, даже не спрашивал, потому что мне это претило. Не все ли равно «икс» или «игрек», — что я буду проверять, раз это меня не касается! А потом Белецкий, должно быть, сказал мне, что это именно он, Малиновский. Тогда я не то что испугался, а пришел в ужас: представитель соц.-дем., говорит зажигательные речи в Думе...

Иванов. — Т.-е. вы изволили узнать об этом, как о совершившемся факте?

Председатель. — Да, да, Владимир Федорович так и рассказывает.

Джунковский. — Когда его выбрали в Думу, я не был товарищем министра, а был губернатором. Он прошел по московской губернии.

Председатель. — Раз вы коснулись этого вопроса, то нужно разъяснить некоторые обстоятельства. Вы знаете, что незадолго до выборов в Государственную Думу в Москву приезжал на ревизию охранного отделения Виссарионов?

Джунковский. — Нет, я этого не знал, потому что охранного отделения я не касался. Может быть, он и приезжал, но я не помню.

Председатель. — Вы не узнали потом, что в этот именно приезд у них и зародилась мысль провести Малиновского, бывшего тогда их секретным сотрудником, в члены Государственной Думы?

Джунковский. — Я слышал эти разговоры, и я лично, будучи тогда губернатором, был очень недоволен выборами, — тем, что провели Малиновского. Помню, кто-то приехал с выборов, кажется, Самарин, и говорит: «Ну и фрукт попал!»—«Кто такой?» Он сказал. Я всегда при выборах в Думу считал, что течение выборов надо предоставить самому себе и никогда не позволять себе никаких давлений в ту или другую сторону. Насколько я припоминаю, когда выборы уже совершились и Малиновский про-

шел в Думу, были какие-то намеки, что именно охранное отделение довольно, что он прошел.

Председатель. — Эти намеки дошли до вас еще в Москве?

Джунковский. — Да, когда я приехал в Петроград, я совсем забыл о Малиновском — о том, что он находится в Думе. Не то что забыл, но просто был далек от мысли о том, что он состоит при этом агентом департамента полиции.

Председатель. — А не доходило до сведения вашего в то время, когда вы были губернатором, что Малиновский судился за три кражи со взломом, что, таким образом, он утратил право выбираться и что охранному отделению было об этом известно — что это был вопрос, который обсуждался московским охранным отделением совместно с тогдашним составом департамента полиции?

Джунковский. — Это я потом уже узнал. Когда именно, не могу сказать

Председатель. — Т.-е. когда вы были уже товарищем министра?

Джунковский. — Да, я узнал тогда, что его провели, так сказать, нарочно.

Председатель. — Вы узнали об этом одновременно с обнаружением, что Малиновский — сотрудник?

Джунковский. — Не помню.

Председатель. — Вернемся к тому моменту, как это всплыло для вас. Вы упомянули, что Белецкий сказал вам об этом при докладе...

Джунковский. — Я думаю даже, что это был не Белецкий, а Брюн-де-Сент-Ипполит. Это при нем было.

Иванов. — Значит, уже позднее?

Джунковский. — Я не помню, кажется, при нем это было, при Брюн-де-Сент-Ипполите.

Председатель. — Да, при Брюн-де-Сент-Ипполите.

Джунковский. — Значит, он мне и сказал. Я не могу точно определить.

Председатель. — Белецкий ушел от вас 28 января. Вы твердо помните, что Белецкий не говорил вам о том, что Малиновский состоит секретным сотрудником?

Джунковский. — Нет, я могу ошибаться.

Председатель. — Но если бы он сказал, вы бы реагировали. Вы изволили сказать мне, на один из предыдущих вопросов, что вы тотчас же реагировали.

Джунковский. — Я реагировал, но мне нужно было иметь достаточно времени, чтобы сообразить, как из этого положения выпутаться: мне хотелось сделать так, чтобы это не было гласно, чтобы не делать скандала, потому что скандал был бы колоссальный. Мне стыдно было делать скандал в Думе из этого, мне хотелось уберечь, сохранить приличие. Вот почему столько времени

ушло. Я не помню, как это все делалось. Мне нужно было найти верного человека, — из чинов охраны, который мог провести все это чисто, как оно и было проведено, т.-е., чтобы никто не узнал в ту минуту и не было бы никакого скандала. Это мне сделал Брюн-де-Сент-Ипполит. Он, конечно, был очень возмущен этим «иксом». Когда он принял департамент, этот «икс» попал ему в руки, он и говорит мне: «Вот какая штука». Тогда мы вместе решили ликвидировать. Для переговоров с Малиновским был избран начальник петроградского охранного отделения Попов, который, так сказать, и заключил с ним такое условие, — отправил его.

Председатель. — Попов — начальник петроградского охранного отделения?

Джунковский. — Который был назначен мною после фон-Коттена. Я очень верил этому Попову, считал его очень порядочным человеком. Он не хотел итти в начальники охранного отделения после полковника фон-Коттена, но я просил его, чтобы он пошел на некоторое время, — привести немножко в порядок.

Председатель. — Так что, если бы кто-нибудь сказал, что вы, при выборах Малиновского, знали о том, что это человек опороченный по суду и не имеющий права быть выбираемым, но все же допустили это, такое утверждение было бы неправильно?

Джунковский. — Если бы у меня были данные относительно Малиновского, то, конечно, он не прошел бы. У меня был чиновник, который заведывал... он никогда не допустил бы этого. Ведь при выборах посылаются сведения о том, что тот или иной выборщик судился; таких сведений у нас о Малиновском не было.

Председатель. — А не сохранился у вас в памяти такой эпизод предвыборной кампании, что, по распоряжению департамента полиции, московское охранное отделение арестовало конкурента Малиновского по выборам, — другого рабочего? Вы не помните его фамилии?

Джунковский. — Нет, не помню. Этого я совсем не знаю.

Председатель. — Владимир Федорович, вы не знали, что в бытность свою членом Государственной Думы Малиновский виделся с Белецким и Виссарионовым, и те речи, которые он впоследствии говорил с кафедры Государственной Думы, проходили через их цензуру?

Джунковский. — Об этом я узнал потом.

Председатель. — Отчего вы не возбудили по такому яркому случаю уголовного преследования против Белецкого и Виссарионова?

Джунковский. — Просто не хотелось скандала.

Председатель. — Будьте добры, расскажите, как вы приехали к Родзянко и какой у вас произошел разговор с ним?

Джунковский. — Я к Родзянко не ездил по делу Малиновского. Я был у Родзянко совсем по другому делу. Родзянко спросил меня: «Ну, а что Малиновский был вашим сотрудником?»... Кажется, это было даже в Думе. Я говорю: «Нет». — «Ну, ну, мне-то вы можете сказать!» Я сказал: «Раз вы так вопрос ставите, то с глазу на глаз могу вам сказать, потому что знаю, что вы никому не скажете».

Председатель. — Разве не было у вас с Родзянко разговора о том, чтобы, так сказать, выжить Малиновского из Думы?

Джунковский. — Нет. Это было, когда дело было уже решено.

Иванов. — А вы не спрашивали Родзянко, откуда он это знает?

Джунковский. — Не помню. Было такое подозрение у некоторых в Думе... Поспешный отъезд, поспешное бегство Малиновского возбудило разговоры. Меня Родзянко и спросил.

Председатель. — Значит, это было уже после того, как он уехал?

Иванов. — А куда уехал Малиновский — заграницу или на фронт?

Джунковский. — Нет, войны тогда, во всяком случае, еще не было. Его довезли до границы.

Председатель. — Это было сделано по вашему распоряжению?

Джунковский. — Да, по моему распоряжению, — чтобы я мог быть уверен, что он действительно удалился.

Председатель. — Он по своему паспорту уехал?

Джунковский. — Этого я не помню.

Председатель. — Вы распорядились дать ему наградные?

Джунковский. — По общему положению ему выдали годовой оклад жалованья.

Председатель. — Этот годовой оклад равнялся 6-ти тысячам?

Джунковский. — Да, 500 рублей в месяц.

Председатель. — Вы потеряли затем след этого человека?

Джунковский. — Потерял, совершенно.

Председатель. — Вам не приходилось слышать, что он явился и поступил в ряды войск?

Джунковский. — Я слышал об этом, но мне казалось, что Малиновский поступил добровольцем во Франции, — не у нас.

Председатель. — Это было тогда, когда вы были еще товарищем министра?

Джунковский. — Нет. Не помню. Может быть, и после.

Председатель. — Вам потом стало известно, что он в плену, в Германии и ведет там пропаганду?

Джунковский. — Нет.

Председатель. — Если не о пропаганде, то о том, что он попал в плен? Вы этого тоже не знали?

Джунковский. — Нет.

Председатель. — Позвольте считать установленным, что вы узнали о том, что этот человек — сотрудник охранного отделения от Брюн-де-Сент-Ипполита, что Белецкий этого вам все-таки не сказал.

Джунковский. — Я не могу установить этого. Может быть, я ошибаюсь.

Председатель. — Но судя по тому, что сохранилось в вашей памяти, вы реагировали на это и сразу стали думать о том, как от него избавиться?

Джунковский. — Да.

Председатель. — Если не ошибаюсь, разговор ваш с Родзянко произошел в начале апреля, а разделались вы с ним раньше.

Джунковский. — Это было почти одновременно.

Председатель. — Вы не употребили в разговоре с Родзянко такого выражения, что вам «претит» или «давно претит».

Джунковский. — Да, вероятно, я так сказал, потому что мне действительно претило.

Председатель. — Владимир Федорович, но не просил ли вас Родзянко приехать просто к себе лично, чтобы переговорить по делу Малиновского?

Джунковский. — Нет, не помню.

Председатель. — Не рассказывал ли он вам, что получил по телефону предупреждение от какой-то неизвестной дамы о том, что Малиновский состоит сотрудником охранного отделения?

Джунковский. — Он мне не говорил этого, совсем не говорил.

Председатель. — Не припомните ли, что в разговоре с Родзянко у вас поднимался вопрос о том, что со стороны левых была прочитана декларация, причем Родзянко спросил вас, не было ли вам заранее известно содержание этой декларации?

Джунковский. — Я даже предупредил его, что такая декларация будет.

Председатель. — Вы его предупредили?

Джунковский. — Насколько я помню.

Председатель. — Вы сказали ему, что уже сделали распоряжение о том, чтобы прекратить совмещение звания члена Думы с сотрудничеством в охранном отделении, так как это претило вам?

Джунковский. — Да, это, вероятно, было.

Председатель. — А не помните ли вы такой вашей мысли, что так как Малиновский слишком много знает, то удалить его можно не сразу, а лишь после некоторых подготовительных действий?

Джунковский. — Подготовительные действия клонились, вероятно, к тому, чтобы обойтись без скандала. Вот что я, вероятно, разумел, говоря о подготовительных действиях.

Председатель. — Владимир Федорович, вам пришлось говорить о роли Малиновского и обо всем этом случае с Маклаковым?

Джунковский. — Да.

Председатель. — И вы убедились из этого разговора, что он знал о Малиновском.

Джунковский. — Нет, ничего не знал.

Председатель. — Вы советовались с ним по вопросу о необходимости изгнать Малиновского из Думы?

Джунковский. — Он совершенно сочувствовал этому.

Председатель. — Вы с ним говорили об этом?

Джунковский. — Вообще со стороны Маклакова я никогда не встречал такого отношения, чтобы он, как говорится, ставил палки в мои колеса. В некоторых делах мы могли с ним не сходиться, но в делах департамента полиции он предоставлял мне полную самостоятельность.

Председатель. — Теперь второе дело, — дело Шорниковой.

Джунковский. — У меня сохранилось такое впечатление о Шорниковой, что это какая-то несчастная женщина, измотанная, искалеченная охранным отделением. Кажется, из бессарабской губернии — я не знаю, верно ли это.

Иванов. — Да.

Джунковский. — Она была в руках у Комиссарова.

Председатель. — Вы вспомнили, что из Саратова пришла телеграмма относительно Шорниковой, и она была секретная сотрудница. Но дело Шорниковой относится к другому моменту — к моменту до бытности вашей товарищем министра, Шорникова — это одна из двух провокаторов, которые помогли тогда властям, и, между прочим, Столыпину, поставить процесс членов с.-д. партии второй Государственной Думы.

Джунковский. — Ах, этого у меня не было! Но мне было доложено Белецким, — должно быть, им — что эта несчастная женщина, искалеченная, вовлеченная в сотрудничество, находится в чахотке. Он сыграл при этом на жалостливом настроении, а что именно она представляла собой, — этого я до настоящего времени не знал.

Председатель. — Вы помните, что летом 1913 года в департаменте полиции произошел большой переполох в связи с получением из Саратова известия о том, что старая сотрудница охранного отделения Шорникова считает себя обиженной, едет в Петроград объясняться с вами по поводу своего положения.

Джунковский. — Помню, помню. Приехав, она обратилась ко мне с просьбой, чтобы ее оставили в покое.

Председатель. — В каком смысле «в покое»?

Джунковский. — Чтобы ей дали возможность жить просто потому, что она не хочет ни сотрудничать, ни работать; чтобы ей дали пособие, пенсию, — словом, чтобы ее оставили в покое. Вот что осталось у меня в памяти.

Председатель. — Но в чем заключался по вашему вопрос, возбужденный Шорниковой в департаменте полиции? И в каком

смысле это вызвало там переполох среди высших должностных лиц?

Джунковский. — Мне кажется, она была осуждена.

Председатель. — Нет. Она разыскивалась министерством в виду того, что была привлечена судебным следователем по 102 статье; она значилась в розыскных циркулярах департамента полиции, и перед вами, как и перед другими высшими должностными лицами того времени, стоял вопрос о том, как с ней быть: надлежит ли исполнить циркуляр, арестовать ее и передать в руки судебной власти или же поступить как-нибудь иначе. Не вспомните ли вы, кто как думал и говорил по этому вопросу? Вы знаете, в связи с этим событием было два заседания совета министров?

Иванов. — На даче, на Елагином острове.

Председатель. — Белецкий и другие стояли на той точке зрения, что поставить дело на суд невозможно.

Джунковский. — (Старается припомнить.) — Помню. . . теперь вспомнил.

Председатель. — Что же вы вспомнили?

Джунковский. — Да, я вспомнил: это было на островах. . . Я тоже был приглашен. На этом заседании был Белецкий.

Председатель. — Вероятно, он и докладывал об этом случае?

Джунковский. — Был прокурор палаты Корсак.

Председатель. — Изложите, пожалуйста, те мнения, которые высказывались со стороны министерства внутренних дел, министерства юстиции и отдельных лиц. Помните, Маклаков еще был в это время в отъезде, в своем московском имении?

Джунковский.—Да. Тут много говорили Щегловитов и Корсак.

Председатель. — Не вспомните ли, что именно говорили Щегловитов и Корсак?

Джунковский. — Разговор шел о совершенной ликвидации этого дела.

Председатель. — А в чем заключалась трудность ликвидации?

Джунковский. — Министерство внутренних дел стояло на точке зрения желательности ликвидации.

Председатель. — Вы не устали, не нуждаетесь в перерыве?

Джунковский. — Нет, нет.

Председатель. — Итак, министерство внутренних дел, как и министерство юстиции, желало ликвидировать это дело. Преобладала такая точка зрения, что ставить это дело на суд невыгодно, так как при этом раскрылось бы многое, относящееся к самому процессу.

Джунковский. — Да.

Председатель. — Вы не помните вашу точку зрения?

Джунковский. — (Думает.) — Так как дело это было старое, я не особенно близко принимал его к сердцу, но насколько я помню, я тоже был против возбуждения дела.

Председатель. — Вы стояли за законное течение процесса?

Иванов. — Были ведь два заседания по этому поводу.

Джунковский. — Я был на одном. Я был на даче у Коковцова. На балконе.

Председатель. — Решено было доложить государю мнение Коковцова. Государь согласился с мнением Коковцова, что дело это нужно возбудить и направить в законном порядке. Постарайтесь вспомнить. Это очень важный случай, заключающий в себе различные моменты, и нам необходимо выяснить истину. Вы совершенно правильно вспомнили фамилию Комиссарова: это именно он, будучи начальником саратовского жандармского управления, посылает телеграмму от 17 мая, в которой сообщает, что Шорникова желает выехать в Петербург и просит уведомить, следует ли удержать ее. Как уже сказано, они боялись, что на суде слишком многое откроется, и в предупреждение этого было предположено, что единственным свидетелем по этому делу выступит Белецкий, который покроет Шорникову и ее секретное сотрудничество. Некоторые представители министерства внутренних дел были лучшего мнения о суде, чем суд оказался в действительности, — потому-то и находили, что ставить дело на суд нельзя. Но вы стояли за то, чтобы поставить дело на суд.

Джунковский. — Да, я всегда держался такой точки зрения: — что ж тут такого, пусть решают!

Председатель. — К удивлению сторонников суда, Щегловитов согласился на это. Но при этом у него была своя мысль: он решил принять меры, чтобы ничего неудобного для него не произошло. И дело это было ликвидировано, в сущности, до суда — судебным определением первого департамента правительствующего сената от 26 июля.

Джунковский. — Ах, меня даже вызывали в сенат по этому делу! Чуть не в пять минут его окончили. Теперь я помню. Да, я действительно стоял за то, чтобы передать это дело в суд. В сенате был как представитель министерства внутренних дел. Там прочли определение, подписали — и все было кончено.

Председатель. — Сейчас мы восстановим. Видите ли, член консультации при министерстве юстиции, Лядов, написал на имя Белецкого, прося его сообщить свои соображения по поводу заявления Бродского. Это был другой провокатор, который доносил министру юстиции, что Шорникова, лицо, привлеченное и разыскиваемое по спискам департамента полиции, находится в ужасном состоянии и продолжает состоять сотрудницей охранного отделения. Таким образом Бродский указал министру юстиции на незаконность того положения, когда лицо, состоящее в списках секретных сотрудников, находится на службе у правительства по вольному найму. Вот на этой бумаге имеется отметка Белец-

кого такого содержания (читает): «Доложено г. министру 12 н. Так как по предыдущему докладу было поручено г. министром в. д. г. товарищу министра в. д. . . . . . переговорить лично с г. министром юстиции, то его превосходительство был у министра юстиции». . . Это, стало быть, вы были. (Читает): «И он подробно ему изложил соображения департамента, изложенные и составленные специально из дела о. о. справки, и министр юстиции согласился считать переписку оконченной, вполне удовлетворившись представленными ему объяснениями. Поэтому В. Ф. Джунковский, поставив об этом в известность г. министра в. д., оставил всю переписку у себя. Затем И. Г. Щегловитов при личном свидании с г. министром в. д. обо всем этом подтвердил его высокопревосходительству. В виду этого я, по поручению г. министра в. д., 13/IV обо всем этом поставил в известность д. с. с. Лядова к делу и 14/IV С. З.» Таким образом тут указано на некоторые ваши действия, содержание которых хотелось бы припомнить. Что вам было поручено министром внутренних дел и о чем вы переговорили с Щегловитовым?

Джунковский. — Министр внутренних дел поручил мне переговорить с Щегловитовым.

Председатель. — В каком смысле?

Джунковский. — Насчет Шорниковой. . . Это было еще до суда.

Председатель. — До суда и до заседания совета министров по этому вопросу?

Джунковский. — Насколько мне помнится, министр юстиции стоял на том, чтобы дело это. . .

Председатель. — Вот что вами доложено (читает): «3-го августа 1907 года судебным следователем с.-петербургского окружного суда Александровым по телефону было сообщено заведывавшему в то время особым отделом департамента полиции, надворному советнику Васильеву о пребывании в гор. Казани разыскиваемой им, судебным следователем, по делу о военной организации Екатерины Николаевны Шорниковой, известной в революционной организации под кличкой «Ирина».

По содержанию этого сообщения надворным советником Васильевым того же 3-го августа была послана начальнику казанского губернского жандармского управления телеграмма с предложением проверить вышеприведенные сведения и, в случае нахождения Шорниковой в Казани, установить за ней наблюдение, а на следующий день полковнику Калинину были телеграфированы и приметы ее, описанные судебным следователем Александровым в отношении его от 4-го августа за № 634 на имя заведывавшего особым отделом.

Исполняя означенное предложение, начальник казанского губернского жандармского управления 21-го сентября 1907 года

сообщил по телеграфу, что Шорникова обнаружена им в Казани и при допросе заявила, что служила секретным сотрудником с.-петербургского охранного отделения по военной группе Российской социал-демократической рабочей партии. Вслед засим 29 сентября, в дополнение к означенной телеграмме, поступила копия записки начальника казанского губернского жандармского управления от 21 сентября 1907 года за № 10335 на имя начальника с.-петербургского охранного отделения, из содержания коей усматривается, что полковник Калинин уведомил генерал-майора Герасимова о явке к нему 21 сентября Шорниковой, заявившей, что она служила секретным сотрудником при с.-петербургском охранном отделении по социал-демократической партии, в каковой состояла секретарем военной организации и организатором Атаманского полка, а затем после ликвидации думской социал-демократической фракции выехала в г. Казань, где поступила на службу в общину Красного Креста; заявляя, затем, что ей известно о розыске ее судебным следователем с.-петербургского окружного суда для привлечения к следствию по делу военной организации Российской социал-демократической рабочей партии, Шорникова просила полковника Калинина принять в ней участие, в виду принесенной ею с.-петербургскому охранному отделению пользы, и дать о ней благоприятный отзыв в случае запроса общины Красного Креста о ее политической благонадежности.

Уведомляя начальника с.-петербургского охранного отделения об этом заявлении Шорниковой и сообщив о получении телеграммы департамента полиции о проверке пребывания Шорниковой в гор. Казани и установления за ней наблюдения, полковник Калинин просил генерал-майора Герасимова уведомить его, насколько таковое соответствует действительности. Как телеграмма начальника казанского губернского жандармского управления о пребывании Шорниковой в гор. Казани, так и копия записки полковника Калинина за № 10 635 были представлены директору департамента полиции, ныне сенатору Трусевичу, который для переговоров о содержании этой переписки приказал вызвать к себе генерал-майора Герасимова, коему в целях осведомления о причине вызова надворным советником Васильевым была препровождена и самая переписка. В чем заключались означенные переговоры, неизвестно, но по окончании их переписка возвращена была в особый отдел с резолюцией ныне сенатора Трусевича. «Доложено генералом Герасимовым. К переписке. 1/X.» После этого 31 октября 1907 года в департаменте полиции была получена записка начальника казанского губернского жандармского управления с просьбой сообщить ему, какой надлежит дать ответ казанскому губернатору в случае запроса его о политической благонадежности Шорниковой, от которой начальницей общины Красного Креста затребовано представление

свидетельства о благонадежности. Эта записка надворным советником Васильевым была отослана на заключение начальника с.-петербургского охранного отделения генерал-майора Герасимова; последний письмом от 18-го ноября уведомил, что Шорникова является безусловно благонадежной личностью, оказывала содействие в борьбе с революцией, в виду чего ей следует выдать просимое свидетельство. Сущность этого заключения 20-го ноября за № 2412 по телеграфу была передана надворным советником Васильевым начальнику казанского жандармского губернского управления с предложением выдать требуемое свидетельство. Сколько времени Шорникова служила в общине Красного Креста, из переписки не усматривается, но надо полагать, что в первой половине марта месяца 1908 года она являлась к надворному советнику Васильеву с ходатайством о предоставлении ей где-либо занятия секретного сотрудника, так как 19 марта надворным советником Васильевым была послана начальнику владивостокского охранного отделения телеграмма с запросом, не нуждается ли он в секретном сотруднике по Российской социал-демократической рабочей партии. По получении от ротмистра Хуциева утвердительного ответа Шорниковой было предложено через начальника казанского губернского жандармского управления озаботиться явками во Владивостоке, а пока таковые подыскивались, 24-го сентября 1908 года, в департамент полиции поступил запрос начальника казанского губернского жандармского управления о том, как ему поступить с Шорниковой в виду циркуляра департамента полиции 2-го августа 1908 года за № 151008/26, коим предложено разыскать, обыскать и арестовать Шорникову и уведомить прокурора с.-петербургской судебной палаты. В ответ на этот запрос заведывавшим в то время особым отделом департамента полиции полковником Климовичем 25-го того же сентября была послана полковнику Калинину телеграмма с указанием не применять в отношении к Шорниковой этого циркуляра и руководствоваться телеграммой от 20 ноября 1907 г. за № 2412, т.-е. той, которой была сообщена начальнику казанского жандармского губернского управления о политической благонадежности.

Что касается обстоятельств, на основании коих был издан вышеприведенный циркуляр, то они заключаются в следующем: 19-го мая 1907 года начальник с.-петербургского охранного отделения представил департаменту полиции копию своего отношения от 18-го того же мая за № 12042 на имя судебного следователя с.-петербургского окружного суда Зайцева, при котором было передано ему дознание «Военной организации при с.-петербургском комитете Российской социал-демократической рабочей партии». Из копии этого отношения видно, что Шорникова 5-го того же мая участвовала в собрании членов воен-

ной организации названной партии, имевшем место в квартире мещанина Фишера; здесь она дала всем присутствовавшим нижним чинам прочесть наказ от частей войск с.-петербургского гарнизона, подлежавший внесению для обсуждения в ближайшее заседание думской социал-демократической фракции. После этого участники собрания перешли из квартиры Фишера в квартиру бывшего члена Государственной Думы Озоля, где большинство из них было арестовано, а некоторые, в том числе и Шорникова, успели скрыться. В виду сего последнего обстоятельства особым отделом вверенного мне департамента и было отдано распоряжение об издании циркуляра за № 151008/26.

Как видно из дела о Шорниковой, она в город Владивосток в целях сотрудничества не ездила; в настоящее время она находится в городе Самаре и носит по второму мужу фамилию Юдкевич.

В справке говорится о том, как Герасимов уведомил, что Шорникова является личностью безусловно благонадежной, ибо она оказывала содействие в борьбе с революцией, и что, в виду этого, ей нужно выдать свидетельство о политической благонадежности. Затем департамент полиции помогал ей устроиться на службе в общине Красного Креста, вносил за нее залог...

Джунковский. — Устроиться сестрой милосердия. Да, припоминаю.

Председатель. — Между тем, 24 октября в департамент полиции поступил запрос, как ему поступить с Шорниковой? «Секретно. Сего числа во вверенное мне управление вновь явилась Екатерина Николаевна Шорникова и заявила, что начальница общины Красного Креста, желая зачислить ее, Шорникову, в общину, требует представить свидетельство о политической благонадежности. Донося об изложенном в дополнение к телеграмме моей за № 10 326 и представлению моему от 21 сентября сего года за № 10 334, имею честь просить департамент полиции почтить меня уведомлением, как нужно будет поступить мне при получении мною от г. казанского губернатора запроса о политической благонадежности Шорниковой. Полковник Калинин. Директору департамента полиции». 6 марта 1913 года эта справка была вами составлена. С этой-то справкой вы и были у министра юстиции. Вспомните содержание вашего разговора с ним.

Джунковский. — Очень трудно вспомнить. Масса всяких дел было. Я боюсь сказать что-нибудь не то.

Председатель.—Скажите с оговорками, насколько вы помните.

Джунковский. — Мне кажется, что я спросил министра юстиции, как быть с этим делом, потому что получается такая вещь: с одной стороны, я не могу положить это дело под сукно, а между тем, если не положить его под сукно, то сразу начнется целое громкое дело. Вероятно, последствием моего разговора и было такое соображение министра...

Председатель. — Что же означают эти слова, которые я вам огласил, «чтобы Владимир Федорович оставил переписку у себя»?

Джунковский. — Нет, переписку я возвратил в департамент.

Председатель. — Тут сказано: «считать переписку оконченной».

Джунковский. — Это Белецкий написал.

Председатель. — «Вполне удовлетворившись представленными ему объяснениями»?

Джунковский. — Как же — «считать переписку оконченной»? Ведь, потом она возобновилась?

Председатель. — Потом она возобновилась. Белецкий кладет эту резолюцию 14 апреля, а в конце концов Шорникова все-таки до вас добралась.

Джунковский. — Я помню, что она была у меня.

Председатель. — Потом, 9 июня, из Саратова, от полковника Комиссарова пришла на имя директора департамента за № 1723 телеграмма: «Появившиеся «Русском Слове» известия Озоле и неполучение ответа департамента полиции на свои просьбы крайне повысили нервность известной вашему превосходительству докладам моим за номерами 21 марта двадцать восьмым, 7 апреля тридцать восьмым, 24 апреля сорок первым, которая полагает, что ближайшем времени снова будет фигурировать прессе, как одно из главных лиц, причастных делу ес-декской фракции второй Думы, поэтому настоятельно решила не позже 11 июня выехать Петербург и добиться личного свидания и объяснения товарищем министра свиты его величества генерал-майором Джунковским. Прошу указаний. № 54». Затем, Комиссаров телеграфирует, что Шорникова выехала из Саратова в Петроград, — прослежено, каким именно поездом. Она называлась Казанской. Затем, Шорникова в присутствии вашем допрашивается Белецким, — и в результате этого, записка от 25 июня 1913 года, которую вы тоже, может быть, вспомните. «Явившаяся 25 июня на прием к товарищу министра внутренних дел, свиты его величества генерал-майору Джунковскому, Екатерина Шорникова в присутствии директора департамента полиции, действительного статского советника Белецкого, заявила: «В 1905 — 1906 годах, имея 22 года от роду, я работала в социал-демократической фракции в Казани. По приезде в С.-Петербург на юридические курсы была арестована по требованию казанского губернского жандармского управления, в виду обнаружения письма, найденного в социал-революционной газете. Допрашивали меня товарищ прокурора, генерал Иванов и подполковник Кормилов. Эти лица меня уговаривали оказывать услуги политическому розыску. Затем меня отвезли в охранное отделение, где мне подполковник Кулаков предложил быть секретной сотрудницей. Я согласилась, стала работать в социал-демократической партии. На конспиративной квартире виделась с генералом

Герасимовым один раз, а с ротмистром Еленским все время, почти ежедневно. В это время я встретила партийного работника Анатолия, который просил работать у них. Охранное отделение согласилось, дабы провести меня в центр: я была организаторшей Атаманского полка. Подполковник Еленский настаивал на проведении меня в секретари организации. Случилось, что мне предложили быть секретарем петербургской военно-революционной организации. Я назвала всех организаторов солдат, дала боцмана Архипова (с катера его величества), всех членов партии боевой организации и социал-демократической фракции Озоля и др., передала весь военный архив. Само охранное отделение было преступно небрежно в отношении сотрудников, проваливая их. На Фурштадтской улице, в д. 4, кв. 5, принимали всех сотрудников в один час, рассортировывая по комнатам. О том, что Бродский оказывал услуги розыску, я не знала и сотрудники друг друга тогда не проваливали. Конспиративная квартира на Садовой тоже была невозможна: в щели я видела другую сотрудницу. Платили мне по 50 руб. со всеми расходами, т.-е. по разъездам и т. п. Подполковник Еленский не умел руководить мною, так как не давал никаких указаний. Единственное его указание было, что я не должна видеться с солдатами, но везде бывать и все видеть. Была горячая работа. Когда я хотела уехать в Москву к полковнику Коттену, то он запретил мне это, в виду существовавших трений между московским и петербургским охранными отделениями. На массовке (летучке) солдат и офицеров в Лесном были 2 члена Государственной Думы, где и был выработан литератором, фамилию коего я не знаю, наказ. Я имела в военном комитете голос. На одном из заседаний комитета было решено, что сами солдаты должны итти в форме и нести наказ. Наказ не был составлен по инициативе охранного отделения, но какую роль играло охранное отделение в выработке наказа, я не знаю, ибо работали Озоль и Бродский. Я лично обращалась к фракции через Озоля. Подполковнику Еленскому я сообщила день и час, когда должны были явиться солдаты во фракцию. На это подполковник Еленский мне заявил, что начальник охранного отделения (генерал Герасимов) ездил к министру Столыпину, который выразил желание иметь наказ, который был еще написан от руки. Так как солдаты плохо читали по писанному, то мне, как секретарю, было предложено членами организации перепечатать его на пишущей машине. Заботясь об охранном отделении, я, вместо одного экземпляра, напечатала 2 экземпляра, причем первый экземпляр, с печатью комитета, я отдала в организацию, а второй подполковнику Еленскому. Наказ же от руки я, с членом организации Елабеевым, уничтожила. Я точно сообщила, когда и куда пойдут солдаты, и спросила, будет ли арест или обыск, но подполковник Еленский сказал, что арестов не будет. Отвести солдат в помещение фракции должен

был Елабеев. Так как помещение фракции находилось на Невском проспекте, то Елабееву неудобно было итти со всеми солдатами, бывшими в форме, и он просил пойти и меня. Я взяла с собой Архипова и какого-то рядового из конвоя его величества, а Елабеев трех остальных солдат. Елабеев пошел со двора с черного хода, а я с улицы. Еленскому не было известно, что я пойду в помещение фракции. Я решила итти, будучи уверена, что нас не арестуют. Состав фракции был почти полностью; часть ее была предупреждена, но большинство не знало о приходе солдат и было смущено и даже, увидев солдат, перепугалось. Когда солдаты прочли наказ, то Озоль взял его и сказал: «Вы идите, дабы не возбуждать подозрения, а мы вас поддержим». Как только успели выйти, то прошло не более 5 минут, как явилась полиция. Наказ остался в портфеле у Озоля, которого полиция не обыскала, так как Озоль указал на свою неприкосновенность. В обвинительном акте фигурирует не этот наказ, а второй экземпляр, переданный мною подполковнику Еленскому. На другой день подполковник Еленский вызвал меня телеграммой на конспиративную квартиру на Фурштадтскую улицу и объявил, что в морском экипаже было буйство матросов, где взяли в участок в пьяном виде Архипова. Последний, думая, что он задержан за посещение фракции, все рассказал. Подполковник Еленский сообщил, что придется сделать аресты и обыски у всех, а следовательно и у меня, причем подполковник Еленский сказал, что он предполагает арестовать одного организатора и одного мелкого работника, а через 3 дня снова двоих, дабы предоставить мне возможность бежать. В организации было устроено заседание, где был поднят вопрос о причинах провала и было вынесено постановление, что провал произошел по вине самой организации, вследствие ее небрежности. Мне комитетом предложено было выехать заграницу, для чего комитет выдал мне нелегальный паспорт. Я заявила об этом подполковнику Еленскому и просила денег, но он мне их не дал, а когда я просила видеть генерала Герасимова, то он сказал, что ему некогда видеться со мной. После этого подполковник Еленский дал мне 35 руб. и сказал, чтобы я уезжала куда угодно. Не имея денег ни от организации, ни от охранного отделения, я должна была выехать на родину, живя открыто и подвергаясь страху с двух сторон — со стороны полиции и со стороны революционеров. Судебный следователь прислал в Казань требование арестовать меня. Еленский предупредил, чтобы я бежала. Я пошла к полковнику Калинину — начальнику казанского губернского жандармского управления, который мне сказал, что сообщит обо мне департаменту полиции. Когда я вторично зашла к полковнику Калинину, то тот заявил, что департамент сказал, чтобы меня охраняли. Тогда я, по окончании процесса, в марте 1908 года, решила ехать в С.-Петербург, дабы выяснить, что мне предпринять, так как мне

было известно, что я разыскиваюсь циркуляром. В департаменте меня принял чиновник Пешков. Я просила у него денег, хотя бы сто рублей, но ничего не получила. Тогда же меня вызвал подполковник Еленский и заявил, что меня могут в С.-Петербурге арестовать, а что деньги я не получу. Тогда я снова пошла к чиновнику Пешкову, который также мне ничего не дал. В виду этого, я уехала в Казань, где должна была конспирироваться и от жандармов, и от полиции. Была в Самаре у полковника Критского, просила у него паспорт, но он мне его не дал, хотя хорошо ко мне отнесся. Я поехала в Уфу, где меня устроил на должность ротмистр Островысленский. В Уфе жить было опасно, так как там имеется целое гнездо революции. В виду этого я просила у полковника Критского дать мне должность в другом месте. Он обещал устроить меня в акциз. Дабы скрыться, я решила выйти замуж за машиниста депо Уфа. Он не состоял в партии. Прошел год. При запросе в 3-й Государственной Думе Бурцев напечатал, а мужу кто-то написал письмо обо мне. Муж поднял вопрос о разводе. Временно я поступила в Уфу к присяжному поверенному. Пошли опять толки обо мне. Тогда начальник жандармского железнодорожного отделения, ротмистр Бородин, узнав о моем месте пребывания, решил меня арестовать, заявил полиции, та дворнику, а дворник предупредил об аресте меня. В виду этого я обратилась за помощью к начальнику губернского жандармского управления и уехала в Самару. В Самаре меня узнали рабочие. Один из них, слесарь, сообщил, что зарежет меня. Я решила уехать. Полковник Познанский мне сказал, что в Саратове находится полковник Комиссаров, знающий меня по С.-Петербургу. Прибыв в Саратов, я просила полковника Комиссарова сообщить обо мне в департамент, причем указала, и теперь подтверждаю, что для меня единственный выход— уехать в Южную Америку, — или социал-демократы меня уничтожат. Из департамента долго не было никакого ответа. Начались разоблачения Озоля. Я взволновалась и заявила, что поеду в С.-Петербург, к товарищу министра. До 13 числа товарища министра не было в С.-Петербурге, а потому я пошла в департамент, где меня принял заведующий особым отделом полковник Еремин со своим помощником. Я объяснила свое положение, что у меня нет средств, и просила доложить обо мне директору, указав, что в С.-Петербурге меня могут узнать социал-демократы и потому долго жить мне здесь нельзя. Полковник Еремин сказал, что директора нет в департаменте, обещал обо мне доложить и дал 25 рублей. После я несколько раз просила свидания с директором через помощника полковника Еремина, так как последнего не было. Он просил меня обождать, так как еще не мог получить распоряжений директора. 20 июня я пришла в департамент полиции и заявила помощнику заведующего особым отделом, что у меня вышли деньги. Он принес мне 50 рублей

и сказал, что он не мог еще видеть директора, так как последний очень занят. Я сказала, что я не могу спокойно жить в Петербурге. Меня не понимало охранное отделение. С моей стороны нет никакой просьбы. Я должна уехать в Южную Америку. Я больной человек, почему мне нужно хотя бы 2 тысячи рублей. Раз департамент полиции выдает мне деньги на прожитие, то он считает себя обязанным заботиться обо мне. Правительство должно дать мне возможность уехать. Я не сама пошла в революционную работу. Мне обещали за сотрудничество полную ненаказуемость. К сожалению, у нас жандармские офицеры ничего не понимают в розыске. Зная о таких результатах, я никогда бы не пошла в сотрудницы. Убеждения вырабатываются не в 22 года. Теперь бы я не пошла. Мне заявил и товарищ прокурора, кажется, Юревич, что я буду безнаказана. Я скрывалась под покровительством власти. Раз я попаду в руки социал-демократов, — будет лишь лишний шум. Проживая в С.-Петербурге, я заметила за собой наблюдение. Живу я на Невском проспекте, д. № 75, меблированные комнаты Колосовой, прописалась под фамилией Юдкевич, каковую носит мой муж. 25 июня 1913 года». Она была организаторшей Атаманского полка. Полковник Еленский настаивал на проведении ее в секретари организации. Затем, она рассказывает, как она выработала этот наказ, как Столыпин выразил желание иметь этот наказ, который был тогда написан еще от руки; как мало денег ей давали.

Джунковский. — Она массу жалоб предъявляла.

Председатель. — Она должна была ехать в Южную Америку, она — больной человек . . .

Джунковский. — Помню, она жаловалась мне, что ее завлекли, подвели . . .

Председатель. — «Мне обещали за сотрудничество полную ненаказуемость» . . .

Джунковский. — У меня такое впечатление осталось, что это женщина измотанная, несчастная. Она пришла ко мне, изливала свою душу, рассказывала, как ее завлекли, а в конце концов, она очутилась в таком положении, что ни туда, ни сюда.

Председатель. — Мы выяснили, что на совещании совета министров, в присутствии Белецкого и Корсака, решено было ликвидировать это дело судебным путем, т.-е. определен был самый способ ликвидации. Но если, с одной стороны, желательно было ликвидировать это дело, то, с другой стороны, желательно было, чтобы Шорникова не пострадала. Как сочеталось то и другое?

Джунковский. — Я говорил на этом заседании, что Шорникова является, так сказать, жертвой охранки, а потому судить ее таким образом, чтобы она потерпела какое-нибудь наказание, было бы нравственно несправедливо. А между тем, оставить это дело тоже было нельзя.

Председатель. — Вот сколько обстоятельств вы вспомнили! Вспомните теперь, что именно говорил Щегловитов и Корсак? Вы сказали, что они много говорили, что им принадлежала главная роль.

Джунковский. — Щегловитов говорил до того размашисто, что можно было понять его: и так и этак — такая у него была манера говорить.

Председатель. — Так что вы не понимали, какую линию он ведет?

Иванов.—Не говорил ли Щегловитов, что нужно направить это дело в суд, но что он даст свои указания, как обставить его там?

Джунковский. — Нет, не помню. Словом, он так размазал, что именно замазал — это самое верное выражение. Его манера говорить всегда была такова. Слушаешь и не знаешь, что такое.

Председатель.—Скажите, об этом деле докладывали государю?

Джунковский. — О деле Шорниковой? Вероятно. Раз в деле есть, значит, — да. Наверно даже докладывали, потому что и я не раз говорил государю по этому поводу.

Председатель. — На какой точке зрения он стоял?

Джунковский. — Что оставить дело нельзя.

Председатель. — Затем, имеется на имя В. Ф. Джунковского письмо от Веревкина, в котором Веревкин уведомляет, что Шорникова подлежит задержанию. Тут начинается игра ведомства юстиции. Ведь, это — ваша пометка? (Показывает бумагу.)

Джунковский (смотрит). — «Для исполнения». Да, это моя рука. В первую минуту я даже фамилию Шорниковой забыл, теперь начинаю припоминать. Такое это неприятное дело было, я старался подальше от него держаться и только вынужденно принимал в нем участие.

Председатель. — Затем, имеется такая справка: «Согласно личному приказанию господина товарища министра внутренних дел, генерал-майора Джунковского»...

Джунковский. — Это по этому же делу Шорниковой?

Председатель. — Затем, от августа 1-го, расписка: «За услуги, оказанные департаменту полиции и признанные правительствующим сенатом в заседании его»...

Джунковский. — Да, конечно. Расписку эту сочинял не я, а что я велел ей выдать деньги, считая ее потерпевшей и обиженной, — это я подтверждаю вполне.

XLVIII.

ДОПРОС В. Ф. ДЖУНКОВСКОГО.

7 июня 1917 года.

Содержание: Общий характер правительственной политики в бытность Джунковского товарищем министра внутренних дел. Безответственные влияния. Доклад Джунковского царю о неприличном поведении Распутина у Яра. Увольнение Джунковского. Влияние Александры Федоровны на увольнение Джунковского. Возможность дополнительных влияний на увольнение Джунковского. Влияние Распутина на бывш. императрицу. Настойчивость Александры Федоровны в ее воздействиях на Николая II. Отношение Джунковского к Маклакову и Горемыкину. Вмешательство Распутина в дело военных заказов. Доверие Александры Федоровны к флигель-адъютанту Саблину. Субсидии правым органам печати. Вопрос о назначении секретного фонда. Выдачи из секретного фонда. «Шефские суммы». «Капитал повешенных». Отношение Джунковского к Драчевскому. Вопрос о перлюстрации писем. Документ, удостоверяющий, что Джунковский не всегда боролся с оплатою услуг агентов-провокаторов.

Председатель. — Благоволите изложить Комиссии те общие положения политики правительства, которые вы отмечали в бытность вашу товарищем министра внутренних дел, а также сообщить о препятствиях, которые вы встретили на пути к осуществлению ваших желаний в области министерства.

Джунковский. — Общие положения политики правительства относительно департамента полиции?

Председатель. — Нет, вообще министерства внутренних дел, а также совета министров.

Джунковский. — Мне очень трудно сказать, потому что в совете министров я не участвовал.

Председатель. — Но вы участвовали в так называемом малом совете? При вас был малый совет?

Джунковский. — Был. Но я не участвовал в нем потому, что это было поручено другому товарищу министра. Я был случайно, может быть, два раза на заседании совета министров, в отсутствие министра, и потом один раз — не помню, какие дела

проводились тогда в совете министров, — Маклаков пригласил меня присутствовать. Там проводилась какая-то смета.

Председатель. — При вас произошла смена премьер-министров, когда Коковцов был сменен Горемыкиным? Что вам известно относительно оснований, которые привели к этой смене?

Джунковский. — Этого я точно не могу сказать.

Председатель. — Но вы были в составе правительства, — вероятно, у вас образовалось то или иное собственное мнение по этому вопросу?

Джунковский. — Я думаю, что это было сделано в видах поправения состава совета министров. Вот какое у меня было впечатление.

Председатель. — Но какого рода конкретные задачи имелись при этом в виду? Какие черты в области внутренней политики связаны были с этим поправением совета министров? Может быть, вы скажете что-нибудь об отношении правительства к Государственной Думе?

Джунковский. — Коковцов всегда был большим сторонником Государственной Думы, чем Горемыкин.

Председатель. — Но какие конкретные задания в области этих отношений были поставлены на очередь Горемыкиным?

Джунковский. — Этого я не знаю.

Председатель. — В частности, не можете ли вы сказать что-нибудь о политике Горемыкина, об его отношениях к печати, о его стремлениях?

Джунковский. — Этого я совсем не знаю. Дело в том, что я всегда старался держаться подальше от всего, что непосредственно не касалось меня, и заниматься своим делом, которого у меня было более, чем достаточно.

Председатель. — Что вы знаете о безответственных влияниях на министров вашего времени?

Джунковский. — Вы имеете в виду, собственно, Распутинское влияние?

Председатель. — Да, и влияние окружавших Распутина лиц.

Джунковский. — Этим делом я безусловно занимался, потому что я считал это входящим в сферу моей деятельности, в виду того громадного вреда, который все время приносил Распутин. Я не мог, конечно, обойти это своим вниманием. В виду этого, у меня было учреждено за Распутиным двойное наблюдение: одно гласное, под видом охраны его личности, при посредстве двух человек, другое негласное, тоже при посредстве двух человек. Это двойное наблюдение должно было давать мне точное представление о той обстановке, в которой он находился. Я учредил это наблюдение за ним, когда обратил внимание и на то большое влияние и на то, что многие благодаря его хлопотам получали места. Каждый день я получал рапорты о том, куда Распутин отправлялся,

сколько времени где пробыл и кто у него был. При этом, если кто-нибудь из его посетителей оказывался мне неизвестным, я приказывал навести о нем справки. На основании этих сведений у меня составлялось представление о том, кто, пользуясь влиянием Распутина, домогается получить что-нибудь или достигнуть чего-нибудь. Но наблюдение это было установлено мною не сразу после моего вступления в должность, — насколько я припоминаю, оно было установлено в 1914 году — как раз перед тем, как на него было произведено покушение.

Председатель. — В июле 1914 года?

Джунковский. — Правильно. Значит, в течение целого года после вступления моего в должность наблюдения этого не было. Но влияние его становилось все сильнее и сильнее. Устанавливая за ним наблюдение, я имел в виду добыть известные данные, которые позволили бы обвинить его в каких-нибудь незаконных проделках, — в каких-нибудь, например, незаконных заказах во вред правительству и т. п. Но довести это дело до конца мне не удалось, потому что, после происшествия, которое было с ним в Москве, мне было очень трудно действовать в этом направлении: я встречал невидимый, но очень сильный отпор в этом.

Председатель. — Вы имеете в виду скандал у Яра, где он так неприлично себя вел?

Джунковский. — Да. Этот скандал дал мне повод представить доклад государю.

Председатель. — До вас тоже производилось какое-нибудь наблюдение за Распутиным?

Джунковский. — Говорили, что да, но фактов относительно этого у меня нет.

Председатель. — И следов относительно этого в делах вверенной вам части министерства не осталось?

Джунковский. — Я лично не видал.

Председатель. — Каков был, по вашим наблюдениям, общий характер влияния Распутина? Вы говорите, что он влиял на назначения высоких лиц в государстве?

Джунковский. — Да, я знаю, во-первых, по разным слухам, что к нему ездили, просили и т. д. Затем я видел некоторые записки, которые он писал министрам, где просил устроить такого-то.

Председатель. — Это мелочи. Вы не застали того периода, когда он поднялся несколько выше в смысле влияния и стал участвовать в назначениях самих министров.

Джунковский. — Определенных фактов у меня нет, но по ходу дела это совершенно ясно. Я, например, узнал о своем уходе 10 августа из слов Распутина, сказанных моему агенту.

Председатель. — Что же он сказал?

Джунковский. — 10 августа он сказал: «Ну, а ваш Джунковский»... и свистнул. А 16 августа была записка государя о том, что я должен уйти.

Председатель. — На эту записку вы ответили письмом на имя государя?

Джунковский. — Это была записка не мне, а кн. Щербатову, который пригласил меня и дал ее прочесть. Она следующего содержания: «Настаиваю на немедленном отчислении генерала Джунковского».

Председатель. — Что послужило причиной вашего увольнения?

Джунковский. — Я так и не мог добиться. Я написал государю письмо по этому поводу, но ответа не получил.

Председатель. — В этом письме вы прямо ставили вопрос о вашем увольнении?

Джунковский. — Вопроса прямо я не ставил, но писал, что мне очень тяжела неизвестность тех причин, которые лишили меня доверия государя императора, — особенно после того громадного доверия, которое он мне всегда оказывал в течение моей службы; я просил об увольнении меня в отставку с тем, чтобы уйти и из свиты, потому что раз я потерял доверие государя, то ему не может быть приятно видеть среди лиц свиты человека, лишенного его доверия.

Председатель. — И вы ушли из свиты?

Джунковский. — Нет. Я написал, что по выходе в отставку я буду проситься вновь поступить на службу в действующую армию. На это государь ответил мне через Щербатова, на словах, что в отставку он меня не отпустит, в свите оставляет, а на войну предоставляет мне возможность уехать. Тогда последовало высочайшее повеление об отправлении меня в действующую армию.

Председатель. — Как вы сами объясняете себе вашу отставку?

Джунковский. — Я думаю, что тут повлияла, главным образом, императрица Александра Федоровна.

Председатель. — Почему вы так думаете?

Джунковский. — Потому что до того времени, пока государь не передал императрице моей записки, он относился ко мне очень хорошо, я бывал с ним в путешествиях, и отношение с его стороны было даже более предупредительное, чем раньше, а потом, когда, как я узнал, моя записка была передана Александре Федоровне, я увидел и почувствовал, что что-то произошло.

Председатель. — Когда была передана эта записка?

Джунковский. — В июне.

Председатель. — У вас есть копия этой записки?

Джунковский. — Нет, ее у меня нет. Я нарочно, когда писал ее, не сохранил копии, чтобы она не попала как-нибудь в печать.

Председатель. — Каково было содержание этой записки?

Джунковский. — Она заключала самое подробное описание того, что было у Яра, и вообще путешествия Распутина в Москву, причем все, что там происходило, было описано самым откровенным образом. Затем я написал государю, что, принимая во внимание, что Распутин бывает в царском дворце, я счел долгом осветить картину поведения этого человека и обратил внимание, что это уже не первый случай, что все это идет кресчендо и налагает некрасивую тень; поэтому я и считаю долгом верноподданного доложить это, полагая, что это грозит династии.

Председатель. — Вы предназначали эту записку для бывшего императора, а не для Александры Федоровны?

Джунковский. — Я лично отдал эту записку государю и, кроме того, сделал еще подробный доклад, излагая свой взгляд на Распутина и на Россию.

Председатель. — Вы ставили вопрос с точки зрения личной или династической или с точки зрения государственной?

Джунковский. — С точки зрения государственной и династической. Я указывал на опасность, которая угрожает государству и династии.

Председатель. — Вы указывали на разлагающее влияние и на власть этого человека?

Джунковский. — Да, очевидно. Я совершенно откровенно все сказал. Чтобы представить доклад, я воспользовался тем, что государь вызвал меня по поводу беспорядков в Москву. Там в мае были немецкие погромы, и я ездил в Москву. Когда я вернулся, государь прислал за мною, чтобы я сделал ему доклад по поводу этих событий; тогда я сделал одновременно и этот доклад. Не помню, какого числа это было. Государь принял меня в 10 часов вечера, отнесся очень хорошо, слушал очень внимательно, но не проронил ни одного слова во время моего доклада. Затем протянул руку и спрашивает: «У вас это написано?». Я вынул записку из портфеля, государь взял ее, открыл письменный стол и положил. Тогда я сказал государю, что в виду серьезности вопроса и в виду того, что я считаю деятельность Распутина крайне опасною и полагаю, что он должен являться орудием какого-нибудь сообщества, которое хочет повлечь Россию к гибели, я просил бы разрешения государя продолжать мои обследования о деятельности Распутина и докладывать ему. На это государь сказал: «Я вам не только разрешаю, но я вас даже прошу сделать это. Но пожалуйста, чтобы все эти доклады знал я и вы, — это будет между нами». Я очень поблагодарил государя за доверие. Потом государь еще с полчаса или час держал меня, — мы говорили о других делах, затем он меня отпустил. Было, должно быть, $12^1/_2$ ч. ночи, когда я вышел от государя. После этого я два раза сопровождал государя в путешествиях в ставку, и еще куда-то ездили, — сейчас я не помню. Вообще я пользовался большим вниманием со стороны государя.

Председатель. — Ведь вы были с давних пор известны государю через великого князя Сергея Александровича?

Джунковский. — Даже еще раньше. С самого молодого офицерства, потому что я был в Преображенском полку, я служил в первом батальоне.

Председатель. — Так что вы были не только в близких, но, может быть, даже в очень близких отношениях с ним?

Джунковский. — Нет. В очень близких отношениях с государем я не был, но, во всяком случае, я пользовался всегда его доверием.

Председатель. — Эта ваша записка долго пролежала у бывшего государя? Он передал ее Александре Федоровне по какому-нибудь поводу, — или вы не исследовали этого вопроса?

Джунковский. — Я не знаю, когда это было. Мне так много рассказывали, что трудно чему-нибудь верить. Должно быть, она была передана в конце июня.

Председатель. — После покушения или до покушения на Распутина?

Джунковский. — После, потому что я как раз был в ставке, и флигель-адъютант сказал мне, что императрица поручила ему проверить правильность моего доклада.

Председатель. — И что же, — он проверил?

Джунковский. — Не знаю. Я назвал ему даже свидетелей, которых он мог бы допросить для проверки.

Председатель. — Кто этот флигель-адъютант?

Джунковский. — Это Саблин.

Председатель. — Вы знаете, к каким выводам он пришел, т. е. опровергал ли его доклад ваше положение?

Джунковский. — Не знаю.

Председатель. — Судьбу вашего ухода разделили еще и некоторые другие лица, которые были близки к государю, например, князь Орлов?

Джунковский. — Да, кроме того Дрентельн. Я не думаю, чтобы мой уход был связан исключительно с той запиской, которую я передал. Я думаю, тут помогли и другие лица, которые были очень недовольны моей деятельностью в качестве товарища министра и заведывающего департаментом полиции.

Председатель. — Кто же именно?

Джунковский. — Я думаю, что Белецкий больше всего. Так мне говорили. По крайней мере князь Щербатов говорил: «Отчего вы не реагируете на то, что Белецкий распускает про вас в государственном совете разные вещи?». Я отвечал: «Мне решительно все равно. Пусть судят по моим делам, а не по тем сплетням, которые рассказывают». — «Но нужно же что-нибудь сказать». — «Я не буду ничего говорить».

Председатель. — Как вы себе представляете воздействие Распутина на императрицу и, может быть, на самого бывшего государя — хотя бы в связи с обстоятельствами вашей отставки?

Джунковский. — Я думаю, что императрица настаивала, чтобы меня удалили, как врага царствующего дома.

Председатель. — Но какие же были основания для этого утверждения относительно давнего личного друга государя и его семьи?

Джунковский. — Я думаю, что императрица была настолько ослеплена, настолько у нее все было заволочено, если можно так выразиться, влиянием Распутина, что она не сознавала, что делает. И кроме того, у нее была твердая вера, что если не будет Распутина, наследник умрет. Это была ее idée fixe.

Родичев. — Об этом приключении у Яра в Москве ходили разные слухи. Одним из членов Государственной Думы было высказано даже, что во время этого кутежа Распутин позволил себе отзываться о своих отношениях к императрице в оскорбительной для нее форме. Это обстоятельство тоже было упомянуто в вашем докладе?

Джунковский. — Да, было.

Председатель. — Каким образом это затемненное сознание императрицы вяжется с тою настойчивостью вмешательства в государственные дела, какую она обнаруживала в случаях увольнения тех или иных лиц с высших постов, как, например, в вашем случае?

Джунковский. — Я думаю, что это объясняется характером Александры Федоровны, — она не допускала никаких препон на своем пути.

Председатель. — Значит, вы приписываете все это исключительно характеру и настойчивости Александры Федоровны? Как вы объясняете себе такое исключительное воздействие Распутина на супругу главы верховной власти?

Джунковский. — Я объясняю себе это психозом.

Председатель. — На какой почве?

Джунковский. — На почве истерии.

Председатель. — Скажите, в какие формы выявилось общение этого темного, невежественного, развратного человека с царской семьей?

Джунковский. — Я не знаю. Слухов ходило много, но фактов для суждения об этом у меня нет.

Председатель. — Мы проследили исключительные влияния Распутина на назначение и увольнение разных лиц. Но не знаете ли вы случаев, когда это лицо, столь низко стоящее в моральном отношении, оказывало, тем не менее, влияние и на дела, имеющие чисто государственный характер?

Джунковский. — Назначения под его влиянием безусловно бывали, — это не подлежит сомнению. Я знаю, например, такой

факт. Речь шла о назначении губернатором председателя пермской казенной палаты. Это еще при Маклакове, но Маклаков тогда не поддался и отказал. Он показал мне записку Распутина, в которой тот просил его... Виноват, это не так. Но, вероятно, императрица и Распутин принимали большое участие в этом председателе пермской казенной палаты. Маклаков говорил со мной тогда по этому поводу. Я высказал, что если сделать хоть одну такую уступку, то это уже будет наклонной плоскостью, и Маклаков отказал, — человек этот не был назначен. Но когда Маклаков ушел, он все-таки был назначен губернатором, кажется, это было уже после Щербатова.

Председатель. — Т.-е. при Хвостове?

Джунковский. — Я не помню, при ком.

Председатель. — Хвостов сменил Щербатова 26 сентября.

Джунковский. — Распутин хлопотал об этом назначении в течение целого года, но Маклаков выдержал характер.

Председатель. — Тему о личных назначениях я считаю исчерпанной, но вот что мне хотелось бы спросить. Вы имели секретное наблюдение за этим человеком; может быть, вы наблюдали такое явление. Вам сообщают, например, что его отношения к вопросам государственного значения таковы-то...

Джунковский. — Нет, этого в моих делах не было. Вообще, я, быть может, был один из немногих занимавших такой пост, который не получил даже ни одной записки от Распутина.

Председатель. — Поднимается, например, вопрос о роспуске Думы...

Джунковский. — Никаких следов этого у меня не было.

Председатель. — Не было, чтобы он заранее говорил, что Думу нужно распустить, или допустим, не распускать, а в последующем это осуществлялось?

Джунковский. — Этого не было. При мне Думу не распускали.

Председатель. — Скажите, вы не знаете, как относился Распутин к вопросу о войне?

Джунковский. — Этого я не знаю.

Председатель. — Вам не докладывали о том, что он заявлял, что если бы в момент объявления войны он был в Петрограде, то он употребил бы усилия и достиг бы того, что война не была бы объявлена?

Джунковский. — Нет, этого не было ни в одном донесении.

Председатель. — Скажите, а каково было в то время, когда вы состояли товарищем министра, ваше отношение к Маклакову и Горемыкину?

Джунковский. — К Маклакову у меня было прекрасное отношение, потому что кроме предупредительности, я ничего от него не видел, он всегда помогал мне во всех моих начинаниях.

Председатель. — А ваше отношение к Горемыкину и отношение Горемыкина к вам?

Джунковский. — К Горемыкину у меня было отличное отношение, и он ко мне относился прекрасно, но некоторые изменения, произведенные мною в департаменте полиции, ему не нравились. Он находил, что это немного либерально. Не могу, однако, сказать, чтобы он противодействовал мне. По поводу охранных отделений я даже специально ездил к нему, чтобы доложить ему мою точку зрения, — и в конце концов он согласился с ней.

Председатель. — Вы говорите о вашем докладе касательно районных охранных отделений?

Джунковский. — Да, — отделений, которые я сокращал. Затем должен сказать, что когда Маклаков уходил и когда министром внутренних дел был назначен Щербатов, Горемыкин, как я знаю, выставлял даже мою кандидатуру.

Председатель. — Возвратимся к Распутину. Вы изволили сказать, что исследовали вопрос о том, не занимается ли он казенными заказами и вообще операциями такого рода, но что не довели расследование этого дела до конца...

Джунковский. — Я не мог довести его до конца. Это было в июне. Я подал тогда свой доклад. Я хотел расследовать вопрос несколько шире, но сделать это мне никак не удавалось.

Председатель. — Скажите, — значит, было что-нибудь, что послужило вам отправной точкой и дало возможность вести работу в этом направлении? Были какие-то указания на это?

Джунковский. — Была одна депеша насчет какого-то заказа. Она показалась мне очень подозрительной.

Председатель. — В связи с его именем?

Джунковский. — Он сам непосредственно телеграфировал государю.

Председатель. — Ах, непосредственно телеграфировал государю?

Джунковский. — Он выражался там лаконически: столько-то, не помню, сколько, — винтовок или чего-то такое должно быть заказано, надо остановить, надо обратиться куда-то.

Председатель. — Надо остановить? Что это значит?

Джунковский. — Да, остановить. Депеша была написана не совсем ясно, но он что-то такое останавливал. Эта депеша — единственный документ, который у меня был.

Председатель. — Что же нужно было остановить и для чего — для содействия вооружению армии или в обратном направлении?

Джунковский. — Нет, смысл, насколько я понял, был таков, что он должен был получить какой-то куш. Из телеграммы не было видно, что речь идет о чем-то вредном, но видно было, что он заинтересован в данном деле.

Председатель. — А не было ли в вашем распоряжении сведений о том, что среди окружавших Распутина лиц были лица, подозреваемые в шпионстве?

Джунковский. — Нет, таких сведений у меня не было.

Председатель. — Вы не помните фамилию Гюллинг?

Джунковский. — Нет, не помню.

Председатель. — Не проходило ли это лицо по списку лиц, подозреваемых в шпионстве, и вместе с тем не имелось ли указания на то, что это лицо близко к Распутину?

Джунковский. — Фамилии Гюллинг совсем не помню.

Председатель. — Вы изволили сказать, что в вашей несколько реформаторской деятельности в области порученного вам дела вы встречали некоторое глухое противодействие, — как со стороны отдельных лиц, так и со стороны совокупности этих лиц, я бы сказал — со стороны среды, в которую вы попали.

Джунковский. — Да. До меня доходили слухи, что покойный П. Н. Дурново, например, очень осуждал мою деятельность.

Председатель. — Но вы не только знали об этом противодействии по слухам, — вы и сами чувствовали его в ваших попытках?

Джунковский. — Да, чувствовал.

Иванов. — Вы изволили упомянуть имя Саблина, которому дано было поручение от Александры Федоровны. Скажите, этот Саблин играл большую роль при дворе? И на кого он больше всего имел влияние? На Александру Федоровну?

Джунковский. — Исключительно на императрицу.

Иванов. — Это был так сказать орган ее?

Джунковский. — Да. Он спрашивал меня, кого я могу назвать свидетелем той истории, о которой докладывал в своей записке. Он сказал, что слышал про ужасные дела Распутина и так как мне Александра Федоровна не особенно доверяет, а ему верит, то он хочет открыть ей глаза на этого человека, — поэтому он и просит моей помощи. Вот его слова.

Иванов. — Но никаких результатов из этого не вышло?

Джунковский. — Я не знаю, кажется, что нет.

Председатель. — Будьте добры сказать, что вам известно относительно некоторых основных функций министерства внутренних дел в ваше время. Как обстоял при вас, например, вопрос о тратах из секретного фонда — не в формальном смысле этого вопроса, а в материальном? Кому и за что выдавались субсидии — из правых организаций, например?

Джунковский. — Правые организации при мне не получали. Я не выдавал ничего.

Председатель. — Вы им не давали, но может быть, эти субсидии шли помимо вас?

Джунковский. — Да, были такие субсидии правым органам печати, но все это совершенно не касалось меня. Это совсем другой фонд.

Председатель. — Вы имеете в виду рептильный фонд?

Джунковский. — Я не знаю, что такое рептильный фонд.

Председатель. — Рептильный фонд, — это те суммы, которые ссужались на органы правой печати.

Джунковский. — Через мои руки это никогда не проходило. Эти суммы вовсе не касались департамента полиции, и в отчетах департамента полиции их не было.

Председатель. — Так что вы совершенно определенно отмежевали себя от этого рода трат? Ну, а траты из сумм департамента полиции, из так называемых секретных сумм, составляющих три с половиной миллиона?

Джунковский. — Эти суммы были.

Председатель. — И из них производились выдачи на правые организации?

Джунковский. — Правые организации при мне, я думаю, ни одной копейки не получили . . . Нет, одна газета получала, но какая это была газета? . . .

Председатель. — Господин секретарь, будьте добры, возьмите допрос Белецкого, найдите там предъявление одного документа, относительно которого Белецкий сказал, что имеющаяся на нем отметка сделана рукою Владимира Федоровича, и найдите по этому протоколу эту отметку.

Джунковский. — Была одна женщина, издававшая рабочую газету . . . Сейчас я вспомню . . .

Щеголев. — Шабельская.

Джунковский. — Да. Она получала.

Председатель. — Из сумм департамента полиции?

Джунковский. — Из сумм департамента полиции.

Ольденбург. — Почему она получала?

Джунковский. — Издавалась рабочая газета. Она очень недолго просуществовала, — из этого ничего не вышло. Была мысль, что среди рабочих должны существовать не только органы левой печати, но и правые. Нельзя, однако, сказать, что эта газета Шабельской была крайняя правая газета, скорее этот орган можно было бы назвать беспартийно-правым.

Председатель. — Итак, позвольте считать, что при вас из секретного фонда департамента полиции субсидий правым организациям не выдавалось?

Джунковский. — Я думаю, доказательство этого должно быть в делах. Без моей подписи выдавать не могли.

Председатель. — Скажите, на что же тратились деньги из $3^1/_2$-миллионного секретного фонда?

Джунковский. — Там ведь была смета, — смета департамента полиции. Вероятно, ее и теперь можно найти. Там ясно сказано. Мне довольно трудно припомнить все рубрики.

Иванов. — Хотелось бы знать, на что предназначались и на что именно тратились суммы из этого секретного фонда?

Джунковский. — Предназначались, вероятно, на обеспечение спокойствия и безопасности, на полицию.

Иванов. — На розыск?

Джунковский. — На корпус жандармов, на розыск. Одним словом, на все те расходы, которые не предусмотрены штатами.

Иванов. — Но вам известно, что из этих сумм выдавалось не на это, а на содержание членов совета и на разные другие надобности? Как вы относились к этому?

Джунковский. — Я признавал это безусловно неправильным и постепенно все это уничтожал, но я не мог уничтожить разные выдачи, пенсии, забронированные суммы. Масса лиц получала из этого фонда. Я помню, даже вдова члена государственного совета Сабурова получала. Я не мог это отменить; забронировано было, сказано: «по высочайшему повелению назначено». Значит, мне оставалось только следить за тем, чтобы никаких новых выдач не производилось.

Председатель. — Но вы упоминали, что эти суммы, будучи безотчетными в смысле государственного контроля, тем не менее, подвергались внутренней отчетности, — в самом министерстве внутренних дел?

Джунковский. — Да . . .

Председатель. — И вы, так же, как и министр, следили за тем, чтобы эти суммы не тратились сверх определенных целей — за исключением тех забронированных сумм, о которых вы только что упомянули?

Джунковский. — Может быть, некоторые отступления в данном случае и бывали, но во всяком случае я думаю, что за мое время эти отступления были очень маленькие.

Председатель. — Что это за телеграмма? (Читает): «По военным обстоятельствам вне очереди Петроград директору департамента полиции: будьте добры срочно распорядитесь . . .»

Джунковский. — Это государь дал 5 000 рублей.

Иванов. — На что?

Джунковский. — На библиотеки в армии.

Председатель. — Вы помните, — эта телеграмма была отправлена из Севастополя?

Джунковский. — Да, да, совершенно верно.

Председатель. — Это выдача из сумм секретного фонда?

Джунковский. — Нет, нет! Выдача должна была быть произведена из сумм секретного фонда, потом она была возмещена из личных средств государя.

Иванов. — Так что это была выдача заимообразная?

Джунковский. — Пуришкевич просил на литературу. Во время поездок государя раздавали много сумм, поэтому я обратился к государю и сказал: «Пуришкевич ко мне обратился. Он много книжек посылает на фронт, — библиотечки такие делает. (Правда

он очень много делал.) Денег у него нет, нельзя ли ему помочь?». Я ходатайствовал об этом перед государем и вручил ему памятную записку, потому что не хотел давать из секретного фонда, — считал это совершенно неправильным. И государь дал пять тысяч рублей. Но мне было сказано, что эти деньги будут выданы в Петрограде. Тогда я телеграфировал директору департамента, — чтобы не задерживать выдачу этих денег.

Председатель. — Что такое шефские суммы? Какой был порядок их расходования и какое назначение?

Джунковский. — Это есть жалованье шефа жандармов, которое министр внутренних дел получал и тратил по своей личной надобности.

Председатель. — На какие цели?

Джунковский. — Так, как он хотел.

Председатель. — Так что шефская сумма это есть жалование министра внутренних дел по должности шефа жандармов? Большая сумма на это отпускалась?

Джунковский. — Должно быть, около 60 000 рублей в год.

Председатель. — Так что шефская сумма — это есть жалованье шефа жандармов?

Джунковский. — Во всех полках, где имеется шеф, например, в Преображенском полку, где шефом был государь, тоже идет шефская сумма. Но только, конечно, ее не брали, и она шла в полк, в полку и расходовалась.

Иванов. — Вы говорите, что в данном случае шефские суммы шли в распоряжение министра внутренних дел. И отчета в них он не отдавал?

Джунковский. — Никакого.

Иванов. — Значит, считалось, что эти суммы принадлежат лично ему?

Джунковский. — По крайней мере, я так считал. Я не поднимал этого вопроса. Мне так казалось. Из этих шефских сумм министр давал иногда пособия. Попросишь его — он велит выдать из шефских сумм.

Председатель. — Вы были шефом жандармов?

Джунковский. — Нет, я был командиром отдельного корпуса и получал содержание от отдельного корпуса, а как товарищ министра, содержания не получал. По двум должностям нельзя получать.

Председатель. — Какова история той суммы, которую вы обнаружили по охранному отделению?

Джунковский. — Это был капитал повешенных. Я приказал сдать его в казну.

Председатель. — Скажите, как и при каких обстоятельствах вы обнаружили этот капитал повешенных?

Джунковский. — При ревизии.

Председатель. — Это при фон-Коттене было?

Джунковский. — Да. Это было одно из самых серьезных обвинений.

Председатель. — Которые вы предъявили фон-Коттену?

Джунковский.—Это была давнишняя история. Я нашел, что это настоящий разврат, и приказал немедленно сдать все это в казну.

Председатель. — Позвольте огласить для членов Комиссии, которые этого не слышали, следующую бумагу. (Из дела № 46 1913 года дело канцелярии товарища министра внутренних дел свиты генерала его величества Джунковского с особо секретными переписками оглашается документ, отправленный 4 декабря 1913 года за № 1423.) Будьте добры, Владимир Федорович, тут есть ваша рука в поправках или в самом тексте этой бумаги. (Подает документ.)

Джунковский. — Это писал мой секретарь Поповский. Это моя поправка. Это поправка начальника штаба корпуса жандармов Никольского. Это мой почерк.

Председатель. — На последней странице там есть еще приписка сбоку.

Иванов. — Это ваша приписка о возврате в казну?

Джунковский. — Да, моя.

Председатель. — Каким образом они отбирали эти суммы у высланных? А затем, что касается фон-Коттена, он один был уволен в связи с этим, или также и другие чины охранного отделения?

Джунковский. — Тогда все там было совершенно переменено. Я просил полк. Попова взять должность начальника охранного отделения потому, что мне очень трудно было; кроме того, мне было очень трудно с Драчевским, потому что я встретил от него колоссальнейший отпор. Он ставил вопрос ребром, говоря, что если возьмут Коттена, он не может отвечать за безопасность столицы. С ним было ужасно трудно. Я был с ним в очень скверных служебных отношениях. Он меня не признавал совершенно, говорил, что ревизия меня не касается, что я не имею права ревизовать. Это был очень трудный вопрос. Тогда я обратился к полк. Попову, который был в Севастополе и которого я отметил. Его деятельность была высоко честная и противная провокации. Я просил его принять охранное отделение, он ни за что не хотел, говорил, что он не может, что там такая грязь, так скверно, что он не в силах это сделать. Тогда я умолил его взять эту должность хоть на три месяца, ради меня, потому что у меня нет такого человека, которому я мог бы верить, а Драчевский может поставить на это место своего человека, так как охранное отделение ему всецело подчинено. Наконец, Попов согласился и при его помощи мне удалось немного привести в порядок и очистить там атмосферу.

Председатель. — Кто на вас писал этот пасквиль, который вы уже знаете: генерал Джунковский в отставке, Тихменев. Кому вы его приписываете?

Джунковский. — Я думаю, что это Белецкий писал.

Председатель. — Что вам известно о перлюстрировании писем и об участии в этом деле департамента полиции? На каком основании производилась эта перлюстрация?

Джунковский. — О перлюстрации я могу только одно сказать, что я получал от министра внутренних дел конверт с копиями некоторых писем, — больше ничего не могу сказать. К департаменту полиции это совершенно не относилось. Это был совсем самостоятельный отдел, и через мои руки ничего не проходило.

Председатель. — Вам неизвестно было, что в составе департамента полиции есть такая комната, где письма фотографируются, происходит перлюстрация писем?

Джунковский. — Разные документы фотографировались. Это безусловно было.

Председатель. — Вы не задавались вопросом, законно это или нет? В действительности это ведь совершенно незаконно?

Иванов. — Вы говорите, что документы фотографировались. Фотографировались не документы, а письма.

Председатель. — Другими словами, нарушалась тайна частной корреспонденции. И этим систематически занимался определенный штат лиц, образующих при департаменте полиции целое учреждение.

Джунковский. — Была комната, где расшифровывались разные шифры.

Председатель. — Такая комната действительно была, но были и люди, которые занимались специально фотографированием чужой переписки.

Джунковский. — Фотографировались документы, отбираемые при обысках. Это официально делалось, а если что делалось неофициально, то в это я не входил.

Председатель. — Вы говорите, однако, что встречались с перлюстрацией через министра внутренних дел, а непосредственно к вам не поступали эти перлюстрированные письма?

Джунковский. — Непосредственно — нет. Они поступали ко мне от министра.

Иванов. — На какие средства содержалось это дело?

Джунковский. — Очевидно, на средства секретного фонда.

Иванов. — Т.-е., на средства департамента полиции?

Джунковский. — В наших отчетах этого нет.

Иванов. — Как же так? Деньги расходовались, а в отчетах этого нет?

Джунковский. — Точно так же большие субсидии получали газеты, а между тем у нас это не проходило.

Иванов. — Кто же выдавал эти суммы? Ведь раз они выдавались, — нужно думать, что это делалось с ведома директора департамента?

Джунковский. — Конечно, если фотографировались письма, то и за это платилось жалованье.

Иванов. — Перлюстрация производилась в почтамте, но для этого, конечно, нужны специальные люди, труд которых надо было оплачивать. Нам до известной степени известно даже, что на это расходовалось больше 100.000 рублей.

Джунковский. — Эти люди и получали содержание.

Иванов. — В качестве агентов департамента полиции?

Джунковский. — Агентов особых не было. Просто, те же самые чиновники исполняли. Например, я застал такое положение, что во всех жандармских управлениях письма вскрывались и читались унтер-офицерами. Я это прекратил. Может быть, мне не удалось это, может быть, это продолжалось, но во всех случаях, натолкнувшись на это, я пытался прекратить. Я натолкнулся на это в Крыму. Все это, конечно, незаконным способом делалось.

Председатель. — Не было ли у вас такого случая, когда по поводу перлюстрированного письма вы входили даже в сношения с министром юстиции?

Джунковский. — Не помню. Может быть, и было.

Председатель (читает). — «Доверительно. Милостивый государь, Владимир Федорович. При письме от 11-го июня сего года за № 809 ваше превосходительство препроводили мне копию письма, от 1-го июня 1913 года, адресованного товарищем председателя иркутского окружного суда Смирновым члену Государственной Думы Маркову 2-му. Ныне из доставленных старшим председателем иркутской судебной палаты по содержанию этого письма сведений, вместе с собственноручным письмом названного товарища председателя суда, видно, что Смирнов, ознакомившись с предъявленной ему копией письма на имя депутата Маркова, подписанной его фамилией, — признал письмо это подложным, так как никогда в переписке с г. Марковым не состоял и поэтому просит выслать ему подлинное письмо с конвертом, чтобы обнаружить лицо, изготовившее его, выяснить цели, которые это лицо преследовало при написании письма, и доказать полную свою к нему непричастность. Признавая, с своей стороны, желательным предоставить коллежскому советнику Смирнову все средства для установления автора означенного письма, имею честь обратиться к вам, милостивый государь, с покорнейшею просьбою, не найдете ли вы возможным препроводить мне на некоторое время подлинник письма, полученного г. Марковым, вместе с конвертом, каковые документы по миновании надобности будут возвращены вам обратно. Примите, милостивый государь, уверение в совершенном

моем почтении и искренней преданности. Подписал: Ив. Щегловитов. № 14719. 10-го октября 1913 года».

Джунковский. — Припоминаю.

Председатель. — И вот вас просят прислать это письмо. Г. секретарь, занесите в протокол, что оглашен документ из дел департамента полиции 9-го делопроизводства за № 15, 1917 года. Этот документ относится к 14-му октября.

Джунковский. — Должно быть, я увидел дело, касающееся судебной власти, и послал его Щегловитову для рассмотрения судебной властью.

Иванов. — Это добыто путем перлюстрации, т.-е. перехватывания писем?

Джунковский. — Да, путем перехватывания.

Председатель. — Таким образом, система перлюстрации была вам известна. Она не имела никакого законного титула. Почему же вы не обратили на это внимания, не настояли на прекращении этого?

Джунковский.—Это меня не касалось. К делам департамента полиции это не относилось.

Председатель. — Но, тем не менее, вы пользовались перлюстрацией?

Джунковский. — Да, мне посылали, конечно. Это считалось по части розыска.

Председатель. — Вот ваша резолюция: «Совершенно секретно. Это, однако, неприятная история по перлюстрации. К моему возвращению прошу доложить. Может быть, что-нибудь узнается».

Джунковский. — Да, это я написал.

Председатель. — Может быть, вы посмотрите? (Показывает бумагу.)

Джунковский (смотрит). — Да, это моя рука.

Председатель. — Вспомните пожалуйста, как разъяснилась и чем кончилась эта история.

Джунковский. — Так это и осталось неразъясненным, насколько я помню, тут написано: «Я лично переговорил с министром юстиции, который просил оставить письмо без ответа».

Председатель.—Вспомните содержание этого разговора с министром юстиции.

Джунковский. — Это довольно трудно... Смирнов говорил, что он не писал этого письма, а удостоверить, писал ли он в действительности или нет, не было никакой возможности.

Председатель. — А путем сравнения почерка?

Джунковский. — Но ведь самого письма у меня не было.

Председатель. — Повидимому, однако, оно было у министра юстиции?

Джунковский. — Нет. Ведь министр юстиции получил копию. Самое письмо пошло по назначению. В перлюстрации письма не

задерживались: с них только копии снимались, а письмо шло к адресату. Проверить никоим образом было нельзя.

Иванов. — Письмо министру юстиции так и не посылалось?

Председатель. — Как же не посылалось? — «При письме ваше превосходительство препроводили мне копию письма».

Джунковский. — Это копия. Подлинного письма у меня никогда в руках не было.

Председатель. — Но как же это, Владимир Федорович, вам стало известно о перлюстрации писем членов Государственной Думы, — Маркова 2-го, например, — и вы не принимаете никаких мер, чтобы установить возвращение к законному порядку?

Джунковский. — Да, я никаких мер не принимал. Это обычай, который существовал более ста лет. Я знал, я имел прямое доказательство, что и мои собственные письма читали,—и я ничего не мог сделать.

Председатель. — Т.-е., вы все же делали что-нибудь? Или исходя из того, что тут ничего не поделаешь, даже и попытки никакой не делали?

Джунковский. — Это ведомство не касалось меня, потому я в это не входил. Единственно, что я мог тут сделать, это то, что когда эти письма поступали на хорошей бумаге к министру внутренних дел, а он препровождал их мне, я сжигал их в камине. В исключительных же случаях, когда я замечал что-нибудь действительно преступное, я направлял тому, кого это касалось. За два с половиной года это случилось, может быть, раза три или четыре.

Председатель. — Вы не помните, не предпринимали ли вы чего-нибудь для восстановления законного порядка по поводу одного письма в бытность министром внутренних дел Маклакова?

Джунковский. — Мер для уничтожения перлюстрации вообще? Нет, не принимал.

Председатель. — Почему?

Джунковский. — Потому что хотя явление, может быть, и незаконное, но оно во всех странах практиковалось, точно так же и у нас.

Председатель. — А вам известно, Владимир Федорович, что представитель министерства, с трибуны Государственной Думы, отрицал самое существование черных кабинетов, т.-е. перлюстрации?

Джунковский. — Это было мне известно. Я читал это в газетах.

Председатель. — Это при вас Плеве отвечал на запрос?

Джунковский. — Нет, не при мне.

Председатель. — Оглашается «Выписка из письма, с подписью: «М», Москва, от 29-го мая 1915 года; к А. Перес, в Харьков, Конная 22, зубоврачебный кабинет Р. Д. Данилевского. — Дорогая Таня. В Москве идет сплошной разгром немецких мага-

зинов — гнуснейший погром с разрешения начальства. Сегодня с утра полиция дала сигнал, распорядившись немедленно удалить немецкие вывески, где они еще оставались. Городовые взялись за вывески, а хулиганы за магазины. Это очевидно устроено с целью дать выход озлоблению, вызванному поражением в Галиции. Ходят слухи самые волнующие и они подтверждаются. Так говорят, что Перемышль продали и что много генералов и офицеров казнено за это. Я этому не верил, так как источники были ненадежны. Но вот Борис слышал от сестры милосердия, приехавшей с позиции, что она в Конотопе встретила двух русских генералов, ехавших под арестом в оковах, и другие передавали уже, что их видели здесь в Москве». Внизу написано: «Подлинное письмо удержано до распоряжения вашего высокопревосходительства». Сверху на полях синим карандашом: «Не посылать по моему. Сообщить Мардарьеву». Красным карандашом: «Сообщено по телефону лично, 4/VI». Это человек, который заведывал перлюстрацией в Петрограде. Где тут ваша рука?

Джунковский. — «Не посылать» — написал Маклаков; «сообщить Мардарьеву» — я; «Сообщено по телефону лично» — мой секретарь.

Председатель. — Вы позволите понять вас так, что ответственность за это лежит, по вашему мнению, на министре внутренних дел и к вашей области не имела отношения? Что и в данном случае вы исполняли лишь распоряжение министра внутренних дел?

Джунковский. — Да.

Председатель. — Оглашается документ из того же дела: «Ставка. Верховному Главнокомандующему генералу Янушкевичу. Воинский. Лично доверительно узнав, что министр юстиции едет сегодня в Ставку, очень опасаюсь чтобы он не стал просить великого князя содействовать помилованию как Бурцева, так и осужденных думских депутатов, признавая это несвоевременным и опасным для порядка считаю своим долгом вас предупредить 423. Джунковский».

Джунковский. — Совершенно верно.

Председатель. — Что это за документ?

Джунковский. — Я считал, что освобождение Бурцева, как и членов Государственной Думы, было бы совершенно несвоевременно и потому послал такую телеграмму.

Председатель. — Почему вы думали, что Щегловитов будет об этом хлопотать? Вообще он вéдь не был склонен хлопотать.

Джунковский. — Потому, что он то одного держался, то другого.

Председатель. — «Отправлена 13-го февраля» — это ваша отметка? (Показывает бумагу.)

Джунковский. — Это — моего секретаря. А это моей рукой написано.

Председатель. — Выписка из письма с неразобранной подписью: «Красноярск, Енисейской губернии» (читает). Из того же 14-го тома. Здесь надпись: «Генералу Беляеву при письме». Очевидно, тут тоже дело идет о копии перлюстрированного письма.

Джунковский. — Так как это касалось контр-разведки, то мы обязаны сообщить ему. Он был начальником штаба.

Председатель. — Здесь есть еще письмо 1902 года, за № 358.

Джунковский. — Перлюстрация, главным образом, занималась контр-разведкой. Поэтому уничтожить ее во время войны я считал невозможным даже с точки зрения безопасности.

Председатель. — 6-го июля 1915 года — письма Самарина Питириму и Григорию Новых. Затем письмо, посланное Горемыкину, — тоже должно быть по контр-разведке. Давыдова, бывшего директора департамента полиции. «Преследовал приехавшего фон-Люциуса».

Джунковский. — Это тоже по контр-разведке.

Председатель — А что это? (Читает.) «Петроград. Дирпол. Личная. Меня крайне тревожит дело Шарля, данное мною разрешение на приезд одного из них. Необходимо сопровождать его в мертвую. Боюсь багровщины. Хорошо ли все обставлено; для полной гарантии необходимо знать точно время проезда через границу. №1661. Джунковский». Вверху с правой стороны бланка телеграммы красным карандашом написано: «Отправлена 10/VI в Минске».

Джунковский. — Это тоже по контр-разведке. Он должен был приехать в Петроград. Это немецкая организация, которая должна была устроить покушение на взрывы мостов и т. п.

Председатель. — И вы дали ей разрешение приехать?

Джунковский. — Тогда не было еще известно, какая у него была цель, но он должен был выехать в Россию. Его должны были сопровождать для передачи в руки военных властей. Это дело было передано в управление генерального штаба. Это во время войны было?

Председатель. — 10-го июня,—повидимому, 1914 года. Почему все-таки вы дали этому Шарлю разрешение приехать, а потом стали беспокоиться?

Джунковский. — Из предосторожности.

Председатель. — Почему же вы дали ему разрешение приехать?

Джунковский. — Очевидно, военные власти желали, чтобы он приехал.

Председатель. — Что значит «сопровождать его в мертвую»?

Джунковский. — Это значит — не упускать его ни на минуту с глаз.

Председатель. — А это что за телеграмма: «Коттен допущен к исполнению должности начальника штаба Кронштадтской крепости. № 367. Брюн».

Джунковский. — Это меня предупреждает. Должно быть, он это в Ставку мне телеграфировал.

Председатель. — Неизвестно куда. «На имя товарища министра Джунковского. От директора департамента полиции. 26-го июня, 1915 года».

Джунковский. — Это просьба, чтобы я доложил великому князю о том безобразии, которое было сделано его назначением.

Председатель. — А назначение это исходило от великого князя?

Джунковский. — Нет, от военного ведомства. Я Николаю Николаевичу доложил. Его устранили тогда, но потом опять назначили.

Председатель. — Вам известно, Владимир Федорович, что эти люди, занимавшиеся перлюстрацией, значились чиновниками цензуры иностранных газет и журналов?

Джунковский. — Я знал, что они работают в почтамте.

Председатель. — Как они назывались, вы не знаете?

Джунковский. — Я знал только, что это происходило в почтамте.

Председатель. — Вы не помните, что саратовский губернатор сообщал вам о необходимости учредить особый штат знающих иностранные языки чиновников для пересмотра заграничной корреспонденции?

Джунковский. — Да, это было.

Иванов. — И просил отпустить средства из сумм департамента полиции.

Джунковский. — Да, — для просмотра писем немецких колонистов. Там был шпионаж.

Иванов. — И вы сделали распоряжение уничтожить всю эту корреспонденцию?

Председатель. — На письме 19-го сентября за № 857 значится: «Надлежит всю международную корреспонденцию на иностранных языках подвергать уничтожению».

Иванов. — Почему это «подвергать уничтожению»?

Джунковский. — Потому что чиновников, которые могли бы читать эту корреспонденцию, не было, а между тем среди немецких колонистов шел шпионаж. Я предпочел сделать такое распоряжение, что раз на немецком языке, то прямо жечь. Если не будут немецкие колонисты получать писем, то и пусть не получают.

Иванов. — Значит, цель ваша состояла — в уничтожении шпионажа?

Джунковский. — Да.

Председатель. — Почему же не завести особых чиновников? Ведь на войну тратилось такое колоссальное количество средств. . . Затем не помните ли вы, Владимир Федорович, одну бумагу, на которой вы положили свою резолюцию. Бумага относится к 23-му

ноября 1913 года за № 112386: «Начальник отделения по охранению общественной безопасности и порядка в г. Москве подполковник Мартынов, письмом от 2-го сего ноября за № 269280, ходатайствует о возмещении из сумм департамента полиции 600 руб., кои им израсходованы на поездки секретных сотрудников «Мека» и «Кривцова» заграницу для освещения первым «Ленинского совещания» 25-го сентября сего года в Галиции и вторым «Октябрьского съезда Общинников в Париже». О разрешении департаментом полиции отправки сотрудников «Мека» заграницу в делах особого отдела сведений не имеется, отправка же «Кривцова» разрешена письмом бывшего вице-директора С. Е. Виссарионова от 18-го февраля сего года за № 111170. По рассмотрении донесений подполковника Мартынова о результатах освещения помянутых двух съездов, особый отдел приходит к заключению, что работа сотрудников «Мека» и «Кривцова» является вполне плодотворной и поэтому произведенный на их поездку расход всецело оправдывается доставленными ими сведениями. Ценность таковых сведений, по мнению особого отдела, не умаляется тремя нижеприведенными обстоятельствами отрицательного характера, являющимися результатом недостаточно настоятельного и точного со стороны подполковника Мартынова инструктирования сотрудника «Кривцова». По донесению командированного министерством внутренних дел заграницу для сношения с местными властями и российскими посольствами и консульствами от 23-го октября сего года за № 1648, «Кривцов», выступавший на съезде под партийной кличкой «Степан» и «Игнат», обратил на себя внимание ярым отстаиванием террора и экспроприации во всех их видах. В дальнейшем по получении сведений о выезде сего лица в Россию департамент полиции сделал распоряжение об аресте его на границе, запросив предварительно подполковника Мартынова, не является ли «Степан» сотрудником «Кривцовым». Как оказалось, эти партийные клички «Кривцова» не были известны подполковнику Мартынову и поэтому он ответил, что «Степан» и «Кривцов» разные лица, введя таким образом департамент полиции в заблуждение! Лишь благодаря счастливой, в данном случае, невнимательности пограничного пункта, «Степан», он же «Кривцов», не был арестован на границе при возвращении со съезда, иначе он был бы несомненно провален. Изложенное недоразумение не последовало бы, еслиб подполковник Мартынов осведомил, как это установлено циркуляром департамента полиции командированного министерством внутренних дел заграницу для сношения с местными властями и российскими посольствами и консульствами о выезде своего сотрудника на съезд в Париж. Так как недопустимость слишком активного выступления сотрудников во вред правительству предусмотрена циркуляром департамента полиции от 5-го февраля 1909 года за

№ 123224, то по сему поводу ваше превосходительство изволили сделать надлежащие указания подполковнику Мартынову, изложенные в уведомлении от 9-го сего ноября за № 106307. Докладывая об изложенном вашему превосходительству, особый отдел полагал бы обратить означенный расход на агентурные суммы отделения по охранению общественной безопасности и порядка в городе Москве, о чем и осведомить подполковника Мартынова». И вот тут ваша пометка имеется: «Выдать». На другом экземпляре, не на этом. Вопрос заключается вот в чем: каким образом, осведомившись о том, что секретный сотрудник, т.-е. человек, находящийся на службе у правительства, выехал заграницу, яро отстаивал там террористические экспроприации, вы тем не менее признали, что и этот сотрудник, и помощники его должны быть оплачиваемы из государственных средств?

Джунковский. — Существовало соглашение такое, что надо оплачивать эти расходы.

Председатель. — Да, но ведь, по существу, деятельность его была преступна.

Джунковский. — Я не помню. Может быть, просто сделали ошибку какую-нибудь. А мною написано «выдать»?

Председатель. — Да. Вы написали «выдать». Может быть, вы не прочли этой бумаги?

Джунковский. — Возможно, что и не прочел.

Председатель. — Но каково же было ваше принципиальное отношение к этому вопросу? Если бы это дошло до вашего сведения, то вы были бы за или против выдачи? Какова была общая тенденция ваша в этом отношении в бытность вашу товарищем министра внутренних дел?

Джунковский. — Я не допускал таких выступлений. Как раз сегодня я передал г. Колоколову одно дело, которое я нашел у себя, по вопросу о том, допустимы сотрудники или нет.

Председатель. — Вы передали г. Колоколову самую бумажку или выписку?

Джунковский. — Бумажку.

Председатель. — Тут есть письмо начальника московского охранного отделения за подписью Васильева, от 8-го декабря 1913 года: «Вследствие письма вашего департамент уведомляет» (читает)... Вот это письмо и было основано как раз на вашей пометке. Таким образом, вопрос стоял так: деятельность их, которая несомненно является деятельностью преступной, тем не менее, нужно оплатить.

Джунковский. — Лучше было бы не платить. Почему я это сделал, я не помню.

Председатель. — Вы не помните. (Обращаясь к членам Комиссии.) У гг. членов Комиссии нет вопросов?

XLIX.

ДОПРОС И. М. ЗОЛОТАРЕВА.

7 июня 1917 года.

Содержание: Общий взгляд Золотарева на внешнее и внутреннее полицейское наблюдение. Неблагоприятные внешние обстоятельства, при которых Золотарев вступил в должность товарища министра внутренних дел, заведующего полицией. Золотарев об отделении тайной секретной полиции от наружного наблюдения. Золотарев об отношении должностей командира корпуса жандармов и товарища министра внутренних дел. Отношение Золотарева к «скользкости» системы внутреннего и внешнего сыска. О системе перлюстрации. О деле Шорниковой в связи с вопросом о секретном сотрудничестве. Дело о Ленских событиях и прикосновенность к нему Золотарева. Ссылка Золотарева на объяснения, которые он давал о Ленских событиях в Государственной Думе 3-го созыва. Служба Золотарева в Новочеркасске в качестве прокурора судебной палаты и дело Дашнакцутюн. Установление фактической роли Золотарева при ведении дела Дашнакцутюн. Получение Золотаревым от Аксакова разоблачительного письма. Объяснения Золотарева по поводу письма Аксакова.

Председатель. — Вы ничего не имеете добавить к своим объяснениям, которые вы изволили дать в прошлый раз в связи с общей постановкой дела департамента полиции и в связи с отдельным делом Малиновского, о котором мы вас спрашивали в прошлый раз?

Золотарев. — Относительно дела Малиновского я дополнительно больше ничего не могу доложить Чрезвычайной Следственной Комиссии, а по общему вопросу, конечно, могу вкратце высказать свой взгляд. Теперь будет вопрос относительно того, что я делал, принимал, заведуя департаментом полиции, выражаясь технически. По поводу вопроса, который был вами мне предложен, я высказался, что считаю, что внешнее наблюдение достигает лучше тех целей, к которым должна стремиться полиция, на которой лежит обязанность охранения порядка, а не только внутреннего наблюдения. И этот вопрос кажется мне ясным и понятным, потому что по внешнему наблюдению получаются такие сведения и такие указания, которые могут быть проверены. Между тем,

как по наблюдению внутреннему можно получить указания, которые окажутся впоследствии совершенно несоответствующими действительности. Я лично не считаю и не смотрел на этот вопрос относительно внешней агентуры, как на нечто противозаконное. Я согласен с тем, что такая система может влечь за собою очень много противозаконностей и очень много противозаконных действий со стороны тех лиц, на которых лежит обязанность вести это внутреннее наблюдение через агентов, потому что те грани, которые должны отличать дозволенное от недозволенного, становятся чрезвычайно скользкими и поскользнуться на них довольно легко; потому нежелательные последствия, действительно, могут быть. Но я считаю так, что вопрос об обязанностях, которые возложены на полицию, таков, что при тех определяющих законах, которые существуют при определенном режиме или при известном направлении, при известном течении мысли, которые войдут впоследствии в закон, — этот вопрос проводится в тайниках, а не открыто. Вместе с тем, проявление действий закона и связанное с этим нарушение нормального хода жизни, нормального представления, всегда, конечно, лежит на полиции, знает ли она об этом или не знает. Поэтому к этому средству прибегать приходится. Я не останавливался на этом вопросе, так сказать, подробно анализируя его, но мне, как я говорил прошлый раз, этот вопрос представлялся не юридическим, а этическим вопросом, который по необходимости должен входить в известные функции, по которым одни лица могут нести эту обязанность, а для других лиц она является затруднительной. По этому поводу, совершенно частно, я и высказывался о тех причинах, которые заставляли меня всемерно и всесильно отказываться от той должности вице-директора департамента полиции, которая предлагалась мне двоекратно и предшественником Плеве. Теперь, когда я был товарищем министра и заведывал полицией, конечно, я вступил на эту должность в чрезвычайно тяжелый момент для вступающего лица. В погоне за счастьем и чинами, конечно, можно было пойти после того события, которое имело место в Киеве, и после которого было совершенно ясно, что, если принятая система во всяком случае неизбежна, то она находится в таком положении, что влечет за собою именно то, что она должна была предотвращать. Для ознакомления с обстоятельствами и причинами, от которых все это произошло, были даны мне, конечно, некоторые указания, как дело должно вестись. Но как оно будет вестись и как проводиться в действительности, не было известно. Тогда не было известно, что дело о товарище министра будет прекращено. Одним словом, я вступал в должность товарища министра, который попал под следствие, и на такую должность, к которой, в сущности, в силу того, что происходило, — вполне естественно и понятно, — относились с чувствами различными, с чувством враждебным к этому

положению. Таково было настроение общества, таково было и настроение Думы. Тем не менее, я должен был выступать в Думе. На мне лежала чрезвычайно тягостная обязанность, опять-таки, конечно, это в скобках. Но я хочу сказать, что по этому делу, когда я с ним ознакомился, я убедился, что если бы внешнее наблюдение было поставлено как следует, то во всяком случае, кто бы он ни был этот Богров — агент или контр-агент, повторяю, кто бы ни был, независимо совершенно от этого, убийство было бы предупреждено, и Петр Аркадьевич убит не был бы. Для этого, конечно, нужна была бы несколько иная постановка дела. Я скажу, по этому вопросу, что ведь, в сущности, вот это внутреннее освещение, которое, как я говорил, лежит все-таки на обязанности полиции, насколько мне известно, никогда сочувствия не возбуждало, и признавалось само собою, что этот прием является противозаконным. Если в нашей литературе научной этот вопрос не развивался, хотя очень много по этому поводу бывало записок, так, например, были изданы записки бывшего директора департамента полиции Лопухина (я не знаю, имеется ли что-либо в нашей литературе, я этого вопроса не расследовал), — то что касается литературы иностранной, там этот вопрос расследован. Я не буду касаться германской литературы, которая идет по тем путям, по которым в последние годы этой мысли суждено итти фатально и, вероятно, до самого конца, она так пойдет. Не буду касаться тех взглядов, которые проводят ученые профессора, которые доказывают явную провокацию, т.-е. приемы явно провокационные. Я позволю себе остановиться на французском исследовании, которое, со свойственной французам тонкостью, с ясностью и чистотою французской мысли, толкует этот вопрос. К числу этих трудов принадлежит очень известное руководство по административному праву. Я позволю себе сказать, что этот вопрос имеет отношение к тем формам, которые существуют. Я позволю заметить, что это лицо было республиканцем, который был во время переворота, совершенного Наполеоном III, лишен своей должности и устранен. Это некто — Вивиан. Он рассматривает вопрос и указывает на те опасности, в которых находится полиция при применении этих средств, но считает, что это все-таки лежит на ее обязанности. Как я говорю, этот вопрос выставлялся больше с этической стороны. Но повторяю опять, что независимо от того, что эти освещения могут быть совершенно превратными, заведывающий полицией, в особенности при полной неопытности, может напасть на контр-агента, который получит от него, что хочет, и будет его обманывать. Это совершенно вне сомнений. Кроме того, если террористический акт, — мы больше, конечно, рассуждаем о террористических актах, — хотя могут быть убийства, могут быть беспорядки, движения, которые влекут за собою иногда очень серьезные последствия, как необходимость прибегнуть

(латинское слово) к войскам, к стрельбе, но что касается террористических актов, то, я говорю, — если террористический акт задуман, выражаясь технически, «одиночкой», конечно, никакая внутренняя агентура его не осветит, если внешнее наблюдение у вас не будет поставлено правильно. Я не говорю, — всякий с грехом. Кто умеет управлять, а кто управляет плохо. Но во всяком случае требуется добросовестность. Кто добросовестно делал, а плохо управлял, — тот несчастный человек. Не садись на козлы, если не умеешь держать возжи. Но при таких условиях, конечно, никакое внутреннее освещение не может дать возможности предупредить какой-нибудь террористический акт. И если у вас нет внешнего наблюдения, то эти акты будут несомненно совершаться. Поэтому нельзя взять это, как подушку, на которую можно лечь и заснуть. . . У меня есть агент Богров или есть такой-то, — я сплю спокойно, — конечно, в конце концов получатся результаты чрезвычайно плачевные, которые всю эту систему уничтожат. Вот, как я докладывал, в настоящее время, у меня в качестве товарища министра, никакой исполнительной власти на основании этого закона не имелось. В виду тех изменений, которые были применены в 1905 году, я должен был докладывать обо всем министру, и докладывал. И, конечно, министр лежал всей душой к тому, — это был А. А. Макаров, — чтобы принять меры к внешнему наблюдению. Мне представлялось, что помимо того общего положения, которое я имел честь представить Комиссии, у меня было еще другое, что вся постановка дела, которым я заведывал, в корне неправильна. Все было сосредоточено в одних руках. Все было смешано. Одно лицо является ответственным, а в конце концов оно являлось безответственным, и оно являлось безответственным потому, что в руках его сосредоточивались органы, в свою очередь подчиненные совершенно различным лицам. И начиналась тогда коллизия между этими главенствующими лицами. Одно признавало так, другое признавало иначе, и в конце концов ответственности не было. А мне представлялось, что всякое дело, которое ведется, должно вестись за ответственностью того лица, которое его делает. Человека нельзя заставить отнестить к делу с любовью, с которой он обязан не иначе действовать, как положивши свою душу; но человек, который должен нести ответственность за то, что он делает, из чувства любви к себе будет принимать меры к тому, чтобы действовать по мере сил и возможности. И общим принципом, который во всех управлениях положен в основу всякого правильного порядка, распределения власти для того, чтобы одна власть, контролирующая другую, не могла бы все сосредоточить в своих руках, вести все в одну определенную сторону, — является тот принцип, который было совершенно необходимо провести в этом деле. Правда, когда существует разделение власти, существует другая опасность:

нахождение одной власти над другою. Но для этого достаточно власти стоящего во главе, — в данном случае министра внутренних дел, наблюдающего, чтобы опасности этой не было. Это соображение мне пришло в голову после допроса, который я имел здесь. Вопрос был поставлен так. Он был разделен...

Председатель. — Вопрос какой?

Золотарев. — Вопрос об осуществлении этого в жизни, в действительности. Разделение этой тайной секретной полиции от наружного наблюдения, что я считаю несчастьем. Власть, которая сама себя контролирует, не есть контрольная власть. Она может быть высоко нравственной, но она не может иметь своего критического отношения, когда это находится в других руках. Здесь это было соединено воедино. Теперь разделены эти функции, поставлены отдельно. Внешнее наблюдение возлагалось на общую полицию, на местных губернаторов, на местных градоначальников, на городских полициймейстеров, которые должны были все это внешнее наблюдение установить за своею полною ответственностью. Я здесь могу сказать, когда царствующий император посещал театр и были приняты все меры, в конце концов, при проверке оказывается, кто хотел, мог подойти к рампе и мог совершить террористический акт. И вот в виду того, что впервые совершались поездки на далекое расстояние, — они были очень многочисленны: поездки в Крым, поездка по случаю приезда Вильгельма в Балтийский порт, поездка в Спалу, поездка в Беловеж, поездка на открытие памятника Александру III, поездка на торжества 1912 года, — эту часть я взял на себя по указанию, которое получил от министра, или по тем докладам министра, которые я ему делал. Затем в эти годы была еще поездка в Белгород по случаю открытия мощей. Во всех этих местах я лично заботился об установлении порядка внешнего наблюдения, как на улицах, так и в зданиях. Я имел сношения с губернаторами, которым вырабатывались точные и определенные инструкции. Эти губернаторы должны были получать от тайной полиции сведения, которые они получали от своей секретной агентуры: — этого отменить полностью, взять на себя я всецело сразу не мог, да и время тому не соответствовало. Я считал, что в этом отношении я не имел права отменять, уничтожать. Этого права, не говоря уже о том, что об этом не могло быть речи, у меня по закону не было. Я не имел права уничтожить, но мог не придавать этому главного значения и придавать значение внешнему наблюдению, которое должно было контролировать. Часть наблюдения, конечно, велась дворцовой агентурой внешнего наблюдения, которое существует, но она была совершенно недосягаема в смысле окончательного ее изменения. Я считаю такое положение вообще некоторым двоевластием. Во всяком случае сношения с Дедюлиным я имел. С Дедюлиным у нас были всякие разговоры. Он шел навстречу

разным пожеланиям. И вот, таким образом, я и старался проводить то, что представлялось возможным. Повторяю, при том положении, в котором находился директор департамента полиции, при полном отсутствии исполнительной власти, я считал, что во всяком случае во главе агентуры должно стоять лицо, которое может внушать доверие. Таким лицом должен быть директор департамента, который имеет непосредственное сношение с министром. Но не имея уменья обращаться с людьми и не имея по закону... (разрешите вернуться... Я боюсь, может быть, этот вопрос утруждает внимание Следственной Комиссии). Я только хотел вернуться к тому положению, в котором находился товарищ министра, заведывающий полицией в прежнее время, до ноября 1905 г. Ст. 319 положения министерства внутренних дел говорила, что товарищ министра, заведывающий полицией, действует на основании приложенной инструкции. И она приложена, и там имеется. Но инструкция была отменена, и осталось общее положение для товарища министра, которое ст. 221 общ. учр. министерств говорит, что товарищ министра не имеет никакой исполнительной власти. Тот, кто ее не имеет, не отвечает и за те нарушения, которые совершаются. По инструкции, которою были предоставлены права товарищу министра, заведывающему полицией, соединялись обе должности — командира корпуса жандармов и товарища министра воедино, и права, которые впоследствии разделялись и которые раньше были разделены, опять соединялись в одно целое. Тогда, конечно, власть товарища министра является совершенно иной: по § инструкции, по ст.ст. прямо указывается, что товарищ министра, заведывающий полицией под высшим руководством министра внутренних дел, несет на себе обязанность министра внутренних дел, по учреждению о министерствах, по департаменту полиции и по корпусу жандармов. Но здесь по вопросу о том, как они работали, вы изволили сказать мне относительно инструкции. Я должен сказать, что там, при всей полноте власти, которая тогда была предоставлена товарищу министра, заведывающему полицией, и то по п. 4 в этой инструкции измененной, инструкции общей, товарищу министра и тогда не принадлежало этого права. И тогда он находился в распоряжении министра. Засим все это отпало. После меня и до меня товарищ министра Курлов и товарищ министра Джунковский соединяли обе эти должности.

Председатель. — А когда это соединение должностей произошло?

Золотарев. — Фактически или по закону?

Председатель. — Нет, вы изволили сказать, что при вас товарищ министра внутренних дел не имел исполнительной власти, именно в виду разделения должностей товарища министра и командира корпуса жандармов.

Золотарев. — Я не точно выразился. В ноябре 1905 года ст. 319 была уничтожена и осталась только 221 ст. общего учреждения. Но фактически они потом соединились, не давая, конечно, полноты тех прав, которые имел тот товарищ министра. Фактически же давали в руки товарища министра, заведывавшего полицией, права командира корпуса жандармов, которые по корпусу жандармов очень велики. Ведь до меня товарищ министра Курлов был и командиром корпуса жандармов, и товарищем министра, и после меня Джунковский был и командиром корпуса жандармов, и товарищем министра. Так что в качестве товарища министра он имел громадные права. Он имел громадные права над корпусом жандармов, командующим которым он являлся. Он имел право увольнения, перемещения, дисциплинарного взыскания. Он имел право возбуждения против них уголовного преследования, чего у товарища министра, заведывающего полицией, не имеется. И в этом, конечно, заключается трудность положения, потому что товарищ министра должен обращаться к командиру корпуса жандармов. Тогда был им генерал Толмачев. Так что никаких замечаний или воздействий реальных на офицеров товарищ министра не имел. А при фактическом соединении обеих должностей он имеет иную власть. Он имеет не только авторитет—чего не делать, но за этим авторитетом дается ему и право следить и покарать это лицо. Вот это я хотел указать.

Председатель. — Ведь наблюдение департамента полиции над охранными отделениями жандармских управлений и подчиненность жандармских управлений охранному отделению департамента полиции не есть фикция? Ведь департамент полиции, если не может разрешать возбужденный вопрос, то во всяком случае имеет наблюдение за подчиненными. Может поставить пред командующим корпусом жандармов вопрос об ответственности этих лиц, так что вы признаете известную и значительную реальность наблюдения департамента полиции за охранными отделениями жандармских управлений?

Золотарев. — Да, конечно. Это лежит и на обязанности департамента полиции по 362 ст.

Председатель. — Позвольте поставить вам несколько вопросов в связи с этим. Вы характеризовали существовавшую систему политического сыска как совершенно безнадежную в смысле эффективности, в смысле достижения цели, т.-е. в том смысле, что при самой развитой системе она все-таки не охраняет тех лиц, охранение которых она поставила своею целью, и, быть может, не охраняет общественного порядка безопасности, она просто бессильна.

Золотарев. — Я не точно выразился. Конечно, эта система требует большого искусства от того лица, в руках которого она находится, для своего применения.

Председатель. — Мне кажется, вы считали эту систему безнадежной, потому что Богров, секретный сотрудник охранного отделения, убивающий своего начальника, это есть не случайность. Это есть принадлежность системы. Мне кажется, такова была ваша точка зрения.

Золотарев. — Нет, я не хотел этого сказать. Но мы не знаем и по делу не выяснено, какие были стимулы, какие мотивы (можно делать различные соображения), почему Богров, собственно, совершил этот акт. Почему он оказался в таком положении, может быть, безвыходном для него. Но я не хотел сказать, что это должно влечь, даже при том положении, предположим, такое психологическое состояние, в которое был поставлен Богров. Все это могло быть предположено. Я хотел выразить, что автор по административному праву признает, что без этой системы нельзя обойтись.

Председатель. — Да, но ведь этот автор — деятель гнилого времени, деятель империи упадка Наполеона III.

Золотарев. — При Наполеоне III он не действовал. Он был устранен. Он действовал в республике, в 1848 году. А затем, когда был переворот Наполеона III (я точно биографии его не знаю), но по самому тексту видно, что он был устранен и что принадлежал к республиканской партии.

Председатель. — Но он характеризует систему, бывшую при нем.

Золотарев. — Он теоретически рассматривает.

Председатель. — Позвольте задать вопрос. После случая с Богровым, если вы говорите, что это случай по незначительной причине возникший, в чем же тогда скользкость системы? Я вас понял, что скользкость заключается в том, что такие случаи, как с Богровым, при этой системе наблюдались. Вы отрицаете эту систему или утверждаете, что все обстоит благополучно? Или все дело в невежественности и недобросовестности тех лиц, которые неправильно проводят директивы в жизнь?

Золотарев. — Может быть, они и добросовестны, но они не могут разобраться в явлениях, которые перед ними происходят. В данном случае это была слепая вера во все, что он скажет. Мы слепо не можем верить свидетелям, которые не являются агентами, нужно было проверить его объяснения. При таком положении, я и говорю, что эта система опасна.

Председатель. — Значит, как реально существующую в жизни, вы не признаете эту систему. Вы признаете, что порок не в лицах, а в системе?

Золотарев. — Категорически ответить на это я затрудняюсь, потому что огонь в одних руках может принести пользу, а в других может вызвать пожар. Я не могу сказать, что человек, который становится во главе этого дела, мог бы отказаться от поль-

зования сведениями так называемых агентов, потому что он тогда может отказаться от тех сведений, которые могут действительно осветить дело, и оказаться совершенно в темноте. Я говорю, что нельзя на этой системе успокоиться и заснуть, как на подушке, и говорить, что у меня есть агент, я ему верю. Почему агенту верить? Может быть, я самому себе не верю?

Председатель. — Министерство внутренних дел делало большую политику. Если допускать и признавать скользкость системы, то почему министерство не поднимало вопроса о переходе к иному порядку? Тогда запрещение стало бы не запрещение, и стало быть, тайное превратилось бы в явное, и система наблюдения за порядком и безопасностью была бы перенесена в другую область — внешнюю, открытую, совершенно законную и свободно контролируемую.

Золотарев. — Мне кажется, что к этому вопросу подходили очень часто. Может быть, он неудачно разрешался, может быть, были такие случаи, которые заставляли другой раз останавливаться, призадуматься. История Лорис-Меликова заключалась в указаниях, которые освещались не внешними, а внутренними сведениями, и, насколько мне известно, такие указания имелись, и он их отрицал.

Председатель. — Я вас не понял, что вы сказали о системе Лорис-Меликова.

Золотарев. — Я говорю, что сведения, полученные внутренними наблюдениями, не принимались в расчет. Насколько мне помнится, последовала катастрофа 1 марта. Я не говорю, что сведения, которые сообщались, были верны, но события шли. Вы видите сами, было убийство Петра Аркадьевича, который этот вопрос обсуждал, который выступал перед Думой и который интересовался этим и он оказался не в силах, при всей своей импульсивности, порядок этот изменить. Поэтому я сделал первый наблюдение и вывод, но доложить министру, что этот порядок надо отменить, не неся за последствия этих изменений ответственности, потому что изменения были бы сделаны циркуляром министра, я, конечно, не мог. Усиление внешнего наблюдения, которое давало бы нам результаты более сильные, чем внутреннее наблюдение, может быть, постепенно свело бы внутреннее на-нет. Западная Европа нам не указ, но у нее есть свой опыт и свои указания. Я, конечно, враг сравнений и не говорю, что то, что в одной стране, должно быть — в другой, но я сошлюсь на Англию. Акт, который устанавливает habeas corpus, имеет целью дать возможность должностным лицам арестовывать тех лиц, против которых не имеется доказательств для правильности показаний агента. В этом самый главный вопрос установления habeas corpus, если Англия к нему прибегает, то исключительное положение остается

очень продолжительно. Ясно, что для Англии это является исключительным положением и сейчас же возникает необходимость прибегать к этим сотрудникам. Когда я выступал в качестве министра, в Думе рассматривался вопрос о неприкосновенности личности. Конечно, при этих изменениях вопрос сам по себе отпадает. Из этого ничего не вышло и закон этот не увидел света, но за тот промежуток, когда я заведывал департаментом полиции, это составляло самый серьезный вопрос и требовало глубокого к себе внимания.

Председатель. — Вы изволили сказать, что вы старались сделать попытку к смягчению такого положения, которое логически связано с исключительным положением. Это смягчение заключалось в усилении внешнего наблюдения за счет внутреннего. Но, как показывает изучение дел департамента полиции, вы очутились в центре съездовой работы по внутреннему секретному наблюдению, который, несомненно, не только способствовал усилению этого секретного наблюдения, но был одним из моментов этого развития. Ведь вы помните, что съезд вотировал необходимость центральной агентуры и необходимость дальнейшего развития внутреннего сыска, именно — института секретного сотрудничества. Работа этого съезда не дает в результате ослабления этого сотрудничества, а наоборот — его развивает.

Золотарев. — Я уже вам изложил, что я в этом направлении, в смысле сокращения этого сотрудничества, или агентуры, которая была в самых недрах, участия не принимал. Я об этом докладывал министру, что сократить и уничтожить я считаю невозможным.

Председатель. — Но вы признаете, что вы участвовали в развитии этого, т.-е. руководствовали трудами съезда?

Золотарев. — Я не могу этого сказать, потому что прошло все-таки пять лет, и я не могу сейчас сопоставить. Если бы мне дана была возможность сопоставить, что было зловредного в этом,—но я этого обстоятельства не могу удостоверить. Я откровенно высказал свой взгляд на вопрос относительно необходимости. А чем система, которая существует, опаснее, тем указания должны быть точнее, чтобы они не выходили за пределы.

Председатель. — Как прикажете принять это место вашего объяснения — вы рассматривали вопрос о секретном сотрудничестве, по крайней мере с этической точки зрения. Вы говорили, что, по вашему мнению, вопрос этот не дает отрицательной юридической реакции, т.-е. в вашем представлении была система, как закон. Ну, а со стороны этической? Ведь вы были органом государственной власти? Пусть этот вопрос теряется на местах за жандармскими мундирами, но как он стоял в центре, где были юристы?

Золотарев. — На этот вопрос очень трудно ответить. Скажем, агент, участвуя, является изменником по отношению к тем лицам, которые оказывают ему доверие.

Председатель. — Мы в прошлый раз коснулись Малиновского, который, проведенный при посредстве лиц департамента полиции и местных агентов, создает преступления и вовлекает в эти преступления целый ряд лиц.

Золотарев. — Относительно Малиновского я уже говорил, что я его не понимаю, как агента. Какой это агент? Он называется агентом, но в чем это проявляется?

Председатель. — Что он агент, проявляется в том, что он состоит в центральном комитете партии с.-д., состоит председателем с.-д. фракции в Думе и притом ее части, которая вводит себя в состав партии и является наверху партийных учреждений, — это с одной стороны, а с другой стороны — получает оклад по вольному найму по своей должности, как агент департамента полиции в размере 500 рублей в месяц, или 6 000 рублей в год.

Золотарев. — Что он получает — это внешние признаки.

Председатель. — А внутренние — это то, что он руководится высшими чинами департамента полиции, которые дирижируют его революционные речи, которые он произносит с трибуны Государственной Думы и которые потом печатаются. По-моему, все и внутренние и внешние признаки агента в данном случае имеются. В недрах департамента полиции было еще учреждение, которое совершенно не находит себе опоры в законе и которое совершенно закону противоречит. Это учреждение занималось и было предназначено для того, чтобы перлюстрировать частную переписку, т.-е. которое систематически нарушало признаваемую законом тайну частной корреспонденции. Как относились лица, стоящие во главе министерства внутренних дел, к существованию этого учреждения? Я имею в виду так называемые черные кабинеты.

Золотарев. — В департаменте полиции такое учреждение мне неизвестно.

Председатель. — Оно существовало в недрах министерства внутренних дел, ибо управление почт и телеграфов относится к министерству внутренних дел. В департаменте полиции была группа чиновников, которые живейшим образом принимали участие в копировании и фотографировании присылаемой вскрытой корреспонденции, и вам, может быть, известно, что за последние годы существования старого режима эта система была доведена до абсурда, в том смысле, что царь и министр внутренних дел вовлекались, как в добрые старой памяти времена Екатерины Великой, в рассмотрение переписки частных лиц, которые к делам государственным не имели никакого отношения, и что высшие должностные лица империи интересовались и вовлекали в это общественных политических деятелей.

Золотарев. — По этому поводу я ничего не могу вам сказать, потому что я никакого отношения к этому не имел.

Председатель. — Но вы, как товарищ министра, пользовались результатами перлюстрации?

Золотарев. — Я не пользовался.

Иванов. — Вы никогда не получали писем?

Золотарев. — О существовании этого я знал, но этими письмами я не пользовался.

Председатель. — Вам известно было, что Плеве, давая объяснения перед Государственной Думой, как товарищ министра, на запрос о существовании черных кабинетов, отрицал их существование?

Золотарев. — Мне это положительно неизвестно.

Иванов. — Значит, вам совершенно не было известно, что существует перлюстрация?

Золотарев. — Простите, я этого не говорю, что я этого не знал, но я говорю, что я лично, как товарищ министра, никакой перлюстрацией не пользовался.

Иванов. — У вас в руках не было перлюстрированных писем?

Золотарев. — Подлинных писем не было, а выписки из писем случайно попадали.

Иванов. — Как случайно? Значит, нужно одному, а попадало к вам?

Золотарев. — Я этого не говорю, но бывало, что когда уезжал министр, то пакет, который должен итти к нему, попадал ко мне. Но я говорю в смысле пользования по какому-нибудь делу этой перлюстрацией.

Председатель. — Разве вам не было известно о существовании специальной комнаты в департаменте полиции, в которой производилась эта перлюстрация, и что был специальный чиновник, очень известный и очень старый, задачей которого была именно перлюстрация писем, причем он это делал изумительно искусно?

Золотарев. — Существование какой-нибудь комнаты в департаменте полиции и чиновника, может быть, с моей стороны и упущение, но я положительно удостоверяю — я этого не знал, это безусловно.

Председатель. — Но вы знаете, что там чиновник Зыбин работал в составе особого политического отдела, именно над искусным вскрытием присылавшихся ему писем.

Золотарев. — С положительностью удостоверяю, что я этого не знал.

Председатель. — Но когда вам не случайный, а подведомственный вам чиновник докладывал, скажем, копию письма, которую ему представили, разве вы не интересовались узнать, каким путем, налаженным, строго установленным, бюрократическим, к вам это письмо дошло? Кто тот человек, который, не будучи судебным

следователем и без разрешения окружного суда, превысил свою власть, присвоивши себе функции, которые предоставлены только судебным установлениям — вскрытие писем не по судебному делу и без разрешения окружного суда?

Золотарев. — Я никогда не спрашивал, откуда эти письма. Я знал, что перлюстрация существует, но на каком основании она действует, — я этого не знал.

Иванов. — Словом, вы к этому относились безучастно?

Золотарев. — Это факт, существовавший до меня и после меня.

Иванов. — Меня интересует, главным образом, как вы, товарищ министра, к этому относились.

Золотарев. — Я не могу сказать, что я относился безучастно, равнодушно, но я, как товарищ министра, по этому поводу никаких расследований не производил и не выяснял, потому что это не входило в мои функции. То же самое, если мне сообщали, что по агентурным данным имеются такие-то сведения, я не спрашивал, какой агент, как его фамилия, так как я знаю, что это должно быть подкреплено другими данными. Точно так же и эти сведения — сообщалось, что они из перлюстрации получены, и я не мог считать, что они являлись неубедительными.

Председатель. — Я не понимаю, как вы сказали, что к вам это не имело отношения? Вы — товарищ министра, заведующий департаментом полиции, стало быть, если кто-нибудь там нарушал закон и это стало вам известно, то вы, как начальник, должны принять меры. Теперь вам систематически приносят перлюстрированные письма. Вы, зная совершенно определенно, что письма получены не судебным следователем, не властью и решением суда, вы тем не менее это терпите, как систему. Систематически чиновник Зыбин нарушает закон, и вам это становится известным из доклада. Вот сенатора Иванова и беспокоит это обстоятельство, что вы лицо, бывшее в судебном ведомстве, столь нам близком и дорогом, зная положение о том, что только окружный суд может нарушить тайну моих писем, и вы, попавши в эту атмосферу беззакония, миритесь с этим беззаконным явлением. Вот то, что возбуждает тяжелое чувство.

Золотарев. — Я понимаю, но для меня было ясно, что я не имел возможности изменить этот порядок.

Председатель. — Разве не входило в обязанность товарища министра устранять все незаконное, что есть в действиях подчиненных лиц? Разве есть какая-нибудь другая более высокая обязанность?

Золотарев. — Подчиненных лиц — да.

Председатель. — Чиновник Зыбин вскрывает письма и передает по инстанции и в конце концов начальник отдела и директор департамента полиции приносят вам эти письма или докладывают

в вашем присутствии министру, мне кажется, что признак подчиненности здесь есть.

Золотарев. — Во-первых, я не знал, что это за Зыбин, так что у меня в этом отношении сомнения не было.

Председатель. — Может быть, вы из газет узнали о таких инцидентах? Вы изволили сказать, что секретное сотрудничество есть система, которая с точки зрения юридической и — к сожалению, приходится констатировать — с этической останавливала на себе внимание. Но вопрос о законности перлюстрации систематически останавливал на себе внимание общественных кругов и политических деятелей (читает): «Жалобы публики на почтовые непорядки нашли себе под конец реальное выражение. В 48-м заседании Государственной Думы 3-го созыва при обсуждении бюджетных смет известный депутат Шульгин открыто указал, что письма на почте вскрываются не только судом, но и охранного отделения жандармами. Представитель правительства — начальник главного управления почт и телеграфов тайный советник Севастьянов заявил тогда, что брошенное с трибуны Государственной Думы обвинение является плодом фантазии депутатов и что никаких черных кабинетов в его ведении не существует». То, что я позволил себе огласить — это ходячая мысль, это вопрос, на котором общественные круги систематически скрещивали свои шпаги с представителями правительства. Так что вопрос был поставлен. Плод назрел.

Золотарев. — Я не отрицаю, но я говорю, что я этими письмами не пользовался. Вы называете Зыбина. Зыбина я не знал. Письма такие я видел, то, что было, я не могу отрицать. Вопрос для меня представлялся в следующме виде: могу ли я отменить перлюстрацию или нет, потому что это в круг моих обязанностей не входит? Я к этому вопросу не подходил и не выяснял, кто заведует, на чьей обязанности это находится.

Иванов. — Отменить вы не могли, но выступить, в качестве товарища министра, вы могли.

Золотарев. — Что может сделать товарищ министра, который завтра может уйти? Может быть, перлюстрация — государственная необходимость? Французское национальное собрание почти единогласно решило, что нужно перлюстрировать письма, и, если бы не пламенная речь Мирабо, — это прошло бы. Мало ли что бывает с точки зрения государственной необходимости!

Председатель. — Сегодня можно считать: «ах, это ошибка» и завтра можно считать ошибкой, но когда эти ошибки совершаются изо дня в день, это уже не ошибки, а нарушение закона.

Золотарев. — Виноват, я не точно выражаюсь, что это ошибка, — это ошибка, если бы было принято такое положение национальным собранием, что можно перлюстрировать. Вот об этом я говорил.

Председатель. — Невольно навязывается такой вопрос, если знать вашу точку зрения о том, что вы не могли принять мер, что это не входило в круг ваших обязанностей, но позволительно будет спросить, где же предел этому? Вот это незаконно, это преступно. Вы пользуетесь этим, т.-е., значит, до известной степени в этом участвуете, но где же предел участия в незаконном? Где же предел, за который пойти нельзя? В каком нарушении закона может участвовать лицо должностное и в каких нарушениях закона оно не может участвовать?

Золотарев. — Есть такие нарушения, которые выходят из этого положения. Я не знаю, как, конечно, опять-таки нам не указано, но эти вопросы возбуждались не в одном русском парламенте, они во французском парламенте возбуждались, — я не говорю уже про Австрию.

Председатель. — Т.-е. вопросы об участии в преступлении?

Золотарев. — Что была установлена перлюстрация. Если это считать за такую язву, то это такая, которая существует во всех странах и при разных образах правления.

Председатель. — Но где критерий для политических работников государственной службы, где критерий, — в каком преступлении я могу участвовать, в каком не могу? Вы знаете, что товарищ министра может участвовать и закрывать глаза на преступление перлюстрации. Агенты идут еще дальше, они шантажируют, а начальники жандармского управления доходили до укрывательства убийств и, может быть, даже до подстрекательства к убийствам. Раз становятся на эту точку зрения, то постепенно катятся под гору, и критерия нет, потому что раз признается принципиально возможным терпеть одно преступление, то почему не терпеть другое, почему не участвовать в третьем и т. д.?

Золотарев. — Конечно, у всякого может быть взгляд нравственный на все это, но во всяком случае в этих вопросах, — мы видим это из жизни государства, из истории современного положения, — есть вопросы юридические, есть этические, есть вопросы государственной необходмости. Теперь в каких пределах это возможно... Все это, конечно, такие положения, которые вошли в оборот, которые решаются так или иначе. Я поступил товарищем министра, заведывающим полицией, будучи лишен исполнительной власти. Я не пошел туда, чтобы разрешать такие вопросы, которые, с точки зрения точности законов, с точки зрения морали являются недопустимыми. Я не шел разрешать государственные вопросы. Товарищ министра не входит ни в совет министров (не имеет он голоса), ни в политику. А если есть известное положение, признанное, как зло, но как необходимое зло, если оно существует и проводится, остается, конечно, уходить. А чтобы эта ответственность за необходимость государственную лежала на товарище министра, это мне в соображение не приходило.

Председатель. — Возьмем другой пример, меньший, из области инструкции, ведающей внутренним сыском, параграф инструкции, который говорит: ликвидируя общество в момент наивысшего его расцвета и ликвидируя до конца некоторых преступников, с точки зрения существовавшего закона, — агента и его окружающих — оставить. Т.-е., значит, инструкция совершенно определенно говорит о том, что преступление должно некоторое время совершаться с ведома власти и затем, что преступники, которые подлежат в каторжные работы с точки зрения 102 ст., они должны быть оставлены на свободе. Вот эта маленькая область участия вне закона.

Золотарев. — Вот я говорю, что все это вопросы очень сложные. Я затрудняюсь, не могу сейчас вспомнить инструкцию, какое она получила практическое осуществление. В сопоставлении с этим я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Конечно, в пределах действий усмотрения, которое является необходимостью, целесообразностью, существуют ведь теории. Может быть, существуют совершенно без нравственной основы государственного права и административного и все-таки они существуют. Вопрос заключается в том, как они проводятся в жизнь и как они осуществляются.

Председатель. — Но позвольте, правовое государство с этими безнравственными и тем более беззаконными теориями управления государством все-таки борется. Если в 80 годах, до того, как Россия стала правовым государством, вы говорите, — после печальных событий убийства императора и последующей казни лиц, его убивших, — если тогда прибегали к этим нарушениям закона; если 100 с чем-то лет тому назад Екатерина говорит: «А мне любопытно посмотреть, что Новиков пишет из Москвы в Петроград Радищеву и наоборот»; и если было все законно, то есть какие-то исторические пределы, на какой-то грани развития государства это нетерпимо. Иначе зачем мы изучаем право, закон? Зачем, под этикетом введения законности, в министерство внутренних дел идут лица судебного ведомства, не за тем ли, чтобы сочетать целесообразность с законностью? Так нам со стороны всегда казалось. Это оказывается неверно.

Золотарев. — Конечно, это стремление должно быть безусловно и этим деятельность должна быть проникнута.

Председатель. — Но она не была проникнута. Позвольте мне перейти к частному случаю. Вы помните дело Шорниковой? Помните это нашумевшее дело в связи с созданным при Столыпине, до вашего появления в центре, процесса членов социал-демократической партии 2-й Государственной Думы?

Золотарев. — Помню, да.

Председатель. — В какой момент, в каких пределах вы соприкоснулись с этим делом, уже с его осколками?

Золотарев. — Мне кажется, оно было совершенно закончено. Потом был запрос в Государственной Думе.

Председатель. — Позвольте мне вам напомнить, потому что это было давно. Один из двух агентов провокаторов, агент секретного наблюдения Бродский, а другой была Шорникова, из каких-то побуждений обратился к министру юстиции Щегловитову, а потом к министру внутренних дел Макарову с доносом на то, что Шорникова, разыскиваемая департаментом полиции, вследствие постановления следователя об ее привлечении, продолжает состоять секретным сотрудником в нескольких провинциальных жандармских управлениях и адрес ее известен. По этому поводу министерство юстиции запросило министра внутренних дел, которым был тогда Макаров. А. А. Макаров получил об этом доклад, в форме справки, в которой все это изложено, и Белецкий пишет резолюцию, что А. А. Макаров просит передать эту справку господину товарищу министра внутренних дел: «для личного представления и объяснения по этому делу министру юстиции». Вот будьте добры сообщить, что вы именно объясняли по этому делу министру юстиции?

Золотарев. — Министру юстиции. Я не помню... По этому делу не объяснял ничего министру юстиции.

Председатель. — Позвольте мне эту справку предъявить вам. Вы ее перелистайте. Может быть, это вам напомнит обстоятельство дела. Вот эта справка (подает документ).

Золотарев. — Когда я был товарищем министра внутренних дел, я с министром юстиции не имел свиданий. Был я раз у него или два, но так. Напротив, я даже совсем вне этого не бывал. Я знаю и помню ясно, что был запрос по этому поводу относительно Шорниковой, внесенный в Государственную Думу. И этот запрос находился у меня и у товарища министра юстиции Веревкина и товарищ министра юстиции должен был давать, кажется, объяснения по этому запросу Государственной Думе.

Председатель. — Это несколько позже, в 1913 году.

Золотарев. — А это, виноват, когда?

Председатель. — 24 ноября 1912 года. Вы помните, это дело было исключительное. Оно очень беспокоило не только ведомства министра внутренних дел и юстиции, но и весь совет министров, который был созван летом. Так что это дело — незаурядное дело.

Золотарев. — Поэтому странно, что я забыл о нем. Я об этой стадии забыл. То, что вы изволите говорить, летом—это было тогда, когда был запрос, этот момент я помню. Это был момент незаурядный, — в 1913 году, а что у меня были переговоры с министром юстиции, не помню.

Председатель. — Позвольте прежде, чем перейти к следующей стадии, восстановить предшествующее, которое нас интересует. 26 февраля было доложено товарищу министра, т.-е. вам, что эта

Шорникова также снова вызывает переписку. Начальник самарского губернского жандармского управления сообщает вам о том, что она разыскивается циркуляром департамента полиции, а между тем она состояла секретной сотрудницей и добивалась состоять секретной сотрудницей. Таким образом, на ваше разрешение стал вопрос о том, как быть с лицом, которое состояло на службе, а с другой стороны, находится под следствием по обвинению по 102 ст.? Если стоять на точке зрения закона, — эта точка зрения многое привела бы в порядок в министерстве внутренних дел и устраняла бы многие очень тяжелые явления — тогда, казалось бы, Шорникова должна была быть подвергнута аресту. Между тем, ваше распоряжение было такое, что циркулярно предложить во все розыскные управления Шорникову не принимать на службу, как секретную сотрудницу. Она уже была выжата, как выжатый лимон, как она говорит. Значит, таким образом министерство внутренних дел здесь является в роли укрывателя разыскиваемого и привлеченного к следствию по обвинению в преступлении, правда, в политическом, но таком, которое грозит каторжными работами, т.-е. высший орган политической полиции укрывает политического преступника. Вот вы помните этот момент?

Золотарев. — Приблизительно, конечно, если имеются документы.

Председатель. — Это резолюция Белецкого, не ваша, но написана: доложено товарищу министра внутренних дел. Самая резолюция так вытекает из обихода департамента полиции, что, несомненно, она подлинная. Мы говорили вообще о секретных сотрудниках. Теперь уже оказывается, что секретными сотрудниками могут быть кандидаты в каторжные работы. Так что вопрос законности пользования секретным сотрудничеством здесь ставится уже в несколько более узкой, но в высшей степени рельефной форме использования будущих или в прошлом политических преступников, по крайней мере, таких лиц, которые, по мнению судебной власти, подлежат суду за политические преступления. Так что незаконность вступает в свою новую фазу уже вдвойне незаконной.

Золотарев. — Я сожалею, что память ослабела: за количество всех этих лет такая масса бумаг прошла и резолюций. Через пять лет если бы меня спросили, я бы сказал и мог бы дать точные объяснения. Имеется указание, что я дал такую резолюцию. Почему она была дана, это совершенно ускользнуло из моей памяти. Шорникову я знаю, знаю, что это дело имело значение. Но вы сами говорите, что это обсуждалось в совете министров, значит, ничего не было скрытого, этот вопрос шел дальше и выяснялось, как быть и как поступить с Шорниковой.

Председатель. — Меня интересует не участие в этом деле совета министров, а вопрос опять-таки с этой законностью.

Вопрос о том, кто совершил это преступление, — есть ли это преступление, это вопрос дальнейшего, — но как обстоит здесь дело с законом? Не имеет же департамент полиции экстерриториальных прав, — для всех закон — для него не закон?

Золотарев. — Не могу сказать, потому что не могу припомнить обстоятельств. Дело Шорниковой разбиралось до меня, а окончилось после меня. Так что я не могу сказать, какой тут был момент. Здесь из этой резолюции я вижу, напротив, сделано распоряжение, чтобы ее не принимать. Что же тут в этом дурного, чтобы ее не принимать? Что тут противозаконного, что сказано не принимать ее в секретные сотрудники?

Председатель. — Это очень хорошая вещь, но как обстоит дело с другим? Таким образом, одной рукой департамент полиции разыскивает политического преступника, а другой рукой, осведомившись о том, что это политическая преступница, разыскиваемая уже несколько лет, эти несколько лет тратит на то, чтобы секретно сотрудничать в органе департамента полиции, и разыскивается за это время секретными циркулярами департамента полиции. И высшие чины министерства внутренних дел, с одной стороны, делают распоряжения о том, чтобы ее задержать и отдать в руки судебной власти, а с другой стороны, не делают распоряжения о том, чтобы было произведено расследование законности действия тех лиц, которые политического преступника держат в качестве секретного сотрудника.

Золотарев. — Нужно было бы привлечь тех лиц. Я думаю, что относительно самой Шорниковой и помню, что насчет Шорниковой сообщалось министру юстиции, где она находится. А что не возбуждено дело, я не знаю. Вообще дела должностные возбуждались в определенном порядке. Может быть, что-нибудь было возбуждено в дисциплинарном порядке или производились расследования относительно неправильных действий, допущенных этими лицами.

Председатель. — Вы великолепно знаете, что этого ничего не было и, главное, не могло быть, потому что система была такова, что эта самая Шорникова в то время, как те люди, которых она провоцировала, были в каторге, получала жалованье от правительства. Так что система заключалась в том, что ее подсудность по преступлению, за которое грозит каторга, являлась не недостатком, а достоинством. Может быть, ей за это жалованье прибавили? Система заключалась. . .

Золотарев. — Но система не исключительная, а система, которая практиковалась очень долгое время и в которой практикуется вопрос усмотрения; возбуждение преследования существует относительно политических дел.

Председатель. — Тут должностное преступление есть. Вы все время говорите об административной гарантии. Но вы были обя-

заны наблюдать за начальником охранного отделения, и от вас же зависело вести дознание по этому поводу.

Золотарев. — Вот я и говорю, что ничего не знаю по этому поводу.

Председатель. — Я могу наверное сказать, что по делу нет этого дознания. А затем, как же быть дознанию, когда вы, по инструкции, заставляли секретных сотрудников внедряться в эти организации? Это должно быть поощрено при существующей системе. Вы знаете из этого дела, когда она бежала и когда судебные власти разыскивали ее, ей из сумм департамента полиции давались деньги для внесения залога в винную лавку, где она была потом сиделицей. Затем департамент полиции выхлопатывал свидетельства о благонадежности, чтобы она могла быть сестрой милосердия.

Золотарев. — По закону, раз она раскрыла деятельность преступного сообщества по 127 ст. угол. улож., она не отвечает за свое преступление и наказанию не подвергается.

Председатель. — Во-первых, если бы это было, то это не причем, потому что судебным властям она не являлась и судебными властями она не была в качестве обвиняемой привлечена. А затем 127 ст. во 2-й части читается совершенно обратно тому, как вы утверждаете. Здесь сказано, что участник противозаконного сообщества, ст. 124 и 126 предусмотренного, однако же не ст. 102. Значит, к ст. 102 она не имеет никакого отношения... (читает). Все это не имеет отношения к преступлению, предусмотренному 102 ст.

Золотарев. — Это действительно к 102 ст. не относится.

Председатель. — И потом вы постоянно возвращаетесь к вопросу о целесообразности. Неужели есть такой безудержный принцип государственного управления, который должен властвовать над всем и в том числе над законом? Ведь обязанность мудрого правительства, даже каждого чиновника, не только правителя, заключается в согласовании этих принципов в действиях целесообразных, но вместе с тем законных.

Золотарев. — Безусловно, но я говорю, что эти вопросы относятся не только к отдельному случаю, но это теоретические вопросы, имеющие огромную сферу. К отдельным поводам это не касается. Я говорю, что существует вопрос усмотрения. Я здесь почти ничего о Шорниковой не могу сказать, потому что упоминаемая Шорникова мелькнула в этот момент в докладе. Что она была секретным агентом, разве из этого вышла целая система? Вы изволите говорить, что этот съезд, в котором я председательствовал, был относительно учреждения, установления этих агентур. Я понимаю, это вопрос, который можно было обсудить и выяснить и сказать, относительно отдельных резолюций мне нужно все дело посмотреть и сказать, почему я это делал и чем руководствовался.

Вообще я никаких безудержных действий и нажимов не применял. Когда была эта поездка царствующего императора в Москву, я был против каких бы то ни было высылок, потому что есть это стремление высылать. Я мог себя упрекать в том, что я, может быть, действовал недостаточно напористо, но тут есть узусы и во всяком случае не существует особых каких-то положений. Тогда, в сущности, эти вопросы не были подняты. Эти узусы производства расследования были широко известны, не касались, не говорили об этом. Во многом я, конечно, затрудняюсь ответить, но, конечно, отрицаю, что напор производил на чужую совесть.

Председатель. — Можно несколько вопросов задать или хотите перерыв? Я хотел бы перевести ваше внимание к другому делу, к делу о Ленских событиях. Какое ваше отношение было к этому делу? Это относится к апрелю 1912 года.

Золотарев. — Я не помню точно, когда уехал министр, какого числа.

Председатель. — Перед Пасхой он уехал.

Золотарев. — Я знаю, что перед Пасхой, но чисел не помню. Я помню, что когда министр уехал, я тогда, собственно, в управление министерством не вступал, так как определенных распределений не было, но когда по ходу событий этих забастовок на Лене, конечно, не продолжительных, я узнал те условия, может быть, не самой забастовки в начале, а те условия, в которых это предприятие находилось, то это заставило меня, конечно, очень над этим призадуматься, потому что где-то на краю света находятся рабочие и предприниматели друг с другом во враждебных отношениях. Эти числа я все-таки еще помню. Может быть, я ошибаюсь, тогда не вмените это мне в вину. Я думаю, что это было 10 марта, вообще в этих числах, мне почему-то кажется, что 10 марта. Уже 6 марта была вытребована воинская команда. Меня беспокоили те опасения, которые высказывались и выставлялись относительно возможности бурного настроения рабочих этого предприятия, которое министерство торговли и промышленности считало за чрезвычайно крупное и важное. С другой стороны, меня беспокоило положение, при котором рабочим было затруднительно выяснить свои отношения с предпринимателями. Поэтому, как мне помнится, 10 марта послана была телеграмма губернатору, потому что генерал-губернатор находился в Петрограде. Губернатор со своей стороны ответил, что эта забастовка не то что кончается, а никакого значения не представляет. Отсутствие генерал-губернатора тоже очень меня беспокоило, в виду того, что высшее лицо в губернии отсутствует в то время, как Бодайбо представляет самое главное место во всем генерал-губернаторстве. Там был только губернатор Бантыш. Решено было предписать Бантышу выехать. Телеграмма была послана в том смысле, что на месте, в виду необходимости выяснения всякого рода вопросов, должно быть высшее

лицо местной администрации, которое бы знало местность и, вместе с тем, пользовалось бы должным авторитетом. Таким лицом, конечно, казалось бы, должен являться сам губернатор. Значит, вопрос обострился, раз была вызвана воинская команда, так что ему надлежало ехать. Он не поехал и послал телеграмму, указывая, что послал туда ротмистра Терещенкова. Это меня смутило, потому что—что ротмистр Терещенков понимает? Это новый человек. Правительственная власть объединяет в его руках власть полицейскую в районе приисков. Отказать губернатору, на ответственности которого лежит дальнейший ход дела и восстановление спокойствия, не представлялось возможным, и это согласие ему было дано. Между тем, давались некоторые другие телеграммы, содержание которых я сейчас припомнить не могу. От губернатора Бантыша получались телеграммы, которые трудно было понять. Вообще получалась картина, что он не ориентирован, не в курсе дел. Между тем забастовка (политическая или не политическая — это другой вопрос), но забастовка была очень бурная. Уже 19 марта рабочие, увидевши 50 или 70 человек солдат, выставленных, чтобы их остановить, бросились на этих солдат, я не говорю, что вооруженные набросились и преследовали этих солдат на протяжении трех верст. Так что солдаты приблизились к казармам и были окружены.

Председатель. — Откуда вы это знаете, что толпа преследовала солдат?

Золотарев. — Это я знаю по делу.

Председатель. — Вам сообщили это в телеграмме?

Золотарев. — В телеграмме — нет.

Иванов. — От кого вы получили эти сведения?

Председатель. — Это совершенно новое обстоятельство.

Золотарев. — Я по этому делу давал объяснения по ревизии сенатора Манухина. Там все обстоятельства изложены.

Председатель. — Я могу сказать, что такого обстоятельства в истории событий нет.

Иванов. — Кто же вам сообщил?

Председатель. — Может быть, вы не будете утверждать. Может быть, вам память изменила?

Золотарев. — Я не позволю себе говорить то, чего я не помню. Может быть, это неизвестно, здесь не имеется. Это имеется в рапорте командира местной команды на имя командира иркутской бригады 8 апреля.

Председатель. — Но тогда в Петрограде в тот период, когда вы послали некоторые телеграммы, вы этого рапорта не имели и, когда этот рапорт получился, обстоятельства его не подтвердили?

Золотарев. — Этот рапорт был 8 апреля, так что я его не мог иметь.

Председатель. — Так что, когда вы делали распоряжения в связи с ленскими событиями, вы этого рапорта не имели, об этом обстоятельстве не знали, а когда узнали, то оно было опровергнуто, потому что это был акт самооправдания этого человека.

Золотарев. — Это не касается событий 4 апреля.

Председатель. — А чего же это касается? Эта стачка исследована сенатором Манухиным и там характер поведения толпы совершенно определенно выяснен и исключает возможность таких вещей, как преследование, да еще на расстоянии нескольких верст, толпой рабочих воинской части.

Золотарев. — События 18 апреля ревизией открыты, но 19 марта было столкновение. Может быть, это обстоятельство не исследовалось. Исследовалось экономическое положение, а затем события 4 апреля.

Председатель. — Об этом мы наведем справки. Будьте добры сказать, какие вы делали распоряжения в связи с этим?

Золотарев. — Первое распоряжение, которое было сделано, вероятно, 10 марта относительно поездки на место какого-нибудь лица из высших лиц администрации, которое могло бы руководить действиями полиции. Вслед за этим было сделано распоряжение 30 марта (в промежутке были еще телеграммы), — распоряжение об аресте стачечного комитета, который был привлечен по 125 ст. уже 21 марта.

Председатель. — Чем же вызвано было это ваше распоряжение о необходимости ликвидировать стачечный комитет?

Золотарев. — Точно я не помню, я боюсь теперь говорить. Я и Думе давал по этому поводу объяснения. У меня речей этих не имеется, и я боюсь неточно сказать, какие сведения были получены.

Иванов. — Вы в комиссии давали объяснения или в пленарном заседании?

Золотарев. — В пленарном заседании по поводу ревизии Манухина, потому что по поводу событий давал объяснения Макаров. Затем, когда кончилась ревизия сенатора Манухина, который распорядился о привлечении в качестве обвиняемого Терещенкова, тогда я давал объяснения в Государственной Думе.

Председатель. — Господин секретарь, занесите в протокол — истребовать стенограмму объяснений И. М. Золотарева в Государственной Думе третьего созыва, в связи с запросом о ленских событиях. Когда вы давали эти объяснения?

Золотарев. — Это было в 1913 году.

Председатель. — Позвольте поставить вам вопрос. Вы забыли, значит, чем вызвано было ваше распоряжение об аресте стачечного комитета?

Золотарев. — Я не забыл, но боюсь удостоверить. Мне представляется, что движение приняло такой характер, как остановка поездов, обыски поездов, затем сопротивление воинской команде. Сведения получались через министерство торговли и промышленности, что положение самых приисков было в опасности. Положение заключалось в том, что мера, которая была принята 21 по 125 ст., не могла быть приведена в исполнение. Они не были привлечены, не были допрошены, следовательно, судебное ведомство встречало противодействие в осуществлении этого.

Председатель. — Как вы сделали распоряжение об аресте?

Золотарев. Этот вопрос обсуждался тогда у меня с директором департамента полиции.

Председатель. — У вас с Белецким? Вы знаете, что в результате в ночь на 4 апреля эта ваша телеграмма от 30 марта была исполнена, стачечный комитет был арестован, а затем 4 апреля произошло это страшное событие — расстрел толпы?

Золотарев. — Это не совсем так. Простите, пожалуйста. Телеграмма эта не была исполнена.

Председатель. — Почему?

Золотарев. — Потому что было исполнено распоряжение иркутского губернатора. Иркутский губернатор сделал распоряжение об аресте лиц, привлеченных по предварительному следствию. Тут и представляется опасность. Лица, привлеченные по предварительному следствию, частью арестованы, частью остаются на свободе. Телеграмма эта не могла быть исполнена, потому что, препровождая Терещенкова в Бодайбо, губернатор Бантыш лишил его права производить какие-либо аресты и высылки в порядке охраны.

Председатель. — Так что арест, вы утверждаете, произошел не по вашему распоряжению?

Золотарев. — Распоряжение это было, но распоряжение охватывало арест изобличенного стачечного комитета. Я не говорю, что то, что проводится в жизнь, достигает цели. Положение людей, находящихся за тысячи верст, чрезвычайно серьезное и дело может кончиться катастрофически. Оно и кончилось катастрофически. Я позволю себе сослаться на рапорт, который сохранился и у меня имеется. Мне представлялось, что офицер русской армии, который доносит, как он действовал, не врет и своей подписью подтверждает положение вещей. Я не представлял себе картину, как могущую привести к необходимости применения крайней меры, чего надо было стремиться избегнуть путем обезвреживания в смысле направления движения от такого момента, когда только выстрелы могут остановить его. Если толпа дезорганизована, то до выстрелов дело не дойдет — она разойдется.

Председатель. — А если организована? По моему, вся наша практика судебных деятелей подсказывает обратное — если толпа

дезорганизована, тут-то и может выйти столкновение, если же она организована, то тут все протекает благополучно.

Золотарев. — Я не в этом смысле говорю. Я немного устал. Организована в том смысле, что она имеет определенную цель, определенное намерение. Ведь положение рабочих было очень хорошее. Я не говорю, что администрация права (я не на этой точке зрения стою), но безусловно претензий не было. Так или иначе, но это была не забастовка, это было движение совершенно бурное.

Иванов. — На какой почве — на экономической или политической?

Золотарев. — Я не берусь судить, раз не было суда.

Иванов. — Какие требования они предъявляли? Ведь можно по требованиям судить.

Золотарев. — Это вопрос спорный.

Иванов. — А данные какие были?

Золотарев. — Данные могли быть следующие. Участие в стачечном комитете лиц, привлекавшихся по политическим делам и находящихся в ссылке.

Прдседатель. — Эти агитаторы рекомендовали продолжать мирную забастовку до удовлетворения требований. Пусть она политическая или нет, какая угодно, но она мирная.

Золотарев. — Данные так разнообразны.

Председатель. — Затем разве вам не было известно, что положение рабочих было ужасное, что они были целиком во власти Лензото, что это было государство в государстве, что золотопромышленная компания оплачивала работу судей и представителей местной власти и что там фактически была экстерриториальность? Разве это положение рабочих не остановило на себе ваше внимание?

Золотарев. — Но обстоятельство, которое министерство внутренних дел находило там, было таковым, что тысячная толпа ходила и распоряжалась на приисках по-своему. Позвольте по этому поводу доложить следующее. Производилось предварительное следствие, составлялся обвинительный акт и по обвинительному акту, как вам известно, дело рассматривалось на суде, и совершенно, может быть, добросовестно обвинитель обвиняет, а защита так же добросовестно защищает. Я с вами спорить не стану, не могу спорить, потому что у меня под руками ничего нет. Бывает так — один свидетель показал так, другой иначе. Правы 25 свидетелей или прав один свидетель, — я не знаю. Получается такое положение, что министр внутренних дел обращается с заявлением, что нужно, чтобы это все было разъяснено. . .

Председатель. — Позвольте вас прервать, потому что тут должно быть совершенно конкретное дело вам показано. Этих данных у меня под руками нет, так что мы будем в области общих рассуждений.

Золотарев. — Эта телеграмма, это распоряжение не было исполнено.

Председатель. — Мне хотелось бы перевести вас к другому периоду, предшествовавшему вашей работе в Петрограде, именно к периоду вашей новочеркасской службы и к этому ужасному делу, ужасному для судебного ведомства — Дашнакцутюн. Вы были прокурором новочеркасской палаты. Когда вы в первый раз узнали о неправильных действиях, которые допускал следователь Лыжин при производстве следствия?

Золотарев. — О неправильных действиях я должен сказать следующее. Я был в отпуску. Читаю в газетах, что возник вопрос по делу, производившемуся судебным следователем Лыжиным о новороссийской республике. Дело было закончено, когда меня не было в Новочеркасске. Оно рассматривалось до меня при Набокове. Установлены были подчистки и помарки и т. д. Это меня, конечно, заставило немного призадуматься. До этого никаких у меня не могло быть подозрений относительно судебного следователя по особо важным делам Лыжина.

Председатель. — Значит, он остановил на себе ваше внимание тогда, когда вам стало известно о том, что на него падает подозрение в том, что он совершил подлоги, как судебный следователь, по делу о новороссийской республике.

Золотарев. — Да, когда я вернулся, я не помню, когда это было.

Председатель. — Мы дату установим, а вы — события.

Золотарев. — Я сейчас же вызвал его и начал говорить. Я не имел основания говорить относительно дела Дашнакцутюн и говорил только относительно новороссийского дела, что там имеются помарки. До этого с ним беседовал по этому поводу товарищ прокурора Сергеев. Когда я вернулся, Сергеев говорит относительно Лыжина, что он убит, не знает, что ему делать, что его обвиняют в совершении подлогов по новороссийскому делу. Наблюдал за предварительным следствием товарищ прокурора Аксаков. Он был назначен наблюдать за предварительным следствием в первый же год, при чем он был освобожден положительно от всяких занятий, от каких-либо обязанностей.

Председатель. — Было наблюдение по делу о новороссийской республике?

Золотарев. — Нет, по делу Дашнакцутюн. У меня было два товарища — Аксаков и Виппер. Товарищ прокурора Виппер и я остались вдвоем, а Аксаков с этого момента и до конца наблюдал за производством предварительного следствия. Затем это новороссийское дело было рассмотрено. Я сказал Лыжину: «Пожалуйста, чтобы никаких помарок, никаких подчисток не было. В делах часто бывают помарки — чтобы ничего подобного не было. Я настаиваю на этом и примите меры. Лучше пишите новый про-

токол. Если вы сделали перемену, то делайте отметку внизу, перед подписью свидетеля». Затем, когда это дело относительно новороссийской республики было рассмотрено, я успокоился, потому что было признано (оно рассматривалось в окружном суде и доходило до Сената), что злонамеренности не было. Раз все дело было пересмотрено, я чувствовал успокоение. Дело Дашнакцутюн было в несколько десятков томов. Я просмотрел, не было ли подчисток и помарок. И вот в одном томе я увидел — было написано, например, Ман, а его рукой Манус — это подчищено совершенно ясно. Я говорю: «Каким образом вы можете это допустить?». Значения это не представляло, потому что Ман, Манус, — это все равно, но для него это улика. В общем, в остальном я ничего не видел. Дело приходило совсем к концу. В это время я опять отлучился по делам службы в Петроград. Когда я вернулся, товарищ прокурора Аксаков со мной говорил. Я ему еще раньше сказал подготовить весь материал, чтобы, когда следствие будет закончено, этот обвинительный акт тоже был закончен.

Председатель. — Когда вы вернулись?

Золотарев. — В январе. Я был на рождественских праздниках в Петрограде.

Председатель. — Это, значит, был январь 1911 года, так что вы рождественские праздники 1910 года были в Петрограде?

Золотарев. — Да. Аксаков мне сказал, что он многим протоколам не доверяет, не то что не доверяет — я не помню как он выразился, и что есть помарки. Я его попросил, чтобы он мне показал. Он мне указал некоторые места, но какие, я не помню, где, действительно, были помарки, росчерки и вычеркнутые слова. Я вызвал Лыжина. Свидетельские показания никакого значения не имели. Потом Аксаков мне заявил относительно того, что при экспертизе было оказано давление на экспертов-армян.

Председатель. — Это по вашем возвращении?

Золотарев. — Это уже потом было, после моего возвращения. С армянской экспертизой не считались. Что же касается вопроса относительно зачеркнутых мест, которые имеются в протоколах допроса, то я заботился, чтобы все предварительное следствие было произведено самым подробным образом, чтобы все данные, которые имеются в деле, чтобы все протоколы обвиняемому представлялись, чтобы всякое заявление, которое делается обвиняемым, было занесено в протокол. Так и было поступлено. Предъявлялся акт предварительного следствия чрезвычайно тщательно и подробно. Тянулось это несколько месяцев. Там его предъявляли целому ряду лиц, группам. Я сам ходил и предъявлял. И были заявления со стороны некоторых лиц, которых я сейчас вспомнить не могу, относительно некоторых документов, что в этих документах имеется много подчисток и помарок. Все эти заявления занесены в протокол и были по этим заявлениям про-

изведены экспертизы на месте. В предварительном следствии протоколы этих экспертиз имеются, с установлением вопроса, кем и когда эти изменения были произведены. Никаких указаний на Лыжина со стороны экспертов не было. Никаких жалоб со стороны обвиняемых, которые в судебную палату обращались с очень большим количеством жалоб, не было. Так что относительно того, что он сделал, не имелось жалобы. Я не имел никакого основания подозревать, что он совершал какие-либо подлоги, и теперь я не знаю, какие были эти подлоги. Я знаю, что производилось особое расследование. Я только этим хотел сказать, что вопрос относительно подчисток и помарок, которые были сделаны, меня взорвал. Я принял все меры и предъявлял все требования к тому, чтобы в тот момент, когда судебное следствие представлялось законченным, после того, как оно три года производилось, чтобы все было выяснено, чтобы все это имелось в документах предварительного следствия и могло бы быть на суде установлено то или другое отношение к той экспертизе, которая дана. Насколько я знаю, эти эксперты вызывались из Новочеркасска и здесь они сопоставлялись с экспертами, которые находились в судебном заседании. И вопрос оставался в этом отношении очень часто спорным. Много ли подлогов было, какие они были. В виду того, что после меня расследование производилось, я должен сказать, что я принял все меры к выяснению каждой помарки и по каждому вещественному доказательству.

Председатель. — Т.-е. когда вы приняли меры?

Золотарев. — Во время предварительного следствия.

Председатель. — До вашей поездки в Петроград?

Золотарев. — До поездки в Петроград никаких экстренных мер не принимал.

Председатель. — Так что вы утверждаете сейчас, что обратили внимание, как прокурор палаты, только на некоторые помарки, такие недочеты вы старались исправить?

Золотарев. — Исправить? Нет.

Председатель. — Старались исправить в том смысле, чтобы путем повторной экспертизы выяснить.

Золотарев. — Ах, да. Чтобы этот вопрос был выяснен на предварительном следствии. Относительно тех помарок, на которые было сделано указание.

Председатель. — А относительно неправильных действий самого Лыжина в других отношениях не было вами указано?

Золотарев. — В других отношениях?

Председатель. — Да.

Золотарев. — В других отношениях. Я докладывал комиссии, что было указано относительно давления, произведенного по этой экспертизе.

Председатель. — Ну, хорошо. Что же вы сделали тут?

Золотарев. — Тут особенного расследования не было. Но, если не ошибаюсь, боюсь сказать, была подана жалоба в судебную палату.

Председатель. — И осталась без последствий?

Золотарев. — Вероятно, да.

Председатель. — Выходит, что вы забыли. Это дело несколько иначе обстояло. Позвольте мне установить некоторые факты. И давайте в пределах этих фактов разберемся. Во-1), значит, в отношении новороссийской республики следствие это велось до вас. Вы представили министру юстиции рапорт 23 ноября 1909 г. с представлением копии определения общего собрания екатеринодарского окружного суда, который пришел к выводам, что в действиях Лыжина окружным судом обнаруживается признание преступного деяния, которое подходит под 362 ст., т.-е., значит, обнаруживаются признаки подлога. Вы 23 ноября 1909 года представляете об этом министру юстиции доклад. За год до того, как вы были в Петрограде. После этого, как вы знаете, дело было затушено стараниями Щегловитова. Теперь нечего нам правды скрывать. И сенат признал, что подлог не есть подлог, а что это простая описка.

Золотарев. — Это обстоятельство я забыл. Я говорил относительно суда, что дело рассматривалось судом.

Председатель. — Сенатом.

Золотарев. — Сенатом.

Председатель. — Но после этого вы, тем не менее, оставили его, этого Лыжина, производить предварительное следствие?

Золотарев. — Не я назначал производство предварительного следствия. Да к тому же, раз сенат признал, что не было злонамеренности, какое я имею право просить об удалении его?

Председатель. — Допустим, что это так. Затем в декабре 1910 г. вы ездили в Петроград, вернулись сюда и сделали те маленькие изменения в течение 1911 г., о которых вы изволили сказать. Но в Петрограде произошло вот какое колоссальной важности событие (по крайней мере на мой взгляд), о котором вы ничего не сказали и которое вас обязывало кое к чему. Вы получили письмо, которое я позволю себе огласить, датированное 30 декабря 1910 года. И содержит оно вещи ужасные. «Многоуважаемый Игнатий Михайлович. Поздравляю вас с Новым годом» (читает)... Позвольте все по порядку огласить, потому что все, что здесь написано, это ужасно (читает)... Г. секретарь, занесите в протокол, что оглашается письмо от 30 декабря 1910 года, и позаботьтесь о том, чтобы была приложена копия письма к протоколу. Впервые мне приходится читать в бумаге указание на зверское отношение следователя. Товарищ прокурора палаты пишет прокурору палаты, а прокурор палаты в это время находится в Петрограде, т.-е. в центре власти. «По-человечески, а не по-зверски, как

до сих пор было» (читает)... «Угнетен этим положением»... Понимаете, товарищ прокурора угнетен... (продолжает читать). Итак, ваш подчиненный, товарищ прокурора сделал указания не о тех, Игнатий Михайлович, простите меня, пустяках, о которых вы изволили сказать, а о чем-то ужасном, что кладет пятно не только на правосудие, но что адвокатуру, причастную к суду, приводит в ужас. Позвольте от имени Комиссии поставить вопрос: что же вы, как прокурор палаты, изволили сделать, когда вы получили это ужасное письмо о бесстыжих и преступных действиях следователя, которые приводят в трепет, вероятно, чистых людей — Аксакова и Сергеева? Что вы изволили сделать?

Золотарев. — Я говорю по поводу письма, я вернулся в Новочеркасск.

Председатель. — Значит, вы получили письмо с донесением о преступных действиях следователя, который был преступник уже по данному делу, и о том, что за этим следователем несколько десятков обвиняемых, которые годами сидели в тюрьме. Вот, что вы сделали?

Золотарев. — С этим письмом?

Председатель. — Да, в Петрограде, потому что оно должно было вам жечь руки, неправда ли? Потому что это ужасная вещь.

Золотарев. — В Петрограде ничего не сделал. Я и докладывал Комиссии, что, вернувшись в Новочеркасск, говорил по поводу этих заявлений, которые все изложены здесь, в письме Аксакова, которое было, действительно, мне писано. И он мне указал три случая исправлений, имевших место. Он ссылается, говорит — все это совершенно верно, что впоследствии оказалось, по экспертизе, произведенной в Петрограде на суде, оказались подлоги. Следствие по этому поводу производилось. Я же добавлю, что я потребовал. Тут сказано: кто-то говорит. Надирадзе это говорит. Позвольте мне узнать, какие, собственно, были подлоги и в чем они заключались? Я ведь до сих пор не знаю этого. Ведь это, собственно, громкие слова, сказанные человеком, который не знает дела, который его не видел... Вы меня простите... Который что-то слышал со стороны и который должен был знать о том, что какие там были подлоги, и их не знал, а пишет относительно того, что он слышал или говорил сам Лыжин. Протокол осмотров, который имеется в деле, при благородном негодовании товарища прокурора Аксакова, подписан им или он не подписывал? Он подписал протокол осмотра, который имеется при предварительном следствии или не подписал? Является ли его подпись гарантией правильности для прокурора палаты, который не наблюдает за этим самым делом? Или подпись этой бумаги не является гарантией, и что это сделано для того, чтобы в будущем свалить ответственность на прокурора палаты. Я этот вопрос хотел бы выяснить. Я разговаривал со многими лицами, и никто мне ничего подобного не заявлял, что было

в этом письме. Вы требуете от меня, чтобы я, когда ездил в Петроград и когда я получил это письмо с указанием (вы меня извините, если при негодовании я сказал эти слова, но они написаны, упущены), какое же я право имел назвать человека негодяем, человека, о котором я что-то слышал со стороны, что он сделал. Когда я приставлен к этому делу, когда я должен смотреть и когда я должен сказать, что вот, что он сделал. Вы меня простите, г. председатель, я может быть, горячусь.

Председатель. — Пожалуйста, мы оба горячимся. То, что здесь написано, ужасно.

Золотарев. — Я понимаю. А не ужасно то положение, в которое поставили меня перед лицом посторонним, которое меня не знает? Кто меня знает, для того это значения не имеет. К несчастью, в гробу лежит Сергеев, но есть другие. То лицо, которое было освобождено от всех занятий, должно было сидеть в этом деле, и позволяет следователю, я не знаю, сумасшедшему, или что, вести и подписывать эти бумаги. А затем когда я уехал, простите меня, я уехал на 10 дней или на две недели, значит, за какой-то промежуток всего в пять дней обнаружилось все это. Для чего понадобилось посылать письмо, сохранять о нем копии? Для чего это нужно? Подумайте над этим. Три года продолжалось следствие, и вот в пять дней вдруг открылось что-то и нужно было посылать письмо с указанием: «вы скажите министру». Я пойду к министру. Я буду сваливать с себя на министра, который скажет: что же я буду делать сейчас? Нет, я к министру не пошел. Я пошел туда, откуда это пришло. Я не остался в Петрограде. Я вернулся. Я приехал. Я пригласил Сергеева. Я говорил с Сергеевым. Я смотрел дела. Тут были кандидаты, я пригласил их. Я говорил: покажите мне. Я их пригласил к себе: «вы мне скажите, в чем дело». Никто мне ничего не говорит. А вы извольте посмотреть, какое количество вещественных доказательств. Я дрожал над этими вещественными доказательствами. Я на них спал в вагоне. Привез, потому что знал, что написано, и сдал. Я хотел, чтобы все было выяснено. Я не бросил их в воду. Не привез подложных протоколов. Я привез вещественные доказательства. Куда привез? На судебное дело, где были защитники. Я знал, что такое вещественные доказательства, когда люди сидят под стражей три года, когда за два месяца до окончания этого дела поднят вопрос такого рода, что какой-то подлец производил следствие и ставит меня в затруднительное положение: как поступить. Я говорю: просмотрите все, мы сломаем все дело моментально. Не могу я сам лезть в ящик. Я зову экспертов. Они говорят: нет, подлога нет. И, вероятно, много было изменений различных. Я все сделал, я все принес суду.

Председатель. — Вы говорите о посторонних лицах. Но ведь это лицо было ближайшим сотрудником Лыжина. Пред нами объективный факт. Ведь это историческое дело. И пред нами объек-

тивный факт, который заключается в том, что Лыжин совершал подлоги. Так что это указание вызывается совершенной соответственностью действительности. Как же вы могли оставить без внимания такое указание, которое, как мы теперь знаем, имело основание?

Золотарев. — Я это и докладываю, что я это без внимания не оставил. Позвольте мне тогда все дело. Позвольте все документы. Позвольте разобраться. Я никогда этого обвинения не встречал, и никогда не было сказано, что я сделал упущение. Я желал бы сверить те экспертизы, которые были произведены на предварительном следствии в Новочеркасске, с теми, которые производились здесь. И пусть мне потом скажут — что вы ничего не сделали. Когда я вернулся, то он от этой бумаги почти что отрекся.

Председатель. — Аксаков отрекся от своей бумаги?

Золотарев. — Он не сказал, что не писал. Я спросил: какие подлоги и покажите их. И он мне показал три помарки. Что же я говорю о посторонних лицах? Его подпись на протоколе имеется или не имеется? Для чего-нибудь исполняется эта формальность подписей. А я говорю, если мне скажут: «скрыто в предварительном следствии». — «Ничего не скрыто». И вещественные доказательства, я все их привез. Можно справиться, как вещественные доказательства хотели похитить, и какие получались ужасные угрозы. Я действовал с открытым забралом. Я, может быть, виноват в том, что я доверился своему товарищу, что я сам должен был сидеть там. Но я не мог бросить весь округ. И этот товарищ потом в глазах общественного мнения меня подвел, потому что об этом много писали в разных газетах. Я должен был молчать. Я радуюсь, что могу открыто говорить здесь, и мне очень хотелось бы видеть все эти документы и выяснить. Позвольте, вот этот документ отмечен 30 декабря 1910 г. И вот, когда предварительное следствие, я очень извиняюсь...

Председатель. — Позвольте, вы знаете, что то, что здесь написано, ужасно. Это всех волнует. Вы, значит, никакого расследования в связи с заявлением этого Аксакова не произвели о действиях Лыжина?

Золотарев. — Я приехал и спросил Аксакова, в чем дело, потому что здесь много слов громких и много негодования. Но уверяю вас, что это негодование, которое у меня клокочет, не повторение чужих слов. Как? Наблюдающий товарищ прокурора пишет, что его жена сказала. Ведь он же наблюдает. Он должен был присутствовать при каждом допросе свидетелей судебным следователем, при каждом осмотре документов. Зачем же ему нужно показание? Ведь это не предварительное следствие, производящееся обыкновенным путем. Это предварительное следствие, производящееся над государственным преступником, где никакой акт судебного следователя не имеет значения, если не подписан това-

рищем прокурора. И я три года читаю, разное мне дается, приносят, я их читаю, они подписаны тем и другим. Они свидетельствуют ложно. Я должен убедиться. Как я должен убедиться? Вернувшись я и спрашиваю: покажите мне. Вы три года молчали, вы не говорили. Когда дело уже предъявляется обвиняемым, вы мне пишете письмо в Петроград, где я могу волноваться действительно, получив это письмо. И не могу броситься к следователю и просмотреть, что в деле имеется. Вы меня в какое положение ставите? Только что приехал — «покажите, что и как сделано». И вот помню, запомнил три случая — он мне показывал.

Председатель. — Но все-таки вы не назначили расследования действий Лыжина. Не призывали его, не потребовали от него объяснений. Вы переговорили с Лукьяновым, с Платоновым, с Надирадзе.

Золотарев. — Со всеми.

Председатель. — Почему вы не облекли все эти ваши разговоры в акты дознания, в акты расследования? Ведь это указывало на совершенно объективную преступную деятельность и объективно правильно указывало. Ведь вы говорите, что он отрекся. Но объективно был прав, потому что Лыжин был безобразен.

Золотарев. — Отрекся. Когда я спросил, чем он подтверждает, он показал три случая. Лукьянов и Платонов никаких указаний относительно Лыжина не делали. Простите, я говорю, как понимаю должно производиться расследование. Ведь представить себе расследование, значит, взять дело и просмотреть дело до конца. Расследование в этом и заключается, что допросить этих лиц. Тогда предварительное следствие и находилось в момент расследования. Оно представлялось всем обвиняемым. Кто из этих обвиняемых лучший судья относительно всех тех подлогов, которые действительно соответствуют действительности.

Председатель. — Вот вы знаете, специальное дело, когда обвиняемые, не все из них культурны, когда были люди действительно плохо понимавшие по-русски. Это совершенно особые обвиняемые. Но как вы могли, если все это не подтвердилось, как вы могли оставить Аксакова? Или Лыжин должен был быть отдан под суд или Аксаков должен был быть отдан под суд. Или, в крайнем случае, устранены вами. Вы не сделали ни того, ни другого. Вы действительно прикрыли, что для вас было не вполне ясно, что впоследствии оказалось рядом преступных действий Лыжина, рядом подлогов.

Золотарев. — Я не могу признать, что я прикрывал, когда я требую, чтобы всякий мельчайший документ был предъявлен обвиняемым. Обвиняемому этот документ я даю, он лучше всего осветит. Какое же это прикрытие? Ведь по всем этим вопросам эксперты были приглашены. Экспертам все было предъявлено. А что дальше? Я не знаю, что выяснилось на суде, в чем заключался подлог Лыжина. Все это переносится на суд, где это дело

разбиралось. Я знаю, что Сергеев, который был свидетелем по настоящему делу, отказался от обвинения только пяти или семи лиц. Он отказался от обвинения вовсе не потому, чтобы доказательства были недостаточны, но потому, что они не соответствовали. Кто их изменил? Как они были изменены? Я не могу сказать.

Председатель. — Вы потребовали объяснений от самого Лыжина по поводу обстоятельств этого письма?

Золотарев. — Я с ним говорил. Там был еще товарищ прокурора Виппер. Неизвестно, где, что и кто сделал. Аксакову ничего не было известно. Это Виппер может установить.

Председатель. — У вас сохранился подлинник этого письма?

Золотарев. — Я никаких писем не сохраняю.

Председатель. — Вы от Лыжина значит не потребовали формальных объяснений, но вы доносили по этому поводу министру юстиции?

Золотарев. — Нет.

Председатель. — Как часто вы представляли рапорты министру юстиции по делу Дашнакцутюн?

Золотарев. — Вначале — чаще, потом реже.

Председатель. — Они были письменные или также и устные?

Золотарев. — И устные были.

Председатель. — Сколько раз вы делали устные?

Золотарев. — Я боюсь это сказать.

Председатель. — Что же, министр юстиции не был осведомлен даже из устной беседы с вами о том, что этот судебный следователь уже однажды заклеймован подлогом и что товарищ прокурора сообщает такие сведения?

Золотарев. — Нет. Я докладываю Комиссии, какое было положение дела и какой был прием и что при такой постановке дела товарищ прокурора хотел свалить вину за свое бездействие за три года на меня.

Председатель. — Позвольте вас спросить, как же вы почувствовали себя, когда суд над этим лицом превратился в суд над Лыжиным и в суд над всем судебным ведомством в связи со следователем, который совершает подлоги? Ведь впоследствии было установлено, что эти показания правильны и пришлось Лыжина объявить сумасшедшим.

Золотарев. — Я не знаю, был ли он сумасшедшим или нет, это я не могу сказать, но дело заключается в следующем. Когда было представлено предварительное следствие, была возможность все это рассмотреть и все выяснить. С моей точки зрения оно и выяснилось тем, что все представлялось обвиняемому. Я на этом настаивал. Каждый обвиняемый мог сказать: это совершенно неверно. Такой более верный путь был принят для выяснения того, что было совершено.

Иванов. — Вы изволили указать, что все это письмо дышит преувеличенностью, даже неверностью изложения и настолько, что после вашего приезда, повидимому, отказался даже Аксаков. Чем же объясняется то, что он написал вам такое письмо? Написано в крайне дружеской форме, начинается даже с поздравления. Он чуть было не подвел вас этим. Чем же это объясняется? Какие у вас были отношения?

Председатель. — Он и себя подвел.

Золотарев. — Я не говорю, что он от этого письма отрекся, но ничем не подтвердилось это письмо.

Иванов. — Чем вы объясняете, что ваш товарищ через несколько дней пишет такое письмо?

Золотарев. — Я говорю, что он написал мне частное письмо, копия у него осталась. У меня были письма Лыжина, где он писал, что ничего подобного нет. Но писем этих у меня нет, они уничтожены. Я в этом деле лично заинтересован.

Иванов. — Что это заблуждение? Ведь это лично направлено против вас?

Золотарев. — Мне не случалось иметь никаких врагов. Я считаю, что Аксаков столь же отвечает, сколько и Лыжин, как и я отвечаю за то, что я не принял тех мер, которые нужно было принять.

Иванов. — Я не понимаю смысла этих сведений.

Золотарев. — Сведения им получены со стороны, которые он должен был знать, как подписавшийся под протоколом. Я прихожу к нему и спрашиваю: «Покажите мне», и он мне показывает три случая. Что же мне остается делать? Затем все до единой бумажки переносятся на суд, и если Лыжин сумасшедший, то я не сумасшедший, я знал, что я везу.

Председатель. — Вы своими действиями переложили на обвиняемых то, что являлось вашей обязанностью, как прокурора палаты. Вы сказали — я передаю обвиняемым, и если они мне укажут, что там подлог, то тогда я что-нибудь сделаю. Если они мне укажут, что Лыжин при самом допросе делал такие неправильности. Между тем, вас, как прокурора палаты, такое донесение страшно обязывало. Посылая эту бумагу, Аксаков умывал руки и слагал на вас всю ответственность. Вы поставили себя в такое положение, что ничего министру юстиции не сообщили об этом и прикрыли Лыжина и Аксакова. Вы понимаете, какое получилось положение?

Золотарев. — Я никого не прикрывал. Может быть, я стал в виду этого дела на показное место, но я никого не прикрывал. Кто что делал, тот за то и отвечает. Если я подписываю и знаю, что это подложно, почему же я не отвечаю, если я сообщил другому, что это ложный протокол.

Председатель. — Нельзя становиться на формальную почву в отношении письма Лыжина, который ставит вас и себя в такое позорное положение.

Золотарев. — Это поставил Аксаков, а не Лыжин. Я ему вверял три года протоколы, которые он подписывал, а здесь он вдруг пишет и, когда я вернулся и спрашиваю — откуда вытекает — он ничего не может показать, кроме вычеркнутых слов.

Председатель. — Господа члены Комиссии, вы позволите закрыть заседание?

L.

ДОПРОС Б. В. ШТЮРМЕРА.

14 июня 1917 года.

Содержание: О всеподданнейших докладах, вывезенных Штюрмером из своей квартиры в чемодане в первые дни революции. О назначении Штюрмера председателем совета министров. Присутствие бывш. царя на молебне по случаю открытия Думы, по настоянию Распутина. Об отношении Штюрмера к работе Думы майско-июньского созыва 1916 г. Выступления Штюрмера против Думы. Записка с требованием роспуска Думы. Указы о перерыве занятий законодательных учреждений. Участие Штюрмера в хлопотах по освобождению Сухомлинова. Допущение Штюрмером вмешательства бывш. императрицы в государственные дела. Записка Велепольского. Польский вопрос. Ряд аудиенций Штюрмера у бывш. императрицы. Письмо ее с просьбой не высылать Симановича. О требовании бывш. императором запрещения печатать резкие статьи против германофильства греческого короля Константина. Совещание в доме Штюрмера по вопросу о цензуровании газетных отчетов о заседаниях Государственной Думы. Всеподданнейший доклад Штюрмера об ограничении печати в Петрограде и Москве. Дополнительные объяснения Штюрмера по поводу Арцимовича и купчей по продаже Штюрмером своего имения на Волге. О переговорах о мире.

Председатель. — Скажите, пожалуйста, в дни революции вот вы выехали из вашей квартиры, забравши чемодан, в котором находились документы, куда вы направились?

Штюрмер. — В клуб английский.

Председатель. — А из английского клуба?

Штюрмер. — Из английского клуба отнес своей знакомой.

Председатель. — Что же отнесли?

Штюрмер. — Чемодан. Там у нее оставил, потом вернулся в английский клуб.

Председатель. — Что же было в этом чемодане?

Штюрмер. — Все было, так сказать, семейное. Были все бумаги мои, моей жены, деньги, чековые книжки. Одним словом, все состояние. Купчие крепости...

Председатель. — Да, да. Это нас не касается.

Штюрмер. — А засим были собраны там некоторые всеподданнейшие доклады, которые я не успел передать, потому что я

не мог видеть ни одного председателя совета министров, они были так заняты.

Председатель. — Но ведь не только те, которые вы не успели передать, но были бумаги по должности вашей председателя совета министров.

Штюрмер. — Да, да. Эти бумаги есть те, которые я хотел и должен был передать Трепову, а он не мог принять от меня. Засим пришлось мне выехать из Петрограда на некоторое время. После этого я виделся с кн. Голицыным, просил его принять от меня. Он обещал сделать, потом все откладывал. Действительно, был очень занят в первые дни. Засим я его увидел в клубе за обедом и спросил, когда, наконец, увидимся. Пора вам взять бумаги. Он сказал, как только возможно, я телефонирую. Я телефонировал, он не отвечал. Я ответа не получал. Так дело затянулось.

Председатель. — Но какое же у вас было основание бумаги, носившие совершенно формальный характер, относящиеся к вашей деятельности как председателя совета министров, а не лично к вам, какое же у вас было основание прятать все то, что касается вашей деятельности как председателя совета министров?

Штюрмер. — Передать в верные руки председателя совета министров, Трепова и кн. Голицына.

Председатель. — Ведь со времени вашей отставки прошло больше трех месяцев.

Штюрмер. — Как это ни странно сказать, я не мог видеть Трепова сразу. Я сказал, когда ехал с ним из ставки, что, вот, есть целый ряд бумаг, которые я вам сдам в руки. — Пожалуйста. Когда найдете возможным. Только дайте мне возможность опомниться и осмотреться.

Председатель. — Так что вы объясняете вашу попытку скрыть эти документы тем, что вы их в последнее время не передали, не успели передать вашему заместителю и современем вы этим путем хотели их передать.

Штюрмер. — Нет, я хотел их передать, как только кто-нибудь из них будет свободен, я передам эти документы, потому что бумаги не мои, это официальные документы. Я не мог их передать ни правителю канцелярии, я не мог их передать Лодыженскому, управляющему.

Председатель. — Отчего десятки раз не сделали этого?

Штюрмер. — Потому что десятки раз, может быть, больше, пытался видеть председателя, но не мог видеть ни того, ни другого.

Председатель. — Как же вы сами говорите, что могли сдать Лодыженскому?

Штюрмер. — Я не мог передать.

Председатель. — Председатель совета министров, ваш заместитель имеет постоянный адрес. Можно было запечатать в конверт и передать.

Штюрмер. — Я должен был иметь объяснение. Я знаю наверное, когда Трепову сказал, что у меня есть бумаги, и предупредил, что есть бумага спешная, там идет речь о том, что происходит в Думе. Я имею основание опасаться, что произойдет волнение в России. Я должен был сделать доклад государю императору. И государь положил резолюцию такую, что не допускает прекращения занятий Думы, как только в самом крайнем случае, и предупредил, что — помните, что бы ни случилось — не принимайте решения, пока меня не вызовете. Засим после этого разговора я только один раз видел Трепова у себя, и я ему сказал — вот вам бумаги, возьмите, прочтите. Я указывал, я не мог больше.

Председатель. — Но вы, значит, использовали эту бумагу. Зачем же вам нужно было увозить куда-то к вашей знакомой?

Штюрмер. — Нет, не увозить. Почему же я знал, что буду арестован тем учреждением, которое здесь заседает? В последние дни нельзя было выезжать, потому что стреляли, в особенности я живу в таком месте. Мне казалось, что могут притти и увезти частные люди. Я не знал, что это от правительства. Я никаких сведений не имел. Мне по телефону было сообщено, что к Щегловитову приехали вечером, арестовали его и увезли. Но чтобы правительство... Я не мог знать вообще, что перемена случилась. Я увез все, что была собственность моя и моей жены.

Председатель. — Вы помните, что вы были назначены председателем совета министров 20 января?

Штюрмер. — Да.

Председатель. — Зачем председателю совета министров Российского государства нужно было на следующий день вечером ехать на квартиру какой-то артистки частного театра Лерма и там потихоньку видеться с Распутиным?

Штюрмер. — Я должен был ему сказать, что могу его поддерживать в том только случае, если он не будет позволять себе говорить такие вещи.

Председатель. — Какие вещи?

Штюрмер. — А вот, когда он бывал у разных лиц, когда он позволял себе непочтительно говорить про одну особу, про которую не имел права говорить.

Председатель. — То-есть, вы имели в виду бывшую императрицу.

Штюрмер. — Да.

Председатель. — Но зачем председатель совета министров должен по этому поводу устраивать конспиративное свидание с каким-то развратным человеком и притом в квартире какой-то артистки?

Штюрмер. — Потому что другого места не было. Я никогда в жизни не был у Распутина. Не знаю, где он жил и где живет, вообще никогда не был.

Председатель. — Позвольте, или это было постыдно, то, что вы делали, тогда этого не следовало делать. Или в этом не было ничего постыдного, и тогда вы могли сделать открыто.

Штюрмер. — Постыдного ничего не было, но нужно было с ним видеться.

Председатель. — Вам не казалось, что глава русского правительства унижает свое достоинство, когда устраивает конспиративные свидания с человеком, относительно которого вы знали, что это за человек?

Штюрмер. — Я не знаю, что такое конспиративные свидания.

Председатель. — Конспиративными свиданиями называются такие свидания, которые скрывают и для которых в какой-нибудь потайной уголок едут. И вот таким уголком для вас была квартира Лермы.

Штюрмер. — Да, это единственно, где я мог с ним видеться.

Председатель. — Позвольте, кроме вашего служебного кабинета, у вас была ваша квартира?

Штюрмер. — Я не желал с ним вообще поддерживать сношений.

Председатель. — Почему не желали?

Штюрмер. — Совсем не желал, потому что никакого отношения к нему не имел.

Председатель. — Потому что считали постыдным?

Штюрмер. — Я считал, что это человек, который много себе позволяет, и надо положить этому предел.

Председатель. — Но почему же тот, которому председатель совета министров решил положить предел, не вызывается к председателю совета министров или не приводится при помощи властей?

Штюрмер. — Тогда пошли бы разговоры.

Председатель. — Что же вы делали, когда полтора часа вы там пробыли у него? Неужели вы с ним полтора часа говорили на тему о том, что не нужно говорить плохие вещи про бывшую императрицу?

Штюрмер. — Видите, никогда ни о чем я с ним другом говорить не мог, потому что поводов для разговора не было. Я в первом объяснении говорил, что он там говорил о синоде, о приходе, о своем тобольском епископе (забыл его имя) и т. д. Вот на эту тему он со мною много говорил. Это я помню. Но долго ли говорил, этого не помню. Но я имел ему сказать это.

Председатель. — Вы имели сказать ему это, а он имел сказать вам весьма многое, и вы ему позволили это весьма многое говорить в течение полутора часов?

Штюрмер. — Я не помню. Весьма многого я не хотел от него получить. Вы хотите сказать «весьма многое», что он мог дать какие-нибудь указания о том, что делается при дворе. Именно этого-то я не хотел получить от него.

Председатель. — Мне кажется, что народу и народной власти желательно знать, почему министр, назначенный председателем совета министров 20 января, вечером 21 января едет на квартиру какой-то артистки и там беседует с порочным человеком, имя которого было достаточно уже известно, по каким же данным?

Штюрмер. — Я вам говорю, что только потому, что я должен был ему сказать....

Председатель. — А затем вспомните, не видели ли вы много раз Распутина и у него на квартире?

Штюрмер. — Нет, нет.

Председатель. — И здесь, в Петропавловской крепости.

Штюрмер. — У него на квартире никогда не был.

Председатель. — Ну, а в Петропавловской крепости?

Штюрмер. — Видел, наверное, здесь один раз.

Председатель. — Не один раз, а несколько раз, значит, видели его.

Штюрмер. — Я его за обедом видел. Он был знакомый того дома, где я бывал. Я попросил бы вас выслушать такого рода заявление. Вы все ставите вопрос так (я знаю, что народ получил власть), что я, желая избегнуть ответственности, хотел скрыть какие-то документы и т. д. Если бы это было так, то мне гораздо проще было бы в печку бросить, это дело пяти минут. Я вам даю честное слово, что я решительно не знал, что делается. Я только узнал часов в восемь. Мне по телефону кто-то звонил и сказал: «Вы знаете, схватили Щегловитова, и его взяли».—«Какой вздор!» «Нет, это верно».—Вот все, что я знал. Эти последние дни я не выходил и о том, что делалось, я совершенно не знал. И думаю, что если бы нужно было, я сумел бы до утра сжечь, что лишнее, или каким-нибудь другим путем уничтожить.

Председатель. — Вы думали увезти это. Скажите, вы не припоминаете, что 9 февраля 1916 года бывший император присутствовал на молебне по случаю открытия Государственной Думы?

Штюрмер. — Помню, да.

Председатель. — Так вам известно, что Распутин настаивал на том, чтобы царь туда поехал, и сказал царю, чтобы он посетил Государственную Думу?

Штюрмер. — Нет, это мне совершенно неизвестно. Я не думал, чтобы это было так. Я не думал потому, что государь первый заявил об этом. Я от него услышал.

Председатель. — Вы от него, а он услышал от Распутина. А с Распутиным не говорили относительно этого?

Штюрмер. — Нет.

Председатель. — Вообще вы его в это время не видели?

Штюрмер. — Мельком. Я приехал из ставки. Вообще мы с Распутиным не виделись. Конечно, очень трудно утверждать это.

Председатель. — Нет, твердо установленным является ваше свидание с Распутиным, так что вряд ли стоит отрицать.

Штюрмер. — Я не об этом говорю, я в жизни не был у Распутина.

Председатель. — Это неважно, где вы его видели. Важно то, что председатель совета министров ищет свиданий с этим человеком.

Штюрмер. — Нет, я не искал свиданий, кроме случая, когда я должен был говорить ему, что он неприлично себя ведет.

Председатель. — Но как же? Председатель совета министров не может быть гувернером, исправляющим этого человека. Вероятно, он был неисправим. Вы заботитесь так о том, чтобы он не говорил и вообще, чтобы с его стороны никаких эксцессов не было. Каково было ваше отношение к работе Думы майского — июньского созыва 1916 года? Помните, это был момент борьбы вашей с прогрессивным блоком.

Штюрмер. — Видите, я не могу вам сказать, о каких отдельных, так сказать, эпизодах и событиях вы говорите. Но вообще отношение было такое, что я был глубоко счастлив, что первая сессия Государственной Думы закончилась без всяких недоразумений, совершенно благополучно. Что сами законодатели нашли, что время уже прервать занятия. Вот было первое отношение. Так что я считаю, что первая сессия 1916 года прошла самым желательным образом.

Председатель. — Но мы хотели бы, чтобы вы высказались по поводу Думы, собранной на сессию 1916 года 16 мая и распущенной 20 июня.

Штюрмер. — Я, знаете, не понимаю, что вы хотите сказать.

Председатель. — Каково было ваше общее отношение к работам этой Думы?

Штюрмер. — Разве я проявил что-нибудь отрицательное в этом отношении? Если вы мне укажете, я объясню.

Председатель. — Позвольте, не меня спрашивайте. Вы были председателем совета министров.

Штюрмер. — В общем всегда благожелательное. До первого ноября, но когда я был затронут, не только я... Пошло по всей России волнение... А в общем самое благожелательное.

Председатель. — Не припомните вашей записки по поводу работ Думы созыва 16 мая—20 июня, в которой вы высказываетесь весьма отрицательно к этим работам, а совсем не благожелательно, как вы это сейчас утверждаете?

Штюрмер. — Да, к отдельным вопросам. Может быть, вы мне напомните.

Председатель. — Вы помните вот эту вашу записку? (Показывает записку.) Просмотрите. (Передает записку Штюрмеру.)

Штюрмер. — (Посматривает.) У меня катаракт.

Председатель. — Позвольте, я оглашу ее. «Гос. Дума, возобновившая свои занятия 16 мая», — это вы писали в записке 7 июня—«имела всего четыре заседания»... Пожалуйста, г. секретарь, запишите, что оглашается всеподданнейшая записка от 7 июня 1916 года председателя совета министров Штюрмера о деятельности Думы. «Задача так называемого прогрессивного блока, опирающегося на большинство Думы» (читает)... Кто вам писал все эти записки, эту и последующие, кто составлял?

Штюрмер. — Изволите видеть, я вспомнил сейчас, этот вопрос поставил мне Трепов. Он прочел и спросил: «Кто составляет эти записки?» Я ему ответил: «Я».

Председатель. — А на самом деле кто их составлял?

Штюрмер. — Я и составлял.

Председатель. — А не Гурлянд вам составлял? Я потому спросил вас, что вам такой же вопрос задавался и вы ответили, что вы. Так что я думал, может быть, не вы.

Штюрмер. — Гурлянд? Теперь не помню. Может быть, составлял.

Председатель. — 7 июня. Нет, не об этой записке.

Штюрмер. — А после первого января, когда был вопрос о том, что должны быть прекращены заседания Думы или нет.

Председатель. — Что же ему понравилось? Сказал, что это хорошо?

Штюрмер. — Не знаю, может быть, дурно, может быть, не согласен был.

Председатель. — Скажите, а Гурлянд не составлял для вас записки, проектов и т. д.?

Штюрмер. — Нет. По отношению к Государственной Думе?

Председатель. — По отношению к Государственной Думе на имя царя.

Штюрмер. — Нет, ни по отношению к Государственной Думе, ни по отношению царя. Гурлянд у меня бывал так.

Председатель.—Я продолжаю оглашать эту записку (читает). Видите, не только не благожелательное отношение к работам Думы, но вы вообще считаете, что совокупность этих законопроектов, которых требовала страна и которые выдвигала Государственная Дума, — что они поставили бы страну в положение совершенно безвыходное.

Штюрмер. — Да.

Председатель. — Так что вы видите, что здесь совершенно не благожелательное отношение с вашей стороны.

Штюрмер. — Это мой взгляд, конечно, с точки зрения государственной; тому течению, которое теперь взяло верх, мое мнение было противоположно.

Председатель. — Значит, вы резко разошлись с работой Думы?

Штюрмер. — Течение моей мысли было иное.

Председатель. — У вас была такая надежда, что пусть себе Дума делает, что ей угодно, но что государственный совет не допустит этого. И вот вы обращаете внимание тогдашнего носителя верховной власти на то, что и государственный совет с вами не согласен. Оказывается, что и в государственном совете есть течение параллельное прогрессивному блоку, главой которого нужно признать Коковцова. И течение это делает возможным проведение в жизнь некоторых проектов, которые Дума считает для страны желательными. Вы не помните это обстоятельство?

Штюрмер. — Да, да.

Председатель. — Так что вы выступаете не только против Думы, но и против государственного совета.

Штюрмер. — Против данных идей и против данных теорий, которые разделяются.

Председатель. — Но ведь эти теории в совокупности составляли и Государственную Думу того момента. Стало быть, вы выступали — решительно против всех главнейших идей Думы, вы выступали, тем самым, против Государственной Думы в целом.

Штюрмер. — Я говорил мое мнение, что я не сочувствую и вижу опасность, что в государственном совете это найдет подтверждение. Тем более я считал это невозможным.

Председатель. — Не найдет подтверждения.

Штюрмер. — Конечно, найдет.

Председатель. — Вот, вы здесь указываете, что государственный совет может перейти на сторону Думы.

Штюрмер. — Да, да.

Председатель. — Скажите, пожалуйста, как вы могли себе представить, что вы один и с некоторыми другими, опираясь на ничтожную кучку сочувствующих, вы идете против Думы, против государственного совета и в эту борьбу вы вовлекаете и главу монархической власти, и династию, и все? Почему вам не приходила в голову мысль, что неправ ни прогрессивный блок, который объединял большинство Думы, и ни государственный совет, который склонен был присоединиться, а неправы вы с вашей кучкой?

Штюрмер. — И очень может быть, я был неправ, но что делать! Таково было мое мнение. И я должен был делать то, что я считал правильным. Может быть, это было ошибочно, доказывает мою недальновидность и прочее. Но я должен был доложить монарху, довести до его сведения.

Председатель. — Это было ваше мнение. Но вы не ставили пред собою вопроса, что в таком случае, когда председатель совета министров идет против мнения всей страны, должна не страна

уйти, ибо без нее не может существовать государство, а должен уйти председатель совета министров?

Штюрмер. — Если бы государь сказал, что «с вами несогласен», то я в тот же день подал бы в отставку.

Председатель. — Значит, вы считали, что имеете право тянуть царя на сторону своей кучки против всей России?

Штюрмер. — Нет, не на сторону своей кучки. А я обязан был ему сказать по долгу совести и присяги то, что я исповедывал, — что угрожает самодержавию, об охране которого я приносил присягу.

Председатель. — Вы продолжаете и теперь думать, что ваша точка зрения охраняла самодержавие, а не погубила самодержавие?

Штюрмер. — Я думал, что это будет такой способ, который может послужить к поддержке. Вообще моя теория была поддержание той системы и того государственного строя, которые были.

Председатель. — Но вы не считали, что ваши действия не шли к цели охранения того строя, а шли как раз в обратном направлении — крушения этого строя?

Штюрмер. — Я недостаточно был знаком с другим течением, с условиями его для того, чтобы проникнуться другими мыслями. Я говорю, меня можно обвинить в недальновидности, но нельзя обвинить в недобросовестности. Я убежден, что это так было. Я человек недальновидный, не понимал, что делается, как далеко ушла жизнь вперед. Все упреки я приму. Но я не мог сделать иначе.

Председатель. — Просто нас интересует вопрос, как один человек может взять на себя смелость утверждать против избранников страны, хотя бы и несовершенным избирательным правом, но на основе совершенного избирательного права выбранных, против всех утверждать, что его точка зрения правильная?

Штюрмер. — Позвольте мне сказать, что, конечно, это очень смело, очень дерзко, недальновидно, но что же делать! Это мое убеждение такое составилось, я должен был его изложить, я не мог не изложить.

Председатель. — Вы что же считали, что председатель совета министров может проводить свои убеждения против всей страны, что такова задача правительства?

Штюрмер. — Нет, я вам докладывал, что он должен доложить об этом монарху, что, по его мнению, угрожает стране, что угрожает существующему строю.

Председатель. — Так что вы считали, что на обязанности председателя совета министров лежит проводить свои идеи, хотя бы не разделяемые страной, потому что не только в Государственной Думе и государственном совете, но и на страницах печати и на страницах изданий либеральных партий вы объединили решительно всю страну в отрицательном отношении к себе.

Штюрмер. — Может быть, неблагоразумное, но это было мое мнение, я уже не мог его не высказывать.

Председатель. — Но входило в круг вашего мнения, чтобы правительство имело против себя всю страну и, тем не менее, оставалось у власти?

Штюрмер. — Входило в круг моего мнения, что я не могу оставаться у власти.

Председатель. — Тем не менее, вы остались. Вы изложили свое мнение до 7-го июня и остались до конца года у власти.

Штюрмер. — Раз у меня было такое мнение, нельзя же меня винить, что я отстаивал свое мнение.

Председатель. — Кроме вашего мнения, нужно еще чувствовать себя вправе проводить ваше мнение о политике вопреки мнению всей страны. Так что вы не только имели известные политические взгляды, но и считали себя вправе проводить эти ваши взгляды?

Штюрмер. — Как же мне надо было сделать, чтобы свое мнение высказать? Раз председатель совета министров не согласен с мнением большинства, тогда он не должен иметь права высказаться? Мое мнение могло быть признано неподходящим по существующим условиям жизни, но мнение свое я мог иметь, и я его излагал.

Председатель. — Вы не только имели свое мнение, но вы его проводили, при том условии, что это мнение противоречило мнению всей страны и это в конституционном государстве.

Штюрмер. — Я обязан был проводить это.

Председатель. — Вы помните, что вопреки того, что вы говорили раньше, в ноябре месяце вы категорически требовали не перерыва в занятиях Думы, а роспуска Государственной Думы на основании ст. 165 основных законов.

Штюрмер. — Я об этом докладывал, что в виду того, что происходит, невольно выдвигается вопрос, что не лучше ли распустить Государственную Думу?

Председатель. — Что же происходило в тот момент? Происходило вот что. Представители народа в Государственной Думе требовали: во-первых, ухода вашего, причем обвиняли вас в измене и в ряде других дел, а во-вторых, требовали, чтобы правительство было ответственно перед народом. Почему вы эти два скромных требования объявили ниспровержением всего существующего порядка? Почему вы себя лично и безответственное министерство связали с судьбой самодержавия и с судьбой существующего строя и считали посягательство на себя и требование ответственного министерства посягательством на существовавший тогда государственный строй?

Штюрмер. — Относительно себя я ничего не требовал. Когда Милюков сказал против меня обвинение, порочащее мое имя рус-

ского гражданина, я сказал, что мое намерение — обратиться к суду для разрешения этого вопроса. Со мной было кончено, суд выяснил бы относительно меня, но там было другое — в той же речи был намек на государыню императрицу. За эти месяцы жизнь ушла так далеко и кажется натуральным то, что было, но если вернуться к тому времени, то разве мыслимо было тогда, чтобы с высоты думской трибуны говорили о супруге царствующего императора? Разумеется, тогда это не могло не волновать, и я не мог не обратить внимания.

Председатель. — В той записке, которую вы представили представителю верховной власти, ни слова не говорится о нападках на бывшую императрицу. Вы мотивировали требование роспуска Государственной Думы совершенно другим, вы мотивировали тем, что Дума позволяет себе резкие выпады против отдельных представителей власти, а также открытые выступления против всего существующего порядка образования правительственной власти и о необходимости коренного изменения всей системы управления страной. Причем было высказано, что члены Государственной Думы, выдвигая это требование, заявляют, что они будут стремиться к достижению этой цели всеми доступными им законными способами. Каким же образом председатель совета министров, имея перед собой требование большинства Думы известных реформ и заявление большинства Думы, что этих реформ они будут добиваться законными способами, объявляет это посягательством на существующий государственный строй?

Штюрмер. — Члены Государственной Думы не могли иначе, как законными способами добиваться; для меня сомнения в этом не было, но я думал о впечатлении, которое производят эти речи на народ, и народ мог совсем не законными способами итти по тому же пути, по которому Дума шла законными.

Председатель. — Как же вы на чем-то неуловимом строили требование роспуска Думы?

Штюрмер. — Я не помню наизусть, но там было место, из которого видно, как я благожелательно относился.

Председатель. — Позвольте мне тогда все огласить и тогда вы увидите, в чем центр тяжести. Оглашается ваша записка бывшему императору от 31 октября 1916 года, т.-е. значит, вы накануне открытия сессии, во время которой, правда, члены Государственной Думы должны выступить против вас, требуете уже роспуска Думы, предоставления вам права распускать Государственную Думу. «Сессии Государственной Думы, имеющей возобновиться первого ноября, суждено, повидимому, быть свидетельницей»... (читает). Кстати сказать, откуда вы получили эти сведения? Кто из членов Думы докладывал вам об этом?

Штюрмер. — Не могу сказать.

Председатель. — Я вам напомню — может быть, Крупенский?

Штюрмер. — У меня с Крупенским было мало сношений.

Председатель. — Может быть, у Протопопова были сношения?

Штюрмер. — Я с ним редко виделся.

Председатель. — Может быть, другие чаще видались. «Большинство Гос. Думы настаивает на удалении лиц»... (продолжает читать).

Штюрмер. — Это я припоминаю.

Председатель. — Вот вопрос, который я вам ставлю.. Дума законными способами борется за некоторую государственную реформу и за уход некоторых лиц правительства и вы этот вопрос, связанный только с вашим существованием, как председателя совета министров, связываете с существованием государственного строя и говорите, что все это грозит потрясением государственной жизни. Как вы могли связать это?

Штюрмер. — Таково было мое убеждение, что это угрожает существующему строю, ограждение которого было моей обязанностью.

Председатель. — На чем это было основано?

Штюрмер. — На том, что вы читали вначале.

Председатель. — Я читал, что председатель совета министров Штюрмер мог уйти, Протопопов и все министры могли последовать за ним, могло быть назначено ответственное министерство и все-таки государственный строй России мог существовать. Почему без Штюрмера и Протопопова и с ответственным министерством не может существовать Россия?

Штюрмер. — Тогда бы изменился строй. Речь идет о существовании строя, а я был призван охранять его.

Председатель. — Не чувствуете ли вы, что это реформа в области государственной может быть, и важная, но все-таки реформа с сохранением существующего строя?

Штюрмер. — Нет, как с сохранением?

Председатель. — Вы считаете, что с министрами гибнет весь строй?

Штюрмер. — Когда были известные речи, они никогда не встречали одобрения.

Председатель. — С чьей стороны?

Штюрмер. — Со стороны монарха. Это мне было известно.

Председатель. — Вам известно, как председателю совета министров, что в основных законах ни слова не говорится о том, что министры должны быть безответственны и потому введение порядка, при котором министры ответственны перед законодательными учреждениями, нисколько не колеблет основных законов? А вы считали, что вместе с вами погибнет Россия?

Штюрмер. — Я считал, что новый государственный строй, который введен Николаем II, заключается во взаимодействии Государственной Думы и государственного совета, в единении

с которыми монарх осуществляет законодательную власть. А то, что предполагалось, по крайней мере по слухам, по разговорам и в печати, это было уже совершенно другое. Я находил, что это рано, преждевременно и что во время войны нельзя это делать. Можно менять министров, на это я шел смело, ни одной минуты не скрывал своих мнений, высказывал их и, вероятно, был бы сменен.

Председатель. — Если бы не было у вас поддержки?

Штюрмер. — Поддержки у меня никакой не было ни с чьей стороны.

Председатель. — Вы изволите сейчас говорить обывательским языком. Вам, как обывателю, кажется, что это было бы другое, если бы было ответственное министерство, — мне бы хотелось говорить языком юридическим и государственным. Русское государство существует на основании законов, главных законов, которые называются основными. Не только смена лиц, но и переход к ответственному министерству не колеблют основных законов. Что же вам давало повод говорить, что такая реформа, очень благодетельная для страны, но с точки зрения законов основных — малая, что она колеблет существующий строй? Не будем говорить языком обывательским, а языком государственным.

Штюрмер. — Это отступление от того строя, который был введен перед тем за 10 лет.

Председатель. — Вы согласны, что та реформа, которую требовала от вас страна, не колеблет основных законов?

Штюрмер. — Нет, порядок вводился иной, потому что ответственное министерство это совершенно иное, чем то, что было введено по желанию монарха.

Председатель. — Это обывательский язык. Это верно, что это совершенно иное, но на основании тех же законов.

Штюрмер. — Мне была дана известная программа, которой я держался и которую должен был проводить. Я считал, что отступления, которые предполагают сделать, эту программу нарушают. Я считал, что это можно сделать не в военное время, что в военное время нельзя с этим покончить и что после войны надо подвести итог тому, что сделали отдельные учреждения.

Председатель. — Но не называйте же потрясением основ эти реформы. Вы можете итти против этого, но не считайте, что государство рушится, раз будет ответственное министерство.

Штюрмер. — Я докладывал монарху, который давал указания.

Председатель. — Теперь позвольте вас спросить, считали ли вы соответственным своему достоинству и достоинству Государственной Думы воздействовать на членов Думы и предлагать бывшему государю, как меру воздействия, отправку их на фронт и лишение их жалованья?

Штюрмер. — Позвольте по этому поводу сказать. Я сказал, что разговаривал с членами Государственной Думы, я ни с кем не разговаривал, кроме как с двумя — со своими товарищами министрами — с Протопоповым, членом Государственной Думы, и с гр. Бобринским. Я забыл, что гр. Бобринский не член Думы. Протопопов остался членом, а гр. Бобринский нет. Это я упустил из вида и назвал их членами Думы.

Председатель. — То, что вы изволите говорить, это мелочи по сравнению с основным вопросом, который я вам ставлю. Вы как чувствуете — что это соответствовало достоинству государственной власти, когда одна власть предлагает носителю верховной власти воздействовать на законодательные учреждения тем путем, чтобы поставить законодательные учреждения в такое положение, что военно-обязанные отправляются на войну и все не получают содержания?

Штюрмер. — Я не помню редакцию того, что вы прочли, не хочу вас беспокоить второй раз. Я не помню, чтобы я, прижимая к стене, им угрожал.

Председатель. — Я позволю себе еще раз огласить. «Удерживающим в сем случае стимулом может служить нижеследующее соображение. Я обращаю внимание членов Думы на то, что ближайшим последствием роспуска Думы явится немедленное отправление на службу на фронт всех членов законодательных учреждений, подлежащих по возрасту»... (Читает.) Как вы могли оставаться на месте председателя совета министров, когда вы полагали, что посылка на фронт членов Государственной Думы и лишение их диэты может повлиять на их мнения?

Штюрмер. — Я привел житейские соображения, которые, конечно, приводить не следовало. Я хватался за все соображения, которые могли быть приведены для того, чтобы это было избегнуто.

Председатель. — Разве вам не казалось, что председатель совета министров должен и может вести свою государственную деятельность, не прибегая к такого рода воздействиям на членов законодательных установлений?

Штюрмер. — Я никому из них не объявлял. Я между своими товарищами обменивался мнениями по этим вопросам с разных сторон и с так называемой житейской стороны. Я сказал только одному монарху.

Председатель. — Не монарху, а с этими двумя членами Государственной Думы вы говорили не с тем, чтобы это осталось тайною, а в расчете, что это облетит всю Государственную Думу.

Штюрмер. — Я не могу припомнить редакцию, но ведь есть еще соображения практические. Я могу сказать, что я никогда не говорил ничего подобного.

Председатель. — Вы считаете, что председатель совета министров в докладе носителю верховной власти может рекомендовать такие меры воздействия на законодательные палаты?

Штюрмер. — Позвольте возразить против слова «воздействие». Как будто выходит угроза, — если вы не сделаете то-то и то-то... Я ни о какой угрозе не говорил, к стене не прижимал.

Председатель. — Вы изволили забыть содержание записки. Оно сводится к тому, что в виду того, что у вас есть такой способ воздействия на членов Думы, как посылка их на фронт и лишение содержания (это воздействие будет только в том случае, если Думу распустить, а не только отсрочить), вы по таким обывательским и притом дурно обывательским соображениям, вы поддерживаете роспуск Думы, а не отсрочку ее занятий.

Штюрмер. — Кроме обывательских были другие соображения, которые, может быть, и не выдерживают критики. Насколько я помню, вы изволили прочесть о том, что я благожелательно относился.

Председатель. — Да, это я прочел, но желательна была бы не на словах благожелательность к представительным учреждениям, а дела, из которых это было бы видно.

Штюрмер. — Я не помню это место, как вы изволили прочесть?

Председатель. — Еще Дума не успела родиться, а вы уже заботитесь о ее погребении.

Штюрмер. — Нет, другое место, в конце страницы.

Председатель. — «Вашему императорскому величеству ведомо, что с самого начала»... (Читает.)

Штюрмер. — Это точка зрения, на которой я стоял. Я только в таких исключительных условиях позволил себе это сказать.

Председатель. — «Необходимость предвидеть неизбежность приведенных ниже мер». А вам не казалось, что вы один с кучкой не сладите с войной и что вы можете сладить с войной только при содействии всего народа?

Штюрмер. — Конечно, были всякие затруднения. Я поэтому и высказался так осторожно. Насколько я помню, государь сказал, что к этому прибегнуть только в самом крайнем случае, которого и не было, слава богу.

Председатель. — Позвольте перейти к следующему вопросу. Из текста видно, что вам поручены указы о перерыве занятий законодательных учреждений и что, не удовлетворяясь теми указами о перерыве занятий, которые вам поручены, вы просите себе еще проект указа о роспуске Думы. Действительно, вам были поручены указы о перерыве занятий законодательных учреждений?

Штюрмер. — Они были переданы в министерство юстиции, были направлены туда.

Председатель. — Я говорю не о тех указах, в которых вы поставили число и которые вы послали в министерство юстиции. Я говорю о тех бланковых подписях бывшего императора, которыми, отдавая их в ваше распоряжение, он с себя снимал избрание момента роспуска Думы и передавал избрание этого момента вам. Причем передача эта происходила еще до того, как Дума начала работать. Так вот такого рода бланки вам были вручены.

Штюрмер. — Извините меня. В письме, в котором я обращался, я писал о том, как мне трудно вспомнить ту массу событий, которые были. Я думаю, что да, и во всяком случае они у меня не остались. Они были направлены в министерство юстиции.

Председатель. — Указы.

Штюрмер. — Очевидно, мной были направлены.

Иванов. — После исполнения.

Председатель. — После того, как вы проставили числа.

Штюрмер. — Этого обстоятельства я не помню. Может быть, я вспомню через некоторое время.

Председатель. — Скажите, пожалуйста, какой был у вас порядок роспуска Думы при вас?

Штюрмер. — Вообще роспуска Думы, т.-е. в июне месяце летом, когда был перерыв занятий?

Председатель. — Да, скажем, в июне месяце.

Штюрмер. — Этот указ направлялся к министру юстиции для опубликования.

Председатель. — Как все высочайшие указы. Но интересно знать, как они составлялись эти указы и кто распускал Думу и совет или прерывал занятия этих учреждений? Расскажите, как попадали в ваши руки эти бланки.

Штюрмер. — Бланки передавались. Если я был с докладом у государя, государь передавал их, а я их направлял к министру юстиции для направления в сенат.

Председатель. — Это тогда, когда вы распускали Думу. Я об этом не говорю. Я говорю о том, как вы получали бланки царя, давшие вам царскую власть, давшие вам власть, принадлежащую только главе верховной власти, а не главе правительства, — власть роспуска Думы.

Штюрмер. — Когда государь утверждал своей подписью.

Председатель. — Что он утверждал? Он утверждал бланк, пустое место.

Штюрмер. — Нет, не пустое место.

Иванов. — Как? и число там было?

Штюрмер. — То число, когда Дума распускалась, он после давал.

Председатель. — Это царь делал это?

Штюрмер. — Как же иначе могло быть?

Председатель. — Я вам напомню, если вы забыли, хотя мне представляется, что этого забыть нельзя. Бланки с царской подписью о роспуске и перерыве занятий Думы, по установившемуся с некоторых пор обычаю, испрашивались заранее до роспуска Государственной Думы и именно испрашивались председателем совета министров, а не давались верховной властью. Вы не станете отрицать, это ваша подпись (подает документ). Вы посмотрите вашу подпись, а я прочту. Это ваша подпись, а это подпись бывшего императора (показывает).

Штюрмер. — Да, да.

Председатель. — Так вот видите, как же вы забыли? Забыть этого невозможно. Вот. «1 июня 1916 года», вы долгом поставляете, «всеподданнейше представить к высочайшему вашего императорского величества подписанию проекты двух указов правительствующего сената о перерыве занятий государственного совета и Государственной Думы, испрашивая полномочий вашего величества проставить как сроки таковых перерывов, так и сроки предстоящих возобновлений занятий совета и Думы впоследствии в зависимости от обстоятельств, а равно датировать самые указы одним из дней накануне их обнародования. Председатель совета министров Штюрмер». Причем позвольте вам напомнить, что 1 июня Дума еще не существовала. Нет, в это время она уже существовала, но уже, значит, это было за три недели до ее роспуска.

Штюрмер. — Я помню, Родзянко приехал ко мне и спросил: «Когда же мы будем распущены?». — «Тогда, когда вы скажете, что время перерыв сделать». Тогда мы с ним условились, что такое-то число, 20, кажется, или 21.

Иванов. — Все-таки бланки вы получали вперед без даты?

Штюрмер. — Вот я получил вперед.

Иванов. — Без даты.

Штюрмер. — Да, конечно, это могло быть.

Председатель. — Ну что же, вы помните этот порядок? Я вам, как образец, представляю, вот в июне вы при существовании Думы уже заботитесь об ее роспуске.

Штюрмер. — Не то что заботился. Вы хотите сказать этим, что я заботился скорее с ней разделаться. Напротив, я позволю себе сказать, я от очень многих слышал: почему Дума не распускается? Почему сидит? Я нисколько не торопился. Не то что от меня зависело сегодня хлопнуть и прикрыть.

Председатель. — Т.-е. Дума сама хотела распуститься?

Штюрмер. — Дума нашла, что пора ей сделать перерыв занятий. Тогда, когда мне было заявлено, я сделал, дал ход тем бумагам, которые были.

Председатель. — Так что вы объясняете это тем, что Дума сессии май — июнь сама хотела себя распустить? Чем же

объясняете вы следующее: 1 ноября Дума никакого желания не имела распуститься, а 1 ноября 1916 года вы испрашиваете проект указа об отсрочке заседаний Думы? Вот тут проект указан.

Штюрмер. — О роспуске второе, то, что вы читали, тут о перерыве, потому что было и то и другое. Перерыв, во всяком случае, перед праздниками должен был иметь место. Значит, и перерыв и роспуск, и то и другое.

Председатель. — Так вы заботились о перерыве и роспуске Думы до того, как Дума начинает функционировать?

Штюрмер. — О роспуске поздней, но о перерыве. Да, сообразно с тем, что в июне было.

Председатель. — Вы говорите о роспуске поздней, а я скажу, что о роспуске Думы вы просили 31 октября, т.-е. накануне начала сессии Думы, и в этой записке о роспуске вы уже говорите о том, что вам вручены указы о перерыве занятий. Понимаете? Так что председатель совета министров еще до открытия ноябрьской Думы, скажем к примеру, уже имеет бланк царя, как на перерыв занятий Думы, так и на роспуск Думы.

Штюрмер. — На перерыв это есть нечто обычное.

Председатель. — Я говорю: как на перерыв занятий, так и на роспуск.

Штюрмер. — О роспуске позвольте потом перейти. А перерыв тогда был нормальный. 1 июня был, когда должен был быть 21 июня. Я не помню, какое число было. Во всяком случае . . .

Председатель. — Вы не хотите меня понять. Я не сомневаюсь в том, что Дума, начавшая работу, должна окончить свою сессию Это азбучно и не об этом я говорю, а я позволяю себе обратить ваше внимание на то, что вы, председатель совета министров, еще до начала занятий Думы испрашиваете себе бланковые подписи царя на роспуск Думы и перерыв занятий Государственной Думы. Нужно сказать — на перерыв занятий, даже на роспуск. Так что вы берете на себя полномочия выбрать момент и поставить передним числом — вы понимаете ли? — Датировать этот указ и, таким образом, вы получаете частичку прерогатив верховной власти. Страна думает, что это царь распустил Думу, которая борется с председателем совета министров Штюрмером, а на деле оказывается, что это Штюрмер распустил ту Думу, которая ведет с ним борьбу.

Штюрмер. — Нет. События, которые предшествовали открытию Думы, съезд московский и председателей губернских земских управ, они до такой степени определили уже профиль ближайшего будущего, что, разумеется, всякие опасения должны были быть приняты во внимание. В виду этого было подготовлено и то и другое. Слава богу, и то и другое не было принято.

Председатель. — Вы извольте отвечать на тот вопрос, который я вам поставил. Я поставил вам вопрос: считали ли вы себя в праве избрать момент роспуска Думы и на этот случай испрашивать бланковые указы царя?

Штюрмер. — Я считал возможным поставить дело на эту почву, потому что обстоятельства шли таким быстрым темпом, таким нежелательным, с моей точки зрения, опасным для существующего порядка, что я не знал, в какую минуту являлась необходимость применить это, потому я вперед приготовил. В вопросе о роспуске Думы я высказал свое. . .

Председатель. — Ваше . . . на словах, а на деле было другое. Какие же преграды стояли между вами и царем, что вы, председатель совета министров, не могли оставить у царя эту власть прерывать занятия Государственной Думы? Какие преграды стояли? Что вам мешало в каждую данную минуту? Может быть, вы находите возможным распустить Думу, а царь не находит нужным?

Штюрмер. — Для этого нужно было бы сноситься путем телеграмм, так как царь не жил в Царском Селе или в Петрограде. Надо было ехать в ставку и докладывать. Нужно было сноситься путем телеграфным.

Председатель. — Да, да. Это потребовало бы 5 минут времени по прямому проводу. Как известно, был прямой провод между Петроградом и ставкой.

Штюрмер.—Нет, у меня были примеры такие, что, несмотря на телеграф, нужно было ехать и докладывать. Это не обеспечивало.

Председатель. — Что же Дума, законодательные учреждения такой враг внутренний, для устранения которого нужно было требовать моментальных распоряжений?

Штюрмер. — Впечатление производилось очень серьезное.

Председатель. — Я вас не понимаю. Я спрашиваю, как могли вы, председатель совета министров, позволить себе эти самые бланки брать?

Штюрмер. — Вот я не знаю, что вы хотите этим сказать, — как я мог позволить себе брать. Почему не брать?

Председатель. — Потому, что это право принадлежит царю, а не вам. Председатель совета министров должен поступать по закону, а не против закона.

Штюрмер. — Это не есть беззаконие, когда акт вручается государю вперед и когда он дает полномочие.

Председатель. — Вы думаете, есть такой закон в составе основных законов российского государства, прошлой российской империи, который позволяет российскому императору отчуждать частичку своих прав председателю совета министров?

Штюрмер. — Я говорю о той главе, которая касается прав председателя совета министров. Это руководительство и направление всех дел законодательных и государственных.

Председатель. — Совершенно верно. Царю принадлежало право роспуска законодательных учреждений, а царь предоставляет это право вам. Он безответствен по действовавшему закону, а вы ответственны.

Штюрмер. — Я ответствен перед ним.

Председатель. — Да, и перед законом, я надеюсь. Вы помните, что на том докладе, который я позволил себе вам огласить, государь, бывший император написал: «Надеюсь, что только крайность заставит прибегнуть к роспуску Государственной Думы».

Штюрмер. — Да, это я помню. На это я указал Трепову, когда он приехал ко мне на одну минуту.

Председатель. — Вот, что теперь вы пишете царю: 3 ноября вы извещаете его, что указы о роспуске Государственной Думы — о прекращении занятий получены вами 2 ноября. Таким образом вы можете все сделать. Можете прервать занятия Думы, можете распустить. Вам дана власть монарха в этой части.

Штюрмер. — Отдельные министры говорили. Я полагал также, что правильнее было бы, чтобы обвиняли данных министров по данному делу.

Председатель. — Так думали вы, что правильно, а Дума думала иначе. За что же ее распускать? За то, что она не согласна в способе критики. Это вас надо было распустить, — правительство, а не ее.

Штюрмер. — Очевидно, правительство шло на этот роспуск. Только обращаю внимание, что никаких угроз, никаких мер с моей стороны принято не было. Я совершенно откровенно излагал все то, что делалось. Я ошибался в своем мнении, в том, что думал, но я шел откровенно.

Председатель. — Вы говорите, что отдельные указания были неправильны, т.-е. вы не имели возможности ответить, не ставили вам отдельных указаний, отдельных возражений. Вот вам ставили, вас обвиняли в освобождении от заключения ген. Сухомлинова. Вот вам конкретное обвинение.

Штюрмер. — Этого никогда не было. Я никакого отношения к генералу Сухомлинову не имел.

Председатель.—Ни к его заключению ни к его освобождению?

Штюрмер. — Отношения личного никакого. Была переписка. В то время, когда я был назначен министром, Сухомлинов мне прислал записку. Она тут в делах осталась. Но отношения к его освобождению я не имел. Я помню только одно, что я говорил с министром юстиции, который мне объяснил, почему он должен быть арестован. Он, кажется, сначала был арестован, потом освобожден, потом опять арестован.

Председатель. — Не сосредоточились ли около вас усилия друзей Сухомлинова к смягчению его участи, к ликвидации его дела?

Штюрмер. — Друзей Сухомлинова? Я Сухомлинова почти не знаю.

Председатель. — Т.-е. его жены.

Штюрмер. — Жену я не видел ни разу, может быть, письмо было. Ведь председатель совета министров получает массу писем, но чтобы был какой-нибудь факт или данный документ, чтобы я ответил, что принимаю участие в этом, такого совершенно не было. Я совсем дела Сухомлинова не знаю.

Председатель. — Вот письмо Мосолова на ваше имя: «Согласно выраженному вашим высокопревосходительством желанию поспешаю представить вам»... (Читает.)

Штюрмер. — Совершенно верно, с Фредериксом я помню, в его кабинете был разговор, что ему ужасно жалко Сухомлинова, но он ничего не может сделать.

Председатель. — Да, но вы какое участие в этом принимали?

Штюрмер. — Да никакого. Просто обращался ко мне, как к председателю совета министров, думая, что я могу сделать что-нибудь.

Председатель. — Почему вы выражали желание, чтобы Мосолов представил доклад, сделанный Фредериксу?

Штюрмер. — Очевидно, чтобы передать министру юстиции. Меня это лично не могло интересовать.

Председатель. — Стало быть, вы принимали некоторое участие в хлопотах относительно Сухомлинова?

Штюрмер. — Не в хлопотах. Если бы я мог что-нибудь сделать, я бы не просил запиской, а просто сделал бы, что можно.

Председатель. — Председатель совета министров не есть передаточная инстанция для заявления просьб, которые не касались совета министров.

Штюрмер. — Совета министров это не касалось.

Председатель. — Нет, председателя совета министров.

Штюрмер. — Председателя совета министров, если Фредерикс меня просил об этом. Это было у меня в кабинете. Он объяснял, что он ничего не может сделать. Я сказал, что я еще менее могу сделать, что я только могу министру юстиции передать. Я ручаюсь, что у меня никаких данных к тому, что я принимал лично участие, нет. Сухомлинова я мало знал, жену его совсем нет, а дело до меня не доходило.

Председатель. — Зачем же вы, председатель совета министров, берете на себя передачу записки министру юстиции, в одном из пунктов которой говорится о том, что являтся вопрос, — допустимо ли признать гласно измену военного министра российской империи? А поэтому Сухомлинов, в его интересах, ради смягчения его судьбы должен был быть предан военно-полевому суду.

Штюрмер. — Я совершенно не разбираюсь в этом, не понимаю разницы между оттенком той или другой судимости военных

людей и, стало быть, никакого отношения не мог иметь. Я мог дать ответ, что это меня не касается. Если министр двора просил меня передать, это не значит, что я, передавая, принимаю участие.

Председатель. — А сами вы относительно Сухомлинова не писали никому писем?

Штюрмер. — У меня так память ослабела, что я не могу сказать.

Председатель. — Я могу напомнить (читает письмо гр. Фредериксу на французском языке). Вы дебатировали какой-то план, какой-то проект, вы обсуждали.

Штюрмер. — Проект его был, а не мой проект.

Председатель. — Неважно, чей был проект, но важно, что вы с гр. Фредериксом обсуждали проект, касающийся судьбы Сухомлинова.

Штюрмер. — Как же я могу сделать иначе, когда больной человек меня просит приехать к нему и говорить об этом? Я помню, что он говорил, что ничего не может сделать. Отказать ему нельзя было. Мы разговаривали. При чем, я помню, он говорил, что, как ему ни жаль, он ничего не может сделать.

Председатель. — Вы обсуждали проект, каким путем лучше было бы направить дело Сухомлинова, военного министра, обвинявшегося в измене? Это все, что требовалось доказать.

Штюрмер. — К отрицательному результату привели.

Председатель. — Это другое дело. Слава богу, лицо, обвиняемое в измене, вам не удалось вызволить, так сказать, но важно то, что вы имели к этому отношение.

Штюрмер. — Как я могу поступить! Министр двора просит меня приехать поговорить об этом и рассказывает мне подробности этого дела. Я говорил, что меня не касается это. Мы остановились на плане передать министру юстиции. Больше я ничего не могу сказать. Я иначе не мог поступить. Я только принял меры для того, чтобы доказать графу Фредериксу, что этого нельзя сделать.

Председатель. — Так что вы говорите, что вы относились отрицательно к просьбам за Сухомлинова?

Штюрмер. — Конечно, какое мне дело!

Председатель. — Так что вы не были сторонником смягчения участи Сухомлинова?

Штюрмер. — Может быть, я был бы сторонником, если бы я знал, в чем он виновен.

Председатель. — Вы не могли этого не знать.

Штюрмер. — Что он обвиняется в измене, я знал, но что выяснилось — я не знал. Если бы была речь о каком-нибудь смягчении, то это могло коснуться только того, что тяжело сидеть в крепости, что он болен, и о каком-нибудь облегчении. Это мне граф Фредерикс мог говорить. Вообще, насколько я помню, разго-

вор был о том, что он просит, чтобы его отдали под домашний арест.

Председатель. — Может быть, вам и не следовало бы отрицать того, что вы участвовали в обсуждении о том, какое направление придать делу Сухомлинова.

Штюрмер. — Это меня не касалось. Министр двора обратился к председателю совета министров, жалея своего товарища, и я мог сказать, что это от меня не зависит (теперь я подробностей не помню), но что я узнаю, возможно это сделать или нет и, вероятно, я спрашивал министра юстиции, который, несомненно, ответил, что этого сделать нельзя. Наконец, я ни одной бумаги не уничтожил, я оставил все бумаги и ни по одной из них я не могу считать себя виноватым ни в чем. В один из первых дней моего назначения Сухомлинов мне что-то писал, на что я не отвечал.

Председатель. — У вас найден листок, который подтверждает ваше утверждение, что вы переслали это министру юстиции. Позвольте мне вам огласить. «Письмо министра двора от 24 мая 1916 года и поданное на имя графа Фредерикса письмо г-жи Сухомлиновой препровождены мною 24 мая министру юстиции и вручены ему лично чиновником особых поручений Граве». Повидимому, это ваша отметка на памятном листке министра внутренних дел 26 мая (показывает).

Штюрмер. — Я совершенно не помню подробностей, но общая атмосфера не могла быть иной. Вот все мое участие в этом деле.

Председатель. — Почему вы, как председатель совета министров, допускали вмешательство в дела государственные бывшей государыни?

Штюрмер. — В чем это выразилось?

Председатель. — Это выразилось, например, в связи с польским вопросом. Вы помните, что вы были вызваны бывшей императрицей к ней, и, в связи с этой аудиенцией, вы послали телеграмму бывшему императору.

Штюрмер. — Наверно, даже не помню. Извините меня, может быть, я в подробностях буду ошибаться, так как четыре месяца тюремного заключения на мне отразились. Я теперь в таком ужасном положении. Вы не вмените мне в вину, если я скажу не то, а другое, так как я никаких подробностей теперь не помню. Я думаю, что это было так. Я не был вызван, но я вспоминаю, что, приехав по одному вопросу в Царское Село, я видел графа Велепольского, кажется, выходящего от императрицы. Я опять повторяю, что я не помню, и если вы мне скажете, что он со мною здоровался, я опять не могу вспомнить. По этому поводу ее величество говорила со мною о гр. Велепольском, и я понял, что он был у нее и просил по делам Польши. Она несколько слов сказала относительно просьбы поляков, при чем сказала, чтобы я немедленно

послал телеграмму государю о том, что она просит подождать или задержать.

Председатель. — Я вам напомню. (Оглашается телеграмма 22 июля 1916 года.) «Его императорскому величеству государю в царскую ставку: По повелению ее императорского величества . . . .». Что же тут случилось? О чем просил гр. Велепольский и какую линию вели вы в отношении польского вопроса?

Штюрмер. — Что я говорил императрице, я не помню, но я не мог сказать иначе. Записка Велепольского была у меня. Поляки просили о том, чтобы возможно скорее сделать это для них, т.-е. дать независимость и самостоятельные учреждения, о которых все время была речь. Я думаю, что с этой же просьбой Велепольский обратился к ее величеству. Я помню, что государыня спросила меня, когда я еду в ставку, и я сказал, что на этих днях не предвижу поездки. Я точно разговора не помню, и, может быть, если бы ее величество была здесь, она сказала бы, что это не так, но я думаю, что это не могло быть иначе, но, очевидно, поляки просили государыню, — это для меня несомненно. Вы желаете знать, какое было мое мнение. Я вполне сочувствовал тому, что поляки все должны получить, и если бы Велепольский вспомнил об этом, то он бы сказал, что я никогда не опровергал. Но, вероятно, я ему не говорил, а может быть, и говорил свой взгляд, чтобы русский народ прежде знал, что он получит после войны, а потом уже поляки, и что теперь я считаю несвоевременным давать полякам, пока о русском народе не выяснено. Что же, мы ведем войну два года, полякам обещают и дают, а нам что?

Председатель. — Почему из вашего взгляда вы выводили необходимость не ускорения обязательств перед русским народом, а замедление обязательств перед польским народом?

Штюрмер. — Вы не дали мне кончить. Вся моя политика, как министра иностранных дел, шла к тому, чтобы уговорить послов Англии и Франции, чтобы они как можно скорее дали нам разрешение опубликовать о том, что они согласны дать России проливы. Сначала были затруднения со стороны Англии. Я не думаю, чтобы это была государственная тайна, которую я теперь открываю членам правительства. Надо было, чтобы в совете министров в Лондоне принимали участие и члены военной комиссии, чтобы окончательно сказать, можно ли это дать или надо подождать. А потом были затруднения с Францией. С Англией еще можно было согласиться, но Франция считала, что рано еще опубликовывать. Так что французы и англичане задерживали, а поляки, вероятно, знали, что задерживается, и знали, почему. В моей речи, которую я не мог произнести 1 ноября, как министр иностранных дел, было помещено, что Франция и Англия обещали проливы. Это разыгралось в октябре, а это было в июне.

Председатель. — Значит, то, что вы хотели дать русскому народу, это — проливы за войну, и из-за того, что вы не могли по некоторым условиям опубликовать об этом подарке русскому народу — из-за этого вы не опубликовали акта о Польше?

Штюрмер. — Этот акт, согласно обещаниям Англии и Франции, ожидался ежедневно. Вы не знаете, как все медленно идет, и поэтому я имел полное основание докладывать, что нужно удержать, что надо опубликовать одновременно, но нельзя польское объявление пускать раньше. Вот какое было мое мнение, которое я докладывал государю.

Председатель. — Что же вы в этом отношении расходились с мнением Англии и Франции, т.-е. с союзниками и с мнением ставки? Ставка и союзники требовали опубликования этого акта?

Штюрмер. — Я не могу сказать, что я расходился.

Председатель. — Вопрос, который я вам ставлю, формальный— значит, граф Велепольский просил вас и государыню?

Штюрмер. — Думаю, что так.

Председатель. — По этому поводу государыня приглашала вас к себе?

Штюрмер. — Я не знаю, по этому поводу или по другому, но обыкновенно по политическим делам она меня не приглашала. Тут шел вопрос о том, как на осень можно устроить наших пленных, больных грудью, за границей, есть ли там какие-нибудь места.

Председатель. — Это другой разговор относительно больных грудью, а дело в том, что бывшая императрица задержала разрешение польского вопроса.

Штюрмер. — Вы мне поставили вопрос, для чего меня пригласили, — поэтому я так вам и ответил.

Председатель. — Как же вы допускали вмешательство государыни в решение польского вопроса?

Штюрмер. — Как же я мог помешать? Она хотела говорить с государем. Как я мог помешать в этом?

Председатель. — Польский вопрос — вопрос государственной важности, и решение его должно зависеть от ряда условий, а не от просьб императрицы через вас — председателя совета министров, о задержании этого вопроса.

Штюрмер. — Никогда меня ни о каких подробностях не спрашивали.

Председатель. — Я говорю не о подробностях, а о существе. Как вы, председатель совета министров, не протестовали против вмешательства государыни в решение государственной важности вопросов?

Штюрмер. — Ведь не я же обратился к ней.

Председатель. — Но нельзя же допустить, что если вам прикажут лица безответственные, вам — лицу ответственному, то вы должны были это исполнять.

Штюрмер. — Что же, — я был телеграфистом, который посылал телеграмму по ее просьбе.

Председатель. — А вам не казалось, что вы для роли телеграфиста не годились бы в роли председателя совета министров?

Штюрмер. — Ведь не я приехал к императрице по польскому вопросу. Я выслушал от нее, что был поляк какой-то и говорил то-то. Что же я мог сделать? Сказать: я не могу вас слушать?

Председатель. — Разве вы не могли сказать: государыня, это не относится к вашей компетенции?

Штюрмер. — Нет, я этого не мог сказать.

Председатель. — Вы должны были сказать, что это вопрос государственный, разрешение которого последует, когда нужно.

Штюрмер. — Я сказал, что это зависит еще и от союзников. И тогда разговор очень скоро кончился.

Председатель. — Значит, вы сочли возможным принять на себя обязанности телеграфиста?

Штюрмер. — Почему государыня сама этого не сделала, я не могу сказать.

Председатель. — Скажите, по каким вопросам вы представлялись государыне в течение целого ряда дней: 22 апреля, 12, 19 июня, 17—22 июля и т. д. — целый ряд отмечено ваших аудиенций.

Штюрмер. — Я был председателем верховного совета, но подробностей не помню.

Председатель. — Вы получили от бывшей императрицы письмо с просьбой не высылать Симановича?

Штюрмер. — Да.

Председатель. — Что же, его высылка была законна?

Штюрмер. — Я доложил, что его высылка законна.

Председатель. — Тогда не следовало его возвращать?

Штюрмер. — Он был выслан не по суду, а по особому совещанию, которое существует при департаменте полиции. Но я должен был доложить государыне императрице и сказал, что он выслан не по распоряжению полиции, а особым совещанием.

Председатель. — За что был выслан Симанович?

Штюрмер. — За какое-то мелкое мошенничество.

Председатель. — Правильно был выслан или неправильно?

Штюрмер. — Я думаю, что правильно.

Председатель. — Значит, неправильным является ваше действие о возвращении Симановича, правильно высланного. Зачем вы позволили себе это?

Штюрмер. — Я не мог поступить иначе, потому что он обратился ко мне с просьбой. Тут я был невластен, надо было его вернуть.

Председатель. — Симанович — это личный секретарь Распутина?

Штюрмер. — Я не знаю.

Председатель. — Во всяком случае, лицо, близкое к Распутину.

Штюрмер. — Должно быть. Я его видел один раз, когда он являлся по делу Ржевского. Он пришел удостоверить, что Ржевский был подкуплен, чтобы убить Распутина.

Председатель. — Разве нельзя было поставить вопрос так, что вы обязаны были не отменять решения, раз эта высылка правильная?

Штюрмер. — Неужели вы думаете, что я лишен всякого понимания того, что есть долг гражданина перед своим государем?

Председатель. — Я бы хотел, чтобы вы разъяснили, что вы действовали соответственно с законом, но вы сами изволили сказать, что, повидимому, высылка была законная и, значит, незаконно было ее отменять.

Штюрмер. — Я решительно не помню, в каком порядке это было отменено.

Председатель. — Вы просто отменили. Вы послали телеграмму о разрешении Симановичу приехать в Петроград на десять дней и сообщили петроградскому градоначальнику, что семейству Симановича разрешено оставаться в Петрограде, так что распоряжение особого совещания осталось совершенно в стороне. Ведь вы стоите на той точке зрения, что вы должны исполнять только законные требования со стороны высочайших особ, а что незаконные требования вы обязаны не исполнять.

Штюрмер. — Конечно.

Председатель. — Вы получили письмо бывшего императора с требованием запретить «Новому Времени» и другим печатным органам печатать резкие статьи против личности греческого короля Константина. Вы это помните?

Штюрмер. — Помню.

Председатель. — Вы помните, что это совпало с тем моментом, когда, по соглашению союзников, в виду германофильских симпатий короля Константина, союзниками были предприняты некоторые меры для воспрепятствования допущения движения германо-болгар на Лариссу и Афины. Вот в связи с этими германофильскими симпатиями короля греческого Константина русские газеты, в то время стоявшие на точке зрения интересов союзников, требовали мер против короля Константина. На каком законе было основано ваше распоряжение прекратить печатание резких статей против этого германофильствовавшего греческого короля?

Штюрмер. — По повелению государя, который сказал, что он имеет данные, свидетельствующие о том, что это совершенно неверно.

Председатель. — Вы не справлялись с законом? Вы считали себя в праве исполнять всякое распоряжение?

Штюрмер. — Я признаю себя виноватым в этом, но я был бы сугубо виноват, если бы не доложил об этом.

Председатель. — Одним словом, вы эту меру приняли.

Штюрмер. — Принял и отвечаю за нее.

Председатель. — В связи с вашим мероприятием о печати мы должны поставить вам следующий вопрос. Вы помните совещание, которое было у вас в доме, на Фонтанке, 16, в двадцатых числах мая 1916 года, по вопросу о цензуровании газетных отчетов о заседаниях Думы?

Штюрмер. — Если бы вы мне напомнили, о чем была речь.

Председатель. — Речь шла о том, чтобы неприятные вам речи некоторых членов Государственной Думы, вопреки закону, не пропускались бы в печати. А закон заключается в том (ст. 4, п. 6 врем. полож. о ценз.), что публичные речи и доклады, произнесенные во исполнение долга службы, не подлежат действию военной цензуры.

Штюрмер. — Может быть, вы мне напомните. Я помню только в общем. Если бы речь шла обо мне одном, то я цензуры никогда не стеснял, но тут, должно быть, кроме меня, было еще что-нибудь.

Председатель. — Тем не менее, вся Россия читала нелегальные издания речей Милюкова и Маклакова, направленных против вас, а в газетах в соответственных местах были белые полосы.

Штюрмер. — Я к этому непричастен. Я никогда в жизни, даже когда был губернатором, не запрещал печатать.

Председатель. — Как же председатель совета министров может объявить себя непричастным к этому явному вторжению в права печати, чтобы не печатать речей депутатов, и в права народа читать эти речи?

Штюрмер. — Может быть, вы укажете на что-нибудь конкретное, что бы восстановило в моей памяти.

Председатель. — Перед открытием сессии майской и июньской вы уже обсуждали мероприятия, направленные к стеснению свободы — не печатать речей депутатов. Вы призвали ген. Адабаша и кн. Туманова на Фонтанку, 16, на частное совещание. Там был начальник главного управления по делам печати Удинцов, член совета министров внутренних дел, известный по близости к вам и по своему влиянию на вас, Илья Яковлевич Гурлянд. Докладчиком был Гурлянд, который очень авторитетным тоном давал свои заключения. При чем никто не возражал, а в результате было распоряжение, чтобы на будущее время военная цензура не пропускала речей, основанное на разъяснении правительствующего сената, который к этому делу никакого отношения не имеет.

Штюрмер. — По этому поводу я не могу дать объяснения, в чем тут было дело.

Председатель. — При чем кн. Тумановым был установлен порядок о передаче указаний военным цензорам при комитете по делам печати, на какие места речей членов Государственной Думы надлежит обращать особое внимание. Вы забыли это, вероятно?

Штюрмер. — Извините, я ничего не могу сказать.

Председатель. — А вот в сводке вашего всеподданнейшего доклада от 9 октября 1916 года мы читаем, что вы ограничиваете, не только стесняете печать в Петрограде, которая находилась близ театра военных действий, но и в Москве.

Штюрмер.—Видите, тут я могу сказать одно, что ген. Мрозовский, который ведал Москвою в то время, приезжал ко мне и подробно докладывал. Опять-таки, что и как, я решительно не могу вспомнить, но было.

Председатель — Но ведь как же? Ведь это было в нарушение закона. В законах основных вы читали то, чего там не было, ибо там не было безответственности министров. Вы не читали того, что там было. А там было объявление свободы печати. Ведь печать была стеснена по военным соображениям известными пределами, а вы стремились выйти за эти пределы и стеснять нашу свободу более, чем нужно, чем дозволено по закону.

Штюрмер. — Видите, ведь в это время были совершенно исключительные ненормальные условия, что печать все время на этом держалась. Это было все очень путанно, неприятно и опасно, держаться на этой линии, когда есть военный закон, который все нарушает, было очень трудно, я помню то течение, которому я противоречил. Я вот это говорил.

Председатель. — Но вы согласны с тем, что вы принимали известные меры к стеснению печати в отношении напечатания речей депутатов, которые и не предусматривались действовавшим тогда законом?

Штюрмер. — Видите, если это так написано, то это так могу вам и сказать.

Председатель. — Но вы помните, что эти меры принимались, они даже вырабтывались на Фонтанке, № 16.

Штюрмер. — Да, что был Адабаш и другой Туманов и тогда именно было несколько случаев, когда они сами заявляли и другие заявляли, что нельзя принимать такой меры. Не я лично, а по докладу Адабаша и Туманова я созвал совещание людей компетентных, которые об этом говорили. Из Москвы вызывался Мрозовский. И все это повело к этому. Если это ошибка, то я, конечно, не могу отказаться. Я делал все, что должен делать, и никогда не отходить от законов.

Председатель. — Пока эти дополнительные объяснения мы хотели услышать, главным образом, по вопросу о роспуске Думы.

Штюрмер. — Вы изволили получить мое обращение к вам?

Председатель. — По какому вопросу?

Штюрмер. — По поводу Арцимовича, вопрос, которого вы касались. Я обращался к вам.

Председатель. — Сию минуточку я это выясню и вы разрешите дать ответ сейчас же. Вы когда изволили послать?

Штюрмер. — Давно, в мае месяце.

Председатель. — Позвольте, вам объявляли о том, чтобы вам дали собрание ваших мероприятий по 87 ст.

Штюрмер. — Нет, я просил об этом прокурора. Нет, я писал два раза, когда я был тут . . .

Председатель. — В смысле здоровья.

Штюрмер. — Я написал, почему я не на все мог ответить, и сказал, между прочим, что меня мучает (не помню, кто из членов задавал вопрос относительно моих отношений к английскому послу), что они были дурные. Я говорю, из-за чего вышло, я потом вспомнил. Вероятно, из-за того, что посол сказал мне: «Правда ли, назначается товарищем министра, как писали, Боткин?» Нет, я этого не писал, в моем письме этого нет.

Председатель. — Ничего подобного вы не сказали.

Штюрмер. — Нет, не писал. Я сказал, что вот германофил, а в это время вы изволили спросить относительно того, почему уволен Арцимович.

Председатель. — Кто спросил, сен. Иванов?

Штюрмер. — Нет, Федор Измайлович, относительно Боткина. Относительно того, что Боткин германофил. Он сказал, что теперь не время его назначать. Я сказал, что появится указ о назначении Половцева, вашего друга. — «Ах, как я рад». Хотя Боткин германофилом ни в каком дурном смысле не был, а просто Боткин находил, что политика Вильгельма наиболее была серьезная, наиболее прочная. На эту тему я вспомнил, когда спросили про Арцимовича. Арцимович очень крепкий человек был, и если я употребил слово «германофил», то ни одной минуты не имел в виду, что он поддерживает душой и телом, это я пишу в этой бумаге, что не могу обвинять Арцимовича в том смысле, в каком обвиняют наше министерство иностранных дел, что, будто бы, поддерживали прусскую политику и т. д. Снимаю всякую с него ответственность.

Председатель. — Я сейчас узнаю и сейчас же извещу.

Штюрмер. — Второй вопрос, я не помню, какой член комиссии, который сидел налево, задал вопрос о том, об имении на Волге, что мною было продано. Я ему сказал, что купчая совершена от 28 ноября, а еще была другая в январе следующего года. У какого нотариуса в Рыбинске? У такого-то. Придя домой, я вспомнил, что мною заключались две купчих — на пять десятин и на пятнадцать. Пять десятин были куплены у г. Величко.

Иванов. — На левой стороне?

Штюрмер. — Нет, на гористой. А другая половина принадлежала его жене, ту я купил позднее, в 1912 году. Это совершалось у другого нотариуса, здесь, в Петрограде, женою. Я боялся, что сказал один нотариус, а выходит два, боялся, что я обманул, это в доме Елисеева. Третий вопрос, который был, это—что вы хотели приступить к переговорам о мире. Это неправда, я никогда не

думал. Кроме заявления Вильгельма, который сделал заявление на всю Европу, что он предлагает мир, другого заявления не было. Последний мой акт, когда я уходил из министерства иностранных дел, 3 ноября, есть циркулярная депеша, которая говорит, что никогда никакого мира Россия не заключит.

Председатель. — Вы знаете журналиста Колышко?

Штюрмер. — Очень мало знаю.

Председатель. — Скажите, какая у него с вами была беседа перед отъездом его за границу, беседа очень продолжительная, в течение нескольких часов.

Штюрмер. — Он был у меня вечером, сказал, что поедет в Швецию, и рассказывал мне свои планы. Он, кажется, корреспондент какой-то газеты.

Председатель. — Не было у вас речи о делах государственной важности в связи с вопросом о мире?

Штюрмер. — Я его так мало знал. Как же я мог говорить с человеком, которого мало знаю? Я познакомился у кн. Мещерского, и там Колышко давно не бывал. А затем был у меня, сказал, что едет в Швецию. Я вообще был осторожен на разговоры и никогда не мог мало известному человеку говорить.

Председатель. — Я найду это ваше заявление.

Штюрмер. — Мне только узнать, если придется обращаться к вам, как разрешите писать.

Председатель. — Если можно, пишите на имя председателя Чрезвычайной Следственной Комиссии, Зимний дворец.

Штюрмер. — Ради бога, извините, если не говорю обстоятельно. Я говорю абрис каждого вопроса.

Председатель. — Важно общее, а частности можете забыть, и мы вам напомним по бумаге.

Штюрмер. — Я могу вам сказать, я решительно иногда не могу вспомнить.

Председатель. — Мы понимаем, что вы можете забыть.

Штюрмер. — А потом, я по совести считал, что вот как правильно надо поддерживать существующий строй. Теперь оказывается, что произошло совсем другое. Произошло другое течение, может быть, более правильное. Значит, я был виноват в том, что я до такой степени был недальновиден.

LI.

ДОПРОС Н. А. МАКЛАКОВА.

14 июня 1917 года.

Содержание: Бланки о роспуске и перерыве занятий Государственной Думы. Отношение Маклакова к перерыву занятий и роспуску Думы. Письмо Маклакова к царю 14 октября 1913 г. Ответное письмо бывш. царя Маклакову. Письмо Маклакова к бывш. царю 22 октября 1913 г. Письмо Маклакова к бывш. царю (март 1915 г.). Записка царя к Маклакову 21 марта 1915 г. Письмо Маклакова к царю 22 марта 1915 г. Письмо Маклакова к царю 27 апреля 1915 г. Письмо Маклакова к царю 4 июня 1915 г. Письмо Маклакова к царю 12 августа 1915 г. Проект манифеста, порученный Маклакову в феврале 1917 г. Письмо Маклакова к царю 9 февраля 1917 г. Намерение бывш. царя вернуть Маклакова к власти. Содержание письма к царю 17 декабря 1916 г. Шефские суммы.

Председатель. — Нам нужно получить от вас несколько дополнительных объяснений. Эти объяснения должны коснуться установившегося порядка предоставления в руки председателя совета министров бланков о роспуске и перерыве занятий Государственной Думы. Скажите, с каких пор завелся такой порядок?

Маклаков. — Этот вопрос для меня очень сложный, потому что я тогда вам говорил, это идет помимо министерства внутренних дел. Это ведал председатель совета министров; вы мне даже поставили вопрос так, что бывали случаи, что к председателю совета министров переходили такие бланки; и я думаю, что эти случаи бывали. Так я и сказал тогда, но эту область мне трудно подтвердить; когда установился этот обычай, я совсем не могу сказать. Но из переговоров в совете министров выяснилось, как я вам тогда сказал, что когда назревала возможность перерыва в занятиях, и когда государь отсутствовал из Петрограда, был далеко, в Ливадии, то тогда заручались такого рода авансом; то-есть, при наличии обстоятельств такого рода, кажется, был один только случай. Тогда докладывалось, — в случае осложнений, не будет ли уполномочен государем председатель совета министров поставить число и объявить это? Вот как я себе рисовал. Я этих бланков никогда в глаза не видал, они в совете министров не докладывались.

Председатель. — Можете вы утверждать, что такие бланки испрашивались только в случае отсутствия царя?

Маклаков. — Не могу.

Председатель. — Занесите в протокол: дополнительно потребовать от временно-исполняющего обязанности начальника канцелярии, бывшего министра двора, князя Гагарина официальную справку о выездах бывшего императора за 1913 год.

Маклаков. — Докладывалось post factum, что последовал высочайший указ о роспуске или перерыве занятий. Кажется, при мне ни одного роспуска не было. Только наверное — не знаю.

Председатель. — Вы говорите, что министерство внутренних дел к этому не имело никакого отношения?

Маклаков. — Кроме времен Столыпина, который совмещал обе должности. Он был и председателем совета министров.

Председатель. — Но не было случаев, когда вы сами испрашивали у бывшего императора такие указы?

Маклаков. — Я, лично, себе указы?

Председатель. — Нет, не себе, но, может быть, правительству?

Маклаков. — Сколько раз приходилось в докладах указание делать на обострившееся положение, что оно грозит очень серьезными осложнениями, и т. д. Все вопросы докладывались, но я решительно не помню.

Председатель. — Так что вы думаете, что не ошибаетесь?

Маклаков. — Я думаю — нет. Чтобы мне такого рода указы давались . . .

Председатель. — Нет, что вы сами испрашивали такого рода указы о роспуске?

Маклаков. — Нет, позвольте еще добавить. Ведь это совершенно было вне моей компетенции. Я мог давать и давал заключения об общем ходе политического положения данного момента.

Председатель. — Тем страннее, хотя это было вне вашей компетенции, тем не менее, вы испрашивали такие указы.

Маклаков. — Да нет, я не испрашивал. Очень бы хотелось, чтобы вы указали, я совершенно добросовестно постараюсь все вспомнить, но я совершенно не помню, чтобы я испрашивал. Как я мог это испросить?

Председатель. — Вы говорили о том, что, когда вотировался вопрос о перерыве занятий Государственной Думы, вы всегда вотировали за перерыв, но никогда не вотировали за роспуск Думы. Верно ли это? Не были ли вы горячим сторонником решительных мер? Когда другие министры говорили за отсрочку, вы стояли за роспуск?

Маклаков. — Я бы так сказал: во многих случаях. Но этот вопрос никогда не обсуждался, потому что, как я несколько раз указывал, я оставался в единственном числе. Моя точка зрения неоднократно была такова: все то, что поднималось около Думы,

когда поднималось настроение там, всегда отзывалось на всей стране от чтения отчетов Думы; и тогда, с моей точки зрения, расшатывалось главное, что могло удержать страну от сильных потрясений, именно, — порядок государственный. Когда власть дискредитировалась до последней степени, тогда для порядка точек опоры никаких не было; тогда мне казалось — здесь я не скрывал и высказывал открыто в совете министров, — что это полумера, потому что перерыв на месяц, — это только энервирование лишний раз учреждения.

Председатель. — Что же вы считали мерой—роспуск навсегда?

Маклаков. — До назначения новых выборов.

Председатель. — Но вы не могли думать, что новые выборы дадут лучшие результаты?

Маклаков. — Нет, но здесь другое было. Когда правительство становится на этот путь, выходит так: с одной стороны, оно как бы позицию свою сохраняет, а с другой стороны, совершенно неуверено в законном результате. Выход такой, что само себе правительство давало testimonium paupertatis. Вот моя точка зрения; но я совершенно в единственном числе бывал; во время моего пребывания у власти, если я не ошибаюсь, было всего только два перерыва вне обычного порядка, то-есть неожиданные, ускоренные.

Председатель. — Ускоренным порядком вы называете перерыв занятий Думы против желания Думы?

Маклаков. — Да, против Думы. Я опять боюсь утверждать, но мне кажется, что таких мер не было до половины 15-го года.

Председатель. — К сожалению, есть документ, который опровергает ваше утверждение о том, что вы не испрашивали разрешения. Позвольте огласить письмо на имя бывшего императора, от 14 октября 1913 года. Тогда вы были у власти.

Маклаков. — Да, я это знаю, письмо государю.

Председатель. — Но вы не помните, что в нем вы испрашивали эти бланки?

Маклаков. — Я даже выражение помню: «Если перекинется настроение далеко за стены Думы, то тогда желательно было бы распустить Думу и назначить другие выборы».

Председатель. — С тем выводом, что на этот случай, нужно иметь наготове подписанные бывшим императором указы?

Маклаков. — И то, и другое.

Председатель. — При чем, «то» — это роспуск Думы, а «другое» — немедленное объявление столицы на положении чрезвычайной охраны?

Маклаков. — Вот положение чрезвычайной охраны это прямо в компетенцию министерства внутренних дел входило.

Председатель. — Ну, а первое, как вы совершенно правильно заметили, то-есть, испрошение бланков о роспуске Думы, — это вне компетенции?

Маклаков. — Я для себя не испрашивал.

Председатель. — Вы именно это испрашивали, но только вы тогда говорили, вопреки тому, что сейчас говорите, что время опубликования указа должно быть поставлено в зависимости от соответствующего постановления совета министров. То-есть, вы стояли на точке зрения, что совет министров должен определить это время.

Макладов. — То-есть, когда?

Председатель. — Мы возвращаемся к вопросу, который вам задавался, — к вопросу о том, как вы смотрели на ваше право испрашивать частички прерогатив верховной власти, на то, что совет министров или отдельный министр распускает Думу, которая могла быть распущена только носителем верховной власти.

Маклаков. — Вы сейчас указываете случай, когда, как раз, государь был в Крыму. В таких случаях передавался подписанный указ, который проходил через совет министров, то-есть подписывался сам председатель совета министров, и опубликовывался. Но он обменивался мнением, прежде чем брать на себя то или другое решение.

Председатель. — Этого, к сожалению, не было, в особенности, в последние месяцы существовавшего режима.

Маклаков. — Вот этот раз совсем не последний.

Председатель. — Хотелось бы знать, указы стали выдаваться с момента этого вашего письма или это было и раньше?

Маклаков. — Нет, это было так: я указывал прием, который всегда существовал, который был установлен практикой с самого основания совета министров.

Председатель (показывает Маклакову бумагу). — Это ваш черновик?

Маклаков. — Да, да.

Председатель. — Оглашается текст письма от 14 октября 1913 года. (Читает.) «Приемлю долгом испрашивать у вашего императорского величества указания, когда вам угодно будет принять меня с докладом по делам министерства. Обстоятельства складываются так, что было бы осторожнее отъезд мой из Петербурга отложить еще на неделю. Настроение среди фабричного и заводского люда неспокойное, а в среде так называемой интеллигенции очень повышенное. Съезжаются в столицу члены Государственной Думы. Собираются в Таврический дворец думские фракции. Впечатление от того, что там происходит, неотрадное. Готовятся спешные запросы, вырабатывается план ожесточенной борьбы Думы с правительством. С первого дня Дума резко поднимет общественную температуру, если не встретит, на первых же шагах, сильного отпора вашего правительства. Полагая расстройство нашей мирной жизни неминуемым, в эти дни мне нельзя отлучиться из столицы. Но, оставаясь здесь, мне, как министру,

призванному бороться с внутренними беспорядками в стране, в первую голову необходимо иметь указания вашего императорского величества, благоугодно ли будет вам одобрить этот план действий, который, по своему разумению и совести, я себе намечаю. Мне казалось бы необходимым сперва попробовать ввести Думу в ее обычное русло крепкой рукой. С этой целью я предполагал теперь, с кафедры Думы, сделать ее членам спокойное, ясное, но решительное предупреждение о том, что путь, на который она пытается встать, опасен и недопустим. Смысл учреждения Думы — совместно работать с императорским правительством на благо России. При данных же условиях не благу России служит Дума, а расслаблению своей родины. Жалуясь на нарушение правительством дарованных населению гражданских свобод, Дума на самом деле лишь вступает в борьбу со всякой властью и прокладывает путь к достижению политической свободы — свободы революции. Этой свободы ей правительство самодержца всероссийского не даст. Правительство предупреждает Думу, что дальнейшей работе ее в том же направлении оно положит конец». Будьте добры, следите по вашему черновику. (Передает черновик письма.) «Правительство надеется, что голос благоразумия и память о принесенной членами Думы присяге удержит их от повторения пагубных ошибок прежних дней. Но если характер думских работ не изменится, правительству придется испросить указания вашего императорского величества о роспуске этой Думы. Такое предупреждение мне было бы необходимо сделать не от своего лица, а от имени всего правительства. Если бы вам, государь, угодно было разрешить мне это сделать, такое обращение, быть может, поможет делу. Может, напротив того, оно вызовет только взрыв негодования Думы на непредвиденный для нее призыв к порядку от правительственной власти. Если будет последнее, то это лишь приблизит развязку, которая, повидимому, едва ли отвратима. Если поднимется буря и боевое настроение перекинется далеко за стены Таврического дворца, губернские и столичные администрации сумеют подавить все волнения и самую смуту, при быстрых и решительных мерах справиться. Но для этого необходимы будут две меры: роспуск Думы и немедленное объявление столиц на положении чрезвычайной охраны. Было бы необходимо поэтому иметь в Петербурге наготове подписанные вашим императорским величеством указы о том и о другом. Время их опубликования могло быть поставлено в зависимости от соответствующего постановления совета министров, которому министр внутренних дел представил бы подробный доклад о том, когда по ходу дела наступила необходимость в этих крайних мерах. Докладывая о вышеизложенных предположениях моих вашему императорскому величеству, я всеподданнейше испрашиваю указаний ваших по существу моего доклада. Более полные соображения свои по данному делу

и подробности дальнейших мероприятий, связанных с перечисленным, я буду иметь счастие доложить вашему величеству при следующем моем всеподданнейшем личном докладе в Ливадии»... Подписано: «министр внутренних дел Маклаков. 14 октября 1913 года». Зачем вам непременно хотелось говорить от имени всего правительства? Почему вы не оставались в пределах круга вашего ведомства?

Маклаков. — Потому что эта область, главным образом, касается внутреннего порядка государственного.

Председатель. — Почему вы так легко шли на объявление столиц на положении чрезвычайной охраны, зная, что роспуск Думы приведет к созыву Думы приблизительно такого же, если не более, народного состава? Вы прибегаете к мере, которая сопряжена с очень тяжелыми для народа последствиями; объявление столиц на положении чрезвычайной охраны, это значит — исключительные суды, быть может, вмешательство войск.

Маклаков. — Я думаю, к этому не приходилось бы прибегать. Выходило так, что, если не принять никаких мер, то прямо, как снежный шар, накатывалось все то, что было; и это грозило серьезными осложнениями, о которых заботиться нужно было министру внутренних дел.

Председатель. — Что послужило поводом для разногласий между Думой и правительством в октябре 1913 года? Быть может, политика министерства внутренних дел и сам министр внутренних дел, бывший тогда у власти?

Маклаков. — Я не знаю, тогда ли были самые острые моменты. Когда проходила смета министерства внутренних дел, то положение министра внутренних дел было очень тяжелое, так как вычеркивался ряд кредитов, необходимых для работы министерства.

Председатель. — Какой результат такого письма, роспуска Думы, объявления столиц на положении чрезвычайной охраны? Вы, ответственный, — безответственного главу верховной власти вызываете на выступления очень тяжелого свойства. Вот что вам ответил бывший император 18 октября, через четыре дня: «Получив ваше письмо от 14 октября и прочитав его, я был приятно поражен его содержанием. Я как раз собирался писать вам, чтобы вы не выезжали из Петрограда до конца октября и чтобы дать вам руководящие указания на случай возникновения осложнений с Государственной Думой. С теми мыслями, которые вы желаете высказать в Государственной Думе, я вполне согласен, — это именно то, что им давно следовало слышать от имени моего правительства. Лично думаю, что такая речь министра внутренних дел разрядит атмосферу и заставит господ Родзянко и его присных закусить языки. Если же, паче чаяния, как вы пишете, поднимется буря и боевое настроение перекинется за стены Таврического дворца, тогда нужно будет привести предполагаемые вами меры в испол-

нение, — роспуск Думы и объявление Питера и Москвы на положении чрезвычайной охраны, переговоря с председательствующим в совете министров об изготовлении и высылке мне указов относительно обеих мер. Также считаю необходимым и благовременным немедленно обсудить в совете министров мою давнишнюю мысль об изменении статьи Учреждения Государственной Думы, в силу которой, если Дума не согласится с изменениями государственного совета и не утвердит проекта, то законопроект уничтожается. Это, при отсутствии у нас конституции, есть полная бессмыслица. Предоставление на выбор и утверждение государя мнения большинства и меньшинства будет хорошим возвращением к прежнему спокойному течению законодательной деятельности и, притом, в русском духе. Итак, до скорого свидания. Дай вам бог сил и успеха. Николай».

Маклаков. — Раз у вас имеется этот документ, я должен сказать: мне очень горько, больно и даже стыдно перед вами, что я сказал, что у меня ничего нет. Я думаю, вы поймете — почему. Все, что меня касается, я скажу и возьму на себя всю ответственность, но человека, от которого я столько добра видел, мне бы хотелось держать в стороне. Раз вы теперь знаете, мне нечего говорить, кроме того, что это так и есть, но позвольте сказать, что было после этого, — это никогда не было осуществлено. Если вы допросите всех бывших членов совета министров, они вам скажут, что я этого вопроса не представлял в совет министров. Я государю сказал, что этот вопрос задел бы очень многих, и это было бы очень понятное с их точки зрения недовольство. Уже по тому, как они к этому отнеслись, я видел, что нечего поднимать второй вопрос. Такого рода поручение — как будто повеление, но я этого не сделал, и этот вопрос не поднимался в совете министров. Об этом письме ни одна душа в совете министров не знала, никто не знал.

Председатель. — Когда мы допрашивали вас в прошлый раз, в нашем распоряжении не было этого письма; иначе я бы вам сказал.

Маклаков. — Мне очень стыдно.

Председатель. — Вы правы, когда говорите, что если бы вы — я употребляю грубое выражение — сунулись в совет министров, то тогда ваши товарищи по совету министров, вероятно, стали бы вам перечить по целому ряду соображений, может быть, отчасти, из личной ревности. Но вы понимаете, что, вопреки тому, что написано в этом письме, вы то знали и знаете, что у нас — конституционный образ правления, и вы понимаете, что получается. Конституционный министр, ответственный перед законом, вызывает безответственного главу верховной власти на действия, которые являются нарушением основных законов; значит, вы повторяете ошибку блаженной памяти Столыпина с его июньским зако-

ном, на издание которого он испросил подпись главы верховной власти и который является актом революционным.

Маклаков. — Это совершенно неожиданный вывод из того, что я писал. От роспуска Думы даже дороги нет к тому, чтобы изменить состав основных законов. Здесь даже связи нет.

Председатель. — Может быть, в тот момент это письмо было для вас неожиданным концом, но оно, собственно говоря, было продолжением, результатом вашего образа действий. Министр не считается с Думой и государственным советом, он витает в облаках. Результатом являются такие акты.

Маклаков. — Акты не были результатом.

Председатель. — Ну, такие рескрипты, такие мысли, требование реализации этих мыслей.

Маклаков. — Это не требование было, потому что в следующий доклад это ушло совсем, испарилось без всякого следа. Уверяю вас, что в голове у государя — самое трудное, что можно было сделать, это подойти к этому.

Председатель. — Тем не менее, вы подошли; то, что трудно, стало легким. Вы понимаете психологию вашего письма? Оно подходит к этому вопросу. Логически вы остаетесь в пределах чрезвычайной охраны, а психологически это теснейшим образом связано.

Маклаков. — В письмах государю я всегда определенно свою мысль высказывал. Я бы так не подходил к этому.

Председатель. — Вы, министр внутренних дел, не стали на такую точку зрения, что «Дума расходится со мной, стало быть, я должен уйти», а стали на точку зрения, что «Дума расходится с правительством, тем хуже для нее, нужно ее распустить, ничего от этого не будет; может быть, только придется ввести чрезвычайное положение».

Маклаков. — Я связи здесь никакой не вижу. Эту точку зрения государь указал. Когда мы делаем шаг за шагом и видим, что дело разваливается, а поставить как следует не находим возможным, то выплывает мысль, не следует ли переменить самый шаг. С каждым месяцем я все больше отходил от убеждения в возможности этого.

Председатель. — Вряд ли верно, что вы отходили. В конце вашей деятельности не вернулись ли вы к мысли, что если Дума не желает работать с правительством, пусть она умрет, а правительство останется?

Маклаков. — Роспуск?

Председатель. — Именно, роспуск.

Маклаков. — Это — законом предусмотренная мера.

Председатель. — Вы признаете, что вы это письмо получили, но говорите, что оно не имело в этой части, да и в части роспуска Думы, последствий, то-есть не было реализовано?

Маклаков. — В конце октября, я не помню, был ли роспуск, — кажется, не было?

Председатель. — Роспуска не было, но был перерыв.

Маклаков. — Тогда, кажется, все прошло благополучно.

Председатель. — 14-го октября вы пишете это письмо, а 15-го октября только начала функционировать Дума; так что вы готовите ей смерть накануне ее созыва.

Маклаков. — Письмо шло три дня.

Председатель. — Опять мы наталкиваемся на то, что правительство убивает Думу ранее ее созыва. Она еще не живет и не может совершить какого-нибудь греха, а вы уже говорите о перерыве ее занятий и, даже, о роспуске.

Маклаков. — Она работала до декабря.

Председатель. — Она работала до 7-го декабря, но зачем эти умышления? Вот ваше письмо от 22 октября 1913 года.

Маклаков. — Где я говорю о том, что в совете министров мы обсуждали вопрос о роспуске, но что того вопроса я не поставил?

Председатель (читает): «Долгом считаю всеподданнейше доложить вашему императорскому величеству о том, что приказание ваше о заготовлении указов о роспуске Думы и объявлении Петрограда и Москвы на положении чрезвычайной охраны мной не было передано председательствующему в совете министров»...

Маклаков. — Харитонову, так как Коковцов был заграницей.

Председатель (читает): «Потому что, накануне получения мною всемилостивейшего рескрипта вашего, всеподданнейшее представление совета министров с проектом таких указов было уже отправлено вашему величеству. Что же касается до повеления вашего обсудить об изменении положения о Государственной Думе, то я дерзнул пока не сообщать об этом совету, равно как не сообщил о самом факте получения рескрипта. Считал себя вынужденным это сделать по следующим причинам. При обсуждении вчера вопроса о моем выступлении в Думе огромное большинство членов совета министров высказалось против этого шага, потому что в обсуждении не принимали участия старейшие, отсутствующие министры — Коковцов, Кривошеин и Саблер. Члены совета склонны думать, что предлагаемый мной шаг повлечет за собой самые острые последствия, а давать повод к дальнейшим осложнениям во взаимных отношениях с Думой правительство признает, пока этот вопрос не будет всесторонне и всеми обсужден, нежелательным. Так как вашему величеству угодно было одобрить мое выступление лишь принципиально, то я позволил себе не настаивать на срочности осуществления этого плана и лишь уведомил совет, что в принципе ваше величество изволили признать мое выступление возможным. Между тем, однако, из самого хода обсуждения этого вопроса я с очевидностью увидел, что возбужде-

ние другого, главного вопроса громадной государственной важности. . .» То-есть о роспуске?

Маклаков. — Нет, о пересмотре . . .

Председатель. — Об изменении основных законов. (Читает.) «было бы при данных условиях в этом же заседании совершенно невозможным. Оно встретило бы еще более настойчивые возражения, тем более горячие, что совет считает вообще, что думские дела выходят из круга ведомства министерства внутренних дел и относятся до компетенции лишь председателя совета министров, ныне председательствующего. Не гневайтесь на меня, ваше величество, за то, что я позволил себе не исполнить немедленно ваше повеление, но я думал, что некоторое промедление в этом деле было бы простительно. Руководили мной при этом, во-первых, те соображения, что в ближайшем будущем я надеюсь иметь счастье лично повергнуть перед вами, государь, все вызванные этим делом размышления, а затем и та мысль, что передача такого повеления вашего председательствующему в совете через меня, младшего в составе совета, вызвала бы неосновательные, правда, но очень, к сожалению, больные отзвуки личного самолюбия, которые повредят лишь самому делу, столь большому и важному для всей последующей жизни России. Министр внутренних дел Маклаков. 22 октября 1913 года». Что же, вам пришлось это подвергнуть обсуждению?

Маклаков. — В совете министров — никогда. А государю я докладывал об этом. Суть была в том, что нельзя было дело это ставить на очередь по тому единодушному настроению, которое я видел, так как это было встречено отрицательно всеми. Если бы был человек, который бы смотрел, что это есть польза и благо для России, тогда бы я еще призадумался и доложил бы об этом, а здесь это было совершенно безнадежно, так как никто в это не верил.

Председатель. — А как вы смотрели на формальный вопрос о возможности сношений министра внутренних дел с главою верховной власти в порядке такой неофициальной переписки, по вопросам, действительно выходящим за круг ведомства министра внутренних дел, по вопросам первостепенной государственной важности, по вопросам о государственном перевороте?

Маклаков. — Я бы не поднял этого вопроса, но, как вы изволите видеть, это письмо есть ответ на письмо государя, а то письмо, которое я получил, было ответом на вопрос, касающийся моей компетенции. В этом ответе на мой вопрос появилось добавление громадной государственной важности, которое я без ответа не мог оставить. Я бы сам не стал писать об этом и не стал бы сам возбуждать этого вопроса, но он выплыл сам. Я не то, чтобы хотел с себя это снять, я с удовольствием возьму вину на себя. Я в глубине души несколько раз думал, что это было бы лучше.

Я приходил из Думы домой и думал — ничего на выходит. Я входил в Думу с самыми добрыми намерениями (я не фразу говорю, я с самого начала не сумел себя поставить), но каждый раз выходило так, что идешь с одними намерениями, а возвращаешься разбитым. В острые минуты у меня бывали такие мысли, не потому, чтобы я думал, что на мне свет клином сошелся, но думал, что действительно, в постановке дела есть заведомые неправильности, потому что могут быть предвзятости, которые направляют курс работы.

Председатель. — А вы не считали течение ваших мыслей предвзятым? Там предвзятость народных представителей, хотя бы и по закону 3 июня избранных, а у вас — предвзятость неизбранного народом ни по какому закону?

Маклаков. — Закон был тот же и та же присяга, которую приносили все члены Думы. Закон был тот, что у нас в России было самодержавие, и министр внутренних дел должен был это самодержавие охранять. Следовательно, для меня было ясно, что все, что подтачивает и разрушает этот строй, — все это было объектом для борьбы в пределах закона.

Председатель. — Значит, вы не отрицаете, что у вас мысль о необходимости изменения основных законов мелькала, хотя вы не реализовали ее?

Маклаков. — Мелькала, но она ни во что не воплотилась. Два случая было. Один — петергофское совещание 1914 года, о котором я говорил, что один я указал на возможность пересмотра существующего положения. Затем, тот случай, к которому я не смел относиться отрицательно, изменить не мог, а мог только перевести стрелку.

Председатель. — Может быть, петергофское совещание, при участии государя, и было продолжением этого течения мыслей?

Маклаков. — Нет, тут уже было совершенно другое течение. Было одно время ясно, что совершенно в другую сторону коромысло могло пойти.

Председатель. — Здесь перерыв в письмах объясняется тем, что их не сохранилось, или тем, что вы не писали? Следующее письмо относится к 1915 году. Пожалуйста, скажите; если найдется, будет очень неприятно.

Маклаков. — Я в ужасном положении. Вы имеете право мне не верить.

Председатель. — Будем считать, что это верно, что писем за это время нет (показывает следующее письмо).

Маклаков. — Это очень тяжкое письмо.

Председатель. — Прочтите, пожалуйста.

Маклаков (читает): «В дни великих страданий Христа, неся свои покаяния к престолу бога, дерзаю открыть свою душу, государь, твердо веря в ваше христианское всепрощение. Решение

ваше передать продовольственный вопрос, возложенный законом на министра внутренних дел, в руки министра торговли — есть тяжкий приговор надо мною. Ваше величество, у раки святого Феодосия черниговского, господь, как вы сами изволили это сказать мне однажды, послал вам мысль призвать меня на пост министра внутренних дел...» Позвольте мне прервать. Я не хотел касаться одного человека: когда вы настойчиво ставили вопрос, кто меня проводил, я искренно говорил: я не знаю. Из этого письма вы видите, он сам сказал — никто, и, что вот ему, во время молитвы в соборе, пришло на мысль. Как раз раскрываются скобки того, что я невольно скрыл. Я очень извиняюсь, мне стыдно перед вами, но причина, вы понимаете, такая была. (Читает.) «Под покровом святителя и вашей ко мне милости работал я вот уже более двух лет всеми своими силами, всем разумением, и сейчас, перед лицом бога, смело говорю, что ничем не погрешил перед вами и перед своей родиной. Тяжко приходилось мне на моем страдном служебном пути, где окружало меня столько недоброжелательства, но неизменно я был окрылен доверием вашим. Теперь богу угодно было лишить меня этой единственной всемогущей силы, без которой нельзя работать так, как повелевает совесть. Ваше величество, я ношу скромное имя, до сих пор на всем протяжении моей службы ничем его не запятнал. У меня растут три сына, будущие ваши верные слуги и наследника вашего. Мне горько оставить им в наследие память о моей бесплодной и бесславной службе, а таковой она перейдет в будущее при тех тяжелых и, повидимому, непреоборимых обстоятельствах, при которых все для меня складывается. Ваше величество, я одинок в Петрограде. Преданнейшие старые слуги ваши, которые благожелательно относились ко мне, кн. Мещерский, ген. Богданович, ушли в лучший мир и не помогут в эти трудные для меня дни ни советом, ничем. Но я считаю себя обязанным сказать вам перед лицом бога, что русских, честных, простых людей смущает то направление, которое принимает ваше правительство. Оно скоро приведет нашу родину к тяжким испытаниям. Мои мнения доходят до вас, государь, или искаженными, или не доходят совсем, но я всем сердцем верю и чувствую, в чем счастье, благо и гордость нашей родины. Государь, сила, власть и влияние сейчас в руках людей, частью до изумления равнодушных к судьбам России, частью политически изменчивых, приспособляющихся к обстоятельствам, одурманенных жаждой дешевой славы и личного честолюбия. Я не сужу их. Им будет судьей господь бог. Давно и упорно левая печать, часть Государственной Думы и ее председатель Родзянко, знаменитый А. И. Гучков и некоторые члены совета министров обещали, что я скоро буду уволен. Сегодня они много-го достигли, ибо вся Россия видит теперь, что ваше доверие ко мне теперь подорвано открыто и ясно перед всеми. Тяжело

сейчас, в годину славной и победоносной войны, в которую всей душой я верю, уйти со своего поста, как негодный работник, ненужный слуга своего царя и своей родины, но еще тяжелее видеть грядущее смутное и тревожное будущее, слышать свой голос всегда заглушенным дружными кликами зависти и злобы врагов, которая ко мне тем больше, чем убежденнее я борюсь против неудержимо растущего у всех стремления, забыв царя, в одном общественном мнении видеть и начало и конец всего. Многое скрыто от ваших верных подданных, государь, но верьте мне, сердце их чует беду, оно видит, что затемняется для них вашими лукавыми слугами светлый лик монарха. Многих и многих тревожит и беспокоит то, что ждет вашего наследника, надежду и гордость вашей верной России. Ваше величество, без доверия царского работать нельзя. Без веры в светлое счастье вашего августейшего сына нельзя жить, да и не за кого умирать. Смиренно склоняю перед вами, государь, свою повинную голову, и прошу вас, не гневайтесь на меня за дерзость этого письма. Простите меня великодушно, дозвольте обратиться к вам с покорнейшею и горячей просьбой отпустить меня с моего поста. Вас принудят к этому поздней и люди и обстоятельства. Сделайте это теперь, по вашему почину, снисходя к этой моей, никому неизвестной верноподданнической просьбе, которую я дерзаю повергнуть перед вами в эти дни покаяния, с чувством глубочайшей скорби, но и не меньшего убеждения. Вдали от вас я неизменно буду благословлять ваше имя за милость вашу, вознесшую меня так высоко и столько раз меня сохранившую. Для вас, государь, буду жить, так как люблю свою родину искренно, и славу ее вижу лишь в вашем счастии и величии. Но, государь, служить, не веря в успех своего дела, человеку, видящему в службе не личное благополучие, а высокий долг перед богом, вами и родной землей, нельзя. Это не отвечает ни моим взглядам, ни моим убеждениям, ни моей совести, которая всегда была чиста перед вами и такой останется».

Председатель. — Тут есть одно место, которое указывает, что невозможны такие личные отношения между министром и носителем верховной власти, при существовании законодательных установлений. Вы невольно касаетесь тут ваших товарищей по кабинету, указываете на лукавство, на неправильный образ их действий и т. д.

Маклаков. — Я никого не называл здесь. То, что я написал, это было в такие тяжкие минуты. Я думаю, вы сами поймете. Вслед за этим я совершенно определенно ждал ухода моего, настолько, что уже целый ряд служебных распоряжений к Пасхе откладывал. Я так был убежден в этом, потому что письменные обращения всегда производили там впечатление самое отрицательное. И если я писал, то потому, что у меня действительно последние капли уже были полны. Тогда я не называл никого, то, что

я здесь характеризую, с этим я встречался ежечасно. Не было ни одного заседания совета министров, где бы я с этим не встречался. Мне в десять раз легче было в Думе, где многие меня совсем не знали, где a priori сложилось мнение обо мне и осталось таким, когда я выдвинул несколько непопулярных, оттолкнувших от себя законопроектов; сразу создался известный угол зрения на меня. Мне там легче было бывать, чем в совете министров. Ведь мой уход, в конце концов, подготовлял и совет министров; после того, как я от государя приехал, после того, как узнал, что государю угодно меня отпустить (мне государь приказал сообщить только Горемыкину), тогда Горемыкин меня встретил словами . . .

Председатель. — Позже, когда вы ушли?

Маклаков. — Нет, я еще тут не ушел. После этого государь приказал остаться, но через два с половиной или три месяца я ушел.

Председатель. — Вы имели в виду Горемыкина и Щегловитова, когда говорили о лукавых и равнодушных слугах?

Маклаков. — Позвольте мне не отвечать. Я их не называл. Вы совершенно верно говорите, что я будто кого-то упрекал. Разрешите мне имен не называть.

Председатель. — Снимаем этот вопрос. Вам ответил бывший император запиской 21 марта: «Царское Село. Друг мой Николай Алексеевич. Четыре дня я раздумывал о вашей просьбе. Вы поступили честно и благородно, как всегда, но поступили поспешно. Оставайтесь на занимаемом вами месте, на котором вы мне нужны и любы. Дай вам бог здоровья, сил, энергии на дальнейшую службу. Христос воскресе. Ваш доброжелатель Николай». Вы ответили на это письмо — я затрудняюсь назвать — всеподданнейшим письмом?

Маклаков. — Да, да, письмом.

Председатель. — Вы ответили письмом от 22 марта: «Ваше императорское величество. Ваш милостивый рескрипт наполнил душу мою глубокой благодарностью. Раз у меня есть доверие вашего величества, сердцу моему нечего смущаться. Господь, пославший вам ваше вчерашнее решение, даст мне, я верю, силы и умение быть полезным моему государю; а жизнь моя — ваша, и думы все мои и заботы — только о вас, ваше величество, и о вашей России. Служить вам и ей — великое счастье, но и большой ответ. Да поможет мне в этом господь. Министр внутренних дел Маклаков». Следующее письмо 27 апреля. (Читает.) «Я был в сомнении, беспокоить ли мне ваше величество представлением вам прилагаемой при сем вырезки из газеты «Новое Время», когда получил пакет ваш с милостивым вложением, наполнивший мою душу светлой и благодарной радостью. Теперь, смотря на вас, государь, и на наследника вашего, я уже не колеблюсь и пишу то,

что хотел. После тех великих своей простотой слов, твердо сказанных на весь мир, с которыми угодно было обратиться к народу во Львове всероссийскому самодержцу, председателю Государственной Думы нечего больше говорить. Такое чествование нельзя было, по моему убеждению, и разрешать. Родзянко, ваше величество, только исполнитель напыщенный и неумный, а за ним стоят его руководители, господа Гучковы, князь Львов и другие, систематически идущие к своей цели. В чем она? Затемнить свет вашей славы, ваше величество, и ослабить силу и значение святой искони и всегда спасительной на Руси идеи самодержавия. Восторг и умиление, оставшиеся во Львове после вашего там пребывания» . . .

Маклаков. — Тут «умиления» нет.

Председатель. — . . .«и радость, вызванную вашими словами, надо было заслонить пред лицом всего народа, надо было покрыть чествованием Родзянко, который всегда и всюду добивается поставить народное представительство на несвойственную ему высоту, в положение вершителя судеб России и всего мира. Это представительство всемерно и сознательно выдвигают в противовес и противоположность вашей, богом данной вам, власти. Ваше императорское величество. На Карпатах льется русская кровь, и идут ожесточенные бои, и гремят вражеские пушки, а во Львове, в присутствии и. д. генерал-губернатора, военных и гражданских властей и учащихся, чествуют председателя одной из законодательных палат в России. Говорят ему речи, выслушивают его ответы, и не гимн, наша родная молитва за царя, гремит в этом официальном собрании, а какие-то музыкальные номера исполняются до поздней ночи. Ваше императорское величество. Эти бестактные выходки и неуместное фигурирование нескромного председателя Думы были бы только смешны, если бы наблюдались они в мирное, обыкновенное время. Но, когда они происходят во время пока военной лишь оккупации, они становятся по своим отголоскам по России опасными и нелепыми. Прошу прощения у вашего величества за смелость этого письма к вам. Но я слышу и больно ощущаю все это неуклонное, хотя и замаскированное старательно течение в рядах нашей воинствующей интеллигенции. Я чересчур ясно учитываю их значение и смысл, чтобы не дерзнуть повергнуть это на ваше всемилостивейшее внимание. Министр внутренних дел Маклаков. 27 апреля 1915 года. Петроград». Это вы писали и посылали по назначению?

Маклаков. — Да.

Председатель. — Останавливает внимание некоторая бесцельность этого письма, некоторая несовместимость этого письма с обязанностями министра внутренних дел. Ведь оно полно одной мыслью: ненавистью к самодержцу председателя Государственной Думы. Его цель разве в том, чтобы страшно вооружить царя

против председателя Государственной Думы? Скажите, чем вызвано это письмо?

Маклаков. — Я сейчас опять боюсь, что скажу неверно. Я не помню, посылал ли я это. Может быть, это не дошло.

Председатель. — Я могу сказать наверное, что вы это письмо посылали и что оно получено.

Маклаков. — Оно получено было; но тогда, чем вызвано было, тут довольно подробно высказывается. Вы говорите — министра внутренних дел не касалось. Касалось в такой мере, в какой течение внутренней жизни входило в его служебный кругозор. Самая форма, резкость выражений—все это такие вещи, которые не могут на себя внимания не обратить. Но цель какая? При первом же свидании, которое могло быть, его величество мог бы указать, в своей обычной мягкой форме, что лучше этого не делать; указать на неудобство того, что, с моей точки зрения, было безусловно недопустимо. Дошло до того, во время этих поездок на фронт, как газеты сообщали — георгиевские кресты гражданские лица на грудь солдатам развешивали. И указание было, будто бы и Родзянко их развешивал. Тут получалось что-то совершенно невероятное. Действительно, председатель одной из законодательных палат в данном случае уже естественно говорил от всей России, пока у нас был монарх, законный представитель России во всех документах, во всех международных актах, везде — государь. Тут, опять-таки гипертрофия значения, которая усугубилась в военное время, которая все контуры смазывала и выделила на первый план многое такое, что . . .

Председатель. — Неужели вы считаете правильной по существу эту реакцию министра внутренних дел на действия председателя Государственной Думы? Неужели вы до сих пор считаете правильной эту форму возбуждения носителя верховной власти против Государственной Думы? Неужели вам это кажется закономерным актом министра внутренних дел?

Маклаков. — Я совершенно открыто скажу. Я лично тогда видел, что Дума сломает самодержавие. Тогда все симптомы намечались.

Председатель. — Несуществовавшее самодержавие.

Маклаков. — В том виде, как оно существовало, в том виде, как в присягу вошло. Мне совершенно ясна была эта громадная сила, громадный фокус общественный, около которого сгруппировались все общественные силы. Уже в начале 1916 года все было кончено, в 1915 году намечалось все вполне определенно. Я, по должности министра внутренних дел, видел, какие направления это течение принимало.

Председатель. — Как министр внутренних дел, помимо своих товарищей по совету, на почве какой-то непроверенной газетной вырезки (вы говорите сами, что еще неизвестно, все ли там

было верно) пишет возбуждающее письмо к царю? Вы говорили о том, что вы хотели, чтобы был мир между Государственной Думой и носителем верховной власти; согласитесь, что это письмо вносит не мир, а меч в их отношения, и вы наносите им удар тому строю, сторонником которого вы себя считали.

Маклаков. — Позвольте мне сказать. Тут, во-первых, все зависит от свойств натуры, характера. Никогда рефлексий таких там не было. Всегда проходит очень мягко. Продумывается без конца долго и выливается в форму такую, что иной раз вы не знаете, что там должно было быть. Я здесь, главным образом, подчеркиваю, что мир должен быть, но не мир ценою того, чтобы совершенно разломать и развенчать то, что я защищал. Теперь это совершившийся факт. Теперь мы смотрим под углом зрения того, что есть, но в то время это было все предусмотрено даже уложением о наказаниях, что считалось обязательным для нас законом, что считалось противозаконным и опасным для строя государственного. Мне было доверено самое страдное, тяжелое министерство и, как я докладывал, я получил его в виду исключительного, большого доверия к себе. Если я видел в этом смысле симптомы тревожные, если я передал путем переговоров и указаний при докладах, которые часто бывали, я думал, что я только приношу пользу своему делу. Не делая этого, я считал бы, что я — предатель, потому что, предвидя и расшифровывая многое вперед, делать вид, что я ничего не вижу, я не считал себя вправе.

Председатель. — А порядок сношения в виде представления всеподданнейших писем и вырезок из газеты «Новое Время»?

Маклаков. — Часто министр внутренних дел по службе вырезки из газет представляет. Я не знаю, как теперь, но это бывало.

Председатель. — Какой это пакет с милостивым вложением, наполнившим вашу душу светлой благодарностью, вы получили 27 апреля?

Маклаков. — Это — медаль за мобилизацию, она была с синенькой ленточкой, государь в конверт сам вложил и написал: «примите от меня».

Председатель. — Вы сказали вашим товарищам по совету министров, что обратились с таким письмом?

Маклаков. — Нет, не говорил. Ведь, насколько мне известно, некоторые члены совета министров всегда переписывались в такой форме с государем.

Председатель. — Это был акт борьбы с председателем Государственной Думы и, стало быть, с Государственной Думой?

Маклаков. — Это просто освещало положение вещей. Я ничего не советовал, не говорил.

Председатель. — Какие результаты имело это письмо?

Маклаков. — Никаких. Я даже никаких разговоров не имел. Может быть, из моих докладов остается самая ничтожная крупица, и она выливается всегда в такую форму мягкую, то-есть, так детонирует, вы себе представить не можете.

Председатель. — Письмо 4-го июня 1915 года: «Ваше императорское величество. Долгом своим почитаю доложить вашему императорскому величеству, что ваше повеление я в точности исполнил и вчера же сообщил председателю совета министров о том, что вам благоугодно было освободить меня от моих обязанностей министра. Докладывая вашему величеству о сем, прошу дозволения вашего императорского величества принести мою глубочайшую всеподданнейшую благодарность за все милости ваши ко мне, которые я видел от вашего величества во время моей службы. Да поможет вам господь найти человека искренно вам преданного и полезного России. Министр внутренних дел Маклаков. 4-го июня 1915 года». Затем оглашается письмо от 12 августа 1915 года. Среда. «Ваше императорское величество. Сегодня вечером мне были переданы деньги, которые вам благоугодно было повелеть выдать мне для устройства моей новой жизни в Петрограде». Это какие деньги?

Маклаков. — Что полагается при уходе министру. Государь повелел дать мне деньги на устройство квартиры, 20.000 рублей.

Председатель. — Это обычная сумма?

Маклаков. — Нет, не обычная. Дурново получил 50.000, Горемыкин 100.000, а мой товарищ Лыкошин, если не ошибаюсь, 8.000.

Председатель. — Это из каких сумм?

Маклаков. — Из 10.000.000 фонда. Даже наверное оттуда.

Председатель (читает): «Простите смелость этого письменного обращения к вам, государь. Но вся душа просится принести вам мою глубокую, горячую благодарность. Эта новая милость вашего величества бесконечно драгоценна и отрадна именно теперь не только тем, что освобождает меня от многих жизненных трудностей, но особенно тем, что, потеряв счастье общения с вами, я почувствовал вновь всю доброту того, кому я служил так убежденно и ревностно, кому принадлежит вся моя жизнь и о ком днями и ночами издалека, безмолвно думаю и тоскую. Да хранит вас господь, государь. Да дарует он вам силы и бодрость. Да пошлет вам счастье в вашей России, и да направит он дальнейшую судьбу ее не по руслу временных и преходящих настроений вечно волнующегося, ненадежного общественного моря, а по вековечной правде нашей славной, простой и единственной в мире истории. Что бы ни было, душа моя молитвенно будет у престола вашего со всей царственной семьей вашего императорского величества. Среда. 12-го августа 1915 года». Теперь прошу вас объяснить, каким образом вы в феврале 1917 года полу-

чили повеление написать проект манифеста о роспуске Государственной Думы?

Маклаков. — Это мне сказал Протопопов.

Председатель.—Будьте добры вкратце изложить, как это было.

Маклаков. — Это, должно быть, было уже после моего возвращения, 6 — 7 февраля. Я приехал из деревни в Петроград. Тут обо мне справлялся секретарь от министра внутренних дел. Потом министр сам позвонил по телефону и сказал, что он имеет поручение от государя — написать проект манифеста, в случае если государю угодно будет остановиться не на перерыве, а на роспуске. Я это сделал, это письмо было отправлено, должно быть, 9-го. Я приехал к государю с этим письмом и прочел ему. Я очень опоздал, потому что поезд был задержан. Мне было назначено, кажется, в 4 часа, а я приехал в Царское в 5½. Государь куда-то собирался, так что я едва успел прочесть письмо. Он сказал. «Оставьте, я посмотрю»; прибавил, что это на всякий случай, что он еще не знает, как поступить, и что вообще вопрос требует обсуждения со всех сторон. Тут я сказал, что исполнил, и понимаю то, что ему угодно было мне поручить, но что я ни с кем из совета министров не обсуждал.

Председатель. — Что же вы обсудили с Протопоповым относительно содержания?

Маклаков. — Я с ним не обсуждал, я только сказал, что у меня готово. Я никак не мог достать книги, которую издавал совет министров; а мы ею пользовались, когда были манифесты по поводу войны, по поводу Балканского полуострова; эта книга была распространена советом министров, и мне хотелось ее получить, чтобы войти в стиль, — как это пишется. Я написал, принес Протопопову и сказал, что закончил и имею в виду известную ответственность.

Председатель. — Почему вы сами повезли к царю?

Маклаков. — Так мне было сказано.

Председатель. — У вас не вышло какого-нибудь политического разговора на тему дня?

Маклаков. — Нет, потому что государь очень спешил, ему было не по себе, он был очень замкнут в этот день, а я очень опоздал. Они уехали в Павловск.

Председатель. — Какова главная мысль этого проекта? У вас блестящая память, может быть, вы вспомните?

Маклаков. — Не всегда. Вот, с Холщевниковым я неправду вам сказал. Тут основная мысль была в обвинении по отношению к личному составу Думы, что она не сделала того, что, с точки зрения государя, считалось первостепенным: это — вопросы об увеличении содержания чиновничеству, о поднятии его до уровня, соответствующего вздорожанию всей жизни, об обеспечении духовенства деньгами, то-есть содержанием; потом, главным образом,

указание на то, что идет борьба с властью в то самое время, когда всем надо быть воедино; кончается манифест, т.-е. проект, тем, что государь призывает всех верных России и ему соединиться около него и, вместе с ним, помочь ему послужить России. Я теперь точно не могу вспомнить, но канва была такая.

Председатель. — Чем объясняется, что бывший император обратился с просьбой именно к вам?

Маклаков. — Он любил, как я пишу, я думаю, поэтому. Обыкновенно он обращался в этих случаях к Кривошеину, Горемыкину и ко мне. Что Горемыкин писал, я знаю. Потом, Кривошеин нас созвал, когда государь сказал, чтобы совместно обсудить манифест (общение западных славян).

Председатель. — Этим и ограничилось ваше участие в политических событиях того момента?

Маклаков. — Да.

Председатель. — Оглашается письмо от 9-го февраля 1917 года (читает): «Ваше императорское величество. Министр внутренних дел вчера вечером передал мне о повелении вашего величества написать проект манифеста о роспуске Государственной Думы. Дозвольте принести мне вам, государь, мою горячую верноподданническую благодарность за то, что вам угодно было вспомнить обо мне. Быть вам полезным — всегда такая радость для меня, быть вам нужным именно в этом деле — поистине великое счастье. Да поможет мне господь найти надлежащие слова для выражения этого благословляемого мною взмаха царской воли, который, как удар соборного колокола, заставит перекреститься всю верную Россию и собраться на молитву службы Родине со страхом божиим, с верою в нее и с благоговением перед царским призывом. Мы обсудим внимательно, со всех сторон, проект манифеста с Протопоповым, и тогда позвольте мне испросить у вашего величества счастье лично представить его на ваше милостивое благовоззрение. Но я теперь же дерзаю высказать свое глубокое убеждение в том, что надо, не теряя ни минуты, крепко обдумать весь план дальнейших действий правительственной власти, для того, чтобы встретить все временные осложнения, на которые Дума и союзы несомненно толкнут часть населения, в связи с роспуском Государственной Думы, подготовленным, уверенным в себе, спокойным и неколеблющимся. Это должно быть делом всего совета министров, и министра внутренних дел нельзя оставлять одного, в одиночестве, со всей той Россией, которая сбита с толку. Власть, более чем когда-либо, должна быть сосредоточена, убеждена, скована единой целью восстановить государственный порядок, чего бы то ни стоило, и быть уверенной в победе над внутренним врагом, который давно становится и опаснее, и ожесточеннее, и наглее врага внешнего. «Смелым бог владеет», государь. Да благословит господь вашу решимость и да направит он ваши шаги к счастью

России и вашей славе. Вашего императорского величества верноподданный Н. Маклаков».

Маклаков. — Я лично возил это государю, вероятно, 11-го.

Председатель. — Каким образом вы объявляете «сбитой с толку» Россию, которая представлена громадными общественными и народными кругами, объявляете, в сущности, всю Россию внутренним врагом, более опасным, ожесточенным и наглым, чем внешний? Каким образом вы, с вашей же точки зрения, в момент борьбы с врагом внешним, вызываете, в очень резкой и решительной форме, царя на борьбу с врагом внутренним, которым является весь народ? Вы понимаете, что если противопоставить одного всем, то ясно, что это гибельно для одного?

Маклаков. — Я опять прошу внимания к тому, что для меня было ясно. До той минуты, пока этот строй не изменен, не уничтожен, до тех пор он имел силу закона. Как я докладывал, эти документы печатались и распространялись среди членов, и всегда документально было видно, как правильно все было поставлено.

Председатель. — Тут предполагалось ваше возвращение в состав правительства?

Маклаков. — Государь никогда мне об этом не говорил, но вот что я считаю долгом доложить: когда я уехал из деревни на праздники в Тамбов, в мое присутствие приехал фельдъегерь. Я тогда жил в квартире у некоей Ржевской, вдовы старого нашего друга, на Захарьевской, 5. Там я занимал две комнаты. Когда приехал фельдъегерь, он ее разбудил, спросил, где я, и сказал, что у него имеется письмо от государя, которое нужно лично вручить. Ему сказали, что я в деревне; тогда он спросил мой деревенский адрес и просил ее расписаться в том, кто давал этот адрес. Она написала мне письмо в деревню, из деревни письмо переслали в Тамбов. Когда я возвратился обратно, я подумал, что я так или иначе нужен, приехал через день из деревни в Петроград и просил, чтобы государь меня принял. Государь перебил этот разговор и сказал: «Да, да, теперь в этом нужда прошла, я хотел просто вас повидать». Так что единственным показателем (почему я указываю на это) было то, что как раз в вагоне, когда я ехал, я прочел в газете «Русское Слово» заметку, что возвращаются к власти Бобринский, Маклаков и Щегловитов, и что к Маклакову послан фельдъегерь в деревню. Но никогда мне об этом никто не говорил.

Председатель. — Каково было содержание этого письма?

Маклаков. — Я никогда его не получал. Он его не оставил.

Председатель. — О каком письме, за которое вы боялись, идет речь в вашем письме к Нарышкиной?

Маклаков. — Это — за письмо, которое я написал государю в декабре, перед отъездом в деревню, когда здесь разыгрались наиболее кровавые события. Я сам находился на фронте.

Председатель. — Вы говорите о Распутине?

Маклаков. — Да. Тут пошли самые соблазняющие слухи. Разговоры об аресте, подписке на стипендию; уезжая в деревню, я написал совершенно открыто свою точку зрения, что положение для самой династии становится опасным, что руки уже тянутся к престолу, что дискредитируется то, что есть, и что Россия рискует остаться (как я сказал), как купол без креста, потому что монарх от нас уйдет, если у него не будет решительных, определенных, с верой в себя принятых мер; что меры эти должны приниматься советом министров и должны остановить то совершенно анархическое течение, которое поднимается. Письмо это написано, должно быть, 17-го декабря.

Председатель. — Откуда вы писали это письмо?

Маклаков. — Из Петрограда, перед отъездом.

Председатель. — Черновик вы увезли в Тамбов и передали Нарышкиной?

Маклаков. — Да, я дал ей прочесть.

Председатель. — Куда она должна была переслать черновик?

Маклаков. — В Петроград, но я его не получил до сих пор. Я вам близко передал то, что было написано, — это канва.

Председатель. — Что же, вы призывали к решительным мерам против Думы?

Маклаков. — Вероятно, потому что, начиная с ноября, мне было больно видеть то, что происходило: били, не давали встать и опять били, опять били. Потом были события совершенно другого характера. Это стало одним из приемов. Дело само по себе служило не целью, а средством, как я понимал.

Председатель. — Больше вопросов нет?

Маклаков. — Я еще раз очень извиняюсь перед Комиссией.

Иванов. — Скажите, в кассе министерства финансов получаются особые шефские суммы?

Маклаков. — Да.

Иванов. — В каком размере?

Маклаков. — Они находятся в распоряжении министра внутренних дел исключительно.

Иванов. — Это считается как содержание?

Маклаков. — Да. Когда я приехал, я по этому поводу обратился к председателю совета министров, который был также и министром финансов, к Коковцову, чтобы он указал. Там около 36 тысяч, ежегодно раз ассигнованных, идет на разные дивизионы, офицерам, состоящим при министре, на награды; я даже автомобиль на это содержал. Так что это безотчетно.

Председатель. — Содержание или расходы безотчетные?

Маклаков. — Я не сумею сказать.

---

*

LII.

ДОПРОС С. Е. ВИССАРИОНОВА.

17 июня 1917 года.

Содержание: Проведение Малиновского в Государственную Думу. Свидания с Малиновским. Арест нелегального на квартире члена Государственной Думы. Директивы Малиновскому. Отношение власти к деятельности Малиновского в Государственной Думе. Дело Петрова. Убийство Карпова. Биографические сведения о Виссарионове. Допрос анархиста, предлагавшего убить Вильгельма. Дело о побеге из женской тюрьмы. Дело Подфигурного. Имена агентов. Дело Орлова. Откровенники. Генерал Утгоф. Заварзин. Агентура во Владимире.

Председатель. — Мы вызвали вас для того, чтобы дать вам возможность дополнить объяснения по тем вопросам, которые, в виду спешности и неожиданности допроса, были недостаточно выяснены. Эти объяснения написаны вами собственноручно? Г. секретарь, я предъявил г. Виссарионову собственноручное его заявление, представленное заведующему арестантским отделением поручику Чхония 8 июня 1917 г.

Виссарионов. — Я восстановил в своей памяти целый ряд обстоятельств. Позвольте мне коснуться дела Малиновского и дела Петрова. Затем я хотел бы доложить Комиссии дело о побеге из женской тюрьмы и дело Подфигурного; я очень извиняюсь, если неправильно говорю фамилию.

Председатель. — Начнем с дела Малиновского.

Виссарионов. — Первые сведения о том, что Малиновский может пройти в Государственную Думу, стали поступать, если не ошибаюсь, в июле или августе 1912 г. Эти сведения были доставлены полковником Заварзиным. Малиновский был приобретен как сотрудник им и ротмистром Ивановым. От него, насколько я припоминаю, и поступили эти первые сведения. Заместитель полковника Заварзина, полковник Мартынов, вновь подтвердил то, что у Малиновского очень сильны шансы на прохождение в Государственную Думу. Явился вопрос, насколько возможно и осуществимо это предположение. Я не могу с точностью передать,

была ли по этому поводу переписка, или были личные доклады того или другого начальника управления, потому что в 1912 году, как вы изволите знать, было предпринято два выезда директора, министра и его товарища, во время бородинских торжеств, весною и осенью; следовательно, сведения могли быть доставлены Заварзиным лично (я помню, что я получил их от Заварзина и от полковника Мартынова). Но, может быть, были и письменные доклады. Бывший директор Белецкий предложил мне поехать в Москву повидаться с Малиновским. Как я ни напрягал памяти, я никак не мог установить этого очень серьезного для меня факта — какие же давал он мне инструкции по этому поводу? В прошлый раз я находился в очень большом волнении и говорил, что я получил указание, — ехать, навести справки и доложить. Я хотел себя проверить — так ли это было в действительности? Но я не могу сказать, в каком виде я получил инструкцию. Я более чем беспечно, неосмотрительно поступил в этом деле: я не поехал к товарищу министра просить его указаний и не обратился лично к министру. Я прямо поехал в Москву. Я склонен думать, что я поехал по одному словесному предложению, потому что, если бы был ордер, несомненно, была бы подпись или министра или товарища министра, и самый факт выезда должен был быть проведен через департамент общих дел, для уплаты прогонных денег из так называемого путевого аванса. Но этот расход был сделан по распоряжению Белецкого. Было приказано выдать из секретного аванса директора.

Иванов. — Это — аванс в 25.000 рублей?

Виссарионов. — Я не знаю. Обыкновенно я от Белецкого получал суммы для расплаты с Малиновским, рублей в 500. Я ему лично представлял счета. Тут я не могу сказать, из какого это было аванса, так же, как не могу утверждать, какие он дал мне инструкции — проводить ли, не препятствуя, или только ознакомиться. Приехав на место, я действительно виделся с Малиновским. Разговор с ним был обо всех обстоятельствах (я все время старался восстановить это все в памяти), о возможности его прохождения в Думу. Вы изволили предлагать мне вопрос относительно ареста его соперника Кривого. Я не помню, чтобы этот вопрос обсуждался в присутствии Малиновского. Я ничего не желаю отрицать и просил бы, чтобы мне дали возможность принести раскаяние в лице Комиссии пред всем русским народом. Поэтому я ни на одну минуту не беру на себя ни права, ни возможности отрицать, что этого разговора не было. Если полковник Иванов или полковник Мартынов, присутствовавшие при свидании, утверждают и устанавливают этот факт, я готов признать его. Мартынов возбуждал вопрос о возможности приезда Малиновского в Петроград, о его жаловании и о месте, в котором он будет работать, при чем Малиновский прямо заявил, что он не хотел бы рабо-

тать с охранным отделением. Тогда был подвергнут обсуждению вопрос, не следует ли ему работать с департаментом полиции. При чем я сказал Малиновскому, что, может быть, возможно перевести ротмистра Иванова, взяв его в особый отдел, что я доложу директору. Если же это не состоится, он будет встречаться со мной. Я ему дал телефон своей квартиры и просил, в случае приезда в Петроград, звонить прямо ко мне. И вот, когда я сопоставил все эти обстоятельства, я пришел к заключению, что и речи не было о том, чтобы воспрепятствовать прохождению Малиновского, а наоборот, я дал молчаливое согласие, а может быть, и прямо сказал: не препятствуйте его выборам. В этот же приезд полковник Мартынов вручил мне все сведения о судимости Малиновского, но я не помню, были ли в этих сведениях указания, что он лишен всех особых прав и преимуществ за кражи и что он по паспорту своего родственника поступил в Семеновский полк и по этому паспорту проживал. Я никак не мог вспомнить, получил ли я эти сведения в виду поездки в Москву или же я получил их от самого Малиновского во время одного из свиданий. Не смею утверждать ни того, ни другого. Если есть доказательства того, что эти сведения о лишении его прав были, — готов их принять. Но все равно — он был лицом, судившимся за кражи, и, следовательно, ст. 9 положения о выборах не допускала его в Государственную Думу, и я приношу полное раскаяние в своем деянии. Впоследствии я старался узнать, говорилось ли об этих обстоятельствах с градоначальником и с губернатором? И я узнал, что Джунковскому не говорили ничего, но, по утверждению офицеров охранного отделения, градоначальнику говорили. Это обстоятельство я позволяю себе докладывать только потому, что я и себе, и вам дал слово, что я ничего не оставлю в тайне. Но ни настаивать, ни утверждать я не могу. Может быть, они не говорили, и мой оговор был бы самым недостойным в отношении генерала. Каждый раз, приезжая в Москву по делам охранного отделения, я прежде всего отправлялся к градоначальнику, которому обыкновенно говорил, по какому поводу я приехал. Но говорил ли я генералу Адрианову, что Малиновский судился за кражи и что его кандидатура намечается в Думу, этого я не могу утверждать. Возвратившись в Петроград, я представил доклад Белецкому и сопровождал его личной беседой с ним. Я не помню, чтобы я докладывал товарищу министра, а у министра я никогда не бывал с докладом о том, что ездил в Москву. Здесь я считаю свою виновность безграничной, потому что я обязан был искать свидания с товарищем министра или с министром, доложить сведения о судимости, и получить санкцию лица, стоящего много выше меня и Белецкого. Но я, повидимому, ограничился тем, что доложил Белецкому, который мне сказал, что доложит сам. Докладывал он или нет, есть ли какие-нибудь отметки на моем докладе,

я совершенно не помню, потому что обыкновенно доклады не возвращались тем, кто их подписывал. Возвращались только немногие, которые и шли через директора в секретарскую часть. Конечно, если бы я отнесся с большей осторожностью к служебным обязанностям, не было бы того, что произошло. Но я как-то сразу отошел от этого дела.

Председатель. — Вы не хотели добиваться свидания с министром или вы упустили из виду?

Виссарионов. — Я упустил из виду и положился на директора. Я был слишком дисциплинирован, может быть, даже не в меру. Мне достаточно было слова директора: — сделайте, — я доложу, — я переговорю с министром или товарищем министра — и я верил в это.

Председатель. — Вот интересный вопрос: очевидно, вы сейчас стоите на той точке зрения, что вам следовало бы, в виду явных нарушений закона, может быть, несколько погрешая против дисциплины, во всяком случае в порядке подчиненности, все-таки переговорить об этом с министром Макаровым и с товарищем министра Золотаревым?

Виссарионов. — Конечно.

Председатель. — Но вы не утверждаете, что Белецкий не докладывал? Есть какие-нибудь основания думать, что Золотарев и Макаров знали об этом деле?

Виссарионов. — Определенно сказать не могу. Я отошел от этого дела и занимался текущими делами; первое, что через некоторое время меня вернуло к нему, был звонок по телефону на мою квартиру. Это был Малиновский.

Председатель. — Вы не помните, было ли это до открытия Думы или после?

Виссарионов. — Нет, не помню. После этого у меня был разговор с Белецким о том, кто будет вести Малиновского, не передать ли его в охранное отделение? С. П. Белецкий находил, что, так как эта агентура будет центральная, лучше оставить его при департаменте. Он выразил желание сам вести ее и предложил мне участвовать. Я согласился.

Председатель. — Можно считать установленным, что с 1908 г. до Малиновского департамент полиции сам не ведал секретными сотрудниками?

Виссарионов. — Я не знаю, не было ли какой-нибудь агентуры у самих директоров. Сколько я припоминаю, при Зуеве я виделся с одним господином, который приезжал из Америки, чтобы иметь с ним разговор об уплате ему суммы, о которой условился с ним Зуев. Зуев имел его раньше, между ними была переписка. В прошлый раз я члену Комиссии докладывал об этом. Так что сказать категорически, что этого не было, я не решаюсь. Может быть, у них и были какие-нибудь сотрудники, которых я не знал.

Председатель. — А у офицеров корпуса жандармов, которые работали в особом отделе департамента полиции, не было отдельных сотрудников?

Виссарионов. — Едва ли. Потому что они могли иметь их, только оплачивая из средств директора. Может быть, тот или другой директор помимо меня отдавал эту агентуру. Этого я не знаю, и в этом я не уверен.

Председатель. — Пожалуйста, продолжайте дальше.

Виссарионов. — Я согласился и вместе с Белецким стал ходить на эти свидания.

Председатель. — Часто были эти свидания?

Виссарионов. — Насколько часто, я не могу сказать. Вероятно, они все есть в дневниках. Когда я записывал сам, я проставлял число поручения. Приблизительно должно быть в неделю раз, может быть, немножко чаще или реже. Иногда я уезжал, был отвлечен. Если это приписывалось другой рукой, значит, бывал один Белецкий. Его записочки были отдельно. На одном из первых свиданий я познакомил Белецкого с Малиновским.

Председатель. — Есть в департаменте полиции еще другое дело о Малиновском?

Виссарионов. — Едва ли. Может быть, было дело о нем, как о члене партии. У каждой партии был особый отдел, а в отделе, которым заведывал чиновник Курочкин, все эти сведения разрабатывались. Свою тетрадку в клеенчатом переплете я обыкновенно приносил и отдавал заведующему отделом, полковнику Еремину или его помощнику Броецкому, который давал сообщения на места для разработки этих сведений. Фактически главное руководство Малиновским было в руках директора, но иногда директор на эти свидания не являлся (это было, может быть, раз или два, не больше), и я не считаю себя в праве отрицать своего участия в ведении Малиновского. В объяснении своем я написал, что раскаиваюсь в том, что вел такого сотрудника, как Малиновский. Когда Степана Петровича не было, я сам спрашивал Малиновского и сведения его заносил в тетрадку. Малиновский представлял, как я прошлый раз говорил, сведения о жизни фракции, об ее связях, о партийном органе, о связях отдельных членов фракции, о расколе между большевиками и меньшевиками. Приносил письма Ленина, Крупской, человека, также входившего в центральный комитет или близкого Ленину. Не помню, не было ли даже писем Радомысльской. Приносил проекты речей, журналы, отчеты заседаний фракции, планы. После поездки заграницу он дал подробный отчет; давал отчеты о настроении на местах. Говорил о предстоящих выездах членов фракции. Отдельные сведения, которые он давал, я затрудняюсь сейчас доложить, я их не помню. У меня сгруппировалось это все вместе. Но я припомнил одно видное обстоятельство. Он дал один раз в присутствии Белецкого сведе-

ния о том, что в квартире одного из членов социал-демократической фракции, не помню его фамилии, находится нелегальный. Тогда Белецкий, отметив это, позвонил по телефону полковнику Коттену, и Коттен сделал распоряжение о задержании этого нелегального. Был командирован полковник Еленский, который и произвел арест. Разрешите мне вернуться и дополнить доклад свой одним обстоятельством. Когда я говорил о том, как проходила беседа при свидании в Москве, и о том, что я там сделал, я доложил вам, что я не проявил никакой инициативы в смысле отклонения. Но я ведь дал молчаливое согласие, а может быть, даже прямо просил не лишать прав Малиновского. Я не помню этого обстоятельства и готов принять его в таком варианте, который будет установлен.

Председатель. — У вас есть об этом заявление на имя нашей Комиссии. В интересах сокращения времени, может быть, вы передадите это заявление.

Виссарионов. — Если разрешите, я доложу на словах, для меня это будет легче. По своему характеру я никогда по собственной инициативе и на свой страх не повел бы такое дело, как проведение Малиновского в Государственную Думу. Когда я говорил об инструкциях, которые я получил от Белецкого, я докладывал, что не помню, и действительно, не хочу брать греха на душу свою — не помню, что он мне говорил, как это ни важно для меня. Но с другой стороны, по свойству своего характера, я никогда не решился бы повести такое дело на свой страх, и что-то такое несомненно было сказано; то, чего я не могу вспомнить. Разрешите вернуться к этому обыску. По поводу ареста был предъявлен запрос в Государственную Думу. Кажется, выступал товарищ министра Золотарев, и, вероятно, были приготовлены для представления объяснений перед Государственной Думой соответственные материалы по департаменту полиции. Относительно опасности, которая возникала при введении Малиновского, разговоры со Степаном Петровичем у меня бывали.

Председатель. — Какой опасности?

Виссарионов. — Перед его проведением в Думу. Я считал это опасным в том смысле, что это является нарушением закона. Если же обнаружится его действительное положение, то явится, конечно, опасность и в смысле грандиозной неприятности для всех. Кажется, я прошлый раз говорил, что о той же опасности я говорил с товарищем министра Золотаревым. Когда я говорю о том или ином лице, я потом начинаю мучиться сознанием, действительно ли было так сказано, не сказал ли я что-нибудь неосторожно. Относительно Золотарева я должен доложить, что у меня осталась в памяти одна его фраза: «Я не думаю, чтобы социал-демократическая фракция стала подымать шум из-за Малиновского. Это не в интересах партии». Но когда эта фраза была

им сказана, действительно ли в то время, когда он ведал делами департамента полиции, или после того, как он отошел от департамента, когда в правых фракциях поднялись разговоры о сотрудничестве Малиновского? Говорили об этом довольно громко, и слухи стали проникать на газетные столбцы. К Игнатию Михайловичу я заходил; весьма возможно, что разговор в это время у нас зашел о том, что опасно иметь сношения с Малиновским. Я не могу сейчас утверждать, что я говорил с Золотаревым; также может быть, что отдельные сведения, которые давал Малиновский или полковник Еремин, и докладывались Золотареву. Но сказать сейчас, какие это были сведения, знал ли товарищ министра Золотарев все о Малиновском, я тоже сейчас не могу; это было бы с моей стороны большой смелостью.

Председатель. — Давайте называть вещи своими именами. Вы говорите, — вы не помните, говорили ли Золотареву об опасности, возникающей из безвозбранной деятельности секретного сотрудника Малиновского, могущей повлечь за собой возникновение в русской действительности таких деяний, которые, с точки зрения закона того времени, считались преступными?

Виссарионов. — Я не могу установить, что я об этом с ним говорил.

Председатель. — Какие же директивы политического свойства давались вами Малиновскому?

Виссарионов. — Я лично Малиновскому всегда говорил, чтобы он устранялся от какой бы то ни было работы, чтобы он ограничивался ролью осведомителя. Я помню ваше указание на предыдущем заседании, что не может же лидер и член центрального комитета ограничиваться ролью скромного наблюдателя. Я проникнулся этим указанием и действительно я потом установил в памяти, что мы получали бумаги с мест, были перлюстрационные указания или сообщения начальников розыскных отделений, которые указывали на то, что на этих собраниях действительно происходят группировки. Вот это было одно из обстоятельств, которые меня лично тревожили, и я говорил Степану Петровичу, что нам его не удержать от активной работы, что с ним надо расстаться. Говорил ему об этом полковник Еремин, который заведывал особым отделом и который был знаком с этими сведениями. Я помню одно возвращение после свидания, это было уже в министерство Маклакова, когда я опять говорил Степану Петровичу: «Знаете, я не верю Малиновскому. Он и вас проводит и партию обманывает, потому что ведь он никакого руководительства не признает». Он далеко не производил впечатления, что все целиком сообщает, что знает. Я не раз об этом говорил, но Степан Петрович и на этот раз ответил: «Нет, это серьезная агентура: я через него проверяю полковника Коттена. Да и министр очень интересуется фракцией». Когда Малиновский начал работать и стали поступать первые

его сведения, они мне показались довольно интересными. Я думал, что по этим сведениям можно осуществить ту цель, ради которой вообще агентура существовала, т.-е. можно оказать известное давление на фракцию или на отдельных членов ее, для того, чтобы умалить ее значение и уменьшить ее воздействие на рабочие массы и этим предохранить существовавший строй. Но когда я стал читать его выступления в Думе, я пришел к заключению, что нельзя более продолжать работать с ним.

Председатель. — Значит, у вас мелькала мысль о том, что вы при помощи воздействия на него можете воздействовать на массы?

Виссарионов. — Т.-е. мы будем знать, какое положение на местах, и можно будет уменьшить стремление рабочих масс к тем выступлениям, к которым они склонны. Ведь правительство того времени страшилось массовых забастовок. Массовые забастовки были главным поводом, ради которого был организован розыск социал-демократических организаций. Мне тоже казалось, что если будет осведомленность о том, что в этих массах делается, то можно будет заблаговременно парализовать какие-либо выступления, которые могут тревожить спокойствие.

Председатель. — Т.-е. парализовать в смысле арестов?

Виссарионов. — Нет, не только в смысле арестов. Если среди рабочих масс является какое-нибудь справедливое домогательство, это домогательство можно парализовать, воздействуя, в свою очередь, через министерство торговли на предпринимателя.

Председатель. — Но если это — домогательство республики и учредительного собрания?

Виссарионов. — С этим происходила, конечно, борьба. В то время это считалось незаконным.

Председатель. — Но Малиновский проповедывал лозунги учредительного собрания и республики. Приходится признать, что для того, чтобы быть осведомленным, вы шли на активную работу Малиновского, т.-е. шли на распространение и усиление в стране лозунга низвержения самодержавия и требования учредительного собрания и республики.

Виссарионов. — У меня лично никогда этой мысли не было.

Председатель. — Вы инстинктивно смягчаете некоторые выражения. Я бы хотел, чтобы вы совершенно точно и определенно ввели нас в круг вашей психологии. Мне хотелось бы поставить вам вопросы несколько щекотливого свойства: Малиновский был против Думы. Между прочим он стоял на той точке зрения, что работа в Думе недостаточна, что должны быть открытые выступления, и движение должно итти помимо Думы. С этого рода мыслями вы не боролись, и этого рода части проектов его речей вами пропускались?

Виссарионов. — Я лично не пропускал никаких его речей.

Председатель. — Цензура речей его лежала на Белецком?

Виссарионов. — Я его речей не видал совсем. Помню какие-то работы он приносил. Может быть, это был материал для речей.

Председатель. — Не было ли у вас такой мысли, что вы защищаете существующий строй, допуская развиться движению против Думы и вне Думы?

Виссарионов. — У меня не возникало этой мысли. Я вам докладывал: когда я увидал опасность, я об этом сказал Степану Петровичу.

Председатель. —Пожалуйста, продолжайте изложение фактов.

Виссарионов. — В Костроме, кажется, в марте 1913 года я доложил о Малиновском товарищу министра Джунковскому, и у меня осталось впечатление, что генерал Джунковский знает о нем, потому что он ответил так: «Да, с этим господином надо расстаться».

Председатель. — В чем заключалось ваше руководство политической деятельностью этого члена Государственной Думы?

Виссарионов. — Ему давались указания, чтобы он приносил все материалы, узнавал бы планы фракции, выступления, которые имеются в виду.

Председатель. — Конечно, он был блестящим осведомителем, он осведомлял вас о том, что было, но не о том, что сам создавал; но несомненно, у вас не могло не быть мысли о влиянии через посредство этого человека на движение политической работы социал-демократических партий?

Виссарионов. — Конечно, общая мысль была так или иначе в целях отстаивания существовавшего строя уменьшить значение деятельности партии. Вот общая идея, которая руководила.

Председатель. — Что же вы делали в этом направлении, имея в руках такое сильное орудие, как вождь политической партии? Вы желали расколоть фракцию?

Виссарионов. — Да, раскол между большевиками и меньшевиками поддерживался.

Председатель. — Как реализовался раскол фракции большевиков и меньшевиков, какая из этих фракций считалась менее вредящей существующему строю?

Виссарионов. — Я сейчас не могу доложить, какие шли директивы из департамента, но по общему взгляду большевики считались более опасными, чем меньшевики.

Председатель. — Вопрос в том, считались или должны были считаться. Если вы, стоя на точке зрения сохранения общественного строя, все же провели центрального агента, большевика, притом очень активного человека, и если вы позволяли ему ездить в России и заграницей, устраивая собрания, — не утерялась ли при этом ваша отправная точка зрения?

Виссарионов. — Как относился к этому директор, я положительно не знаю. А про себя я могу только одно сказать, что я

никаких в этом отношении мер к подавлению, кроме представления докладов, не мог предпринимать. Я признаю, что это было упущением с моей стороны.

Председатель. — Это было не упущением, а допущением известного порядка вещей.

Виссарионов. — Я ничего не желаю сейчас ни утаивать, ни скрывать; но я на этом не останавливался.

Председатель. — В тетрадочке с речами, которые произносил Малиновский, есть ваши отметки. Я не спрашиваю об объективных фактах, они ясны, но о психологии; вы можете живыми воспоминаниями осветить нам многое.

Виссарионов. — Только теперь, когда вы мне напомнили, что проекты его речей были у меня в руках, я это вспомнил, у меня совершенно это ушло из памяти. Я никогда не стремился к тому, чтобы сознательно допускать Малиновского к произнесению речей против существующего строя; я не отдавал себе отчета в своих поступках.

Председатель. — Давайте, подведем итоги. Какая была общая политика относительно Малиновского? Это имеет интерес не только уголовный, это имеет более общий, исторический интерес.

Виссарионов. — Политика эта проводилась главными руководителями ее. Министр или товарищ министра давали соответствующие директивы директору. У меня же была общая мысль— охранение путем уменьшения влияния на местах. Больше я ничего не имел в виду.

Председатель. — Вы должны дать некоторый психологический ключ; не хватает какого-то психологического момента; то, что вы сейчас говорите, не объясняет того, что было.

Виссарионов. — Повидимому, я просто или не знал или не сознавал того, что проводилось Степаном Петровичем.

Председатель. — Но вы были единомышленны по отношению к Малиновскому?

Виссарионов. — У меня никогда не возникала мысль устроить какой-нибудь процесс, завлечь с.-д. фракцию в такое положение, которое создало бы для нее ответственность. Я совершенно этим делом не занимался.

Председатель. — Какая же ваша политика по отношению к Думе?

Виссарионов. — По отношению членов фракции ничего не предпринималось, кроме наблюдения за ними на местах.

Председатель. — Кроме процесса по 102 ст. членов Думы?

Виссарионов. — Это без меня было, гораздо поздней, я даже не знаю, по чьим это сведениям.

Председатель. — Как укладывался в вашем представлении такой факт: вы руководите Малиновским, а из Москвы получаете сведения, что там съезд фабричных инспекторов и там действует

Малиновский, что он раздает там «Правду», выступает с речами, и что, в конце концов, министр внутренних дел делает распоряжение закрыть съезд из-за Малиновского и его деятельности?

Виссарионов. — Я считаю недопустимыми такие явления.

Председатель. — Или другое явление более крупного масштаба: Малиновский выступает в Думе, и Родзянко получает указание из министерства, что если Дума будет так себя держать, ее придется распустить. Хотелось бы, чтобы вы сами осветили этот вопрос и дали нам психологию этого.

Виссарионов. — У меня не возникало мысли о возможности доставления неприятностей Думе и о роспуске Думы. Я считал бы это для себя совершенно недопустимым.

Председатель. — Передайте нам ваше представление о Малиновском, о партии и т. д. Кто же тут был осведомлен, кроме вас и Белецкого?

Виссарионов. — Степан Петрович сказал мне однажды, что министр интересуется положением фракции; я заключил из этого, что, раз Маклаков интересуется деятельностью с.-д. фракции, значит, он в курсе дела. Я полагаю, что директор был поставлен в необходимость делать доклады министру и товарищу министра. Если какие-нибудь директивы проводились через Малиновского, то едва ли он мог принять все на себя одного. Вероятно, это шло от министра и его товарища. Иногда Белецкий видался с Малиновским и без меня; какие были у них тогда собеседования, я не знаю.

Председатель. — Так что для вас несомненно, что Белецкий действовал с ведома министра?

Виссарионов. — Мне кажется, что в дневнике есть отметки, произведенные рукою директора, о том, что доложено министру.

Председатель. — Вы руководили Малиновским вплоть до его ухода из Государственной Думы?

Виссарионов. — Нет, в начале марта я был командирован в Кострому и участвовал в объезде вместе с товарищем министра Джунковским; по возвращении я видел Малиновского один раз в апреле. 23 июня я ушел из департамента, а Малиновский оставался и уже впоследствии был отпущен заграницу с субсидией в 6 тысяч рублей. Я его не видел с тех пор, как ушел.

Председатель. — Вы ушли 23 июня 1913 года; кто же стал руководить им после вашего ухода?

Виссарионов. — Не могу вам доложить, один ли Белецкий или ему помогал Броецкий, или А. Т. Васильев. Из дневников видно, чьей рукой написано — это неоспоримое доказательство. Может быть, ни тот, ни другой, а Белецкий оставил все за собой.

Председатель. — Теперь о Малиновском все. Что вы хотите дальше сказать?

Виссарионов. — Я бы хотел сказать по делу Петрова. Господин судебный следователь очень многое восстановил в моей памяти. Я вам докладывал в состоянии волнения; теперь я все продумал и могу доложить с большими подробностями и ясностью, чем в то время. Действительно, в 1909 году я, как исполняющий обязанности вице-директора и заведующий особым отделом, не мог не знать, что генерал Курлов задумал освободить Петрова. Цель была осветить боевой центр, потому что, с уходом Азефа, освещения там не оставалось никакого, а между тем опасность угрожала; имелись указания о возможности осуществления террористических актов против кого-нибудь из высокопоставленных особ. Я сначала совершенно упустил из памяти, что Петров был переведен сюда в охранное отделение, что с ним здесь виделся Герасимов. Я сначала предполагал, что Герасимов был командирован в Саратов, но в настоящее время по документам и по воспоминаниям я вижу, что Петров был здесь и здесь был обследован план освобождения его из-под стражи: помещение в психиатрическую больницу и выпуска оттуда. От Семигановского я слышал, что Петров бежал из больницы в том платье, в котором он там находился.

Председатель. — Скрылся к начальнику жандармского управления?

Виссарионов. — Да. Какой был его дальнейший путь, я не могу восстановить в памяти. Я вспоминаю также, что кто-то говорил о том, что Петров помещен в одну из санаторий в Финляндии. В это ли время он находился в санатории или во второй раз, когда он ехал обратно через Финляндию, я не могу сказать. Когда мне следователь предъявил обвинение по второй части статьи 42, я виновность свою признал, потому что я знал о том, что Петров состоит сотрудником. Но с формальной стороны я считал, что от меня распоряжение об освобождении Петрова не исходило: это распоряжение отдал генерал Курлов, в качестве товарища министра и командира корпуса жандармов, а приводил в исполнение генерал Герасимов. Следователь задал мне вопрос, не принял ли я при поездке моей осенью заграницу письма от генерала Герасимова для передачи Петрову. Я это обстоятельство не могу восстановить в памяти. Если с нами поехал Долгов, тот офицер, которому была доверена агентура заграницей, то Герасимов передал письмо ему. Если же Долгов уехал в Париж, где у него была сестра на зубоврачебных курсах, раньше — тогда возможно, что это письмо принял я для передачи. Петров приехал в Париж с явкой, следовательно, был в партии с.-р. Затем он был, по настоянию партии, отправлен в Ниццу для лечения, так как он был болен в то время. Ему посылались деньги департамента, при чем деньги переводились по определенному адресу или передавались через Долгова. Из вышедшей впоследствии книги Петрова «Исповедь» видим, что он эти деньги отдавал партии. Все сведения, которые он в это время

давал, были вымышленные и не соответствовали действительности. От Долгова были указания, что собирается отряд в Петроград для учинения террористического акта, и в этот отряд входит Петров. Полковник Карпов, когда уже возвращался из-за границы, был очень обеспокоен тем, что, кроме него, несмотря на указания товарища министра, свидания с Петровым имеют также генерал Герасимов и Доброскок. Было отдано распоряжение, чтобы эти свидания производились только одним Карповым. Карпов жаловался, что он получил сведения от Петрова о том, что генерал Герасимов на этих свиданиях подговаривает его завлечь так или иначе генерала Курлова.

Председатель. — И Карпова самого?

Виссарионов. — На конспиративной квартире невозможно было без начальника охранного отделения. Вероятно, и Карпова. А между тем партийные сведения, которые давал Петров, не подтверждались. Карпов докладывал все сведения, которые получал от Петрова, министру и Н. П. Зуеву, в моем присутствии. Я на большинстве этих докладов присутствовал. Нил Петрович мне звонил, я отправлялся и слушал эти доклады. Фактическое руководительство Петровым было в руках у товарища министра Курлова. Карпов отличался необычайною доверчивостью . . .

Председатель. — Простите. Меня вот что интересует. Карпов жалуется, что Герасимов подбивает Петрова взорвать Карпова и Курлова. Мимо этого пройти нельзя, это ужасно! Как реагировал на это Курлов, как реагировал Герасимов, как реагировали вы? Расскажите же, что является ключом, разгадкой к совершенно непонятной ситуации?

Виссарионов. — Я считал, что эти доклады слушал сам товарищ министра. Мне лично как-то не верилось в это. В виду того, что партийные сведения, которые поступали, не подтверждались, товарищ министра Курлов сделал распоряжение о постановке наблюдения за самим Петровым; он перестал окончательно ему верить.

Председатель. — Но истребовали ли вы объяснения от Герасимова?

Виссарионов. — Я не видел Герасимова, я с ним не имел никаких сношений.

Председатель. — На меня производит странное впечатление, что такое сенсационное заявление никакой сенсации не вызывает, как будто это в порядке вещей в той обстановке и среди тех людей, среди которых это было сделано.

Виссарионов. — Не могу вам сказать подробно, как тогда на это реагировали.

Председатель. — Прошу вас продолжать ваш рассказ.

Виссарионов. — Карпов был человек очень доверчивый; он в то время говорил, что находится в добрых отношениях с Петро-

вым, что он Петрова нисколько не опасается, что Петров ничего дурного не сделает, что с Петровым настолько хорошие отношения, что он ему буквально во всем верит. Он пошел даже дальше. Он стал говорить, что налаживает конспиративную квартиру и поселит туда Петрова. А если подъедут члены отряда, то и они там поселятся. Но Петров не поехал туда, его вещи были обнаружены в одной из гостиниц или меблированных комнат. Когда разговор заходил при мне, я говорил, что члены отряда едва ли поедут на эту квартиру, да едва ли и сам Петров переселится туда. Так и вышло. Между тем Карпова беспокоило то обстоятельство, что и Доброскок не производит на него впечатления искреннего человека; он тоже добивался свидания с Петровым. От генерала Курлова я лично слышал, что генерал Герасимов имел к нему несколько обостренное чувство, потому что тот обещал ему место начальника штаба корпуса жандармов, и вместе с тем генерал Герасимов желал вести так называемую боевую агентуру и этого места не получил. Сколько я припоминаю, об этом говорил, кажется, и Петров. Относительно Доброскока Карпов желал во что бы то ни стало выяснить, продолжает ли Доброскок ходить на эти свидания с Петровым или воздерживается в виду последовавшего запрещения. Было сделано распоряжение об установлении наблюдения за Доброскоком. Его письма подвергались перлюстрации, а затем были вытребованы два филера из киевского охранного отделения, которые прибыли ко мне, и у меня на квартире их принял Карпов, предъявил им карточку Доброскока и обещал им, что он их пошлет для наблюдения за Доброскоком на следующий день или через день. Как раз в этот же день он поехал на конспиративную квартиру, где и произошел взрыв.

Председатель. — Почему вызвали филеров киевского охранного отделения?

Виссарионов. — Потому что петроградских Доброскок всех знал. Я узнал приблизительно в половине второго ночи от полковника Климовича, который в то время был заведующим особым отделом, что на Выборгской стороне произошел взрыв. Так как Карпов рассказывал нам на докладах у Зуева, что конспиративная квартира снята им на Выборгской стороне, я сразу подумал, не случилось ли что-нибудь с Карповым? Мы с полковником Климовичем поехали на место и при осмотре оказалось, что полковник Карпов убит. У него в кармане были как раз те карточки Доброскока, которые он показывал филерам. В это время приехал туда следователь и товарищ прокурора судебной палаты Глустовский и полковник Конисский, начальник охранного отделения. Полковник Конисский сказал мне и Климовичу, что Доброскок разорвал какое-то письмо. Вот тут и возник у нас с полковником Климовичем вопрос, не следует ли арестовать Доброскока. Климович предлагал его немедленно арестовать, но, переговорив с ним, я

решил, что достаточных данных для ареста Доброскока не имеется. Полковник Конисский все-таки поехал к нему на квартиру и осмотрел его вещи, но в вещах ничего найдено не было. Впоследствии я опрашивал Доброскока вместе с полковником Ереминым, и он рассказал нам, что письмо заключало брань по адресу Карпова.

Председатель. — Кем оно было написано?

Виссарионов. — Не могу доложить вам правильно, Петровым или, вернее, Герасимовым.

Председатель. — На какой почве сложились дурные отношения у Герасимова с Карповым?

Виссарионов. — Я не мог понять, на чем сложились их дурные отношения. Я думаю, что только из недостаточного уважения Герасимова к розыскным способностям Карпова; Герасимов считался в розыскном отношении крупной величиной, а Карпов второстепенной. И затем, сотрудник, которого приобрел Герасимов, оказался в руках Карпова, и Герасимову были запрещены свидания с этим сотрудником.

Председатель. — Вы изволили говорить, что еще раньше взрыва вам было известно, что Герасимов подучивает Петрова взорвать Карпова и Курлова. Карпов взорван. Вы допрашиваете Петрова. Петров вам говорит, что взорвал потому, что подучил Герасимов. Ведь он давал вам такое объяснение? У вас составилось представление, что Петров «искренний человек» и что это дело нужно расследовать. Вы поехали к товарищу министра Курлову и в присутствии Климовича, который был на вашей стороне, докладывали этот вопрос. Как же, имея эти два аналогичные указания, можно было повесить Петрова?

Виссарионов. — Не знаю. Я стоял за то, чтобы возбудить предварительное следствие.

Председатель. — Как высказывался генерал Курлов?

Виссарионов. — Генерал Курлов доложил это дело министру. Вызвали генерала Герасимова, предъявили ему протокол, составленный мною. Тот, конечно, отрицал возможность всего этого, и этим дело кончилось. Я припоминаю, что при обсуждении вопроса присутствовали чины прокурского надзора.

Иванов. — Товарищ прокурора судебной палаты Васильев и прокурор судебной палаты Корсак. И они заявляли, что никаких данных к возбуждению расследования нет. Вы предлагали расследование, и это не было принято на совещании. Кто был за вас и кто был против вас?

Виссарионов. — Все против, кроме полковника Климовича.

Председатель. — И эти представители прокурорского надзора знали, что Карпов говорил о том, что его желают взорвать, и ссылался на Петрова?

Виссарионов. — Я не знаю, говорил ли им генерал Курлов.

Председатель. — Скажите, каким же образом случилось, что такого рода обвинение было предъявлено в частном порядке, а не в порядке предъявления обвиняемому обвинения? Оно было предъявлено Герасимову после того, как благополучно Карпов был взорван и Петров был повешен. Почему раньше не предъявили или не выяснили вопроса?

Виссарионов. — Не знаю. Все, что знал, все доложил товарищу министра.

Щеголев. — Скажите, пожалуйста, а не получил ли Герасимов в это время командировку в Сибирь?

Виссарионов. — Он получил командировку, но только, кажется, не в Сибирь. Я не могу установить даты, но он объезжал целый ряд городов. Он был в Одессе, Киеве, во многих городах.

Председатель. — Вы были на суде при рассмотрении дела Петрова?

Виссарионов. — Да.

Председатель. — Он там повторял свое показание относительно того, что он действовал по наущению Герасимова?

Виссарионов. — Не помню твердо. Его защищал, кажется, Зарудный.

Председатель. — И Кальманович. Откуда взят тот динамит, которым был взорван Карпов? Вы не помните, что Петров вез с собою динамит из-за границы?

Виссарионов. — Нет, не припоминаю, но не хочу отрицать, потому что эти сведения Петров сообщал Карпову, может быть, Карпов говорил мне и Н. П. Зуеву. Но я не помню, чтобы этим самым динамитом был начинен тот снаряд, который взорвался. Разрешите доложить несколько сведений чисто биографического характера, может быть, мои объяснения будут тогда понятнее.

Председатель. — Пожалуйста.

Виссарионов. — После окончания московского университета, в 1889 году, я поступил в уголовный департамент судебной палаты. Сначала был кандидатом, затем помощником секретаря уголовного департамента. Затем был назначен через три с половиной года службы судебным следователем города Бежецка. Там пробыл около года; бывший прокурор Фон-Паркау, когда был назначен прокурором в Вологду, рекомендовал меня прокурорскому надзору. Я отправился в Вологду и отлично себя чувствовал. Добрые отношения были со всеми. В то время было большое переполнение города административно высланными, и у меня со всеми были тогда добрые отношения, когда приходилось видеться по делам и вне деловой атмосферы. Я могу привести такой пример, как празднование нашего университетского праздника 12 января, где присутствовала вся адвокатура, по большей части состоявшая из лиц, потерпевших за политические убеждения. Я был устроителем таких праздников в Вологде. Затем целый ряд прокуроров переменился. И вот

был назначен прокурором Курлов. Это лицо сыграло в моей жизни большую роль (плачет). Около 1902 года я был в очень тяжелом состоянии, так как незадолго перед этим моя жена заболела острым суставным ревматизмом, и я должен был искать выхода из положения. Вологда город болотистый. Оставаться дальше было нельзя. И вот я поехал в Москву и просил перевести меня в один из скромных городов, где я мог бы продолжать службу. Расставался я очень тепло со всеми, с представителями адвокатуры и с сослуживцами, потому что у меня в Вологде со всеми были наилучшие отношения.

Председатель. — Вы в Вологде были товарищем прокурора или следователем?

Виссарионов. — Товарищем прокурора семь с половиной лет. Собственно, я стремился исключительно в Москву. Но эта болезнь жены, уроженки Таврической губернии, поставила меня в очень тяжелое положение. У нее отнялись ноги, она не могла двигаться. Мне нужно было уходить. Я поехал к прокурору палаты Посникову и просил перевести или в Тулу, где был мой отец, или в Рязань. В Тулу он признал невозможным, хотя мой отец имел более, чем скромное положение, он был небольшой чиновник военного ведомства, а в Рязань было назначено другое лицо. И таким образом, я попал в Нижний-Новгород. Это было в 1902 году. Прокурором был Золотарев. И первое, что мне было предложено, это был общий прокурорский городской участок. А когда через несколько дней уехал оттуда Брюн-де-Сент-Ипполит, на меня было возложено заведывание политикой. У меня тяжелая черта характера — она мне наделала много бед: я никогда не отказывался от исполнения того, что на меня возлагалось. Я принял это заведывание политикой. А это были как раз времена Плеве, первые процессы демонстрантов, демонстрации в Сормове и демонстрация, в так называемом, «Садике». На меня было возложено наблюдение за этими процессами. У меня как раз родился ребенок. Положение было очень тяжелое в семье. Но тем не менее, чтобы ускорить движение этого дела, я с полковником Познанским, о котором я в своем докладе упоминал, денно и нощно сидел в Сормове и допрашивал. Процессы были довольно большие. Отношение к той молодежи, которую приходилось привлекать, и к рабочим, которые тоже предстали на суд, с моей стороны, насколько я мог, было самое доброжелательное: разрешал им быть в одной камере по несколько человек, из своей библиотеки, не страшась преследования министерства, приносил А. Н. Кисловой книги Диккенса. В то время было в ходу объявлять голодовки, и эти голодовки, конечно, волновали высших лиц прокурорского надзора, и в то же время доставляли и нам не мало хлопот. Я ехал в тюрьму, беседовал с этими бывшими демонстрантами, с Моисеевым и другими, уговаривал их, потом мы садились вместе в камере и пили чай. За часть таких действий

бывший прокурор Владимирского суда Шаланин был отчислен от должности. Но я хотел, по мере сил и возможности, внести известную человеческую черту в отношении к ним. Наступил самый разбор этих дел. Приехал прокурор палаты Клуген. Были получены сведения, что сормовские рабочие явятся и не дадут доставить обвиняемых в суд. На меня была возложена обязанность крайне тяжелая: ночью так или иначе воздействовать на интеллигентных обвиняемых, для того, чтобы доставить их с рассветом в заседание. Я приехал. Как раз первый разговор был с Малиновским (вы меня простите, что я подробно докладываю, но я полагаю, что вы будете решать мою участь и среди недостатков найдете что-нибудь положительное). Сергей Измайлович не хотел подчиняться этому распоряжению, находя, что нельзя доставлять обвиняемого среди ночи. Он не хотел одеваться. Пришлось воздействовать на его самолюбие и, в конце концов, он принял это предложение. Конвой был отведен, и они были доставлены в суд. В суде им подали чай, были конфекты, словом все возможное было сделано. Это заведывание политикой в Нижнем-Новгороде в течение года и эти процессы сделали то, что идеал каждого прокурора провинциального суда — попасть в Москву — был осуществлен для меня очень дорогой ценой, как показала моя жизнь. Меня перевели, но на меня возложили заведывание политическим отделом и наблюдение за формальными дознаниями. Вот что дало первый толчок и что, в конце концов, меня погубило. Я вошел в круг политических дел. Тогда время было очень тяжелое: 1903, 1904 — 5 — 6 года — три с половиной года я пробыл в Москве, ведая политическими делами. После этого я был назначен прокурором в Ярославль на очень короткий срок — пятнадцать месяцев. Когда я был в Москве, я получил несколько предложений о переходе в департамент полиции. Но судьба еще меня щадила. Первое предложение я получил через ныне покойного моего товарища по гимназии и университету товарища председателя, который был очень близок к Лопухину и передал мне, что Алексей Александрович поручил ему позондировать почву, не согласен ли я перейти в департамент. Я отклонил это предложение. Раньше я с Алексеем Александровичем не виделся и не говорил. Второе предложение, уже на бумаге, когда Трепов был в Петрограде, мне передал Н. А. Макаров, который уходил помощником градоначальника в Москву. Я отклонил и на этот раз. Живя в Ярославле, я увидал, что в должности прокурора очень трудно оставаться: и отношения, и жизнь сама по себе были очень тяжелы. Я получил третье предложение, которое было сделано мне через Павла Григорьевича Курлова — Трусевичем. Я был у Трусевича и Макарова и после 18 лет службы в прокурорском надзоре пошел на нештатное место, которое оплачивалось тогда в семь с половиной тысяч. Когда я перешел в департамент, я попал точно в дремучий лес; с одной стороны, я увидал массу

людей, которые, видимо, смотрели на пришедшего вновь человека, как на человека, берущего у них что-нибудь, хотя я ни у кого ничего не стремился брать. С другой стороны, тот характер работы, который выпал на мою долю, был до такой степени нов для меня, что я подчас затруднялся разобраться в бумагах. Это был какой-то калейдоскоп: одна бумага вытесняла другую, другая третью, со всей России шли бумаги и не так, как в прокурорском надзоре, где можно было работать, то-есть взять дело, рассмотреть и вдумчиво отнестись к нему. Началась новая работа грандиозного и массового характера. Вечные посещения всевозможных лиц, звонки, тревожные телеграммы, разнообразие вопросов, читка дел по закладкам, которые делались другими чиновниками. Затем совсем новые для меня явления: вместо закона — авторитет министров и их товарищей. Я должен был бы, конечно, бежать из этого места, потому что, при таких условиях, работать очень тяжело, но я не имел на это гражданского мужества и оставался. В конце концов, я считаю, что произошел сдвиг. Я приношу раскаяние и поэтому я так подробно докладываю Комиссии. Я начал оправдывать все тем, что то или иное требуется в розыскных целях, а розыскные цели отожествлялись с государственными целями. Вот на этом основании и получались такие явления, как отпущение из-под стражи Петрова. Я думаю, что, начиная с 1908 года, выезжая на места и желая изучить на самых низах это дело, я, в конце концов, на этих низах оставил те требования о закономерности, с которыми я пришел в департамент полиции. Несмотря на желание узнать, как ставится агентура, и прекратить провокацию, я, вероятно, был далек от этого знания не потому, чтобы я не хотел, а потому, что я подходил ко всему слишком наивно и прямолинейно. Я брал дневники агентурных сведений и читал их. Теперь, когда жизнь далеко осталась позади, в течение этих двух месяцев, размышляя о своей прошлой службе и жизни, я пришел к заключению, что работу не так надо было ставить. Надо было посылать на места в тех случаях, когда производилась какая-нибудь ликвидация. Надо было разбираться там, где агентура стояла, как она стояла, — почему эти ликвидации? А я слишком доверчиво относился ко всем, с кем мне приходилось иметь дело. Благодаря этому, сам стал втягиваться в то, что меня, в конце концов, и затянуло. Вы изволите теперь видеть мои доклады, где я с такой наивностью описываю: такой-то сотрудник, с таким-то прошлым. Я уже перестал в то время признавать, что нельзя держать людей с преступным прошлым. Ведь сами мы учиняем преступления, раз мы держим таких людей. Но все это делалось из розыскных соображений, думали, что этим путем можно разбить действия партий, признававшихся наиболее серьезными, и что тогда возможно будет осуществление тех либеральных реформ, о которых помышляли в то время. Я никогда ничего не

скрывал от тех, с кем я работал. Я даже не хотел скрывать своих заметок. Уходя из департамента, я мог взять и сжечь все свои памятные книжки и записки, а я вместо этого принес их и отдал. В департамент я перешел, когда там был товарищем министра Макаров, а затем был назначен Курлов. Курлов ко мне относился очень доверчиво. Я ничего худого от него не видел. Но в то же время он был человеком очень властным, и его приказания мы исполняли точно. Я и Еремин ему докладывали подробно, но после его приказаний мы не делали никаких попыток к изменению чего-нибудь. Разъезжая по различным местам, я знакомился с положением вещей, и, видя очень многих сотрудников, я совершенно незаметно для себя затягивался в дело. Теперь я вижу, что надо было как можно скорее уйти, но я оставался. Мелькала мысль вернуться в судебное ведомство, но я думал, что в судебное ведомство через известный промежуток времени едва ли возможно проситься. И, таким образом, пришлось служить дальше. Я не хочу сказать, чтобы на меня кто-нибудь воздействовал, требуя, чтобы я оставался. Нет, просто недостаток гражданского мужества и мое свойство часто подпадать под влияние людей, которые обладали бо̀льшим характером, чем я. Я, например, с особой благодарностью вспоминаю память бывшего начальника главного управления по делам печати С. С. Татищева. Из департамента я перешел к нему, и время, когда я работал с ним, было для меня очень хорошим временем, потому что он действовал на меня очень благотворно. Но он умер, и произошли всякие перемены. Я был назначен членом совета и опять получал поручения, которые исполнял. Я ни одной минуты не сомневался, что рано или поздно мне придется дать ответ за такое дело, как дело Малиновского, оно меня мучило более всех других. Но я никогда, как вы изволите знать, не пытался ни скрываться, ни бежать, а спокойно ждал своей участи. В один из первых дней, когда на улицах стали раздаваться выстрелы, меня позвали к телефону. Раздался голос из штаба округа, который мне предложил спасаться, так как меня разыскивают по делу, по которому я допрашивал в крепости (я допрашивал только одного — Петрова), и сообщил, что Трусевич уже арестован и что за мной послан автомобиль. Я в тот же день пошел к чиновнику министерства иностранных дел, которому об этом рассказал, и сказал, что я никуда от семьи не пойду, и если будет кому угодно, я готов принять все, что мне полагается. Я считаю, что это постепенное втягивание в розыскное дело сослужило мне печальную службу. Я совершенно утратил способность ясно смотреть на такие явления, по которым вы предлагали мне вопросы, — как, например, перлюстрация. Я даже теперь не могу ориентироваться, в чем заключается моя виновность по делу Шорниковой. Вот до какой степени это дело, которое я добровольно на себя принял, меня затянуло. Во всем этом я теперь

приношу чистосердечное раскаяние и считаю, что в таких сторонах розыска, которые я описывал, было много отрицательных явлений, что департамент, давая те или другие директивы, не был в силах сам противодействовать тому, что происходило, не говоря о том, что в практике департамента многое носило отрицательный характер.

Председатель. — Вы не помните, не допрашивали ли вы человека в крепости, который был уже приговорен. Он еврей, — не то анархист, не то максималист?

Виссарионов. — Да, допрашивал, но я его фамилии не помню. Существо вопроса я вспоминаю, он предполагал произвести убийство Вильгельма, а также произвести взрыв какого-то завода.

Щеголев. — Он ссылался на то, что оказывал услуги в прошлом правительству и выдал нескольких лиц. Он подавал прошение департаменту полиции о представлении на высочайшее имя.

Виссарионов. — Этого я не помню. В одну из последних поездок в Москву я допрашивал его. На меня его слова произвели впечатление чего-то фантастического. Он просил его досрочно освободить и отпустить заграницу; он там найдет сообщников, войдет к Вильгельму и лишит его жизни.

Председатель. — Может быть, вы скажете теперь по делу о побеге из женской тюрьмы?

Виссарионов. — В 1909 году я был командирован товарищем министра Курловым в Москву (кажется, было летнее время) знакомиться с положением агентуры по делу о побеге из женской тюрьмы и доложить ему. Я поехал, ознакомился и установил, что один сотрудник принял близкое участие в этом деле. Кличку или фамилию его я не помню; по предложению кого-то из членов агентуры он сделал ключ к одной из тюремных дверей и этот ключ показал полковнику Коттену. Ключ был передан. Вот тут я не помню, был ли этот ключ при совершении побега пущен в дело или нет. Во всяком случае, он был передан. Полковник Коттен, в ту ночь, когда побег был совершен, не ночевал дома, вследствие чего и не мог прибыть с отрядом на место. Между тем, бежало из тюрьмы десять или двенадцать политических заключенных, осужденных в каторжные работы вместе с надзирательницей Тарасовой и Наталией Климовой во главе. Часть была задержана, а остальные эмигрировали заграницу. Мною было установлено, что этот же сотрудник участвовал вместе с остальными членами организации в осуществлении побега; он не был около тюрьмы, но он сидел на Новинском бульваре и ожидал, когда будут проходить из тюрьмы. Он кого-то из скрывшихся принимал потом к себе. Все эти обстоятельства я вспомнил, причем полковник Коттен чувствовал себя настолько скомпрометированным в этом деле, что желал перейти в Тифлис. Я приехал в Петроград и обо всем подробно доложил директору, как всегда делал, и товарищу

министра Курлову. Курлов доложил министру Столыпину, находя, что никаких дел по этому поводу возбуждать не надо. Так это и осталось.

Щеголев. — Доклад был устный или письменный?

Виссарионов. — Устный. Он говорил, что никакого письменного доклада представлять не надо.

Председатель. — Вы помните, что в связи с этим был посажен на скамью подсудимых целый ряд лиц, судившихся по статье, которая карает каторжными работами? Процесс кончился относительно благополучно, но часть лиц понесла кару. Это дело разбиралось в московском военно-окружном суде.

Виссарионов. — Да, вероятно, раз побег произошел там.

Председатель. — Кто такой этот сотрудник?

Виссарионов. — Вероятно, слесарь. Я вам могу по своим заметкам это показать.

Председатель. — Еще о каком деле вы хотите сказать?

Виссарионов. — Это — дело некоего Подфигурного. Оно меня все время очень мучило. Я ничего не хочу оставлять на своей совести. Я никак не могу сейчас твердо установить, какое я принял непосредственное участие в этом деле, но память мне подсказывает, что я послал телеграмму или бумагу, или делал какую-то отметку на бумаге, отправленной в департамент. Это относится к тому же 1909 году или к 1908 году. Тот же полковник Коттен вошел с представлением о необходимости освобождения и передачи ему сотрудника Подфигурного, я не помню, была ли это кличка или его собственная фамилия. Он был осужден в каторжные работы. Этот вопрос подвергнут был обсуждению в кабинете директора департамента полиции. Мое участие выразилось в том, что я о плане Коттена знал. Впоследствии я узнал от Коттена, что его сотрудник Подфигурный получил свободу и что ему устроен был фиктивный побег со стрельбой в воздух. Он был передан в распоряжение Коттена для освещения боевых организаций. Я видел этого Подфигурного, проверяя московскую агентуру, уже при Заварзине или при Курлове. Коттен, когда перешел в Петроград, взял это лицо с собой. Об этом мне говорил полковник Заварзин, который очень сожалел об этом сотруднике. Через год или через два, в 1911 году или в 1910 году, на одном из докладов у директора Зуева он сообщил мне и полковнику Еремину, что узнал от Коттена, что тот производит в Петрограде проследку отряда, прибывшего для учинения террористического акта, и что в этом отряде находится Подфигурный. Как-то случайно, встретив Коттена в приемной около кабинета директора, я узнал от него, что у него убит серьезный сотрудник, причем он назвал фамилию Подфигурного. Повидимому, Подфигурный был разоблачен и убит, а отряд, по словам директора, рассеялся. Что это было за дело, я не знаю, на докладах Коттена я никогда не присутствовал.

Щеголев. — Не помните вы еще какой-нибудь фамилии?

Виссарионов. — Обыкновенно Н. П. Зуев давал записочки, вероятно, на этой записочке имеются все имена.

Щеголев. — Проследкой кого же занимался этот отряд?

Виссарионов. — Я думаю, кого-нибудь из высоких лиц, министров или высочайших особ.

Щеголев. — Вы знаете имя Кирюхина? Не о нем ли идет речь в одном из ваших московских отчетов, где вы упоминаете, что у сотрудника уголовное прошлое?

Виссарионов. — Это я не помню. Я сейчас доложил, что Подфигурного, кажется, раз видел, проверяя агентуру.

Щеголев. — Сделали эту отметку?

Виссарионов. — Я не могу утверждать, сделал ли, но возможно.

Щеголев. — Фамилия Ян Бродо ничего не говорит вам?

Виссарионов. — Не помню, может быть, видал.

Председатель. — Вы кого-нибудь помните еще из крупных с.-д. или с.-р. сотрудников по России?

Виссарионов. — Фамилии не помню, но, например, в Саратове был видный. Я в отчете его описывал. Он, кажется, работал в земской или городской управе.

Председатель. — В Петербурге на съезде представителей еврейского народа в 1913 году был командирован агент лодзинского охранного отделения «Старый». Вы не помните, кто это такой?

Виссарионов. — Нет.

Председатель. — В Брюсселе в 1913 году был Злобин из губернского жандармского управления из Лифляндской губернии на съезде латышского социал-демократического союза?

Виссарионов. — Нет, я отдельных лиц не помню.

Председатель. — В Вену в 1912 году на социал-демократическую конференцию был командирован сотрудник енисейского губернского жандармского управления Петров. Было всего командировано 3 сотрудника: от енисейского, севастопольского и московского жандармских управлений.

Виссарионов. — Сейчас не помню.

Председатель. — Затем, в 1913 году на потребительский съезд московским охранным отделением был командирован Шульман, на ленинское совещание социал-демократ Мек и на съезд анархических групп заграницей — Кривцов. У вас не остались в памяти отдельные сотрудники?

Виссарионов. — Нет.

Щеголев. — В вашем докладе об упадке политического розыска и о мерах поднятия его вы указывали на необходимость освежения заданий агентуры и на то, что заграничная агентура упала. Припомните, о каких трех заграничных агентах речь идет?

Виссарионов — Это были Загорская, Патрик и Житомирский.

Председатель. — Вы еще упоминали о деле Шорниковой и Пруссак.

Виссарионов. — По делу Шорниковой я не могу даже доложить вам, в чем заключалась моя вина. Я хотел доложить, у меня в памяти еще два-три сведения, но лично своего участия в этом деле я никак не могу восстановить. Приблизительно в 1911 году до меня дошли сведения, что чиновник Дьяченко производит очень конспиративно расследование в военно-морской организации. Я по этому поводу переговорил с полковником Ереминым и спросил директора, что это за расследование, но никаких определенных сведений не было ни у меня, ни у Еремина. Потом оказалось, что это было расследование о тех беспорядках, которые были установлены на учебном судне «Северная Двина». За этим память меня переносит на дело матроса, бывшего на этом учебном судне, «Северная Двина», Орлова. Он был перемещен на судно «Рюрик», после чего к нам стали поступать копии показаний, не помню только, в особый отдел или в 7 делопроизводство. Когда я увидал Дьяченко, я его спросил, что это за расследование. Он отвечал, что производит его по особому распоряжению Курлова и настолько секретно, что и мне никаких сведений пока сообщить не может. И я успокоился.

Председатель. — Вы не помните, какие еще клички были у этого Орлова?

Виссарионов. — Нет, не помню.

Председатель. — Ведь он фигурировал потом в процессе?

Виссарионов. — Да. Когда стали поступать сведения, то я и полковник Еремин пошли к директору, кажется, уже к Белецкому, а может быть, еще к Зуеву. В 1911 году был Зуев, а в 1912 Белецкий. Мы доложили ему, что то положение, которое получается, очень нас беспокоит. Едва Орлов появился на судне, как там появилась какая-то организация, и что если дело дойдет до суда, несомненно, это произведет впечатление, что здесь все это насаждено не без участия Орлова. Наше беспокойство так и осталось без всяких последствий. Я был приглашен к товарищу министра Золотареву на совещание осенью 1912 года (может быть, время неправильно передаю). Здесь был поднят вопрос о том, насколько показания Орлова и объяснения других лиц поставят в необходимость постановки дела на суд. И тогда, я помню, полковник Еремин и я высказывали взгляд, что, если Орлов принимал участие в организации, то, как бы показания других участников ни были убедительны, у суда может явиться предположение, что дело носит искусственный характер. В совещании участвовали: товарищ министра, товарищ прокурора Смирнов, И. К., впоследствии товарищ прокурора петроградской палаты, полковник Еремин и кто-то из жандармских офицеров (я сейчас не помню). В конце концов, было принято решение — дело это поставить на

суд. Суд вынес очень суровое наказание, но все лица были помилованы. Для меня было совершенно неясно, каким образом Орлов был перемещен с одного судна на другое.

Щеголев. — Я хотел бы спросить вас относительно некоторых командировок. В 1908 году вы были в Вологде и в Екатеринославе. В 1909 — в Париже, в 1910 — ревизовали Привислинский край, Одессу, Ковно и Саратов. В 1911 были в Сибири, в Киеве, в 1912 — в Севастополе, в Москве, в Петрокове, еще раз в Москве и в Смоленске. В 1916 году — в Москве, в Рязани, во Владимире, в Николаеве. Я хотел бы вас спросить, какие города произвели на вас, как на человека вновь прибывшего, особенно сильное впечатление такой постановки дела розыска, которая граничит с криминалом?

Виссарионов. — Я помню, что по Сибири отметил целый ряд таких городов; потом по Привислинскому краю.

Щеголев. — Вот по Привислинскому краю вы могли бы сказать, какие явления вас там особенно поразили?

Вассарионов. — Я докладывал в своем объяснении о системе откровенников, с моей точки зрения недопустимой.

Председатель. — В чем заключалась она?

Виссарионов. — Она заключалась в том, как эти сознания добывались. Там был особый отряд, который разъезжал по краю. Начальник земской стражи был Александров. Эти лица брались или в жандармское управление или в охранное отделение, и с ними производились поиски так называемых боевиков. Их водили по различным местам, производили облавы, устраивали обходы. Затем, по их указаниям, выясняли и допрашивали.

Председатель. — Порядок старого московского режима XV — XVI века или даже глубже?

Виссарионов. — В 1910 году дело дошло до того, что в Радоме начальник жандармского управления поселил при управлении несколько откровенников, переодевал их в платье жандармских унтер-офицеров и дозволял им ходить заниматься розыском по улицам. Они там ходили, обыскивали, арестовывали. Это я все описывал в своих докладах. В конце концов, двое из них убили этого полковника. Тогда бывший министр Столыпин и просил поехать меня.

Щеголев. — Там вы и познакомились с деятельностью полковника Заварзина?

Виссарионов. — Я его деятельность вскользь видел.

Щеголев. — А с деятельностью Литвина вам приходилось ознакомиться?

Виссарионов. — По отдельным случаям я не могу помнить фамилии. У него чиновник, содержатель мыловаренного завода, подбросил разряженную бомбу.

Щеголев — Какое впечатление производил Утгоф, как деятель розыскного дела?

Виссарионов. — Генералу Утгофу я много писал. Он был главный руководитель политического розыска в крае. На него это было возложено по закону. Он находился в должности III класса. Тогда был поднят вопрос о том, что он оставит этот пост, но он сохранил его еще на некоторое время, потому что генерал Скалон очень ценил его.

Щеголев. — С Заварзиным вам пришлось встретиться в Москве во время ревизии, и после одной из ревизий Заварзин был из Москвы переведен в Одессу. Какие причины были этого перевода? Пришпоривал ли он агентуру?

Виссарионов. — В начале его деятельности было заметно, что он производит массовые аресты. Я был командирован с генералом Савицким для того, чтобы ознакомиться с этим положением.

Щеголев. — Вам известна инструкция для секретной агентуры, которой пользовался Заварзин в своем охранном отделении?

Виссарионов. — Может быть, я ее видел.

Щеголев. — Не помните ли, не было ли у него инструкции еще в Варшаве?

Виссарионов. — Нет. Я туда приехал, когда там был полковник Глобачев. Я представил два доклада, один был довольно обширный по управлению, другой — маленький доклад, где я указывал на целый ряд отрицательных сторон. Как один из незакономерных приемов, я припоминаю случай введения в камеру подсудимой, под видом ее защитника, чиновника охранного отделения Масона. Он выпытал от нее признание о покушении на жизнь генерала Скалона и затем фигурировал на суде.

Щеголев. — В 1916 году вы были во Владимире. Какие явления показались вам особенно ненормальными? Агентура сама распространяла воззвания. По докладу выходит, что агентура одного района печатала, а агентура другого района распространяла.

Виссарионов. — Трудно было доказать, что лицо, которое выехало с пакетом в Иваново-Вознесенск, получило его от сотрудника охранного отделения. Тем не менее, у меня осталось впечатление, что, если бы охранное отделение проявило большое внимание к этому делу, то прокламации не попали бы на место.

Щеголев. — Сотрудник, от которого вы получили прокламации, была знаменитая Пелагея, которая даже командировалась на съезд?

Виссарионов. — Не было доказано, что от него вывозились прокламации, потому что Пелагея отрицала это.

Щеголев. — В докладе цитируется: «по наружному наблюдению установлено, что этот сотрудник вошел с пустыми руками, а вышел со свертком, с трубкой, которая заключала очевидно прокламации».

Председатель. — Вопросов больше нет.

LIII.

ДОПРОС А. Д. ПРОТОПОПОВА.

14 Июня 1917 года.

Содержание: Дело Хвостова. Комиссаров. Рубинштейн. Манасевич-Мануйлов. Штюрмер. Московские выборы. Неврастения Протопопова. Удержанные Протопоповым документы. Портреты Распутина. Резолюция царя по поводу убийства Распутина. Коллективное письмо царской фамилии об освобождении Дмитрия Павловича. Разговор с царем. «Неловкость».

Председатель. — Александр Дмитриевич, не имеете ли что-нибудь добавить к тем заявлениям, которые вы сделали?

Протопопов. — Бога ради, спросите, что вас интересует, потому что я не знаю. Может быть, относительно дела Хвостова. Я все отлично вспомнил. Когда я принял должность от А. А. Хвостова, он мне сказал, между прочим, что его племянник хлопал глазами, когда он спросил, что это за деньги, и сказал, что это деньги на выборы в Государственную Думу. Он назначил негласное дознание.

Председатель. — А. А. Хвостов сказал это про своего племянника в связи с этим решением? Не знаете, кому было поручено это дознание?

Протопопов. — Теперь я вспомнил — на листочке, который мне показал судебный следователь, не было числа, там было просто — сентябрь.

Председатель. — Ваш блок-нот?

Протопопов. — Это тот листочек, который я показал царю. Там есть слово «прекратить». Против этого я спорил и говорил, что нужно «возбудить», т.-е. возбудить дело о воровстве.

Председатель. — Этих денег? Против Хвостова?

Протопопов. — Да. В этом смысле я мог сказать: «прекратить», т.-е. прекратить негласное дознание. Между прочим, мне хотелось получить те документы, которые у него были, которые касались ареста Добровольского и которые были изъяты из дела после ареста Добровольского. Тут опять мне трудно признаться.

Председатель. — Какого Добровольского?

Протопопов. — Такой был господин у Распутина. В Думе о нем говорили. Я его никогда не видал. Хвостов говорил, что он его арестовал, а затем взял документы. Там между прочим были свидетельские показания, что я обедал с Распутиным. Там был еще Ной Абрамович Гордон. Это меня беспокоило, потому что Хвостов меня этой штукой шантажировал. Он послал ко мне Комиссарова. Это мне запало в душу, было ужасно неприятно.

Председатель. — Вы говорите, он послал к вам Комиссарова. Какую роль здесь играл Комиссаров?

Протопопов. — Он приехал ко мне.

Председатель. — По поручению Хвостова?

Протопопов. — Я так понял. Он мне сказал: «Министр говорит, что он заставит вас прекратить всякие допросы в Думе, ибо есть такие у него сведения». Тогда я на это ответил: «Министр, стало быть, занимается шантажем». Он говорит: «Нет, я так вспомнил это дело».

Председатель. — Вы тогда были товарищем председателя?

Протопопов. — Да.

Председатель. — Каковы же были отношения Комиссарова с Хвостовым?

Протопопов. — Герасимов, Комиссаров — это особая компания сыщиков, которая была при А. Н. Хвостове. Я ее роли подробно не знаю.

Председатель. — Этот эпизод у нас кончен. Не правда ли?

Протопопов. — Кажется, да.

Председатель. — Теперь, скажите, вы помните дело Рубинштейна, в частности, что Рубинштейн был освобожден?

Протопопов. — Помню. Он купил на 500 рублей цветов и послал их Распутину.

Председатель. — Совершенно верно. Он был освобожден по настоянию Распутина. Вы не можете ничего сказать о роли Штюрмера в освобождении Рубинштейна?

Протопопов. — Об этом со Штюрмером я никогда ни слова не говорил. Я только слышал, что Рубинштейн послал цветы Распутину, и говорили — какую глупость сделал Рубинштейн, зачем это делать, зачем заявлять? Потом он послал цветы Вырубовой, если не ошибаюсь.

Председатель. — До вас доходили сведения о роли Манасевича-Мануйлова в этом деле и об участии Штюрмера в освобождении Рубинштейна? Об отношениях — Манасевича, Штюрмера, Рубинштейна?

Протопопов. — Когда я писал показания, мне было сказано комендантом: — «Пишите про ваших соседей, про Штюрмера». Потому я и написал про Штюрмера, а больше я ничего не знаю. Манасевича я считал шантажистом и вымогателем, — изменником я его не считал. Когда вы меня спросили в первый раз: «А что

сделал русский министр?» — я ответил искренне: «Поверил своему товарищу». А товарищ мне сказал точно те слова, которые я пишу. Мне Штюрмер постоянно говорил относительно ареста Манасевича: «Это мое личное дело, меня подсадили на этом, подвели; как же сделали, не предупредив меня? Ведь это же скандал, ведь это травля». Я ему сказал, что травли я не допущу, травли не будет. Он мне советовал сместить товарищей, особенно Степанова. Он предупредил царя и два раза мне сказал: «Что же вы его не уберете?». Я говорю: «Оставьте, он мне нужен».

Председатель. — Тогда до вас не доходили сведения о попытке Манасевича получить миллион рублей с Рубинштейна для себя или для Штюрмера?

Протопопов. — Я это слышал. Много говорили, что Штюрмер нечист на руку и что Манасевич ему дает часть денег, которые он вымогает.

Председатель. — Вы не помните, кто этот слух передавал?

Протопопов. — В Думе постоянно говорили, что он нечист на руку, а затем не помню, кто еще говорил.

Председатель. — Вы не производили по этому поводу никакого расследования?

Протопопов. — Нет.

Председатель. — Позвольте и этот вопрос считать исчерпанным. — Будьте добры рассказать о вашем отношении к выборам в московскую городскую думу. Помните о сношениях, которые были с Котлецовым, бывшим городским головой, о выдаче ему субсидии в 30 тысяч?

Протопопов. — Я по этому делу ровно ничего не знаю.

Председатель. — По этому частному вопросу, а по общему о московских выборах — вы знаете?

Протопопов. — Знаю, что туда ездил Невианд, чтобы следить за этим делом. Невианд — это человек, который состоит в распоряжении производящего выборы по России товарища министра Анциферова. Невианду были даны 15 тысяч с целью дать каким-то выборным организациям, но он их не дал и вернул. Затем, второй козырь, который был в руках правительства, это были переговоры с какими-то квартиронанимателями.

Председатель. — Вероятно, с домовладельцами и арендаторами?

Протопопов. — Да. Тут какие-то переговоры шли.

Председатель. — Не шли ли эти переговоры через Невианда?

Протопопов. — Безусловно через него.

Председатель. — Какое же еще было участие министра внутренних дел в этих выборах?

Протопопов. — О 30 тысячах я не знал. Они были кассированы на том основании, что инструкция была утверждена мини-

стром внутренних дел, обжалована по жалобе какого-то присутствия очень небольшим числом голосов и отправлена в сенат, где, кажется, одним голосом это прошло. Потом я написал туда о неправильности утвержденной мною инструкции.

Председатель. — Вы написали, что министр внутренних дел признал неправильными свои действия?

Протопопов. — Я сам виноват и никого не хочу винить, но дело в том, что надо было кассировать выборы, чтобы произвести вторые, ибо говорили, что первые произведены чрезвычайно лево.

Председатель. — Кто говорил, что произведены чрезвычайно лево?

Протопопов. — Говорили все, и я сам находил, что это необыкновенно крайне. Помилуйте, там, кажется, Астров был председателем.

Председатель. — Разве это так страшно?

Протопопов. Ничего нет страшного, я теперь не боюсь, а тогда боялся, мне казалось, что это ужасно.

Председатель. — Скажите, почему вы все-таки волнуетесь? Надо вам успокоиться.

Протопопов. — Я не знаю, я, должно быть, не совсем здоров. То, что сегодня со мной было, это третий день. У меня неврастения и продолбление черепа, это даром не проходит. Я не знал, что я истерик, а это полная истерия. Я слышу звуки, слышу какие-то голоса, ясно, ясно слышу, как в гипнозе. Я не помню, о чем я говорил, но волновался и говорил.

Председатель. — Вы бранили Бехтерева.

Протопопов. — Я его ужасно браню.

Председатель. — Разве Бехтерев действительно вас гипнозом лечил?

Протопопов. — Два раза в неделю, в течение двух лет. После моей болезни (у меня неврастения была), от которой Бадмаев не мог вылечить, Бехтерев мне очень помог, он меня быстро поправил, давая мне облатки с кодеином. Я давно наблюдал, что на меня находило полосами такого рода состояние, и такие подъемы у меня бывали. Те слова, которые я слышал, я их обязательно повторю. Я чувствую, что меня Бехтерев испортил, он меня приучил, это безусловно гипнотическое влияние. Я сегодня не притворялся. Правда, двигательная мысль была — уйти из этой крепости, уйти из этой грязи, в которую я попал. Возьмите дело Хвостова — почему я удержал эти документы?

Председатель. — Какие вы имеете в виду документы?

Протопопов. — Те, которые мне А. А. Хвостов передал. Было два листочка, один больше, другой поменьше, четвертушка. Я ясно помню, и никаких там не было синих карандашей. 980 тысяч и 390 тысяч.

Председатель. — Что же это такое?

Протопопов. — Деньги, которые были взяты на выборы в Государственную Думу. Это снова Хвостов и Писаренков. Я их взял.

Председатель. — На каком основании вы взяли?

Протопопов. — Так как они взяты на выборы в Государственную Думу.

Председатель. — По поводу этих 980 и 390 тысяч А. А. Хвостов вам говорил, что это дело рук его племянника?

Протопопов. — Да, он говорил. Я знал, что его опрашивали. Я его не хотел видеть, но мне хотелось получить документы.

Председатель. — Те, которые должны были компрометировать вас лично и кого еще?

Протопопов. — Безусловно царицу, потому что Распутин, царь и царица — это все вместе.

Председатель. — В чем заключались эти документы?

Протопопов. — Этого я не знаю.

Председатель. — Вы знали о существовании их через Комиссарова? Вы говорите о двух суммах — 980 и 390 тысяч в связи с этими листочками, — что же там было написано?

Протопопов. — На одном 390 тысяч и несколько фамилий, а на другом 980 тысяч и больше ничего.

Председатель. — Что же было сказано об этих 980 тысячах?

Протопопов. — Сбоку, а не внизу написано Писаренковым: «На подлинном рукой Хвостова написано: рассмотрено его величеством».

Председатель. — На чем, на подлинном?

Протопопов. — На подлинном отчете.

Председатель. — Не отчете, а докладе; это доклад о получении денег.

Протопопов. — Да, это доклад государю. 980 тысяч и пустое место. Рукой министра написано: «Доложено». Это написано Писаренковым.

Председатель. — А относительно другого листочка?

Протопопов. — Там ровно ничего нет. 390 тысяч без расписки в получении, потом фамилии.

Председатель. — Вы не помните фамилий?

Протопопов. — Думские помню — Крупенский, Замысловский, Марков, Барач, Алексеев.

Председатель. — К какому же времени относятся выдачи этим лицам?

Протопопов. — Не помню.

Председатель. — Когда же вам передал А. А. Хвостов?

Протопопов. — 17 сентября. Он говорит: «Вот, что натворил мой племянник; я его вызвал, спросил, он только хлопает глазами; я назначил негласное расследование, но делайте, как хотите». — Вот буквальные его слова. Вот почему я негласное

дознание не продолжал — потому что у меня отожествлялось дознание с получением документов Добровольского.

Председатель. — Тогда нужно было продолжать, я логически не понимаю вашего вывода.

Протопопов. — Потому что те бумаги, которые передал мне Хвостов, относились к деньгам, следовательно, не к документам, и я хотел прекратить дело об искании денег.

Председатель. — Деньги не искать, а за документами тянуться?

Протопопов. — Государю нельзя было сказать: «Государь, надо прекратить» или «надо вести», потому что он может поступить наоборот. С ним всегда надо было быть осторожным. Так как я считал, что это дело может наделать скандал, то я эту штуку ему подсказал: «Ваша воля, государь». Он говорит: «Какая гадость, какой скандал».

Председатель. — Т.-е. скандал вы оба видели в чем?

Протопопов. — Что украл министр деньги.

Председатель. — А во-вторых, что у него есть документы. Это вы докладывали?

Протопопов. — Я о слухах думских не докладывал. Показал Вырубовой повеления бывшего царя или царицы, затем портреты Распутина с массой дам. Письмо, будто бы, было у Хвостова, о котором знал Крупенский. Я царю сначала не сказал, потому что было неловко при первом докладе это сделать, потом я ему, кажется, сказал, хотя присягу в этом не приму, но 80% за то, что я сказал. Пуришкевич распространял фотографии Распутина в 9 тысяч экземпляров — Распутин посредине и масса публики кругом.

Председатель. — Стол, и на столе вино, балалаечники и монах какой-то.

Протопопов. — Да.

Председатель. — Почему вы знаете, что он распространял в 9 тыс. экземпляров?

Протопопов. — На обороте карточки, которую мне прислали из Царского Села, вероятно, по поручению царицы через Вырубову или Воскобойникову, там было написано — 9 тысяч экземпляров. Затем было письмо Вырубовой, которого содержания я не знаю. Затем Пуришкевич распространял письмо государю от царской семьи по делу Дмитрия Павловича об убийстве Распутина, где была резолюция государя: «Никому не дано убивать безнаказанно».

Председатель. — В каком это письме такая резолюция?

Протопопов. — В коллективном письме царской фамилии об освобождении Дмитрия Павловича. Я государю сказал: «Пуришкевич распространяет письмо с вашей резолюцией». Сказал, что имеется письмо, компрометирующее государыню. Это я очень хорошо помню, как я сказал. Присяги не приму, но

80%... помню, что я ему это сказал. Почему я это сказал? Правда, вспоминаю, было три абзаца. Первый абзац — портреты Распутина. Второй абзац — повеление через Вырубову, третий — письмо. У Пуришкевича было два абзаца. Первый абзац — портреты. Второй абзац — письмо государя и третий абзац я прибавил — вот это письмо Вырубовой. Теперь откуда я слышал, что он делает? Помнится, мне говорил об этом Марков 2-й.

Председатель. — Я думаю, что мы на сегодня покончим. Заседание закрывается.

Протопопов. — Виноват, у меня очень важная вещь. Я утверждаю, я уверен в том, что государь что-то знал про Хвостова. Я говорю вот почему.

Председатель. — В смысле каком, денежном?

Протопопов. — Да.

Председатель. Так что, когда вы докладывали, он уже знал?

Протопопов. — Да, это было так. Вот я сижу (показывает), а государь, где вы сидите. И вот я говорю ему про довольно серьезное политическое движение, которое в то время было на юге, помнится в Ростове. Я говорю: «Вообще, государь, это вещь очень тяжелая в настоящее время, быть на должности министра внутренних дел. И только теперь я понимаю, насколько тут необходим верный человек». Вот буквально, что я ему сказал. Тогда он воззрился на меня. Я почувствовал неловкость. От этой неловкости я совершенно инстинктивно говорю: «Один Хвостов сколько сделал вреда». Он на меня так посмотрел, что я осекся. Это факт, и оттого я ему не сказал об этом. При этом нужно сказать, что царь бывший, он ужасно мало говорил. Он был очень мил, любезен. Но про дела никогда не говорил сам. Он скажет: «Да», «Так», «Я думаю». Но он ужасно каждое слово берег. Он очень был осторожный на словах человек, очень осторожный.

LIV.

ДОПРОС С. П. БЕЛЕЦКОГО.

21 июня 1917 года.

Содержание: Записка правых 1916 года с планом на случай революции. Борьба Трепова и Протопопова. Положение правых в конце 1916 года. Планы Протопопова. Объяснительная записка. Положение Белецкого. Маклаков и Протопопов. План дальнейшего письменного показания Белецкого. Очерк личности и карьеры Протопопова с замечаниями о Штюрмере, Манасевиче-Мануйлове, Татищеве, Щегловитове, Ширинском-Шихматове и др. Протопоповские предреволюционные планы и мероприятия. Отношение Белецкого к политике и революции. Растерянность Протопопова. Бланки для роспуска Думы. Протопопов — «агент». Просьба Белецкого.

Председатель. — Вы еще не окончили вашей работы?

Белецкий. — Нет, меня немножко отвлекает допрос следователя.

Председатель. — Я попрошу вас дать нам разъяснения вне очереди, по части денежной; я в Комиссии об этом вас спрашивать не буду, а вы удалитесь с одним из г.г. наших наблюдающих и ему дадите разъяснение. Я же задам один общий вопрос: не известен ли вам документ, который я оглашу. (Читает): «Так как в настоящее время уже не представляется сомнений в том, что Государственная Дума при поддержке так называемых общественных организаций вступает на явно революционный путь, ближайшим последствием чего, по возобновлении ее сессии, явится искание ею содействия мятежно настроенных масс, а затем ряд активных выступлений в сторону государственного, а, весьма вероятно, и династического переворота, надлежит теперь же подготовить, а в нужный момент незамедлительно осуществить ряд совершенно определенных и решительных мероприятий, клонящихся к подавлению мятежа, а именно: I. Назначить на высшие государственные посты министров, главноуправляющих и на высшие командные тыловые должности по военному ведомству (начальников округов,

военных генерал-губернаторов) лиц, не только известных своей издавна засвидетельствованной и ничем не поколебимой и незаподозренной преданностью единой царской самодержавной власти, но и способных решительно и без колебаний на борьбу с наступающим мятежом и анархией. В сем отношении они должны быть единомышленны и твердо убеждены в том, что никакая иная примирительная политика невозможна. Они должны, кроме того, клятвенно засвидетельствовать перед лицом монарха свою готовность пасть в предстоящей борьбе, заранее на сей случай указать своих заместителей, а от монарха получить всю полноту власти. II. Государственная Дума должна быть немедленно манифестом государя императора распущена без указания срока нового ее созыва, но с определенным упоминанием о предстоящем коренном изменении некоторых статей (86, 87, 111 и 112) основных законов и положения о выборах в государственный совет и Думу. III. В обеих столицах, а равно в больших городах, где возможно ожидать особенно острых выступлений революционной толпы, должно быть тотчас же фактически введено военное положение (а если нужно, то и осадное) со всеми его последствиями до полевых судов включительно. IV. Имеющаяся в Петрограде военная сила в виде запасных батальонов гвардейских пехотных полков представляется вполне достаточной для подавления мятежа, однако, батальоны эти должны быть заблаговременно снабжены пулеметами и соответствующей артиллерией. В Москву должны быть отправлены некоторые из этих же батальонов, а в столицы и крупные центры, кроме того, поставлены те из имеющихся запасных кавалерийских частей, кои являются наиболее способными. Все находящиеся в отпусках или командировках либо числящиеся эвакуированными офицеры гвардии должны вступить в ряды своих батальонов. V. Тотчас же должны быть закрыты все органы левой и революционной печати и приняты все меры к усилению правых газет и к немедленному привлечению на сторону правительства хотя бы одного из крупных умеренных газетных предприятий. VI. Все заводы, мастерские и предприятия, работающие на оборону, должны быть милитаризированы с перечислением всех рабочих, пользующихся так называемой отсрочкой, в разряд призванных под знамена и с подчинением их всех законам военного времени. VII. Во все главные и местные комитеты союзов земств и городов, во все их отделы, а равно во все военнопромышленные комитеты и во все содержимые сими учреждениями заведения, мастерские, лазареты, поезда и проч. должны быть назначены в тылу правительственные комиссары, а на фронт коменданты из эвакуированных офицеров для наблюдения за расходованием отпускаемых казною сумм и для совершенного пресечения революционной пропаганды среди нижних чинов со стороны личного состава, который должен быть подчинен указанным агентам пра-

вительства. VIII. Всем генерал-губернаторам, губернаторам и представителям высшей администрации в провинции должно быть предоставлено право немедленного собственною властью удаления от должности тех чинов всех рангов и ведомств, кои оказались бы участниками антиправительственных выступлений, либо проявили в сем отношении слабость или растерянность. IX. Государственный совет остается впредь до общего пересмотра основных и выборных законов и окончания войны, но все исходящие из него законопроекты впредь представляются на высочайшее благоусмотрение с мнением большинства и меньшинства. Самый состав его должен быть обновлен таким образом, чтобы в числе назначенных по высочайшему повелению лиц не было ни одного из участников так называемого прогрессивного блока». Одним словом, это — целый громадный план не только обороны, но и нападения.

Белецкий. — Скажите, там подписи нет?

Председатель. — Нет.

Белецкий. — Я уже об этом писал.

Председатель. — Время определяется содержанием этой записки?

Белецкий. — Вероятно, это относится к другому периоду. Я считаю, что в декабрьском периоде таких посланий от влиятельного правого кружка не было. Была лишь та записка, которую я вам дал. Это есть отражение кружка Римского-Корсакова, а эта записка, я потом вспомнил...

Председатель. — Может быть, вы просмотрите?

Белецкий. — Нет, нет. Я более или менее знаком со всеми начинаниями в этой области. Если бы это к декабрю относилось, то здесь не говорилось бы о необходимости введения в Петрограде и Москве такого положения, выделения двух столиц в особую административную единицу, потому что уже в эту пору, как вы сами хорошо знаете, по желанию Протопопова, было осуществлено в Петрограде осадное положение. Уже в начале января была особая записка Протопопова, и Петроград был выделен в особую административную единицу и подчинен не генералу Рузскому, которому не верили верхи, в особенности Протопопов, а ставке; это было желание Протопопова и Щегловитова. Эта записка относится к периоду более раннему, к тому периоду времени, когда Штюрмер был председателем совета министров и когда правые круги, считая его носителем своих пожеланий, составили в кружке Римского-Корсакова особую записку государю о необходимости общего изменения курса политики. В ту пору, вы помните, было первое выступление антидинастического характера в Государственной Думе. Это было фактическим последствием того политического салона, который обсуждал политические вопросы. Этого я коснулся в своих записках.

Председатель. — Штюрмеровского кружка?

Белецкий. — Да. Штюрмер этой записки государю своевременно не представил. Он боялся, что она не отвечает тому либеральному настроению, которое было отмечено в его декларации. Я коснулся и этого вопроса. Тогда записка эта второй раз была отпечатана и передана князю Голицыну. Князь Голицын, от себя, отвез в последние дни Штюрмеровского премьерства и передал ее. Князь Голицын был товарищем государыни, заступающим ее место в обществе оказания помощи нашим военно-пленным заграницей, и пользовался особым доверием. Он, по своим убеждениям, когда я встретил его в первом департаменте правительствующего сената, всегда тяготел к более умеренному правому, консервативному кружку, а не к крайнему правому. Он постоянно принимал участие, редко выступая сам лично, но присутствуя и поддерживая начинания, во всех политических слоях, в которых и мне приходилось бывать. Вот тогда князь Голицын взял на себя передать эту записку государю. Это было как раз в последние дни Штюрмера, правые это поставили Штюрмеру в особую вину и поддержки ему не оказали. Дальнейшее время будет время Треповской политики, которая тоже нисколько не отвечала пожеланиям правых; но это было время перелетное: время деятельности Протопопова и Трепова, время борьбы; Трепов, в конце концов, был побежден. Тогда острые события сменялись одно за другим. Так что эта записка обрисовывает события последнего времени, но была написана немножко раньше. В сущности, события того времени, антидинастическое выступление против императрицы в Государственной Думе, история с Распутиным, озлобление против правительства,— все это уже показало ярко позиции двух направлений. Только нерешительность правительства, борьба за местничество из-за личных интересов, помешала провести сразу то, что в записке намечено. Петроград уже в эту минуту был выделен в особую единицу. Имелось в виду сделать его гораздо более сильным, поставить в зависимость от ставки. Таких кружковых собраний правых почти не было. Это было время даже некоторого недовольства и на Щегловитова среди правых фракций государственного совета, за пополнение государственного совета; время раздробления сил правых организаций. Они разбились на маленькие кружки, их деятельность совершенно не получала отражения. Единственно два человека имели влияние — И. Г. Щегловитов и А. Д. Протопопов. Протопопов послал государыне, для отправки государю, свою особую записку. Я не знаю, нашли ли ее при аресте, по всей вероятности, копия этой записки есть. Это исходило от него лично. Конечно, в духе крайних правых пожеланий, потому что Протопопов тогда совершенно перешел на правую сторону, и курс своей политики вел в этом направлении.

Председатель. — При чтении этой записки я убедился в том, что здесь имелась в виду не только оборона против возможной

революции, но что реакция готовилась даже перейти в наступление.

Белецкий. — Да, должно было быть так, по ходу событий. С того момента, как Государственная Дума ярко показала свое направление, обвиняя государыню императрицу в государственной измене национальным интересам России. Я только считаю, что Протопопов сделал массу нерешительных шагов, свойственных его характеру и воспитанию, которое он вначале получил. В сущности говоря, он имел в виду более широкий план. Он имел сведения о деятельности Керенского, о деятельности всех групп рабочих, о том движении, которое шло в нашем гарнизоне. Так что в руках Протопопова сведения имелись, он об этом постоянно говорил государю, но только государь не хотел верить. Протопопов говорил, что государь не хотел верить, что войска могут стать на революционную точку зрения. Что касается бокового освещения в войсках, то Протопопов хотел создать (я не знаю, взяты ли эти документы путем обыска, они имелись в департаменте полиции) боковое освещение не только гарнизона, но и частей, находящихся на театре военных действий. Так что напрасно думают, что правительство об этом не знало. Но у него не было лиц твердых, которые могли бы перейти на путь осуществления борьбы, а борьба была бы не на жизнь, а на смерть.

Председатель. — Правительство, значит, теоретически готово было итти?

Белецкий. — Я лично, в эту минуту, из доверчивого человека, который шел навстречу каждому, перешел на другой путь. Я отдавал себе оценку и разбирался в людях. Резолюция государя...

Председатель. — Вам известны были резолюции государя?

Белецкий. — Нет, я знал, что они существуют. Я знал, что, несмотря на все стремление Вырубовой и других лиц, государь последние две недели имел в виду привлечь меня к работе. До того времени, я знал великолепно, хорошо знал характер государя, хорошо знал свое положение, знал общую конъюнктуру и т. д. Для меня было ясно, что Протопопов сделал первую ошибку политическую именно тем, что произвел незначительные аресты, не имеющие никакого значения, с моей точки зрения, и назвал это заговором против государства. Это была первая ошибка. Если нужны были аресты, то надо было действительно взять Керенского, Скобелева и других лиц, членов Государственной Думы, видных деятелей и т. д. Одним словом, нанести решительный удар, а он перешел на полумеры, которые вызвали обратное соотношение сил и привели к неизбежному кризису. Вам известно то заседание совета министров, в котором сам совет министров просил Протопопова отказаться?

Председатель. — Да. Поэтому я и думаю, что это началось в декабре. Объяснительная записка начинается со слов: «Будет ли

собрана Государственная Дума в январе, будет ли она вновь распущена»...

Белецкий. — Словом, как раз на этой точке зрения стали все лица, которые понимали положение страны.

Председатель. — Вы говорите, что эта записка была лично князем Голицыным представлена государю через государыню. Она была выработана в кружке Корсакова или в другом?

Белецкий. — Да, в кружке Корсакова.

Председатель. — Так что она примыкает к той записке, которую принесла ваша супруга?

Белецкий. — Это вторая записка, как бы подтверждающая необходимость плана такой политики в каждом отдельном ведомстве; это — разъясняющая записка. А первая записка — крупная политическая.

Председатель. —Почему вы знаете, вы ведь не принимали участия?

Белецкий. — Нет, я не принимал участия. После моего выступления по делу Ржевского против меня была вся правая фракция государственного совета. Затем был принят целый ряд мер, которые касались меня лично; затем просьба моей жены, которая все время опасалась моего сношения с Распутиным; все это заставило меня уйти от работы, дать возможность утихнуть всяким разговорам в связи с этим. Затем, приехав в сентябре, я начал постепенно возобновлять свои старые знакомства, восстановлять связи с влиятельным правым крылом государственного совета, но у меня, конечно, оставались другие знакомые, с которыми приходилось работать, много людей, которые принимали участие в этих заседаниях.

Председатель. — Вы почерки хорошо знаете, будьте добры посмотреть, кто это написал карандашом? (Передает Белецкому бумагу.) У меня есть некоторое предположение, но я хотел бы знать ваше мнение.

Белецкий. — В камере у меня очки остались, зрение у меня испортилось (рассматривает бумагу).

Председатель. — Я думаю, Н. А. Маклаков.

Белецкий. — Да, очень возможно. Это — в его духе.

Председатель.—А какую роль Маклаков стал играть в январе?

Белецкий. — Маклаков был одним из кандидатов, более или менее серьезных, на пост председателя совета министров, министра внутренних дел и министра по принятию решительных мер, решительного удара. Он два раза вызывался государем. Летом вызывался со своей дачи, об этом как-то попали в прессу сведения; потом осенью и зимою был у государя.

Председатель. — Ему было поручено написать манифест.

Белецкий. — Я знаю. Он еще, кроме этого, вызывался. Государь был к нему очень милостив. Он, в сущности, так сказать,

сумел расстаться с государем. У него сохранились старые связи, хорошее впечатление, хорошее отношение с государыней. Но Протопопов вел войну и против Маклакова, хотя наружно поддерживал сношение домами и т. д. Так что, если Маклаков не получил назначения в последнее время, то только благодаря Протопопову; но он в то время был очень силен.

Председатель. — Вы в своей записке даете общую характеристику политики Протопопова?

Белецкий. — Я до Протопопова не дошел. Я дошел до отчетной части. Оканчиваю второй период своей жизни. Отчет пока отложил. Вчера меня вызывал следователь по делу Бейлиса и просил представить к завтрашнему дню объяснения. Я немножко волновался, но, тем не менее, дал обещание составить объяснение; я сижу и пишу свои показания по делу Бейлиса.

Председатель. — Но вы сумеете сосредоточиться на вашей основной работе? Вы не отвлекайтесь. Мне все-таки хочется сосредоточить ваше внимание на вашей записке.

Белецкий. — Я дошел до Штюрмера, описал его кружок, его отношения со мною. Дошел до либеральной речи, которую ему Гурлянд составлял. Теперь придется писать второй период моей встречи со Штюрмером, уже в качестве частного человека, когда я приехал осенью. Потом немножко коснусь Трепова, его ухода.

Председатель. — Первый период деятельности Протопопова считается незначительным?

Белецкий. — Я коснулся всего времени Протопопова. Частью его коснулся, когда описывал Спиридовича. Так что я заканчиваю записки эпизодами, которые именно интересны. Интересно его отношение к еврейскому вопросу, это уже будет второй период деятельности Протопопова. Он со всеми играл игру—и с друзьями, и с противниками. Играл игру и наверху против Александры. У него игра была общая.

Председатель. — И запутался?

Белецкий. — И в конце концов, довел вот до чего.

Председатель. — Может быть, вы дадите краткий очерк политики Протопопова?

Белецкий. — Если позволите, я вам несколько слов скажу. Я еще специально над этим вопросом не думал. Я, когда пишу, составляю заметки, план, дополняю тем, что подсказывает память. У меня теперь будут отдельные воспоминания. С Протопоповым я лично был знаком давно, когда я был непременным членом по крестьянским делам. По одному вопросу я был послан в Симбирскую губернию в 1905 — 1906 г.г. Тогда мне пришлось познакомиться с корсунским уездным предводителем дворянства. Симбирская губерния — стародавняя дворянская губерния, там были сплоченные дворянские интересы. Во главе дворянства стоял Поливанов, который умел объединить дворянство, заставить губерна-

тора считаться с пожеланиями дворянства и с пожеланиями земских кругов более или менее консервативного свойства. Там только некоторые были земства с направлением более либеральным, например, ардатовское. Во всяком случае, политика дворян была умеренно-либеральная. В этот период времени Протопопов находился под администрацией. Ему по наследству перешло громадное поместье, которое было взято под администрацию; но в эту минуту завод его начал функционировать, и здесь обнаружилось его отношение к рабочим. Оно было в ту пору твердым, он даже выступал против митинговых ораторов. Он вел дело в духе, так сказать, твердой политики, просил содействия администрации и т. д. Затем, когда пошли уже либеральные веяния, они на нем отразились: он перешел в кружок более либеральных деятелей и выставил свою кандидатуру в Государственную Думу. В Государственной Думе мне пришлось встретиться с ним в качестве вице-директора департамента и вместе с ним принять участие в разработке страховых законов. Это было первое русское социальное законодательство по рабочему вопросу; оно очень живо интересовало и рабочие круги, представителем которых являлся Керенский, и промышленные круги. Промышленники, обещав в 1905 году массу уступок рабочим и даже выступая с запиской в комитете, они в минуту, когда курс стал более твердым, когда жизнь вошла в свою колею, резко перешли на другую позицию. Когда обсуждался социальный закон, вызванный их пожеланиями — позиция их была такова, что я, вице-директор департамента полиции, должен был итти на защиту рабочих интересов против интересов промышленников. Протопопов был товарищем председателя. Он вошел в контакт с промышленниками и должен был держаться политики примиряющей, что могло удаться при его умении ладить и при той позиции, которую он занимал в Думе. Это было знакомство наше более или менее деловое, оно повлекло за собою не только обмен визитов, но и обмен визитов семейных. У него очень милая жена, неглупая женщина. Дальше Протопопов попал в Государственную Думу и перешел на либеральную почву; он в ту пору был камер-юнкером; затем П. А. Столыпин произвел его в действительные статские советники, как уездного предводителя дворянства, но забыл его назначить камергером. Это была одна из систем обращения на путь правых лиц, уклоняющихся в сторону либерального течения. Это, конечно, сразу заставило Протопопова переменить политику, так как он имел положение в среде дворянства. Я был переходным человеком. Фалинский, я и он, мы думали о насаждении рабочей прессы, которая, не будучи строго консервативной, отвечала бы более или менее умеренным интересам рабочего класса. Это есть учреждение крестьянского социализма. Они предлагали материальную помощь от правительства для органи-

зации этих кружков, но так как деньги были, то надобности в этом не встретилось. У Протопопова было стремление как-нибудь вступить в ряды правительства, и стремления его были не так честолюбивы, как вначале. В то время, когда я был сенатором, среди придворных кругов раздавались голоса, очень сильно поддерживающие кандидатуру князя Волконского на пост министра внутренних дел, а так как государь его знал и даже называл «Володя», а жена его очень милая женщина была подругой вел. княгини Ольги Александровны, то у него были основания. Это была борьба Маклакова и Волконского. Протопопов хотел сделаться только директором канцелярии министра внутренних дел — вот какое скромное желание. В период военных действий, когда война уже была объявлена, Протопопов вошел в коммерческую жизнь и, здесь, благодаря Шуваеву и благодаря тому, что он вступил в массу банков, у него горизонты сделались шире, и его желания уклонялись в сторону поста министра внутренних дел. Когда я сделался товарищем министра, Протопопов находился в хороших отношениях с Родзянко; я через Протопопова имел сведения о том, зачем едет Родзянко, и, имея в своем распоряжении думскую агентуру, широко поставленную, имел всегда возможность дать материал. Затем я знал, благодаря ему и благодаря своей агентуре, о том, что говорилось по приезде в совете старейшин, среди наиболее излюбленных членов Государственной Думы, близких к Родзянко, и в интимном кружке думских деятелей. Это дало мне возможность указать Анне Александровне, какую помощь оказывает Протопопов в такие минуты. Это совпало с большой дружбой министра торговли и промышленности Шаховского, который имел в виду пригласить его на пост товарища министра. С Распутиным Протопопов еще не был знаком. Когда устроились свидания с Анной Александровной, явилась необходимость познакомиться с Распутиным. Так как Протопопов лечился у Бадмаева, который был хорош с Распутиным, так или иначе проникал во дворец и принимал некоторое участие в интимных беседах, ведя конспиративно свою политику, то Протопопов, благодаря Бадмаеву, заинтересовался личностью Распутина. Затем я говорил Распутину о Протопопове. Кроме того, у Протопопова была одна старушка, княгиня Тарханова, которая делала ряд обедов и свела его с Распутиным. Протопопов, приехав летом из-за границы, захотел представиться государю. Чтобы быть министром торговли и промышленности, он воспользовался тем, что князь Шаховской находился на Кавказе, производил ревизию и обзор кавказских источников, и выступил против него с рядом статей в газетах, кажется, в «Новом Времени» и еще в какой-то. Пошли разговоры, и приехавшие из Петрограда лица говорили, что положение князя Шаховского поколебалось, так как Распутин недоволен, что он не исполнил его просьбы о производстве в коммер-

ции-советники некоторых лиц. Во всяком случае, Распутин Протопопову помогал. Затем Протопопов был у меня все время, пока у меня шел процесс борьбы с А. Н. Хвостовым, и я ему говорил, что мы делаем. Так что ему были известны некоторые особенности характера и жизни Распутина, которых я не скрывал. Поэтому в своих сношениях с Распутиным он не был новичком, из тех, которые обманывались, которые сходились с Распутиным, считая его за простого человека, и на этом попадались.

Председатель. — Вы написали нам о Распутине?

Белецкий. — Я столько написал, что мне даже ночью снится, сегодня целую ночь был кошмар.

Председатель. — Но вы можете нам давать объяснения?

Белецкий. — Пожалуйста, я уже примирился и решил очиститься от всего. Я говорю, что он знал Распутина, знал его характер, как к нему приступить; знал его денежную слабость, так что шел наверняка. Затем, свойство его характера, воспитание, которое он получил в иезуитской коллегии в Париже, наложило на него особую печать. Это человек умный и хитрый, он умел подойти, он знал, как сделать. Распутин, безусловно, отнесся к нему доверчиво и все время оказывал ему содействие. Когда князь Шаховской вернулся из своей поездки, не окончив обзора на Кавказе, он здесь сам нанес несколько довольно сильных ударов Протопопову, имея старые, хорошие связи при дворе, имея поддержку, как это ни странно, в двух кругах — и в распутинском, и в кругах, идущих против Распутина — у генерала Нилова, который его очень любил и был против Распутина. Дни Нилова уже были сочтены, потому что Протопопов против него шел. Так что Шаховской удержался, но все-таки Протопопову удалось устроиться министром внутренних дел. Для меня его назначение было совершенной неожиданностью. Меня не было дома, он говорил с моей женой. Когда она мне передала, я думал, что он будет министром торговли и промышленности, но что он будет министром внутренних дел, я не думал, так как я его стремлений в этом направлении никогда не видел; как министр торговли и промышленности, он мог бы затушевать свои отношения с Распутиным, а как министр внутренних дел он невольно в своей политике должен был проявить свои взгляды и взгляды той партии, с которой он был в Думе. Поэтому когда я сделал ему ответный визит, он это открыто сказал за три недели до назначения. Я сказал, что его положение в Думе будет опасное, потому что, принадлежа к партии октябристов и оставаясь членом Государственной Думы, он не может пойти на поворот направления, которое в настоящее время диктуется всеми событиями, иначе, против него поведет политику правое крыло Государственной Думы и все правые кружки, и, как он ни силен в настоящее время, у Распутина всегда можно найти способы его свергнуть, а Анна Алексан-

дровна тяготела к правому крылу; так что в этом отношении его политика будет тяжелая. Но он сказал, что сумеет угодить. Это было видно, когда он говорил с некоторыми членами — Керенским и графом Капнистом, что он откажется от некоторых влияний и что он будет вести политику в этом направлении. Когда я говорил: как же вы будете итти со Штюрмером? оказывается, Штюрмер с ним сошелся. Он даже вызывал его к себе, благословил его на поездку к государю маленьким образком и устроил молебен по случаю его вступления, когда оно было опубликовано. Тут Горелов, редактор «Биржевых Ведомостей», давал ему массу советов. И я давал совет, если он хочет сохранить известные позиции в Думе, что для него важно, как для министра внутренних дел, и все-таки не отходить от своей партии, сделать маленький поворот направо и отмежеваться от Штюрмера. Но он в эту минуту находил поддержку у Штюрмера и хотел при помощи Штюрмера закрепиться наверху. Это и было погибелью. Когда он начал говорить с прессой, я увидел, что он хитрит. Потом я увидел из газет, что он отмежевывается. Я предоставил ему итти его путем и сразу увидел, что он взял неправильный тон в своих разговорах с прессой: о том, что он политикой не будет ведать, что политика будет находиться в руках председателя совета министров, этим он уронил себя в Государственной Думе. Тут начались поиски — как Протопопов мог сделаться министром внутренних дел без придворных связей? Его знакомство со Штюрмером сразу против него многих восстановило и насторожило против него правых. Меня интересовали его отношения к Замысловскому, Маркову и правым фракциям Государственной Думы на почве денежных субсидий для поддержания правой прессы. Здесь роль партийного деятеля ярко противополагалась роли министра внутренних дел, дающего известного рода фонд на поддержание и укрепление в стране правых начал, противоречащих партийным лозунгам других партий. Вначале он просил меня взять на себя роль посредника: он будет давать мне деньги, а я буду передавать, но я не счел себя вправе вмешиваться в это дело и от себя его отшатнул, однако, я передал Замысловскому и Маркову, чтобы они не беспокоились, что Протопопов будет продолжать вести с ними те отношения, которые утвердились до него. Так что те успокоились. Затем мне стало известно, благодаря Комиссарову, что Протопопов очень сильно считается с советами Курлова. Курлов был его товарищ, они вместе были в Юридической академии, но Протопопов академии не окончил, а Курлов окончил. Отношения продолжались все время. Всякий раз Протопопов просил меня, чтобы я как-нибудь привлек Курлова к работе. Однако, в виду моих старых отношений с Курловым, основанных на убийстве Столыпина, у меня с ним отношения были холодные, так что я всегда несколько

отстранялся кроме оказания материальной поддержки из секретного фонда, по поручению министра. Так что я совсем отошел и начал следить за всеми действиями Протопопова. Я в ту пору сошелся с Распутиным и был близок к Анне Александровне, правые, с которыми мне приходилось встречаться во многих домах, мне говорили, и я сам видел, что Протопопову хотелось привлечь меня на какую-нибудь роль, чтобы не вооружить против себя. С другой стороны, он думал, что я могу как-нибудь перехитрить его или подвести, как это было с Хвостовым. Такая его игра со мной и обещание примирить государя с моим именем длилась очень долго, до той минуты, когда возник процесс Манасевича-Мануйлова. Они запугали несколько Распутина, государыню и Анну Александровну тем, что Манасевич-Мануйлов много знал из интимной жизни. Штюрмер имел неосторожность свести его с Анной Александровной и дал ему возможность, посылая его к ней, говорить с нею, хотя я предупреждал, что этого нельзя делать. Так что Штюрмер отвел ему довольно широкую роль (хотя потом спохватился) и дал возможность ловкому человеку укрепиться при Анне Александровне. Благодаря тому, что владыка постоянно был к нему милостив, Манасевич многое знал из политической кухни того времени. Безусловно, преступление его, личное его обвинение могло повлечь за собою обнаружение эпизодов, которых так жадно искало общественное мнение. Единственным человеком, который мог влиять на него известным образом, они считали меня, потому что Манасевич долгое время работал при мне и как бы слушался меня. Поэтому Анна Александровна и Протопопов начали меня убеждать, чтобы Манасевич изменил свою позицию, когда будет на суде давать свои показания, обещая ему в будущем то или другое. Затем просили, чтобы я подействовал на министра юстиции Макарова, чтобы он прекратил это дело. Но так как дело было начато не при Макарове, а досталось ему в наследие от Хвостова, Макаров не счел себя вправе пойти на такие просьбы, хотя они и исходили от императрицы, и остался в деле Манасевича и Сухомлинова непреклонным в своей линии — дела эти поставить на суд. Но Макаров говорил, что он понимает скандальность, и примет соответствующие меры к тому, чтобы неотносящееся к существу обвинения Манасевича, по возбужденному против него Хвостовым делу, было отброшено, чтобы предметом судебного разбирательства было только его дело. Вот что единственно обещал Макаров. Это Анну Александровну и Распутина не успокоило, они добились ухода Макарова, о чем я его своевременно предупредил. Последовало распоряжение Штюрмера о приостановлении дела (как вам известно), передано Макарову, и Манасевич был выпущен на свободу. Уже выйдя на свободу и поправившись от нервного удара, он, вместо того, чтобы послушаться совета, который я и Анна Александровна

дали — выехать подальше от Петрограда, остался здесь и думал, что ему отныне снова удастся играть роль, какую он играл раньше. Но в эту минуту Протопопов сумел убедить Распутина, что Манасевич нервно-больной человек, он убедил в этом и Анну Александровну, та смотрела на него, как на человека болезненного. Дело возбудило известный общественный интерес к причине приостановления процесса; в силу этого обстоятельства Добровольский, поставленный Распутиным и хотевший процесс прекратить, должен был дать ему ход, потому что общественное мнение этого требовало; таким образом, процесс этот вылился в судебное разбирательство.

Председатель. — Вернемся к Протопопову.

Белецкий. — Тогда Протопопов обратился ко мне с двумя просьбами: одной, исходящей от императрицы, чтобы Манасевича удержать от оглашения чего бы то ни было; затем, чтобы его несколько задержать по выступлениям, лично задевающим графа Татищева, тем более, что Владимир Сергеевич, с которым Протопопов был в хороших отношениях еще в полку и был связан некоторыми коммерческими делами, может быть, имел какие-нибудь виды на него в будущем.

Председатель. — В смысле министра?

Белецкий. — Я не думаю. Мало зная Хвостова, он увлекся проспектом будущего назначения на пост министра финансов, был как младенец в руках Хвостова и поставил себя в глупое положение, последствием чего и является этот процесс. Я видел, что ему ужасно тяжело фигурировать на этом процессе, рассказывать историю отношений и т. д. Он переживал свою личную тяжелую драму. Мне видно было, что этот человек пережил все и дал бы много, чтобы этого дела не было, потому что ему не нравилась постановка дела Хвостовым, несколько провокационного характера. Затем его беспокоило возбуждение дела о государственной измене и даже произведенный обыск. Может быть, и были какие-нибудь коммерческие предприятия, которые делали несколько рискованным его положение как председателя; но, чтобы Татищев мог пойти на измену России, я бы не мог поверить, потому что знал его и знал его семью. Я знал со слов Резанова, довольно откровенно со мной говорившего, что юридически нет состава преступления по 108 статье, и сказал, что обыск был сделан с целью найти ящик хвостовских документов, который Татищев мог держать в тайниках банка, в связи с бумагами Распутина. Но это не могло служить поводом к обвинению по статье 108. Единственным человеком, который мог поговорить с Батюшиным, повлиять на Батюшина и помочь графу, был я. Вот тогда, силою необходимости, Протопопов открыл мне все карты и сказал, что он будет мне всецело помогать. Действительно, как по щучьему велению, ко мне переменилось отношение

государя, и сразу зашел разговор о привлечении меня к работе переходной: я, под влиянием жены, стремился уйти в провинцию, на то же самое место, которое имел. Тогда имелось в виду дать мне переходное — дать мне заведывание контр - шпионажем в ставке или наблюдение за ходом следственных действий комиссии ген. Батюшина. Но это не выливалось ни в какую реальную форму. Во всяком случае, из многих разговоров и отношений многих придворных знакомых чинов, я видел, что есть некоторый поворот. Потом мне лично программа Татищева была понятна. Граф говорил относительно материальной поддержки, которую ему пришлось оказывать семье Распутина, по просьбе Протопопова.

Председатель. — А именно?

Белецкий. — Кажется, 100 тысяч, что-то довольно крупное. Протопопов все время наверху говорил в это время, что имеет 5 миллионов состояния, Макаров говорил — 8 миллионов, как и Хвостов. Вначале они хотели показать государю, что они пошли на это место, действуя по преданности династии, а не по каким-нибудь другим соображениям. Тогда Протопопов читал мне некоторые записки, которые представлял государю императору. В этих записках Протопопова была очень заметна связь его со Щегловитовым. У них всегда были совещания, где он принимал широкое участие в усилении правого крыла государственного совета, идя совершенно против пожеланий, которые исходили от правых кружков, относительно состава государственного совета. Тут Иван Григорьевич давил на него своим, так сказать, умом; в этих записках я видел отражение многих его взглядов. Записки были написаны против Думы, потому что для Протопопова Дума была — зарез, потому что каждый день заседания Думы мог окончиться большим скандалом. Силою обстоятельств, Протопопов должен был уйти так или иначе; он только тогда бы мог оставаться, если бы Дума, хотя бы на время, была распущена; тогда начать разговоры о выборах в Государственную Думу. Его пожелание было больше. Он хотел полного роспуска Государственной Думы и начала новой избирательной кампании, желая отвлечь политические страсти от Петрограда и армии, перенести весь центр борьбы на места, создать там свою борьбу за местные интересы по выборам в Государственную Думу; Петроград же в эту минуту поставить в более изолированное положение, усилить состав гарнизона привлечением таких кадров, которые уже испытаны в своей преданности династии, и повести твердый курс правительственной политики вправо; в эту самую минуту иметь широкий надзор за армией; вот его пожелание. На это государь не пошел. А так как государь все время глубоко верил Алексееву, после смерти Распутина несколько отшатнулся от всего того, что было здесь, и снова привлек Алексеева, который одно

время был в падении, то Штюрмер и Протопопов в этот период боялись новых влияний Алексеева, а через него — А. И. Гучкова, с которым он был в хороших отношениях. Поэтому все внимание Протопопова и Штюрмера было направлено на возбуждение некоторой подозрительности государя к генералу Алексееву. Это последние его, так сказать, начинания. Но тут много эпизодов, которых я коснусь потом.

Председатель. — Таким образом, вы говорите, что Протопопов все-таки хотел, чтобы избирательная кампания в новую Думу была начата; между тем, позиция этой записки — уничтожение Государственной Думы?

Белецкий. — Это — позиция правых. Позиция Протопопова была совершенно другая.

Председатель. — Вы сейчас говорили и по другим данным можно судить, что Протопопов совершенно сблизился с правыми. Ведь правые одно со Щегловитовым, а Щегловитов был с Протопоповым?

Белецкий. — Это надо несколько знать кружок правых. Щегловитов — человек, который мог, так сказать, в некоторые моменты жизни поступить иначе. Я рассказывал историю дела сотрудницы Шорниковой. Он мог совершенно меняться. Иван Григорьевич был партийный человек постольку, поскольку это отвечало его желаниям. Когда нам нужно было, он сделался председателем монархического съезда. Это был человек другого склада. В эту минуту он был человек политической практики, а не идеологии, как тот кружок, который собирался у князя Ширинского-Шихматова. Это нечто иное. Ширинский-Шихматов — человек чистый в смысле исповедывания им идеи. Он любил государя, был приверженцем самодержавия, таким и остался. Князь Ширинский-Шихматов сказал, что воззвание верховного главнокомандующего есть воззвание царя. Он резко пошел против течения. Это был человек совершенно другого склада. Есть люди идей, есть люди политической практики. Иван Григорьевич был человеком политических страстей и борьбы. Вот почему сошелся Протопопов с Щегловитовым. Оба они в политическом отношении беспринципны. Он правых учитывал постольку, поскольку они нужны. Одновременно с этим он подавал записку государю, чтобы привлечь на свою сторону еврейские круги, дать евреям, если не равноправие в полном смысле слова, то право свободного жительства. Как вы это совместите? Бывало, например, он чуть не целуется с Маклаковым, и в то же время ведет кампанию против Маклакова наверху. Он в одно время идет с правыми и стремится дать самостоятельность евреям. Эта записка, которая опубликована в Москве, была продиктована желанием привлечь евреев на свою сторону. И в то же время он готов на другие реакционные шаги. Это был большой поли-

тик. Он находил в каждый момент те или другие приемы, которые отвечали его желаниям в данную минуту.

Председатель. — Вы не вполне правды. Та записка, которую прислала ваша супруга, была препровождена Ширинским-Шихматовым Протопопову, а Протопоповым, через Анну Александровну, в Царское.

Белецкий. — Это ничего не значит. Он должен был, в силу необходимости, показать, что он близок к ней. Иначе он не нашел бы поддержки. Это — единственная поддержка, которой он должен был искать. Раз он разошелся с Государственной Думой, то должен был укрепиться в государственном совете. Все это было сделано Иваном Григорьевичем. Второй раз Распутин приехал к Ивану Григорьевичу. Так что тут все шло к этому. Для него это была оппозиция; ему нужно было, чтобы правое крыло государственного совета, более или менее к нему милостиво относящееся, было известным противовесом настроению, идущему на него из Государственной Думы.

Председатель. — Как же Протопопов относился к повороту назад, к изменению основных законов?

Белецкий. — Эта записка Протопопова мне не была известна. В этом направлении Протопопов резко пошел бы против.

Председатель. — В той записке, которая была в двух экземплярах, все направлено в сторону законосовещательной Думы.

Белецкий. — Это было среди правых. Они смотрели на Думу, как на орган законосовещательный.

Председатель. — Вы изволили сами сказать, что это так. Если бы революция, под влиянием слабых ударов, только возбуждавших, не перешла в наступление, то в наступление перешла бы реакция.

Белецкий. — Есть люди, которые способны только вступать на путь паллиативных мер. Протопопов именно такой человек. В сознании известного момента он неспособен переступить грань и быть решительным в своей политике. Конечно, есть люди, которые могут быть демагогами, но Протопопов не такой человек, это человек совершенно другого склада. Я рассказывал, например, я знал, что он великолепно знает Керенского, что у него имеются сведения помимо Керенского, и другие лица мне об этом говорили; и вдруг все это оканчивается тем буфом, про который мне стыдно было узнать, стыдно было утром прочитать в газетах. Когда я прочитал, что это есть заговор (Комиссаров живой свидетель, он может сказать), я говорю: «Неудачный ход, у Протопопова козыря выбивают из рук». Вот мои слова, когда я прочитал об этом.

Председатель. — Это ликвидация?

Белецкий. — Простая ликвидация, которая не имеет никакого значения, которую мог сделать начальник охранного отде-

ления, но смешно назвать ее бунтом и заговором. Конечно, это можно сказать государю, который не знает тонкости дела, и крестьянину какому-нибудь, который не понимает, но человек такой, который понимает, какой-нибудь член Государственной Думы, партийный работник, который великолепно понимает, — они посмеются. Я глубоко убежден, первый, кто посмеялся, был сам Керенский. Первый, кто понял, что правительство слабо, была та же самая оппозиция. Протопопов в эту минуту не отвечал своему назначению. Это был человек полумер, неспособный на решительные шаги. Это был двуликий Янус, показывающий в одну сторону один образ, а в другую — совершенно другой образ. Я уверен, если бы была соответствующая обстановка, он готов бы подойти к Керенскому, обнимать его, как раньше, просить его о чем-нибудь. Вот какое положение.

Председатель. — Так что вы считаете, несмотря на внешнее сближение Протопопова с правыми. . .

Белецкий. — Это была политика. Там были идеологи известные, которые шли по определенному пути. Я, например, знал, что ко мне немилость государя была два раза, но я относился с чувством любви; повторяю, что и теперь отношусь с чувством личной любви к нему. Я позволю себе сказать в эту минуту, как бы я ни пострадал. Есть люди, которые воспитаны в известном направлении. Я мог совершать ошибки, действовал плохими средствами, но я преследовал известные цели, у меня было нечто свое, за что я могу уважать себя. Но есть люди, которые ставят политику выше всего. Ивана Григорьевича возьмите; когда он говорил о том, что я уже прежде сказал, насчет процесса Шорниковой, мы с Корсаком переглянулись. Мы не могли представить, что Иван Григорьевич мог перемениться.

Председатель. — Манифест, который сочинял Маклаков, есть резолюция этой программы?

Белецкий. — Манифест этот не прошел. Я имею гражданское мужество говорить об этом свободно, потому что считаю это своим долгом: сумел грешить, сумей и ответ держать. Много было грехов. Я говорю, если Маклаков стал на эту позицию, Маклаков понимал его игру. Маклаков не считал его министром, отвечающим положению. Но Маклаков не мог бороться с ним, потому что Маклаков был гораздо честней. Маклаков мог говорить смело государю, и говорил. Даже иногда говорил государю и о том, что надо совершенно переменить политику. Это — человек, который говорил ясно то, во что он верит, к чему стремится и т. д. Что же касается Штюрмера, — возьмите тот эпизод, когда он написал свою записку, программную речь, составленную Гурляндом в либеральном тоне. Я говорил: «Нельзя так. Этому никто не поверит. Россия не может поверить, что вы не будете озлоблять общественное мнение. Это Думу не успокоит и, во

всяком случае, не вызовет сочувствия. Говорите о патриотических порывах государства, о готовности пойти дальше для продолжения войны. Это все красиво. И дайте возможность пожинать лавры военному министру. Но вам никто не поверит в том, что вы будете поддерживать либеральный курс. (Там политика была довольно широкая.) Как же вы будете тогда бороться с известным настроением?» Он говорит: «Я этими руками своими, крепкими, в бархатных перчатках, сумею сжать общественное настроение». Человек, который говорил такие вещи, был бледен, когда его вели после ареста. Есть люди различные.

Председатель. — Мне в данную минуту положение представляется так: Протопопов мог доиграться до чего-нибудь с правыми, если бы конъюнктура была иная, если бы правые нашли силу выступить и пойти по контр-революционному пути; Протопопов должен был с ними держаться.

Белецкий. — Безусловно он должен был держаться, но из этого не следует, что он слушал правых, когда дали диктатуру власти. Совершенно нет. В эту минуту он каждого из правых мог сократить путем возбуждения недоверия и подозрительности со стороны верховной власти. Так он и боролся этим путем.

Председатель. — Что вы знаете о борьбе Протопопова с надвигающейся революцией, в смысле дислокации войск, вооружения пулеметами, когда нависла революционная гроза? Вы говорите, в конце 1916 года был поставлен вопрос — или реакция или революция. Стало быть, должны были быть приняты какие-нибудь меры, кроме великолепных планов, кроме игры с Царским, кроме игры с правым крылом государственного совета. Что делал Протопопов в этом отношении?

Белецкий. — Протопопов был не силен по части своих дел, имея слабого, с моей точки зрения, неотвечающего своему назначению, директора департамента полиции, совершенно не могущего отдать себе отчет в том, что он делает, который написать двух слов не может правильно. Он считал, что это будет честный человек, который против него интриговать не будет. Павел Григорьевич Курлов от него отошел, Павел Григорьевич разочаровался в друге детства своем и его же обвинял, что Протопопов заставлял иметь сношения с Распутиным и, в конце концов, не дал того, чего Курлов добивался, — места командира корпуса жандармов. Курлов говорил, что с этим человеком нельзя итти. Спросите Комиссарова, Павел Григорьевич это лично говорил ему. Из этого вы можете понять, как в этом человеке разочаровались. Когда я с ним разговаривал 14-го февраля, я понимал, что на продовольствии можно разыгрывать какие угодно аккорды. Если Москва сгорела от копеечной свечки, то, тем более, могло разыграться от булки, которая стоила копейку и дошла до 10 копеек. Голодный желудок — главный диктатор каждой революции. Так

что моя записка, направленная в Царское Село, покоилась на необходимости принятия известных мер, чтобы государь показывал свое стремление итти навстречу и продовольственному вопросу и другим, не стесняя никого, чтобы знали, что это исходит от благостной руки царской. Вот смысл моей записки. Я передал ее Анне Александровне, если она передала ее, вы можете спросить. С Протопоповым, 14-го февраля, мы говорили по поводу положения гр. Татищева. Он говорит: «Что такое будет 14-го февраля? Какие вы меры приняли в Петрограде?». Он читал мне рапорт начальника охранного отделения и директора департамента полиции. Министр внутренних дел спрашивает: какие принять меры, имея такого директора департамента полиции, который не занимался политическими делами, который, в свою очередь, спрашивает министра. Я говорю, что я слышал, говорят, что 14-го февраля не будет ничего серьезного, но что продовольственный вопрос — самый серьезный вопрос, на котором что угодно разыграется. Я ему продиктовал, в сущности говоря, программу борьбы с уличными беспорядками, которая нами принималась в свое время.

Председатель. — Что же вы продиктовали ему?

Белецкий. — Я ему сказал о необходимости вызвать, в случае надобности, донских казаков из ставки; они были потом вызваны и тоже перешли на сторону народа. Так что все это было поздно. Но я не предполагал, что взрыв революции будет так неистов, как оказалось впоследствии. Он, в последнюю минуту, отдал распоряжение, чтобы казаки разъезжали, врезывались в толпу и разгоняли ее, и больше ничего.

Председатель. — Значит, он рисуется вам человеком беспринципным, не человеком действий, а скорее политиканом и, может быть, интриганом?

Белецкий. — Это — умный человек, безусловно. Я этого отрицать никогда не буду. Это ум природный, возможно, неприятный, в силу воспитания. Человек, который массу бывал заграницей, много видел, человек европейски образованный. Но он весь — политика. Это — человек, способный на политическую борьбу. Я не понимаю, почему он пошел в правительство. Ему нужна арена для большой политической борьбы.

Председатель. — У вас представление о политике, как о теоретической беспринципности. Щегловитова вы, повидимому, тоже считаете политиком?

Белецкий. — Поверьте мне, я слава богу, будучи директором департамента и товарищем министра, массу читал о том, как революции делаются. И даже, когда назначили Чрезвычайную Следственную Комиссию, Керенский объявил, — я даже на Следственную Комиссию посмотрел, как на декрет якобинский 1793 года. Я понимаю, отдаю себе отчет и в будущем. Это все мне понятно.

Председатель. — Революции, одна на другую, не похожи.

Белецкий. — Я не в смысле упрека, я не знаю, что делается в обществе, вы сами знаете, я поставлен в такое положение, что ничего не читаю. Я говорю о том, что читал. Когда была португальская революция, я собирал сведения, что там делалось. Следил за тем, как Франция осуждала ошибки прежнего режима, который 10 лет тому назад был. Я, в свою пору, все это впитывал в себя. Если бы мне пришлось стать в момент известной критической борьбы, я себе хотел отдавать отчет. Меня это интересовало. Времени у меня было достаточно. Так что я имел возможность лично для себя составить известное впечатление, чтобы понимать события. Так что, я должен сказать, я понимаю борьбу, какой бы ни был порядок вещей. Я знаю: где люди, там страсти. Борьба должна быть, и будет, а где борьба, там будут и страсти. Где страсти, там найдутся такие люди, как мы, сидящие здесь, в казематах. Есть идейные люди, но есть и практические, реальные люди, действующие способами, которые не отвечают вопросам этики и идеологии. Так что я считаю, что Протопопов революции в грозных размерах не чувствовал, у него не было представления. Когда хозяин знает свое дело хорошо, каждый приказчик, который на учете, служит великолепно, ведет под его управлением дело. Если хозяин плохо знает, например, директор департамента Васильев, что же будет жандармский офицер, розыскной, по натуре своей нежелающий явно проявлять, когда он видит, что начальник слабо сам понимает? Все распадается, вся машина, — и департамент полиции. Я не знаю, кто заведует этими делами; он может убедиться в падении ценности сведений, которые представлялись за последний период. Там вы ничего не найдете, кроме общих выражений. И на местах также сама работа была плохо поставлена.

Председатель. — Разрешите вернуться к моменту, предшествующему революции. Какие меры реальные принимал Протопопов?

Белецкий. — Реальные меры заключались в том, чтобы, если толпа пойдет на Царское Село, резиденцию государя (об этом были тайные распоряжения), окружить ее сводом тех войск, которые верны трону. С этой целью был назначен второй помощник дворцового коменданта, потому что сводному полку и офицерскому составу не верили, так как многие офицеры принимали участие, группируясь вокруг Крупенского, в выступлении против императрицы, что было известно. Затем хотели усилить гарнизон. Большие надежды возлагались на то, что Хабалов — человек решительный, что он может принять меры для подавления военной силой всякого бунта здесь в Петрограде. Пулеметы Протопопов потребовал, чтобы оттуда были присланы, но я его, в последние дни перед революцией, видел числа двенадцатого.

Председатель. — Пулеметы откуда?

Белецкий. — Из армии. Они были поставлены раньше. Я знаю один эпизод его растерянности. Когда было заседание совета министров, в тот день, когда Дума, так сказать, выдвинулась, он требовал все время закрытия Государственной Думы. Это ранее он писал о закрытии Государственной Думы; последовавший акт был запоздалый, сравнительно с тем, что он раньше намечал. Он наметил вначале нанести удар закрытием Государственной Думы, чему придавал большое значение. Императрице и Анне Александровне говорил об этом, чтобы воздействие было какое-нибудь на государя. Когда было заседание совета министров, утром, в залах Мариинского дворца, все были против, а князь Голицын стоял за Думу, и князь Голицын был намечен к уходу. Я хотел рассказать этот эпизод; рядом с комнатой, где заседал совет министров, в эту минуту был Родзянко, великий князь Михаил Александрович и, если не ошибаюсь, председатель совета министров. Тогда было известно, что Щегловитов на кухне арестован, прикрыт солдатской шинелью и увезен в Государственную Думу; тут Протопопов требовал схватить Родзянко и его моментально арестовать. Это показывает полную растерянность человека, уже не могущего отдать себе отчет в событиях. Затем он тут же спрятался, когда узнал, что его громят, и, кажется, находился у Бадмаева, где арестован был, если не ошибаюсь.

Председатель. — Формальный вопрос: с каких пор ведется, что председатель совета министров брал у государя бланки для роспуска Думы, где потом сам проставлял число, когда Дума должна быть распущена?

Белецкий. — Я знаю, это началось с Горемыкина.

Председатель. — Нет, с Маклакова.

Белецкий. — Министр внутренних дел являлся только в роли советчика и докладчика государю. Это не был кабинет, сплоченный солидарностью. Были министры, интригующие друг против друга. Например, — Хвостов понимал значение Государственной Думы и действовал в этом духе, несмотря на всю непримиримость женской половины двора, относящейся к Государственной Думе враждебно. Что касается последнего времени, я знаю только, что Голицын имел у себя указы о роспусках; но князь Голицын стоял на точке зрения, что, может быть, он сумеет как-нибудь с Думой примириться.

Родичев. — Вы рассказали о позиции, которую Протопопов в конце 1916 год занял по отношению к Государственной Думе. В чем это заключалось? Что он записки представлял?

Белецкий. — Когда я был товарищем министра, он был, говоря нашим техническим языком, агентом.

Председатель. — Осведомителем?

Белецкий. — Скорее агентом. Он воздействовал на Родзянко и наводил его, что Родзянко должен говорить и что не должен,

удерживал его и т. д. В это время он мне давал очень много. Это внушало мне, кроме дружеских отношений, желание быть ему полезным.

Председатель. — Степан Петрович, мне бы очень не хотелось, чтобы вы отвлекались от вашей работы.

Белецкий. — Я уже так измочалился, не сплю ночи.

Председатель. — Ночью не пишите, а спите.

Белецкий. — Судебный следователь представил мне обвинение, так что мне приходится давать показания в качестве обвиняемого. Он просил меня приготовить к завтрашнему дню.

Председатель. — Когда вы переговорите, вернитесь к вашей записке.

Белецкий. — Мне бы хотелось, как я вас уже просил, дать мне цифры, тогда я сдам вам эту работу.

Председатель. — Вы не можете мне дать вашу записку? Мне бы хотелось над ней поработать, вдуматься, может быть, спросить вас что-нибудь.

Белецкий. — Я ее еще не читал, мне бы хотелось закончить свой эпизод. Мне бы нужно посмотреть, например, относительно поездки в ставку, выдано такому-то.

Председатель. — Что вам нужно?

Белецкий. — Я просил бы написать на листочке бумаги, в чем заключались расходы моего времени. Меня это гнетет, потому что, хотя я во многом виноват, но, когда я ушел, я оставил свою жену с маленькими детьми почти без денег.

LV.

ДОПРОС А. Д. ПРОТОПОПОВА.

21 июня 1917 года.

Содержание: Записки Протопопова. Отношение правительства к Государственной Думе в начале ноября 1916 года. Прозвище «old man», данное Штюрмеру при дворе. Роль Маклакова. Политика революционно-правая. Клопов и его записка. «Профессор» Гурлянд. Главная тема Клоповской записки. Записка правых. Сношения с правыми. Хорошие отношения со Щегловитовым. Намерение «разбить прогрессивный блок». Желание создать правое большинство в государственном совете. Либеральные влияния. В. кн. Николай Николаевич. Сомнения бывш. царя. Забота Гурлянда о народе. Страх перед надвигавшимся народным движением. Меры. Ошибка Протопопова. Вооруженные силы и атаман Граббе. Пулеметы. 12-я статья. О Сухомлинове. «Военная мощь страны». Речь Милюкова и Штюрмер. Хабалов. Перечень цензурных запрещений. Генерал Рузский. «Письменные документы». Отношение к продовольственным съездам, превращавшимся в политические. Связь борьбы экономической с политической.

Председатель. — Александр Дмитриевич. Позвольте мне исходить в нашей сегодняшней беседе из ваших записок, потому что я нахожу, что они гораздо ближе к истине, чем ваше предыдущее показание. Ваши записки вы кончаете ноябрем. Хотелось бы продолжить ваше правдивое изложение на декабрь, на январь и на февраль.

Протопопов. — Я, кажется, дошел до этого.

Председатель. — Вы еще до этого не дошли, и тут интересно было бы немножко вернуться назад и узнать ваше отношение к Штюрмеру, к Трепову, к князю Голицыну, ваше отношение к правым кружкам и к правым проектам этого времени. Затем ваши записки на имя государя в январе или феврале, потому что вы о них совершенно ничего не сказали; о вашей подготовке к роли министра внутренних дел, к этой возможной борьбе, которая уже тогда разыгрывалась, об истории с пулеметами.

Протопопов. — Я положительно о пулеметах ничего не знаю.

Председатель. — Будем считать, что вы довели ваш рассказ до ноября. Я имею вопросы по поводу этого рассказа, и вы,

в свое время, дадите на них ответы, а сейчас расскажите нам систематически все вообще, все, что было у вас, начиная с ноября, и, вернувшись немножко назад, — историю ваших отношений к Штюрмеру, политику Штюрмера.

Протопопов. — Уверяю вас, я ее трогал так мало, что не могу сказать. Начало моего знакомства со Штюрмером было, конечно, раньше, до вступления моего на пост министра. Я его встречал в Английском клубе. Он ко мне относился очень хорошо, был очень любезен.

Председатель. — Александр Дмитриевич. Поймите, это не интересно. Мы берем вопросы в плоскости политической и даже государственной, так что тут нас интересует министр-председатель.

Протопопов. — У меня с ним мало было политических разговоров.

Председатель. — Не будем говорить о том, мало или много было разговоров. Вы были государственным деятелем, следовательно, у вас было представление о Штюрмере, как представление о Трепове, о князе Голицыне, о том, что каждый из них вносил в течение государственной жизни того времени. Давайте на некоторых высотах держать нашу беседу.

Протопопов. — Я это более или менее осилил.

Председатель. — Я вижу по записке, что вы даете характеристики, у вас своя манера изложения.

Протопопов. — Может быть, неудачная манера. То, что я написал о Штюрмере, вышло несколько искусственно в том смысле, что я на него смотрел под углом зрения, совершенно особым. Мою неприятную историю я не мог забыть, я от нее не мог отделаться. В итоге она связана со Степановым, с Климовичем, и при моем поступлении в министры Штюрмер мне сказал, что Климович нетерпимый человек, и он ушел.

Председатель.—Это мелочи, о которых в показаниях вы говорили. Давайте говорить об общей политике, как она вам представлялась.

Протопопов. — Политика Штюрмера, конечно, очень правая политика. Затем, его отношение к Царскому Селу, — что вас интересует?

Председатель. — Давайте в центре поставим Думу. Так как вы довели ваш рассказ до ноября и так как первые дни ноября были большими днями в думской жизни, то скажите нам, каково было ваше отношение и отношение Штюрмера, а потом и Трепова, в начале ноября, к Думе.

Протопопов. — В самом начале сессии поднялся вопрос о том, что эта Дума опасная, что она поднимает настроение в стране, и надо ставить вопрос о том, как с ней быть, как с ней поступить. Этот вопрос обсуждался несколько раз. К Думе отношения имелись через Волконского, а я туда ездил иногда только в бюджет-

ную комиссию, а объяснение давал только раз. Потом это быстро растаяло вследствие тех причин, которые я здесь изложил и которые тогда были мне неведомы: я не понимал, почему Дума ко мне относилась враждебно. Через Волконского это еще довольно долго держалось, но потом струнка оборвалась совсем. Что касается Штюрмера, он был сторонником сохранения Думы дотоле, доколе она не вторгается в область управления. Относился он к ней, конечно, недружелюбно. Затем, был ли он председателем совета министров? Конечно, нет. Он был председателем в совете министров, но не председателем совета министров, причем весь совет министров был разбит на кусочки. Его отношение к Царскому Селу, — он был здесь свой человек. Вы спрашивали меня, какое его прозвище: старик — это я помню.

Председатель. — А когда писалось в телеграмме old man — это про него?

Протопопов. — Я не знал об этой телеграмме и о ком это говорится old man, но думаю, что про него, так как в переводе с английского old man — это старик. Я очень близко подошел, но я не взошел. Тут будут перерывы, есть мелочи, которые я забыл и которые, по мере того, как мне ставятся вопросы, мне выясняются. Это меня чрезвычайно тревожит, чрезвычайно волнует. Вы, например, меня спросили, кто это old man, теперь мне совершенно ясно, что эта телеграмма послана государыней, потому что она постоянно говорила по-английски. Кому она могла писать — я не знаю.

Председатель. — Это мы знаем, кто и кому писал; я просто попутно вас спросил. Давайте поставим другой вопрос. Расскажите историю записок об отношении к Государственной Думе, содержание тех записок, которые вы представили государю, расскажите, как Маклакову было поручено писать манифест, как он с вами совещался. Мы, в нашей работе, несколько подвинулись, и теперь меня не удовлетворяет то, что вы говорите.

Протопопов. — Если бы вы меня тогда спросили, писал ли я Маклакову, я бы сказал, — что да, писал; прочел ли он вам? Да прочел. — Мне так казалось, потому что с государем были многократные разговоры о том, что Дума не станет на почву законодательную и может работать только в политическом направлении.

Председатель. — Какое отношение к Думе созрело в декабре месяце? Скажите о правых кружках, о правом крыле государственного совета, о Римском-Корсакове, о записках, представленных Голицыным.

Протопопов.—Я никогда не видал ни одной записки Голицына.

Председатель. — Может быть, и не видали, но вы знаете, что была представлена записка Голицыным через государыню.

Протопопов. — Этого не знаю, но у меня есть личная, своя записка, которая была дана государю в ответ на письмо Клопова.

Председатель. — К какому времени эта записка относится?

Протопопов. — Я думаю, вероятно, к декабрю.

Председатель. — Что же вы писали в этой записке?

Протопопов. — Я писал, что клоповская записка требовала перемены политического направления. Смысл этой записки тот, что все недовольство зиждется на экономических принципах, а политические принципы не касаемы, и если мы их изменим, мы подойдем к началам республиканского строя. Эта мысль взята вследствие моих соприкосновений с правыми группами. Записка изложена очень красиво.

Председатель. — Расскажите полную историю вызова Маклакова, беседы с ним, подойдите к февралю, расскажите про февральскую записку, про беседу с Белецким по поводу этой записки.

Протопопов. — Уверяю вас, я не могу так рассказать. Вы говорите: беседа, это не беседа, а может быть, четыре-пять слов. Я это едва трогал; здесь не было того, чтобы я составил особую записку.

Председатель. — Вы помните, но слабо знакомите нас с содержанием этой записки. Извлеките из нее все основное, что нас интересует. Вы были министром внутренних дел, вы делали внутреннюю политику, по вашему положению шире, чем министр внутренних дел, вы были одной из главных государственных фигур последних месяцев старого режима — расскажите, какое у вас было представление об этом государственном строе.

Протопопов. — У меня было представление, что действительно приходилось вливать в мехи старые вино новое. Все омертвело, надо было как-нибудь оживить. Я хотел это оживить, но один я этого сделать не мог, ибо весь кабинет стоял на другой точке зрения.

Председатель. — Вы общими местами сейчас говорите. Скажите конкретно, поведем деловую беседу. «Старые мехи, новое вино» — это более или менее удачное общефигуральное выражение, но давайте дело говорить. Какую вы политику делали в декабре? Вы нас подвели в записке к декабрю.

Протопопов. — В декабре меня не было.

Председатель. — То-есть, вы не управляли министерством, но это неважно, это не мешало вам политику все-таки делать, связи сохранить.

Протопопов. — Я не могу сказать, что я делал политику. Я бы ее сделал, если бы это было возможно, но я шел по известному политическому направлению, причем, конечно, эта политика была правая, резко правая, революционно правая.

Председатель. — Скажите, кто были ваши попутчики?

Протопопов. — Попутчиков было очень много.

Председатель. — В чем были ваши политические действия, путь вашей политической мысли?

Протопопов. — Определенная вещь — это записка, которая написана в ответ на письмо Клопова. Бывший царь мне ее дал и говорит: пишите ответ.

Председатель. — Когда он вам ее дал?

Протопопов. — Письмо Клопова я получил вследствие того, что в перлюстрации было сказано, что некто Клопов желает попасть к царю. Это сделало большое беспокойство, — может быть, попытка к цареубийству, — неизвестно было, кто этот Клопов. Тогда я написал царю письмо с приложением этого перлюстрированного листка и получил ответ: «Клопов старичок, давно мне известный». После этого царь дал мне письмо Клопова, которое содержало следующие политические положения: требовалось ответственное министерство, т.-е. политический режим должен был меняться; затем спутанная мысль была у него: об ответственности перед царем и перед народным представительством. Это, конечно, ошибка, спутанность политических принципов. На это министерством внутренних дел был выработан ответ, который мною был подписан и послан царю.

Председатель. — Кто же выработал этот ответ?

Протопопов. — Моя подпись и по моему указанию. Если вы хотите, я скажу.

Председатель. — Кто же?

Протопопов. — Профессор Гурлянд. Он более компетентен в этом деле.

Председатель. — Вы внешне становитесь на точку зрения раскрытия событий в их истинном виде, а внутренне вы с этой точкой зрения не примиряетесь, и по каждому конкретному вопросу думаете обойтись без этой стороны.

Протопопов. — То-есть увильнуть? Это я сам чувствую.

Председатель. — Вы сказали это слово. Я его не употребил.

Протопопов. — Я бы хотел говорить прямолинейно, и думаю, что я говорю прямолинейно.

Председатель. — Может быть, это привычка, которую нужно оставить.

Протопопов. — Я бы искренне желал это сделать.

Председатель. — При чем же Гурлянд в этом деле?

Протопопов. — Я просил написать, он написал, и написал красиво. Содержание этой записки у вас есть?

Председатель. — Вы передайте ее содержание.

Протопопов. — Там главная тема — ответственное министерство доверия, республиканский принцип, общий принцип республиканского порядка, так как он берет момент источника власти от царя или от народа.

Председатель. — То-есть, это мысль записки?

Протопопов. — Да.

Председатель. — Так что мысль записки против ответственного министерства, а за — что?

Протопопов. — А за — ничего. Там кладется в основу недовольство народа и экономическое положение страны. Затем, относительно Думы, там сказано так: «Твердое и достойное отношение. Политика забегания перед Думой должна быть оставлена». Это я припоминаю.

Председатель.—Это фразы, а в чем заключается дело по отношению к Думе?

Протопопов. — Дума должна стоять на почве законодательной работы — вот смысл.

Председатель. — Нет, уж известно, что она неисправима. Это общее, кажется, место, и, стало быть, если она не делает того, что написано в этой записке . . .

Протопопов. — Тогда она должна быть распущена, назначены новые выборы.

Председатель. — Ну, а вопрос относительно изменения основных законов? Распущена, с указанием новых выборов или без указания, с упоминанием о предстоящем коренном изменении некоторых статей основных законов?

Протопопов. — Нет, в этой записке этого нет.

Председатель. — Вам известно, что другие записки стояли на точке зрения изменения основных законов?

Протопопов. — Вы прошлый раз мне показывали.

Председатель. — Нет, кроме той, где основные законы должны быть изменены. Вот эту записку помните? (Обращаясь к секретарю.) Г. секретарь, запишите, что предъявлена записка.

Протопопов (просматривает записку). — Я совершенно не знаю, в первый раз вижу. И кем она написана — мне неизвестно. Это и есть Голицынская?

Председатель. — Да, та записка, которая исходила из тех кругов.

Протопопов. — Ведь, собственно, было несколько кружков, но принцип неизменно один, одинаковый.

Председатель. — Ну, да. В силу отношения к вам Думы вы стали против Думы. В эту борьбу правые организации стремились вдвинуть роспуск Думы, без указания срока ее нового созыва, с изменением основных законов.

Протопопов. — Вот этого я не слышал.

Председатель. — Это вы не только слышали, но и видели, потому что это есть в одной из ваших записок к А. А. Вырубовой, за вашей подписью.

Протопопов. — Это миллион таких записок.

Председатель. — Да, но какое было ваше отношение? Вы стояли на точке зрения крайних правых, которые говорили о необ-

ходимости не только отсрочки, но и роспуска, а также изменения законодательного характера Думы на законосовещательный.

Протопопов. — Этого нет, на законосовещательный — нет, никогда не ставился вопрос, роспуск мог быть. Я не голосовал за роспуск, но стоял на точке зрения, что если с Думой совершенно нельзя работать, то, конечно, нужно назначить срок новых выборов.

Председатель. — Но как же примирить вашу неизменную игру с правыми и это ваше утверждение, из которого вытекает, что вы расходились с ними по основному вопросу об отношении к Думе?

Протопопов. — Обязательно расходился.

Председатель. — А между тем, с ними были у вас сношения?

Протопопов. — А с кем мне было быть в сношениях? Я был буквально отрезан, один. Эти люди подходили ко мне близко, свободно говорили. Приходилось, естественно, на них опираться. А при известной импульсивности, при большом честолюбии, быстро захватило. Они шли и вырабатывали. Был я хотя на одном совещании монархической организации? Нет. Разрешил ли им съезд? Нет.

Председатель. — Какие были ваши отношения со Щегловитовым в декабре месяце?

Протопопов. — Очень хорошие. Я его видел. Он ко мне ездил, я к нему ездил.

Председатель. — Это совершенно неинтересно, кто к кому ездил. Не можете ли вы сказать о сношениях министра внутренних дел, т.-е. государственного человека, с другим государственным человеком, ибо он был председателем государственного совета и притом, с маленьким coup d'état, в смысле усиления правого крыла, с первого января. Они нас интересуют не с той стороны, кто к кому ездил, а как делали политику.

Протопопов. — Дело в том, что политики не делали. Я ее не трогал.

Председатель. — Но пытались делать?

Протопопов. — Наверное, да.

Председатель.—Скажите, какую политику вы пытались делать?

Протопопов. — Хотел, чтобы была не однопалатная система, а двухпалатная.

Председатель. — Почему? Это только счастливое осуществление желания, потому что и было две палаты.

Протопопов. — Да, но они соединились вместе, составили большинство, так что все проходило, как через одну палату.

Председатель. — Хотелось разбить прогрессивный блок?

Протопопов. — Разбить прогрессивный блок.

Председатель. — Что же вы делали для этого?

Протопопов. — Я лично ровно ничего не делал: что я мог сделать и каким образом?

Председатель. — Делали, в качестве министра внутренних дел, или ничего не делали?

Протопопов. — Я сделал очень много и очень мало.

Председатель. — Потому, что вы довели дело до революции?

Протопопов. — Это тоже большая вещь.

Председатель. — А именно?

Протопопов. — Но не один я это делал А затем по каждому отдельному вопросу, спросите, что я сделал, например, в государственном совете. — Просили ли вы за такого-то господина? — Я бы сказал: — Нет, не просил.

Председатель. — Да какой мне интерес, просили или не просили. Мне интересна деятельность министра внутренних дел, а совсем неинтересно, просил ли кто за другого.

Протопопов. — Ведь вот в том-то и дело, как на это ответить. Хотелось создать правое большинство в государственном совете. Кто этого хотел? Да весь совет министров, весь совет министров. Чтобы непременно было в государственном совете правое большинство, к которому, если приложить голоса министров, получится возможность сорвать всякий законопроект, прошедший через Государственную Думу в нежелательном виде. Эта мысль — была. Теперь, как она осуществилась? Назначения лиц в государственный совет шли от царя. Это была его прерогатива.

Председатель. — Ведь это формальный разговор. Несомненно, мы в основных законах можем прочесть все эти положения. Мы, наконец, знаем русскую действительность. Вы нам расскажите политику. Она заключается в том жизненном содержании, которое в данную минуту наполнит эту внутреннюю и мертвую форму существующего закона.

Протопопов. — Тогда выходит так, что все правы, а я один виноват. Это очень просто, всякий министр будет говорить, Трепов будет говорить — это сделал министр внутренних дел. Другой министр то же самое скажет. Получается — был министр внутренних дел, который это делал, а он сам ничто, а он отошел. Если мне скажут: политика, про которую я докладывал, существовала. Кто за нее ответствен? И я, и другие. Другие будут говорить, — я один, он один, больше ничего. Это почти наверно.

Председатель. — Но вам не хочется стать на ту точку зрения, что вопрос о том, кто прав, кто виноват, это дело последующего, дело оценки, и не хочется просто установить истину? Не вы одни допрашиваетесь, — говорят другие. В то изложение событий, которое выясняется другими, интересно вложить ваше изложение, чтобы сопоставить, чтобы открыть истину.

Протопопов. — Мне кажется, верною мыслью было то, что я сейчас докладывал. Цель была оправеть, сделать более правым государственный совет. Причем, с нейдгардтцами, если приложить к правым, получится большинство. Таким образом, можно было бы

согласительную комиссию устроить, и в конце концов пропускать те и другие законопроекты в более правом виде. Эта мысль была одобрена бывшим царем, который всецело на эту точку зрения встал. Теперь, вы изволите говорить: вам известно о манифесте. Это случилось так. Многократно, каждый день, можно сказать, бывшему царю, из того или другого источника, докладывали, что Государственная Дума чрезвычайно мутит всю страну, повышает настроение, делает его обостренным. Он меня спрашивал об этом многократно, и каждый раз, когда мы виделись, у нас, конечно, разговор бывал, что Государственная Дума законодательной работы не делает, что она, так сказать, недееспособна. Это, очевидно, совпало с прочими всеподданнейшими докладами, которые он получал. Хотя он получал доклады и из противоположного лагеря, как, например, то клоповское письмо.

Председатель. — Но какой же это доклад?

Протопопов. — Были влияния либеральные, безусловно были.

Председатель. — Через кого же это влияние?

Протопопов. — Они шли, во всяком случае, не через женскую половину. Бывшей царице этого никоим образом приписать нельзя. Напротив, это было очень правое влияние, очень правое.

Председатель. — Через кого же? Потому-то и разразилась революция, что ухитрились люди поставить себя в одиночку, так что никаких либеральных влияний мы нащупать не можем за последнее время.

Протопопов. — Вот клоповское письмо.

Председатель. — Это пустяки.

Протопопов. — А потом некоторые из великих князей указывали на необходимость перемены, между прочим, Николай Николаевич указывал на эту необходимость.

Председатель. — Это либеральное влияние все-таки?

Протопопов. — Все-таки либеральное влияние Николая Николаевича. Бывший царь говорил, что манифест 17 октября был написан под его крайним натиском.

Председатель. — Это вам говорил государь: под крайним натиском Николая Николаевича, который действовал вместе с С. Ю. Витте?

Протопопов. — Повидимому, да. И затем у него было сомнение насчет крайней правой политики, вместит или не вместит ее страна?

Председатель. — То-есть, у кого? У царя?

Протопопов. — У царя.

Председатель. — Разве в разговоре с вами бывший император считался с тем, вместит или не вместит страна? Ведь вы его никогда не ставили на эту точку зрения.

Протопопов. — Нет, всегда ставил. Даже в записке Гурлянда найдете необходимость заботы о народе. Это на первый план, и это

во главе. У него было совершенно ясно, что сближение царя с народом должно быть.

Председатель. — Забота о народе, но забота без народа?

Протопопов. — Это и есть самодержавная власть.

Председатель. — Народ нужен постольку, поскольку царю, верховной власти, нужны пасомые.

Протопопов. — Совершенно верно, объект требовал приложения власти.

Председатель. — Та точка зрения, которую вы называете либеральной, точка зрения народная, демократическая, она не сводится к этому, чтобы были пасомые.

Протопопов. — Понятно, это громадная ошибка.

Председатель. — Продвинемся несколько дальше, дойдем до февраля. Ведь революция уже гремела в воздухе; там зарницы уже были, и даже, может быть, больше, чем зарницы.

Протопопов. — Ведь, собственно, с Думою, которая являлась фокусом, выражавшим, так или иначе, настроение страны, с нею считалось, главным образом, правительство.

Председатель. — Вы боялись народного движения?

Протопопов. — Очень боялся.

Председатель. — Какие вы меры намечали против этого народного движения? Вы не хотели сдаваться без боя. Вы, как выясняется, стремились сами наступать?

Протопопов. — Наступать, — я это отрицаю. Я понимаю, что движение можно остановить только движением. Но, двигаясь, все-таки нельзя было вести прямо в лоб. Мне хотелось остановить, и поэтому мне казалось, что нужно законодательство, которое бы дало либеральные реформы, а с другой стороны, нужно импульсивное движение, чтобы остановить движение, текущее слишком быстро.

Председатель. — Но на чем же вы хотели поднять массу, на чем завоевать массу?

Протопопов. — Законодательством, но только по 87-й статье Федор Измайлович в прошлый раз мне сказал.

Председатель. — Да ведь этого закон не любит?

Протопопов. — Закон допускает, это только нажим на закон; его применял Столыпин. В то время было гораздо спокойнее. У меня была другая мысль: писать слово «революция» без «р». Сохранить чистой монархическую власть эволюционным способом.

Председатель. — Но это не эволюция, а движение назад. Движение назад не есть эволюция.

Протопопов. — Как движение назад, когда мы даем больше прав Государственной Думе?

Председатель. — Какие же большие права, когда ваша работа происходила на фоне тех записок, которые стремились к государственному перевороту?

Протопопов. — Я чувствовал с первого дня, когда я сюда пришел, что все будут правы, а я один буду виноват, все будут валить на меня, это, безусловно, и понятно, почему; но бог с ними. Конечно, дело в том, что моя мысль была, и она главная, не останавливать жизнь, а, давая жизни речь, резко улучшить материальное положение народа (но этого сделать я не мог; ничего я сделать не мог). Вот как я скажу — ничего! Хотя бы то, что нужно увеличить производительные силы страны. Невозможно. А между тем, это необходимо. Все решительно чувствовали ту мертвечину, которая лежала на стране, и ничего не могли сделать.

Председатель. — Все это невозможно без народного представительства, и все возможно с народным представительством.

Протопопов. — Тогда шире, Думу я хорошо знаю, с одной Думою вы этого не сделаете.

Председатель. — Но думали, может быть, сделать с другой Думой, основанной на более демократических началах?

Протопопов. — Никак нет. Дума, как институт государственный, не вместит того плана.

Председатель. — А кто может вместить?

Протопопов. — Теперь может быть будут какие-нибудь особые формы правления, я не знаю, какие будут, но то, что было, — моя ошибка и была, что под конец, когда скорость падающего тела достигла колоссальных размеров, тут следовало употребить совершенно другие средства. Я думаю, например, мысль Трепова о смене пяти министров, она могла принести свою пользу, свои плоды. В этом смысле очень плохо, что я был против.

Председатель. — Ну, значит, вы решили борьбу, вы и решили. Быть может, как вы говорите, вы и стремились к обороне, и понимали, что пассивной обороны быть не может, так что может быть и нападение. Вы и хотели нападения с фланга, а не в лоб; но все-таки, нападение есть применение силы. Как вы готовили эту силу?

Протопопов. — Силу готовили? Силой, во-первых, считается сила военная, которая на войне. О ней нечего было говорить, ее никто не трогал. Теперь, какая же сила еще могла быть для того, чтобы остановить? Никакой другой силы не было.

Председатель. — Сила, значит, прежде всего, войско. Затем, может быть, казаки. Затем полиция. Затем вооружение этих самых сил. Так вот, каковы были ваши мысли, проекты и действия, во всех этих отношениях?

Протопопов. — Это подробности, где я, лично, своих указаний не давал, не знаю. Например, я видел атамана войска Донского Граббе, который приезжал в Петроград. Он говорил с царем без меня. Мне в общих словах сказал, что казаки обижены проектом государя о их спешивании, начинают волноваться и переходят на сторону оппозиции. Это было сказано мною бывшему царю.

Между тем, они представляют очень крупную силу, с которой надо считаться. Для поддержания порядка государственного, внутри страны, намечены были те стражники, которые сведены были в известные единицы. Затем можно было разослать казаков по местам. Об этом речи не было; но это была мысль атамана Граббе, и она понравилась бывшему царю. И мне она казалась более или менее серьезной и требующей обсуждения.

Председатель. — То-есть, в чем же заключалась эта мысль?

Протопопов. — В том, чтобы известного рода военная сила находилась в уездах, в распоряжении местного начальства.

Председатель. — Ну, скажите, в частности, в Петроград, вы предполагали двинуть, и сделали распоряжения о том, чтобы двинуть казаков?

Протопопов. — Относительно Петрограда никакого распоряжения я сделать не мог, потому что не имел права ни малейшего. Полиция, по закону о местностях, находящихся на военном положении или на театре военных действий, определенно подчинена военному начальству. Я не мог не только двинуть куда-нибудь полицию, но я не мог сменить губернатора. Начальник округа писал письмо чуть ли не с выговором, а губ. Кашкарова ген. Саввич, когда на сутки тот опоздал, не подавши руки, встретил словами: «Покорнейше прошу помнить, что я ваше начальство и могу вас уволить моментально, не спросясь ни у кого». При таких условиях министр внутренних дел не ответствен.

Председатель. — Вы не выписывали из ставки пулеметов?

Протопопов. — Я? Никогда, определенно и никогда! Я получил сведения о пулеметах из газет. Об этом я спросил ген. Балка: «Что такое написано, что у петроградской полиции пулеметы?». Он сказал: «Это ошибка. Это молодые солдаты учатся стрелять». Тогда я сказал: «Дайте опровержение».

Председатель. — Это когда было?

Протопопов. — Я думаю, может быть, в декабре и январе.

Председатель. — Нет, я имею в виду февральское распоряжение, которое исходит от вас перед 14 февраля.

Протопопов. — Я совершенно не участвовал в совете по обороне, ничего совершенно не было. Во всяком случае, для меня это новость. Если есть приказ такой по министерству внутренних дел, то, конечно, от ответственности не уклоняюсь, если это есть. Что же мне делать?

Председатель. — Нет, нет. Нам хочется знать от вас.

Протопопов. — Я этого приказа определенно не давал и не вижу, кому я мог дать. Я не знаю такого лица, которому я мог бы дать такое приказание.

Председатель. — Какие вы меры принимали по отношению к недопущению в печать?

Протопопов. — Разговор с Плеве по телефону.

Председатель. — Вы давали не письменные, а телефонные приказания Плеве?

Протопопов. — Приказаний никогда не давал. Он мог сказать: «военное начальство не согласно, или военное начальство желает». Меня об этом не спрашивали.

Председатель. — Но, во всяком случае, вы возбуждали вопрос об этом?

Протопопов. — Много раз. Были такие статьи, про которые я прямо указывал, что их нельзя печатать. Я указывал, и мне указывали.

Председатель. — Кто вам указывал?

Протопопов. — Царское Село, которое мне постоянно говорило, что печать надо обуздать: «что вы допускаете, разве это возможно?»

Председатель. — Но ведь тут старый вопрос, вопрос о том, всякое ли распоряжение Царского Села или только законное подлежит исполнению.

Протопопов. — Да ведь в военное время нет закона о печати. Есть 12 статья, по которой можно закрыть все газеты.

Председатель. — Но ведь может быть злоупотребление этой 12 статьей?

Протопопов. — Но ведь военное начальство не признавало это злоупотреблением. А власть военного начальства была во много раз шире власти министра внутренних дел. Я пособник в этом деле, но я не тот человек, который мог это сделать. Министр внутренних дел, за мое время, к несчастью, был только министром по названию. Во время войны иначе и быть не могло, при том полевом уставе, который существовал.

Председатель. — Это относительно Петрограда, местности на военном положении. Но помните, например, телеграмму управляющего министерством внутренних дел от 11 октября: «Прошу принять меры к недопущению в печать каких-либо сведений о положении бывшего военного министра Сухомлинова».

Протопопов. — Это когда было?

Председатель. — 11 октября.

Протопопов. — Очень может быть; как раз шел вопрос о его выпуске.

Председатель. — Министр внутренних дел циркулярно приказывает губернатору.

Протопопов. — Это необходимо было.

Председатель. — Но как вы стали на точку законности такого действия? Может быть, это было необходимо, но нужно делать то необходимое, что допускается законом.

Протопопов. — А разве закон это воспрещает?

Председатель. — Вы думаете, все, что вам угодно, можно запретить печатать?

Протопопов. — Во время войны.

Председатель. — Вы считаете, что во время войны вы можете скрутить печать совершенно. Если вы так думаете, то на каком законе вы это основывали?

Протопопов. — То-есть мочь — да. Нужно ли — это другой вопрос.

Председатель. — Оставим вопрос о нужности. На основании какого закона?

Протопопов. — Полевой устав государю, верховному главнокомандующему, предоставлял права, — не знаю, какие права.

Председатель. — Но ведь вы не государь, а министр внутренних дел.

Протопопов. — Но ведь я исполнитель известной мысли, вот в чем дело. Мне сказано: по возможности, не было бы взрыва. Что же делать?

Председатель. — Согласитесь, что вы должны делать то, что законно.

Протопопов. — Совершенно верно. Но не вижу, почему это беззаконие. Где беззаконие?

Председатель. — Есть положение о военной цензуре; оно совершенно определенно устанавливает перечень сведений, которые, дабы оградить военную мощь страны, должны быть изъяты из пределов ведения печати. А тут дело идет о том, чтобы не допустить к печатанию сведений, полученных о бывшем военном министре Сухомлинове, которого собирались освободить.

Протопопов. — В том-то и дело, это очень серьезный фермент.

Председатель. — Да, фермент в стране; но если говорить о немцах, то это могло иметь только благоприятное значение, что Сухомлинов, человек, который обвинялся в измене, будет заключен. Так что немцами здесь прикрываться нельзя.

Протопопов. — Как прикрываться немцами?

Председатель. — Вам нельзя было сказать, что вы оберегали военное могущество страны, когда вы делали распоряжение о недопущении в печать этих сведений?

Протопопов. — Так понималось, что спокойное состояние страны поднимает военную мощь.

Председатель. — Так что все можно запретить ради военной мощи?

Протопопов. — Ради военной мощи — все. Так понимали девиз «все для войны». Правые понимали это в одну сторону, а левые — в другую.

Председатель. — То-есть, нет того беззакония или беззаконного действия, которое нельзя было бы сделать, причем считали, что это делается для пользы войны?

Протопопов. — Безусловно. С этим надо согласиться.

Председатель. — Речь Милюкова, как известно, громила вас и Штюрмера. Он говорил, что министр изменник, и ему не место быть премьер-министром. Почему, с точки зрения военной мощи, надо было телеграфно воспретить печатать о Штюрмере и укрывать Штюрмера?

Протопопов. — Потому, что Штюрмер был, а развал власти считался вредным.

Председатель. — Но и Сухомлинов был?

Протопопов. — Сухомлинов был раньше, а Штюрмер был у власти.

Председатель. — Если он изменник, его надо изъять в интересах родины.

Протопопов. — Кто этому верил, что он изменник, кто это знал?

Председатель. — Этому верила страна, но не верили министры.

Протопопов. — Тогда надо было перевести это дело на деловую почву. Теперь я понимаю, что после того, как я написал несколько страниц про Штюрмера, можно подумать, что я желаю Штюрмера поддержать или прикрыть. Это то, в чем меня винит Степанов; но только это неправда, это несправедливость, я Штюрмера за изменника не считал, и мне это в голову не приходило.

Председатель. — Но вы считали его близким к германофильским течениям?

Протопопов. — Он был более русский, чем всякий русский. Он, если можно так выразиться, на дыбах ходил.

Председатель. — Но вы считали его близким к германофильским течениям?

Протопопов. — Нет, не считал. Я считал его крайним правым, человеком, который любит нажиться и хочет доказать, что он русский, и старательно это доказывает. Вот то впечатление, которое он производил в кругах министерских и на тех, с кем он встречался.

Председатель. — Я прочту перечень сведений, и вы скажете, какое это имело отношение к войне, перечень тех сведений, которые, в ваше министерство, были запрещены к печатанию, путем непосредственного обращения к военной цензуре или через Хабалова, или через Плеве, или через Адабаша.

Протопопов. — Плеве был самостоятелен.

Председатель. — Но это его побуждало действовать в известном смысле.

Протопопов. — Я говорил, что все будут правы, я один буду виноват. Я был бы страшно горд, если бы я оказался единственной фигурой, которая все это сделала, но это не так. Хабалов писал письма и расправлялся с рабочим движением. Он стоял на точке зрения неправильной, но я ничего не мог сделать.

Председатель. — Интервью с министром внутренних дел, только с дозволения последнего, никаких интервью с министром внутренних дел и никаких нападок на Добровольского и Протопопова?

Протопопов. — Как, на Протопопова? Позвольте, будьте ласковы, отдайте справедливость, что ни про одного министра не писали так, как против меня.

Председатель. — Так что запрещения не было?

Протопопов. — Вы изволили быть в это время в Петрограде и, вероятно, знаете, что не было той грязи, которой на меня не лили. Отчего это печатали, если я запрещал?

Председатель. — Сведения о комиссии Батюшина, сведения об аресте разных промышленников... не помните?

Протопопов. — Я перечня не составлял, он идет под моей фирмой, я его принял, но я его не составлял. Конечно, комиссия Батюшина всегда мне очень не нравилась.

Председатель. — Чего, чего здесь нет — никаких сведений об отъезде Штюрмера, никаких сведений об инциденте Родзянко — Протопопов, никаких сведений о смерти Распутина, а также об его делах, никаких выпадов против обер-прокурора Раева в связи с процессом супругов Безродных, о высылке Андроникова, о воспитаннице Екатерининского института Рембелинской, сбежавшей со студентом Гальперном. Это, кажется, к обороне России мало относится?

Протопопов. — Разумеется. Общий колорит был таков, чтобы избегать оглашений таких сведений, которые роняют императорскую власть.

Председатель. — Были случаи, когда вы не желали письменно подтвердить те или другие распоряжения о непечатании различных известий, которые вами или по вашему распоряжению делались по телефону.

Протопопов. — Это было так. Генерал Рузский придумал, что если министр внутренних дел находит необходимым ту или другую статью не пропускать или изменить, пусть он пишет об этом в ставку, и ставка разрешит ему то или другое сделать. Затем этот порядок был упрощен, и это должно были итти через генерала Рузского. Генерал Рузский являлся, таким образом, полным хозяином дела печати. Мне это казалось очень обидным, так как эта полная опека военной власти чувствовалась всегда, и в этом случае она была особенно резка. Он мне написал в письме, чтобы каждый раз, что я говорю с Плеве по поводу печати, это неукоснительно подтверждалось письменно. Зачем это было ему нужно, для меня было ясно, — это, чтобы потом этот кусочек бумажки напечатать и еще лишним комком в меня кинуть. Вот почему я воспротивился этой постановке, и было сделано другое распоряжение от бывшего царя, чтобы он не тре-

бовал от меня каждый раз никаких расписок. Все, когда нужно было что-либо сделать, обращались ко мне. Другие оставались в стороне, а мое имя фигурировало: нужно подвинуть вагоны на фронт — Александр Дмитриевич, пожалуйста, прикажите жандармам сделать это. Александр Дмитриевич приказывает, и выходит, что Александр Дмитриевич отдает распоряжение жандармам. По всей линии министерства так шло. Звонки ко мне трещали постоянно. Выходило, что я являлся центральной фигурой, которая делала все и для всех, а все в стороне оставались, ничего не сделавши. Вы, господин председатель, на правильной точке зрения стоите в отношении печати. Перечень был самый широкий, и начальниками округов дополнялся. Дополнения вдохновлялись, конечно, из министерства внутренних дел, из цензурного комитета. Конечно, тут министр указывал то или другое направление, как проводить его через угол, во главе которого стоит цензурный комитет. Это совершенно верно, но технически это исполнялось по 12-й статье законов о печати. Я не знаю, интересуют ли Комиссию те или другие письменные документы?

Председатель. — Очень.

Протопопов. — В последний день, когда я ушел из дома, я сгреб большую кучу бумаг, думая, что я вернусь и смогу их разобрать. Если они не взяты, их можно, конечно, взять.

Председатель. — Кому вы их отдали?

Протопопов. — Моему человеку. Он был семеновец, потом перешел в корпус жандармов — Павел Савельев.

Председатель. — Вы дали, чтобы он их спрятал?

Протопопов. — Я думал их разобрать, когда приду обратно, но обратно-то я не пришел.

Председатель. — Я спрошу.

Протопопов. — Там есть довольно любопытные вещи: тот чертеж, который вы мне показывали, он тождествен с тем, что у вас, но он подлинник, потом выписки из департамента полиции, полицейские доклады и т. д.

Председатель. — Проекты ваших записок?

Протопопов. — Только одна была записка.

Председатель. — Вы клоповскую имеете в виду?

Протопопов. — Это вместе делалось, особое извлечение, и таким образом, докладывалось. Мне очень жалко этих бумажек, многие из них имеют надпись царя. Там есть письмо Воейкова, телеграмма Волконского, кажется, ничего важного нет.

Председатель. — Я спрошу, у нас они или нет. Какова была ваша позиция по отношению к съездам, в особенности к продовольственным съездам?

Протопопов. — Продовольственные съезды были мой кошмар, потому что продовольственные съезды обязательно превращались в съезды политические и при этом страшной импульсивной силы.

Я застал этот вопрос уже довольно назревшим, когда приехал в Москву, и в совете министров уже состоялось решение, до моего назначения, о том, чтобы съезды не допускались иначе, как с разрешения совета министров. У меня был разговор с Челноковым, который настаивал на этом съезде. Я ему сказал, что нельзя. Потом, когда я приехал в Петроград, он мне послал телеграмму, я ответил отказом. Он послал в совет министров. Совет министров тоже ответил отказом. Безусловно, против съездов было полное запрещение. Лично у меня получился раскол в этом деле с самим собою, потому что, не допуская съездов, я допустил съезд под председательством Грузинова в Москве, съезд землевладельцев, а затем запрещал самым категорическим образом.

Председатель. — Для вас не оставалось тайной, что экономическое положение России в конце 1916 года и начала 1917 года было очень острое? Теперь вы стоите на точке зрения теоретической, о необходимости для этого общественных сил.

Протопопов. — Беда в том, что наше продовольствие стояло на почве неправильной, — делили, а не производили. Разве это можно? Нужно уметь производить, чтобы делить. А делили, стоя на совершенно мертвой точке. Это крайне неудачно. Общественные организации, в данном случае, сделали пользу.

Председатель. — Как вы смотрели: продовольственное положение острое, съезд должен собраться. Съезд занимается политикой, которая тесно связана с продовольственным вопросом; уничтожить съезд, — значит, не выйти из продовольственного затруднения.

Протопопов. — Кто должен был этим продовольствием ведать? Должно было ведать правительство, а так как правительство само по себе уничтожилось, то, конечно, на его место стали общественные силы. Министерство оставалось не при чем, и его можно было уничтожить, и это было бы может быть рационально, а то получилось то, что Риттих назвал «бисерная забастовка», потому что для революционных действий, идущих против старого строя, нет более удобных путей, как экономическая борьба, т.-е. путь, чтобы еще более расстроить кровообращение страны, вселяя недовольство и доводя его до сильнейшего состояния, пока не произойдет взрыв. Это ужас. Правительственная система отвратительная, общественные организации не добились, и в итоге — продовольствием в России никто не занимался.

Иванов. — Вот на съезде и хотели это выработать. Вы говорите: правительство никуда не годилось, общественные организации не могли совладать, но для этого съезд и собирался. Вы отлично это знали, и в той записке, которую вы представили, указывался целый ряд мер, которые предполагалось выработать на этом съезде, а вы помешали.

Протопопов. — Отчего я помешал? Неужели я больше совета министров? Неужели совет министров делает, а я отменяю?

Иванов. — Но вы сами говорите, что вы были против?

Протопопов. — Совершенно верно. Мне ужасно хотелось сделать что-нибудь хорошее, но сделать нельзя было ничего. Мне кажется, что нужно было дать большой импульс, большую энергию, которая бы наполнила все те органы, которые работали.

Иванов. — Вы отлично знали, что на этом съезде разрабатывался вопрос о продовольствии армии. И вы воспрещали такие съезды, которые шли в целях удовлетворения наиболее насущных вопросов. Это был самый острый момент, когда из армии шли телеграммы о том, что всего на два дня осталось хлеба. Вы знали, и знали эту телеграмму, вам об этом сообщалось.

Протопопов. — Продовольствием страны министерство внутренних дел не заведывало.

Иванов. — Но вам сообщалось, насколько необходимо принять меры.

Протопопов. — Совершенно верно, но я был бессилен, я принимал их только революционным образом.

Председатель. — Позвольте напомнить вам о тех двух съездах, которым вы запретили собраться. Резолюции вышли после запрещений.

Протопопов. — Они приехали с готовыми резолюциями.

Иванов. — Вы это удостоверяете?

Протопопов. — Они были готовы. И совершенно понятно, потому что никто не будет утверждать, что это был съезд продовольственный, — конечно, это был съезд политический.

Председатель. — Вы стоите на той точке зрения, что ничего нельзя делать в силу того, что экономические вопросы тесно связаны с политическими. Экономические вопросы нельзя было разрешать без политических.

Протопопов. — Мне кажется, это совершенно верно.

Председатель. — На этом мы закончим.

LVI.

ДОПРОС Н. А. МАКЛАКОВА.

21 июня 1917 года.

Содержание: Обстоятельства передачи царю политической записки Говорухи-Отрока в январе 1917 г. О проекте манифеста о роспуске Думы. «Сближение» с Протопоповым. Точка зрения Голицына. Отношения со Щегловитовым и другими министрами.

Председатель (предъявляет Маклакову записку). Скажите, пожалуйста, это слово, написанное карандашом, вставлено вашей рукой?

Маклаков. — Да, это я писал. Я вам скажу происхождение этого. Это написал член государственного совета Говоруха-Отрок, который просил доставить эту записку государю, и она была доставлена.

Председатель. — Расскажите нам подробно.

Маклаков. — Я лично ее передал. Это было в нынешнем году в январе, должно быть. Я эту записку просматривал как раз на Царскосельском вокзале. Я уже докладывал, что я Новый год встречал в Тамбове; когда я приехал в Петроград, я испросил разрешения у государя к нему прибыть; меня очень смущало, что меня искали и не могли найти. Я даже по этому поводу писал письмо бывшему председателю совета министров Голицыну, с которым мы были очень хороши. Он был членом государственного совета, и мы часто с ним встречались потому, что, когда мы летом здесь жили, мы вместе обедали. Потом он совершенно неожиданно для всех нас был назначен председателем совета министров. Я ему написал письмо о том, что я очень смущен, и не будет ли он добр мне выяснить относительно письма, которое мне привозил фельдъегерь. Он мне не успел ответить. Затем, когда я приехал в Петроград, я просил разрешения представиться государю. Это было в первых числах января—7—8-го, после Крещения. Я поехал туда, как раз после одного из таких совещаний у Римского-Корсакова, где я встретил Говоруху-Отрока. Мы разговаривали по

поводу этих событий. Между прочим, он был один из тех, которые считали, что надо поставить крест над старой политической верой; его точка зрения была такая, что после 17-го октября уже само самодержавие поставило крест. Он говорит: «Я над этим очень много думал, у меня есть записка, и я не знаю, как ее доставить государю. (Я узнал, что таких записок подается много.) Я бы хотел, чтобы это было анонимно, потому что здесь авторского ничего нет, я хочу, чтобы государь прочел, может быть, что-нибудь его внимание на себе остановит». Я взял на себя это и говорю, что я на-днях буду там. Когда я был у государя и сказал: «Если вы мне позволите, меня очень просили передать, я бегло просмотрел, с моей точки зрения, здесь есть много дельного и серьезного», государь сказал: «Пожалуйста, оставьте, я посмотрю». Так что я оставил, и дальнейшего не знаю.

Председатель. — Вы ни на шаг не отступаете от документа. Но вы не почтальон. Вы дали записку в связи с вашим представлением, с вашим докладом?

Маклаков. — За все время, как я ушел со службы, я виделся с его величеством всего три раза: когда я привозил проект манифеста, о котором вы в прошлый раз спрашивали, затем — в начале января.

Председатель. — Проект манифеста вы когда привозили?

Маклаков. — 11-го — 12-го февраля, не помню. Письмо написано, кажется, 9-го. Мне было сказано Протопоповым: «Его величество будет очень рад вас повидать». Потом я еще один раз был, должно быть, через полгода, как я ушел со службы. Я уехал в деревню, потом вернулся, и мне говорили, что после рескрипта я должен принести благодарность государю, как всегда это делалось. Я вам забыл сказать, как каждый раз (кроме последнего раза) государь говорил: «Мы с вами еще увидимся». Так что он имел в виду меня позвать. Были разговоры, конечно, об этом. Я очень определенно перед государем, более, чем перед кем-либо, свое мнение высказывал, все мысли свои, которые были. Делал это потому, что я не один. Я совершенно отчетливо, ясно и прямо высказывал свои — и опасения, и сомнения, и тревоги, и все мысли, которые были, зная, что в другие приходы у других гораздо больше было; из всей этой суммы сведений арифметически могло получиться невыгодное, так я считал. Поэтому, когда я бывал там, разговор касался не только одного урожая; приходилось касаться вопросов, какое настроение в деревне, как жизнь бежит. Более всего, три раза, приходилось говорить о войне, потому что она меня тревожила, и весь интерес был там. Государь всецело был на театре военных действий. И вот тут, по этому поводу, я тем более коснулся этого вопроса, что уже в то время совершенно было ясно, что не пойдет никоим образом — ни с Думой, ни с чем. В то время мы на перепутьи были и думали, что, может

быть, капитальный ремонт будет; хотя, должен сказать, мы не верили этому, потому что видели, что этого никто поддерживать не будет, а сердце государя к этому не лежало, он не подошел к этому.

Председатель. — Так что на ваш доклад вы не получили никакого определенного ответа?

Маклаков. — Здесь и не было никакого доклада. Это даже не доклад, я просто просил разрешения оставить документ, если он понадобится. Вот еще иллюстрация к тому: в сущности, очень трудно провести линию до того времени, когда я был министром и когда перестал быть. Когда я был министром, я думаю, что, по службе, ни с кем государь об этих вопросах так много не говорил, как со мной.

Председатель. — О вопросах, которые вы называете капитальным ремонтом?

Маклаков. — О внутреннем отношении. Нет, в этом государь очень сдержан, — он почти не говорит об этих делах. Только раз это было, в Петергофе, это для всех было неожиданно, и вся постановка этого вопроса казалась совершенно неожиданной.

Председатель. — Но помните, в письме к вам бывшего императора ставится этот вопрос?

Маклаков. — Только ко мне; и об этом письме никто не знал. Это письмо должно было быть уничтожено. Я держал его, как памятник. Ни один министр, ни одна душа в мире вам не скажет, что он с этим письмом знаком.

Председатель. — Но вы стояли на точке зрения капитального ремонта государственного строя, т.-е., изменения основных законов?

Маклаков. — Да, я понимаю. Я столько перевидал этих записок, что недолго просмотрел и обратил внимание на своеобразность, сжатость изложения и очень яркую постановку вопроса. Здесь я с многими пунктами согласен, но нужно было проверить целый ряд статей, например, по вопросу о прямых выборах. Кто их вел, кто близко стоял, тот знает, что такое выборы.

Председатель. — Но вам не представляется, что эта записка потом была реализована, или, по крайней мере, была сделана попытка ее реализации?

Маклаков. — Через кого?

Председатель. — Хотя бы в момент борьбы с надвигавшейся революцией.

Маклаков. — Я должен откровенно сказать, что государь ее наверно не прочел... Когда вы мне прямо вопрос ставите, потом сколько раз я себя спрашиваю в душе...

Председатель. — А проект вашего манифеста был преддверием к акту роспуска или к акту перерыва?

Маклаков. — Роспуска, с назначением новых выборов на 15 ноября. Это Протопопов указывал. Он говорил, что довольно 6 месяцев для всей процедуры выборов. Вот о чем я тогда с ним говорил.

Председатель. — В вашем последнем письме вы стояли на точке зрения этой записки?

Маклаков. — Нет, там у меня не было никаких подробностей, это чисто техническая . . .

Председатель. — Тут очень широковещательная объяснительная записка к пункту второму; она говорит, что Государственная Дума должна быть немедленно манифестом государя императора распущена.

Маклаков. — Относительно проекта манифеста: даже разговора не было о каком-нибудь изменении положения Думы. Указано было, что она распускается, что идет борьба за власть в то время, когда нужно всем соединиться, в такую страшную военную годину. Указано было крупных три, четыре вопроса; я забыл сказать, еще был указан продовольственный вопрос, который остался неразрешенным в течение этого времени. Вот какие были обвинительные пункты, а потом роспуск, и никаких указаний на возможность изменения не было сделано. Указание, о котором вы говорите, не только в этой записке, но на всех совещаниях, например, во фракционной группе государственного совета. В конце того года очень многие тревожились, т.-е., настроение было сплошь тревожное, видно было, как все таяли, доходила до бортов вода. Это совершенно ясно было. Все спрашивали, что можно сделать, и все сходились к тому: одни говорят — роспуск и новые выборы; другие (в той же группе) — дотянуть до конца, так как полномочия естественным порядком истекают; не созывать Думу до того времени, и когда пройдет срок, еще полгода пройдет, и некоторое время будет передышка. Об этом не только Говоруха-Отрок, но и все говорили и все тревожились, видя клокочущий Везувий, который разыгрывался.

Председатель. — Чем же объясняется, что на заседании правых колебались между перерывом и роспуском, а не говорили о законосовещательной Думе?

Маклаков. — Потому что в это время даже самому смелому человеку такая мысль не могла прийти.

Председатель. — Однако, Говорухе-Отроку пришла.

Маклаков. — Это чисто академическая записка, которая могла быть подана в прошлом году. Он не сейчас писал ее.

Председатель. — Нет, он писал сейчас, там сказано: «Будет ли Государственная Дума собрана в январе», и т. д.

Маклаков. — Я не буду утверждать. Я говорю, я ее поверхностно знаю. Я ее представил. Я даже не говорил с Голицыным. Это — моя вина перед богом. Даже такая подробность, она не была

сшита вместе, на вокзале у меня выскакивали листы, я подбирал.

Председатель.—Скажите, я вам предъявлял записку Римского-Корсакова, также об изменении основных законов?

Маклаков. — Нет, я ее никогда не видал.

Председатель. — Вы знаете, что она была обсуждаема группой Римского-Корсакова?

Маклаков. — Нет.

Председатель. — Вы помните ту записку, которую рассылал за своей подписью Римский-Корсаков?

Маклаков. — Не подумайте, что я отрицаю. Я согласен, что я ее получил, но у меня в памяти ничего не осталось. Не была ли эта записка, о которой вы раньше говорили, то, что писал Ширинский-Шихматов, Андрей? Была такая группа, я вам говорил. Вот не та ли, потому что я не припомню этой записки. Говоруха-Отрок — очень самолюбивый человек и не хотел ее распространять.

Председатель. — Но эти записки как-то связаны?

Маклаков. — Я ту записку совсем не знаю.

Председатель. — Я вам разве не предъявлял ее, только говорил?

Маклаков. — Я не помню, говорили ли. Принимали участие в разработке целой программы, вот вы мне что говорили. Затем вы спрашивали о письме к Нарышкиной, о котором я упомянул. Я хотел об этом написать, там я немного отходил от того, что здесь, т.-е., там я высказывал, что желательно повременить с созывом Думы, что созыва ее теперь невозможно допустить. Но как раз он произошел. Я писал это числа 18 декабря, и тут был перерыв на 11 января, потом было отсрочено по ходатайству Голицына. Но там я высказывался не за роспуск, сейчас, в виду длящегося и исключительно острого настроения, это было бы возможно. Только сошла одна, и опять на то же место приходит следующая по алфавиту буква.

Председатель. — Какова была позиция Протопопова по отношению к этой записке Говорухи-Отрока или к той записке Римского-Корсакова?

Маклаков. — О Протопопове одно могу сказать, что про эту записку он ничего не знает, я думаю, если государь не показывал. Бывало так: он несколько раз переваривал записку и просил дать заключение о том, что писалось. К Римскому-Корсакову он относился очень хорошо. Вообще, в правой группе Римский-Корсаков пользовался общим большим расположением, как безыскусственный, прямой человек. Так что, я не знаю, какое там о записке было дело, но Протопопов был занят, главным образом, не теорией вопроса, а политикой: распустить, не распустить. Он ближайшим моментом был занят, а группа смотрела дальше, на будущее.

Мы немного эгоистично этот момент учитывали постольку, поскольку он мог отразиться на будущем. С Протопоповым мы по этому поводу ничего не говорили, кроме того, что я говорил про роспуск; когда он состоялся, я не верил; по-моему, нет сейчас ничего хуже вот таких роспусков.

Председатель. — Вы не отрицаете того, что к этому времени относится некоторое сближение ваше с Протопоповым?

Маклаков. — Сближение? Нет. У Протопопова была манера «дорогой мой» говорить со второго слова. Встречаясь, целуется со всеми. Что я у него чаще бывал? Тогда меня спрашивали. Вы ставите в связь с убийством Распутина, что после этого, т.-е., с конца декабря до марта, мы чаще виделись? Тут я около месяца пробыл в деревне. Остальное время — могло показаться. Во-первых, в церкви, когда я говел, проходил как-то батюшка и сказал мне: «Министр просит вас на минутку». Так было два раза. Один раз я приезжал, когда получил поручение написать проект манифеста; второй раз я приехал с черновиком, чтобы его обсудить. Вот вам, как будто два дня под ряд неразлучной дружбы. У меня не было сближения с ним. Что в нем было симпатично, это то, что он необычайно откровенно исповедовал свою преданность государю, совершенно открыто, даже в тех кругах и при тех людях, при которых это несомненно для него было невыгодно. Он меня этим подкупал. Но это единственное.

Председатель. — Но у вас не подымался вопрос о сотрудничестве в совете министров? Он проводил вас одним из членов совета министров.

Маклаков. — Он без конца об этом говорил.

Председатель. — Вот видите; это я и назвал некоторым сближением.

Маклаков. — Во-первых (теперь вы можете не поверить), я никогда бы не пошел. Разговор был, когда письмо пришло, Протопопов тоже не знал, что это за письмо. По крайней мере, совершенно искренно давал слово, что не знает. Он говорил: «Это напрасно, вам не надо было уезжать. Вы наверное вошли бы в состав». Я говорю: «Никогда бы не пошел». Я пошел тогда, когда верил, что можно кое-что сделать. Но теперь, когда я вижу, что больше не на что опираться, я бы не пошел.

Председатель. — Вы ясно сознавали, что дело строя проиграно?

Маклаков. — Да, да, в том отношении, что партийно только можно бы поставить. Я считал, что, в случае победоносного окончания войны, такой будет общий подъем и радость, что они выльются в очень хорошую форму, в конце концов, и с одной и с другой стороны, в массах народных, и сверху, там бы это было.

Председатель. — Так что революция вам представлялась тогда неизбежной, но вы думали, что она будет после окончания войны и, быть может, в несколько иных формах?

Маклаков. — И, быть может, выльется в другую сторону; несомненно, назревало то, что нужно сделать для одних и для других. Для меня самое трудное было в службе, что вызывало рефлекторное настораживание, — это чисто политическая боевая линия, не в смысле террористическом, а в смысле завоевания; у нас именно этого духа борьбы, ни одного атома боевого в среде правительства не было.

Председатель. — Я понимаю вашу мысль. И поэтому...

Маклаков. — И поэтому борьба самая большая — заслоны поставить. Здесь можно бы отложить, посмотреть, не придет ли время. А вот Голицына точка зрения... Не он подал эту записку, на него зря говорят; я думаю, он не видал, если ему Говоруха-Отрок, так, как мне, с глазу на глаз не показал... Мы с ним виделись, когда я приехал. Я его разубеждал, предупреждал, ручался, что он скоро увидит, до какой степени фантастично то, на что он рассчитывал, но он говорил, что худой мир лучше доброй ссоры. Поэтому он пойдет, на что можно... Я говорю: «Вам сейчас ни за что не дадут. Если полгода тому назад мог быть мир, теперь никакого мира не будет до полной победы».

Председатель. — Т.-е., что значит — до полной победы?

Маклаков. — До того, что случилось, как я себе представлял. Я говорил ему: «Вы будете — в чужом пиру похмелье». Он мне сказал: «Я не откажусь от своего мнения».

Председатель. — Каковы были ваши отношения около этого времени со Щегловитовым, и вообще, какова роль Щегловитова?

Маклаков. — Со Щегловитовым у нас отношения, в сущности, были долгие... Мне очень неловко здесь говорить подробно об этом.

Председатель. — Ограничимся сферой государственных вопросов.

Маклаков. — Я говорю «неловко» по другим соображениям. У меня сперва были очень добрые отношения. Когда я был назначен губернатором, он очень внимательно ко мне относился. Затем на первых порах моей службы я несколько раз очень сильно ожегся в своих начинаниях, очень больно для себя; бывало, что-нибудь поговоришь... Например, по законопроекту о печати я кое с кем говорил, советовался, а, когда внес, все до одного от меня отошли. Я был первый раз в блестящем изолированном положении. Те, которые давали советы и поддерживали, точно сговорились. После нескольких ходов у меня сразу появилось такого рода чувство: быть сдержанней и не так верить всем. Мне в упрек поставили. Я писал в той записке: это просто кровью написано было, когда я просил об отставке, потому что я видел, что по рукам и ногам связан обстоятельствами, что один ничего не сделаешь, а те, которые внешне поддерживают, за спиной, — иногда перед глазами, в известной обстановке тебя постараются

выставить в смешном свете. Говорю «смешном» потому, что сколько раз, на первых порах, было так. Только что вступил я, в Думе стала работать бюджетная комиссия. Я спрашиваю в совете министров, принято ли ездить . . . Это — как хотите, можете товарища посылать. Оказывается, в Думе стали говорить, как я узнал от близких знакомых: «Вот, все ездят, а Маклаков плюет» (простите за выражение), а Маклаков не плевал. Когда я уже встретил такое нащетинившееся к себе настроение, мне сразу показалось это обидным. Что я собственно сделал, почему так? Вот шаг за шагом я видел такую работу против себя. Я не могу сказать, что Щегловитов не принимал участия, у меня фактов нет, я знаю, кто и как принимал. Но столько раз, рассчитывая на него, я именно оставался так. Поэтому, у нас столько раз были деловые охлаждения, т.-е. совершенно официальные отношения. Я почти всегда его подвозил из государственного совета, когда заседания были. За ним лошадей не высылали, за мной либо лошади приезжали, либо автомобиль. Я заезжал к себе на Фонтанку, а мой экипаж вез его дальше. Еженедельно (во время войны у нас бывали заседания два раза в неделю) у нас были такие свидания с ним постоянно. Тут обменивались мнениями, говорили. Вот мои отношения. Затем Щегловитов первый предупредил меня о том, что я буду уволен. Это шло из думских кругов. Я узнал после погрома московского; мой уход был вызван тем, что, с одной стороны, особенно настаивал Родзянко, который говорил, что совершенно невозможно совместно работать с правительством, если в его рядах остаюсь я; с другой стороны, Горемыкин доложил государю (мне государь сказал), что совет министров со мной не желает работать. Когда я переспросил государя, было ли такое постановление, то получил ответ: «Нет, передавал мне Горемыкин мнение, что в то время, когда надо итти в ногу, все время обострения». Обострения бывали, потому что я действительно был часто несдержан, и несколько раз, бывало, говорил то, что больно приходилось, может быть, зря, потому что нужды не было, потому что личные отношения только запутывались. Несколько раз так было с Горемыкиным. С Кривошеиным я совершенно расстался. Затем очень слабые отношения с Харитоновым были. Сталкивался я и с Григоровичем — на деловой почве. Потом я узнал, что не совет министров, потому что четыре человека из состава министров, когда узнали, что я ушел, сказали мне: «Как? Ничего подобного не было, первый раз слышим». Так что, это все не так было, в конце концов. Но было положено такое основание к этому; о том, что затевалось, я узнал вперед от Щегловитова, который мне не называл никого, но говорил: «Смотрите, Николай Алексеевич».

Председатель. — Чем же объясняется желание Горемыкина, чтобы вы ушли?

Маклаков. — У него был совершенно определенный человек.

Председатель. — Крыжановский?

Маклаков. — А посадили Щербатова,—великий князь Николай Николаевич. Брат его — адъютант великого князя.

Председатель. — Значит, разруху и развал в совете министров вы наблюдали, и в бытность вашу министром внутренних дел, и позже? Собственно, в январе, феврале было безотрадное положение не только в сношениях с Государственной Думой, но и внутри?

Маклаков. — Внутри мне труднее было всегда. В Думе были люди, которые прямо говорили, что они не признают меня человеком, способным с ними работать. Вопрос открыто был поставлен; а здесь — напротив. Ведь столько раз советы даются такие, что, если исполнить, на себя аркан наденешь.

Председатель. — Я хотел бы понять вас таким образом, что в январе и феврале, уже накануне революции, дело нисколько не стало лучше; т.-е. кабинет Штюрмера, потом Трепова и Голицына собственно был в этом отношении совершенно такой же, как и кабинет Горемыкина?

Маклаков. — Тут я Протопопову очень сочувствовал. Я как раз видел, что он почти в таком же положении, как я. Разница в том, что Дума его знала, она иначе отнеслась. Одно время он за границу ездил в качестве избранника Думы. Он проводил новый устав о воинской повинности. Он был докладчиком. Он необычайно тонко знал работу и, действительно, ценную работу проделал. После этого я просил ему награду у государя, он получил, если не ошибаюсь, станиславскую ленту и приехал меня благодарить. Вот было наше знакомство. Потом было хуже, меня бранили очень, но под другим углом. Здесь было — и изменник и все, что хотите. Тяжело было всем людям, верующим, как я, видеть это. Говорили: вот вам состав выборных, их валят одного за другим и передохнуть не дадут.

Председатель. — На этом мы закончим.

LVII.

ПОКАЗАНИЕ М. В. ЧЕЛНОКОВА.

28 июня 1917 года.

Содержание: Отношение министерства внутр. дел к московскому городскому самоуправлению. Адрианов. Климович. Шебеко. Отношение министров к городу. Маклаков. Городские выборы, Общество 1886 года. Кн. Щербатов. А. Н. Хвостов. Штюрмер. А. А. Хвостов. Протопопов. Февральские распоряжения Мрозовского и Шебеко. Отношение правительства к Союзу городов. Маклаков. Штюрмер и Трепов. Протопопов. Объявление Москвы на осадном положении в феврале. Деятельность московской судебной палаты. О роспуске второй Государственной Думы.

Председатель. — Михаил Васильевич. Вы изволили быть московским городским головою и главноуполномоченным Союза городов, возникшего в связи с войною. По той и другой должности вы приходили в соприкосновение с несколькими министрами, стало-быть, вы являлись свидетелем той политики, которая велась по отношению к имевшим громадное общественное и военное значение союзам и к органам самоуправления господами министрами внутренних дел. Мы расследуем неправильные по должности действия этих лиц, но также ведем расследование о их политической деятельности по основным линиям, вытекавшим из манифеста 17 октября в отношении к народу, Государственной Думе и общественным организациям и к тем правам, которые даны были этим манифестом народу (права собраний, союзов и т. д.). Благоволите рассказать Комиссии все, что вам известно в этом направлении, при чем, если возможно, начните с формального момента. В какой именно период времени вы изволили занимать эти посты и, стало-быть, ближайшим образом сталкивались с этими должностными лицами?

Челноков. — Я занимал место городского головы с 28 марта 1914 года по 28 марта 1917 года. Председателем Союза городов я сделался приблизительно с октября 1914 года и оставался до апреля 1917 года, когда этот пост был уничтожен на съезде Союза городов.

Председатель. — Таким образом, вы имели дело с министрами: Маклаковым, Щербатовым, Хвостовым и Протопоповым, а также премьерами: Горемыкиным, Штюрмером и Голицыным. Нас интересует как общая характеристика направления политики этих министров и премьеров, так и отдельные факты.

Челноков. — Общее направление политики этих лиц, мне кажется, достаточно известно. Они в сущности все, за исключением кн. Щербатова, шли по совершенно определенному пути, и я к тому, что общеизвестно, особенно много добавить не могу.

Председатель. — Все-таки хотелось бы это общеизвестное претворить, хотя бы в виде резюме, в акты нашей Комиссии. Вы даете свидетельские показания, это нужно запечатлеть.

Челноков. — Будьте добры мне точный вопрос поставить. Я боюсь, что вас задержу.

Председатель. — Дайте резюме относительно каждого из них отдельно. По закону имеются органы самоуправления, которые в известных пределах должны быть свободны, и законность от надзирающих органов требует до некоторой степени невмешательства. Затем существует гарантированная основными законами самодеятельность народа в форме известных общественных объединений, в форме учреждений вплоть до государственных. Каково было отношение министра к этим организациям, законом гарантированным?

Челноков. — Позвольте сперва сказать о городе. Я, как городской голова, прямого отношения к министрам не имел, так как мы имеем отношение через градоначальника. Таким образом, когда распоряжение к нам приходило, мы знали, что оно является отражением настроения того или другого министра, но оно формально предлагалось нам через градоначальника. По отношению к градоначальникам я должен сказать, что Климович, может быть, в зависимости от министров, с которыми он имел дело, вел себя по отношению к городу вполне прилично. Он вступил в должность при Адрианове. Адрианов (это мое личное убеждение) принимал участие в немецком погроме, который был устроен. Я лично его видел впереди погромщиков, и об этом я давал подробное показание Крашенинникову, так что не буду повторяться. В начале войны был известный подъем и Адрианов формальных препятствий нам не ставил, даже прекратил травлю, которую вел против города, когда членом присутствия был Морозов. Когда я сделался городским головою, я имел с ним объяснения и указал, что деятельность города будет направлена к сохранению наших культурных ценностей и что я надеюсь, он не будет нам мешать. Адрианов обещал, и короткое время, пока он оставался, нашей городской работе, по крайней мере формально, — не мешал. Затем, когда вступил Климович, я должен был с ним познакомиться, и первое, что он мне сказал, было: «Михаил Васильевич, у нас симпатии быть

не может; я — жандармский охранник, а вы — кадет; потому мы стоим с вами на разных точках зрения, и между нами ничего общего быть не может; но так как теперь война, то давайте не цапаться, вы делайте ваше дело, я буду делать свое и вам мешать не стану». Я ответил: «У нас нет привычки задирать администрацию. Московский городской голова всегда стоит на почве закона, и мы всегда будем действовать в пределах предоставленных нам прав, но если мы встретим противодействие по отношению к нашему праву, то будем давать отпор, так что отношение города к вам зависит от вас; если вы будете действовать в пределах закона, то отношения будут правильные и спокойные, если же вы будете закон нарушать или мешать нам работать, мы будем оказывать сопротивление». Итак, у нас состоялось молчаливое соглашение. Затем произошел такого рода инцидент: мы прибавили жалование рабочим и служащим — два с половиной миллиона рублей. Я получил бумагу от градоначальника, в которой он приостанавливал действие нашего постановления. Я однажды провожал кого-то на вокзале и встречаю там Юсупова и Климовича. Меня Юсупов с ним познакомил, и я ему говорю: «Ваше превосходительство, скажите, в каком направлении вы опротестовали наше постановление, — вы его считаете неправильным или нежелательным?». Он говорит: «Считаю неправильным и приостанавливаю». Я говорю: «Как вы считаете — должны мы это жалованье выдавать или нет?». Он говорит: «Конечно, выдавайте; это мы в порядке переписки выясним». Я ему сказал: «Мы привыкли смотреть на распоряжения правительственных органов так, как они отдаются, поэтому я сегодня же приказал жалованье никому не выдавать и из списка выключить, но так как в Москве никто не поймет, что это значит, то я приказал напечатать в газетах, что выдача жалованья прекращается, вследствие распоряжения градоначальника. Мы имели такую практику, что нас протестовали каждый день; мы сопротивлялись, но это ни к чему не вело; поэтому я должен предупредить вас, что сколько бы вы нас ни протестовали, мы будем наше постановление отменять, будем добиваться, но я буду доводить до сведения Москвы, что эти постановления приостанавливаются по распоряжению градоначальника». На другой день от Климовича чиновник ко мне привез совершенно несущественную бумагу за тем номером, за которым был протест, и говорит: «Позвольте мне протест обратно». Я ему этот протест вернул, сняв копию. После этого Климович нас не трогал: как человек умный, он увидел, что такого рода сражения для него невыгодны, и потому оставил нас в покое». Мы чувствовали, что в наших трамвайных мастерских есть охранники и провокаторы, но связать это с деятельностью Климовича я не мог. Затем к нам явился Шебеко, он нам обещал всякое содействие, но затем поднялась систематическая травля, которая

особенно усилилась за время Протопопова. Шебеко говорил откровенно: «Я сам этой травле не сочувствую, но, получив категорические приказания, как военный человек, не считаю себя вправе от них уклониться». Так шло до последнего времени, вплоть до 27 февраля.

Председатель. — Вы хотели перейти к фактам, касающимся центра, но вы пока привели лишь частные случаи ваших отношений с тремя московскими градоначальниками.

Челноков. — Формально городской голова не имеет отношений с министрами, и потому направление деятельности министров им ощущается только через посредство градоначальников. Пока Климович был у нас градоначальником, мы особенно безобразного давления не испытывали. Конечно, сколько мог, он нам мешал, но держался на законной почве. Затем явился Шебеко. Постепенно он становился все более невыносимым и протестовал почти всякое наше постановление, которое стремилось отстоять самостоятельность.

Председатель. — Со слов Шебеко вы можете воспроизвести историю директив, которые были получены из центра, от министра внутренних дел Протопопова?

Челноков. — Шебеко, во-первых, дипломат, во-вторых, военный человек, в-третьих — человек придворный, следовательно — много не болтал. Только иногда у него вырывалось: «Сам я понимаю, что это зря, но я исполняю определенные приказания». По отношению министров к Москве я должен сказать, что в общем они были всегда предупредительны и всегда обещали все, о чем я просил, как городской голова, а затем, под тем или другим предлогом, эти обещания не исполнялись. Особенно резко это выразилось в деле Общества 1886 года, с которым мы почти три года возились и ничего не добились. Все шесть министров обещали, а затем это сходило на-нет. По политическим вопросам относительно города мне почти не приходилось с ними иметь дела, за исключением первого момента моего утверждения, когда были большие разговоры с Маклаковым. Он говорил: «Никогда я бы кадета не утвердил, но что делать? так сложились обстоятельства».

Председатель. — Само собою подразумевалось, что принадлежность к кадетской партии является поводом для неутверждения высочайшей властью?

Челноков. — То-есть, для представления на утверждение высочайшей власти со стороны министра внутренних дел.

Председатель. — Это зависело от министра внутренних дел?

Челноков. — Формально в законе сказано, что городской голова не утверждается, а назначается; и городской думе предоставлено избирать не более двух кандидатов. Таким образом, по закону, государь император мог утвердить кого угодно. Во вся-

ком случае министр внутренних дел должен был представить на утверждение тех или других лиц; для этого была придумана такая форма: не писали, что государь назначил того или другого, а писали, что «министр внутренних дел не нашел возможным представить к назначению, а его величество это обстоятельство одобрил». Они придумали такой обход, чтобы не выставлять, что это распоряжение государя. Так как все эти министры, за исключением Щербатова, принадлежали к реакционному лагерю, то я ограничивал свои отношения с ними формальными рамками. Когда я бывал у Маклакова и он любезно разговаривал со мною, то я ему прямо говорил, что являюсь к нему, как городской голова, официально; он подтягивался, садился против меня и вел официальный разговор. Я избегал вести беседы, выходящие за пределы официальностей, потому что все наши позиции были слишком различны; я понимал, что ни до чего с ними не договорюсь.

Председатель. — Не припомните ли вы наиболее яркие случаи, когда за счет интересов населения такого громадного центра, как Москва, проводилась реакционная политика центра?

Челноков. — Самый резкий и определенный случай был — выборы. Думаю, можно сказать без преувеличения, что здесь был дан приказ из центра: хотя председатель казенной палаты Стрекалов и не допускал этой мысли, но ясно было, что вопрос о выборах предрешен; это прямо чувствовалось: заседание проходило в таких нелепых контурах, и все было так явно натянуто, что поведение этих лиц можно объяснить только определенным приказом.

Председатель. — Не было ли в практике московского самоуправления случая, когда интересы города Москвы сталкивались с частными интересами, стоявшими за спиной реакционных деятелей? Я имею в виду историю с Обществом 1886 года, где интересы Москвы столкнулись с интересами, которые явно поддерживало правительство.

Челноков. — Я должен сказать, что отношение правительства к Обществу 1886 года носило мистический характер. С самого начала, в первом же заседании, было доказано, что это Общество немецкое, безусловно вредное; каждый из министров, вступая на свой пост, говорил о немедленной ликвидации его, затем смягчался, смягчался и кончал тем, что явно это Общество поддерживал. Я должен сказать, что и при новом правительстве произошло то же самое: я явился к Коновалову и получил обещание, что это будет сделано; но, когда мы начали обсуждать этот вопрос в комиссии, то, так как швейцарские акционеры (т.-е. те же немецкие) очевидно умеют действовать с энергией, сейчас же это дело получило прежний характер; сильный напор начинал смягчаться, смягчаться, и вопрос о ликвидации Общества, которая была обещана еще в 1914 году, и при новом правитель-

стве снят с очереди. Может быть, здесь затронуты такие экономические интересы, что нельзя это Общество ликвидировать.

Председатель. — Мы не рассматриваем действия нового правительства, мы хотели бы остаться в пределах рассмотрения действий старого правительства. Что кроется за этим «мистическим» отношением старого правительства к Обществу 1886 года?

Челноков. — Я не знаю, что; министрам я излагал все дело; они говорили, что это немедленно будет сделано, а затем все сходило на-нет. Мне кажется, имели значение такие обстоятельства: во-первых, техническая организация этого Общества действительно безукоризненна, и всегда встречались с невозможностью разрушить ее, поэтому-то интересы акционеров предпочитались интересам города и обороны; лица, там стоявшие, умели внушать, что, если уберут немцев, то заводы Общества не пойдут так, как раньше; во-вторых, был недоволен швейцарский посланник: повидимому, с этим приходилось считаться.

Председатель. — Позвольте проследить политику Маклакова и других министров по отношению к московскому городскому самоуправлению. Во время ваших встреч с ними вы не слышали изложения общего взгляда на политику по отношению к органам самоуправления?

Челноков. — Я ограничивал свои беседы с этими министрами самыми необходимыми формальными рамками, но один раз услышал от Маклакова фразу, которая меня очень удивила.—Я говорю: «Как вы могли нам назначить Климовича, который пользуется очень плохой репутацией? Он же охранник, жандарм. Зачем вы такого назначили градоначальником? Назначьте военного человека, которому можно было бы верить, мы бы знали, с кем имеем дел». Он говорит: «Вы бога благодарите, что вам не назначили Спиридовича, который был кандидатом». Я говорю: «Кто же этот Спиридович?» Маклаков говорит: «Как кто? Это известное лицо, он очень замешан в деле Столыпина; он был тогда начальником охраны». Я говорю: «Как же вы хотели к нам назначить лицо, которое очень замешано, как я понимаю, в убийстве Столыпина?». Он говорит: «Да, он был кандидатом, и вы бога благодарите, что не он». Я спрашиваю: «Что же, он в тюрьме сидит?». Он говорит: «Нет, он начальник охраны царскосельского дворца». Я говорю: «Каким образом лицо, которое принимало участие в убийстве Столыпина, состоит начальником охраны?». Он говорит: «Это дело не мое, это дело дворцового ведомства».

Председатель. — Маклакова сменил князь Щербатов, с которым вам легче было иметь дело?

Челноков. — Да, но он был очень недолго.

Председатель. — Затем наступило время А. Н. Хвостова. Чем отличался этот период политики министерства внутренних дел по отношению к московскому самоуправлению?

Челноков. — У нас при Хвостове уже сидел Шебеко. Постепенно нажим начал увеличиваться, при чем Хвостов держал себя несколько двусмысленно. В Москве было устроено продовольственное совещание, на котором он уверял, что министр внутренних дел возьмет в свои руки это дело, что он всех удовлетворит, что он обязан это сделать, потому что в эти беспорядки министр внутренних дел, с точки зрения государственного спокойствия, обязан вмешаться. Он устроил очень большое совещание у градоначальника (тогда еще был Климович), и на этом совещании довольно легкомысленно рассказывал, что будет сделано то, другое. Все это сошло в ничью. Он посидел, пошумел и уехал в Петроград, заявив, что съезда, т.-е. продовольственного совещания, не разрешит. По городу же опять ничего не было, кроме Общества 1886 года.

Председатель. — Каковы же были мотивы неразрешения этого съезда? Это было в очень острый период русской жизни, после отступления из Галиции?

Челноков. — Мотивы были краткие: «Не считаю возможным разрешить».

Председатель. — Вы его не спрашивали более подробно?

Челноков. — Я считал совершенно бесполезным со всеми этими господами входить в подробные беседы и держался формально. Все говорили одно и то же: «Мы понимаем, что ваш съезд — не съезд, что вы созываете его только, чтобы удариться в политику. Если бы вы занимались вашим делом, мы бы ничего не имели против. Можете ли вы дать обещание, что политические вопросы не будут затронуты?». Я говорил: «Теперь — все политика. Вы нас доведете до такого состояния, что мы непременно будем говорить о правительстве». — «Этого нельзя допустить». Затем получилась бумага, что съезд не разрешен.

Председатель. — Хвостова 3-го марта сменил Штюрмер.

Челноков. — Когда Штюрмер вступил на пост министра, он приехал к нам в Москву и очень заинтересовался городским управлением, говорил: «Я окажу вам всякое содействие, пожалуйста, покажите, что у вас есть в городе хорошего и что плохого». «Ну, — я говорю, — я вам покажу сначала хорошее». Он пожелал осмотреть больницу. Он очень заинтересовался нашей работой по спасению негодных вещей, прибывающих из армии. Это громаднейшее дело. Он осмотрел все, затем говорит: «Что у вас скверного?». Я посадил его на автомобиль и повез на окраину, показал Москву-реку. Рассказал о городских финансах, о том, что мы не имеем права отчуждения, ибо всегда интересы частных лиц ставят выше интересов города. Он все это осмотрел и сказал, что примет во внимание и окажет содействие. Созвал совещание по поводу Общества 1886 года и категорически сказал, что оно будет ликвидировано. Затем уехал в Питер. Сравнительно

с другими он был только более фальшив. У нас был вопрос о выборах в московскую городскую думу. Он меня спросил о том, хотим ли мы производить выборы. Я ему ответил, что считаю неправильным городские выборы производить сейчас, потому что на фронте находится большинство наиболее молодого и активного населения Москвы. Я сказал: «Вы отлично понимаете это, и, желая получить правую думу, хотите произвести выборы теперь, но эти выборы будут неправильны, потому дума не будет иметь авторитета. Если вам удастся добиться правой думы, то Москва ее не будет признавать». Затем я сказал, что наш город так хорошо сработался, что мы никаких политических вопросов не поднимаем в настоящее время; «если поставите выборы, то все острые вопросы подымутся; нам страшно трудно разрешить финансовый, экономический и продовольственный вопросы, а вы втягиваете нас в борьбу государственную». Я написал записку. Там я выражал мое личное мнение, что было бы правильней выборы отложить. Он со всеми выводами согласился, а затем пришла бумага о том, чтобы выборы произвести. Москва все-таки не пошла за ними и выбрала очень прогрессивную группу. В общем, по отношению к Штюрмеру, я могу сказать: я Штюрмера видел очень давно и отлично знал его репутацию по тверскому земству; никакого доверия у меня к нему не было; я с ним ограничивался чисто формальными отношениями.

Председатель. — Когда вы перечисляли министров и заявляли, что их политика была крайне реакционной по отношению к городскому самоуправлению, то вы выделили одного Щербатова. У вас не было основания выделить другого министра, так же очень кратковременно занимавшего пост, А. А. Хвостова?

Челноков. — Александр Алексеевич Хвостов в личных с ним отношениях производил на меня более благоприятное впечатление: человека более культурного, благообразного и несколько внушавшего доверие, но конкретно мы от него ничего все-таки не видали. Он тоже меня просил сообщить личное мое мнение о выборах. (Собственно, Штюрмер просил меня дать записку о выборах, затем он сделался председателем, а Хвостов министром, и я уже Хвостову подал записку; Хвостов лишь повторил просьбу Штюрмера.) Я не считал возможным докладывать этот вопрос думе, потому что речь шла о продлении полномочий самой думы. Поэтому я написал свое собственное частное мнение.

Председатель. — Затем наступила пора Протопопова.

Челноков. — Протопопова я, откровенно говоря, считал человеком ненормальным. Первым появлением в Москве он такую точку зрения подтвердил. Я получил известие, что Протопопов приезжает; существует обычай, что московский городской голова никого из министров не встречает и не провожает, поэтому я не поехал его встречать. По телефону говорят, что министр

внутренних дел просит меня в градоначальство. Я поехал. Протопопова знал я по Государственной Думе, где он был октябрист, а я кадет; личных отношений у меня с ним никогда не было. Мне сообщили, что на станции он встретился со всеми крайне высокомерно. Оказывается, целому ряду лиц была дана повестка, и вся администрация была там. Он почти что протянул два пальца и говорил на станции вещи, которые казались странными, например: «Продовольствия нет? — Будет. У вас мяса нет? — Будет. Запишите». Шебеко потом сказал мне: он на меня произвел сильное впечатление словами: «Я принужден буду отправлять в Нарымский край!». Это всем, на станции. Я немного сухо вошел в комнату; вдруг Протопопов бросился ко мне с распростертыми объятиями: «Михаил Васильевич, как я рад вас видеть!». И меня троекратно облобызал, что совершенно не входило в наши отношения, самые официальные: мы были членами враждебных фракций. Троекратно облобызав, говорит: «Я думал вас на станции встретить». Я ему сухо отвечаю: «Ваше высокопревосходительство, московский городской голова не ездит встречать министров на станцию. Я такого предложения от вашего превосходительства не получал». Это сразу поставило его на официальную почву. Тогда он начал вести такие странные разговоры и так странно себя держал, что я, наконец, просто говоря, рассердился и сказал: «Ваше высокопревосходительство, вы являетесь здесь высшим носителем власти в данный момент. Ваш приезд связан с серьезнейшими вопросами. Как же вы это мне можете говорить?».

Председатель. — Что же он говорил?

Челноков. — Просто поругивал, выражаясь вульгарно. Говорил, «я распоряжусь», «я прикажу, чтобы этого не было», «я отправлю в Сибирь», «я поеду на хлебную биржу, хотя я не знаю, что скажу, но уверен, что с ними договорюсь». Я ответил: «Как же вы говорите, что поедете на хлебную биржу, когда просто не знаете, что сказать?». Он мне говорит: «Михаил Васильевич, я знаю, вы человек умный, но и я не глупый. Что вы меня учите? Не могу я плыть по паркету, я должен в воду броситься, чтобы плыть. Я хочу броситься в эту воду деловую; прямо окунусь на бирже, и сразу войду в курс дела». Я говорю: «Нельзя этого делать. Вы должны знать, чего сами хотите, тогда вы скажете торговому аппарату, чего от него ждете. Если вы поедете на хлебную биржу, а сами не знаете, что хотите делать, вы только будете себя дискредитировать». Очень долго продолжался этот разговор, совершенно несвязный, так что я был просто рассержен до последней степени; а Шебеко меня провожает и говорит: «Что, Михаил Васильевич, хорошее на вас произвел впечатление министр?». Я говорю: «Оставьте меня в покое». Потом газетчики ко мне приставали, «что у вас такое

вышло, что вы вышли почти взбешенный?» Я действительно рассердился. Меня поразила эта картина: министр приехал в Москву улаживать продовольственный вопрос, а у него — буквально никакой руководящей мысли, ни плана, ничего. И потом, все подносилось в такой форме, с такими прибаутками, с излишними шутками, что на меня он произвел впечатление просто человека ненормального.

Председатель. — Может быть, это просто растерявшийся маленький человек, не на надлежащем месте? Или это тип щедринского градоначальника?

Челноков. — У него растерянности не было никакой. Наоборот, невероятная самоуверенность. Отсюда и впечатление, что он человек не вполне здоровый. Может быть, он вполне здоров, но на меня он произвел такое впечатление. Непомерная самоуверенность, под которой не было абсолютно никакого фундамента. Сидел Шебеко, сидел губернатор и сзади сидел какой-то чиновник, которого он привез с собой. Протопопов по отношению к этим людям старался дать понять, что у меня с ним есть какие-то интимные отношения: «Помните, Михаил Васильевич, в комиссии торговой?». Он делал намеки, будто бы мы в Думе с ним были близки. Между тем, никогда ровно ничего с ним не было. Он производил впечатление человека несолидного, нестепенного, что называется, «не на своем месте».

Председатель. — Это была ваша единственная встреча?

Челноков. — Нет. Затем мне нужно было видеть его по делу Общества 1886 года. Я пытался его увидеть. Обыкновенно, у всех министров был чрезвычайно строгий порядок. Они этим щеголяли. Если они назначают в 11 час. 12 мин., то двери отворяются как раз в это время, и вас просят: «пожалуйте». У этого было наоборот. У него время не было распределено, я два или три раза приехал и никак не мог его видеть, потому что его каждый раз задерживали. На меня также странное впечатление произвело то, что, когда я приезжал в точно назначенное время, — его осаждали жандармы. Ни у одного министра не было столько жандармов, как у Протопопова. Это было какое-то нашествие жандармов. Мне сказано было: в час. Я сижу, без пяти минут час, к нему лезет жандарм с какой-нибудь бумагой. Затем другой. Я сижу; наконец, третий час. Входит чиновник: «Ради бога простите, министр не может принять, просит приехать завтра. Это невиданный и неслыханный случай, чтобы министр внутренних дел заставлял городского голову приезжать три раза. Приехав в последний раз я говорю: «Если не будет приема, я решил, что больше не пойду». Он высылает сказать: «Извините, я прошу вас завтракать». Я пошел к нему наверх завтракать. На меня произвело впечатление, что это человек, который захлебывается от удовольствия на своем посту. Просто, он был вне себя.

Председатель. — Была попытка мыслить в вашем присутствии вслух на государственные темы?

Челноков. — Нет, никаких особенных попыток не было, а так он говорил: «Я устрою и это, и то. Продовольствие — пустяки, я налажу». Я уже видел, что должен исполнить постановление думы; поэтому, я нашел минуту, когда можно было формально доложить постановление, и уехал.

Председатель. — Не было с его стороны попыток указать на какое-нибудь необычайное полномочие, которое он имеет, или на тех лиц, которые его поддерживают?

Челноков. — Нет.

Председатель. — А каковы распоряжения Протопопова, как министра внутренних дел, касающиеся города?

Челноков. — В городской думе мы всегда получали распоряжения через градоначальника; несомненно, Протопопов влиял на Шебеко, потому что с его вступлением темп административного усмотрения все подымался, делался резче и, наконец, получал свое крайнее выражение в беззаконии: в опротестовании наших городских выборов.

Председатель. — Вы не можете отметить отдельные распоряжения, которые передавались вам градоначальником или от имени градоначальника?

Челноков. — Никаких почти предложений, обязательных по закону, градоначальник нам не имеет права делать; они этого избегают. Когда напишут такую бумагу, мы пишем: на основании какой статьи сделано это предложение? Следовательно, его деятельность была пассивной, т.-е. он только опротестовывал наши постановления. Если хотите, я могу сказать, чтобы из города прислали списки; вы увидите, насколько все это нелепо. Нам нужно делать заем — он протестует заем. Мы прибавляем служащим жалованье — он протестует против прибавки жалованья. Что хотите — он все протестует и задерживает нашу работу.

Председатель. — Я хотел бы напомнить вам одно распоряжение. Это — попытка воздействовать на председателей городских самоуправлений, чтобы они не допускали никаких политических суждений, резолюций, даже под страхом какой-то чрезвычайной ответственности.

Челноков. — Да, это воздействие было оказано, даже, пожалуй, и на меня, как на городского голову; но, сколько я помню, Шебеко сообщил на словах: «Я покорнейше прошу вас, Михаил Васильевич (вы понимаете, какое острое положение), не допускать в думе вопросов». Много раз такого рода увещевания были, но мы на них внимания не обращали; я не помню, были ли бумаги; они бумаг избегали.

Председатель. — А к революционным дням не получила ли эта деятельность министерства внутренних дел какой-нибудь особой интенсивности?

Челноков. — Я этого не могу сказать. В связи с революцией (это было 26 числа) Мрозовский просил меня к себе заехать позаботиться о наших городских предприятиях, потому что уже чувствовалось некоторое брожение; тут вышло некоторое недоразумение; именно, Шебеко собственной властью остановил наш трамвай, потому что хотел предупредить скопление народа; но он достиг другого, потому что трамвай заключает в себе не менее 75.000 человек и бывает не менее 75.000 ожидающих. Движение было прекращено, и сразу оказалось на улицах 150.000 человек. Это было действие нецелесообразное. Раз он остановил, восстановить движение было уже невозможно. Затем Шебеко совсем сошел со сцены, и я не видал его до тех пор, пока его не привезли в думу арестованным; я видел его еще у Мрозовского на отлете.

Председатель. — Теперь мы перейдем к городскому Союзу.

Челноков. — Относительно городского Союза, чтобы быть объективным, нужно прежде всего обратить внимание на то, что он не имел под собой никакого законного основания. Он был сооружен просто, можно сказать, явочным порядком. Единственно, у нас была отметка государя, что он что-то «согласен» или «благодарит». Во всяком случае, легальный титул более, чем слабый. Конечно, этот легальный титул не имел бы в другое время ровно никакого значения. Поэтому говорить об их незакономерных действиях по отношению к Союзу довольно трудно: можно оценивать их только с точки зрения целесообразности. С формальной точки зрения, если хотите, они были довольно к нам предупредительны; например, мы отстояли без особенного напряжения, чтобы наших служащих не утверждать; а в городе и в земстве служащие утверждаются и представляются; если бы прежнее правительство предъявило нам определенные требования и сказало, что московские служащие должны представляться градоначальнику, а провинциальные губернатору, то нам пришлось бы этому требованию подчиниться, по аналогии с городовым положением. До самого конца мы принимали в Союз, кого хотели. Были раз или два указания, что такие-то должны быть уволены по неблагонадежности; но это, так или иначе, улаживалось; по крайней мере, в Москве мы никакого напора на Союз в этом отношении не испытывали. Значит, остается беседовать только о целесообразности их действий. С нашей точки зрения надо было все больше расширять, с их точки зрения — сжимать. Здесь путем борьбы, как принято сейчас выражаться, мы отстаивали свои позиции, завоевывали все новые и новые. Когда я приехал в Петроград к генералу Всеволожскому на Английскую набережную, он мне сказал, что ничего не дадут. Но когда выяснилось, что у них

даже плана эвакуации нет, то нам пришлось составить план эвакуации; мы сначала стояли по линии Петроград — Москва — Харьков, потом перешли к западу и наконец добрались до фронта, откуда всегда встречали поддержку. Здесь шла борьба. Со стороны министерства внутренних дел мы не встречали никакого сопротивления в деле расширения нашей деятельности на чисто военные нужды. Здесь приходится отметить одно распоряжение Маклакова, которое явилось нецелесообразным и даже вредным, а именно: мы разрабатывали план борьбы с заразными болезнями, который должен был быть выгодным для казны в смысле денег и полезным в смысле преграждения и распространения заразных болезней. Маклаков, при посредстве Ольденбургского, который ему подчинился, провел точку зрения, чтобы каждый город отдельно сносился с правительством и чтобы они каждому городу отдельно давали деньги; это — из-за того только, что не хотели признать нашего плана. Борьба шла почти полтора года. Они истратили очень большие деньги: миллионов десять роздали городам; эти деньги с точки зрения борьбы с эпидемиями были истрачены нецелесообразно. Целесообразно было только то, что города просили, и им было выдано.

Председатель. — Для вас было ясно, что это — частный случай политики разделения?

Челноков. — Здесь имелось в виду не дать городам действовать организованно и объединенно.

Председатель. — В основе этой политики разъединения, конечно, лежало реакционное направление?

Челноков. — Само собой разумеется. Я считаю это наиболее ярким и наиболее вредным для дела случаем, потому что мы потеряли время. Мы начали строить бараки, но время шло, и они стали дороже, и деньги были даны напрасно. Главное то, что организация ушла из наших рук. Вторая наша история была с беженцами. Закон предусматривает работу в этом деле Союза городов и земского Союза, мы находились в центральном комитете о беженцах. Между тем, они толковали так: «Вы имеете право там сидеть, но действовать вы не имеете права». Толстый Хвостов, простите, что я так вульгарно выражаюсь, также стоял на этой точке зрения; при этом, он говорил, что считает необходимым действовать через нас. Я был у него с кн. Львовым, а потом мы узнали, что он дал инструкцию — во что бы то ни стало нам противодействовать. Эта борьба ничем не кончилась, но все-таки они действовали через отдельные города, а мы действовали почти контрабандным порядком. Можно сказать, что эти два крупных дела должны были быть проведены организованным порядком через Союз городов и земский Союз, что было бы наиболее целесообразно в интересах дела. Они не дали этого сделать. Что касается помощи раненым и больным

воинам, то там они просто не могли помешать, хотя и стремились к этому. Они предлагали отдельным городам от них получить деньги и говорили даже: «Больше дадим, чем вы в Союзе получите, но чтобы они сносились непосредственно с нами». Сила вещей не дала этого выполнить. Это было нелепо. Раненые тут страдали, крик поднялся бы. Военное ведомство нас поддерживало. У них не хватило заряда это провести, но в порядке интриги они действовали. Я даже частным образом знаю: некоторые городские головы говорили, что им предлагали: «Вы от Союза должны получить сто тысяч, а мы дадим полтораста, только просите прямо от нас».

Председатель. — В отношении к городскому Союзу вы можете отметить какие-нибудь особенности в связи с тем, кто занимал в данный момент пост министра внутренних дел или председателя совета министров? Не был ли особенно характерным, в смысле борьбы, Штюрмеровский период?

Челноков. — Да, конечно. И Треповский то же самое, потому что съезд нам не разрешил все-таки Трепов. Трепов мне передал на словах, что он предоставляет этот вопрос решить в Москве и дал мне даже письмо, предоставляя решить вопрос Мрозовскому; Мрозовский же мне сказал: «Это неверно, Трепов по телефону настаивает, чтобы съезд не был разрешен. Может быть, я что-нибудь придумаю. Я нынче вечером еще раз поговорю». Он вечером переговорил, а на утро сказал мне: «Должен вас предупредить, что я получил категорический приказ от Трепова, как от представителя высшего правительства, этого съезда не разрешать».

Иванов. — С Протопоповым вы имели тогда сношения?

Челноков. — Трепов был председателем совета министров. Я все-таки говорил с Треповым и лично был у Трепова.

Иванов. — Я хочу задать частный вопрос. Протопопову была послана программа съезда?

Челноков. — Да, да. Когда я был у Хвостова, там был Волконский; Хвостов говорит: «Я вообще склонен разрешить этот съезд, но вы пришлите программу за две недели». Волконский говорит: «Пришлите лучше за три недели, у нас в канцелярии всегда волокита». Мы это сделали, хотя не считали себя обязанными.

Иванов. — Так что Протопопов отлично знал предметы занятий съезда по программе?

Челноков. — Да, да.

Ольденбург. — Может быть, вы помните, что состоялось постановление совета министров лишить все общественные организации права на непосредственные заказы и давать только через ведомство? Это вызывало довольно значительные затруднения. Предшествовали этому какие-нибудь нажимы на вас или нет?

Челноков. — Мы все время были под нажимом. Но эти нажимы, за исключением этих двух случаев, подносились в более или менее приличной форме. Например, история о заказах. Нам говорили: «Раз вы заказываете и интендантство заказывает, это вызывает конкуренцию». Я должен сказать, что и теперь министры стараются нас все время дискредитировать. Несколько раз указывали, что Союзы — это место, где скрываются от воинской повинности. Все время происходили проверки наших людей и внезапные ревизии. Но так как в правительственных сферах эти вопросы возбуждались, это переходило в прессу, где было принято упрекать Союзы, называя их окопами, в которые прячутся. Надо сказать, что сейчас Керенский предъявил нам то же самое обвинение, что у нас прячутся.

Председатель. — В той форме, что учредил комиссию, которая должна пересмотреть вопрос?

Челноков. — Он признал, что наши служащие как бы укрываются. Когда это делали те министры, это на наш союз не бросало никакой тени, но когда сказал Керенский, то этим он как будто признал, что у нас действительно существуют какие-то окопы.

Ольденбург. — Вы знаете, что часто затягивалась выдача денег. Происходило это по волоките или сознательно?

Челноков. — Я должен сказать, что в этом, пожалуй, скорее виноваты сами Союзы. Мы всегда обрушивались на правительство, и говорили, что оно виновато, но по документам чувствовалось, что нас этими деньгами хотят взять. Мне кажется, что было такое явление, что деньги, которые шли через Союзы, были до такой степени громадны, что они должны были призадуматься. Затем действие Союзов расширялось так стихийно, что в комиссии, где сидел старый генерал Веденяпин, человек в высшей степени честный, и второстепенные представители ведомства, приходили в ужас, когда мы предъявляли требования на 80 — 100 миллионов. У них не хватало духа требовать эти деньги. Когда эти требования приходили в совет министров, он, конечно, тоже чувствовал, что, передавая Союзу такие деньги, укрепляет его позицию. Поэтому естественно, что у них не хватало заряда очень охотно нам эти деньги давать; мы исполняли не особенно сложные требования, которые были нам предъявлены, они могли нас зарезать, но они только затягивали. Мы настолько увлекались делом, настолько расширяли требования, что иногда не в состоянии были отстаивать их, и они просто терялись.

Ольденбург. — Вы помните, что после ухода Поливанова началось резкое ухудшение отношения к общественным организациям? Я могу засвидетельствовать это, как член комиссии, а вам, вероятно, это было еще более чувствительно?

Челноков. — Несомненно так, но они, задерживая наши деньги, придирались к формальностям, которые были законны, и делали нажимы, обставлявшиеся известными формальностями.

Ольденбург. — Но это не нарушало картины систематического нажима и желания дискредитировать?

Челноков. — Мы находили поддержку в военном ведомстве. Прочтите журнал совета министров, где рассматривались наши ходатайства; они открыто говорили, что нужно сокращать слишком широкие ассигновки.

Ольденбург. — Важно, что совет министров расходился с военным ведомством.

Челноков. — Я с этим согласен, но я хочу сказать, что, если бы они хотели сократить более определенно, они могли бы это сделать более резко.

Ольденбург. — Но им тогда пришлось бы бороться с военным ведомством?

Челноков. — В Союзе у нас шла работа. Например, Союз городов развил очень большую экономическую, статистическую и продовольственную деятельность. Они могли бы это сократить.

Председатель. — Вы кончили изложение отношений Союзов?

Челноков. — Я бы мог говорить очень долго, но мне кажется, что я бы вас задержал; в крупных чертах я кончил.

Председатель. — Скажите, пожалуйста, что вам известно о том, как Мрозовский объявил Москву на осадном положении?

Челноков. — На нас это не произвело никакого впечатления.

Председатель. — У вас с Мрозовским не было какого-нибудь разговора?

Челноков. — У меня был разговор по поводу осадного положения перед самым переворотом. Он сказал: «Вы должны иметь в виду, что дело идет о вашей голове и о моей голове». Я говорю: «Это ясно». Он говорит: «Вы меня, кажется, не поняли, я говорю не о том, что вы городской голова, а вот об этой голове. Мне дано полномочие действовать до конца. Я, как солдат, обязан буду это делать, и вы понимаете, что я не могу остановиться. Я человек решительный, я четыре кампании сделал». Здесь он упомянул, что имеются какие-то особые полномочия.

Председатель. — Значит, вы судите об этих полномочиях только по разговору с ним, но происхождения их вы не знаете? Теперь, Михаил Васильевич, у нас есть некоторые наблюдения и впечатления по частным поводам, которым вы имеете право придавать общее значение, относительно деятельности министерства юстиции. Вы наблюдали это по Москве, будучи сословным представителем, и непосредственно знаете об этом от ваших товарищей по московскому городскому самоуправлению.

Челноков. — Вообще я с министерством юстиции не имел никаких дел и даже был присяжным заседателем всего один раз.

Когда я сделался городским головою, я стал членом судебной палаты, как представитель города. Меня крайне поразило, что, при рассмотрении вопросов, они ведут себя как-то уж слишком упрощенно. Я с самого начала с этим направлением вступил в борьбу. Я предъявлял требования, чтобы рассмотрение дел велось в определенном порядке, и просил всех членов управы, из которых некоторые, по собственной инициативе, всегда были на-стороже, как можно строже относиться к правильному и формальному проведению дел. В конце концов, мне пришлось подать особое мнение, так как нарушение порядка было слишком явно. Товарищ прокурора показал документы, которых на суде не имелось. Я находил, что рассмотрение дел совершенно не соответствует правильному порядку. Обычно были такие сцены: когда началось заседание, председатель говорит: «Надо достать дело 251». Дело приносилось, там находились разные охранные документы, которых суд вовсе не видал. На мое замечание, каким образом докладывать документы, которых суд не видал, мне отвечали: «Мы судим по совести, вы можете во внимание не принимать, но это, как характеристика, интересно». Я против таких приемов протестовал. В общем, у меня было впечатление, что у них сложилась известная привычка выносить обвинительный приговор по делам, которые касались левых. Например, рассматривается дело, где почти невозможно допустить мысли, что лицо виновно настолько, чтобы его следовало осудить (даже с точки зрения закона). Когда мы возвращаемся в совещательную комнату, председатель говорит: «Этого надо построже, как следует засудить». Я говорю: «Как же построже, ведь он не виноват?».—«Вы его не знаете, мы его давно знаем». Обыкновенно я говорил: «Чем мы занимаемся? Рассматриваем ли мы дело в тех пределах, которые дало судебное следствие или обвинительный акт, или мы вообще принимаем во внимание все то, что нам из разных источников известно о человеке и хотим с ним расправиться? Я считаю, что мы рассматриваем только данное дело, и если в этом деле нет никаких данных для обвинения, а вы эти данные сообщаете, то я не хочу их знать». Говорят: «Нет, это надо, это — с.-д.». Повидимому, такое настроение у них было привычным.

Председатель. — Мне хочется отвлечь ваше внимание к другому вопросу об обстоятельствах роспуска второй Государственной Думы, где вы изволили быть секретарем. По каким поводам и при какой обстановке была распущена вторая Дума? Для вас теперь не тайна, что в основу процесса, который послужил к роспуску Думы, была положена деятельность двух провокаторов, впоследствии обнаруженных. Может быть, вы в нескольких штрихах очертите расхождение Думы с тогдашним министерством, политику Столыпина по отношению к Думе и реализацию этой

политики в форме роспуска с требованием выдачи нескольких членов Думы?

Челноков. — Перед роспуском я уехал в Москву дня на три. Я получил телеграмму: «Немедленно приезжайте». Приехав в Петроград накануне роспуска, я застал совещание в кабинете председателя, где обсуждался этот вопрос. Требование выдачи не встречало в Думе поддержки. Когда заседание кончилось, некоторые члены Думы, зная, что я, как секретарь Думы, несколько раз виделся со Столыпиным, говорят: «Необходимо Столыпину сказать, что распускать теперь Думу было бы явным безумием» и просят меня поехать. Я говорю: «Что же ехать?». Повидимому, этот вопрос предрешен, нельзя же надеяться переубедить Столыпина, да, наконец, я один и не поеду». Несколько членов Думы: Маклаков, Булгаков, Струве поехали со мной к Столыпину на дачу ночью. Он встретил нас очень любезно, спрашивает, в чем дело. Мы сказали. На это он сказал вещь совершенно невероятную: «Господа, я крайне удивлен тем, что вы отстаиваете позицию Думы. Я думал, что вы, как кадеты, пойдете нам навстречу, потому что, если мы устраним из Думы с.-д., у вас будет кадетское большинство, и тогда вы можете проводить вашу политику». На это заявление мы встали и уехали. Утром оказалось, что Дума распущена.

Председатель. — Не было ли разговора о достаточности документов, которые были предъявлены?

Челноков. — Дело в том, что Столыпин держался, как бы стараясь себя оправдать в этом деле. У меня осталась в памяти такая фраза: «Здесь доказано, что с.-д. принимают участие в боевой организации. Ни одно государство на свете не допустило бы, чтобы совершались такого рода действия среди членов парламента». Я выражал уверенность, что все это раздуто. Одним словом, было ясно, что наш разговор не может иметь никакого значения; мне кажется, он издевался над нами. Когда мы прощались, я даже сказал: «Прощайте, мы больше с вами никогда не увидимся. Я не знаю, как вы выйдете из этого дела».

Председатель. — У вас было тогда предположение, что это дело — провокационного характера?

Челноков. — Я с Салтыковым говорил: «Будьте осторожнее, уверяю вас, что там ничего нет». Мне казалось, что их просто ловят. Но некоторые из них находились в таком подъеме, что легко на это шли. Так и оказалось.

Председатель. — На этом мы закончим. Позвольте вас поблагодарить, Михаил Васильевич.

LVIII.

ДОПРОС ГЕН. Н. И. ИВАНОВА.

28 июня 1917 года.

Содержание: Назначение Иванова главнокомандующим петроградским округом. Разговор с бывш. царем об общем недовольствии и необходимости реформ. Телеграмма Родзянки и начальника генерального штаба. «Ориентировка». Вопрос о продовольствии. Неудачные переговоры с военным министром в 1914 году. Непосредственное обращение к царю. Об ответственном министерстве. Решение не вводить войска. Предварительный поход в Царское Село. На станции Дно. Беспорядки. Станция Вырица. Вести об аресте министров. В Царском. У бывшей императрицы. Разговор о причинах недовольства. Приготовления к отъезду. Телеграмма царя. Отъезд. Решение не итти на Петроград. Телеграммы инженера Бубликова. Политические вести. Возвращение в ставку и весть об отречении. Причины отставки ген. Иванова. Шпионаж. Австрийские сведения. Попытки австрийцев использовать дурное отношение Иванова к военному министру. Следственная комиссия. «Через Вену». Первые сведения о Распутине. Наступление на юго-западном фронте в 1916 году. Последствия убийства Распутина. Разговор с бывш. государем о Распутине. Перемена отношения бывш. царя и ее причины. Записка ген. Алексеева. Просьба об увольнении и Распутин. Отношение ставки к бывш. императрице. Перенесение сессии Государственной Думы. Кауфман и его отставка, как следствие доклада о Распутине. Бывш. императрица и Распутин.

Председатель. — Николай Иудович. К нам в комиссию поступило заключение генерала Алексеева, касающееся вашего дела. Комиссия, прежде чем вынести окончательное решение, сочла необходимым задать вам некоторые вопросы, касающиеся тех объяснений, которые вы изволили уже дать. Но мне бы представилось более целесообразным, если бы вы сами, в кратких чертах, изложили нам ход событий с того момента, как вам стало известно ваше назначение. Будьте добры, передайте Комиссии то, что вы помните.

Иванов. — 27 февраля я пришел к обеду у государя около 8 часов. Генерал Алексеев вышел с доклада от государя и передал мне, что я назначаюсь в Петроград. Я несколько удивился,

потому что я желал остаться в армии. Нужно сказать, что в это время пронеслось известие, что Дума распущена.

Председатель. — Значит, в ставке узнали о петроградских событиях и о роспуске Думы?

Иванов. — Я жил на вокзале, в четырех верстах, и почти ни с кем не имел общения.

Председатель. — Но эта весть пришла из Петрограда?

Иванов. — Были телеграммы в газетах.

Председатель. — Значит, у вас составилось впечатление, что в ставке узнали из газет?

Иванов. — Я боюсь это сказать. Одним словом узнали, и были разговоры. После обеда государь мне говорит: «Я вас назначаю главнокомандующим петроградским округом. Там в запасных батальонах беспорядки, и заводы бастуют». Относительно запасных батальонов я должен сказать, что в ноябре был георгиевский праздник, и я видел эти батальоны. 22 декабря меня вызывали в следственную комиссию по делу Сухомлинова, так что относительно состояния запасных батальонов меня это не удивило, потому что я ничего иного ожидать не мог и, к сожалению, не ошибся. Государь говорит: «Отправляйтесь». Я ожидал, что после войны придется делать реформы. Я высказывал это не государю, а некоторым членам Государственной Думы: «Вы устраивайте реформы, но армию оставьте, дайте ей окончить войну».

Председатель. — Кому вы это говорили?

Иванов. — Члену Государственной Думы Демидову, бывшему артиллерийскому офицеру. Нужно сказать, что перед этим я просил государя меня освободить, так как там мое положение было совершенно бесцельно. У меня были известные воззрения относительно Распутина. Мне говорили, что я ушел из-за Распутина, но я его никогда в жизни не видал; очевидно, были какие-нибудь третьи лица и, видя такое положение, я просил государя меня уволить. Сначала я говорил с графом Фредериксом, а государю сказал, что вопрос здесь идет о причине довольно серьезной, что недовольство идет давно. Тогда он говорит: «Кому же поручить, кому доверить?». Я говорю, что в делах государственного управления я не считаю себя компетентным, не могу указывать, но положение в последнее время стало нетерпимо, недовольство усилилось с половины прошлого года и проникло в войска. Когда я это сказал, он говорит: «Кому же поручить, кому доверить составление такого министерства?»... Я не думаю, чтобы он у меня спрашивал совета, но он так сказал. Я на это говорю, что я Петрограда не знаю. Я в Петрограде служил шесть раз. И ответил: «Не могу вам ничего сказать». Но между прочим сказал, что есть известные лица в Москве, что называют Кривошеина, Самарина, гр. Игнатьева, кн. Львова.

Председатель. — Вы называли эти имена государю?

Иванов. — Да, но сказал, что я их совершенно не знаю. Он ничего не возразил.

Председатель. — Генерал, вы называли эти имена государю или нет?

Иванов. — Называл; но я говорю, я их совершенно не знаю. Я сказал: «Так говорят». Засим он стал прощаться и сказал: «Я прикажу начальнику штаба несколько частей послать в Петроград для освежения». Я не помню, для замены или для усиления гарнизона, как он сказал. Я ему на это доложил: «Ваше императорское величество, я не знаю, какие войска посылаются теперь. Я целый год нахожусь в стороне от армии и не знаю настроения войск. Но должен доложить, что в настоящее время далеко не все части останутся верны в случае народного волнения». Буквально так сказал: «далеко не все части»,—это подлинное выражение. Я распрощался и ушел. Пришел к генералу Алексееву и узнал, что с северного фронта посылаются два полка и с западного фронта два полка. И там не знают, какие послать. Я хотел ехать со скорым поездом, на другой день; но ген. Алексеев говорит мне: «Лучше отправляйтесь с батальоном и одной ротой сводного полка, лучше поезжайте с ними, потому что можете наткнуться на неприятности». Затем он кратко кое-что прибавил.

Председатель. — Пожалуйста, воспроизведите, что он сказал.

Иванов. — Он очень сдержанный человек, говорил мало. Показал две телеграммы, но они ничего не говорили. Телеграмму Родзянки от 25 числа я впервые прочитал на страстной неделе, когда освободился из-под ареста, из Таврического дворца. Об этом положении я ничего не подозревал. Но когда мне говорят...

Председатель. — То-есть вы говорите о какой телеграмме?

Иванов. — Это, где конец телеграммы такой, что он считает долгом заявить опасение, как бы ответственность не пала на главу монарха, который так сказать отсутствует, что растет анархия. Об этой телеграмме ген. Алексеев не знал. Ген. Алексеев сказал, что одна телеграмма осталась у государя. Какая телеграмма, я не знаю. Одна телеграмма была от председателя совета министров или Беляева, или от начальника генерального штаба, о том, что совет министров постановил объявить осадное положение (в показании я это упустил из вида). Вот то единственное и существенное, что я из этих телеграмм узнал. А потом, что Дума распущена: две отправные мои точки зрения.

Председатель. — Простите, генерал, разрешите остановить ваше внимание на этом. Значит, что же? В одной телеграмме говорилось об объявлении осадного положения? А в другой телеграмме?

Иванов. — А в другой телеграмме было сообщение относительно продовольственного вопроса, относительно рабочих. Это

начальника генерального штаба, кажется, телеграмма. Об этом я еще раньше узнал, что многие заводы не работают, не работают на оборону, вследствие недостатка топлива; это я от артиллеристов узнал, когда в декабре месяце был.

Председатель.—У вас две отправных точки: Дума распущена и осадное положение?

Иванов. — И продовольственный вопрос. Я и государю сказал, что продовольственный вопрос играет большую роль, но что какая-то причина лежит гораздо глубже. Я сказал... Если угодно, я приведу мотивы?

Председатель. — Несколько позже, чтобы не прерывать изложения внешних фактов.

Иванов. — Алексеева в это время два раза вызывали. Раз Родзянко, — разговор был по прямому проводу; он вернулся и пошел к государю. Другой раз государь его позвал. Я просидел около двух часов в штабе и беседовал с ген. Алексеевым не больше 15 минут. Поминутно приходили по поводу отправления войск и т. д. И в это время я обдумал, что раз я еду, я должен иметь ясное представление о продовольственном вопросе, об объявлении осадного положения и т. д., и потому я тогда составил план, спустился и по телеграфу задал ряд вопросов (было всего 10 пунктов) бывшему командующему петроградским округом, ген. Хабалову. Нужно было ориентироваться.

Председатель. — Генерал, это вашей рукой написано, вот эти три желтенькие листочка?

Иванов. — Моей, моей. Раз уже осадное положение, то это будет как крепость. А посему продовольственный вопрос есть один из пунктов, и я запросил, каковы запасы продовольствия, потому что иначе нельзя жить, как имея двухнедельный запас продовольствия. Кроме того, надо было иметь запасы угля. Затем ген. Алексеев посоветовал мне итти в вагон ночевать. Обыкновенно в городе я останавливался у бывших моих служащих, у моряков. Был и адъютант, который должен был со мной ехать— генерального штаба полковник Капустин. Я ему сказал: «Завтра отправляемся около полудня». По линии относительно поездки государя в этот день не было ничего известно. Отправивши телеграмму и узнав об осадном положении в Петрограде, я решил спросить государя о следующем обстоятельстве: я слышал раньше, что у министра внутренних дел с генералом Хабаловым были постоянные пререкания по вопросу об охране. Раз осадное положение, охрана получает первостепенное значение. Я решил обеспечить вопрос продовольствия и подвоз угля и вместе с тем выяснить отношение этой администрации к министерству внутренних дел, и так как воинский поезд должен был отправиться около полудня, решил пойти на следующий день к государю. И между прочим этого офицера генерального штаба спросил: «А как вы распоряди-

тесь днем?». Затем вернулся в вагон ночевать. И вот около двух часов или немного ранее в вагон, где я находился, приходит адъютант и говорит, что государь сейчас уезжает. Я оделся и спросил по телефону. Мне сказали, что государь приехал две, три минуты назад. Я пошел. Он меня принял. Я ему доложил относительно продовольствия и просил, чтобы он оказал содействие. Должен, между прочим, сказать, что по закону, по положению полевого управления 14-го года, главнокомандующий имеет право сноситься со всеми министрами. Но после 2 сентября 1914 года, когда я телеграфировал военному министру насчет недостатка снарядов, мной были недовольны и в штабе верховного главнокомандующего, и по многим причинам, так что я вынужден был телеграфировать не военному министру, а начальнику главного артиллерийского управления. Просил сказать, на что мы можем рассчитывать. Упомянул тогда примерный расчет снарядов и, к сожалению, не ошибся в своих предположениях. Говорили: Иванов пессимист, а, к сожалению, я не ошибся.

Председатель. — Вы были главнокомандующим юго-западного фронта?

Иванов. — Да. И засим была от меня телеграмма о том, что в комплектование из запасных батальонов входят неодетыми 15.000 человек.

Председатель. — Это тоже относится к осени 1914 г.?

Иванов. — К сентябрю 1914 года. И после этого я ответа не получил. Но была телеграмма, чтобы главнокомандующему с военным министром не сноситься, а все обращаться в ставку. Вот я и подумал: что же я буду сидеть в Петрограде, здесь министры, а я, как вопрос коснется продовольствия или угля, должен буду телеграфировать в ставку. Я очень хорошо знал порядок прохождения дел. Пойдет к дежурному генералу, от него к другому и т. д. Я это испытывал в 1915 — 1916 году, когда был назначен новый министр земледелия Наумов, и был Трепов. Они ко мне приезжали. Я, наученный горьким опытом, решил обратиться к государю и сказал ему: «Ваше императорское величество, необходимо обеспечить жителей продовольствием». Я не помню, какой я тогда примерный подсчет сделал.

Председатель. — Это ваша вторая беседа?

Иванов. — Вторая, ночью, в три часа ночи. Я сказал, что, кроме того, слышал, что было с министерством внутренних дел. Фамилии Протопопова я не упомянул, потому что я его не знал. Относительно Протопопова у меня не было тогда мнения. Государь говорит: «Да, да. Хорошо». И потом добавил: «Пожалуйста, передайте генералу Алексееву, чтобы он телеграфировал председателю совета министров, чтобы все требования командующего войсками петроградского округа ген. Иванова исполнялись», и прибавил: «беспрекословно». Я тогда оговорку сделал, что не

для всех это требуется, а только для четырех министров, но не успел и договорить, как он повторил еще более определенно: «чтобы все требования исполнялись».

Председатель. — И всеми министрами?

Иванов. — Да. Я вначале был немножко удивлен, но значения не придал. Думал — он желает меня успокоить. Это мое личное было впечатление. Он говорит: «До свидания. Вероятно, в Царском Селе завтра увидимся». Я сказал: «Ваше величество, позвольте напомнить относительно реформ». Он сказал: «Да, да. Мне об этом только что напомнил ген. Алексеев». Так что я вышел с мыслью, что это дело решенное, и даже, кажется, едучи сюда, я моим спутникам (у нас был Лодыженский, мой адъютант, и полковник Кринский), я им, кажется, конфиденциально говорил. Но, конечно, офицерам и войскам не говорил.

Председатель. — То-есть что говорили?

Иванов. — Говорил об ответственном министерстве.

Председатель. — А где же речь шла об ответственном министерстве?

Иванов. — Государь мне сказал: «Кому доверить составление ответственного министерства?». И другой раз: «министерство доверия». Так как я знал, что там осадное положение и беспорядки и в то же время государь решает вопрос об ответственном министерстве, то думал не телеграфировать.

Председатель. — Что не телеграфировать?

Иванов. — Я не знал этого документально, обдумал и решил с войсками не входить, пока не выяснится. Здесь я узнал, что в войсках колебание. Это было 28-го. Тогда я решил не вводить войска и говорю: «Ваше величество, я решил войска не вводить, потому что, если ввести войска, произойдет междоусобица и кровопролитие».

Председатель. — Это когда вы сказали?

Иванов. — Это второй раз утром.

Председатель. — Утром, значит, в ночь с 27 на 28?

Иванов. — Да. Это в показании у меня написано. Сказал, что будет кровопролитие, будет междоусобица. Тогда он сказал: «Да, конечно», так что было одобрено, но в какой форме, не могу сказать наверное: кажется, он сказал: «Да, конечно». Это я за основу положил. Если бы я не доложил, я бы все равно решил не вводить, и вот по каким причинам: объявлено осадное положение. События, следовательно, идут скоро. Пока я приеду, пройдут сутки слишком. Я приеду с одним батальоном, так как войска с двинского фронта не приедут (это мое внутреннее соображение было). Если войска верны, то можно (я буду прямо говорить) десятки тысяч уложить. Я буду так поступать, а в это время государь объявит об ответственном министерстве. Затем если войска не верны, то (извините за выражение) лезть будет глупо. Тем более,

что я уж видел по батальону, и не знал, какие войска. А знал, что многие части себя уже в октябре и ноябре показали, после известных боев прошлого года, когда в силу многих причин на них нельзя было рассчитывать. Затем я попрощался и ушел. Утром переговорил по аппарату с ген. Хабаловым. Ответ его существует. Относительно продовольствия я немножко успокоился. Хлеба было что-то около пяти миллионов пудов. Я рассчитывал, что на первый случай этого хватит. Успокоился и выехал с батальоном. Я предполагал, что еду в Царское Село и приеду 1 марта утром. Тут, вероятно, есть моя телеграмма, что приеду утром.

Председатель. — Почему в Царское Село?

Иванов. — Решил там высадиться, чтобы быть вблизи Петрограда, чтобы не итти походом несколько дней, на случай событий. Отсюда можно было снестись в любой момент, если потребуется. Я телеграфировал коменданту. Потом была еще другая телеграмма коменданту Царского Села, чтобы квартиру отвести в районе Царского.

Председатель. — Вы телеграфировали?

Иванов. — Да. Все знали, что я в Петроград иду. Те, кто принимал меры, совершенно напрасно это делали, только тревогу в рабочих подняли.

Председатель. — Пожалуйста, продолжайте.

Иванов. — Вот я и выехал. В Витебск я прибыл своевременно, в 6 или в 7 часов вечера и лег спать. В 6 часов или 7 часов утра проснулся. Оказывается, находимся на станции Дно. Это я писал в показании. Вместо пятисот верст, проехал только двести. Чем это объяснить? Меня это очень удивило. Оказывается, новое расписание, движение затруднено. Я, так сказать, не имел возможности, да и не было надобности, разбираться, почему и как. На станции Дно ко мне приходит комендант и докладывает, что в поездах, вышедших из Петрограда накануне, следовательно, 28-го числа, едет масса солдат, как в военной, так и в штатской форме, солдаты насильно отбирают у офицеров оружие, производят насилие в вагонах и на станциях, поехал начальник жандармского управления, но сделать ничего не может и тоже просит содействия. Здесь, на этой станции, или на одной из следующих получил телеграмму от полковника Лебедева, заведывавшего передвижением войск. Тот уже прямо просит моего содействия. Я приказал командиру батальона, чтобы встречные поезда осматривались. Поинтересовался узнать, где государь: по моему расчету он должен быть в Царском. На это мне отвечают, что он в Бологом. Из Бологова поезд вышел на ст. Дно в 8 ч. с минутами, значит, должен прибыть. Я решил, что значит едет почему-то. Я не знал маршрута государя. Он поехал из Орши на Смоленск, Вязьму, Лихославль. Впоследствии я узнал, что доехали до М. Вишеры.

Я удивился и тем более позаботился о том, чтобы на встречных поездах не было безобразий. Первый встречный поезд был скорый. Тут я впервые увидел всю картину. Это было то же, что и теперь, только не было сидящих на вагонах. Попробовал послать офицера, опросить, нет ли нижних чинов? Оказывается — забито. Я хотел сам пройти. Вошел в одно отделение, в другое, не могу толкнуться. Кроме сидящих 6 — 8 человек, остальное все забито солдатами. Очевидно, пассажиры сверхштатные, прямо безбилетные. Но я, конечно, не воевал. И наконец, в этом или в следующем поезде, указали мне трех или четырех солдат, которые отбирали оружие. Я не помню, какой следующий поезд прошел мимо и, наконец, почтовый. Когда мы пришли на станцию, он, кажется, стоял. С нашей стороны, с западной, в нем едва ли не половина, а быть может и больше стекол было выбито. На площадке вагона III класса давка, забито солдатьем. Из разговоров женщин и одного старичка, повидимому, чиновника заключил, что безобразия большие: масса солдат едет в штатской одежде, так как все это участвовало в грабежах магазинов. Именно масса солдат в новом платье. И засим едет в поезде много агитаторов. Проходя мимо одного вагона, обернулся — на меня наскакивает солдат, буквально в упор. Тут я не разобрался: одна шашка на нем офицерская с темляком анненским, 2 шашки в руках, винтовка за плечами. Совершенно вплотную. В левой руке шашка... Я его оттолкнул. Рука скользнула по его шашке. Я поцарапал руку и прямо оборвал окриком: «На колени!». Со мной раз случился эпизод в Кронштадте. Случилось мне попасть в толпу, когда моряки с сухопутными дрались. Я очутился между ними один. Уйти, уехать—все меня в Кронштадте знают. Человек я холостой и по воскресеньям часто садился в дрожки, а зимой в сани и ездил по городу. Что тут делать? Уехать — значит, драка будет. Тут я их выругал основательно — не подействовало. Наконец, моментально пришло в голову: «На колени!» С обеих сторон толпа остановилась. Один матрос в упор, в глаза, нервы не выдержали, начал моргать, слезы. И все успокоилось. Я повернул в одну сторону моряков, в другую пехотинцев. Тут мне и вспомнился этот момент. Руку ему на правое плечо: «На колени!». В это время, я не знаю, что он подумал, я его левой рукой схватил, а он вдруг, случайно это или нет, куснул меня. Сейчас же его убрали, и он успокоился. Я думаю — что тут делать? Сказать что он на меня наскочил и оскорбил действием, — полевой суд, через два часа расстреляют. У меня тогда такое настроение было: в этот момент расстрелять — только масла в огонь подлить. Тут был мой адъютант, и я ему велел его арестовать.

Председатель. — Что же этот человек стал на колени?

Иванов. — Стал. Это магически действует. Чиновник старичок несколько раз мимо ходил, наконец, высмотрел, что около меня

никого нет, и говорит: «Ваше превосходительство, тут с поездом едет много провокаторов», и быстро отошел. Я чем-то занимался в это время, потом остановился, хотел его переспросить, но он уже исчез. Видимо, хотел меня предупредить. Подходит поезд, 46 вагонов. Смотрю, в конце поезда стоит кучка, кидают шапку. Я этим заинтересовался, подошел. Слышу :«Свобода! Теперь все равны! Нет начальства, нет власти!». Приближаюсь, смотрю, стоит несколько человек офицеров, а кругом кучка солдат. Я говорю: «Господа, что ж вы смотрите?». Они растерялись. Я то же самое приказал: «На колени!». Они немедленно стали на колени. Впоследствии оказалось, что тут был городовой, одетый в штатское. Смолк. Я пригрозил ему: «Встань». Отошел, а солдаты начинают трунить: «Вот тебе и нет власти, вот тебе и нет начальства». Он опять. Я говорю: «Заставьте его замолчать». Они говорят: «Что же прикажете рот завязать?». Я говорю: «Завяжите рот». Из кармана вынимают красный платок. Я говорю: «Оставьте». Его в вагон отвели и арестовали. Тем и кончилось. Затем дальше, поехали мы в поезде. Тут были арестованные. Было отобрано много оружия офицерского: 75—100 экземпляров оружия было отобрано от солдат. Приехали мы около 6 часов вечера в Вырицу. Из разговоров я узнал, что министры арестованы и в Царском Селе 27 числа произошли беспорядки: войска вышли из повиновения начальникам. Все это Капустин записывал. Я решил итти в Царское Село, так как я вызвал туда начальствующих лиц. Оказалось, что пришел Тарутинский полк, высаживается на станции Александровской и еще на какой-то станции около Пулкова. Так как я должен был дать указания, то я считал себя обязанным туда поехать, поехал в Царское Село, так как узнал, что царскосельский гарнизон не в порядке. Я тотчас же велел к концу поезда прицепить второй паровоз, выяснилось, что беспорядки начались 27-го, часов с 3-х дня, и разграблены были все трактирные заведения. В этот день пришли три или четыре маршевых эскадрона из Новгородской губернии. Их встречали с корзинами вина, яств и питей. Когда их нижние чины осматривали, у них в карманах находили по 3, по 4 бутылки вина и даже шампанское. Это еще более утвердило меня в том, что мне в Царском Селе оставаться нет цели. Что касается охраны дворца, то генерал Осипов мне сказал, что сводный гвардейский полк в порядке и несет службу. К вечеру стихло, потому ли, что все попрятались, только, действительно, мертво было в Царском Селе. В мою задачу не входила охрана дворца, и это побуждало меня уйти из Царского Села. Тут выяснилось, что послали депутатов, и дворец охраняется. Я стал делать распоряжения о вступлении в командование. Приехал ко мне полковник Гротен и говорит, что гвардейская рота ушла в Петроград. Генерал Осипов дал приказ относительно впуска и выпуска из Царского Села. Царско-

сельский гарнизон прибывающие части спаивал. После полудня начали появляться в Царском Селе броневые автомобили и простые автомобили с пулеметами и солдатами. Обыкновенно доезжали до вокзала и уезжали. Одни говорили, что они из Петрограда, другие говорили, что с Путиловского завода. От ген. Алексеева получилась шифрованная телеграмма такого содержания: «По частным сведениям, в Петрограде наступило успокоение», затем одна, две фразы, потом: «Есть надежда, что после переговоров депутатов (или депутации) с императором можно надеяться на восстановление порядка при сохранении монархического режима. Поэтому ничего не следовало бы предпринимать». Я эту телеграмму после прочитал.

Сенатор Иванов. — Вы ее не получили?

Иванов. — Нет, получил. Мне было послано десять телеграмм, а получил я только эту одну.

Председатель. — Вы не помните таких слов: «Если эти сведения верны, то изменится способ ваших действий. Переговоры приведут к умиротворению, дабы избежать междоусобицы, столь желанной врагу»?

Иванов. — В это время приехали от императрицы и передали, что она желает меня видеть. Я оделся и поехал. Это все у меня дословно изложено. Я тогда интересовался, где государь. Я думал, что он поедет из Бологое в Дно, и заботился, чтобы на пути не было каких-нибудь эксцессов с поездами, которые бесчинствовали. Я справился в Вырице, есть ли сведения. Мне ответили, что поезд из Дна вышел. Императрица сказала, что она послала телеграмму, и нет ответа, так что она хотела даже послать аэроплан, но погода не позволила. Тогда она хотела послать письмо, но я сказал, что, к сожалению, у меня не найдется человека. Засим она начала говорить о том, отчего такое недовольство? Я ей сказал, что недовольство это давнишнее, а с половины прошлого года оно особенно обострилось и что в настоящее время министры не только не пользуются доверием, но стали прямо нетерпимы. Ее ответ или замечание было совершенно аналогично с ответом государя. Только я не поручусь за то, что она сказала: слово: «ответственное», но буквально она сказала: «Кому же доверить составление этого» . . . (сказала ли «ответственного»—не помню). Я ей ответил тем же; но не назвал фамилий. Я говорю: «Ваше величество, относительно министров — есть государственные и общественные деятели. Образованные классы особенно требовательны. Был председателем совета министров Трепов, человек, которого считают крайне правым, но большинство Думы было удовлетворено, и вопрос был только в министре внутренних дел». В это время кто-то кашлянул в соседней комнате, и она вышла. Начался разговор по-английски. Я по-английски не понимаю, и не было слышно. Минуты

через три, четыре она вернулась. Когда я уезжал, в Царском Селе была мертвая тишина, и только в двух местах стояли солдатские дозоры.

Председатель. — Не по вашему распоряжению?

Иванов. — Нет. Или перепились все, или напуганы были и все спрятались, но не было никакого шума. Я переговорил с помощником начальника станции, как пустить поезд. Но тут получилась шифрованная телеграмма от генерала Алексеева о прибытии. Я прочитал. Потом читал приказ о вступлении в командование петроградским военным гарнизоном. Только-что я приехал, Лодыженский подает телеграмму в сереньком конверте. Открываю. Написано: — «Царское Село, почтово-телеграфная станция». На толстой бумаге, с гербом дворцовым, и написано довольно четкой рукой буквально следующее: «Псков, час пять минут ночи. Надеюсь, прибыли благополучно. Прошу не принимать новых решений впредь до моего приезда в Царское Село. Николай». Начальник станции прибегает ко мне и говорит, что его вытребовал командир 1 гвардейского сводного стрелкового полка Ресин и говорит, что весь его батальон и тяжелый дивизион идут на станцию. Я решил уехать. Было три часа ночи, и выходило, как будто удираю; это было с 1 на 2-е марта. Я очень хорошо понимал, что если пойдет толпа, то тысячи уложишь. Я решил уходить, и все окружающие это разделяли. Приказал готовиться к отходу. Вдруг мне говорят, что с переводной стрелкой затруднения. Я потребовал начальника станции. Через несколько минут говорят, что все в порядке. Вышли. Уже в Вырице мне доложили, что через 15 минут после нашего ухода вся толпа ввалилась на вокзал. Пришел батальон с пулеметами. «Если (говорят) они перейдут на нашу сторону—побратаемся». Должен вам сказать, что когда я еще был тут, я спрашивал полковника Тилло, которого я знал по юго-западному фронту, — кто же начальство? Он мне доложил, что Хабалов арестован. Но должен быть начальник запасной бригады, что ж он-то делает? Я думал, что в Царском Селе тоже 4 батальона. Но никакого определенного ответа я не получил, и это тоже подтвердило мое сомнение. Засим он начал говорить, что всем вообще распоряжается в Петрограде Родзянко. Приехало два человека по полномочию от управления генерального штаба сообщить и ориентировать, и ориентировка вот какая: все говорят, что хозяйничает Родзянко, но фактически Гучков. Гучкова я раза четыре видел и немного знал. Я определенно сказал, что с батальоном не поеду, потому что, как я и государю доложил, это не входит в мои задачи и даже противоречит: что же бой разводить? Я приехал командовать войсками, а меня арестуют. А потом я узнал, вернувшись в ставку, что против меня и пулеметы готовили. На второй день я хотел переговорить с командирами запасных батальонов, они

могли бы осветить дело, какое в войсках движение, какие мотивы, тем более, что Царское Село и Петроград,—все в одной бригаде стояли. Хотел повидать Тарутинский полк. Из разговоров я убедился, что нужно повидать. В Царском Селе я узнал, что пулеметная команда этого полка ушла с моряками в Петроград.

Председатель. — Почему вам нужно было повидать Тарутинский полк?

Иванов. — Я должен был иметь понятие о тех частях, с которыми придется иметь дело. Разговор с Тилло не произвел на меня благоприятного впечатления. Потом я вызвал по телефону Вейса, который был выбран старшим из командиров стрелковых полков. Я считал, что он командующий бригадой, и думал, что он осведомлен. Он по телефону как-то неопределенно ответил, что мой приезд нежелателен, что это вызовет взрыв, а потом оказалось, что они в этот раз ждали меня с пулеметами, и т. д. Я хотел проехать несколько станций на автомобиле и в это время получил телеграмму от Гучкова.

Председатель. — Телеграмма эта есть в деле.

Иванов. — Да, вы знаете ее содержание. Я решил поехать по железной дороге и спросил начальника движения. Оказалось, что можно проехать на станцию Владимирскую, между Гатчиной и Царским. Сделал распоряжение, и меня повезли. Проехав верст 12, я прилег отдохнуть, часа два ехал.

Сен. Иванов. — А где георгиевский батальон?

Иванов. — Все время со мной... Просыпаюсь, стоим. Что такое? Час стоим, два стоим, три. Что же дальше? А всего переезд 6 или 7 верст — четверть часа времени. Наконец, офицер приходит и сообщает: кто-то из младшей администрации сказал, что есть приказ никуда не пускать, и оказывается поставили меня в тупик.

Председатель. — На ст. Владимирской?

Иванов. — Нет, на ст. Сусанино. Я посылаю к начальнику станции и спрашиваю, почему. Говорят, мы тут поездам мешаем. Получаю телеграмму от инженера Бубликова, сначала одну телеграмму, потом другую. Первая телеграмма очень сильная, что я терроризирую железнодорожную администрацию, а с его же разрешения ехал. Правда, когда приехали на Сусанино, я каждые четверть часа спрашивал: «Отчего стоим?». А вторая телеграмма очень любезная: «Ваше превосходительство, убедительно прошу не настаивайте на дальнейшем движении по Варшавской жел. дороге, так как это может задержать императорский поезд из Пскова, и прошу вас поэтому оставить Сусанино и перейти на Вырицу». Я ушел на Вырицу и тут решил послать сообщение ген. Алексееву шифрованной телеграммой № 9. Полковник генерального штаба Тилло вызывается свезти эту телеграмму и говорит, что 20 минут ходу: «Позвольте мне ехать на паровозе». Я дал паровоз, и у нас

остался один. Это было около двух часов 2 числа. И только 3 числа я получил телеграмму о том, чтобы мне возвращаться назад, а вместо меня назначен Корнилов. Тилло дал телеграмму. Я ему поручил переговорить и выяснить положение дел в Царском и в Петрограде. Второго числа я оставался в том же положении, с одним паровозом. 3-го числа, в 8 часов утра, получил телеграмму от Родзянко: возвратиться обратно в Могилев. Оказывается, остался один паровоз, и машинист заявляет, что у него недостаток нефти. Начальник станции решил дать паровоз, когда придет воинский поезд. Телеграмму 3-го числа получил от Гучкова. Ответил ему, что не могу приехать. Все обошлось благополучно. Следующая телеграмма от генерала Алексеева. Были прежде разговоры, что Гучков будет председателем совета министров, повторение того же, что в 1906 году. Вероятно, вам все это небезызвестно. С этим мы и поехали. В Царском Селе тогда же остались солдаты и офицеры сводной роты, чтобы получить вещи. Они отстали и потом догнали нас на какой-то станции и передали, что на ст. Оредеж хотят нам во время перемены паровозов какой-то бенефис устроить, на ст. Вырица должны были приехать две группы с требованием, чтобы батальон присоединился. Но тут сообщили, что они ожидали нас в Царском Селе и в Павловске и на ст. Александровской, Варшавской жел. дороги, по батальону стрелков с пулеметами ожидали нашего прихода. Из Вырицы вдруг машинист отказался итти, и в Вырице меня предупредили, что в Оредеже нас что-то ждет. Когда мы пришли в Вырицу, командир батальона просил меня пересесть в офицерский вагон. Я пересел, и когда пришли в Оредеж, там вокзал довольно далеко, я посмотрел в окно: ничего особенного, человек сто в одной кучке. Я спросил кондуктора: «Что это такое?». — «Это рабочие со стеклянного или посудного завода». Благополучно вышли. На ст. Дно, в полночь с 3-го на 4-е, является комендант станции и говорит, что все благополучно уже с первого числа, когда первую банду разбили, так что здесь беспорядков не было. И передает: 3-го числа, когда депутаты Шульгин и Гучков выезжали в Псков, Шульгин манифест объявил, что государь отрекся от престола в пользу наследника, и регентом будет великий князь Михаил Александрович. Но хорошо, что я воздержался это объявлять войскам. Сами понимаете, что объявлять войскам...

Председатель. — Потом объявлять другое...

Иванов.—Я этого не объявлял. Приехавши в Псков 5-го числа, в 9 часов утра я получил известие из Петербурга, от Государственной Думы, от 3-го, и тут я узнал о том, что называется думский исполнительный комитет. Засим, в Орше я получил приложение к витебской газете. Она, кажется, тут у меня в портфеле была, какая-то красная надпись. Тут я узнал уже, что временное правительство, и о том, что Михаил Александрович отказался. На

станции толпе нечего было объявлять. Потом, наконец, около 3 — 4 часов дня приехал в ставку.

Председатель. — 5-го числа?

Иванов. — 5-го. Комендант мне передал, что в этот день в ставке ген. Алексеев объявил об отречении. Мне подали печатный лист об отречении государя и об отказе Михаила Александровича. Я узнал, что председателем совета министров еще государем был назначен кн. Львов; это я прочел в какой-то газете, и это мне подтвердило еще больше, что, значит, ответственное министерство. Я попрощался, пожелал служить хорошо при новом правительстве.

Сенатор Иванов. — А как батальон относился ко всем этим событиям? Они следили?

Иванов. — Это было. Когда проходил какой-нибудь поезд, то сейчас же выбегали, окружали. Но я обходил каждый день два раза.

Сенатор Иванов. — Обходили свой батальон?

Иванов. — Нет, там еще была рота сводного полка у меня в подчинении.

Председатель. — Генерал, позвольте задать вам несколько вопросов. Я отвлеку вас к одному вопросу, который отдалит вас от событий. Насколько я знаю, вы к политике никогда никакого отношения не имели. Вы боевой генерал. Каким образом отставка боевого генерала, не имевшего никогда никакого отношения к политике, связана с именем Распутина? Будьте добры, разъясните.

Иванов. — Об этом я могу только по догадкам говорить. Ясно, что были третьи лица, которых интересовал мой уход. Мне не хочется употреблять слово «интрига». Очевидно, я многим и ближайшим подчиненным был неприятен, потому что вещи я называл своими именами, по поводу беспорядков и потерь я пробирал.

Председатель. — Скажите, это имеет общее значение, почему боевой генерал, ни в чем незапятнанный, политикой не занимающийся, а называющий вещи своими именами, почему такого генерала выталкивают в ряды бездействующих?

Иванов. — Надо знать все. Генерал-квартирмейстер был очень хорош с Демидовым и говорил, что против меня немецкая партия, потому что, в случае заключения сепаратного мира, я буду против.

Председатель. — Значит, вы будете против заключения сепаратного мира?

Иванов — Я сказал, меня об этом не спросят.

Председатель. — Потрудитесь установить точнее. Я не из простого любопытства спрашиваю, а в интересах истины Говорят, немецкая партия не желает?

Иванов. — Это одно, а другое может быть то, что меня сослуживцы и некоторые подчиненные не любили.

Председатель. — Давайте свяжем эти три положения: ваше удаление от должности, немецкая партия и Распутин.

Иванов. — Ген. Сухомлинов был недоволен мной с первых дней командования, это было известно в Австрии, и дошло в одном из секретных сведений. Адъютант мой ведал разведку. Он мною избран по просьбе ген. Алексеева. Он изранен в японскую войну. Когда я приехал в Киев, ген. Алексеев просил меня взять его в адъютанты. Мне полагалось два адъютанта и ординарец, и я его взял. В одном из сведений были известия о совещании военного характера в Австрии. Я не имею права многого говорить.

Председатель. — Простите меня, я в данном случае с вами разойдусь. По-моему, вы не только имеете право, но ваша прямая обязанность это сказать, потому что нужно с корнем вырвать эту историю.

Иванов. — Я не скрываю ничего. Я говорю, что я не хочу говорить, какие были подготовления. Это я обойду.

Председатель. — Вы не говорите о том, что вам стало известно про австрийцев, это неинтересно. Но мне интересно, где корни шпионажа германского. Если вы что-нибудь знаете, благоволите сказать. Я хочу, чтобы вы, как свидетель, рассказали.

Иванов. — Относительно шпионажа. Несомненно, откуда-то они добывали сведения, и от источников высоких шло за границу. Евреи-контрабандисты им служили. Иногда и офицеры показывали. Несколько раз было на немецком языке несколько переводов.

Председатель. — Это вас убедило, что нити австрийского шпионажа тянулись к Сухомлинову?

Иванов. — Т.-е. к центральному управлению военного ведомства.

Председатель. — Позвольте мне вернуть ваше внимание к ген. Сухомлинову.

Иванов. — Я сейчас скажу. Был вот какой случай, который, к сожалению, связан со мной. У меня с полтавским губернатором были пререкания. В одном из сведений, которое касалось меня, второй пункт относится к деятельности округа: поручено было принять все меры к тому, чтобы использовать дурные отношения ген. Иванова к военному министру Сухомлинову. Второе, узнать слабые стороны характера ген. Иванова. Например, он человек холостой, нельзя ли при помощи женщин?

Председатель. — Это были директивы, данные из Австро-Венгрии?

Иванов. — Да, из Австро-Венгрии. Вознаграждение по условиям неограниченное. На той же почве и пререкания с полтавским губернатором.

Председатель. — Простите, генерал, давайте к Сухомлинову вернемся.

Иванов. — К нему и будет. Губернатором был граф Муравьев. Когда я приехал в первый раз, впечатление относительно расквартирования войск у меня было отчаянное. Я не говорю: казармы, это прямо конуры какие-то. В одной казарме чуть вода не протекала. Стена такая, что я шашкой расковырнул почти насквозь.

Пресецатель. — Это когда?

Иванов. — В 1910 — 1911 г.г. Дошло это до главного управления по делам местного хозяйства. Приезжал Гербель. Он удивился, что войска оставили казарму в чистом виде и стекла не выбили.

Председатель. — Это были при Сухомлинове?

Иванов. — Да, при Сухомлинове. Гербель даже удивился, что в таком положении оставалась казарма: «Я читал вашу жалобу на то, что скверно, но что так скверно, я не думал». И вот губернатор гр. Муравьев обращается к Сухомлинову. Мне даже была привезена копия письма. Известно было, что он обращался к Сухомлинову и д Дедюлину. Копия письма начиналась так: «Милостивый государь Владимир Александрович», Сухомлинова звали Владимир Александрович и Дедюлина — Владимир Александрович, и как принято у военных, не было написано сбоку, кому. Это была жалоба о том, что генерал Иванов невозможные вещи делает. Я просил Муравьева поехать со мной, но он всегда отказывался. Холера в 1910 году начиналась, и было донесено, что 4 случая холеры было. И вот мне этот адъютант, ведавший разведку, привез сведения, что передают, будто гр. Муравьев обращался к военному министру, и тот ему посоветовал отправиться к государю, и ответ для гр. Муравьева был неблагоприятный.

Председатель. — Значит, вы узнаете через Вену?

Иванов. — По дороге в Вену читалось. Другой раз то же самое по поводу Полтавы. Приезжает он ко мне и говорит, что в Полтаву командируется целая следственная комиссия для проверки 9-й артиллерийской бригады, потому что военному министру доложено, что она не готова к бою. Это было в 1912 или 1913 году, точно так же, через евреев, в Вену. Я не поверил. Можете себе представить, — приезжают: генерал Похвиснев, помощник военного прокурора и судебный следователь.

Председатель. — Откуда делается вывод к Сухомлинову или к окружающим Сухомлинова?

Иванов. — Относительно Сухомлинова сказано было только, что сказал Муравьев Сухомлинову и что от государя ответ неблагоприятный.

Председатель. — Позвольте здесь поставить точку и вернуть ваше внимание к вопросу, на который я не получил ответа. Генерал, значит, вы устранены потому, как вы сами себе представляете, что немецкая партия это вам устроила; ну, а Распутин здесь при чем?

Иванов. — Я думал, что это из-за пререканий с генералом Алексеевым. Когда я приехал 31 марта 1916 г. в ставку, он мне говорит: «Вы думаете, что в вашем уходе какая-нибудь моя интрига, — могу прямо сказать, что никакой интриги». Я говорю: «Мы с вами разошлись, так как я вам часто возражал резко». В особенности это было с продовольственным вопросом, который касался периода Наумова и Трепова, я тогда резко выступал. А он говорит: «Нет, я вам должен сказать, что большая интрига шла в Петрограде», и называет Распутина и прибавляет слово «каналья», Вырубову, ей не помню какой дал эпитет, потом называет императрицу, Андроникова, Рубинштейна, Мануса и еще какие-то две-три «жидовские» фамилии, которых я не помню.

Председатель. — Значит, ген. Алексеев, называя эти имена, сказал «немецкая партия»?

Иванов. — Нет, он этого не сказал. Я вам говорю, что Распутин. Меня раньше предупреждали, что там была немецкая партия, но я сейчас фамилии не позволю себе назвать. Вероятно, Сухомлинов был мной недоволен. Вообще, в военном ведомстве у нас были пререкания.

Председатель. — Значит, вам стало ясно, откуда идет интрига?

Иванов. — Я думаю, что это мои сослуживцы и подчиненные, и, если вы скажете, что они действовали на Распутина при помощи своих жен, — я отрицать не буду, но назвать их себе не позволю.

Председатель. — Вы передали несколько очень важных разговоров: беседу с бывшим государем и с бывшей императрицей. Может быть, вы еще что-нибудь припомните? Очень важная эта беседа с императором, о том, что нужно ответственное министерство.

Иванов.—Я сказал, что я не считаю себя компетентным в делах государственного управления, но считаю, что нужны капитальные реформы, так как недовольство проникло в войска. 22 мая прошлого года началось наступление юго-западного фронта. Предполагалось двинуться всей массой, чтобы привлечь к себе внимание. Сначала были удачи, все шло очень хорошо, но все время наступали по всем фронтам. (Теперь, кажется, спохватились.) Противник оттянул войска, и я даже точно могу сказать, какие войска. Я велел к разведчикам присоединить людей, прибывших из запасного батальона, чтобы подучились. Боевые припасы в мае 1916 г. были в таком количестве, в каком никогда за войну не было. Одним словом, пошли удачи, но потери были большие, комплектование приходило необученным. Мы продолжали атаковывать. Я в это время был в Финляндии, осматривал укрепленные позиции. Вижу, что тычутся все на одном месте. Конечно, утомились, и потери большие. Надо было дать передышку, но этого не сделали, и в результате большие потери. В стране это стало известно. Затем, призыв был объявлен в апреле, отложили его на июль, а на

самом деле совершился он в августе или в сентябре. Я приехал 11 сентября из Финляндии. В Могилевской губернии не только у помещиков, но и у крестьян овес стоял на корню. Это вызвало большие разговоры, они проникли в армию. С этого момента начались продовольственные затруднения и усиленное недовольство на порядки. Затем окончательным толчком было убийство Распутина. В армии пошли большие разговоры. Я 24 марта 1916 года сдал командование. У нас с конца 1915 года ежедневно поступали сведения, но никогда о Распутине не упоминалось, никто о нем не знал и не говорил. Я сам о нем не знал, слышал только, что есть Распутин. Я видел тут, на Литейном проспекте, ездил человек, босой и с голой головой, с палкой, и считал, что это Распутин.

Председатель. — Вы констатируете, что в армии стали интересоваться Распутиным и его ролью?

Иванов. — Не столько его ролью, — так формулировать было бы недобросовестно, — но начали говорить о безобразиях, которые творятся. Все это постепенно стало проникать в армию.

Председатель. — Значит, когда вы говорите о недовольстве с половины прошлого года, то вы имеете в виду исключительно военную точку зрения, эти неправильные распоряжения по наборам?

Иванов. — Это не есть неправильное распоряжение, но так сложились обстоятельства—были большие потери, которые желали пополнить. Вообще было недовольство, что затянулась война, и следовал призыв за призывом. Тронули даже ополченцев. Когда я приехал в ставку — стоит эшелон. Смотрю — старики, лет 30-35. Тут я сразу понял, в чем дело, — это с одной стороны, а с другой стороны — неубранные поля.

Председатель. — Вам известно, что перед вашим отправлением у государя состоялось совещание с гр. Фредериксом и Воейковым?

Иванов. — Нет, относительно Фредерикса я должен доложить вот что: 12 декабря я имел разговор с государем относительно Распутина и его вредной деятельности. . .

Председатель. — Вы сочли своим долгом доложить это?

Иванов. — Да, он спокойно выслушал все, что я ему сказал, — что это вредно отзывается, что это распространяется и т. д.

Председатель. — При чем вы имели в виду назначения — не только гражданские, но и военные?

Иванов. — Если хотите, скорее гражданские, и вмешательство в дела, в распоряжения. Я слышал, какие были эпизоды по делу Сухомлинова и других.

Председатель. — Что вас заставило доложить государю именно в этот момент?

Иванов. — Я хотел доложить еще в октябре, но государь все уезжал.

Председатель. — А это вы когда доложили?

Иванов. — Это было 12-го декабря. 17-го было совещание, 18-го государь выехал. И вот, между 12 и 17 декабря, перед завтраком, подходит ко мне Фредерикс и говорит буквально следующее: «Ну, Николай Иудович, что же теперь будет?». Я думал, что он про военные операции говорит, и отвечаю: «Теперь зима, никаких операций быть не может». «Нет, я говорю про другое, про внутренние дела, что у нас теперь будет? Я два раза государю говорил, и вот сегодня, сейчас сказал, что может быть я старик (если я не ошибаюсь, он сказал, «выжил из ума», или что-нибудь аналогичное), ошибаюсь, прикажите расследовать, прогоните меня, но я считаю долгом вам доложить».

Председатель. — Это было в декабре, а когда вы были устранены?

Иванов. — В один день с Поливановым.

Председатель. — Поливанов от должности министра, а вы от должности главнокомандующего? Вы не заметили, что между декабрем и мартом уже изменилось к вам отношение?

Иванов. — Я государя не видел, он вернулся 24 февраля. Отношения изменились раньше. До него доходило, что я высказываюсь довольно определенно о некоторых вещах. Я только раз имел разговор по поводу продовольственного затруднения. Приехал адмирал Нилов и говорит, что в Киеве все прекрасно, город живет прежней жизнью. Государь говорит: «Не правда ли, в Киеве всегда так, всегда все отлично?». Я говорю: «Нет, я слышал, что в Киеве большие продовольственные затруднения».

Председатель — Вы отстранены от должности 17 марта 1916 года, а ваш доклад о Распутине когда был?

Иванов. — 16 декабря, после этого. Когда мне Алексеев сказал про Распутина, меня это ударило, как обухом по голове, и если вы мне скажете, что немецкая партия здесь не при чем, что это дело других лиц, сослуживцев и товарищей, — я этого не смею отрицать.

Председатель. — Но факт остается фактом. Ген. Алексеев вам говорил. Теперь скажите, вы поставили свою задачу определенно: вам нужно было не только остановить события, но и причины их устранить. Скажите, как к вам в портфель попал этот проект манифеста?

Иванов. — Дело в том, что эти разговоры происходили в январе 1917 года, а может быть в декабре 1916-го, разговоры по поводу продовольственного вопроса. В 1916 году, когда я ехал в Финляндию, когда намечался уход Наумова, я слышал разговор...

Председатель. — Это было в министерство Штюрмера?

Иванов. — Этот разговор был в июне 1916 года, когда я ехал в Финляндию. Мне говорили, что предполагается назначить на

должность главноуправляющего по продовольственной части или ген. Алексеева, или великого князя Сергея Михайловича. Одни говорили, что это будет касаться армии, а другие, — что всей России. Затем, как-то разговор зашел об артиллерийской части, и он дал мне две записки по артиллерийской части.

Председатель. — Какое же он имел отношение к проекту манифеста?

Иванов. — Это не проект манифеста, это была записка генерала Алексеева.

Председатель. — Но как эта записка поступила к вам в июне 1916 года?

Иванов. — Она лежала у меня в портфеле, я хотел перед отъездом ее возвратить.

Председатель. — Какие у вас были права, когда вы приехали?

Иванов. — Главнокомандующего армией.

Председатель. — Почему вы приехали только с одним батальоном? Почему вы не взяли тот, который находился ближе к расположению ставки?

Иванов. — Этот был из ставки. Я хотел ехать со скорым поездом, а ген. Алексеев отсоветовал.

Председатель. — Как вы себе представляли размеры движения, когда выезжали? Вы получили телеграмму по прямому проводу?

Иванов. — Видел, что беспорядки. Он пишет, что некоторые части вышли из военного подчинения, а другие остались.

Председатель. — Вот что останавливает внимание — как вы, мимоходом, ночью, в кратком разговоре, ставите вопросы такой большой государственной важности, как ответственное министерство и т. д.? Разве посылавшие вас лица, бывший император и главнокомандующий, не заговорили об этом сами?

Иванов. — Никогда.

Председатель. — Так что вам первому пришло в голову, что нужны политические реформы?

Иванов. — Я слышал, что Алексеев по поводу Распутина имел разговор с императрицей и, кажется, с государем. Я должен был доложить, так как говорили, что запасные батальоны не в порядке, рабочие бастуют, и недостаток в продовольствии. Для меня все стало ясно.

Председатель. — Вам говорил ген. Алексеев о своем разговоре с бывшим императором по поводу Распутина?

Иванов. — Меня там считали посторонним.

Председатель. — Какие были ваши непосредственные обязанности?

Иванов. — Постоянных обязанностей у меня не было. Когда я доложил государю о Распутине, я просил меня уволить. Когда я просил его меня принять, я сказал, что у меня две причины: лич-

ная — та, что я ничего не знаю, и если я негоден армии, — то меня уволить, — и вторая — о Распутине.

Председатель. — Вы по собственному побуждению сделали этот доклад о Распутине или вы сговорились с кем-нибудь?

Иванов. — Нет, с кем мне сговариваться?

Председатель. — Но почему вы это сделали именно в декабре?

Иванов. — Я говорю, что я с самого первого момента это решил и с Фредериксом об этом говорил. Потом, когда ехал в Финляндию, решил, что вернусь и буду проситься. Фредерикс мне сказал: «Государь не согласился, вас не отпустит»... Подъезжая к Петрограду, кажется, это было 18-го июня, я решил. Вот тогда, приехавши из Финляндии. А здесь государь все уезжал.

Сенатор Иванов — Скажите, пожалуйста, генерал, когда вы уже вместе с георгиевским батальоном выступили из ставки, вы предполагали, что во время вашего вступления в Петроград должно подойти еще несколько полков? Были у вас сведения о том, что кроме георгиевского батальона должны быть еще войска?

Иванов. — Я сказал, четыре полка должны еще быть, 12 батальонов.

Сенатор Иванов. — Вы не знаете, почему они не пришли, это случайность или было какое-нибудь распоряжение?

Иванов. — Точно я не могу сказать. Их несомненно задержали умышленного, раз я не мог снестись. Обоз георгивского батальона не был задержан. Шли семь вагонов с беспроволочным телеграфом. Я им телеграфировал. Мои телеграммы все задерживались, т.-е. они оставались, вероятно, в Петрограде, и ставка не получала моих донесений.

Председатель. — Позвольте узнать из ваших впечатлений, вы не заметили, чтобы к концу декабря 1916 года в ставке усилилось недоверие к бывшей императрице?

Иванов. — Нет, я должен сказать: нет. Говорю, что я в стороне жил от этого.

Председатель. — Вы в ставке не встречались с ген. Дубенским?

Иванов. — Разговаривал раза два, три. Я его знал, я с ним разговаривал. Он пишет про 33-ю дивизию.

Председатель. — Где пишет?

Иванов. — В своем дневнике. Он и меня спрашивал по поводу этого.

Председатель. — А вам не приходилось видеть в ставке Протопопова?

Иванов. — Я его видел три раза. Три раза пожал руку: «Здравствуйте, Протопопов—Иванов».

Председатель. — Скажите, пожалуйста, а вы не знаете, чем вызваны эти строки дневника о бывшей императрице, что она дер-

жала в полном подчинении своей воли волю бывшего царя, и в том что она выдвигала людей плохих для интересов родины?

Иванов. — Нет, я никаких разговоров с ним не имел. В связи с Распутиным ходили всякие слухи. Когда заговорил с государем, он был удивлен. Он говорил: «Этого не ожидал слышать», но в мягкой форме.

Сенатор Иванов. — Недоволен был?

Иванов. — Нет, в мягкой форме.

Председатель. — Вы сказали, что Распутин вредный человек?

Иванов. — Я сказал, что вредный человек. Он мне сказал: «Я не ожидал этого от вас слышать». Он сказал в мягкой форме.

Председатель. — Генерал, сообщите факт.

Иванов. — Он мне сказал: «Благодарю за преданность». Этим закончилась наша беседа, и он попрощался со мной. И сказал это мягким тоном.

Председатель. — А вам, генерал, ничего не привелось слышать о перенесении сессии Государственной Думы с 12 января на 14 февраля?

Иванов. — Нет, ничего не слыхал. Я слышал, что в ноябре были какие-то комбинации, это я слышал.

Председатель. — Вы какие комбинации имеете в виду?

Иванов. — Я не помню, кажется, на первое хотели, потом отложили на 17-е. Это я слышал. По этому поводу был разговор. Кажется, Кауфман должен был уехать и не уехал.

Председатель. — А как Фредерикс и Воейков отнеслись к вашей миссии подавления мятежа, как она вам представлялась, что необходимы реформы?

Иванов. — С Фредериксом я ни слова не сказал, а Воейков только одно сказал: «Вот пользуюсь случаем и посылаю в Царское команду железнодорожного батальона».

Председатель. — Стало быть, для усиления вашего отряда?

Иванов. — Нет, просто пересылалась в Царское Село. Он просил меня. Я дал два, три вагона и сказал: «Ну, что же, пусть едут».

Сенатор Иванов. — А в бытность вашу в ставке, когда ставку должен был покинуть П. М. Кауфман, какие были на то причины?

Иванов. — Из ставки он уехал в государственный совет, но перед этим имел разговор с государем относительно Распутина. Государь тогда его обнял и поцеловал, а потом читаем в газетах, что он отчисляется от должности главноуполномоченного.

Сенатор Иванов. — А почему его устранили?

Иванов. — Говорили тогда, что из-за доклада государю о Распутине.

Председатель. — Не был вызван ваш доклад о Распутине той тяжелой атмосферой, которая царила в ставке, тем, что в ставке

боялись тревожить царя, хотя многие уже понимали ужас создавшегося положения?

Иванов. — Может быть, это и было, но разговоров не было. Я жил в стороне. Мне пришлось раза два с Шавельским говорить, и то исключительно потому, что в известные дни я ходил в церковь. Обедня кончалась около 11 часов, а завтрак происходил в 12, в половине первого, он мне и говорит: «Не зайдете ли чайку попить?». Я раза 3-4 разговаривал, и разговор относительно Распутина происходил в тех пределах, которых я коснулся.

Председатель. — А был разговор о тенденции замалчивания этого события? Вероятно, это и заставило вас выступить?

Иванов. — Ну что ж замалчивание! Я не пожелал таиться. Раз я говорю за глаза, я считаю обязанностью говорить и в глаза.

Сенатор Иванов — Вы изволили близко стоять к ставке. Я хотел выяснить, какое влияние имела бывшая императрица, какое впечатление, особое впечатление, вызывало ожидание ее приезда?

Иванов. — Нет, она настолько тактична... Позвольте я изложу фактическую сторону. Во-первых, когда она приезжала, ее никто никогда не встречал и не провожал. При мне два раза она приезжала, — один раз в день именин наследника, в октябре. Когда приезжала, обыкновенно приходила к завтраку в дом, где жил государь. А обедали все в поезде. После обеда она обыкновенно с кем-нибудь из старших разговаривала. Но мне не приходилось разговаривать с нею. Обыкновенно она садилась и разговривала, а в это время государь всех обходил. Внешне она была любезна.

Председатель. — А с кем разговаривала?

Иванов. — Вызывала раз, кажется, Алексеева, иногда—с ген.-квартирмейстером Пустовойтенко. Вот с Кауфманом, я, кажется, не видел. Иногда с командиром Уланского полка. Она, очевидно, его знала.

Председатель. — Но где механизм внутренний? Вы по долгу службы докладываете главе государства, что безответственное влияние, и таких лиц в особенности, невозможно. Все это встречается в высшей степени любезно. Вас благодарят. Вас обнимают. А потом эта беседа сообщается дальше, происходит нечто, и все это кончается тем, что полного генерала с Георгием подвергают опале.

Иванов. — Опала до этого последовала. Я вам говорю, Алексеев меня удивил. Если бы Алексеев не сказал, я бы этому не поверил. А теперь я скажу, если 2-3 лица и еще через дам, все может быть. И если вы мне скажет, что было влияние, то может быть, через того же Распутина.

Председатель. — И, может быть, через ту же императрицу?

Иванов. — Может быть.

LIX.

ПОКАЗАНИЯ Н. Н. ПОКРОВСКОГО.

30 июня 1917 года.

Содержание: Приглашение Покровского на должность государственного контролера. Общий характер деятельности совета министров. Характеристика Штюрмера. «Политика за пределами совета министров». Учреждение различных совещаний. Отношения Штюрмера с А. Н. Хвостовым. Высочайшее повеление об отпуске пяти миллионов для воздействия на прессу. Вопрос об отпуске пяти миллионов в совете министров. Журнал заседаний совета министров. Проведение законодательных мероприятий по 87-й ст. Воздержание от применения 87-й ст. при Трепове и Голицыне. Вопрос о применении 87-й ст. в связи с назначением министром здравоохранения Рейна, при Штюрмере. Обстоятельства созыва и роспуска Государственной Думы в последний год существования старого режима. Речи в Государственной Думе против Протопопова и взгляд совета министров на положение Протопопова в этом случае. Прерогативы верховной власти по вопросу о роспуске законодательных учреждений в руках председателей совета министров. Отношение совета министров к общественным организациям. Совещание у Штюрмера по вопросу о легализации земского и городского Союзов. Характер суждений совета министров по вопросу о земском и городском Союзах и военно-промышленных комитетах. Общественные организации и Протопопов. Отношение совета министров к Протопопову при его назначении и в последующее время. Роль Протопопова в вопросе о созыве последней сессии Государственной Думы. Признаки умственной ненормальности Протопопова с точки зрения Покровского. Отношение к Протопопову, в последнем периоде его деятельности, Трепова, Голицына и др. Поведение Протопопова в заседаниях совета министров. Доклады Протопопова в Царском Селе в связи с вопросами внешней политики. Отношение Николая II к докладу Покровского о политике Протопопова.

Председатель. — Николай Николаевич, вы изволили занимать пост министра иностранных дел. С какого времени и по какое?

Покровский. — С 30-го ноября по 1-е марта.

Председатель. — С 30-го ноября до 4-го марта, как у нас показано.

Покровский. — Да.

Председатель. — А до этого времени?

Покровский. — С 25-го января 1915 года по 30-го ноября 1916 года я был государственным контролером.

Председатель. — По должности государственного контролера вы принимали участие в заседаниях совета министров?

Покровский. — Как же.

Председатель. — С какого времени началось ваше участие в совете министров?

Покровский. — Считайте — с 25-го января. Я не помню точно, какого числа было первое заседание.

Председатель. — При каких обстоятельствах вы заняли пост государственного контролера и кто поддерживал вашу кандидатуру?

Покровский. — Видите ли, этого я вам не скажу, потому что я этого не знаю. Думаю, что мою кандидатуру выдвинул Харитонов. Наверное, он: он сам мне это сказал. Дело было так. Я был приглашен Танеевым поехать в Царское Село — без указания, с какою целью меня приглашают. И тогда государь предложил мне это самое место. Затем я догадывался, откуда собственно это предложение исходит. На другой или на третий день я виделся с Харитоновым и спросил его. Харитонов сказал, что я был его кандидатом на замещение его поста. Я думаю, что это так и было.

Председатель. — А до того времени какой пост вы занимали?

Покровский. — Я был членом государственного совета, начиная с 1-го января 1914 года, — значит, считая почти по 1-е февраля 1916 года, около двух лет. А раньше я был почти восемь лет товарищем министра финансов.

Председатель. — У вас были какие-нибудь отношения со Штюрмером, который был назначен за несколько дней до вашего назначения?

Покровский. — Я его знал, как члена государственного совета. Встречал его в финансовой комиссии государственного совета, где он был членом и, кажется, докладчиком по каким-то сметам. Других отношений у меня с ним не было.

Председатель. — Вы были в разных группах государственного совета?

Покровский. — Я был в беспартийной группе.

Председатель. — А он?

Покровский. — Должно быть, в группе правых.

Председатель. — Что вы можете сказать о том общем впечатлении, которое производил на вас совет министров в течение 1916 года в смысле отношений министров между собой, в смысле, так сказать, сплоченности министров?

Покровский. — Видите ли, в 1916 году, то-есть во время председательствования Штюрмера, совет министров производил на меня такое впечатление, как будто он все более превращался в старый комитет министров, то-есть в присутственное место для решения текущих дел, для пропуска законопроектов, утверждения кредитов и так далее, а политика ведется не в совете мини-

стров, а где-то за пределами совета министров. Но удостоверить это фактами я не могу.

Председатель. — Производило ли это на вас такое впечатление, что совещания, происходившие за пределами совета министров, состоят из лиц, которые вовсе не входят в состав совета министров, или же такое, что в этих совещаниях участвуют и лица из состава совета министров?

Покровский. — Этого я сказать не могу. Может быть, так и было, но сведений об этом у меня не было. Я думаю, что Штюрмер приглашал на эти совещания некоторых министров, близко стоявших к нему, и, вероятно, там обсуждались некоторые более интимные вопросы, которые вовсе не вносились в совет. Но приглашались ли на эти совещания лица, не входившие в совет министров, — этого я не знаю.

Председатель. — Таким образом, впечатление ваше, как участника совета министров, может быть резюмировано так: что, собственно, политика делалась некоторыми членами совета министров помимо совета министров?

Покровский. — Я думаю, что это будет близко к истине.

Председатель. — Скажите, какие же министры, обсуждая в совете министров вопросы, — если не политические, — ибо, как вы изволили сказать, политика была изъята из ведения совета министров.

Покровский. — Нет, я не скажу, чтобы она была прямо изъята, — это было бы неправильно. Но она проявлялась, так сказать, лишь в применении к отдельным делам. Когда возникало какое-нибудь дело, соприкасавшееся с тем или иным политическим вопросом, то видно было, что оно разрешается с известной точки зрения, которую можно было назвать политической. Но принципиальное предрешение вопроса, — та политика, которая определяла направление его, совершалась не здесь. Так мне кажется.

Председатель. — Скажите, какие же министры по тем вопросам, которые носили характер некоторой принципиальности, стояли обычно на точке зрения председателя совета министров Штюрмера? Были ли какие-нибудь, хотя бы и не вполне выдержанные группировки в составе совета министров?

Покровский. — Нет, выдержанных группировок усмотреть было нельзя. Что касается председателя совета министров, и, так сказать, направления, им даваемого, то из наблюдений своих за время почти в двенадцать месяцев я имел возможность заключить, что лично он — и по своему умственному развитию, и по возрасту, и, может быть, по состоянию здоровья, — едва ли мог давать серьезное направление политике. Может быть, он был настолько скрытен, что не проявлялся в достаточной степени; может быть, людям, которые стояли ближе к нему, многое тут было яснее, но только на меня он всегда производил впечатление человека огра-

ниченного и, что называется, находящегося уже в состоянии старческого склероза. Например, он никогда не мог формулировать своих мыслей из головы: чтобы высказать свое мнение или заключение, ему приходилось самые простые вещи написать на бумажке. И инициативы какой-нибудь в направлении дел не было у него заметно. В совете министров он не выступал. Может быть, это была большая ловкость с его стороны, не знаю, но по характеру, умственному настроению, степени интеллигентности, — не думаю, чтобы он был способен направлять что-нибудь. Может быть, в области своих личных дел он что-нибудь и понимал, но в области государственных дел у него было более, чем недостаточное развитие для лица, занимающего пост председателя совета министров.

Председатель. — Но искусством хитрить, некоторым лукавством этот человек, повидимому, обладал?

Покровский. — Я слишком мало его знаю.

Председатель. — Но разве при разрешении дел особой политической важности вам не приходилось наблюдать у него эти черты?

Покровский. — Как вам сказать! У него были приемы мелкой хитрости, но больших линий в этом отношении заметно не было. Вот я могу привести в виде примера следующий случай. Когда рассматривался вопрос о министерстве здравоохранения — в первой стадии, еще до назначения Рейна главноуправляющим здравоохранением (я не помню, в точности, когда именно это было, помню только, что это было летом), составилось мнение против утверждения этого законопроекта по 87-й статье, и очень решительное мнение. Председательствовал в качестве заместителя председателя А. А. Хвостов. Мы, то-есть те, которые высказывались против проведения этого дела по 87-й статье, настаивали, чтобы мнение наше было выражено определенным образом в журнале. Но, вместо журнала, мы получили представленный государю доклад Штюрмера, в котором говорилось, что некоторые члены (мне помнится — имен не было указано в этом докладе) высказались по данному вопросу отрицательно и высказали такие-то суждения. Все наши суждения были при этом сжато, в точности, изложены, но доклад был, если хотите, — ну, ходом этаким ловким, потому что в нем заключалось указание, что решение по вопросу о министерстве здравоохранения остается прежним; а в журнал совета министров вся эта история так и не вошла. Понятно, что раз дело было решено, оставалось подчиниться и утвердить эти постановления, которые и получили силу закона по 87-й статье. Следовательно, это был фортель своего рода, и результатом его было то, что журнал совета министров не обнаружил происшедшего разногласия. И сделано это было как будто бы для удовлетворения тех, которые оказались в меньшинстве: их, как будто, оградили, хотя они и не просили этого ограждения. В сущности говоря, это была весьма тонкая

комбинация, не знаю, кем изобретенная, — самим ли Штюрмером или кем-нибудь другим; тонкая комбинация, я говорю, — а между тем по пустякам, по вздору, потому что, если бы даже мнение наше в этом случае и было отвергнуто, — ну, что ж, — мы остались бы с отвергнутым мнением. А тут получалось и какое-то ограждение нас, и вместе с тем журнал совета министров не вскрыл разногласий. В сущности — канцелярская хитрость, канцелярская уловка, ни к чему не ведущая. Может быть, на такие комбинации мелочного характера он, действительно, был способен, но на более крупные, по моим впечатлениям, — нет. Ведь это был человек, который, в сущности, связной мысли в разговоре высказать не мог. Это я положительно вам говорю: он заранее записывал то, что ему нужно было сказать, — иначе даже в маленьком кругу какой-нибудь речи он не мог произнести. Стало быть, голова не удерживала всех этих вещей. Но, как я уже говорил вам, я его, собственно, почти совсем не знал. Я видел его в качестве члена государственного совета; по финансовой комиссии несколько раз: он был докладчиком сметы министерства иностранных дел, которая, конечно, не требовала никакого доклада. А затем я видел его в совете министров. Отдельных бесед с ним по более важным делам у меня не было. Он меня не приглашал. Так что я, может быть, ошибаюсь в его характеристике. Другие говорят, — никогда не было более хитрого председателя совета министров. Но я этого не видел.

Председатель. — А проявлял он какую-нибудь инициативу в заседаниях совета министров?

Покровский. — Нет, я этого никогда не замечал.

Председатель. — На вас не производило впечатления, что те заметки, даже в четыре строчки, которые он делал в случае, если ему приходилось что-нибудь говорить, были, в сущности, не его заметки, а чужие мысли, ему подсказанные?

Покровский. — Видите ли, в тех случаях, когда я это наблюдал, это были дела не особенно существенные. У него было организовано при совете министров экономическое совещание под его председательством. И вот ему нужно было резюмировать что-то такое. Это резюме он не говорил, а читал. Может быть, кто-нибудь писал ему это: у него были люди в канцелярии, которые при нем состояли и которые могли ему писать такие вещи. Но чтобы я заметил, так сказать, какую-нибудь тенденцию в этом отношении, — этого я не могу сказать. В более серьезных вопросах он сидел, как истукан. Может быть, это была высшая хитрость; может быть, за пределами этого и с людьми, которые пользовались его доверием, он говорил более откровенно и давал понять себя иначе. Но на людей, не близких ему, он производил впечатление истукана и больше ничего.

Председатель. — Николай Николаевич, а при сдаче министерства иностранных дел было у вас такое впечатление, что вы сдаете министерство в руки человека осведомленного, или же...

Ольденбург. — Нет, ведь Николай Николаевич был назначен после Штюрмера.

Председатель. — Совершенно верно. Вы, значит, получили министерство от Штюрмера.

Покровский. — Нет, не от Штюрмера. Я был после Штюрмера, но был промежуток безвременья, когда никого не было. Если не ошибаюсь, было так: Штюрмер был уволен, и председателем совета министров назначили немедленно Трепова, а по должности министра иностранных дел после Штюрмера, кажется, — если только память мне не изменяет, — управляющим или временно управляющим был назначен Нератов.

Председатель. — Штюрмер был министром по 10 ноября.

Покровский. — Вот видите! А я был назначен с 30-го ноября. Значит, между его увольнением и моим назначением прошло три недели.

Председатель. — Так что по делам министерства иностранных дел вы не имели повода беседовать со Штюрмером?

Покровский. — Ни разу. Он пригласил меня на другой день после моего назначения заехать к нему, чтобы побеседовать по вопросам личного состава, но я не поехал.

Председатель. — Он пригласил вас уже после того, как был уволен от должности председателя совета министров?

Покровский. — Это было уже после того, как я был назначен, — первого или второго декабря. Но я не поехал, я не видел надобности в этом.

Председатель. — Позвольте вернуться к общей характеристике совета министров. Вы изволили сравнить его с прежним комитетом министров.

Покровский. — Это не совсем так. Mutatis mutandis.

Председатель. — То-есть до известной степени. Причем ваша мысль пошла в сторону этого сравнения в виду того, что вопросы политики, как казалось вам, в качестве участника совета министров 1916 года, решались вне заседаний совета министров.

Покровский. — Да.

Председатель. — Быть может, вы сможете иллюстрировать эту общую мысль каким-нибудь примером из практики совета министров 1916 года?

Покровский. — Что же вам привести? Это чувствовалось так, безусловно. Были сведения, что отдельные министры приглашаются для беседы, для переговоров. Но, собственно, дел отдельных, которые поступали бы в совет министров после такого рода переговоров, фактов прямых я указать не могу. Я знаю, что были разговоры за пределами совета министров. Затем создаваемы были,

как вы изволите знать, совещания по разным вопросам. Было одно совещание из пяти министров, — кажется, о путях сообщения; затем — о продовольствии и так далее. Потом явилось совещание, в котором председателя совета министров сделали главою всего продовольственного дела. Был такой указ — о назначении его вершителем дела по продовольствию, — по всем, кажется, совещаниям. Вы изволите иметь этот указ высочайшего повеления?

Председатель. — Да.

Покровский. — Он был как будто в конце июня или в начале июля. Скорее, в июле. Штюрмер сделан был главою всех совещаний: ему принадлежало там последнее слово. И вот стали созываться совещания по продовольственному делу. Несколько позже, осенью, на эти совещания стали приглашать уже всех — до обер-прокурора святейшего синода включительно. Таким образом, по вопросам продовольствия и снабжения образовалось особое учреждение почти в полном составе совета министров, которое эти вопросы решало и сейчас же приводило в исполнение. Журналы этого совещания очень многочисленны. Но это перестало уже иметь характер частных разговоров, а сделалось, как я уже сказал, своего рода особым учреждением.

Председатель. — Разрешите вернуть вашу мысль к вопросу о группировке внутри совета министров. Если же — в виду, быть может, непостоянства этой группировки — вы затруднитесь установлением личного состава отдельных групп, то позвольте предложить вам более частный вопрос: ну, скажем, каковы были отношения Штюрмера с министром А. Н. Хвостовым за то краткое время, что вы видели их в составе совета министров обоих вместе?

Покровский. — Видите ли, это было очень короткое время, когда А. Н. Хвостов был в министерстве, и я был. Но у меня было такое впечатление, что отношения их были не из лучших. Мне кажется, что Штюрмер. . . ну, скажем, опасался, как бы Хвостов не сел на его место. Таково было мое впечатление. И когда Хвостов был уволен, то Штюрмер был, повидимому, очень этим доволен и признавал, что это успех с его стороны. Во всяком случае, он сваливал на него, — может быть, и основательно, — некоторые меры, которые, казалось, могли исходить от него, хотя причастность свою к этим мерам он и отрицал. В качестве примера такого рода, — правда, единственного, — я могу назвать заинтересовавшую всех историю отпуска пяти миллионов на неизвестные надобности. Вопрос об этих пяти миллионах рассматривался как раз в первом заседании совета министров, на которое я попал.

Председатель. — Пожалуйста, Николай Николаевич, остановитесь на этом факте несколько подробнее.

Покровский. — Хорошо, я расскажу все, что помню. Но если что исчезло из моей памяти. . .

Председатель. — Сначала рассмотрим отношения Штюрмера к Хвостову.

Покровский. — Насколько мне помнится, когда последовало высочайшее повеление об отпуске этих пяти миллионов, то на другой или, может быть, на третий день Штюрмер сказал мне, что, собственно, инициатором этой меры является не он, что она была придумана Хвостовым — в целях, так сказать, воздействия на прессу: предполагалось купить один большой орган печати и действовать в этом направлении. Штюрмер говорил, что мера эта, так сказать, перешла к нему по наследству; просил меня даже, когда она была утверждена, чтобы расходование этих сумм производилось не иначе, как при участии государственного контроля. Был и указ такой по высочайшему повелению написан. Он собственно мною был составлен,—чтобы хоть в этом порядке подвергнуть эту сумму известному контролю... Штюрмер просил меня выступить с объяснениями по этому поводу в Государственной Думе, сказать, что это будет подлежать государственному контролю. Я постепенно уклонился, не выступил по этому делу в Государственной Думе. К благополучию, дело это кончилось ничем: ни один рубль из этих пяти миллионов не был израсходован, а затем состоялось постановление о возвращении этой суммы в рессурсы казны.

Председатель. — Николай Николаевич, мы рассматривали этот эпизод с точки зрения характеристики отношений Штюрмера с Хвостовым.

Покровский. — Штюрмер сказал мне: «Это не мое изобретение, это Хвостов выдумал эту меру. Вот с какими целями, — с целями воздействия на прессу». Из этого я заключаю, что, должно быть, отношения их были неважные. Ведь Штюрмер не имел основания быть со мною особенно откровенным, никакой надобности в этом не было, — к чему такие вещи говорить? Следовательно, если он говорил так, — нужно заключить, что отношения их были не из лучших. Так мне думается. Вот только по этому примеру я и сужу, других данных у меня нет.

Иванов. — Вопрос о пяти миллионах рассматривался в совете министров?

Председатель. — Разрешите, я поставлю эти вопросы. Вы припоминаете, Николай Николаевич, что это было как раз первое заседание совета министров, в котором вы участвовали. Это было к вечеру, около семи часов?

Покровский. — Не помню, в котором часу, но к вечеру.

Председатель. — Некоторые министры хотели уже уходить?

Покровский. — Да, это было к концу заседания. Это верно, это я во всяком случае помню.

Председатель. — Восстановите в памяти эту картину.

Покровский. — Было заявлено, что это есть высочайшее предрешение.

Председатель. — Но не была ли эта ссылка на высочайшее предрешение ответом на некоторое затруднение, связанное для некоторых министров с подписью журнала?

Покровский. — Да. Сделано было указание, что этот вопрос предрешен.

Председатель. — В ответ на некоторые сомнения и возражения?

Покровский. — В особенности волновался Наумов, а также Барк.

Председатель. — Быть может, Поливанов?

Покровский. — Не помню. О Поливанове не могу сказать. Помню, что заволновался Наумов, что после собирались и разговаривали в вестибюле. На следующий день я был у Наумова и говорил с ним. И в результате было предложено производить этот расход при участии государственного контроля. Я поставил этот вопрос, и он получил такое направление.

Председатель. — Какие же объяснения дали вам тут, в заседании совета министров, Штюрмер и Хвостов, которые, повидимому, проводили эти пять миллионов?

Покровский. — Объснений, кроме указания на предрешенность вопроса, не было. Я не помню других объяснений.

Председатель. — Скажите, у вас по каждому вопросу составлялся отдельный журнал?

Покровский. — Да.

Председатель. — Что же вносилось у вас в журналы? Откуда это ассигнование и на какой предмет?

Покровский. — Содержание этого журнала я недостаточно помню. Вероятно, было сказано, что ассигнована такая-то сумма на то-то. Текста я не помню.

Председатель. — У вас были повестки на заседание совета министров?

Покровский. — Да.

Председатель. — Вы не помните, вопрос об этих пяти миллионах был поставлен на повестку?

Покровский. — Не помню. Нужно заметить, что это было мое первое заседание, по которому лично я мог повестки и не получить. Но думаю, что на повестке этого не было, потому что вопрос выплыл только в конце заседания.

Председатель. — Не в вашем присутствии был разговор между Наумовым и Штюрмером по вопросу о том, откуда будут взяты эти пять миллионов? Вы не припоминаете вопроса Наумова: «Не из десятимиллионного ли фонда?».

Покровский. — Нет, не помню.

Председатель. — А не помните, что Наумов, который особенно волновался, задавал вопросы и что прежде, чем отвечать на эти вопросы, Штюрмер переговаривался с Хвостовым?

Покровский. — Этого не помню. Я не мог этого видеть, так сказать, по географическим условиям. От меня направо сидела целая линия, Хвостов же сидел по ту сторону или напротив Штюрмера. . . Нет, Хвостов сидел напротив Штюрмера, но только с другого конца. Я не заметил этого, а может быть, и не смотрел.

Председатель. — У вас с Наумовым была мысль написать особое мнение?

Покровский. — У Наумова была эта мысль, но я отклонил ее, как нецелесообразную.

Председатель. — И выработали с ним особый путь, который состоял в том, чтобы поставить эту сумму под контроль?

Покровский. — Да, мы согласились с ним в этом. Я составил правила расходования, которые были затем утверждены.

Председатель. — Скажите, какую роль в технике заседаний совета министров играл Лодыженский?

Покровский. — Бывший управляющий делами?

Председатель. — Да. Кто у вас там составлял черновой журнал, кто вел журнал?

Покровский. — Журнал вела канцелярия совета министров при участии главноуправляющего. Это делалось, как и прежде. А составлял журнал, я полагаю, начальник отделения. Более крупные журналы, вероятно, составлялись и редактировались или Лодыженским, или его помощником Путиловым.

Председатель. — Вы не знаете, не было принято, чтобы к делам представлялись и у дел хранились как черновики, так и окончательно уже подписанные журналы?

Покровский. — Прежде так бывало. Когда-то я сам был начальником канцелярии старого комитета министров. И прежде бывало, что первоначальная редакция журнала и все заметочки, которые делались министрами, подшивались к журналу в качестве материала, а затем уже печатался чистовой журнал. Мои воспоминания в этом отношении относятся к 1899 году. Думаю, что этот порядок сохранялся и доныне.

Председатель. — Николай Николаевич, каков был порядок прохождения законодательных мероприятий по 87-й статье, то-есть кому принадлежала инициатива прохождения того или другого мероприятия по 87-й статье? Обсуждалось это в заседаниях совета министров?

Покровский. — Видите ли, инициатива принадлежала, конечно, подлежащему министру, который в своем представлении указывал обычно, что полагает провести такую-то меру по 87-й статье. Но то широкое применение 87-й статьи, какое имело место, вызывалось, как я полагаю, отсутствием Государственной Думы. Действи-

тельно, целые периоды проходили, когда Дума не заседала. Понятное дело, — останавливать ход законодательных работ было невозможно. Вот в силу этого и вынуждены были применять 87-ю статью,—хотя это не совершенно согласовалось с ее текстом. Обычно это прекращалось примерно за неделю, за полторы до созыва Думы, потому что в этих случаях высочайшее утверждение уже совпадало бы с присутствием Думы. Затем я помню случаи, два или один, что совет министров, так сказать, постановлял воздерживаться, по возможности, от применения 87-й статьи. Это было со вступлением в должность председателя совета министров Трепова. Он настойчиво высказывался против применения 87-й статьи в качестве нормального способа и советовал делать это только в исключительных случаях.

Председатель. — Чем это было вызвано? Остановимся подробнее на этом вопросе.

Покровский. — По моему мнению, это было вызвано нежеланием вызывать раздражение Государственной Думы. Безусловно это было так.

Председатель. — Но исторически чем это было вызвано? Что выдвинуло самый этот вопрос о необходимости избегать того, что может вызвать раздражение Государственной Думы?

Покровский. — Когда Трепов сделался председателем совета министров, то в числе своих пожеланий для дальнейшей деятельности совета он указал, что желательно было бы воздерживаться от слишком частого применения 87-й статьи,—так сказать, избегать ее применения. Помнится мне, что подобное было и в другой раз. Но тогда, кажется, это совпало с приближением созыва Думы.

Председатель. — Когда же именно это было в другой раз?

Покровский. — Должно быть, это было раньше, — во времена Штюрмера.

Председатель. — Но был ли тогда этот вопрос поставлен в общей форме?

Покровский. — Потом, при Голицыне, вопрос был поставлен именно так.

Председатель. — Что же именно было постановлено при Голицыне? В связи с каким частным вопросом?

Покровский. — Нет, независимо от какого-нибудь частного вопроса. Голицын тоже считал, что от 87-й статьи следует по возможности воздерживаться.

Председатель. — Вы, как будто, сказали, что по этому поводу было сделано даже постановление совета министров?

Покровский. — Нет, постановлений никаких не было. Это было, так сказать, соглашение — по возможности воздерживаться от применения 87-й статьи. И, когда, помню, появлялось предположение о проведении того или другого дела по этой статье, то Голицын входил в пререкания. Представил даже по одному делу

особое мнение... То-есть, нет, не особое мнение, а просто часть членов совета высказалась против этого.

Председатель. — По вопросу о возможности применения 87-й статьи?

Покровский. — Да. Такой журнал был, — кажется, по вопросу об изменении выборов или о назначении состава земских управ, — что-то в этом роде. Протопопов представил это к проведению по 87-й статье, а Голицын и некоторые другие члены высказались против, и было утверждено мнение Голицына.

Председатель. — Высочайше утверждено?

Покровский. — Да. По 87-й статье не прошло.

Ольденбург. — Мне кажется, вы упоминали, что такое же сильное противодействие было оказано проекту министерства Рейна, причем вопрос этот ставился на принципиальную почву — в связи с невозможностью проводить по 87-й статье целое ведомство?

Покровский. — Да, да. Именно так.

Ольденбург. — А есть подробные следы этого?

Покровский. — Об этом именно я и сказал. Есть доклад, но не журнал. Доклад Штюрмера, где лица, которые высказывались в этом направлении, не указаны, но мотивы изложены, насколько помню, весьма подробно.

Председатель. — Но ведь это доклад по специальному вопросу, а не по общему вопросу о возможности применения 87-й статьи?

Покровский. — Да, по специальному вопросу: о применении 87-й статьи в связи с проектом министерства здравоохранения.

Председатель. — Это и был тот случай, о котором вы сказали, что он имел место при Штюрмере?

Покровский. — Нет, я сказал про другой случай, который показателен в том смысле, что накануне созыва Думы обыкновенно воздерживались от применения 87-й статьи. А вот третий случай был с Голицыным. Таким образом, Трепов в принципе был против. Голицын в принципе был против. А в качестве общих директив принято было воздерживаться от применения 87-й статьи накануне созыва Думы.

Председатель. — Затем Штюрмер был против — уже по частному случаю, в вопросе о Рейне?

Покровский. — Да, в вопросе о Рейне. Штюрмера сначала не было: он уехал в ставку. Дело прошло под председательством А. А. Хвостова, его заместителя и тогдашнего министра внутренних дел или юстиции, не помню. И вот Рейн, еще не будучи министром, это представление и предполагал провести по 87-й статье. Тут было высказано решительное мнение,—по-моему, даже большинства членов, что по 87-й статье было бы опасно проводить эту меру. Это-то мнение и было представлено на высочайшее усмотрение не в виде журнала, а в виде доклада председателя

совета министров Штюрмера, где мнение это, если только мне не изменяет память, изложено было более или менее соответственно тому, что было говорено.

Председатель. — Вы изволили сказать, что статья 87-я применялась в некоторых случаях не совсем согласно с ее текстом. Не ставился ли, в связи с каким-нибудь конкретным случаем применения 87-й статьи, общий вопрос о возможности или невозможности пользования этою статьею не совсем согласно с ее текстом?

Покровский. — Видите ли, вопрос этот в подробностях не обсуждался, но ведь совершенно ясно было, что при нормальной деятельности Государственной Думы применение 87-й статьи было бы более ограниченным. Но так как, по военному времени, Государственной Думы не было, а продолжать законодательную работу во время этих перерывов было необходимо, то применение 87-й статьи пошло несколько расширительно. Всем было ясно, что, при нормальных созывах Думы, 87-я статья применялась бы более ограничено. Следовательно, разговаривать об этом вопросе было нечего, и разговоров не велось. Но мнение, что 87-я статья применяется иногда совершенно несоответственно, высказывалось и Треповым, и Голицыным. В этом проявлялась, впрочем, их личная точка зрения, а какого-нибудь обсуждения этого вопроса с чисто юридической стороны я не помню.

Председатель. — Николай Николаевич, что вам известно относительно обстоятельств созыва и роспуска государственных установлений за время пребывания вашего в составе совета министров? Ведь, если не ошибаюсь, при вас четыре раза созывалась и распускалась Государственная Дума. Нам хотелось бы, чтобы вы благоволили установить тот порядок, в котором это делалось — не по закону, конечно, а на практике, — и чтобы вы сказали, в какой мере, по установившейся практике, совету министров приходилось принимать участие в этом акте?

Покровский. — Изволите видеть, я, быть может, и припомню, если только вы мне скажете, сколько раз это было и в какое время примерно.

Председатель. — Я вам сейчас напомню. В первый раз Государственная Дума была созвана при вас 9-го февраля 1916 года и заседала по 4-е апреля 1916 года. Затем она была созвана 16 мая и работала до 20 июня. Это была 4-я сессия 4-го созыва. Затем пятая сессия продолжалась с памятного первого ноября по 17 декабря и, наконец, с 14 февраля по 26 февраля.

Покровский. — Относительно первого роспуска память не дает мне ничего такого, что я мог бы рассказать здесь. Не было ли пасхальных каникул в это время?

Председатель. — Между 4 апреля и 16 мая — возможно, что это были именно пасхальные каникулы.

Покровский. — Мне кажется, что роспуск зависел от этого обстоятельства. Так что роспуск был нормальный, и память не указывает мне тут никаких особых обстоятельств, никаких разговоров. Следующий роспуск, июньский, произошел в мое отсутствие: я был заграницей в это время. Я уехал 15 мая и вернулся 2 июля; следовательно, это было без меня. Но, кажется мне, что это был обыкновенный летний роспуск. Таким образом, я думаю, что эти два случая не представляют из себя ничего особенного. Теперь два последних роспуска. Они, действительно, представляют известные особенности. Конечно, всякий раз совет министров был осведомлен о предстоящем роспуске и высказывал об этом свое мнение. И тут было кое-что такое, что следует поставить в связь со всеми предшествующими событиями. Мне нечего напоминать и рассказывать, что было в Думе в период с 1 ноября по 17 декабря. Вы знаете, что тогда выступили в Государственной Думе два министра — военный и морской... А затем последний роспуск был сделан, так сказать, с указанием... Было ясно, что меняется председатель совета министров... Нет, позвольте, как же это произошло? Мне немножко память изменила. Это было раньше. Штюрмер был уволен, и назначен был Трепов. Дума не была распущена.

Председатель. — Трепов был председателем совета министров с 20 ноября по 21 декабря.

Покровский. — Значит, 17 декабря Трепов был еще председателем совета министров?..

Председатель. — Да.

Покровский. — Вопрос о роспуске Думы в этот период... в каком заседании он был решен и при каких условиях? Вот этот момент я что-то не припомню. Дайте мне припомнить...

Председатель. — Может быть, вспомните в связи с Протопоповым?

Покровский. — Возможно... Да, позвольте! Когда это было заседание, на котором против Протопопова говорил Пуришкевич, а потом Бобринский?

Председатель. — Это было в самом начале.

Покровский. — Не первого ли декабря это было?.. Нет, не помню, просто не помню. Каким это событием было вызвано? Ожидалось ли увольнение Протопопова или... Скорее всего, что предполагалось увольнение Протопопова. Некоторые вещи я могу все-таки припомнить, — быть может, они прольют свет на это обстоятельство, ускользающее из моей памяти. Ведь 1 декабря, когда было заседание с речами Пуришкевича и Бобринского, Протопопов хотел выйти на кафедру и высказываться против них. Тогда совет министров удерживал его от этого шага... Нет, это было еще в ноябре, я был тогда еще государственным контролером... Так вот, совет удерживал его от

выступления и указывал, что единственный нормальный выход для него, это — уйти, потому что тогда он может разговаривать с Думою в качестве Протопопова и защищать свою честь, тогда как в должности министра внутренних дел он всегда будет двуликим Янусом и не может являться представителем совета министров. Если же он выступит как представитель совета министров, то в Государственной Думе могут последовать такие выступления, которые заставят распустить Думу, что представляется в высшей степени нежелательным и опасным. Вот какие были разговоры тогда. Протопопов после этого не выступил, хотя подал записку и сел в ряды членов Думы... Вслед за этим было заседание совета министров, — не в помещении совета, а на квартире Трепова, где Протопопову снова было настоятельно сказано от имени всех, что единственным исходом является выход его в отставку, что это есть в то же время единственное средство для него восстановить свое доброе имя. В этом смысле высказывались решительно все, — без исключения. Говорили: «Поезжайте сегодня же в ставку и подайте в отставку». Он сказал, что поедет на другой день, потому что личные его дела не дают ему возможности уехать сейчас же. Это было 25 — 27 ноября, — что-то в этом роде. Вот, сопоставьте это с днем его поездки в ставку, тогда день выяснится совершенно точно. Он поехал в ставку и после этого заболел...

Председатель. — То-есть, дипломатически заболел, как вы знаете?

Покровский. — И был болен, — не знаю до какого числа, после чего выздоровел. Вот что предшествовало этому роспуску Думы. Но почему роспуск самой Думы был издан 17 декабря?.. Вероятно, предполагалось, что правительству в это время удастся ликвидировать Протопопова.

Председатель. — Но кроме того, наступали рождественские праздники. Вопрос шел не о том, чтобы распустить Государственную Думу, а о том, когда ее созвать.

Покровский. — Да, да. Это и было в обсуждении. 12 февраля решили назначить...

Председатель. — 10 февраля.

Покровский. — 12 февраля. Так что, очевидно, всего вернее будет ваше мнение, — что это было из-за рождественских каникул. 17 декабря Государственная Дума разъехалась.

Председатель. — В отношении роспуска Думы, Николай Николаевич, нас интересует несколько вопросов. Например, вопрос о том, что к концу старого режима председатели совета министров стали все чаще получать от носителя верховной власти бланковые подписи на тексте роспуска законодательных учреждений Российской империи, с тем, чтобы они сами проставляли в нужных местах дату роспуска Думы, а также, конечно, и срок

ее созыва. В результате этого получился такой порядок, что как раз в такой момент, когда работа законодательных учреждений была особенно нужна, представитель исполнительной власти, то-есть председатель совета министров, пользовался как бы частичкой прерогатив монарха — в смысле укорочения периода заседаний Думы и продления периода бездумья.

Покровский. — Видите ли, фактически такие бланки, я знаю, были. По крайней мере, я могу удостоверить, это в отношении последнего роспуска Государственной Думы. Это—факт. Но ведь события надо оценивать по их существу. Есть ли это предоставление председателю совета министров полного произвола в данной области, или же это просто есть своего рода выход из создавшихся условий? Скажем, так: Дума уже созвана, но ожидается что-нибудь резкое с ее стороны, а государь уехал в это время, его нет. На этот случай, — чтобы не упущено было должное время, он предоставляет известный бланк председателю совета министров. Я думаю, что скорее всего это было именно так. Это не то, что практика какая-нибудь, — в том смысле, что председатель совета министров, вступая в эту должность, получает тот или другой бланк, и потом уже от его усмотрения зависит в любой момент сделать это; этого, я думаю, не было. Во всяком случае, я никогда не слыхал о такого рода длительном перенесении на председателя совета министров известного рода функций; а делалось это по данному случаю, — когда что-нибудь предвиделось и обстоятельства мешали дать в надлежащую минуту указ. Так, например, в данном случае государя не было. Вот как, я думаю, нужно объяснять такого рода случай. Это, конечно, мое личное объяснение. И я знаю один только случай.

Председатель. — Но факты противоречат тем предположениям, которые вы изволили высказать.

Покровский. — Я знаю один только случай.

Председатель. — Вы, очевидно, не знали, что бланки на созыв Думы и на роспуск ее получались еще в самом начале, еще до созыва Думы и вне какой-либо зависимости от отсутствия носителя верховной власти в столице империи или России. Этого вы, очевидно, не знали.

Покровский. — Не знал.

Председатель. — Очевидно, вы не знали также и того, что в некоторых случаях бланк передавался как бы по наследству от одного председателя совета министров к другому. Это вам также неизвестно?

Покровский. — Нет.

Председатель. — Вообще, значит, вы знаете такой случай, когда вопрос о роспуске Думы решался в совете министров, но как это осуществлялось, вам неизвестно?

Покровский. — Мне известен только последний случай.

Председатель. — Относительно последнего случая разрешите спросить вас несколько позже. Что вам известно, Николай Николаевич, об отношении совета министров и отдельных министров вашего периода к общественным организациям? Когда началось изменение взгляда на общественные организации? Если это изменение имело место, то не можете ли вы указать главнейших противников общественных организаций и, во всяком случае, лиц, представлявших политику, направленную против существования и развития общественных организаций? Что вам известно в пределах этих вопросов?

Покровский. — Мне кажется, что это началось до Штюрмера, — еще во времена Горемыкина. Я сужу об этом вот почему. Когда я, еще не будучи государственным контролером, был товарищем августейшей председательницы в комиссии по призрению раненых и больных воинов (вы знаете, что была Ксениинская комиссия при верховном совете; великая княгиня Ксения Александровна была ее председательницей, а я — товарищем председателя), земский союз желал принять живое участие в этом деле. И я помню, — тогда эта точка зрения не прошла. Это было еще при Горемыкине. Признано было, что, выказывая такое желание, земский союз хочет закрепить себя на послевоенное время. Рассуждали так: призрение — дело длительное; значит, земский союз, функции которого должны были после войны прекратиться, получил бы этим путем возможность продолжать существование. Это признано было неудобным, и изобретались всевозможные способы отклонить эти предложения. Хотя земский союз и привлекли к этому делу, но не в тех широких размерах, как предполагалось. Исходя из этого, я и предполагаю, что отрицательное отношение к общественным организациям началось раньше Штюрмера. Затем, в то время, когда я был уже в совете министров, это настроение — против организаций — было весьма яркое и весьма определенное; его вовсе не скрывали. Проявлялось оно в сфере деятельности совета министров, главным образом, в связи с вопросом о кредитах. Их старались по возможности урезать. Ведь кредиты отпускались через комиссию Веденяпина. Вот в этой комиссии и старались по возможности не дать лишнего. В некоторых случаях, не могу сказать, чтобы не было оснований к этому, потому что земский союз, особенно, создавал должности с такими окладами, которые требовали известного сокращения. Так широко нельзя было итти в вопросе об увеличении содержания. И тогда, в этом порядке мышления, так сказать, было образовано одно совещание. Мысль о нем возникла еще при Харитонове, затем я предложил ее в виде определенной программы. Это совещание — по ревизии расходов земского и городского Союзов — и сейчас действует. Кажется, оно не вызвало не только возражений со стороны земского и городского Союзов, но принято ими даже

с благодарностью. Так что в этом отношении дело идет более или менее на лад, — но все-таки в порядке надзора за земскими и городскими учреждениями. Первоначально же мысль заключалась в том, что надо присматривать за ходом ассигнованных им государственных средств. Говорили: земский союз получил из казны полтора миллиона денег, и мы не имеем права оставить это без контроля. Я должен сказать, что против этой точки зрения, действительно, невозможно спорить.

Председатель. — Это точка зрения финансовая, она бесспорна и для Союзов.

Покровский. — И они приняли это совершенно охотно.

Председатель. — Но нам хотелось бы получить ответ на вопрос, стоящий в другой плоскости, — на вопрос о том, не было ли борьбы с этими общественными организациями из побуждений политических, побуждений, быть может, реакционных?

Покровский. — Несомненно, это было. В особенности проявлялось это в министерство Хвостова. Существовало постановление совета министров относительно собраний общественных организаций, по которому на этих собраниях непременно требовалось присутствие представителя министерства внутренних дел, — даже в частных собраниях. Это постановление прошло по 87-й статье. Хвостов очень настаивал на проведении его, и правительство решило его поддержать. Затем, я знаю, что возникал вопрос относительно легализации земского и городского союзов. Вы помните, что было законодательное предположение о легализации, составленное в Государственной Думе, и был даже проект этой легализации. И вот — помню, в начале мая, — перед моим отъездом заграницу, некоторые лица из состава правительства были приглашены в отдельное совещание у Штюрмера. Там были, кроме Штюрмера, два его товарища — гр. Бобринский и кн. Волконский, оба — чины министерства внутренних дел. А из кабинета были приглашены контролер и товарищ контролера Маликов. Тут и поднимался вопрос о легализации. Эти два товарища министра и мы, то-есть я и Маликов, стояли за легализацию. Чины же министерства — не гр. Бобринский и не кн. Волконский, а прочие, — были против легализации — с точки зрения как государственного, так и финансового права. Таких заседаний было два, в результате — я не знаю, что случилось, но легализация не была предоставлена. Мы, со своей стороны, указывали, что действуем в порядке установления известного контроля над расходованием сумм, и совещание признало это вполне нормальным и допустимым, достаточно обеспечивающим интересы казны. Потом это было утверждено в совете министров. Это совещание, как я сказал, действует и сейчас?

Председатель. — Но какого рода суждения политического характера происходили в заседаниях совета министров в связи

с вопросом о сокращении деятельности общественных организаций.

Покровский. — Особенных суждений никогда не было. Были разговоры об известном всем предмете. Знаете, когда говорят об известном всем предмете, то о нем не распространяются. Поэтому больших разговоров на эту тему в совете министров не было. Главным предметом подозрения был военно-промышленный комитет. Это несомненно. Не столько земский и городской Союзы, сколько военно-промышленный комитет. Но в военно-промышленном комитете, действительно, была известная группа рабочих, которая имела политическую окраску. Да и отрицать ту точку зрения, что все эти организации имели в то время политический характер, невозможно. Это совершенная истина: они, действительно, имели политический характер — и земский, и городской Союзы, и военно-промышленный комитет.

Председатель. — То-есть политическое значение?

Покровский. — Да, политическое значение. И вот, в то время, как в совете министров больших разговоров не было, у Протопопова было больше разговоров на эту тему. У него были на этот счет свои теории, которые повторить и усвоить трудно: о каких-то течениях нашей политической жизни, где эти Союзы играли опасную роль, и о том, что нужно с ними всемерно бороться, так как они подготовляют революцию, и пр., и пр. В этом отношении у него была вполне определившаяся точка зрения. Но Протопопов появился на нашем горизонте сравнительно поздно, а эта точка зрения, — точка зрения известного недоверия, как общеорганическая, существовала гораздо раньше. Она шла издавна.

Председатель. — А не поднимался в совете министров вопрос об отношении к общественным организациям иного рода — к организациям не либерального, так сказать, направления, как земский и городской Союзы и даже общественные комитеты а иным, например, к профессиональным союзам? Не было такого случая, который позволил бы поставить общий вопрос по отношению к ним?

Покровский. — Этот вопрос ставился. Но он не обсуждался подробно. По поводу профессиональных союзов был законопроект в государственном совете. Но так как этот вопрос проходил в государственном совете чуть ли не в последней сессии, то, собственно, он так и ушел из рук правительства, и ничего особого правительство сделать не могло. Что же касается общественных организаций, то были еще какие-то заседания по поводу съездов, против съездов—не помню уже теперь. Вообще же против съездов было такое постановление: «никаких съездов не допускать». И этого держались твердо. Исключения, если и были, то очень редкие.

Председатель. — Хотя бы эти съезды имели отношения к войне и к оказанию содействия армии?

Покровский. — Я не помню названия съездов. Но очень определенно было говорено: «съездов вообще не допускать».

Председатель. — По каким же соображениям?

Покровский. — По политическим соображениям.

Председатель. — А в каком отношении эти политические соображения стояли к нуждам страны? Например, к нуждам, вытекающим из необходимости организации тыла для поддержания армии?

Покровский. — Видите ли, если бы я припомнил названия тех съездов, которые были отменены, я, может быть, и мог бы дать вам объяснение... Насколько я помню, в таких случаях говорили общие фразы о том, что для нужд армии съездов не нужно, что этого можно избежать так-то и так-то, что можно выбрать другой способ, что в этом отношении пользы от съездов быть не может. Но я затрудняюсь сказать вам что-нибудь более конкретное, — не помню, какие были съезды.

Иванов. — Было несколько съездов: продовольственный в Москве, съезд земских и городских Союзов, который был разогнан полицией.

Покровский. — По этому поводу было говорено, что здесь преследуются политические задачи и что эти политические задачи в настоящее время недопустимы, так как они могут побудить к тому или иному выступлению, чему бывали примеры.

Председатель. — Позвольте теперь попросить вас остановиться на обстоятельствах появления в вашей среде, — в среде совета министров, — Протопопова; на том, как представляли себе в совете министров обстоятельства его назначения и, затем, какую струю внес с собой Протопопов в работу совета министров за кратковременное свое пребывание там в качестве министра внутренних дел.

Покровский. — Видите ли, обстоятельств его назначения я совсем не знаю. Я узнал об этом назначении, когда оно уже состоялось, и знаю, что это всех удивило. Хвостов был очень этим поражен. Он, как я слышал, очень усиленно отказывался от должности министра внутренних дел, но был чрезвычайно поражен этой внезапной переменой. Как она произошла, я не знаю. Затем Протопопов появился в совете министров с обычной своей живостью, любезностью, — если хотите, внешнею привлекательностью манер, и в первую минуту никакого дурного отношения к нему не было. Напротив, думали, что что-нибудь выйдет. Когда стали высказывать суждения по вопросу о продовольствии, я стоял на том, что этот продовольственный вопрос получает у нас направление, угрожающее чрезвычайными осложнениями; в этом вопросе я всегда особого мнения держался. Мне кажется, что приемами установления твердых цен, таксы, были сделаны большие ошибки. Я считал, что это источник крушения всего коммерческого аппа-

рата хлебной операции. Я держался такого взгляда. Протопопов разделял этот взгляд. Поэтому в области продовольствия я лично поддерживал его политику и думал, что с передачей этого вопроса из министерства земледелия Бобринского, у которого все вываливалось из рук, в министерство внутренних дел что-нибудь может выйти. Такова была моя мысль. И мне казалось, что Протопопов на верной почве. Затем, однако, пошла его политическая деятельность, не продовольственная. И тут мы постепенно все более огорашивались этой деятельностью. Особенно проявилось это перед уходом Штюрмера, когда Протопопов решительно шел на возможность роспуска Думы...

Председатель. — Роспуска? А не перерыва?

Покровский. — Я не могу сказать, что он имел в виду, — перерыв или роспуск, но во всяком случае, он имел в виду уход Думы в данную минуту, тогда как даже Штюрмер был против этого, против роспуска или перерыва. И многие другие тоже были против этого. Потом мы узнали о его посещении Родзянко. Вы знаете, тогда ходила по рукам стенограмма, — хотя, мне кажется, невероятно, чтобы это была стенограмма, потому что она так коротка и изображает такой длинный разговор; повидимому, это было извлечение. Это стало известно, и вот тогда у всех, кто смотрел на Протопопова иначе, мнение о нем очень повернулось. После этого начались, как вы знаете, события в Думе, — разговоры с Пуришкевичем и все дальнейшее. Тогда отношение наше к Протопопову окончательно определилось. Многие из нас говорили открыто, что он должен уйти. Наконец, совет министров в полном составе сказал, что он должен уйти. Однако, он пересилил и остался.

Председатель. — Да, это общий очерк взаимоотношений между советом и Протопоповым. Но не можете ли вы указать нам важнейшие политические вопросы, которые ставились в совете министров Протопоповым, как министром внутренних дел, и обрисовать политическое отношение к этим вопросам как министра внутренних дел, так и самого совета министров?

Покровский. — Я опять-таки повторяю, что в совете министров было мало политики. Но вот один из наиболее серьезных вопросов — это вопрос о созыве Думы 12 января, после ее предпоследнего роспуска. По поводу этого созыва, — кажется, 6 или 3 января, — было заседание совета министров, в котором Протопопов, развивая свою необыкновенную теорию политических течений в России, высказывался за то, что надо отложить созыв Думы возможно дальше. Он говорил — с 15 февраля и даже о марте. И вот тут действительно с ним был длинный разговор. По этому поводу многие возражали ему самым решительным образом. Образовалось три мнения: одно мнение за созыв Думы 12 января, как это было обещано, другое, крайнее мнение, — за созыв ее 14 или

15 февраля и среднее — не то за 25, не то за 31 января, — почему именно в это время, я не могу отдать себе отчета. В конце концов Протопопов, в сущности, одержал верх в этом деле. Его мнение было принято. Дума была собрана 14 февраля. Вот по этому поводу действительно развивались большие общие суждения.

Председатель. — Будьте добры изложить эти суждения. В чем состояло мнение самого Протопопова?

Покровский. — Насколько я помню, он высказывался по этому вопросу дважды: один раз в январском заседании, а затем в заседании 25 февраля, причем повторял ту же самую теорию. Я бы очень затруднился точно передать вам, что он говорил. Достаточно вам сказать, что тогда, 25 февраля, он повторил эту теорию так, что это не было новым для нас, и тем не менее несколько лиц, сидевших тут, слушая его, переглянулись и спросили друг друга: «Вы что-нибудь поняли?». И мы здесь же сказали друг другу, что ничего не поняли. Изложить вам точно то, чего нельзя было хорошо понять, довольно трудно. Это очень сложная теория, сочиненная, вероятно, кем-нибудь другим, — может быть, каким-нибудь мудрецом или каким-нибудь государственником. Во всяком случае, это очень сложно, так что если я буду передавать, то боюсь, что, может быть, навру.

Председатель. — Хотя я и согласен с вами, что очень трудно изложить то, чего нельзя было понять, но попытайтесь, пожалуйста.

Покровский. — Насколько могу припомнить, у него выдвигалась идея двух каких-то течений: если не ошибаюсь, — революционного течения и оппозиционного течения, причем революционное течение изображается рабочими учреждениями и вот этими разными советами рабочих депутатов, анархистами, социалистами и проч., а оппозиционное — общественными элементами, с Государственной Думой во главе. И вот революционное течение втекает постепенно, по его мнению, в оппозиционное, так что в результате нельзя уже опираться и на эту оппозиционную часть, потому что она, так сказать, совпадает постепенно с революционной частью и стремится к власти. Оппозиционная часть самой Думы постепенно сливается с революционным течением; идея о захвате власти является и у нее, и она будет пользоваться всякими случаями, чтобы захватить эту власть, а потому следует бороться с этим самыми решительными средствами, надо распускать Думу. Вот какое течение мысли было у него, — приблизительно так. Но поручиться вам, что это точно, что это верно, я не могу. Может быть, если вы его спросите, он скажет вам: «я ничего подобного не говорил» — и я не в состоянии буду опровергнуть его.

Председатель. — При этом фигурировало какое-нибудь графическое изображение, схема?

Покровский. — Совершенно верно, тут применялось какое-то графическое изображение, схема. И вот тут, на всем этом, у меня возникло сомнение в состоянии его умственных способностей. Я стал думать, что, вероятно, он не в ладах с самим собой и что этим-то все и объясняется, а в данном случае это проявилось наиболее ярко, потому что он начинает нести околесину, которую уже трудно понять, и в этой околесине у него мелькает какая-то необыкновенная идея. Другая сторона дела, которая, мне кажется, тоже характеризует неполную его нормальность, заключается в том, что он, повидимому, преувеличивал свои силы. Он считал, что правительство имеет власть неограниченную, что совершенно нет предела этой власти, — так громадна сила правительства по сравнению с этой вот оппозиционной частью, и вследствие этого он может делать все, что угодно. Я извлекаю это уже не из его собственных суждений в совете министров, а из слов одного из его секретарей, который сказал мне это, причем ссылался на его слова. Если вы сопоставите все это вместе, то у вас получается картина какой-то мании величия, — человека, который, попавши на высоту министра внутренних дел, что-то вообразил о себе. Он никогда не был в администрации, не был облечен властью и тут как-будто немного запутался и шарахнулся в сторону. Он был в блоке, потом сильно дернул вправо и, как всякий ренегат, хотел быть более правым, чем сами правые. Такое впечатление на меня он производил, и другие тоже выносили такое впечатление. От совместной с ним работы, то-есть не работы, а от общения с ним, я тоже вынес впечатление, что есть в этом человеке что-то совершенно ненормальное. Так, например, когда он был в Думе, он всегда был со мной в самых ласковых отношениях, — как и со всеми людьми, чрезвычайно ласков был всегда. В первое время после того, как он стал министром, эта ласковость продолжалась в высшей степени. Затем были все поводы прекратить ее, потому что он отлично знал мое мнение о нем, которое я высказывал и открыто и закрыто — там, где это было, может быть, наиболее неприятно ему. Он хорошо знал это, и я этого никогда не скрывал. И тем не менее, в совете министров, пользуясь тем, что он сидел там рядом со мною, он меня облапливал, лез на меня. Все это действия человека, находящегося не вполне в здравом уме. Или возьмем его обращение к Родзянке на приеме 1 января в Царском Селе. Это тоже акт не совсем нормального человека; после того, что у него было с Родзянкой, он полез к нему, и они чуть не переругались. И после этого он ничего, — как с гуся вода! Все это показывает какую-то неправильность мышления, какую-то ненормальность. И вместе с тем то, что он воображает о своем могуществе, о своих силах, совершенно не соответствует действительности.

Председатель. — Скажите, что же он вносил в совет министров в смысле политики? Для вас было несомненно то, что несомненно было, повидимому, и для всей России, а именно, что он шарахнулся вправо. Но в чем выражались его взгляды, которые он проводил в совет министров, шарахнувшись вправо?

Покровский. — Хотя бы в этих графических рассуждениях.

Председатель. — То-есть в непримиримом отношении к оппозиции?

Покровский. — В непримиримом отношении к общественным организациям, к оппозиции, ко всякому общественному проявлению. Это было у него совершенно ясно и подчеркнуто, — настолько, что он, так сказать, прямо огорошивал всех прочих. Даже самые консервативные — и те не могли выдержать этого тона, этой манеры, этих воззрений. Довольно вам сказать, что А. Ф. Трепов, человек несомненно правых убеждений, и тот не выдерживал, совершенно не выносил этого. Потом я знаю, что и кн. Голицын, — человек мягкий, спокойный, готовый примириться с какой угодно резкостью, — тоже не выносил его в конце концов и решительно желал сбыть его как-нибудь из совета министров. Это несомненно. Я думаю, что они знали также и ходы его какие-нибудь боковые, которыми он пользовался, чтобы поддержать свое влияние.

Председатель. — То-есть, через посредство Распутина?

Покровский. — Вероятно. Так считалось.

Председатель. — Этого он сам не отрицает.

Покровский. — Все вместе взятое не вызывало к нему никаких симпатий. В совете министров он не пользовался большим успехом. Я думаю, достаточно того, что ему прямо сказали: «уходите».

Председатель. — К его предложениям и рассуждениям не было серьезного отношения?

Покровский. — Нет. В совете министров он держал себя чрезвычайно скромно: обыкновенно приходил, молчал, говорил иногда какие-нибудь фразы по такому вопросу, как созыв Думы, выступал по этому поводу, как я уже сообщил, со своими обширными суждениями и с этим графическим методом... А в общем он не выступал как-нибудь особенно заметно.

Председатель. — А по отношению к Государственной Думе не пытался он занять более крайнюю позицию — в смысле поворота назад, в смысле не только перерыва занятий, но роспуска Думы?

Покровский. — Нет, этого я ни разу не слыхал.

Председатель. — Вам незаметно было, что, параллельно с этой большой скромностью в совете министров, за пределами совета у него шла какая-то очень интенсивная деятельность, направленная к тому, чтобы упрочить свое положение, быть может, даже завоевать высокое внешнее положение в государстве?

Покровский. — Это мне неизвестно. Об этом я не слыхал.

Председатель. — Вы изволили сказать, что он шарахнулся вправо. Вы не наблюдали, чтобы этот поворот его вправо сопровождался интенсивными сношениями с людьми правого лагеря? Например, что в государственном совете он попал в правые кружки не только формально, но и не формально?

Покровский. — Этого я не слыхал. В Государственной Думе у него были приятели из правого крыла, но это было раньше; эти отношения создались у него на почве совместной поездки заграницу, а не на почве политики.

Председатель. — Николай Николаевич, а не возникал перед вами или другими членами совета вопрос о том, что необходимо как-нибудь — хотя бы путем докладов — повлиять на то, чтобы в такой тонкий и грозный момент русской государственной жизни на посту министра внутренних дел не находилось лицо, которое можно было подозревать даже со стороны нормальности его умственных способностей?

Покровский. — Как же!

Председатель. — И вам пришлось касаться этого вопроса в ваших докладах в Царском?

Покровский. — Безусловно и чрезвычайно определенно.

Председатель. — Будьте добры, расскажите в нескольких словах об этих попытках.

Покровский. — Я был тогда министром иностранных дел и держался того взгляда, что внешнего успеха мы можем достигнуть только при порядке внутреннем. А так как я считал, что во внутренних делах Протопопов ведет дело к развязке, чрезвычайно трудной, могущей вызвать революцию, — так прямо и этими самыми словами я это и называл, — то я полагал, что вести при этих условиях внешнюю политику не представляется возможным: внутренняя политика вела нас к необходимости заключить в конце концов сепаратный мир, а это дело представлялось опасным. В этом смысле я и высказывался. Знаю, что и Трепов таким же образом говорил не раз. Знаю, что и Голицын говорил об этом неоднократно. Знаю, что и граф Игнатьев еще раньше то же самое высказывал. Так что со стороны членов совета министров попытки эти делались очень определенно, очень серьезно и очень решительно.

Иванов. — То-есть, о таком положении докладывалось бывшему государю?

Покровский. — Да, наше мнение непосредственно передавалось ему.

Председатель. — А доклады ваши делались ему в письменной форме или в устной?

Покровский. — В устной.

Председатель. — Эти доклады вы предпринимали по соглашению с вашими товарищами по совету?

Покровский. — По соглашению с председателем совета министров.

Председатель. — С Треповым и Голицыным?

Покровский. — Нет, при Голицыне я уже не докладывал. Это было во времена Трепова.

Председатель. — Вам несколько раз приходилось делать эти представления в Царском Селе о необходимости увольнения Протопопова?

Покровский. — Нет, однажды.

Председатель. — Какое же вы встретили отношение?

Покровский. — В сущности — никакого отношения. Я был выслушан.

Председатель. — То-есть, было уклонение от ответа?

Покровский. — Объяснения и ответа я не получил. Я подал даже в отставку, одновременно с этим просил об увольнении, но мне сказано было, что ответ об этом будет дан через некоторое время. Некоторое время прошло, и тогда я получил ответ, что настаивают, чтобы я остался. Я сказал, что я, быть может, буду представлять совету министров такие мнения, которые будут создавать там диссонанс. Сказали, что это ничего, что это хорошо. Вот каково было положение.

Председатель. — Вы не заметили, чтобы после этого доклада то, что называется благоволением верховной власти, изменилось к вам?

Покровский. — Совершенно наоборот. Как раз обратное.

LX.

ПОКАЗАНИЕ Ф. А. ГОЛОВИНА.

30 июня 1917 года.

Содержание: Отношение министерства к 2-й Государственной Думе. Причина ее роспуска. Процесс социал-демократической фракции 2-й Государственной Думы. Официальный характер отношения председателя 2-й Думы с членами министерства. Аудиенция 19 мая. Новый избирательный закон. Столыпин и Крыжановский знали, что поступают незакономерно. Бывший государь был введен в заблуждение. Зурабовский инцидент. О роспуске 2-й Думы и о новом избирательном законе. Власть берет на себя инициативу государственного переворота, действуя вопреки законам 17 октября. Осторожная тактика 2-й Думы. Процесс социал-демократической фракции 2-й Думы создан министерством с целью распустить Думу. Ускоренный роспуск. О «наказе». Первая аудиенция. Разговор с бывш. царем. Вторая аудиенция. Государственная Дума — трибуна для пропаганды революционных идей. Реплика Головина. Беседы со Столыпиным. Его отношение к Думе. Отношение Редигера.

Председатель. — Федор Александрович, вы изволили быть председателем 2-й Государственной Думы и, в связи с этим периодом вашей общественной работы, мы желаем задать вам несколько вопросов. Я хотел бы поставить их в такой последовательности: прежде всего, об отношении тогдашнего министерства ко 2-й Государственной Думе; нам нужны факты, относящиеся главным образом к концу деятельности Государственной Думы, факты, связанные с ее роспуском. Затем вы потрудитесь сообщить нам, какое значение в этом роспуске сыграло требование о выдаче членов социал-демократической фракции, какие тут велись переговоры и какое значение имел тогда этот надвигавшийся, начинавшийся создаваться процесс социал-демократической фракции 2-й Государственной Думы.

Головин. — Насколько я понимаю вопрос, он, главным образом, относится к последнему периоду жизни Государственной Думы, к тому периоду, когда уже был поднят вопрос об ее роспуске, и, следовательно, главным образом, к выяснению причин

этого роспуска, той причины, которая была выставлена со стороны министерства.

Председатель. — Если можно, предпошлите этому краткому очерку характеристику отношения этого министерства к Государственной Думе, к народному представительству. Это осветит нам и некоторые последующие моменты истории отношения правительства к народному представительству.

Головин. — Я не думаю, чтоб мои сообщения могли сказать много нового Следственной Комиссии, не говоря уже о том, что все это известно просто по газетным отзывам и по тем слухам и разговорам, которые в то время господствовали в обществе. Дело в том, что отношение министерства ко 2-й Государственной Думе, так же, как и отношение его к первой, да почти так же и к третьей и к четвертой, было далеко не дружелюбным. Как нам всем хорошо известно, народное представительство, в лице Государственной Думы, не встречало со стороны министерств старого режима никакого сочувствия. Отношение всех министерств всегда было более или менее недружелюбно. Но отношение ко второй Думе было, как мне кажется, исключительно недружелюбным. Перед самым созывом этой Думы, когда состав ее стал уже известен министерству, и в печати и в обществе ходили упорные слухи о том, что Дума эта обречена на гибель в самое ближайшее время. Мы, все члены Думы, когда ехали в Петроград на открытие сессии, считали, что жизнь ее будет чрезвычайно кратковременна: просуществует две-три недели, не больше. И вопрос о роспуске Думы, угроза роспуска висела над Думой, как Дамоклов меч, с первого дня ее существования и до последнего. Я затрудняюсь припомнить, был ли сколько-нибудь продолжительный период времени, скажем две - три недели за все три месяца ее существования, когда угроза роспуском не давила Думу. Она существовала 103 дня, с 20-го февраля по 3-е июня. Отношение министерства ко 2-й Думе, отношение враждебное и недоверчивое, начало проявляться с самого начала ее существования. Первое, с чем пришлось мне, как председателю Думы, считаться, это был новый закон, изданный в период междудумья, закон о порядке впуска в Думу лиц посторонних. Правила эти были весьма стеснительны для председателя. И на этой почве происходили постоянные конфликты между председателем Государственной Думы и председателем совета министров Столыпиным. Но сейчас это Следственную Комиссию едва ли интересует, хотя это характеризует отношение министерства к Думе, отношение столь враждебное, что даже по такому незначительному вопросу, как вопрос о внутреннем распорядке и о пользовании самим помещением, приходилось затевать переписку и словесные объяснения с председателем совета министров. Теперь к вопросу о роспуске Думы,

Председатель. — Позвольте несколько углубить вопрос. Какова была философия этого отношения? Какова была его внутренняя сторона? Ведь совершенно определенно, манифестом 17-го октября, вызывалось к жизни народное представительство. Каким же рядом мыслей, в этот период русской политической истории, правительство переступало через барьер манифеста 17-го октября и через необходимость, в случае невозможности осуществить такую же нежелательную для него Думу, произвести государственный переворот? Дайте сумму ваших впечатлений, воспоминаний, относящихся к этому глубокому моменту, расскажите, что вы знали об этом, готовившемся тогда государственном перевороте и что знали о том, как разделывались они тогда с манифестом 17-го октября, который все-таки защищал тогдашнее народное представительство помимо зависимости от его состава.

Головин. — На этот вопрос мне придется ответить так сказать на основании некоторых косвенных данных и косвенных соображений. Мои отношения к членам министерства были не таковы, чтобы между нами мог возникнуть разговор о роспуске Думы: ни со Столыпиным, ни с Щегловитовым, ни с другими членами кабинета я не говорил. Я был слишком далек от членов министерства. У нас личных отношений не установилось никаких. Отношения были столь острые, чисто официальные, что в личные отношения мы уже не входили. Мне приходилось встречаться с министрами либо на заседаниях Думы, где весь разговор, перед открытием заседания, сводился к простой формальности, — поздороваешься, скажешь два слова, какую-нибудь обычную любезность — и конец; либо путем переписки более или менее официальной. В делах Думы несомненно имеется эта переписка председателя Думы с председателем совета министров. Следовательно, разговоров с членами министерства по вопросу о роспуске Думы у меня собственно не было, а о настроениях министерства я мог судить по тем же данным, по которым и все мы судим, по газетным сведениям и по разным слухам, которым я придавать решающего значения не могу. Единственно, что могло бы хотя косвенно указать на то, что готовился новый государственный переворот, указать, в каком направлении он готовился, это беседа моя с государем при последней аудиенции, которая была мне дана, если не ошибаюсь, 19-го мая. Эта аудиенция дает мне некоторое косвенное указание на то, что, повидимому, готовилось по адресу Думы. Должен сказать, что эта беседа, как и все предшествующие, происходила в четырех стенах. Поэтому, все то, что я буду рассказывать, может подтвердить только бывший государь, и больше решительно никто, так как разговаривали мы вдвоем, без посторонних свидетелей. Что же касается самой беседы, то я должен сказать, что и тут у меня получилось несколько двойственное впечатление по отношению к этому вопросу. Я не знаю, насколько

сам государь был осведомлен о том, что именно готовится в смысле государственного переворота, и насколько сам он является ответственным, если не юридически, то морально, за подписание известного акта 3-го июня, акта, который несомненно может быть характеризован, как акт незакономерный, как акт, направленный к государственному перевороту. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что Столыпин и Крыжановский, подавая государю для подписания акт 3-го июня об изменении избирательного закона, прекрасно знали, что они делают, и понимали, что делают нечто незакономерное. У меня в этом отношении нет сомнений. Я знаю, я убежден в том, что Столыпин, как очень умный человек, конечно, великолепно понимал, что он делал. То же самое можно сказать и о Крыжановском.

Председатель. — Вам известно, что творцы этого нового акта, оставив два варианта, один из которых получил силу закона, сами же окрестили его актом бесстыжим? Вы знаете это?

Головин. — Нет, я этого не слыхал.

Председатель. — Это документально установлено. Я, кажется, прервал течение ваших мыслей, когда вы говорили о том, насколько сознательно было отношение авторов. Я потому позволил себе задать этот вопрос, что он характеризует весьма сознательное отношение. К этому вы, может быть, что-нибудь еще добавите?

Головин. — Я могу только повторить, что у меня нет сомнений: и Столыпин и автор закона, Крыжановский, прекрасно сознавали, что они делали. Люди такого ума не могли не понять, что они творят нечто незаконное. Несколько иное отношение было у меня к бывшему государю. Тут у меня являются вопросы и сомнения, и вот по каким соображениям. Если угодно, я могу более подробно рассказать об этой беседе.

Председатель. — Пожалуйста, с тем, чтобы к ней не возвращаться. В числе прочего у нас есть вопрос и о приемах и о том, какое у него было отношение к Думе и к идее народного представительства. Эти вопросы есть. Так что, позвольте, раз уже пришлось к слову, прямо просить вас остановиться на этом приеме.

Головин. — Тогда, может быть, не только на этом приеме, но и на всех приемах?

Председатель. — Как вам больше нравится.

Головин. — Стало быть, из последней беседы с государем у меня явилось двойственное представление о том, насколько он сам сознавал, что он делает, подписывая акт 3-го июня. С одной стороны, есть данные, которые убеждают меня в том, что он действовал сознательно, но, с другой стороны, есть другие данные, которые дают мне основание предполагать, что он мог быть введен в некоторое заблуждение и, подписывая этот акт, предполагал, что имеет на это право. Если угодно, я эту беседу расскажу подробно. Эта беседа происходила около 19-го мая или прибли-

зительно около этого числа, если я не ошибаюсь. В это время уже ходили упорные слухи об опасности для существования Государственной Думы, почему я тогда и считал необходимым поехать к государю. С одной стороны, надо было этот вопрос выяснить, а с другой стороны, постараться парализовать это опасное положение и изменить отношение государя к Думе. Нужно сказать, что перед этим случился довольно большой перерыв в моих посещениях государя, перерыв, который объяснялся тем, что после так называемого Зурабовского инцидента, когда Зурабов не совсем удачно выразился по адресу русской армии, что было сочтено за оскорбление армии, по частным сведениям, я узнал, что государь был чрезвычайно недоволен моим личным поведением во время этого заседания. И поэтому, мне казалось неудобным, пока такое отношение с его стороны существовало, так сказать форсировать положение дел и говорить о Думе тогда, когда это может повести только к вреду для ее существования. Поэтому тут был довольно продолжительный период, когда я не спрашивал аудиенций. Но 19-го мая положение представлялось уже столь опасным, что необходимо было испросить аудиенцию. Нужно вам сказать, что я довольно долго не получал ответа на мое ходатайство об аудиенции, что-то вроде недели. Затем, когда я ее получил, первый прием со стороны государя оказался весьма холодным, настолько холодным, что мне казалось, он и разговаривать со мною не желает. Он взял у меня письменный доклад, который я представлял ему всегда, осведомляя его о том, что было сделано Думой за период, протекший со времени последней аудиенции, и мне показалось, что хотя он и собирается принять доклад, но разговаривать со мной не будет. Тогда я счел необходимым сказать, что к письменному докладу, который я представляю, у меня есть еще и устное добавление. Тогда государь сказал: «В таком случае мы, может быть, сядем». И тем дал мне возможность более подробно развить мои мысли. Но тогда произошло следующее: когда я обратился к нему по вопросу о положении Думы, стараясь парализовать те нападки, которые сыпались на нее в это время со стороны известных кругов общества и со стороны министерства, государь сказал, что в таком случае и он считает возможным задать мне ряд вопросов; затем он взял с соседнего стола лист бумаги, где, на машинке, был написан ряд вопросов, занимавших, если не ошибаюсь, листа четыре писчей бумаги. Вопросы эти были все те же, что подымались и в печати и в обществе и клонились к указанию разных провинностей, совершенных Думой и ее председателем. А так как мы сидели за маленьким столом, друг против друга, и лист лежал между нами, так что я видел его с противоположного конца, я убедился в том, что, задавая целый ряд вопросов, государь пропускал вопрос о Зурабовском инциденте, из чего я заключил, что этот вопрос он считает для

себя очень больным и острым, до того, что не желает о нем и разговаривать. Ожидая удобного момента, когда можно будет спокойнее заговорить об этом вопросе, я счел за лучшее заговорить о нем от себя, и когда я с этим покончил, отношение государя сразу изменилось, и он стал разговаривать не только о думских делах, но и о разных, я бы сказал, думских сплетнях. Но затем, делая как бы резюме всей нашей беседы, он начал указывать на то, что, по его мнению, Дума неработоспособна, работоспособный центр ее слишком незначителен, а следовательно и те громадные задачи, которые перед нею лежат, ею выполнены быть не могут, и стало быть, единственный выход, это — ее роспуск и затем созыв новой. На это я ему сказал, что роспуск этой Думы и созыв новой не поведет ни к чему хорошему для правительства, потому что, если взамен первой Государственной Думы мы получили вторую, которая по настроению левее, то это явилось следствием роспуска первой Думы и тех репрессий, которые были пущены в ход правительством во время выборов, что такие действия только возбуждают общество и заставляют его быть требовательнее к правительству и стало быть роспуск Думы ни к чему не поведет. Затем, путем разных докладов, я старался ему доказать, что Дума работоспособна, что она уже приступила к обсуждению реформы местного суда, что на очереди стоит реформа местного самоуправления, и, что таким образом, говорить о том, что она не может выполнить тех задач, которые лежат перед нею, совсем неосновательно и даже наоборот, она может их выполнить вполне успешно. На все эти доводы государь возразил, что роспуск Думы и созыв новой по старому избирательному закону, конечно, не повлек бы за собой никаких удовлетворительных результатов, но, если бы избирательный закон был изменен, тогда была бы и картина другая. На это я ему сказал, что мы находимся в заколдованном кругу, что изменение избирательного закона может быть сделано только тогда, когда он будет выработан, а сейчас избирательный закон еще не выработан Думой. Правда, имеется проект избирательного закона, составленный партией народной свободы, но его предполагают рассмотреть осенью, на будущий год, после летнего перерыва. Если к этому времени Дума рассмотрит реформу местного суда, реформу земского самоуправления, тогда, быть может, она и проведет новый избирательный закон, и тогда, пожалуй, можно будет говорить о роспуске Государственной Думы. На это мое утверждение государь ничего мне не возразил. И у меня создалось тогда такое впечатление, что сейчас, в данную минуту, у него не было определенного проекта избирательного закона, или он об этом не хотел говорить, — в этом для меня является известного рода вопрос. Во всяком случае, могу сказать, что из этого разговора, из того, как вел дело, нельзя было вывести, что у него

имеется уже готовый избирательный закон. И даже как раз обратно: я был настолько далек от мысли, что он говорит о роспуске Думы и об издании нового избирательного закона тотчас же, что я даже не догадался сказать ему о том, что изменение избирательного закона явилось бы нарушением основных законов, им же утвержденных, что это был бы государственный переворот, что это явилось бы нарушением его же торжественных обещаний. Я об этом даже не заикнулся, настолько я был далек от мысли, что он говорит со мной откровенно об изменении избирательного закона незаконным путем. Такая моя уверенность основывалась на том, что все три раза во время моих посещений обязательно заходил разговор о манифесте 17-го октября, и государь утверждал упорно, что об изменении манифеста 17-го октября не может быть и речи, и он изменения никакого не допустит. Отсюда у меня и сложилось это убеждение, что государь не мог бы говорить об изменении избирательного закона незаконным путем, потому что это было бы нарушением того, что он обещал, а он так твердо стал на эту точку: то, что он обещал, не может быть взято обратно и не может быть нарушено. Вот те данные, которые давали мне известное убеждение в том, что государь пошел на изменение избирательного закона, введенный кем-то в заблуждение. О возможности введения его в заблуждение я получил подтверждение именно в этот день 19-го мая, во время моего разговора, когда, как я уже упомянул, дело коснулось Зурабовского инцидента. И я рассказал ему всю картину этого инцидента, во всех ее деталях и подробностях, даже обо всей, так сказать, закулисной ее стороне, рассказал. Тут он мне и говорит: «А скажите, пожалуйста, разве вы не имели права собственной властью удалить Зурабова на несколько заседаний из Думы?». Я говорю: «Нет, по закону я не имел права сделать это собственной властью. Я имел право предложить Думе удалить его, и, путем голосования, со стороны Думы, могло бы состояться это удаление». Он говорит: «Ах, вот как, а мне говорили как раз обратное. Мне, значит, неверно доложили». Отсюда я вывожу заключение, что, если по такому мелкому вопросу ему дали неверную справку о правах председателя Государственной Думы, то следовательно ему могли и относительно акта 3-го июня дать такую же неверную справку и ввести в заблуждение относительно того, насколько он вправе изменить избирательный закон. В общем у меня создалось такое впечатление от всех бесед с государем, что про него нельзя сказать, чтобы он не понимал того, что делает. Когда ему объяснишь, в чем дело, он великолепно понимает и очень быстро даже схватывает предмет. Но с другой стороны, у него есть как бы известная небрежность мысли, апатия, леность мысли, и он сам иногда не трудится подумать о каком-нибудь вопросе, а так сказать, идет на то, что ему

подсказывают. Поэтому возможно, что даже в таком серьезном вопросе, как изменение избирательного закона, он мог не потребовать точной справки с законом, не выяснить себе законной точки зрения и, исходя из понятия целесообразности, из представления о целесообразности, итти на изменение избирательного закона, считая, что государство находится в каком-то заколдованном кругу; с одной стороны, народное представительство, которое, с его точки зрения, неспособно выполнить возложенных на него задач, с другой стороны — изменение избирательного закона зависит от той же Думы. Стремление к целесообразности побуждает его итти на изменение избирательного закона, и он идет, не думая о том, что это является нарушением прав, им же предоставленных народу.

Председатель. — Теперь позвольте вас просить свести это к одному итогу. Относительно того, что подготовлялось тогда, вы узнавали только из газет, из того, что говорили в общественных кругах, это с одной стороны, а с другой стороны, вы знали нечто из вашей аудиенции с бывшим главой верховной власти. Позвольте мне спросить вас прежде всего: а не знали ли вы чего-нибудь из думских кругов? Вероятно, были там элементы правого сектора Думы, стоявшие ближе к власти, нежели председатель Государственной Думы; не было ли каких-нибудь разговоров о грядущем перевороте среди правых членов, немногих правых членов Государственной Думы?

Головин. — Дело в том, что у меня с ними не было почти никакого контакта. Представителей правого крыла я видел только на заседаниях. Если память мне не изменяет, перед роспуском Думы никаких заседаний не было.

Председатель. — Если все это свести воедино, то как же вы ответили бы на мой вопрос о том, каким образом власть того времени, беря на себя инициативу этого государственного переворота, перешагнула тогда через препятствие манифеста 17-го октября и основных законов?

Головин. — Я думаю, что министерство, после трех месяцев думской работы, увидало, что сама Дума не нарушит закона, что она не совершит такого акта, который давал бы основание распустить Думу, как вышедшую из пределов, предоставленных ей законом. Несмотря на свой крайний левый состав, несмотря на левое настроение, 2-я Дума была, как вам известно, чрезвычайно осторожна в своих действиях и, несмотря на все подводные камни, которые встречались на ее пути, несмотря на некоторые провокационные действия со стороны министерства, требовавшего, например, обсуждения политических убийств, благополучно обходя все эти подводные камни, ни разу, ни единым своим постановлением не совершила какого-либо незакономерного акта. Такое поведение Думы ставило министерство в положение чрезвычайно

затруднительное и потому вполне естественно, что оно пошло на роспуск. А для того, чтобы распустить Думу, пришлось прибегнуть к всем известному акту, к известному провокационному обвинению социал-демократической фракции в организации военной, для ниспровержения существующего государственного строя. Если позволите, я могу перейти к этому вопросу.

Председатель. — Мы естественным образом к нему подошли.

Головин. — Должен сказать, что по этому вопросу мои сведения не богаты данными. Я думаю, что Следственная Комиссия гораздо больше знает.

Председатель. — Нам важна ваша точка зрения, как вам все это представлялось.

Головин. — Для меня это дело представлялось в определенной форме: весь этот процесс создан был специально для того, чтобы распустить Думу, так как министерство решило ее распустить. Сама Дума повода не давала, стало быть, нужно было придумать повод. И его придумали очень просто. Министерство прибегло к способу создания процесса обвинения социал-демократической фракции в попытке совершить вооруженный государственный переворот. Министерство полагало, что здесь Дума может попасться в ловушку, так как в выдаче так называемых преступников она откажет и, следовательно, с точки зрения министерства совершит незаконный акт, а на этом и создастся повод для ее роспуска. Но тут-то и произошло следующее: когда было предъявлено это обвинение, Дума выбрала комиссию, которая должна была ознакомиться с обвинительным материалом. Такое действие Думы являлось вполне закономерным. Когда комиссия приступила к делу, она натолкнулась, насколько я знаю, на известного рода подлог, повидимому, со стороны судебного следователя. Об этом подлоге я знаю со слов члена комиссии Кузьмина-Караваева, с которым я разговаривал в день роспуска, встретившись с ним случайно перед отъездом в Москву. Кузьмин-Караваев сказал мне совершенно определенно, что главный обвинительный документ был найден, если я не ошибаюсь, на полу в квартире Озоля. Найдена была бумага, и на ней резолюция: «переслать в В. О.». Но в обвинительном акте следователь не написал, что найдена бумага с резолюцией переслать в В. О., а «дешифрировал»: «переслать в Военную Организацию». Это и явилось документом, свидетельствующим о военной организации. Между тем, по мнению членов социал-демократической фракции, эта надпись означала: «переслать в Виленский Отдел социал-демократической партии». И когда из всего материала выяснилось, что, повидимому, само следствие страдает большими дефектами, тогда правительство уже окончательно решило распустить Думу на основании мотивов, выраженных в манифесте о роспуске Думы, и не

дожидаясь, чтобы с думской трибуны разбирали судебное следствие и доказывали несостоятельность обвинения.

Председатель. — Не припомните ли вы, среди этого материала не фигурировал ли некоторый документ, который назывался наказом?

Головин. — Нет, материала я сам не видел, в комиссии этой участия не принимал и передавал это исключительно со слов Кузьмина-Караваева. Лично я сам ни этого документа, ни этой надписи не видел.

Председатель. — Но вам не приходилось слышать о том, что этот документ, наказ, принесен был мнимым членом военной организации на квартиру члена Государственной Думы и что он послужил главной уликой против членов Государственной Думы.

Головин. — Нет, в то время я этого не знал и о наказе ничего не слышал.

Председатель. — Какие же данные заставляют вас думать? Тогда вы не обладали тем материалом, которым мы обладаем теперь. Что же заставляло вас думать, что это провокационное дело, что оно создано искусственно с целью дать повод к роспуску Государственной Думы?

Головин. — Главным образом мои впечатления создавались от личных разговоров с членами социал-демократической фракции. Ведь с некоторыми из них я был достаточно близок, хотя бы, например, с Салтыковым. Он был помощником секретаря Государственной Думы, и лично у меня создалось такое впечатление, что обвинение несправедливо, неосновательно, но никаких твердых данных у меня не было.

Председатель. — Скажите, вам не приходилось встречаться тогда по делам Думы с товарищем министра внутренних дел, Макаровым?

Головин. — Нет, кажется, не помню.

Председатель. — А с Крыжановским?

Головин. — С Крыжановским только на заседании Думы.

Председатель. — Тогда не стоял в такой остроте вопрос о провокации вообще и по этому поводу не было у вас никаких бесед с тогдашним правительством?

Головин. — Нет, решительно никаких.

Председатель. — Вопрос об Азефе тогда еще не был поставлен?

Головин. — Не был совсем.

Председатель. — Благоволите теперь рассказать историю ваших аудиенций и укажите на моменты, характерные в политическом отношении для носителя верховной власти, на его отношение к тогдашнему народному представительству того состава и к идее народного представительства вообще.

Головин. — В первую же аудиенцию государь говорил.

Председатель. — Она когда состоялась?

Головин.—Первая происходила 21-го февраля, на следующий же день после открытия Думы. Она была очень непродолжительна. Государь интересовался тем, может ли образоваться работоспособный центр, о котором в то время так много писали и говорили, и на мой утвердительный ответ высказал пожелание успеха Думе. Затем стал говорить об отношении к министерству, указал на то, что для успеха работ Думы важна дружная работа с министерством. На это я, конечно, не без некоторого сомнения должен был ответить, что на такую совместную работу с настоящим составом министерства рассчитывать довольно трудно, так как политические настроения Думы и министерства столь различны, что говорить о дружной совместной работе представляется почти невозможным. После этого государь указал на то, что министерством внесен целый ряд больших, сложных вопросов на рассмотрение Государственной Думы, и если первая Дума оставалась без материала для работы, то вторая находится в обратном положении, что материалов кажется очень много, и при этом он спросил, считаю ли я этот материал подходящим. Так как это происходило всего через несколько часов после того, как я явился в Петербург и материала этого я не видел, я, конечно, на этот вопрос не мог ответить и сказал, что материал будет рассмотрен Думой, что целый ряд законопроектов местного, не принципиального характера, вероятно, может быть решен Думой сравнительно легко и в положительном смысле. Но что касается вопросов серьезных, принципиальных, то едва ли со стороны министерства могут быть представлены удовлетворительные материалы с точки зрения думского большинства. На этом и закончилась беседа политического характера, а дальше она приняла характер не политический. Он вспомнил о приеме Трубецкого, земской депутации, и так далее. Затем, во второй раз, во второй беседе, политическую окраску имело только отношение государя к Думе, как к революционной трибуне.

Председатель. — Это когда было?

Головин. — Я точно не могу сказать, должно быть в апреле месяце. Нет, в марте.

Председатель. — У вас нет соответственной записи? Вы не записывали?

Головин. — Нет, записи у меня есть, только они в Москве. Во вторую беседу государь говорил о том, что Дума представляет опасность для государственного порядка и спокойствия, как трибуна для пропаганды всевозможных революционных идей. На эту тему он говорил довольно долго и, с моей точки зрения, убедительно. Мысль эта очевидно очень его занимала, и тут я вынес впечатление, что все указания на то, будто бы он всегда находится под чьим-то влиянием, и на то, что у него нет собственных взгля-

дов и мыслей, все эти указания ошибочны. По крайней мере здесь он выразил определенный взгляд на Думу и на ту опасность, которая может представиться с точки зрения спокойствия государства, и мысль свою он развивал энергично, последовательно, сильно и веско.

Председатель. — Не можете ли вы несколько подробнее остановиться на том, каков был ход его идей и каковы были те реплики, которые вы ему давали.

Головин. — Если память мне не изменяет, он говорил в таком духе, что Дума является трибуной для пропаганды революционных идей, так как отчеты печатаются во всех газетах и распространяются в колоссальном количестве экземпляров по всей России, и мысли, вредные для государственного спокойствия, делаются достоянием широких народных масс. На это я ему возражал, что если истина стоит на стороне тех, кто считает эти идеи вредными, то для представителей этого направления, которых в Думе немало, и все это люди энергичные, обладающие даром слова, настойчивые в проведении своих взглядов, для них думская трибуна тоже не закрыта, и здесь, следовательно, происходит совершенно свободный обмен мнений и не существует никаких препятствий к тому, чтобы истина выяснялась путем освещения предмета с разных точек зрения. Но вступать с ним в спор по данному вопросу было нельзя. Он, повидимому, уклонялся и, развив свою точку зрения очень подробно и обстоятельно и выслушав внимательно соответствующие возражения, он не продолжал разговора на эту тему, и переходил тотчас же на другую. Это я заметил вообще: высказать вашу точку зрения он вам дает и выслушивает внимательно, но в прения не вступает и, выслушав, переходит к другому вопросу.

Председатель. — Вот это и было два приема, а о третьем вы уже изволили рассказать?

Головин. — О третьем говорил, да.

Председатель. — Вы не думаете, что упустили что-нибудь из того, что может интересовать нас?

Головин. — Это было так давно, более 10 лет тому назад. Все это приходится восстанавливать в памяти с трудом.

Председатель. — И никакого контакта с советом министров или с отдельными представителями совета министров у вас не было?

Головин. — Не было. Единственный из них был Столыпин. С ним у нас действительно бывали разговоры о существовании Думы и о тех опасностях, которым она подвергалась. Он меня всегда предупреждал, и нужно сказать, что, несмотря на его отрицательное отношение к Думе, какие-то странные были тогда комбинации, при которых существовала известная связь между судьбой Думы и судьбой Столыпина, и было время, когда он защищал

существование Думы и старался отводить удары, которые на нее сыпались со стороны других членов министерства.

Председатель. — Он хотел казаться защитником Думы?

Головин. — Я считаю, что он и был ее защитником. Повидимому в министерстве было два течения, — одно за существование Думы, а другое против ее существования, и Столыпин был среди тех, кто стоял за существование.

Председатель. — Но он нанес ей первый и вероятно единственный смертельный удар: во-первых, прервал ее существование, а во-вторых, надолго поставил у власти цензовую Думу.

Головин. — Я думаю, это объясняется тем, что когда он убедился в невозможности защитить эту Думу, тогда он совершенно открыто, ясно и определенно перешел на другую сторону и, показав на деле, что он переходит искренно, нанес свой удар. А до этого, после роспуска первой Думы и до созыва второй, он, повидимому, стоял на той точке, что 2-я Дума будет послушным орудием в руках правительства. Ему, повидимому, хотелось это доказать и потому он некоторое время ее поддерживал.

Председатель. — Тогда уже добавьте ваши показания сообщением краткого резюме ваших бесед со Столыпиным на общеполитические темы, так как Столыпин интересует нас не как Столыпин, а как выразитель политических мыслей тогдашнего правительства.

Головин. — О Столыпине мне особенно трудно вспомнить потому, что разговоры у нас шли не последовательно, а как бы на досуге, в виде отдельных мелких разговоров при отдельных встречах и среди текущих деловых вопросов. Поэтому составить точное представление о том, каковы были его мысли, каково было его отношение к Думе, и вспомнить подлинные его слова для меня трудно. Я могу говорить только об общем впечатлении, которое у меня создалось от бесед со Столыпиным. Общее впечатление у меня получилось такое, что было время, когда он хотел, чтобы Дума работала, конечно, в том направлении, в каком ему самому было бы угодно. И в этот момент он предупреждал о возможных опасностях. Но во время этого, так называемого Зурабовского инцидента, когда положение Думы было чрезвычайно опасным, когда государь повидимому прямо стоял перед вопросом, — не распустить ли ее сейчас, — повод самый удобный, — в закрытом заседании происходит оскорбление армии. Заседание закрытое, журналы не печатаются, факт оскорбления армии установлен, Дума распускается. Момент был очень удобный, но Столыпин сделал тогда все, что от него зависело, для того, чтобы этого не случилось. Он немедленно предупредил меня о грозившей опасности и, после своей беседы со мной, вел еще переговоры с военным министром, который должен был на следующий

день поехать к государю и доложить ему обо всем, что происходило в Думе.

Иванов. — А кто был военным министром?

Головин. — Редигер. Он очень доброжелательно относился к Думе. Затем Столыпин дал мне возможность повидаться с Редигером до отъезда его к государю. Он уезжал в 9 час. утра, а в 8 час. утра я был у него и передал ему стенографический отчет Думы и дал словесные объяснения, которые он передал государю, и вопрос был ликвидирован благополучно. Это один из фактов, указывающих на то, что Столыпин искренно хотел сохранения Думы. Этот инцидент произошел 17-го апреля, а в мае уже не чувствовалось такого отношения со стороны Столыпина. Он перестал являться в Думу, стал ее игнорировать, и тут, кажется, созрело у него решение о необходимости ее роспуска.

Председатель. — Значит, относительно изменения избирательного закона у вас с ним не было бесед?

Головин. — Со Столыпиным ни одного слова и ни одного намека. Вообще изменение избирательного закона для меня лично явилось совершенно неожиданным.

LXI.

ДОПРОС С. Е. КРЫЖАНОВСКОГО.

10 июля 1917 года.

Содержание: «Воспоминания» Крыжановского. Совет по делам местного хозяйства, как опыт представительного учреждения. Взгляд Крыжановского на русское народное представительство и на рост его. Отношение правительственных сфер к общественным силам. Избирательные законы 11 декабря 1905 года и 3 июня 1907 года, обстоятельства их издания, две первых Думы, Витте и Столыпин. Особый секретный фонд, главным образом, на печать. Сметные и сверхсметные кредиты. Субсидируемые органы печати. Отношение ко второй Думе. Ее роспуск и изменение закона о выборах. Записки Столыпина. 87 статья. Всеподданнейший доклад о причинах успеха левых на выборах в Государственную Думу. «Проект учреждения Государственной Думы». К преобразованию государственного совета. Столыпинские проекты манифестов. Материал Булыгинской Думы. Отношение Крыжановского к правым партиям и к их отдельным членам. Правые члены государственного совета на 1917 г. Порядок назначения председателя государственного совета. Подсчет левых и правых групп государственного совета. Выборная кампания в четвертую Думу. Предположение о назначении Крыжановского министром внутренних дел. Письмо к Поливанову. Комиссия по польскому вопросу.

Председатель. — Сергей Ефимович Крыжановский, вы изволили занимать пост товарища министра внутренних дел со 2 апреля 1906 года до 15 октября 1911 года?

Крыжановский. — Да. Фактически я прекратил занятия, должно быть, в половине сентября, с момента назначения Макарова, а в октябре был назначен государственным секретарем.

Председатель. — В 1911 году вы были назначены государственным секретарем?

Крыжановский. — Я подал в отставку 10 марта 1917 года, но приказ о моем увольнении был распубликован, надо полагать, 2 или 3 апреля 1917 года.

Председатель. — При чем с 1 января 1917 года вы были включены в группу вновь назначенных членов государственного совета.

Крыжановский. — Назначение сие было условно, впредь до окончания сессии, в смысле сохранения за мной должности государственного секретаря. Так что содержание мне было определено как члену государственного совета, а должность государственного секретаря я должен был сохранить приблизительно до мая, до окончания сессии.

Председатель. — Вы являетесь автором всех проектов учреждения Государственной Думы и преобразования государственного совета и автором нескольких проектов, предшествующих учреждению Государственной Думы 6 августа и 17 октября?

Крыжановский. — Так точно.

Председатель. — Вам принадлежит вот эта записка, являющаяся вашими воспоминаниями?

Крыжановский. — Да. У меня взяты были бумаги, в числе которых, по всей вероятности, находилось и это.

Председатель. — Господин секретарь, занесите в протокол, что предъявлена записка на 81 стр., при чем С. Е. заявил, что эта записка действительно составлена им.

Крыжановский. — Эта записка была писана давно, должно быть, в 1910 или 1911 гг.

Председатель. — В 1912 — 1913 гг.

Крыжановский. — Может быть. Вероятно, я ее пересматривал.

Председатель. — По свежей памяти и руководствуясь теми записками, которые вы делали, участвуя в разных совещаниях?

Крыжановский. — Точно так, но документальной проверки я не делал. Это был род черновика. Может быть даты неверные, может быть освещение некоторых фактов не соответствует документам. Это были мои личные воспоминания, мои личные впечатления.

Председатель. — Вы пишете здесь, что руководились выписками из подлинных делопроизводств разных учреждений.

Крыжановский. — Да. В некоторой доле.

Председатель. — Так что это более или менее соответствует действительной истории создания законодательных актов при вашем участии?

Крыжановский. — Так сказать, насколько внутренняя сторона всех этих действий была мне известна; в те времена я был человек весьма небольшого калибра. Мне была видна только известная щель. Многое оставалось для меня не вполне ясным, могло быть неправильно истолковано и даже оставалось вне моего ознакомления.

Председатель. — Но изложение событий, непосредственным участником которых вы были, является более или менее достоверным, даже, может быть, абсолютно достоверным?

Крыжановский. — Да, поскольку известно. Субъективное приложение всегда имеет место.

Председатель. — Какова ваша точка зрения на происхождение акта положения о Государственной Думе? Вы, повидимому, не считали, как вы пишете, что это было результатом, так называемого, освободительного движения?

Крыжановский. — Я считал и теперь считаю, что нет. Вопрос о создании народного представительства, насколько я с этим делом знаком, возникал очень давно, задолго до 1906 года. Первые попытки образования его мне неизвестны; но одно, весьма существенное, начинание сделано было еще при Плеве; это — создание совета по делам местного хозяйства, которое выразилось в формах, изложенных в законе. Тогда было намерение дать ему более широкую постановку, но, по обстоятельствам времени, оно выразилось в узких границах. Насколько мне известно, мысль о необходимости расширить это учреждение, пересоздать его на других основаниях и дать ему характер представительства политического, эта мысль в сферах того времени никогда не угасала. В то время я был далек. Я прикоснулся ближе к этому делу только во времена Булыгина, когда, кажется, по февральскому рескрипту 1905 года, было образовано особое совещание для рассмотрения вопроса о призвании представителей населения к участию в делах законодательных, который я более или менее знал в разных стадиях развития. У меня он выразился в акте 6 августа 1905 года.

Председатель. — Как вы себе объясняете, почему мысль о создании такого народного представительства, или суррогата народного представительства, давно внедрилась в умы людей, которые руководили высшей правительственной политикой?

Крыжановский. — В высшем правительстве, повидимому, было сознание, что бремя ответственности за заведывание делами государственными необходимо разделить с представителями населения. Если это не делалось раньше, то, я думаю, тут были какие-нибудь влияния узких дворянских кругов, относившихся враждебно к этой мысли; но сознание это всегда неизменно присутствовало. Если вы возьмете постановление о создании совета по делам местного хозяйства, которое было мной писано во времена Плеве, то эта мысль была выражена в нем весьма ярко, так что вызвала, кажется, известное неудовольствие в государственном совете; Плеве, вероятно, не читавший этой записки, ставил это несколько на вид и подчеркивал известную неосторожность такого рода действий. Таким образом, я думаю, что эта мысль носилась в воздухе издревле, с 60-х годов не угасала. Насколько известно, бывал ряд совещаний во времена императора Александра II. Были проекты какие-то (некоторые из них у меня даже в руках были), составлявшиеся еще во времена Валуева, затем — при Лорис-Меликове. Эта мысль непрерывной нитью уходила очень далеко, но, очевидно, влияния петроградских кругов тормозили ее.

Председатель. — Так что вы считаете, что эта мысль самостоятельно возникла у лиц, руководивших правительственной политикой?

Крыжановский. — Она подсказывалась жизнью. Она росла сама собой, как растет трава и дерево в известных условиях почвы и климата, но, конечно, пробивалась медленно и туго, как и везде на свете.

Председатель. — Не под влиянием движений, возникших в общественной среде и в среде народа, которые вы оцениваете и оценивали очень низко?

Крыжановский. — Я не видел по личному опыту непосредственной связи. Может быть это являлось известным толчком, но мне лично казалось, что многие из этих движений (по крайней мере, во времена Сипягина) скорее несколько запугивали и тормозили органический рост этой мысли.

Председатель. — Вы все время считали, что им придают гораздо больше значения, нежели они того заслуживали?

Крыжановский. — Размеры движения здесь очень слабо чувствовались. Насколько оно было сильно в провинции, настолько в Петрограде, в особенности лицам, занимавшим небольшое служебное положение, оно было незаметно. Я повторяю, весьма возможно, что на тех лиц, которые стояли во главе правительства, эти движения производили давление; но, мне кажется, эта мысль сама по себе росла; некоторые обстоятельства времен Сипягина, те сведения, которыми я располагал в конце своей политической карьеры, приводили меня к убеждению, что их несколько пугали вспышки общественного порыва, заставляли их несколько сжиматься.

Председатель. — С этой точки зрения вы подходили и к движению 1905 года? Вы не считали это движение революционным, в смысле стремления к чему-то новому, а считали его лишь результатом плохой охраны власти?

Крыжановский. — Движение 1905 года проявлялось в значительной степени в формах анархических, которые невольно производили именно такое впечатление. Вы изволите сами помнить характер этого движения.

Председатель. — На знамени московского восстания было написано: «Учредительное Собрание».

Крыжановский. — С московским восстанием я абсолютно не знаком. Что там происходило, я не могу судить, так как не имею официальных данных и донесений.

Председатель. — Какую должность вы изволили занимать до того, как были назначены товарищем министра внутренних дел?

Крыжановский. — Я сначала служил в хозяйственном департаменте, а засим в главном управлении по делам местного хозяйства. Следовательно, круг моих обязанностей ограничивался

делами городскими, отчасти земскими, вне департаментов, которые ведают внутренней политикой. Так что то, что делалось в России, мне было известно лишь постольку, поскольку это выражалось в газетах. Непосредственно я мог наблюдать только настроения петроградские; в чем, собственно, заключалась московская революция, мне неясно, никаких официальных документов я не читал.

Председатель. — Раз вы изволили наблюдать отношение петербургской части общества и кругов правительства к реформе, значит, полную силу достоверности имеет та ваша мысль, что созданием конституционного строя правительство хотело в сущности свалить со своих плеч ответственность и создать новую точку равновесия, на которую можно было бы переложить и эту ответственность, и раздражение беспокойной части общества?

Крыжановский. — Это была ходячая мысль в Петрограде того времени; она, весьма вероятно, и двигала лиц, решавших тогда направление внутренней политики.

Председатель. — С точки зрения переложения ответственности, повидимому, вам было желательно создать такую Думу, которая имела бы поменьше корней в русском народе, ибо Дума, пустившая глубокие корни в народ, становилась уже опасной для власти?

Крыжановский. — Нет, это не так. Я всегда стоял и стою на той точке зрения, что всякое политическое учреждение должно развиваться медленно и постепенно. Нельзя из одной формы существования сразу перескочить в другую форму, без опасности подвергнуть ее сильному потрясению. Очевидно, всякое учреждение, тем более политическое, как свидетельствует история, может развиваться весьма медленно и постепенно, ибо, параллельно с формами учреждения, должны развиваться также нравы и формироваться люди; не всякий человек способен к исполнению такой обязанности. Следовательно, переход государства от одной формы правления к другой может быть прочным, правильным, спокойным, обеспечивающим целость и существование государства тогда, когда он совершается постепенно, понемногу захватывая. Посему, если вы изволили читать эту записку, вы знаете, что лично я был всегда представителем той мысли, что представительство политическое надо было создавать на основе представительства земского, т.-е. единственная правильная форма образования центрального государственного органа, на мой взгляд, могла основываться на избрании представителей в этот орган из земств уездных и дум городских, на первое время; ибо, только при этом условии возможна была постепенная, правильная, как мне казалось, демократизация этого представительства; именно, с расширением основания, на котором покоятся земские учреждения, соответственно расширялось бы представительство центральное. Эта мысль, которая была в булыгинской комиссии, и в 1907 году

проводилась мной, сколько было в моих силах, принята не была. С моей точки зрения зачатками всякого народного представительства, правильно поставленного, у нас являлись несомненно местные учреждения. Я должен сказать, мне казалось и теперь кажется, что правильно поставленное политическое центральное учреждение для того, чтобы быть сильным и иметь влияние на жизнь государственную, должно вырасти из учреждений земских.

Председатель. — Так что теперь вы утверждаете, что для вас эта цензовая Дума была началом, и вы хотели привести страну к полному представительству широких слоев населения?

Крыжановский. — Да, несомненно. Речь всегда шла о постепенном расширении прав. Ведь полного, абсолютного народовластия нигде в мире не существует.

Председатель. — Когда создавали закон 3 июня 1907 года?

Крыжановский. — Закон 3 июня был попыткой, в то время успешной, спасти само народное представительство. Если бы закон не был издан, то, вероятно, Думы, в течение известного времени, не было бы.

Председатель. — Если основываться на настроениях центральной власти?

Крыжановский. — И на том влиянии, с которым Столыпину приходилось бороться, и на тех требованиях, которые предъявлялись к власти. Если бы не было произведено известное ограничение представительства и создание Государственной Думы, опирающейся на более состоятельные и более образованные классы, вероятно она бы исчезла, по крайней мере, на время. Вот мое мнение.

Председатель. — Значит, вместо нее вы поставили постоянную уже цензовую Думу, против которой ничего, может быть, не имели?

Крыжановский. — Почему же постоянную? Ведь цензовые учреждения на всем свете существуют. Вопрос только о размерах ценза. Цензовая Дума 1907 года, как вам известно, не так разнится с первой, основы приблизительно те же самые.

Председатель. — Я потому позволил себе привести этот пример, что вы, как будто, изволили высказать мысль, что стояли на точке зрения расширения избирательного закона?

Крыжановский. — Несомненно.

Председатель. — Мне казалось, что это — яркий пример очень значительного сужения избирательного закона, что как раз идет наперекор этой мысли?

Крыжановский. — Это был политический компромисс того времени, который, я повторяю, был необходим с точки зрения лиц, стоявших у власти, чтобы спасти само учреждение. Я был в этом деле техником чисто канцелярским, решал этот вопрос не я, а другие. Лица, которые поддерживали в то время изменение

избирательного закона, полагали путем известного компромисса спасти само учреждение, которому в 1907 году угрожала опасность очень большая. Голоса, призывавшие закрыть Думу и ограничиться государственным советом в прежнем виде, или преобразованным, как вы изволили знать, были весьма влиятельны.

Председатель. — Позвольте процитировать одно место вашей записки, которое идет, повидимому, вразрез тому положению, которое вы изволили высказать. Это — вопрос о том, желательна ли была вам Дума сильная или слабая. На странице 28 имеется следующее место: «Булыгин боялся встать открыто на этот путь, сознавая все отрицательные стороны этого порядка, опасность утверждения политиканства в земствах, которые могли бы стать как бы разветвлениями Думы, и сознавая те трудности, которые могли бы возникнуть для правительства, в случае столкновения с Думой, имеющей столь прочные корни, сложившиеся в среде местных общественных учреждений». Так что, повидимому, вами разделялась мысль, что Дума нужна, но Дума, имеющая корни, опасна?

Крыжановский. — Это было возражение, которое противопоставлялось мысли об обосновании системы выборов в Государственную Думу через уездные земства; и на этой мысли отвергнуто было предположение такого рода.

Председатель. — Т.-е., на мысли о том, что таким образом получится Дума, имеющая корни?

Крыжановский. — Мне кажется, это не совсем так. Опасение, которое выдвигалось еще на совещании Булыгина, в совете министров под председательством графа Сольского, сводилось к тому, что всякое столкновение правительства с народным представительством, неизбежное во всех государствах в центре, сейчас же получит слишком большое развитие на местах, и вопрос политики захватит, таким образом, круг местных управлений. Тогда совещание отказалось от мысли обосновать представительство на выборах в земстве, и была создана параллельно система весьма близкая. Если вы проследите историю булыгинской думы, то вы увидите, что, по проекту Булыгина, первоначально предполагалось собственно для выборов создать нечто в роде уездных земских собраний ad hoc, которые выражались совершенно в тех же формах, в каких выражаются в порядке выборов нынешние уездные. Но, по рассмотрении этого предположения в совещании гр. Сольского, по почину гр. Витте (в то время еще не графа), эта уездная инстанция была упразднена, и все выборщики были направлены в губернское избирательное собрание. Однако, система булыгинских выборов была весьма близка к описанной мной системе выборов на уездных земских собраниях. Она была изменена в значительной степени в совещании под председательством Сольского, но в первоначальном своем начертании она была к ней очень близка.

Председатель. — К вопросу об общественности и правительственном начале: что, собственно, вы разумеете, говоря, что на известной почве «слагалась басня о каком-то таинственном общественном начале, о великих общественных силах и действиях, скрытых где-то под спудом земской, задавленной правительством, деятельности»?

Крыжановский. — Это, так сказать, несколько лирическое выражение антагонизма, который существовал между чиновничеством, в то время совершенно заплеванным, как вы изволите помнить, и общественной средой, которая чиновников атаковала — иногда правильно, а иногда неправильно; потому что чиновники не были ответственны за ход вещей; относились к чиновникам с глубоким презрением и выдвигали навстречу им свои начала, в то время неизвестные и неиспытанные.

Председатель. — Вы совершенно правы с этой точки зрения, но нас интересует другое. Нас интересует вопрос о том, как лица, думающие об учреждении народного представительства, которое, собственно говоря, и должно дать выход общественным силам, лица, которые, казалось бы, должны положительно относиться, по крайней мере, к самому факту существования общественных сил, — эти лица объявляют басней те самые общественные силы, которые они готовы пустить к кормилу правления?

Крыжановский. — Это не совсем так. Со стороны общественных сил того времени было в значительной степени преувеличено, как я повторяю, пренебрежительное отношение к так называемому бюрократическому началу. В этом пренебрежительном отношении было много правды, но много было несправедливого, ибо второстепенные чиновники, та среда, к которой я принадлежал, я был в то время вице-директором, или чем-то в этом роде. . .

Председатель. — Когда вы писали это, вы были товарищем министра, даже больше — вы были государственным секретарем.

Крыжановский. — Это было написано раньше; эта часть была написана, вероятно, в 1907, 1906 гг. Я отражал понятия и взгляды чиновничьей среды того времени, которая, конечно, чувствовала себя обиженной весьма пренебрежительным отношением.

Председатель. — Вы изволили, повидимому, несколько запамятовать. Вы излагаете здесь взгляды не мелкой чиновничьей среды. Вы тут ссылаетесь между прочим на Плеве, который так думал.

Крыжановский. — Я даже не помню места, которое вы изволили цитировать. Я несколько лет этого не перечитывал. Я прошу его огласить.

Председатель. — Вы говорите: «басня о чем-то лежащем под спудом, о великих общественных силах и деятелях, скрытых где-то под спудом задавленной правительством земской деятельности, проявляющей там какие-то чудеса и могущей сделать уже большой

ход, как только ей будет дана свобода». «Плеве», говорите вы дальше, «чувствовал это положение вещей и видел, хотя боялся громко назвать, выход и, будучи охотником до пышных выражений, любил говорить, что Россия представляется ему в виде огромного воза, влекомого по скверной дороге тощими клячами — чиновничеством. На возу сидят обыватели и общественные деятели и, на чем свет стоит, ругают власти, ставят в вину плохую дорогу. Вот этих-то господ следует снять с воза и поставить в упряжку, пусть попробуют сами везти, а чиновников посадить с кнутом на козлах, пускай подстегивают». Мне интересно отметить тот факт, что создатели представительных законодательных учреждений в высшей степени отрицательно относились к тем общественным силам, которые они выдвигают на первый исторический план, и считали это ходом разгружения от ответственности. Исходя из этой точки зрения, понятно, должны были заботиться о невесомости, о бессилии тех законодательных учреждений, которые вызывали к жизни. Так это и было в действительности. Это красной нитью проходит через вашу записку.

Крыжановский. — Это я не могу сказать. Законодательные учреждения, призванные к жизни с мест, были облечены весьма обширной властью.

Председатель. — Но вы считали, что большие ошибки допустил Витте, который испугался миража.

Крыжановский. — Я считал и считаю в настоящее время правильным, что всякое политическое учреждение должно иметь развитие органическое, что для развития желательно избегать всякого рода скачков. Раз в 1905 году была образована законосовещательная Дума, то правильнее было бы при ней остаться.

Председатель. — Простите, а скачок 3 июня 1907 года? Государственный переворот вам не представляется скачком?

Крыжановский. — Скачком куда? обратно?

Председатель. — Да.

Крыжановский. — Я не вижу все-таки разницы между Думой 1907 года и той, которая была в 1905 году. Она ведь сохраняет общую совокупность отношений.

Председатель. — Но это, несомненно, вопреки закону, а не вследствие закона. Это в виду того, что в общественных кругах оказалась достаточно оппозиционная напряженность, с которой вы не предполагали в 1907 году встретиться?

Крыжановский. — Я никогда не сомневался в том, что эта напряженность всегда останется. Если вы изволите обратиться к истории европейских учреждений, то вы увидите, что отношения правительственных учреждений к своим задачам сравнительно в малой степени зависят от социального базиса, на который они опираются. Каково бы ни было учреждение, возьмите 400 урядников, посадите их и скажите, что они — законодательное учре-

ждение, и они станут к вам в оппозицию; потому, что положение захватывает лицо. Я считаю, что всякое избранное лицо мало-по-малу напояется общим настроением; выбрано ли оно широкими или узкими слоями, оно быстро претворяется в существе и наполняется содержанием, которое всасывает в себя от общества. Поэтому мне кажется, что для характеристики отношений общественных учреждений к правительству ширина базиса, на котором оно стоит, особенно решающего значения не имеет. Вы можете взять пример из Англии, где не так давно были чрезвычайно узкие избирательные права. Все зависит от настроения момента, от состава общества и от веяний.

Председатель. — И, конечно, от той социальной базы, на которую вы поставили четвертую Государственную Думу; эту Думу все-таки поддерживали слои более широкие, которые вы исключили из сферы законодательства... или...

Крыжановский. — Я немножко вас перебью. Мне кажется, тут как бы оптический обман. Вы говорите, что я исключил...

Председатель. — Вы вместе с другими. Вы не станете отрицать, что вы являетесь автором закона?

Крыжановский. — Если вы изволите знать характер правительственного механизма, то вы знаете, что чин, осуществляющий известную мысль, есть техник, а не ответственный автор этой мысли.

Председатель. — Я не говорю об ответственности, я хочу только установить факты. Мне кажется, правильнее будет сказать, что идейным автором были вы, а политическим создателем был Столыпин?

Крыжановский. — Никоим образом. Мне кажется, Столыпин стоял перед дилеммой — или потерять народное представительство, или придать ему другие формы. Под влиянием этого и был создан самый закон.

Председатель. — Позвольте мне процитировать место из другой вашей рукописи, это ваша автобиография. Вы пишете, что вами было создано первоначальное учреждение Государственной Думы при Булыгине 6 августа; правила о выборах в Думу; предположения о преобразовании государственного совета; учреждение совета министров и, наконец, закон 3 июня о выборах в Думу, который вами был проведен в жизнь.

Крыжановский. — Так точно. Проведение в жизнь закона — это наблюдение за проведением его на местах.

Председатель. — Но это не только пассивное применение его на местах, но и активное воздействие в смысле применения?

Крыжановский. — Закон 3-го июня применялся без особых воздействий...

Председатель. — Разрешите к этому вопросу перейти несколько позже.

Крыжановский. — Вообще, я должен сказать, что, когда я составлял эти записки, я не предполагал, что их будет кто-нибудь читать, тем менее вы. Все это сырой материал, который написан и отложен на поздние годы, для просмотра, для соображения. Это вышло с пера, и я не могу нести ответственность за все слова и фразы. Все это подлежало обработке и отделке, все это — мысли, относящиеся к разным эпохам: начало было писано гораздо раньше, середина в другое время, конец позднее. Одним словом, это случайный сбор с пропусками, не связанный в одно целое материал, мысли разных периодов и разных эпох.

Председатель. — Я должен сказать, что это совершенно законченное литературное произведение; вместе с тем, тут есть блестящие страницы.

Крыжановский. — Вы мне очень льстите.

Председатель. — В особенности, там, где вы делаете характеристику Плеве, Столыпина и Сипягина. Это замечательное литературное произведение.

Крыжановский. — Я пишу недурно. Если на меня выпала доля этих работ, вы знаете, что, при условии того времени, требовалось хорошее перо, приглашались лица, которые умели хорошо излагать. Так как я умел излагать и без всякой отделки достаточно гладко, то в таком виде оно и есть; но я повторяю, что это — совершенно сырой материал. Может быть, если бы я стал перечитывать, я бы две трети вычеркнул и изменил.

Председатель. — Вы изволили говорить о совете местного хозяйства. Вы рассматриваете его, как зародышевое учреждение народного представительства. Но в нем, повидимому, была и другая сторона; может быть, не заботы о зарождении общественного представительства, а именно другая сторона и была основанием к созданию учреждений. Вы можете нам подтвердить, что авторы смотрели вот с какой точки зрения: «он должен был оказать много пользы правительству того времени и послужил проводником к воздействию правительства на земства и побудил земство поотряхнуть с себя и прибрать к рукам облепивший его со всех сторон третий элемент». Так что это был один из моментов борьбы правительства с беспокойным третьим элементом?

Крыжановский. — Отчасти это было. Совет по делам местного хозяйства зародился в связи с требованиями того времени. Как вы знаете, до 1906 года, до создания совета министров, единства власти в России не было. Насколько я видел собрания министров, объединявшихся в комитеты, советы и совещания, это было не что иное, как собрания враждующих сторон. Это была постоянная борьба, постоянная грызня друг с другом. С разных точек зрения разные люди подходили к желанию сосредоточить в своих руках возможно большую власть и стать, в понятии того времени, первым министром. Подходил к этому и гр. Витте, который объединял

и захватывал в пределы своих владений возможно большее количество учреждений. К ним, я думаю, подходил и Плеве. Во времена Плеве совет по делам местного хозяйства был осколком целой большой системы, ибо я слышал, что предполагалось разделить все местное управление между рядом главных управлений. Начальник главного управления по делам местного хозяйства (как это прошло через государственный совет) имел право непосредственного сношения со всеми министрами и являлся как бы отдельным министром. В то время предполагалось образование целого ряда главных управлений. Я слышал от Лопухина, что вырабатывалось полицейское управление, затем главное управление по крестьянским делам, которое должно было поглотить, помимо компетенции министерства внутренних дел, также и крестьянские дела во всей их совокупности; затем главное управление народного труда, которое должно было поглотить собою министерство торговли и промышленности, впоследствии возникшее. Путем создания этих главных управлений, я думаю, Плеве подходил к положению первого министра. Вот, вероятно, основная мысль, им заложенная. Это был человек, который не сообщал свои мысли, тем более мелким чинам, каким был я. Вторая мысль, которая в нем, вероятно, была заложена, это — справедливо подчеркнутое вами стремление правительства сблизиться с общественными кругами (подразумевая под ними земства) для того, чтобы освободить себя от постоянной войны с третьим элементом. Эта война производилась по департаменту полиции, но главное управление местного хозяйства она не затрагивала. Был слух, что Плеве заключил соглашение с земскими деятелями. Все это протекало вне поля моего внимания, но соглашения были между Шиповым и другими, ибо было установление некоторого взаимного понимания. Все эти попытки Плеве разбились о его нестерпимый характер, о невозможность иметь с ним дело. Но, на ряду с этим, несомненно, в деле учреждения совета по делам местного хозяйства сквозит мысль создания народного представительства. Я помню анекдот из той записки, которая была внесена в государственный совет. Кто-то там процитировал страницу. Эта страница была опротестована, как криминальный документ. Если вы возьмете журнал государственного совета того времени, то вы увидите, что в государственном совете был прямо поставлен вопрос, почему не создать совет по делам местного хозяйства, как учреждение выборное. Кажется, это Шидловский выдвинул в соединенном департаменте. Эта мысль испугала государственный совет, но Плеве никогда не возражал, он сказал, что он согласен, но добавил: «Прошу записать в журнал, что за последствия я не отвечаю». Так что эта мысль была положена в основу учреждения.

*

Председатель. — Разрешите мне напомнить одно место из вашей записки: совет был орудием борьбы с третьим элементом, а «с исполнением этой задачи и последовавшим разрывом между земством и министерством внутренних дел . . . совет захирел и утратил свое значение».

Крыжановский. — Совет по делам местного хозяйства до Столыпина не собирался. Впервые он был собран при Столыпине. Совет сыграл важную роль с точки зрения установления некоторого контакта между правительством того времени и земскими округами. Сближение было весьма сильно при Столыпине. Совет называли преддумьем. Если вы обратитесь к лицам, которые заседали в совете местного хозяйства, то они укажут, что там был найден общий язык с представителями местных учреждений; этот общий язык давал им возможность подойти друг к другу без предрассудков, без рассуждений, и приступить к более или менее спокойному и мирному обсуждению вопросов. В этом отношении он исполнил свои основные задачи при Столыпине, а потом совет захирел и сошел на-нет.

Председатель. — Вы отмечаете обстоятельство, не идущее вразрез с тем местом, которое я прочитал. Вы подтверждаете, что совет опять понадобился?

Крыжановский. — Т.-е., впервые понадобился.

Председатель. — Впервые понадобился в борьбе с третьим элементом: это не зародыш народного представительства, если он действует тогда, когда занадобится для того, чтобы побороть третий элемент.

Крыжановский. — Никакой борьбы с третьим элементом при Столыпине не было, было известное сближение.

Председатель. — Тогда надо было бороться не с третьим элементом, а со всей Россией?

Крыжановский. — Именно, с момента созыва совета и началось сближение с Россией, а не борьба с ней.

Председатель. — Это в каком году было?

Крыжановский. — Совет был созван впервые, я боюсь сказать, точно, не ранее 1907 года, в Мариинском дворце. В 1906 году совет не созывался.

Председатель. — Так что переворот 3-го июня и введение военно-полевых судов вы считаете актом примирения с Россией, а не борьбы с Россией?

Крыжановский. — К полевым судам я никакого касательства не имел, ибо это шло по линии политики министерства внутренних дел, помимо меня. Я могу говорить только об отношении министерства внутренних дел к вопросу о народном представительстве. Что же касается полевых судов, боровшихся с анархией, то я не знаю, откуда они зародились, как они действовали, так как никакого касательства к этой сфере я не имел.

Председатель. — Я позволил себе сослаться на это, чтобы восстановить в вашей памяти исторический момент, когда закон 3-го июня вводился в действие; это было, конечно, не примирение Столыпина со страной, а один из этапов борьбы его со страной.

Крыжановский. — С некоторыми слоями страны, и, вместе с тем, примирение с другими слоями. Со средой земской он с этого момента стал сближаться. Может быть, даже вернее, это было в 1908 году; это легко установить по документам.

Председатель. — А не собирался ли совет еще тогда, когда была поставлена задача «прибрать в правительственные руки земские оценочные дела в том понимании, чтобы вышибить из уездной банды земских оценщиков, в ту пору набиравшихся из числа лиц, уволенных из учебных заведений и всевозможных присосавшихся к этому делу пропагандистов, деятельно проповедывавших мысль насильственного передела»?

Крыжановский. — Это, вероятно, цитата, относящаяся ко времени до Столыпина. Я повторяю, что я к делам полиции никакого отношения не имел, но знаю в общей форме, что те земские оценочные деятели, которые разъезжали по России и которые состояли из элемента довольно мало подготовленного и вносившего большую смуту в умы, очень беспокоили правительство того времени; при Плеве был целый ряд совещаний по вопросу о том, как быть, чтобы немножко избавиться от влияния этих деятелей: сажать их по тюрьмам — это подливало масло в огонь и ссорило с земствами. По проекту, выдвинутому Кутлером, оценочные дела должны были быть сосредоточены в министерстве финансов. Тогда было совещание под председательством Плеве, при участии Витте и Зиновьева, я был в делопроизводстве. Из этого проекта ничего не вышло. Потом было другое совещание, под председательством Зиновьева, на котором рассматривался проект, выработанный Мордвиновым, довольно фантастической личностью; это был странный человек, ныне уже покойный. Это совещание разрабатывало тоже не увидевший света проект Мордвинова об образовании оценочного управления. При Столыпине об этом больше разговоров не было.

Председатель. — Это было несколько раньше?

Крыжановский. — Значительно раньше. Плеве был убит в 1904 году, после него в 1905 году был кн. Мирский. Следовательно, это было годом раньше. При Столыпине совет по делам местного хозяйства все время действовал. Имелись определенные указания, что никакой законопроект не мог быть внесен выше, не пройдя через совет. Он рассматривал вопросы об организации народного представительства, о городовом положении, о введении городового положения в Царстве Польском и массу других вопросов. Он функционировал, как учреждение постоянное.

Председатель. — Почему, создавая эти проекты, вы так боялись крестьянства? Насколько вы боялись, видно из некоторых мест вашей записки; порядок сословных выборов, который, по вашим словам, представлял удобства, был «во-первых, привлекателен в виду общего сочувствия к земству, во-вторых, был прост, в-третьих, исключал возможность проникновения в Думу крикунов из крайней левой и затем устранял опасность наводнения Думы крестьянством».

Крыжановский. — Да, это соображение об опасности наводнения Думы крестьянством было изложено в первоначальной записке, внесенной еще Булыгиным. Она сводилась к фактам. Вы, вероятно, изволили видеть, что в 1-й Думе значительная часть людей была совершенно неграмотна. Вы не будете отрицать, что законодательные учреждения в такой колоссальной империи должны состоять из людей, имеющих известный горизонт, а не из лиц, имеющих свой личный, маленький интерес. Всякий человек, призванный заседать в Государственной Думе и государственном совете, должен сознательно относиться к делам, которые проходят; если лицо неграмотно, без образования, если лицо в своих понятиях не выходило никогда из интересов своей улицы, то оно в решении дел государственных едва ли может принести пользу. Нигде в мире, ни в одном из парламентов, за исключением, может быть, Норвегии, вы не найдете бо́льшего количества мелких землевладельцев, в качестве решителей задач громадной страны, которые не могут прочитать даже дел, предлагаемых их вниманию. Законодательные учреждения на первых ступенях развития должны быть созданы из лиц, по должности своей привыкших к решению этих задач, умеющих в них разбираться, которые могут справиться с делом. В этом отношении, я полагаю, что переполнение крестьянами государственных учреждений едва ли может быть для учреждений выгодно.

Председатель. — Вы все время в своей записке вращаетесь в сфере государственных идей. На мой вопрос вы изволили ответить старым утверждением правительства, что крестьянство не подготовлено к народному представительству. Оставаясь в пределах этих государственных идей, позвольте спросить, что же делало государство для того, чтобы подготовить крестьянскую массу к той роли, к которой, по официальному мнению круга лиц, вместе с вами творивших эти законы, она была не подготовлена?

Крыжановский. — Подготовка широких народных масс к уразумению широких государственных задач — дело столетий. Что правительство делало для достижения этой цели в других областях, мне не известно. Сюда должно входить просвещение и укрепление гражданственности во всех видах. Укрепление гражданственности правительство Столыпина видело в преобразовании, которым оно пыталось всячески поставить крестьян в поло-

жение мелких собственников, более серьезно относящихся к своему положению, приучаемых к известной дальновидности, к постоянному непрерывному труду; Столыпин полагал, что, организуя страну в началах распределения земли между мелкими собственниками, он подготовит крестьянство к более прочному проникновению в него просвещения.

Председатель. — А не полагаете ли вы, что стремление к мелкому землевладению было стремлением к созданию консервативного элемента, политически наиболее темного?

Крыжановский. — Отчего же темного? Возьмите Швецию и Норвегию, там вы найдете крестьянство, стоящее выше.

Председатель. — Когда я говорю «политически консервативное крестьянство», то я имею в виду консерватизм в том смысле, что к решениям бесправным мелкий собственник должен относиться отрицательно, как и всякий другой гражданин; а вы берете консервативное крестьянство тех стран, где законность, порядок и развитие существуют.

Крыжановский. — Я думаю, что тут нет противоречия, потому что только созданное на прочных началах мелкое землевладение может воспитать людей на началах правды и порядка. Если вы жили в Лифляндии, Эстляндии, Западном крае, которые не знали общинного владения, то вы там найдете чувства справедливости, законности и уважения к закону, власти и порядку. Вы найдете их гораздо меньше в той части, которая привержена общинному землевладению. Если вы возьмете картину земельных волнений, то увидите, что их меньше всего было в тех местах, где было частное мелкое землевладение, потому что там население развитее, сознательнее; а, чем дальше вы двигаетесь на восток, тем население грубее и темнее. Мелкое землевладение никогда не являтся синонимом темноты, потому что всякий мелкий собственник основывается на своем правовом положении.

Председатель. — Позвольте понять вас так, что вы не считаете себя ответственным за политику; и развивали крестьянскую массу, которую не желали допустить в Думу, или не развивали, к этому вы касательства не имели?

Крыжановский. — Я считаю, что в план Столыпина, несомненно, входило поднятие экономического положения и умственного развития крестьянских масс. Это была основа политики . . .

Председатель. — Когда вы составляли проект булыгинской Думы, то одновременно считали необходимым создать и объединенное правительство?

Крыжановский. — До составления этого проекта я составил записку о необходимости преобразования совета министров, которую передал Булыгину, но она не имела никакого движения.

Председатель. — Но ею воспользовался впоследствии Витте?

Крыжановский. — Я не буду настолько самонадеян, чтобы сказать, что он воспользовался, ибо, очевидно, эта мысль могла притти в голову совершенно самостоятельно; но ясно, что, создав представительное учреждение, нельзя явиться перед ним табором враждебной между собою власти, каковым было правительство того времени, которое объявляло тысячи противоречивых высочайших повелений и делало подкопы один под другого. Раз создано законодательное учреждение, раз созвано представительство, то и правительство должно выступить в качестве единого целого. Эта мысль не была осуществлена, потому что, вообще, отношение было довольно инертное.

Председатель. — Вы неоднократно возвращались к мысли о том, что наполнить Думу крестьянами — это худшее, что могло быть сделано для начала?

Крыжановский. — Да.

Председатель. — Но разве вы не останавливали вашего внимания на том, что в тех общественных учреждениях, куда были допущены крестьяне, они великолепно исполняли свою роль крестьянского представительства?

Крыжановский. — Например, какие?

Председатель. — Работы крестьян всюду в земстве.

Крыжановский. — Работа крестьян в земствах, в тех губерниях, где мне приходилось видеть, была пассивная. Они играли роль совершенно пассивную, за исключением отдельных личностей, выходящих из крестьянской среды, которые оказывали влияние. Что же касается учреждений, на которые ссылаются защитники этого начала, в области восточных земств, например, вятского и вологодского, то для правильного понимания роли этих земств нужно иметь в виду, что там почти все земли — казенные, на которых недоимок нет. Что же касается Государственной Думы, то я, грешный человек, держался того мнения, что люди неграмотные, не имеющие умственного развития, будучи в Думе, в лучшем случае будут бесполезны.

Председатель. — И дни первой Думы подтвердили это ваше убеждение?

Крыжановский. — Я думаю, да. Две трети, по моим понятиям, было совершенно бессознательных.

Председатель. — Что же, ведь эти люди, которых вы считали бессознательными, поддерживали идеи, которые на знамени своем написали люди, с которыми вы, быть может, не согласитесь, но которых бессознательными вы не назовете?

Крыжановский. — Это бесспорно; но, кого они поддерживали, сказать невозможно. Я думаю, они сами не знают. Первая Дума дала чрезвычайно малые результаты.

Председатель. — Т.-е., потому, что ее распустили?

Крыжановский. — Отчасти и потому, что обе стороны не были подготовлены. Правительство кругом виновато. Созвав Думу, оно решительно ничего не внесло.

Председатель. — Но почему вы говорите за правительство, а не говорите за Думу?

Крыжановский. — Вы не дали мне докончить. Правительство пришло к первой встрече совершенно неподготовленным; но в той же мере была неподготовлена и масса думцев. Была кадетская партия, у которой была программа. Эта партия, первая в Думе, сплотилась. Но если бы первая Дума просидела не два месяца, а значительно больше, она раскололась бы, и, кто знает, на какое количество идей она бы разделилась.

Председатель. — Так что, говоря, что первая Дума была неподготовлена, вы основываетесь на том, что она в будущем могла оказаться неподготовленной?

Крыжановский. — Во всяком случае, согласитесь, что она производила такое впечатление, что там много людей совершенно безграмотных и что ее нельзя было считать подготовленною к делу.

Председатель. — Это было предположение, которое должно было подтвердиться на опыте, а какой опыт первой Думы?

Крыжановский. — Опыта не было. Был опыт известный с обеих сторон: столкновения и невозможность найти общий язык, проистекавшие, в значительной степени, от того, что правительство ничего не внесло в Думу. Раз правительство ничего в Думу не внесло, то никакой производительной работы не могло быть.

Председатель. — Вероятно, с теми лозунгами, которые выдвигала первая Дума, вы не согласитесь, но, по крайней мере, нельзя отказать ей в следующем: ведь та масса, которую вы считаете бессознательной, присоединилась к кадетам, т.-е. к элементам весьма просвещенным, и пошла под их знаменами; какой можно сделать вывод из этого факта?

Крыжановский. — Да просто кадеты обещали народу то, чего он желал — землю; а при этом условии, он готов подписаться под чем угодно, не входя в детали. Сказать, что они шли сознательно или несознательно, я не знаю...

Председатель. — Критерием бессознательности вы считаете то, что народу нужна земля, и он стремится к этой земле. Почему в том, что они примкнули к лозунгу «земля», вы видите доказательство бессознательности? Казалось бы, можно думать наоборот.

Крыжановский. — Вы неправильно излагаете мои слова. Я говорю, что к этому лозунгу они безусловно примкнули, примкнули к тому, что с этим лозунгом соединялось. Но никакого критического отношения не могло быть, по той простой причине, что масса не могла прочесть того, что перед ней лежит. Как вы можете сказать, что я сознательно отнесся к делу, если я не могу

прочесть его? Я могу присоединиться, но это будет несознательное отношение.

Председатель. — Вы не отрицаете того, что интерес крестьян — «земля», не правда ли? Появляется политическая группа, или Дума, которая выдвигает лозунг «земля».

Крыжановский. — Я думаю, это интерес всех.

Председатель. — Является представительство того слоя, в интересах которого — «земля», и оно присоединяется к этому лозунгу. Как не предубежденный политически государственный работник делает отсюда вывод о бессознательности примыкающих?

Крыжановский. — Это присоединение, конечно, совершенно сознательное; но сознательно или бессознательно все остальное, что вы с лозунгом связываете, было принято, я не знаю.

Председатель. — Вы знаете, что это бессознательно?

Крыжановский. — Нет, я не знаю.

Председатель. — По крайней мере, вы утверждали, что опыт первой Думы показал бессознательность и недостаточную подготовку крестьянства.

Крыжановский. — По крайней мере, впечатление, произведенное первою Думою, не было впечатлением от политического собрания. Достаточно сослаться на мнение иностранцев, видевших эту Думу.

Председатель. — Простите, нам нечего ссылаться на иностранцев, которые знают Россию меньше, чем мы. Мы должны больше знать Россию. И если для нас, знающих Россию, подтверждением бессознательности и неподготовленности крестьян является недолговременная жизнь первой Думы, то я ставлю вопрос: нет ли тут ошибки?

Крыжановский. — Я не разделял той точки зрения разрешения земельного вопроса, которая была выдвинута тогда. Я лично считаю, что земля есть достояние всех, что интерес каждого члена государства — земля. Земля есть общая собственность для нас всех. Я — не защитник частного землевладения. Я считаю, что общий интерес для нас заключается в том, что земля должна хорошо обрабатываться. Поэтому я полагаю, что, по условиям данного момента, землевладение этой идее должно соответствовать. Землю должен иметь не только всякий, кто желает ее ковырять, но тот, кто сумеет наилучшим способом обработать ее. Если это сумеет сделать община — дайте общине, если мелкое землевладение — дайте мелкому землевладению, если среднее — дайте среднему. У меня земли никогда не было. Мой интерес в этом деле только тот, чтобы продукт земли поступал с мест возможно обильнее и возможно дешевле. Вот разрешение земельного вопроса, которое правильно.

Председатель. — Мы отклонились несколько в сторону. Скажите, что заставило вас, жившего русской действительностью

того времени, при составлении этих проектов, смотреть на события октября 1905 года, как на оперетку? Вы пишете здесь: «началась забастовка на железных дорогах и пр.... Все это было одной лишь опереткой, поражавшей воображение своей новизной»... Дальше вы говорите о том, что... «трусливый, совершенно не знавший Россию человек», стоявший тогда во главе правительства, гр. Витте, «эту оперетку принял за серьезное явление и издал манифест 17 октября».

Крыжановский. — Это будет история издания манифеста 17 октября. Я видел только полную растерянность правительства гр. Витте перед тем явлением, с которым борется правительство нынешнего времени, перед общественной анархией и разрухой, которые охватили Петроград, если вы изволили видеть, гораздо больше, чем теперь; мы видели полный паралич власти, которая не обеспечивала гражданину ни права, ни свободы, ничего. Мы жили во тьме, бродили без пищи. Были в положении чрезвычайно новом, но совершенно нестерпимом. Я не знаю действительного внутреннего содержания гр. Витте, не знаю, к чему он стремился, я был слишком далек; но он склонен был всегда к эффектным шагам и был страшно изумлен, когда из его действий, направленных к успокоению, не вышло должных результатов. Вот какая мысль выражена в моей записке.

Председатель. — Вы говорите здесь об испуге гр. Витте, об испуге великого князя Николая Николаевича, который боялся покушения на его жизнь.

Крыжановский. — Слухи такие ходили.

Председатель. — Эти слухи испугали государя, и результатом всеобщего испуга было, по вашему мнению, издание манифеста 17 октября?

Крыжановский. — Это объясняется малой связностью действий правительства, которое кидалось из одной крайности в другую.

Председатель. — Кого вы называете на следующей странице ваших записок дорогим покойником, на выносе которого повеяло странною, малопонятною грустью?

Крыжановский. — Быть может, вы прочтете мне, так я не помню.

Председатель. — Вы описываете впечатления: «От Витте я поехал к Булыгину и на Царицыном лугу встретил первых демонстрантов, кричавших что-то про Белого царя. Было два часа ночи. Булыгин ничего не знал официально о последовавших переменах и лишь, по моем прибытии, ему принесли из редакции «Правительственного Вестника» черновой оттиск доставленного туда для обнародования манифеста 17 октября. Булыгин спокойно негодовал. Открывалась новая глава русской истории и какой-то странной и малопонятной повеяло грустью. Словно дорогого покой-

ника выносили. Веяло космополитизмом и, казалось, уходила вглубь веков святая Русь».

Крыжановский. — Видите, по убеждениям, я всегда был националистом. Я принадлежу к племени, которое создало Россию, и я дорожу своею принадлежностью к этому племени России. В то время вокруг Витте были всевозможные веяния, к национальности русской не имевшие отношения. Общее впечатление получалось смутное: что-то будет и каким дальнейшим путем пойдет Россия; будет ли развитие национальное или развитие какое-нибудь другое, в какие руки перейдет дальнейшее устроение государственной жизни? Создавалась неопределенность, создавалось то впечатление, о котором вы изволили прочесть, малопонятное.

Председатель. — Повидимому, надо понимать, что вы и учреждение Государственной Думы считали явлением космополитическим, чуждым глуби веков?

Крыжановский. — Нет, нет. Учреждение Государственной Думы предшествовало этому моменту, этого чувства не могло быть. Когда я говорил о космополитизме, я имел в виду то отклонение от нормальной жизни и нормальных корней, которое выразилось в призыве к власти других национальностей. Это чувство, как вы изволили сказать, было малопонятное. Мало ли какое смутное ощущение бывает у людей, пишущих записки под впечатлением! Дума же создана была раньше, не об этом могла быть речь. Будущего тогда никто не знал.

Председатель. — Вы приписываете введение избирательного закона 11 декабря 1905 года, закона, близкого к всеобщей подаче голосов, влиянию либеральных московских бар: Трубецкого, Гучкова, Шипова и Муромцева, склонных щегольнуть крайними взглядами там, где они не задевают их собственной шкуры. Вам не представляется, что причины издания этого закона лежали несколько глубже, в тех событиях, которые переживала тогда Россия и которые уже в декабре, как будто, совсем потеряли опереточный характер?

Крыжановский. — Я видел то безответственное влияние, которое производилось на гр. Витте людьми, не ответственными за действия правительства, подававшими разнообразные советы с феерической быстротой, заставлявшими бросаться внезапно из одной крайности в другую. В это время гр. Витте приступил к изменению избирательного закона. Он вызвал меня вечером 17-го и выразил желание, чтобы закон был расширен. Он сказал, что это более, чем нужно. Затем приходили разные лица, которые предлагали все новое, новое, новое, новое. Совершенно сбили гр. Витте с толку. Он не знал, куда кидаться. В продолжение получасового разговора каких только ни выдвигалось предположений, начиная от некоторого расширения цензового вплоть до безграничного! Тогда бог знает какие, чисто юмористические, системы предлагались; пред-

полагалось по профессиям, предполагалось, что цензом является занятие отца. Кажется, это кн. Оболенский выдвигал. Целый хаос выдвигался самых разнообразных предложений; притом, выдвигался лицами совершенно безответственными, которые затем никогда гр. Витте не поддержали. Я вам должен сказать, что такие противоречивые советы не могли не вызвать с моей стороны несколько удивленного отношения; в начале заседания предлагают ограничения ценза, через полчаса набавляют и совершенно распыляются в неясных представлениях.

Председатель. — Скажите, что вам известно об истории вмешательства правительства в выборы?

Крыжановский. — Сколько я помню, впервые этот вопрос возник при Дурново, когда шли первые выборы. Была какая-то переписка у него с гр. Витте.

Председатель. — Позвольте попросить вас установить следующее: вы, может быть, изволите помнить, что по началу, провозглашенному Булыгиным, правительство в выборы не вмешивалось?

Крыжановский. — Да.

Председатель. — Т.-е. был какой-то период нашей государственной жизни, когда, по инициативе Булыгина, правительство принципиально решило не форсировать выборов?

Крыжановский. — Да, при Булыгине такое положение вещей было. Булыгин решительно устранился от всякого вмешательства. Кажется, был циркуляр губернаторам по этому поводу. За давностью времени не запомню. Затем эти выборы были приостановлены, потому что началось изменение избирательного закона. Новый избирательный закон 11 декабря чрезвычайно далеко отошел от первоначального предположения. Тогда самого Булыгина не было. Калифом на час был Дурново. Это был апрель — март 1906 года. Тогда между Дурново и Витте был разговор, который, очень может быть, и выразился в форме какой-то переписки (что-то такое, мне помнится, было) о том, что правительство должно искать сторонников на местах, попытаться повлиять на народ в свою пользу. Но из этой переписки ничего не вышло.

Родичев. — В это время был издан закон для охраны свободы выборов?

Крыжановский. — Так точно.

Родичев. — Закон этот вызван был намерением противодействовать предполагавшемуся тогда бойкоту выборов?

Крыжановский. — Так точно. В то время было одно существенное опасение. Графу Витте кто-то наговорил, что ни один избиратель не явится на выборы. Будет произведено давление, чтобы не допускать на выборы. Тогда был издан закон, налагавший известную кару за удержание и за недопущение к выборам.

Родичев. — Вам не приходилось слышать от Витте или от других лиц о предъявленных к нему и к министерству внутренних дел требованиях о вмешательстве в выборы?

Крыжановский. — Впервые графа Витте я видел и впервые разговаривал с ним 17 октября. Засим, один раз я был на заседании у него, с лицами, которые предлагали свои мысли для проекта. Засим, однажды, он возил меня к государю для изложения своих предположений. Таким образом, я лично более трех раз с ним не разговаривал. Об этом я не знаю и не слышал.

Родичев. — А от П. Н. Дурново не слышали?

Крыжановский. — И от П. Н. Дурново не слышал. Я помню, что какая-то переписка была у П. Н. или предполагалась, или разговор с Витте был о том, что правительство, при изменившейся системе выборов, может и должно выступить с определенной программой, должно стараться снискать известное благоволение у избирателей и считаться с ними. Это было, но с гр. Витте разговора не помню.

Родичев. — Это была переписка?

Крыжановский. — Вероятно, частная; или это был разговор.

Родичев. — Значит, вы ее видели у министра внутренних дел Дурново?

Крыжановский. — Я говорю, что у меня какое-то смутное воспоминание осталось. Знаете, за мою жизнь прошло через мои руки столько всяких бумаг, что я не могу сказать, что видел и чего не видел. Не запомню этого факта, но смутное впечатление есть какое-то.

Председатель. — У вас есть смутное впечатление о разговоре, в связи с вмешательством в выборы, и о переписке по этому поводу. Но нет ли у вас совершенно определенного представления не только о разговоре и переписке, но и о действиях, связанных с влиянием на выборы даже в первую Государственную Думу?

Крыжановский. — При выборах в первую Государственную Думу действий решительно не было. К некоторым губернаторам обращались с указанием на необходимость, так сказать, поговорить с местными обывателями, привлечь их на сторону правительства, повлиять на выборы в смысле программы партийной. Но это были совершенно ничтожные меры. Кто-то посылался тогда для разговора с некоторыми губернаторами. Но это были, так сказать, скорее намерения, нежели действия.

Председатель. — Позвольте мне о действиях процитировать: «Растущая агитация радикальных партий, московский бунт и последовавшие беспорядки побудили Дурново поднять вопрос о вмешательстве. Переписка по этому поводу с графом, однако, кончилась ничем. Граф высказался за вмешательство, но находил, и справедливо, что было поздно и ничего сделать нельзя».

Крыжановский — Тогда я помнил, когда писал.

Председатель. — «Тогда Дурново, к тому времени значительно окрепший, решил действовать на свой страх и послать доверенных лиц внушить губернаторам необходимость прибрать выборы к рукам».

Крыжановский. — Это его выражение, вероятно, это и был П. Н.

Председатель. — «Для этого избраны были: Лопухин, А. А., в то время находившийся не у дел, кн. Шаховской, погибший впоследствии при взрыве дачи Столыпина, и Половцев, впоследствии член Государственной Думы. Лица эти снабжены были за подписью Дурново глухими письмами на имя губернатора с предписанием в точности исполнить то, что будет им передано».

Крыжановский. — Да, это было, но они объехали немногие губернии, приволжские.

Председатель. — «Посланные должны были преимущественно объехать приволжские губернии, по три губернии на каждого. Помню, что Лопухин просил дать ему Саратовскую губернию, ссылаясь на то, что Саратовский губернатор Столыпин — его приятель. Поездка не имела последствий. Было уже поздно, да и никто не знал, как взяться за дело, по неизвестности, на кого опереться».

Крыжановский. — Тут, очевидно, отзыв вернувшихся. Одним словом, фактического влияния никакого не было. Был разговор какой-то. О чем они говорили, я не знаю. Очевидно, общее впечатление от беседы.

Председатель. — По этому поводу вы замечаете дальше, что по вопросу о том, на кого опереться, «к концу выборов, когда неблагоприятный (для кого?) и во всяком случае неделовой состав первой Думы выяснился, и всем стала очевидна нелепость мысли опереться на крестьян, Дурново получил от Ерогина предложение сплотить в Думе надежную силу из крестьян, поставив во главе лиц, могущих оградить их от политических влияний», т.-е., членов Думы, учреждения политического, хотели оградить от политического влияния?

Крыжановский. — Правительство боялось, что крестьяне, приехавши в Петроград, будут захвачены политическими партиями.

Председатель. — Неужели опыт вашей жизни действительно укрепляет вас в мысли, что крестьяне совершенно не могут . . .

Крыжановский. — Насколько я знаю северных или западных крестьян. Я центральных крестьян совершенно не знаю. Я знаю крестьян новгородских, знаю холмских.

Председатель. — Ну, а ярославцев, костромичей?

Крыжановский. — Я сам уроженец Киева. Вырос в Западном крае . . .

Председатель. — Этому вашему взгляду соответствуют следующие места записки: «Депутаты из мужиков и писарей в гряз-

ных косоворотках и длинных сапогах, немытые и нечесаные, быстро расхамевшие, все эти Аникины, Аладьины, были ужасны».

Крыжановский. — Да, впечатление было тяжелое.

Председатель. — Дальше у вас имеется такое место: «Члены из мужиков продавали желающим попасть в Думу свои входные билеты. Один из таких членов был схвачен на Шпалерной полицией».

Крыжановский. — Я основывался на том, что передавал мне Столыпин из данных, которые у него были от полиции.

Председатель. — «Был схвачен член из мужиков», т.-е., член Государственной Думы?

Крыжановский. — Да, продававший свой билет на улице. Одним словом, отношение крестьянства к своим обязанностям было весьма мало сознательное. Вы знаете анекдоты, которые были о члене Государственной Думы, торговавшем на Сенной, члене Думы, поступившем в дворники?

Председатель. — Не анекдот ли это, как и то, что член Думы был схвачен на Шпалерной в то время, когда он продавал билет?

Крыжановский. — Я думаю, что это не анекдот. Мне это передавал Столыпин.

Председатель. — Вы указываете на ошибки Витте, который «не озаботился, не приготовил программы, не заготовил законопроектов, хотя бы в качестве законодательной жвачки».

Крыжановский. — Это было его любимое выражение.

Председатель. — Нет, «так любил говорить впоследствии Столыпин».

Крыжановский. — Не было дано программы, которая могла бы ввести это учреждение в русло работы. Правительство того времени — гр. Витте — проявило в этом отношении удивительную политическую наивность. Никогда даже разговора не было о том, что будет предложено Государственной Думе по ее созыве.

Председатель. — В виду этого, повидимому, как вы пишете дальше, Витте был заменен Горемыкиным, который . . .

Крыжановский. — Тоже ничего не внес.

Председатель. — Но который сделал нечто большее — распустил Государственную Думу; дальше вы описываете, как ночью был составлен манифест, который писался Столыпиным в присутствии Щегловитова и вашем.

Крыжановский. — Так точно.

Председатель. — Затем он был подписан государем, и, если бы Горемыкин не употребил хитрости (он лег спать и не велел себя будить, что бы ни случилось), то манифест, может быть, и не был бы опубликован, по крайней мере, в тот момент; ибо, когда Горемыкин спал, была записка от государя.

Крыжановский. — За это я ручаться не могу, но об этом рассказывали.

Председатель. — Государь просил его повременить с опубликованием.

Крыжановский. — Анекдот такой ходил.

Председатель. — «А затем последовал выборгский фарс».

Крыжановский. — Да, я относился отрицательно к этому факту. Отъезд на чужую территорию мне представлялся действием неправильным.

Председатель. — Затем началось законодательствование по 87-й статье, при чем вы считаете правильным, чтобы и вторая Дума была созвана по старому избирательному закону, ибо находите, что следовало подготовить умы к изменению закона. Позвольте мне поставить вам вопрос: когда, по вашим сведениям, явилась мысль о необходимости изменить избирательный закон без Думы и без государственного совета, посредством государственного переворота?

Крыжановский. — Относительно последней части было принято решение позднее, а мысль о необходимости изменить закон обсуждалась вскоре после роспуска первой Думы, и обсуждалась в чисто академической форме. Тогда было большое давление на правительство со стороны дворянских и других кругов, указывавших на технические недостатки закона. Например, крестьянство получило двойное влияние: и в качестве представителей землевладения надельного, и в качестве представителей землевладения частного; таким образом, оно затопило все остальные элементы, которые поднимали большие жалобы. Так что этот вопрос о необходимости изменения закона возникал еще в 1906 году. Что касается формы его изменения, я помню, что был разговор о необходимости провести его через Думу. Это, вероятно, было перед созывом второй Думы. Вопрос о необходимости провести этот закон помимо Думы решился накануне роспуска второй Думы.

Председатель. — Разве предполагалось, что Дума может заняться самоубийством и принять законопроект, отрубающий сук, на котором она сидит?

Крыжановский. — Я в состав совета министров не входил и говорю только о впечатлениях, которые до меня доходили; речь о внесении в Думу была, в смысле ли сокращения, в смысле ли выправления недостатков, т.-е. устранения двойного представительства. Тогда было двойное, тройное и пятерное представительство. Например, владея имуществом в пяти местах, вы являлись избирателем в пяти местах. Это право было тоже упразднено законом 3 июня. Не знаю, шла ли речь о технических недостатках, но разговоры были о возможности проведения через Думу.

Председатель. — Будьте добры очертить ваше участие в подготовительных действиях к избирательной кампании во вторую Государственную Думу. Вы уже тогда были товарищем министра и на

вашей обязанности лежало, между прочим, заведывание предвыборной кампанией.

Крыжановский. — То-есть делопроизводством по выборам. Предвыборной кампании в европейском смысле не было, если исключить речь, произнесенную министром внутренних дел, и программу правительственной деятельности, которая развивалась. Здесь же по отношению к выборам во вторую Думу правительству ставились в вину те сенатские разъяснения, которые клонились отчасти, к устранению прав двойственно представленного крестьянства, отчасти к другим ограничениям. Я не помню, отмечено это в моей записке или нет. Я помню, что было давление на Столыпина со стороны некоторых дворянских кругов, были записки, подававшиеся ему. Боюсь только теперь согрешить за давним временем, но, кажется, какую-то роль играл граф Уваров, бывший член первой или второй Думы, который подавал Столыпину записки, где перечислены ограничения, которые можно было внести путем того или иного толкования закона. В этом выражалась вся правительственная кампания.

Председатель. — Было давление на Столыпина, а не было ли давления Столыпина на сенат?

Крыжановский. — Нет; может быть, Столыпин имел разговор с Щегловитовым, но мне это неизвестно.

Председатель. — Позвольте, в некотором несогласии с вашим утверждением, прочитать одно место вашей записки: «Были лишь проведены через сенат кое-какие толкования закона, несколько суживающие крайности. Справедливость, впрочем, требует отметить, что толкования эти, если и представлялись иногда нажимом, но внутренний смысл закона с буквой его не расходились». Это одна сторона деятельности министерства, и это, вероятно, было уже делом Столыпина; вы же работали, повидимому, в другой области. Во время этих подготовительных действий вам приходилось вести переговоры с губернаторами и местными деятелями?

Крыжановский. — Да, меня масса лиц осаждала. Все эти толкования вызвали целую литературу, и впоследствии эти сведения были изданы особой книгой.

Председатель. — Это — формальная сторона деятельности, которая выражалась в том, что Столыпин, может быть при вашем участии, «проводил через сенат кое-какие толкования закона, несколько суживающие крайности»; но была другая сторона подготовительных действий, связанных с разговорами с губернаторами; хотелось бы знать существо этих действий.

Крыжановский. — Губернаторам было вменено в обязанность сближение с обществом. Столыпиным было признано необходимым провозгласить принцип объединения; губернаторам министром внутренних дел указывалось на необходимость отойти от прежней помпы, отчужденности, разрозненности, ссор, по возможности

никого не раздражать, сближаться с кругами, которые имели влияние, и располагать их в пользу правительства. Такие указания губернаторам неоднократно давались, и губернаторы изменили свое отношение к земствам и к слоям общества, имевшим влияние. По этому поводу было разговоров много.

Председатель. — Мне бы хотелось знать, какую роль в этих подготовительных действиях играли деньги?

Крыжановский. — На выборы деньги не давались. Денежная поддержка выражалась в поддержке издания всевозможных газет.

Председатель. — Т.-е. в рептильном фонде?

Крыжановский. — Поддержка газет и изданий, но на выборы — нет. По крайней мере мне не было известно таких случаев. Я знаю, со слов Столыпина, что и государь к этому относился отрицательно.

Председатель. — Когда были выборы во вторую Думу?

Крыжановский. — 3-го июня последовал закон, значит, они были, вероятно, в октябре; одним словом, зимой.

Председатель. — Вы изволили сказать, что деньги не играли никакой роли. Скажите, что такое особый секретный фонд?

Крыжановский. — Это который именно?

Председатель. — Тот, начало которому положено в октябре 1906 года и к которому вы имели весьма близкое отношение.

Крыжановский. — Да, имел отношение. Это — исключительно на поддержку изданий. Отчасти из этих средств выдавалось губернаторам на их представительство и на поддержание губернских ведомостей.

Председатель. — Когда было положено начало этому особому фонду?

Крыжановский. — Не могу вам по памяти сказать.

Председатель. — Это — октябрь 1906 года?

Крыжановский. — По документам это видно, а без документов — трудно припомнить.

Председатель. — Что же этот фонд на печать был в распоряжении главного управления по делам печати?

Крыжановский. — Я вижу, что вы не в курсе.

Председатель. — Поэтому я и спрашиваю.

Крыжановский. — Я нарисую картину расходования кредитов на надобности министерства внутренних дел. Были кредиты на известные его величеству расходы, на расходы, не подлежащие оглашению. Было два разряда: кредиты сметные, бюджетные, которые вносились в роспись и имели свои определенные титулы, и кредиты сверхсметные, их было много, и они распределялись по разнообразным учреждениям. Я могу перечислить только те, которые мне известны. Во-первых, по канцелярии министерства внутренних дел было два кредита сметных и один кредит 50.000 назывался шефской суммой, которую министр внутренних дел полу-

*

чал, как шеф жандармов, и которая расходовалась на его личные надобности — содержание личной охраны, вероятно, лошади, затем, вероятно, приемы.

Председатель. — Это 54.000?

Крыжановский. — Что-то вроде этого. Другие кредиты, в том же размере, — на выдачу бывшим чиновникам, впавшим в затруднительное положение, их женам, детям и т. д. Затем кредиты по делам печати, сметные же, которые предназначались на поддержку разного рода изданий, каких именно, я не могу перечислить, так как это учреждение в моем ведении не было. Затем были кредиты по главному управлению почт и телеграфов, которые вы, вероятно, знаете. Затем громадные кредиты по департаменту полиции.

Председатель. — По главному управлению почт и телеграфов в каком размере?

Крыжановский. — 101.000.

Председатель. — На перлюстрацию?

Крыжановский. — Да. Они именовались кредитами на иностранную цензуру. Потом, были кредиты по главному врачебному управлению. Это — на содержание так называемых санитарных, а в сущности военных отрядов на границе Персии и Афганистана. Одним словом, это была некоторая линия наблюдения за состоянием Персии и некоторая связь с Афганистаном. Они шли по главному врачебному управлению, под видом санитарных кредитов. Затем, кредиты по департаменту полиции, кажется, миллиона три. Кроме того, были сверхсметные кредиты.

Председатель. — А это все сметные кредиты?

Крыжановский. — Это все сметные кредиты, которые, вероятно, и теперь существуют, проходившие в законодательном порядке. Затем, к ним в дополнение, или отдельно от них, были кредиты сверхсметные, очевидно, из 10-миллионного фонда. Среди этих были кредиты на печать трех разрядов; об одних я знал, о существовании других—только догадывался. Одни кредиты, это— особый фонд, находившийся в непосредственном распоряжении министра внутренних дел; впоследствии он был присоединен к фондам главного управления по делам печати, а в мое время находился в распоряжении Столыпина; другие кредиты — на разного рода издания главного управления по делам печати; третьи — поддержка печатных изданий, издание газеты «Россия»; до 1909 года я не подозревал, что она издается на казенный счет, и думал, что это лишь дружественное издание.

Председатель. — Как велики фонды этих трех групп?

Крыжановский. — По делам печати — не знаю; вероятно, вы найдете это по справкам, которые поступали непосредственно по делам печати. Кредит на издание газеты «Россия», кажется, был в 200 или 300 тысяч. Выдача на поддержку периодических

изданий в мое время была крайне ограниченная, и вся поддержка падала на суммы, которые расходовались по непосредственному указанию министра внутренних дел. Причина такого разделения, я думаю, была в том, что министр внутренних дел не хотел, чтобы все всё знали.

Иванов. — Вы изволили указать на порядок ассигнования сметный и из 10-миллионного фонда. Интересно было бы знать, почему суммы, отпускаемые из 10-миллионного фонда, зачислялись по департаменту общих дел, затем перечислялись по департаменту полиции и затем из департамента полиции они уже попадали дальше, между прочим, по вашему распоряжению? В качестве товарища министра внутренних дел вы их получали?

Крыжановский. — Они передавались на хранение казначею департамента; в состав департаментских сумм их не включали. Причина заключалась в том, что казначей департамента полиции обладал единственным обеспеченным от огня и похитителей сундуком, другого надежного хранилища не было. Департамент полиции, может быть, об этих суммах и не знал, они хранились лично у казначея, и там велась вся отчетность по их расходованию. Все же документы, относившиеся к ним, были у министра внутренних дел и ему сдавались.

Иванов. — Вы изволили говорить, что из этих денег производились расходы, главным образом, на рептильные цели; а союзу русского народа из каких сумм выдавалось?

Крыжановский. — В мое время ничего не выдавалось.

Иванов. — Не помните ли такого обстоятельства: союз русского народа обратился к Столыпину с просьбой об ассигновании 30.000 на устройство типографии перед выборами 1906 года. Эта типография была образована, главным образом (по крайней мере, так объяснял член совета, который обращался к Столыпину), для печатания воззваний и предвыборной литературы. Затем к вам обратились с просьбой об отпуске, вы указали, что Столыпин отнесся сочувственно, и через Пуришкевича эти деньги были даны?

Крыжановский. — Ко мне союз русского народа никогда не обращался. Я помню, что, в начале своей деятельности, Столыпин выдал Дубровину деньги, не особенно большие; вероятно, они относились к обстоятельству, о котором вы изволите говорить.

Иванов. — Не был ли у вас гражданский инженер Тришатный?

Крыжановский. — Это сумасшедший? Какой-то Тришатный, не помню, был ли он у меня или письмо прислал.

Иванов. — Он был у вас. Столыпин к вам его направил.

Председатель. — Вы ему дали деньги?

Крыжановский. — Я могу указать на отношение Столыпина к правым организациям. Дело заключалось в том, что, по случайному стечению обстоятельств, доктор Дубровин находился у Столыпина в приемной в тот день, когда была брошена бомба,

разрушившая его дачу, и подал помощь его детям. После этого он бывал у Столыпина несколько раз и обращался к нему за денежной помощью, не знаю — на типографию ли, но на какие-то издания. Он получил, может быть, ту сумму, которую вы изволили назвать; но чтобы Тришатный получал деньги, я не помню. Когда Столыпин ближе познакомился с союзом русского народа, он порвал с ним сношения. Если вы развернете газету «Русское Знамя», то вы найдете много ругани против Столыпина и против меня; они меня недолюбливали. Отношения Столыпина с этими господами ограничились, самое большое, двумя месяцами.

Председатель. — Эти деньги, которые выдавались по вашим письмам казначею департамента полиции, предназначались для склонения печати на сторону правительства?

Крыжановский. — Там были разные расходы, производившиеся по непосредственному указанию Столыпина. Деньги эти выписывались, Столыпин передавал курьеру, который эти деньги разносил, приносил квитанции, мы со Столыпиным эти квитанции проверяли.

Председатель. — Был список лиц и учреждений, издававших эти органы и получавших деньги?

Крыжановский. — Я могу назвать все эти расходы; к сожалению, у меня нет заметок. У меня были точные заметки, по которым можно было всю картину восстановить, но у меня это все разграблено 1-го марта. Моя квартира подвергалась три раза разгрому. 1-го марта солдаты и штатские люди разграбили шкаф и все похитили; я думаю, там были эти заметки.

Председатель. — Вы предполагаете это или утверждаете?

Крыжановский. — Их у меня нет. Вместе с моими деньгами все похищено. Впоследствии, 3-го марта, из моего стола вынули заметки личного характера и все, что было денежного, все было похищено начисто. Так что сумму и дату я вам сказать не могу; но я могу сказать, кого поддерживали.

Председатель. — Сколько денег прошло через ваши руки с 1906 года по день вашего ухода, т.-е. по октябрь 1911 г.?

Крыжановский. — Боюсь точно сумму сказать, но это легко установить по данным департамента общих дел; эта сумма была, вероятно, тысяч 50 в месяц, может быть, 55. Следовательно, в годы 1910, 1909, 1908 это составляло тысяч 600 в год. В 1906 году были небольшие ассигнования, в 1907 году не помню, были ли. Если считать 1909, 1910, 1906 — 1908, эти 5 лет, могло быть от 2 миллионов до 3.

Председатель. — Не было ли больше? У меня имеется вашей рукой написанная заметка, из которой я вижу, что с 21-го августа 1909 года по 15 марта 1911 года через ваши руки прошло 1.156.000. Значит, года за полтора 1.200.000.

Крыжановский. — Так оно и выходит, если было 650.000 в год.

Председатель. — (Предъявляет документ.) Будьте любезны посмотреть, это вашей рукой написано?

Крыжановский. — Да. 1.156.000 синими чернилами — не моей. Это, очевидно, справка, данная казначею для проверки выданных сумм.

Председатель. — Нужно считать, что вами действительно была выдана эта сумма?

Крыжановский. — Да, вероятно.

Председатель. — Чем же объяснить, что сумма почти в 3 миллиона не имеет никаких оправдательных документов? Вас это не беспокоило?

Крыжановский. — Оправдательные документы все были.

Председатель. — В вашем денежном шкафу? Значит, мы должны их найти?

Крыжановский. — Не думаю, потому что, в большинстве случаев, эти документы Столыпин уничтожал.

Иванов. — В государственный контроль они не попадали?

Крыжановский. — Нет, не попадали.

Председатель. — Вас не беспокоило то, что вы выдавали 3 миллиона казенных денег и не представили, куда следует, расписку в их израсходовании?

Крыжановский. — Я представлял Столыпину.

Председатель. — По крайней мере, у вас должна быть запись?

Крыжановский. — У меня был перечень с отметками министра внутренних дел, но, к глубокому моему сожалению, все это у меня изъято. Так что я никаких оправдательных документов представить сейчас не могу. Надобности особой беспокоиться не было, потому что министр внутренних дел от меня же принимал все эти документы.

Иванов. — Денежных книг не велось?

Крыжановский. — Денежной книги, по распоряжению Столыпина, никакой не велось.

Председатель. — Вы это объясняете секретностью самого дела?

Крыжановский. — Нежеланием оглашать. Одно время была заведена книга, но он ее затребовал и, как я знаю, уничтожил.

Председатель. — Чем же объясняется то, что траты после вас остались те же, тем не менее, в делах государственной канцелярии сохранились расписки в получении денег для аналогичных целей?

Крыжановский. — Эти суммы, по действующему правилу, известному товарищу государственного контролера, передавались в личное распоряжение, по личному доверию министру внутренних дел; какую форму личной отчетности он устанавливал внутри, по отношению к себе, та и действовала. Угодно ему было иметь оправдательный документ, он имел, угодно бросить в печку, бросал. Это было делом личных взглядов всякого министра. Он деньги эти получал и отчеты по ним формальные представлял государю;

засим, он не был связан никакими правилами контроля. Если оставались следы от этих расходов, то это, так сказать, лично им соблюдалось. Эти расходы производились не мной, а курьером, который жив, хотя, вероятно, очень стар.

Председатель. — Курьером Меньшагиным?

Крыжановский. — Да.

Председатель. — Но он не был казначеем, он не вел отчетности бухгалтерской. Он, вероятно, может удостоверить, что передавал деньги, но не может удостоверить, сколько передавал?

Крыжановский. — У него были записные книжки, которые он представлял министру внутренних дел. Я помню, одна была у меня; но все, к сожалению, изъято, вместе со всеми моими денежными документами. Грабители похитили мои личные деньги и деньги, принадлежавшие Куломзину, которому пришлось заплатить из моих кредитов, все мои полисы, все, что там было.

Председатель. — Чем же объясняется, что эти выдачи продолжались и после вас, там сохраняются оправдательные документы, а за ваше время — нет?

Крыжановский. — Столыпин все оправдательные документы бросал в печку. Он считал, очевидно, неудобным хранить их; а какие были порядки впоследствии, мне неизвестно. После смерти Столыпина эти кредиты, я знаю, были сокращены весьма сильно, их более не выдавали.

Председатель. — Т.-е., на рептильные издания?

Крыжановский. — Особый фонд. Небольшие кредиты, которые сохранились, были передвинуты в главное управление по делам печати.

Председатель. — Вы можете, тем не менее, представить список изданий и количество денег, которые вы выдавали?

Крыжановский. — Количество я могу сказать только приблизительно.

Председатель. — Будьте добры это сделать сейчас. Какие вы можете указать?

Крыжановский. — Это приблизительно была та же литература, о которой впоследствии я читал в газетах, целый ряд изданий среднего направления, если угодно, я могу перечислить.

Председатель. — Среднего, в каком смысле?

Крыжановский. — Национального, умеренно правого.

Председатель. — «Русское Знамя» и «Земщину» вы считаете умеренно правыми газетами?

Крыжановский. — «Земщина» в лице Маркова получала. Я не знал, на какой предмет Маркову выдавалось, и только впоследствии встретил Янчевского, издателя «Земщины», и спросил: «вносил Марков в кассу деньги?». Он сказал «да», и назвал сумму — 10.000 или 12.000, которая выдавалась. Если угодно,

я перечислю, главным образом, отдельных лиц, которые получали кредиты.

Председатель. — Какие же это издания?

Крыжановский. — Разрешите мне, для облегчения памяти, расположить их географически, начать от Волги: «Казанский Телеграф» получал пособие в лице его редактора Ильяшенко. Газета, издававшаяся в Саратове, которая была основана при Столыпине, не то «Волга», не то «Волжский Вестник», получала более или менее регулярные выдачи в лице предводителя дворянства Ознобишина. Засим газета «Симбирянин», издававшаяся в Симбирске, получала через губернского предводителя дворянства Поливанова. Засим газета «Орловский Вестник», издававшаяся в Орле, сколько помнится, выдачи на нее производились губернатору Андреевскому. Засим какая-то «Маленькая Газета» получала от Столыпина в Ельце.

Председатель. — Сколько приблизительно на «Орловский Вестник»?

Крыжановский. — «Симбирянин» получал тысячи две в месяц; приблизительно в этом размере получал и «Орловский Вестник». «Волга» и «Казанский Телеграф» получали случайные более крупные ассигнования, от времени до времени. Затем получала газета, издававшаяся в Воронеже Берновым, «Националистический Листок», — тысячи три. Если желаете проверить правильность показаний, вы можете установить в государственном банке, через который обыкновенно большинство сумм передавалось телеграфными переводами. Следы там, вероятно, остались. Затем, из газет провинциальных, выдавалось года полтора «Харьковскому Вестнику» и журналу «Мирный Труд», издававшимся в Харькове.

Председатель. — Сколько?

Крыжановский. — Он получил, в общей совокупности, тысяч 40 — 50. Засим поддерживалась газета «Витебские Ведомости», издававшиеся в Витебске, не помню кем. Это тоже через витебского губернатора. Газета «Минское Слово», на нее выдачи производились через минского архиерея, кажется, Михаила. На «Черниговское Слово» выдавалось пособие через черниговского губернатора Хвостова, затем — Маклакова. Из изданий петроградских получала газета «Колокол», сколько мне помнится, тысяч 40. Из петроградских изданий Марков получал на издание газеты «Земщина», что было впоследствии подтверждено редактором, который, я помню, назвал тогда 10 или 12 тысяч в месяц. Эта цифра колебалась, но я помню, что тогда редактор газеты назвал ту самую сумму, которая выдавалась. Из изданий отдельных вначале было выдано, не знаю на что, доктору Дубровину; на типографию газеты «Русское Знамя» или на какие-либо другие надобности тысяч 30 — 40.

Иванов. — А Булацелю в 1906 г.? Он был одно время редактором «Русского Знамени»?

Крыжановский. — Я должен сказать, что, помимо известных мне кредитов, в распоряжении Столыпина бывали кредиты неизвестные. Мне известно, что у него был текущий счет в банке; по этому счету деньги выдавались ему лично из министерства финансов под расписку и не проходили через департамент общих дел. Я говорю только о тех, которые проходили через департамент в общем порядке ассигнования, но был специальный порядок ассигнования, о котором мне неизвестно.

Иванов. — А Пуришкевич получал?

Крыжановский. — Пуришкевич получал на свое обширное издание «Книга русской скорби», 8 или 9 томов. Потом он получал на журнал «Прямой Путь», издававшийся здесь, в Петрограде. Засим из этого же фонда покрывались расходы на разного рода издания непосредственно Столыпина или разных лиц. Все речи, сказанные Столыпиным, переведены на все европейские языки. Затем брошюры, которые издавал Гурлянд, «Правда о кадетах»; разные полемического свойства издания, которые распространялись в огромном количестве экземпляров, весьма дорого стоили; затем очень крупные ассигнования из этих средств получал покойный ныне Демчинский; в общей сложности он получил тысяч 300, не меньше, а может быть, больше. Эти деньги выдавались ему на пропаганду мысли об интенсивной культуре. Вы изволите знать, что тогдашнее правительство основывалось на насаждении мелкого землевладения и на направлении земледельческой мысли в русло интенсивной культуры, представителем и носителем идей которой был этот самый Демчинский. Он издавал журнал «Зерно» или «Хлебопашец» и ездил по всей России с пропагандой своей идеи. Первоначальные его отношения были несколько другие: он издавал какую-то газету, которая очень ругала Столыпина, и в то же время просил субсидии. Какое-то между ними на этой почве соглашение состоялось, и Демчинскому были выданы деньги. Газетка исчезла, и он перешел на пропаганду этой культуры. Я думаю, что этой культурой он лично увлекался не ради денег, но тратил он чрезвычайно большие суммы. Лично он получал, кажется, выдавал своему сыну, затем у него были три спутника или помощника, которые получали казенное содержание и билеты. В течение ряда лет он находился в разъездах по России, читал показательные лекции, и т. д.

Иванов. — Чем же объясняется, что на такую цель расходовались секретные суммы? Это цель, на которую могли быть расходы и не секретные?

Крыжановский. — Могли быть, но правительство тогда не делало разницы.

Председатель. — Почему оно делало секрет?

Крыжановский. — Для того, чтобы не компрометировать лицо; если бы сказали, что Демчинский распространяет свою идею на счет правительства, к нему всякое доверие подорвано было бы; его бы считали не техником, а искателем денег. Я думаю, что такое соображение было. Но думаю, что это был человек искренно убежденный. Я не знаю, с точки зрения сельско-хозяйственной, насколько эта культура пустила корни, но Столыпин и главное управление земледелия в то время чрезвычайно сильно ее поддерживали.

Председатель. — Есть у вас в памяти еще какие-нибудь цифры?

Крыжановский. — Да. Была поддержка иностранной печати, которая производилась по требованию министерства иностранных дел.

Председатель. — Это тоже через вас шло?

Крыжановский. — Это выдавалось Столыпиным.

Председатель. — Мы говорим о тех значительных суммах, которые прошли через вас.

Крыжановский. — Я не знаю, кому он передавал, в тех случаях, когда сам выдавал и делал отметки.

Председатель. — Позвольте понимать, что все, о чем вы до сих пор говорили, проходило через ваши руки; это — ваш, несколько странный в смысле формы, отчет в этих суммах.

Крыжановский. — Так точно.

Председатель. — Будьте добры еще вспомнить.

Крыжановский. — Относительно Пуришкевича я упомянул, издание столыпинское упомянул; затем разного рода брошюрки, посвященные вопросам дня, издавались на эти деньги, которые, по распоряжению Столыпина, давались кому-то; но это небольшие суммы.

Председатель. — Через вас это шло?

Крыжановский. — Ничто через меня не шло, я был здесь обер-кассиром.

Председатель. — Зачем же товарища министра внутренних дел обращать в кассира?

Крыжановский. — Очевидно, для того, чтобы не посвящать низших агентов. Расходы производились не мной, а по распоряжению Столыпина.

Председатель. — Вам данному?

Крыжановский. — Распоряжения он давал, в огромном большинстве случаев, непосредственно Меньшагину. Меньшагин деньги разносил и приносил документы.

Председатель. — Простите, как же вы могли терпеть такой порядок? Вы выписываете суммы, а расходуются они Меньшагиным, по распоряжению Столыпина. Почему же Столыпин сам не выписывал эти суммы?

Крыжановский. — Не могу сказать, установился такой порядок. Этого порядка я держался.

Председатель. — У вас есть еще что-нибудь?

Крыжановский. — Были еще мелкие издания какого-то Ярмонкина. Он непосредственно обращался к Столыпину, кажется, издатель журнала «Зорька». Затем на некоторые издания получал протоиерей Восторгов, довольно известный московский проповедник.

Председатель. — Проповедник чего?

Крыжановский. — Всякой всячины . . . проповедник церковно-политический был; но, в качестве проповедника, он известен, как проповедник церковный. Затем губернаторам выдавалось на поддержку «Губернских Ведомостей». У Столыпина была идея, из которой ничего не вышло, из «Губернских Ведомостей» сделать органы для проведения правительственных идей на местах. Поэтому большинству губернаторов внутренних губерний было выдано по 10.000 рублей. Это само по себе составляло крупную сумму, около полмиллиона или более рублей. Потом издания, которые я уже называл. 10 — 12 тысяч ежемесячно выдавалось Маркову, 5000 Демчинскому, «Симбирянину» 2000, «Орловскому Вестнику» приблизительно 2000. Остальное — на те издания. Столыпин время от времени все документы тщательно проверял, уничтожал и открывал новый кредит.

Председатель (предъявляет документ). — Вы можете подтвердить правильность составления этой ведомости?

Крыжановский. — Эта ведомость, вероятно, была составлена по моему же требованию, для периодической проверки. Это, очевидно, ведомость, составленная к тому времени, когда Столыпин сводил счет, в 1909 году. Я помню, что в 1909 г. он составлял всеподданнейший отчет, в котором точно перечислил израсходованные суммы. Этот отчет остался в его личном архиве. После этого он оправдательные документы бросил в печку, так как кредиты считались поконченными.

Председатель. — Какие же документы бросил в печку Столыпин и какие документы были у вас похищены 1 марта из денежного ящика?

Крыжановский. — У меня была опись всех произведенных расходов и тех документов, которые были Столыпиным приняты к учету. Этих описей у меня должно было быть три или четыре. Засим после смерти Столыпина все, что оставалось на руках, было сдано под расписку Макарову. Макаров жив и может подтвердить, что все это принял. Тогда всякая ответственность была ликвидирована. В этих трех описях документов точно было перечислено, что и кому выдано; на них имелись отметки Столыпина, что он все документы принял. Все это было, но, к сожалению, у меня ничего сейчас нет, за исключением ссылки на Макарова,

который может удостоверить, что он принял оставшиеся документы, в чем и выдал расписку.

Иванов. — Вы помните, какая сумма? 49.000 наличных денег?

Крыжановский. — Наличными деньгами было тысяч 5 или 8.

Председатель. — Если сопоставить данные ведомости, которую вы изволили обозреть, с вашей записочкой, которая является, по вашим словам, справкой кассира ....

Крыжановский. — Т.-е. не справкой кассира. Очевидно, она была дана курьеру, чтобы он от кассира представил точную опись того, что передано.

Председатель. — То окажется, что, по грубому подсчету, через ваши руки прошло 3.200.000.

Крыжановский. — Что-нибудь в этом роде.

Председатель. — Занесите в протокол, что предъявлена ведомость о расходовании сумм особого фонда с 10 октября 1906 года по 20 августа 1909 года и справка «о суммах, выданных мне» с 21 августа 1909 года по 15 марта 1911 года. Синим карандашом не рукой С. Е. подведен итог 1.560.000 рублей, что, в совокупности, дает 3.168.000 рублей.

Крыжановский. — Я думаю, что еще могут быть данные о расходовании этих сумм в личном архиве Столыпина; но, как вам известно, архив Столыпина находится в руках профессора Шимана, и нам недоступен.

Председатель. — Почему он попал к профессору Шиману?

Крыжановский. — Весь этот архив со всевозможнейшими историческими документами был захвачен германцами во время наступления. Как я читал в газетах, или слыхал от Нейдгарда, весь этот архив перевезен в Берлин, и профессор Шиман, большой историк, который ведает делами России, его разбирает. Весьма вероятно, что многое, например, всеподданнейшие доклады (1909 года 20 августа; я вспоминаю, я осенью всегда уезжал; очевидно, к этому времени был составлен всеподданнейший доклад Столыпиным относительно произведенных расходов), в его бумагах осталось. Товарищ контролера знает, как это делалось обычно. Конечно, чисто формальный всеподданнейший доклад.

Председатель. — А какие процентные бумаги принадлежали особому фонду и находились в вашем распоряжении?

Крыжановский. — Это было без моего ведома. Директор департамента полиции Зуев, ревизуя кассу и узнав о существовании этого фонда, передал часть в государственный банк, где она и хранилась. Засим одно время было так, что однажды, с согласия министра финансов, были разменены какие-то процентные бумаги департамента общих дел; из них внесли заимообразно в фонд, а впоследствии это покрыло министерство финансов. Это — капитал, который остался в департаменте общих дел. У меня на руках не было никаких процентных бумаг.

Председатель. — Суммируя то, что вы изволили сказать, приходится констатировать, что мы имеем перед собой книги, в которых с бухгалтерской точностью записаны суммы, вами выдававшиеся, но в данный момент нет никаких следов того, чтобы вами выдавались известные суммы, кроме косвенных расписок в государственном банке.

Крыжановский. — Дело заключается в том, что Столыпин не дозволял вести книги. У меня была заведена книга для записи, он ее взял. Я говорил, что это неудобный порядок. Он мне сказал, что и у кассира департамента полиции он тоже все взял. Поэтому я не беспокоился, а книги, бывшие у меня, он взял и запретил вести. Что сделал Макаров с переданными ему документами, я не знаю. Я их ему сдал под расписку.

Иванов. — Они имеются?

Крыжановский. — Вероятно, имеется и то, что Макаров выдал расписку, когда я уходил из товарищей министра; я был заграницей август и сентябрь. Был назначен Макаров, которому я сдал все и взял расписку, она, вместе с другими документами, исчезла.

Председатель. — Эти деньги из особого фонда касаются расходов правительства на печать, это — так называемый рептильный фонд?

Крыжановский. — Рептильный — не совсем то; положим, можно и под это название подвести.

Председатель. — Что же особый фонд завелся только с октября 1906 года, до этого времени его не существовало?

Крыжановский. — Этого я не могу сказать. Впоследствии я случайно узнал; когда мне пришлось быть в Государственной Думе при рассмотрении сметы, меня спросили в комиссии довольно ехидно, на какие средства издается газета «Россия». Я сказал, что это издание частное. Я об этом сказал Столыпину, который меня спросил: «Разве вы не знаете, что она издается на казенный счет?». Я навел справки, какие были еще расходы по главному управлению по делам печати, и просил Столыпина сказать. Он показал список. Тут я обнаружил и такое издание, как газета «Симбирянин», она получала и отсюда, но иногда забегала в главное управление по делам печати и там дополнительно получала некоторые суммы.

Председатель. — Вам Столыпин приказал или вы сами распоряжались?

Крыжановский. — Моего распоряжения не могло быть. Столыпин устанавливал, давал перечень расходов курьеру, я выписывал деньги, курьер разносил и приносил документы.

Председатель. — А вы спрашивали отчет об израсходовании этих денег?

Крыжановский. — Нет, они, может быть, отчитывались перед Столыпиным. Я знаю, что губернаторы представляли некоторые

отчеты. Я думаю, что разные лица давали ему какой-нибудь суммарный отчет; мне лично никакого отчета никто не давал. Это был расход на веру бывшего министра внутренних дел. Я думал, что деньги выдавались Маркову и его компании, и мне было в высшей степени тягостно знать об этом факте. Впоследствии, встретившись с Янчевским, я спрашивал его: «Марков передал вам деньги?». Он говорит: «Передавал». «А сколько?» Он назвал сумму. Так что мое предположение, что он лично тут кормился, было совершенно неправильно.

Председатель. — Когда был этот разговор?

Крыжановский. — Это было значительно после того, как я ушел из товарищей министра внутренних дел.

Председатель. — К этим тратам относится следующее место в вашей записке о Столыпине: «Столыпину принадлежит и введение в обиход управления подкупа общественных деятелей. Справедливость требует сказать, что деятели эти вообще проявили большое тяготение к деньгам. Выдачи делались иногда под благовидным предлогом пособий на издания или разные полезные общественные начинания, а иногда и в голом виде».

Крыжановский. — Главным образом, это относится к Демчинскому. Газета была куплена. Затем, Шарапов что-то получал.

Председатель. — «Многие члены 3-й Государственной Думы получали эти выдачи, а были и такие, которые состояли и на жаловании». Кто это?

Крыжановский. — Был Марков с целой группой, я думал, что эта группа получает. Был Володимеров, их было 5 человек, я думал, что они лично получают.

Иванов. — А Пуришкевич получал?

Крыжановский. — Пуришкевич деньги получал, но я глубоко убежден, что он ни одной копейки в карман не положил; он был в таком состоянии, что был даже описан судебным приставом.

Председатель. — Это, по вашему мнению, свидетельствует о том, что он не получал денег? А не свидетельствует это о том, что в результате от полученных денег ничего не оставалось?

Крыжановский. — Жизнь всех людей более или менее известна, их траты, их образ жизни, их занятия. О Пуришкевиче никогда не было слышно, чтобы он кутил или что-нибудь лишнее на себя тратил. Затем, выдачи производились в Харькове профессору Вязигину; вложил ли он эти деньги в издание или они остались в качестве барыша от этого издания, я не знаю. Затем выдавалось на издание газеты «Минское Слово». Был прикосновенен Шмидт, весьма несимпатичная личность; очень возможно, что он клал эти деньги в карман.

Родичев. — Это бывший шпион?

Крыжановский. — Нет, я рассматривал это дело. Человек очень скверный, но, повидимому, не шпион. Я потом узнал данные,

он судился в старые годы за то, что обманным образом продал иностранцам подложный план минных заграждений Кронштадта, и был обвинен в обыкновенном мошенничестве, но, по высочайшему повелению Александра III, дело слушалось в военном суде, и он был приговорен не за мошенничество; тут было признано что-то вроде измены. Затем он был помилован и был членом городской думы в Минске. Когда его избирали, выяснилось все это дело, и он был, по постановлению Думы, признан неимеющим полномочий.

Председатель. — Вы не помните, в связи в этим Шмидтом, было обвинение в составлении погромных прокламаций?

Крыжановский. — Я должен сказать, что я всегда относился совершенно отрицательно ко всяким слухам о том, что правительство разводило какие-нибудь погромы. Я убежден, что Плеве никогда никаких погромов не устраивал; но лица, имевшие касательство к правительству, могли, за свой страх, что-нибудь организовывать.

Председатель. — Вам не известен при Комиссарове факт напечатания погромных изданий в самых стенах департамента полиции, в так называемой пробковой комнате?

Крыжановский. — Да, я слышал, и, может быть, даже отметил в записках свое отрицательное отношение к таким господам, как Комиссаров и Герасимов. Вообще, это были личности весьма темные, об этом я не скрою. О факте напечатания прокламаций я помню, но не знаю, насколько это серьезно. За всю 15-летнюю службу я от этих сфер отделялся каменной стеной.

Председатель. — Кто из членов Думы состоял на жалованьи?

Крыжановский. — Я полагаю, Марков с компанией.

Председатель (читает). — «Были члены, вошедшие в Думу, заручившиеся обещанием выдачи содержания. Такие назывались командированными в Думу. Конечно, они принадлежали по преимуществу к правому крылу».

Крыжановский. — Я должен сказать, что Столыпин относился вообще скептически. Многое, что здесь отмечено, сказано с его слов. Да, я забыл сказать, что были выдачи на поддержку Галицийской газеты, гр. Бобринскому.

Председатель. — Далее, вы изволили быть участником роспуска 2-й Государственной Думы и последующего изменения государственного закона о выборах?

Крыжановский. — Во 2-й Думе я редко бывал, ибо круг моей деятельности, как товарища министра внутренних дел, был чисто специальный.

Председатель. — Вы пишете в своих записках: «Вторая Дума была в сущности еще хуже первой, как по необразованному радикализму, так и по неспособности к какому-либо полезному труду. Стало очевидным, что без изменения избирательного закона и без

предоставления решающего голоса тем слоям населения, которые воспитались на земской работе, нельзя получить Думу, способную к государственной деятельности». Затем вы рассказываете вкратце историю создания нового избирательного закона, который написан вами. Скажите, к какому времени относится начало работ по созданию этого закона?

Крыжановский. — Вероятно, к началу мая; все это было сделано чрезвычайно скоропалительно. Если вы изволили сличить закон 1907 года, то, в конце концов, изменения коснулись весьма немногих пунктов. Были совещания совета министров, на которых я не был. Я позволю себе сослаться на лицо, имевшее отношение к правительству, на Шванебаха, который являлся представителем течения, полагавшего, что необходимо Думу совершенно не созывать. Он подавал какие-то записки по этому предмету наверх. Он не состоял в совете министров, но я слышал, что он был представителем того течения, чтобы Думу не созывать и ограничить срок представительства государственного совета. Кто еще примыкал к этому, я не знаю, но про Шванебаха знаю, потому что мне приходилось с ним лично говорить. В совете министров, в моем присутствии, были суждения об основаниях изменений. Это было в мае, может быть, в апреле 1907 года, хотя вопрос об этом возникал еще в 1906 году, в промежутке между 1-й и 2-й Думами.

Председатель. — Вы не можете вспомнить точно?

Крыжановский. — Это можно установить по протоколам совета министров.

Председатель. — Но вам известно (вы, кажется, отмечаете в своих записках), что совет министров конспирировал свои работы по поводу этого закона настолько, что высшее правительственное учреждение не вело журналов и протоколов.

Крыжановский. — Я знаю, что были заседания вне моего присутствия; в моем присутствии было, кажется, только 2 заседания.

Председатель. — Что же было на этом заседании?

Крыжановский. — Обсуждался вопрос о форме избирательного закона, причем в совете министров было два течения; одно стояло за то, чтобы выборы были произведены на началах сословной раздельности, проведенной от начала до конца; другое стояло за сохранение существующей системы, при условии некоторого пропуска через фильтр более крупного землевладения, с обеспечением за каждым разрядом населения хотя бы одного представителя в Думу. Я лично, со своей стороны, всегда стоял за то, чтобы устанавливались выборы от уездного земства. Но эта мысль была отвергнута, и совет министров остановился на системе, которая была принята. Тогда, в соответствии с постановлением совета министров, редакция была проведена чрезвычайно быстро.

Иванов. — А не возникал вопрос, насколько это закономерно?

Крыжановский. — Выдвигалось на вид соображение о том, что это является несомненным нарушением закона; но этому Столыпиным противополагалось другое утверждение, имевшее некоторое значение; он делал ссылку на историческую учредительную власть государя и на то обстоятельство, что дарованные в 1905 году законы не подкреплены присягой. Император присяги не приносил, и только наследник, при вступлении на престол, принесет присягу на незыблемость этих законов; сам же император не был связан и, следовательно, полноту власти сохранял. Помнится, эта мысль была выражена в манифесте, составленном Столыпиным в 1907 году. Я его точно не помню. В этом манифесте он проводил мысль об исторических или учредительных правах короны. Вот, каким образом совет министров смотрел на этот вопрос.

Председатель. — Значит, возобладало мнение, что слово носителя верховной власти имеет значение только тогда, когда оно подкреплено присягой, а если оно не подкреплено, то это не имеет никакого значения?

Крыжановский. — В той форме, как вы изволите говорить, я не помню, чтобы кто-нибудь ставил вопрос; но что учреждение может быть изменено той же учредительной властью.

Председатель. — Причем обязательным считалось только то, что подкреплено присягой?

Родичев. — Вы выразились так, что Столыпин стоял до 3-го июня перед дилеммой: или совсем уничтожить Государственную Думу, или изменить избирательный закон. Кто же поставил эту дилемму, т.-е. было у него чье-нибудь волесоизволение?

Крыжановский. — Относительно высочайшего волесоизволения я не знаю. Было течение, во главе которого был Шванебах и другие, находившиеся в контакте со сферами. Но это было вне пределов моего ведения.

Родичев. — Так что вашу фразу следует понимать, как вывод, а не как констатирование факта?

Крыжановский. — Мое впечатление было (из того, что я слышал от Столыпина и из совета министров), что влиятельные круги в то время решительно настаивали на том, чтобы Дума была прикрыта. Говорили о 5 — 10 годах; не имелось в виду совершенное ее упразднение, а только приостановка действия Думы.

Председатель. — Т.-е., по турецкому образцу, где парламент был уничтожен внешним путем, приостановлением его деятельности?

Крыжановский. — Мы видим это и в новейшей истории Австрии, где парламент тоже не созывался. Так как я при формальных суждениях не присутствовал, я не могу сказать, какую форму предлагали; но думаю, что предлагали форму приостановки Думы с тем, чтобы в это время действовал государственный совет. Столыпин с этим течением чрезвычайно боролся и нашел выход

в некотором компромиссе, который, удовлетворяя настояниям этих кругов (относительно исправления недостатков избирательного закона с их точки зрения), в то же время спасал существование Думы.

Родичев. — Когда началось обсуждение, Столыпин заручился мнением императора?

Крыжановский. — Я этого не знаю, но когда я писал закон, то была его ссылка, в которой он говорил, что высочайше было повелено, чтобы ни один из разрядов населения, уже имевший голос, не был этого голоса лишен; что может быть сокращено влияние классовое, но чтобы от каждого класса был представитель; Столыпин не мог действовать в данном случае за свой счет; очевидно, он и вверху и в общественных кругах настаивал на необходимости сохранения Думы. Это мне представляется совершенно несомненным.

Председатель. — Вы не помните, когда он употребил эту фразу, что государь желает, чтобы все классы были представлены?

Крыжановский. — Я не помню, было ли это сказано в совете министров или лично.

Родичев. — Это было, должно быть, в мае или в конце июня; во всяком случае, время было предшествующее самому акту.

Председатель (показывает бумагу). — Скажите пожалуйста, каково происхождение этой бумаги, которую, по ее содержанию, можно назвать политическим обвинительным актом против председателя второй Государственной Думы и которая у вас найдена?

Крыжановский. — Я припоминаю эту бумагу. Она исходит не от меня. Это копия, которую я снял с документа, бывшего у Столыпина. Очевидно, она была составлена на основании стенографических отчетов. Не составлял ли ее чиновник особых поручений при Думе, фамилия его, кажется, Куманин; на обязанности его лежало предупреждать, что предполагается к слушанию, вести запись для доклада и т. д.

Председатель. — Этот чиновник состоял в должности заведывающего министерским павильоном?

Крыжановский. — Да, он вел переговоры с комиссиями, уведомлял министров, содержал в порядке все справки.

Председатель. — Причем его обязанности простирались не только на то, что он мог слышать, но и на то, чего он не должен был слышать; т.-е., повидимому, он должен был немножко. . .

Крыжановский. — Подслушивать?

Председатель. — Да.

Крыжановский. — Нет, председатель Государственной Думы его не допускал бы.

Председатель. — Но каким образом у вас могла очутиться справка, составленная 13 мая 1907 года?

Крыжановский. — Я не могу сказать. Может быть, кто-либо из членов Государственной Думы мог передать. Вероятно, она была взята из тех бумаг, которые были сохранены у меня, как воспоминания о Столыпине.

Председатель. — Но ведь это — императорский экземпляр?

Крыжановский. — Нет. Позвольте мне посмотреть машинку, на которой писалось. Это копия, снятая моим писцом. Не было ли тут какой-нибудь всеподданнейшей записки?

Председатель. — То, что вы изволили рассказать, есть подготовка к перевороту 3-го июня в недрах совета министров. Государю была представлена эта маленькая записка, направленная против председателя второй Государственной Думы.

Крыжановский. — Вероятно, она была представлена для предстоящих бесед государя с председателем Думы.

Председатель. — Не помните ли вы еще другого «счастливого случая» (как вы здесь метко говорите), который послужил поводом к роспуску второй Государственной Думы и к изменению порядка избирательного закона? Вы здесь говорите: «едва ли не стараниями Герасимова и неопытностью Столыпина объясняется счастливое для него возникновение заговора среди членов Государственной Думы».

Крыжановский. — Слово «счастливый» следует понимать в кавычках.

Председатель. — После смерти Столыпина выяснились некоторые обстоятельства, как бы говорившие в пользу того, что полиция, если не выдумала все это дело, то, как вы деликатно выразились, округлила его и содействовала пополнению в деятельности этих господ необходимых признаков преступления, а может быть, и создала кое-какие доказательства. Конечно, сам Столыпин не при чем, но от Герасимова и компании всего можно ожидать. Так что вот какие факты стали известными.

Крыжановский. — Вы можете проверить все это. Вы можете спросить членов Думы, участников в деле, они скажут вам начистоту, что было. Но должен сказать, что потом слышал краем уха, будто какие-то обвинения против Герасимова и всей этой компании были. Впоследствии, помнится, в печати были оглашены кое-какие данные. Я не помню фамилии, задержана была какая-то дама, которая подкидывала какой-то документ, план вооруженного восстания; это, может быть, было верно.

Председатель. — Несомненно даже верно, как теперь известно. Вы имели в виду Шорникову и Бродского.

Крыжановский. —Да, Шорникову. Но так как я у дел не был, то я просто отметил. Здесь я, вероятно, согрешил против Герасимова. Герасимов производил впечатление несимпатичное. В министерстве ходили слухи, что они пополнили доказательствами. Но я очень рад слышать от вас, что это неправда.

Председатель. — Мы можем сказать, что, к сожалению, это правда.

Крыжановский. — То-есть, документы были переданы?

Председатель. — Сочинены агентами охранного отделения.

Крыжановский. — То-есть, как? Весь заговор или нет?

Председатель. — Основные моменты этого заговора.

Крыжановский. — Значит, его вовсе не существовало?

Председатель. — Он существовал, но впервые был сочинен агентами охранного отделения. Был просмотрен Герасимовым и Столыпиным.

Крыжановский. — Нет, Столыпиным не может быть. Я не особенно симпатично относился к Столыпину, два раза, будучи товарищем министра, я подавал в отставку, хотел с ним развязаться, держался в отношениях личных далеко, хотя и пользовался его доверием; но я скажу, что обвинение против него неправильное.

Председатель. — Вы думали несколько иначе: «Когда выяснилась невозможность жить со второю Думою и необходимость в чрезвычайном порядке изменения избирательного закона, вдруг, как по щучьему велению, возникло среди левого крыла Думы преступное сообщество для ниспровержения государственного строя, с созданием и участием нижних чинов петербургского гарнизона и с прочими проявлениями необразованного радикализма, мании величия и инородческой злобы к России, которыми так богата была вторая Дума. Раскрытие этого дела смутило всех, у кого осталось разумение в голове, и многих заставило прикусить языки. Оно сразу оправдало и роспуск Думы, и новый избирательный закон, изданный учредительной властью царя, и ограничение в этом законе доступа в Думу темным слоям населения, и сокращение представительства инородческих окраин, и решительные меры правительства по созданию Думы русской и государственной».

Крыжановский. — Если изволите раньше посмотреть, я уверен, вы найдете указание на то, что я никогда не верил в провокационную деятельность Столыпина. По-моему, он абсолютно не был способен. Он был человек, скажем, несколько наивный, невзирая на все данные. Он доверчив был. Он как-то слушал всякого, кто подвернется. Оставался под впечатлением последнего говорившего. Столыпин, угрожая моменту, разъяснял те или иные выходки полиции. Эта история мне казалась подозрительной, именно по ее совпадению; впоследствии я слышал про эту, как вы изволили назвать, Шорникову. А так как Герасимов и вся компания были в высшей степени подозрительны, то могло быть. Но я убежден, что Столыпин здесь не при чем.

Председатель. — Так что вы объясняете большим счастьем Столыпина то обстоятельство, что как раз в тот момент, когда ему нужно было найти основание для роспуска Думы и для изменения избирательного закона, в министерстве внутренних дел нашлись

люди, Герасимов и компания, которые через своих двух агентов все это устроили? Так что это счастливое для Столыпина совпадение?

Крыжановский. — «Счастливое» в кавычках. Но неужели весь заговор до самого основания был выдуман?

Председатель. — В значительной мере.

Крыжановский. — Но фундамент был какой-нибудь?

Председатель. — Да какой же может быть фундамент у провокации? Вы не изволите сейчас припомнить, к какому времени относится начало расследований по делу фракции Государственной Думы?

Крыжановский. — Совершенно не знаю. К этим делам никакого касательства не имел. Вся эта область ревниво охранялась лицами, стоявшими там.

Председатель. — Что было представлено носителю верховной власти в основании нового избирательного закона перед 3 июня. Вот эта записка представлялась? (Передает записку.)

Крыжановский. — Ах, нет, это относится к лету 1906 г. Это составлено было, если не ошибаюсь, Черкасом, и мною поправлено. Это, вероятно, Горемыкину было дано. Я потом вспомнил, что экземпляр вернулся при Столыпине с пометкой: «высочайше одобрено»; в 1907 году, насколько я помню, никаких решительно справок, писем и документов государю не представлялось.

Председатель. — Г. секретарь, занесите в протокол, что предъявляется записка на 71 стр., которая начинается словами: «При оценке действующего порядка выборов . . .».

Крыжановский. — Да, это в 1906 году, во время премьерства Горемыкина.

Председатель. — Другая записка с поправками С. Е. Крыжановского, начинающаяся словами: «При оценке действующего порядка выборов . . .».

Крыжановский. — Это просто переделка; та же самая записка, впоследствии несколько измененная, чтобы служить материалом для воспоминаний.

Председатель. — Третья записка, с так называемой пометкой рассмотрения бывшего императора и с датой, когда это рассмотрение имело место.

Крыжановский. — Это — 15 июля 1906 года. Но это не Столыпиным подано, а Горемыкиным. Тогда для него были составлены такие справки делопроизводителем. Одна из этих мной переделана. Если это было представлено, то Горемыкиным; Столыпину же, очевидно, возвращено после того, как он был назначен председателем совета министров, в 1907 году.

Председатель. — Затем вы пишете в вашей записке: «Кажется, 30 мая. Жребий был брошен докладом Столыпина его величеству и окончательным принятием второго варианта», т.-е. варианта

производства выборов единой курией, но под надзором, как вы говорили, имущих классов, которые были там в большинстве. Вариант этот в шутку назван был при обсуждении в совете «бесстыжим».

Крыжановский. — Да, это кто-то из остряков его назвал, потому что цель его ясней была подчеркнута, нежели в раздельно сословном.

Председатель. — Т.-е., цель обессиления неимущих классов и преобладание имущих классов?

Крыжановский. — Цель создания представительства на первых ступенях его развития из лиц, которые доказали на деле умение развивать и устраивать свое личное благополучие. Кажется, Шванебах назвал этот проект «бесстыжим».

Председатель. — Вы были автором и утвержденного, и неутвержденного проекта?

Крыжановский. — Так точно, равно как и третьего, о производстве выборов в уездных земских собраниях, который, как я упоминал, был отвергнут.

Председатель. — «Когда Столыпин докладывал государю, его величество изволил смеяться и решительно сказал: «Я за «бесстыжий». Последние двое суток я составлял закон в окончательном изложении».

Крыжановский. — Закон был весь написан в два дня.

Председатель. — Скажите, совет министров в большинстве или единогласно присоединился к решению изменить избирательный закон этим, внезаконным порядком?

Крыжановский. — Я разногласия не слышал. Я повторяю, что в тех заседаниях, может быть, одном, двух, трех, где совет министров слушал принципиальную сторону дела, при участии каких-либо других лиц, я не присутствовал. Но в тех технических заседаниях, которые были в моем присутствии, я разногласий и возражений не слышал. В рассуждении о правомерности акта, здесь, до заседания или после, были ссылки на сохранение императором учредительной власти. Но каких-нибудь возражений против возможности проведения закона в этом порядке я не слышал.

Председатель. — Сколько было заседаний, на которых вы изволили присутствовать, и сколько было заседаний, на которых обсуждались только принципиальные основы проекта?

Крыжановский. — Я помню, что я присутствовал в двух заседаниях: в одном, которое происходило в Зимнем дворце, где был Столыпин, в конце апреля или в начале мая; и в другом, в Елагином дворце, в конце мая. А сколько других заседаний было, — откуда же я могу знать?

Председатель. — Не можете припомнить, кто из министров того времени присутствовал в заседаниях?

Крыжановский. — Все, очевидно. Я не помню, чтобы кого-нибудь не было.

Председатель. — Коковцов, Столыпин. Товарищ министра внутренних дел Макаров был?

Крыжановский. — Положение было такое: министерство внутренних дел при Столыпине было разделено на три части, и каждая была подчинена отдельному товарищу министра; товарищи министра присутствовали во время рассмотрения дел, касающихся их части. У меня был департамент общих дел, главное врачебное управление, ветеринарная часть, статистическая часть, техническая часть учебных заведений и (непродолжительное время) департамент духовных дел. У Макарова был департамент полиции. У Лыкошина крестьянское и воинское присутствие. Начальники главных управлений были самостоятельны. Поэтому мы бывали в совете министров мельком. Дела наши по министерству внутренних дел слушались первыми, и, по выслушании их, мы удалялись. На других обыкновенно мы сидели не иначе, как случайно. Я думаю, Макарова не было, ибо не было повода ему присутствовать.

Председатель. — Щегловитов был?

Крыжановский. — Да, был, как министр юстиции.

Председатель. — Как он относился к порядку издания такого закона?

Крыжановский. — Не могу по совести сказать.

Председатель. — Вам память изменила?

Крыжановский. — В памяти моей столько впечатлений, что не могу сказать ни да, ни нет. Мне казалось, что Столыпин это выдвигал. Щегловитов, я не знаю, какую роль занимал. Вероятно, он по этому предмету был спрошен, так как министр юстиции является официальным юрисконсультом государства. Но, чтобы его специальное мнение выдвигалось, я не помню. Я запомнил мнение Шванебаха.

Председатель. — Скажите, каков был порядок обнародования этого закона?

Крыжановский. — Он был обнародован через сенат, обычным установленным в сенате порядком. Обыкновенно сенат давал обер-прокурору печатать, а затем подписывался.

Председатель. — Т.-е. была норма, что сенат доверял обер-прокурору печатать?

Крыжановский. —Это, кажется, норма и теперь в сенате. Никогда не слышал, чтобы закон формально заслушивался; обычно он распубликовывался распоряжением обер-прокурора в собрании узаконений, а засим подписывался.

Иванов. — Смею вас уверить, что теперь так не делается. Как раз иначе, чем было прежде.

Крыжановский. — Помимо сената, без обнародования, сейчас распубликовываются проекты. Это весьма распространено.

Председатель. — Теперь временному правительству принадлежит вся полнота власти. Мы говорим о законности действий органов и властей подчиненных, в отличие от того, что вы изволили сейчас говорить. Ведь, собственно, вопроса никакого не было. Позвольте напомнить ваше мнение в момент составления вашей записки: «Трудность вопроса, как обнародовать новый закон, изданный помимо Думы и совета, была просто решена обер-прокурором Н. А. Добровольским. Он распорядился напечатать закон в собрании узаконений, а определение об обнародовании его дал подписать сенаторам впоследствии, совместно с другими. Все подписали без разговоров, приняв закон, как упавший с неба, по выражению одного из сенаторов».

Крыжановский. — Это мне передавал Столыпин, но впоследствии я узнал, что порядок всегда соблюдался.

Председатель. — После того, как вы писали?

Крыжановский. — Может быть, и до этого. Надо было обнародовать немедленно. В сенате заседания не было. Поэтому обер-прокурор и распубликовал. Может быть, в важных случаях он вносил. Раз не встречалось сомнения, он этого не делал.

Председатель. — Но как же он не имел сомнения?

Крыжановский. — В данном случае, он, очевидно, имел сомнение, но сделал это.

Председатель. — «Вместе с тем стало ясно, что другого исхода нет, за исключением исхода не делать. Внесение закона в Думу было невозможно. Обсуждение же его в каком-нибудь особом совещании, к чему клонили некоторые из власть имущих, было явно бесполезно, так как этим путем было бы невозможно провести ничего цельного. Новый закон дал в руки правительства сильное и гибкое орудие для влияния на выборы и открыл возможность, конечно, при благоразумном применении, создать народное представительство достаточно уравновешенное и чуждое крайности, как в сторону красного, так и в сторону черного радикализма». Затем вы изволите говорить о созыве Думы и деятельности третьей Думы, «первой, занимавшейся делом». «Сразу изменилось все положение дела. Была достигнута одна из целей создания Думы. Политическое неудовольствие в значительной его части отхлынуло с мест в Думу и в ней сосредоточилось, как в трубе. А то, что осталось на местах и что ждало от народного представительства какого-то чуда, перенесло все свое раздражение на Думу». В другой вашей записке вы высказываете общую мысль о том, что условиями, влияющими на выборы, является, с одной стороны, осуществление необходимых общественных экономических преобразований, разъединяющих, по возможности, борьбу экономическую и политическую, с другой стороны, в энергичном правительственном воздействии на ход выборов.

Крыжановский. — Это что за записка?

Председатель. — Я вам уже ее предъявлял: «При оценке действующего порядка выборов».

Крыжановский. — Это не мною составлено.

Председатель. — Но корректировано.

Крыжановский. — Да, корректировано впоследствии, как материал для воспоминаний, в 11 или 12 году. Во всяком случае эта записка через мои руки проходила.

Председатель. — Ваши заметки в этой части касаются вот чего: «А с другой стороны, в энергичном правительственном воздействии и на ход выборов».

Крыжановский. — Это, значит, моею рукою написано?

Председатель. — Нет, это написано не вашей рукой. Но автор записки вычеркнул слова: «не выходящим, конечно, из границ, дозволенных законом»; вы изволили тут исключить целый абзац. «Необходимо, прежде всего, создать в стране правительственную партию, подтягивая к ней все те общественные элементы . . .». Очевидно, ваши поправки касаются этого места.

Крыжановский. — Позвольте сличить с чистовою. Мне просто любопытно для самого себя. Это — тожественная записка.

Председатель. — Повидимому, да. По крайней мере, я нашел то место, которое нас интересует.

Крыжановский. — Очевидно, это место было редактировано, потому что здесь этой фразы нет.

Председатель.—В другом месте той же записки вы обсуждаете одну из систем, которая была в вашем распоряжении: «система эта помимо своей простоты и устойчивости, которую она вносит в результаты выборов, представляет и то еще преимущество, что дает возможность предопределить число представителей от каждого класса населения, установив, таким образом, состав Думы в соответствии с видами правительственной власти». Таким образом, мне кажется, что в основание не только этого вашего проекта, но и другого, ложится полное обеспечение состава Думы в соответствии с видами правительственной власти. Скажите, эта точка зрения принадлежала вам лично или она разделялась Столыпиным и другими политическими деятелями: что правительство не должно соответствовать желанию страны? Если не желанию страны, то фальсифицированному представительству страны?

Крыжановский. — Где есть в мире правительство, которое не желало бы, чтобы с законодательными учреждениями можно было жить? Правительства всего мира к этому идеалу стремятся. Следовательно, нет ничего удивительного, что такое рассуждение было.

Председатель. — Да, стремятся к этой цели, но вы-то стояли перед незаконным способом осуществления этой цели. Если первое можно сказать про правительства всего мира, то второго сказать нельзя.

Крыжановский. — Это было в 1906 году, неизвестно было, каким порядком еще это пройдет.

Председатель. — Вы изволили в одном месте ваших объяснений назвать Столыпина несколько наивным человеком. Что вам известно о перлюстрации писем, о нарушении тайны почтовой корреспонденции довоенного времени и о взгляде на это Столыпина?

Крыжановский. — Мне известно весьма мало, потому что я никакого касательства к этому не имел, этих писем не читал. Это, если не ошибаюсь, было при главном управлении почт и телеграфов, может, и при участии департамента полиции, который этим делом занимался. Перлюстрация писем с давних пор была, к сожалению (лично я относился к этому брезгливо), предметом занимательного чтения для министерства внутренних дел и предметом больших опасений со стороны тех лиц, которые под этот контроль были поставлены. Впервые о реальном существовании перлюстрации я узнал от Плеве, когда я был молодым чиновником и присутствовал на одном из докладов (кажется, при образовании гл. упр. по дел. м. х.), где Плеве прочитал копию письма фон-Анрепа с руганью. Он что-то такое говорил, ссылаясь на перлюстрацию. Я знаю только одно, что я с тех пор ни о ком никому не писал. А более мне ничего неизвестно. Но знаю, что в последующее время система эта получила весьма широкое развитие. К сожалению, Столыпин ставил под надзор даже своих родственников. Это была практика чрезвычайно скверная, потому что она служила личным интригам. Но, вероятно, она ими и объяснялась, потому что министры того времени были осаждаемы людьми, находившимися с ними с виду в близких и хороших отношениях. Этим была вызвана необходимость ввести эту практику; отсюда и выросло нездоровое любопытство к чужой переписке, которое было, к сожалению, при Столыпине.

Председатель. — Вы изволили знать, что, собственно говоря, аргументировалась эта мера ссылкой на общие соображения, а не на любопытство?

Крыжановский. — Она возникла на почве полицейской, на необходимости следить за тем, что делается; отсюда отделилась некоторая струя, переходившая в область личного любопытства, которая была наиболее неудобной. Неудобство сводилось к тому, что никто не был гарантирован, что ему не подсунут письма, включив в него две-три фразы.

Председатель. — Вы изволили сказать, что эти письма были предметом любопытства со стороны министров и предметом опасения со стороны лиц, прибегавших к почте. Но вы не наблюдали, чтобы для Столыпина или других министров не было предметом любопытства, а предметом опасения пользование этим методом, как методом незаконным?

Крыжановский. — Я никакого отношения ни к департаменту полиции, ни к этим письмам не имел; лично никогда не видел, за исключением случаев, когда письма открывались в канцелярии. Я знаю, что доставлялся пакет, в котором заключалась корреспонденция; она читалась и куда-то возвращалась обратно, может быть, в департамент полиции. Вот все, что мне известно. Затем мне приходилось видеть копии документов, тем более, что это производилось бесцеремонно. Документы, касающиеся военного ведомства, сообщались военному министру, морского — морскому, одним словом, это рассылалось по заинтересованным ведомствам. Как это происходило в министерстве внутренних дел, какое было отношение министра, в частности Столыпина, — мне неизвестно; но знаю, что я никогда не распечатал ни одного пакета.

Председатель. — А что вам известно относительно провокации, которой вы также касаетесь в ваших записках?

Крыжановский. — Я коснулся с той точки зрения, что считал, что Столыпин никогда к ней причастен не был. Я думаю, что обвинения, которые раздавались в Государственной Думе и в печати относительно провокационной деятельности министров внутренних дел, в частности, Столыпина, неосновательны. Я не знаю, что он сделал в области полиции, но, зная общий характер его личности, считаю, что эти слухи неверны. Вместе с тем, я считаю возможным, по ходившим в министерстве слухам, что такие действия могли быть. Не помню, при каких обстоятельствах, но среди чиновников ходило объяснение, откуда происходит эта провокационная деятельность. Объяснение сводится к тому, что департамент полиции был принужден прибегать к услугам лиц, которые обещали раскрыть те или другие действия. Эти лица, торгуя своей и чужой совестью, вероятно, принимали участие в совершении разных действий, чтобы поддержать свой кредит. Вот, что я знаю, на основании слухов. Молва была неблагоприятна лицам, фамилии которых, может быть, неосновательно, упомянуты мною в записке; я не допускал мысли, что записки, подобные этой, могут быть предметом суждения. Я отмечал там, что на память приходило, и, если бы мне пришлось остановиться на мысли опубликовать это или показать кому-нибудь, несомненно, добрую половину, как основанную на случайных впечатлениях, я считал бы долгом вычеркнуть.

Председатель.— В этой части нет ничего компрометирующего кого-либо; вы просто устанавливаете, что «по самому положению секретных сотрудников, чтобы не лишиться притока средств, они должны были и сами участвовать в преступлениях, умножать их и набивать себе цену, возможно чаще открывая готовящиеся преступления, откуда большой соблазн самому их подготовлять». Так что вы ничего тут не говорите, кроме того, что совпадение момента возникновения провокационного дела с.-д. фракции второй

Государственной Думы с моментом крайней политической борьбы, которую вел Столыпин в Думе, объясняется счастливой звездой Столыпина.

Крыжановский.—Не счастливой звездой, а угодничеством лиц, которые желали служить. Эта история мне казалась подозрительной, и я впоследствии имел случай убедиться, что эти подозрения основательны; но Столыпин тут не при чем.

Председатель (показывает бумаги). — Я уже процитировал отдельные места из этих рукописей. Это вами написано о Столыпине, Сипягине и Плеве?

Крыжановский. — Да, но, повторяю, что это сырой материал. Я не помню многого, здесь сказанного.

Председатель (показывает документ). — Это автограф Столыпина?

Крыжановский. — Да. Это в числе бумаг, которые были от него переданы.

Председатель. — Позвольте мне его огласить.

Крыжановский. — Я собрал, что осталось непринятым родственниками Столыпина. Я предлагал Нейдгардту эти бумаги, думая, что он будет писать биографию Столыпина; он сказал, что биографии он не будет писать.

Председатель. — Оглашается рукописный документ. Письмо это сделалось достоянием России. «Во-первых, — изменение основных законов и прежде всего статьи 87-й; во-вторых, — издание нового выборного закона манифестом в день роспуска Государственной Думы, без предварительного обсуждения его в земском соборе или государственном совете. В виду невозможности ввергать страну в волнение, при второй комбинации, или в риск учредительного собрания, при первой. Всякое колебание и коллегиальное обсуждение судеб страны перед лицом страны в революционное время чревато опасностями; в-третьих, — выборы должны быть объявлены немедленно, и междудумье допущено быть не может, так как являются слухи и подозрения, волнующие страну, особенно, если будет выработан временный порядок для издания законов, который представит из себя второй coup d'état; в-четвертых, — одновременно с роспуском должен быть объявлен временный закон о печати; в-пятых, — избирательный закон предлагается в трех схемах; в-шестых, — может ли быть ампутация чьих-либо прав? В-седьмых, — теперь выборы идут под контролем крестьян, необходимо ли предоставить контролирующие права кому-либо другому? В-восьмых, — десятирублевые взносы; в-девятых, — пассивный ценз (возраст и грамотность); в-десятых, — окрайны». Что это такое и когда вам было передано?

Крыжановский. — Это разного рода документы, сохраненные мною для памяти, и часть бумаг, которые остались после смерти

Столыпина, разнообразные заметки, не попавшие в архив. Я думаю, что это конспект одного из всеподданнейших докладов.

Председатель. — Почему родственники не хотели принять автограф Столыпина по ряду совершенно государственных вопросов?

Крыжановский. — Разбор бумаг производился в присутствии семьи, частные бумаги были отобраны, а все казенные розданы в соответствующие учреждения; некоторое количество его заметок такого характера я оставил у себя.

Председатель. — Не есть ли это переданная вам программа какой-нибудь вашей работы?

Крыжановский. — Нет. Вы, вероятно, найдете несколько таких записок, которые, вероятно, представляют конспекты докладов или суждений в совете министров и которые сохранены мною для памяти. Это был отдельный ящик с надписью «Столыпина». В двух ящиках было сложено все, что осталось после Столыпина, или при жизни им дано. Все это лежало в числе материалов для его биографии. Я однажды спросил А. Нейдгардта: «Будете писать биографию Столыпина?». Он говорит: «Нет, а что?». Я говорю: «У меня есть документы, которые могут быть интересны вам».

Председатель. — Этот документ был в соседстве с письмом на ваше имя от 22 октября 1910 года, касающимся проекта Рейна.

Крыжановский. — В эти два ящика были сложены в хаосе бумаги, которые лично мне Столыпиным были даны и которые попали ко мне после его смерти.

Председатель.—Близко сотрудничая со Столыпиным по вопросам изменения государственных законов, вы можете объяснить, что именно требовало с точки зрения Столыпина изменения основных законов, и прежде всего, статьи 87-й? Ему мешала эта статья и он хотел ее изменить?

Крыжановский. — Это относилось к 1907 году. Я думаю, что это программа всеподданнейшего доклада, ибо казалось необходимым, чтобы никто из населения не был лишен права представительства. Я помню, что, по настоянию того же Шванебаха, возникал вопрос о внесении изменений в основные законы. Был какой-то переходящий разговор, который не оставил никаких следов. В чем заключалось, — в неясности редакции 87-й статьи или в чем-то другом. Еще говорили о неясности статьи 96-й, относительно порядка расходования кредитов на военные надобности; одним словом, разговоры бывали. Я помню, что в 1907 году были разговоры; но они не получили никакого выражения.

Председатель. — Вы не можете сказать, что стесняло Столыпина в 87-й статье?

Крыжановский. — Не могу сказать. Впоследствии в совете министров были разные сомнения, и какие акты под нее подходят и какие не подходят. Она написана неясно.

Председатель. — Какие же были сомнения?

Крыжановский. — Как исчислить срок, если Государственная Дума не участвует? Чрезвычайные обстоятельства вызвали сомнения. Вызывало сомнение, что такое «мера». Может ли мера касаться изменения закона? Отменяет ли она или временно приостанавливает закон? Тут — вопросы, с которыми мне приходилось сталкиваться как государственному секретарю. Что 87-я статья дает? Я вышел из затруднения тем, что признал, что мера, приведенная по 87-й статье, не отменяет закона, а создает временное правило. Поэтому, если вы развернете свод законов моего времени, вы увидите, что все законы сохранены в своде в неприкосновенности, с оговоркой, что там-то действует временное правило, изданное по 87-й статье, ибо, если законопроект не внесен в Государственную Думу или Дума отвергла, то механически мера отпадает. Поэтому, если считать, что она отменяет закон или изменяет его, возникла необходимость в воссоздании закона; если же считать, как я считаю, что закон временно пребывал в связанном состоянии, то нового акта не требуется, и с отменой этой меры закон остается в силе. Поэтому в своде законов все законы, хотя бы отмененные в порядке статьи 87-й, сохранены, и сделана выноска, отсылающая читателя к изданию временных актов; «мера эта не может, однако, вносить изменения в основные государственные законы, ни в учреждения Государственной Думы и государственного совета, ни в постановления о выборах в совет или Думу». Не было ли у него мысли, не следует ли параллельно исключить слова: «постановления о выборах в совет или Думу»? Во всяком случае, действий в этом направлении не было.

Председатель. — Значит, вы думаете, что этот автограф Столыпина относится к 1907 году?

Крыжановский. — Да. Далее указано, что государем приказано было, чтобы ни один из разрядов населения не был лишен представительства. На этом основании Кавказ не был лишен, хотя правительство хотело лишить Кавказ представительства.

Председатель. — Вы не отмечаете разницы в отношении к 87-й статье и к случаям ее применения в практике Столыпина и последующих премьеров?

Крыжановский. — Отмечаю. После 1906 года положение было таково, что масса нужд назрела, и надо было их удовлетворить. Я был председателем съезда старообрядцев и сектантов и участвовал в выработке закона, но он не был принят законодательными учреждениями. В то время по 87-й статье проводились только меры существенные, которые должны были, по мнению Столыпина, внести успокоение. Впоследствии же это законодательство приняло характер обихода, против которого я, в качестве государственного секретаря, всегда возражал. Именно, 87 статья применялась в случаях мелочных, вздорных, не подлежащих рассмотрению

и разрешение в порядке верховного управления, в таких случаях, которые могли разрешаться собственной властью министров; она стала чем-то вроде формального порядка. Я объясняю это хаосом, который господствовал в правительстве. Мне неприятно это говорить, но я должен сказать, что в последнее время порядка вообще не было, и всякое ведомство всякие меры, взбредшие ему в голову, срочные и несрочные, предлагало по 87-й статье. Объяснялось это тем, что в Думе, так называемая, вермишель накапливалась к последнему заседанию, где проходило по 50—80 законопроектов без всякого чтения. Вероятно, в значительной степени это породило в ведомствах стремление все проводить по 87-й статье.

Председатель. — И этот процесс, который вы отмечаете, шел все с большей и большей быстротой?

Крыжановский. — Да. На него все меньше и меньше обращали внимания, он обратился в канцелярскую форму. Если вы посмотрите законы последнего времени, то вы найдете там 50% мусора, который проходил, как заведенная канцелярская машина.

Председатель (предъявляет документ). — Это тоже — автограф Столыпина?

Крыжановский. — Да.

Председатель. — Вы не помните, к какому времени это относится?

Крыжановский. — Столыпин, когда открывал заседание совета министров, обыкновенно набрасывал себе список вопросов, подлежащих обсуждению в совете министров. Может быть, это всеподданнейший доклад, а может быть, и программа суждений в совете министров.

Председатель. — Я оглашаю предъявленный автограф Столыпина: «1-й пункт. Пассивный ценз для крестьян должен выражаться не только прохождением общественной службы, но и окончанием курса начальных училищ. 2-й пункт. Если принять классовую систему выборов, то каким путем избежать преобладания евреев в этих городских куриях? В-третьих, нельзя ли для распределения числа выборщиков по куриям принять за основание для крестьян и землевладельцев пространство владения землей, а для горожан численность населения? В-четвертых, — при обеих системах от городского населения каждой губернии будет по два члена Государственной Думы. Не слишком ли это много? В-пятых, — крестьян, участвовавших в крестьянских куриях, нельзя лишать права участия в выборах в качестве собственников в других уездах».

Крыжановский. — Это, очевидно, программа суждений, которые были в совете министров.

Председатель. — Вы составляли «всеподданнейший доклад о причинах успеха представителей к.-д. и более левых партий при выборах в Государственную Думу»?

Крыжановский. — Нет, это было составлено производством по выборам, на основании губернаторских донесений.

Председатель. — Это было рассмотрено в 1915 или 1916 году. Почему это у вас осталось?

Крыжановский.—Очевидно, Столыпин мне передал на память, как все, имевшее отношение к выборам.

Председатель. — Разве у вас не собирались всеподданнейшие записки с пометкой рассмотрения?

Крыжановский. — Нет. У Столыпина был в этом отношении хаос; некоторые доклады он у себя оставлял, некоторые отдавались.

Председатель (показывает рукопись). — Предъявляется рукопись, называемая «Проект учреждения Государственной Думы». Это у вас найдено. Какого происхождения эта рукопись и чьей рукой сделаны пометки?

Крыжановский. — Чьей рукой эти пометки сделаны, не могу вам сказать. Это относится, по всей вероятности, к тем мыслям о необходимости изменения некоторых положений Думы, которые одно время возникали в совете министров. Здесь вопрос о содержании (ст. 29), который был проведен в законодательном порядке: в Государственной Думе шел вопрос об установлении определенного содержания. По этому предмету была внесена записка, впоследствии Думой принятая. Статьи 34 и 39 касаются порядка слушания дел. Это относится к 1908, 1909 годам.

Председатель. — Предъявляется рукопись. «К преобразованию государственного совета», записка, поданная вами графу Витте.

Крыжановский. — Это, должно быть, в 1906 году.

Председатель. — Предъявляется папка с надписью «Было на рассмотрении его величества». Посмотрите, чьи тут есть автографы?

Крыжановский. — Обложка писана рукой Столыпина. Это — проекты манифестов, которые Столыпиным были составляемы. Тут вариант: «Да будет ведомо, что мы не допустим никакого беззакония или своеволия, и, не останавливаясь ни перед чем, приведем ослушников закона к подчинению нашей воле». Это, очевидно, написано моею рукою, должно быть, в тот момент, когда Столыпин составлял разные варианты манифеста о роспуске первой Государственной Думы. А это — редакционное изменение, которое, очевидно, вносилось по его просьбе, относится к роспуску первой Думы. «Твердо верую в духовную мощь нашего народа». «Дан в Петергофе». Разные были варианты. Дальше — тоже написано, повидимому, моею рукою, вместо «должностных лиц» — «местных властей».

Председатель. — Таким образом, поправки в этой папке всюду сделаны вашей рукою?

Крыжановский. — Да, повидимому, моею рукою сделаны. А этот манифест мною писан, предполагавшийся, но никогда не

получивший осуществления. Проект народного образования, составленный кн. Святополк-Мирским и разрушенный гр. Витте.

Председатель. — Предъявлена рукопись, начинающаяся словами: «Манифест в 26 день февраля 1903 года дан».

Крыжановский. — Это мною было писано в законодательном порядке; проект изменения устава совета министров.

Председатель. — С вашими поправками?

Крыжановский. — Да, даже мною написано: «в законодательном порядке». Предполагалось, что время осуществить меру, которая впоследствии была осуществлена, разделить совет министров на два этажа: один — для совета министров, а другой — малый — для товарищей министров. Предполагалось, кажется, тогда включить особых членов совета министров без портфелей, что ныне и сделано. Это — памятная записка о материалах, которая составлялась для Думы Булыгинской.

Председатель. — Г. секретарь, занесите в протокол, что предъявлена рукопись «Материалы высочайше утвержденного совещания к изысканию путей осуществления предначертаний 18 февраля 1905 года».

Крыжановский. — Здесь указание имеется, какие материалы составлялись.

Председатель. — Это не Щегловитова рука?

Крыжановский. — Нет, не Щегловитова. У Щегловитова твердый почерк. Это, может быть, писал Ф. Д. Самарин, который, я тоже помню, представлял проект манифеста. Одним словом, это разного рода черновые материалы, которые представлялись Столыпину в 1907 году.

Председатель. — Предъявлена записка: «Вторая редакция, переписанная 19 июня, о преобразовании совета министров на основании высочайшего указа 19 сентября 1905 года».

Крыжановский. — Это в 1905 году я писал.

Председатель. — Следующая, относящаяся к проекту изложения постатейного проекта 19 июня 1905 года.

Крыжановский. — Я думаю, что слова: «было на рассмотрении его величества», не относятся к тем бумагам, которые были здесь.

Председатель. — Предъявляется рукопись: «Совет министров не есть власть исполнительная».

Крыжановский.—Это мною писано, но это просто личные мои соображения, написанные, вероятно, уже в позднейшее время.

Председатель. — Предъявляется рукопись с надписью: «С. Е. Крыжановский. Предстоящее учреждение и открытие занятий Государственной Думы». Рукопись на 94 страницах.

Крыжановский. — Позвольте мне заглянуть, тогда я могу сказать. Вот это моя отметка внизу. Написано: «составлено С. Е. Крыжановским». Подана была Булыгину, но движения не получила. Это — в 1905 году.

Председатель. — Я забыл вам задать еще один вопрос. В вашей записке я читаю, в связи с изданием акта 3 июня: «В 8 час. веч. 2 июня новый закон был утвержден его величеством, который вернул его с весьма решительной запиской». Каково было содержание этой записки?

Крыжановский.—Каково было содержание записки, я не знаю, она не была показана. Я знаю, что возвращено было с какой-то запиской, о которой Столыпин сказал, что она — весьма решительного содержания. Вероятно, она содержала указание на введение, но я не имел возможности с ней ознакомиться.

Председатель. — Где эта записка находится?

Крыжановский. — Эта записка, по смерти министра, возвращена в канцелярию; но там не было. Во всяком случае, она должна находиться в личном архиве Столыпина. Все, что было интересного, он отправился в свое имение Колноберже, где был фамильный архив его отца, в Ковенской или Курляндской губернии, в местности, занятой неприятелем; все это попало, если верить газетам, в немецкие руки.

Председатель. — Что вам известно об истории включения в число членов государственного совета на 1917 год ряда деятелей крайних правых партий, в том числе, и вашего имени?

Крыжановский. — Почему вы говорите, деятелей правых партий? Я, вообще, никогда никаких партий не признавал.

Председатель. — А вы имели какое-нибудь отношение к союзу русского народа?

Крыжановский. — Абсолютно, никогда.

Председатель. — А к съездам черносотенных организаций?

Крыжановский. — Возьмите «Русское Знамя» и посмотрите, что написано обо мне. Вы убедитесь, что я никогда не имел никакого отношения и считаю их сумасшедшими. Я думаю, соответствующие отзывы обо мне есть. Я никогда, ни к союзу русского народа, ни к другим не имел никакого отношения и в съездах никогда не участвовал.

Председатель. — Вы говорите о недавних 1916 года?

Крыжановский. — Не только; никогда не участвовал, близко к ним не подходил.

Председатель. — Так что у вас не было органической связи с правыми организациями?

Крыжановский. — Из лиц правых организаций я давно знаю Пуришкевича, ибо он долгое время служил в главн. управл. по дел. м. х. Засим я встречал Булацеля. Когда-то видел этого сумасшедшего Савицкого. На мои приемы мало ли кто являлся. Но отношений у меня не было никогда.

Председатель. — Ну, а астраханец, которого вы назвали сумасшедшим, являлся к вам по делам правых организаций?

*

Крыжановский.—Я помню, он с жалобой какой-то обращался. Он приходил и хлопотал о своем сыне, сидевшем в тюрьме. Отец был черносотенец, а сын революционер. У меня о нем осталось впечатление, как о каком-то сумасшедшем.

Председатель. — Но вы знаете, что его принимали также в Царском Селе?

Крыжановский. — Я был далек от Царского Села. Я всегда за время своей карьеры пользовался открытым нерасположением там; и я не знаю, что там было.

Председатель. — Почему он к вам являлся? В качестве государственного секретаря вы не имели отношения?

Крыжановский. — Нет. Когда я был в товарищах министра.

Председатель. — Это не было в начале 1917 года?

Крыжановский. — Нет. Когда я был в комиссии русско-польской, ко мне являлся представитель не то из правых организаций, не то из национального собрания, не помню хорошо фамилии; в числе разных других он принес свою записку, свои соображения по этому предмету. Уйдя из министерства внутренних дел, я из этих деятелей ни души не видал.

Председатель. — Так что вы изволите утверждать, что писали в автографической заметке: что известными личными свойствами своими вы обязаны нерасположением печати, в особенности таких газет, как «Гражданин» и «Русское Знамя», а также придворных кругов, объединенного дворянства, еврейства и передовых слоев народа?

Крыжановский. — Я всю жизнь занимал центральное положение человека умеренного, убежденного в необходимости органического, постепенного развития государственной жизни. Меня одинаково не долюбливали как «Гражданин» и «Русское Знамя», так и «Речь». Кн. Мещерский всю жизнь клеветал на меня.

Председатель. — Позвольте вернуться к назначению новых членов государственного совета.

Крыжановский. — О назначении новых членов я знаю следующее: 22 декабря я был в последний раз, в качестве государственного секретаря, в Царском Селе со всеподданнейшим докладом, испрашивавшим высочайших указаний, по назначению президиума в совет. Мне было указано, что ответ последует на-днях, и не было дано указаний. Проходит 25, 26 и 27-е число. Я приготовился писать напоминательную записку, потому что первое января подходило. Должно быть, 27-го вечером, мне позвонил Щегловитов и просил к нему заехать. Когда я к нему заехал, он сказал, что он назначен председателем государственного совета, что предполагаются большие перемены в государственном совете, и показал мне список лиц, который был представлен на этот предмет предыдущим председателем совета министров, А. Ф. Треповым. В числе лиц последним номером стояло и мое имя (если это дей-

ствительно исходил от него). То, что я видел в руках Щегловитова, был список президиума и список новых назначений, в числе 12—14 человек; в числе последних стояло и мое имя.

Председатель. — 18?

Крыжановский. — Нет. Треповский список, кажется, был короче. Он меня спросил, хочу ли я перейти в члены государственного совета? Я ответил, что с Треповым никогда не говорил, но Куломзину говорил, что должность государственного секретаря надоела. Тогда он просил меня остаться до окончания сессии, ссылаясь на то, что ему, как новому председателю, незнакомому с техникой дела, будет затруднительно.

Председатель. — Со включением вас в члены государственного совета.

Крыжановский. — Я на это согласился на двух условиях. Во-первых, чтобы меня включили, и во-вторых, чтобы упразднили жалованье государственного секретаря и назначили жалованье по должности члена государственного совета, чтобы в мае не было никаких разговоров, а отказавшись от должности государственного секретаря, я остался в составе, при окладе. Так и было сделано. Меня включили в состав назначений числа 5—6 января, а содержание из должности государственного секретаря, 18.000 руб., перенесли на должность члена государственного совета. Затем я остался в предположении, что уйду в первой или во второй половине мая, если сессия не будет закончена раньше. Кто еще был в списке, я не помню. Я обратил внимание, что на первом месте стояло имя генерала из Красного Креста, Шведова. А на место государственного секретаря Трепов предлагал или Золотарева или И. Н. Лодыженского. Затем Щегловитов сказал, что предстоят значительные изменения, что предположены к удалению Штюрмер, Горемыкин, гр. С. Д. Шереметев. На мой вопрос, что, собственно, это значит, он сказал, что Штюрмер удаляется в виду неудобства, остальные, как старики неходящие. Там были перечислены старики, которые не ходили в заседания: Розен, И. А. Зиновьев, который почти не ходит и спал, Н. А. Зиновьев, который ослеп, и Воеводский. Список тех, которые будут назначены вновь, он не показывал. 28-го или 29-го он прислал список новых членов, помеченных собственноручно государем императором. Все эти списки, все документы должны находиться в делах государственной канцелярии.

Председатель. — Что вы знаете по поводу происхождения этих довольно радикальных перемен?

Крыжановский. — 28 декабря прошлого года я был у Щегловитова в первый раз в жизни. Никаких отношений раньше не существовало и никаких особых разговоров по этому предмету у меня с ним не было. Я понимал, конечно, что выдвигался ряд таких деятелей. Я спросил о Шведове, откуда эта кандидатура. Он сказал: «Не моя и не Трепова». Сказал, что эти лица все навязаны,

Я потом посмотрел и увидел, что те лица, которые были присланы от его величества, в качестве окончательно утвержденных, были, большею частью, сенаторы. Очевидно, новый председатель до некоторой степени подбирал себе партию, если можно так выразиться. Затем в числе лиц изъятых не оказалось ни Горемыкина, ни Шереметева. Я спрашивал Щегловитова, что это значит. Он сказал, что повергал на высочайшее благовоззрение, но засим, после колебаний и разговоров, было признано неудобным. Я его спрашивал: «А будете ли ходатайствовать об удалении Таганцева?» (потому что его группа была в контрах постоянных). Он сказал, что нет. Меня немножко удивило это его отношение. Я говорю: «Отчего же вы предлагаете других изъять, а не избегаете лица, с которым находитесь в более дурных отношениях?». Он сказал: «Это мой учитель. На него у меня рука не подымается. Я буду его отстаивать». Все это назначение носило характер подкрепления правой группы.

Председатель. — А что вам говорил Щегловитов о том, как он сам попал в председатели совета? Почему был обойден Куломзин?

Крыжановский. — Для меня было неожиданно. Я ожидал, что будет назначен Куломзин, и когда, 22 декабря, ездил, то вез под полою проект указа о назначении Куломзина и Голубева. Я был удивлен, что Куломзин не был назначен. На слова государя, спросившего о здоровье, я сказал, что Куломзин поправился. Одним словом, я пытался сказать несколько слов в его пользу. Но это было встречено, как обычно, сухим молчанием. Но здесь ничего не было сказано, кто будет преемником. Слухи ходили в городе разные. Говорили, что он добивается в председатели.

Председатель. — Были другие лица — Рухлов и Макаров.

Крыжановский. — Сам Щегловитов был намечен одним из кандидатов в председатели верховного уголовного суда, который тоже назначался указом одновременно; а каким образом он прошел, я понятия не имею.

Председатель. — Скажите, список членов государственного совета, который вернулся к вам с собственноручным списком бывшего императора, исходил от вас, от государственной канцелярии?

Крыжановский. — Нет, он был прислан Щегловитовым.

Председатель. — Да, он был возвращен Щегловитовым, не правда ли? Но кем он был составлен?

Крыжановский. — Нет, не возвращен. Он был прислан. Может быть, брал у М. Н. Головина. Это был общий порядок. Государственный секретарь имел совершенно отдельную отрасль. В эту отрасль не вмешивался. Поэтому, может быть, Щегловитов требовал какие-нибудь списки у Головина, но от меня никаких списков не получал.

Председатель. — А обычно списки членов государственного совета, высочайше назначенных к присутствованию в предыдущем году, посылались кем?

Крыжановский. — Председателем. Разделение труда было такое: государственный секретарь ведал кодификационною частью, затем рассматривал законопроекты, которые присылались правительством, и т. д. А все вопросы о назначении и перемещении докладывались государю непосредственно председателями, которые обычно хранили по этому предмету тайну. Но большею частью назначения проходили мимо них. Большею частью испрашивались назначения председателем совета министров. И было даже письмо (вероятно, оно сохранилось) Акимову во времена Столыпина, в котором было указано, чтобы доклады о назначении новых членов не делались председателем совета помимо сношений с председателем совета министров. Это было высочайшее повеление, объявленное Акимову Столыпиным. Такое письмо должно быть в делах государственной канцелярии. Но председатели это соблюдали мало, считая эти доклады чисто личным интимным правом.

Председатель. — В соответствии с тем, что вы изволили сказать, в делах государственного совета о назначении председателя на первом листе имеется вами подписанное представление от 22 декабря о назначении председателя.

Крыжановский. — Видите, положение было такое. Так как текущий председатель о себе докладывать не мог, то всеподданнейший доклад о назначении председателя, а иногда и вице-председателя всегда подносился государственным секретарем. Государственный секретарь представлял всеподданнейший доклад, а затем представлялся указ, согласно указанию. Затем все дальнейшее шло от того лица, которое назначалось председателем.

Председатель. — Совершенно на той же машинке, никем не подписанное, прямо испрашивается высочайшее предначертание о назначении вице-председателя, который призван к присутствию в государственном совете, на тот же срок.

Крыжановский. — Это в его канцелярии, вероятно, было. У председателя государственного совета есть своя канцелярия, которая заготовляет все всеподданнейшие доклады. У него есть два своих секретаря.

Председатель.—Так что это назначение только Щегловитова?

Крыжановский. — Это предназначенное назначение.

Председатель. — Если оно предназначенное, позвольте вас спросить, значит, этот список был в вашей канцелярии?

Крыжановский. — Очевидно, да.

Председатель. — Этот список, на котором рукою государя была сделана пометка?

Крыжановский. — Это я получил от Щегловитова. А список, написанный на машинке, очевидно, был напечатан или его будущим секретарем или статс-секретарем. Часто общие списки членов государственного совета не печатались, а на машинке писались, по той простой причине, что были изменения.

Председатель. — А вы не участвовали в составлении этого списка? Распоряжались, может быть?

Крыжановский. — Нет, я не участвовал. Я представил государю проект указа согласно списку, как водится.

Председатель. — Т.-е. после получения его от Щегловитова.

Крыжановский. — Да.

Председатель. — На такой же бумаге, написанная на такой же машинке, имеется несколько необычная справка — подсчет левых, правых и вообще политических групп государственного совета.

Крыжановский. — Эта справка составлялась Соковниным. Такие справки всегда составлял Соковнин, чиновник государственной канцелярии, который и ныне существует.

Председатель. — Это было вам возвращено Щегловитовым?

Крыжановский. — Нет, не было возвращено; им было возвращено то, что от государя.

Председатель. — Откуда же это попало?

Крыжановский. — Это передано было Соковнину или Головину, а впоследствии было прислано сюда.

Председатель. — Но, во всяком случае, эта справка ходила к императору?

Крыжановский. — Такие справки о распределении по группам составлялись секретарем председателя государственного совета периодически. Это распределение рассылалось всем членам государственного совета. Это не есть секретная форма, это было ежемесячное распределение по группам, с подсчетом, как они сами себя расписывали, а затем распределение их по происхождению, цензу. Так что это совершенно обычно. Всякий член вписывался в определенную группу.

Председатель. — Скажите, а как были опубликованы соответственные указы, по их изготовлении?

Крыжановский. — Указы, по их изготовлении, посылаются министру юстиции. А затем здесь вышло недоразумение, что эти указы были напечатаны в «Правительственном Вестнике» 1 января. Что касается сената, то они задержались. Я впоследствии спрашивал Руадзе, который говорил, что они не получены. Они были посланы в министерство юстиции и, кажется, по вине какого-то докладчика, доставлены не были. Между тем, в «Правительственном Вестнике» они были опубликованы нормально, первого января. Это была просто канцелярская задержка. Впоследствии, когда они были доставлены в сенат, они были напечатаны в собрании узаконений.

Председатель — Скажите, вы принимали участие в составлении плана выборной кампании в Государственную Думу 4-го созыва?

Крыжановский. — Нет.

Председатель. — И вы не знаете, кто возбуждал соответственный вопрос?

Крыжановский. — Никакого понятия не имею. Я слышал, что при выборах в 4-ю Государственную Думу было постановлено, на каких-то основаниях, совещение по этому предмету. Но кто и что, я не знаю. Лично у меня с Макаровым были очень холодные отношения.

Председатель. — Так что об этих совещаниях вы знали только по слухам?

Крыжановский. — Я слышал что они были. Но с А. А. Макаровым мы, кроме прощальных слов, ничего не сказали.

Председатель. — А что вам известно относительно поездки Гурлянда по России в связи с выборами в 4-ю Думу?

Крыжановский. — Я читал о Гурлянде насмешку в газетах, а более ничего не знаю; и подумал, что выбор был неудачный.

Председатель. — Однако, там было ярко сказано об отношении Штюрмера и Горемыкина.

Крыжановский. — Я прошу вас не смешивать меня ни с тем, ни с другим. Это была шутка Плеве. Плеве часто говорил: «Гурлянд — это мыслительный аппарат Штюрмера».

Председатель. — В течение последних двух лет существования старого порядка (я могу привести даты) несколько раз возникали слухи, которые проникали в газеты, о назначении вас министром внутренних дел.

Крыжановский. — Конкретно: раз в «Новом Времени», кажется, в 1915 году, было напечатано, что меня назначают председателем совета министров и министром внутренних дел. Меня осаждали корреспонденты и так мне надоели, что я даже набросал программу и конспект разговора с печатью. Но эти слухи не имели оснований. Я слышал, что однажды об этом был разговор у государя с Горемыкиным, но предположение было отвергнуто.

Председатель. — Вы подтверждаете, что инициатива исходила от Горемыкина. Однако, раз, в середине 1916 года, вы приезжали в ставку, а именно 27 июня 1916 года.

Крыжановский. — Я в ставке никогда не был. Это газетные сообщения. Это — молодые люди из государственной канцелярии распускали слухи.

Председатель. — А не было это в связи с польскими делами?

Крыжановский. — Нет. По польским делам я был председателем в согласительной комиссии и автором манифеста по польскому делу, которое слушалось в совете министров в 1916 г. Мне было

объявлено Сазоновым высочайшее поручение составить проект манифеста и положения об устройстве Польши.

Председатель. — Манифест этот не был опубликован?

Крыжановский. — Этот манифест был составлен, я его послал Сазонову, но он был возвращен. Он обсуждался в 2-х заседаниях и был решительно отвергнут.

Председатель. — Что это за письмо ваше к Поливанову о том, что 41 член считает желательным участие уполномоченных от рабочих в особых совещаниях? Это относится к августу 1915 года.

Крыжановский. — Это, вероятно, когда в государственном совете проходили законопроекты об особых совещаниях по обороне и по топливу.

Председатель. — Чем было вызвано это письмо?

Крыжановский. — Я должен сказать, что не помню никакого письма, которое бы я писал Поливанову. Может быть, какая-нибудь записка была, но письма официального я не помню. Во всяком случае, государственный секретарь является посредником между группами; вероятно, ко мне кто-нибудь обратился с просьбой сообщить это Поливанову.

Председатель. — Я пропустил еще один вопрос: вы считали закономерным и соответствовавшим законоположениям ежегодное возобновление состава присутствовавших членов государственного совета?

Крыжановский. — Практика заключалась в том, что это право монарха, представителей короны, — ежегодно возобновлять. Хотя текст закона довольно неясный, может быть, он имел в виду опубликование. Но претенденты бывали в самом начале. Вопрос этот никаких разногласий не возбуждал.

Председатель. — Вы уже упомянули, что работы комиссии 12-ти по польскому вопросу происходили под вашим председательством?

Крыжановский. — Фактически председателем был Горемыкин, а заместителем его был я, так как я знаю язык и историю и мог в этом деле разобраться. Заседание было открыто под председательством Горемыкина, а продолжалось под моим председательством.

Председатель. — Когда была эта комиссия?

Крыжановский. — Она была непродолжительна; было заседаний четыре или пять, в конце или начале июля 1915 г.

Председатель. — А зимой 1916 года?

Крыжановский. — Этой комиссии предшествовало совещание совета министров, кажется, в феврале или марте, а зимой занятия не возобновлялись. Комиссия уперлась в тупик.

Председатель. — В чем заключался тупик?

Крыжановский. — Выбор членов комиссии был неудачен с русской стороны; в комиссию попали люди случайные, с краем мало

знакомые. Обсуждались вопросы о том, как быть дальше с Польшей, обсуждали вопрос относительно польского языка, относительно прав католической церкви, относительно отношений России с Польшей. Поляки стояли на точке зрения автономии. Впоследствии они все более и более отходили и удалялись в сторону предположения об устройстве, в форме реальной унии. Русские же представляли мысль о необходимости сохранить полное государственное единство. Так что, из этой комиссии, ясное дело, никакого согласительного решения не могло выйти; поэтому, заканчивая занятия, я сообщил об этом Горемыкину письмом. На этом дело и кончилось.

Председатель (показывает бумагу). — Это ваш проект устройства Царства Польского?

Крыжановский. — Это было набросано чинами государственной канцелярии, в качестве согласительного предположения, для возможного соглашения точки зрения поляков с точкой зрения русской; а окончательный проект обеих сторон должен быть в печатном экземпляре.

Председатель. — Вы говорите, что русская половина была не особенно удачно подобрана?

Крыжановский. — В русскую половину входили: А. А. Хвостов, Балашов, Шубинский, Святополк-Мирский, член государственного совета Никольский (был приглашен Самарин, но он не приехал, и Никольский его заменил), а шестой — не помню кто. Это были люди, не имевшие отношения к краю, за исключением Святополк-Мирского, несколько знакомого фактически с польским вопросом. Остальные были представителями обще-земских русских воззрений и не были знакомы с жизнью Польши.

Председатель. — Что же, эта комиссия не имела никаких результатов?

Крыжановский. — Было составлено два проекта. Один проект выражал мнение русских членов совещания, другой изложен соответственно заявлению польских членов. Русские считали невозможным дальнейшие обсуждения на почве польских предложений. Впоследствии поляки еще изменили свой проект и, под влиянием событий, пошли в сторону еще большей самостоятельности. Наконец, проект 1916 г. — это чистая форма реальной унии.

LXII.

ДОПРОС А. А. ХВОСТОВА.

12 июля 1917 года.

Содержание: Назначение на пост министра юстиции. Оставление поста министра юстиции. Дело Сухомлинова. Объяснение со Штюрмером. Письмо Хвостова на имя государя. Ответ государя. Отношения с Распутиным. Штюрмер и Сухомлинов. Дело генерала Драчевского. Дело председателя кутаисского суда Федорова. Дело Мищука, Бурцева и с.-д. фракции 2-й Государственной Думы. Отставка Хвостова как министра внутренних дел. Арест Манасевича-Мануйлова. Отставка Хвостова. Взгляд на политику Штюрмера как министра иностранных дел. Политические группировки в совете министров. Протопопов, его знакомство с Хвостовым и назначение на пост министра внутренних дел. Курлов. Совещание с представителями блока. Отношение к общественным организациям в министерство Горемыкина. Запрещение съезда военно-промышленных комитетов. Закон о присутствовании на съездах представителей министерства внутренних дел. Меры, направленные против свободы печати. О законопроекте об ассигновании средств на содержание особых военно-полицейских команд. Об опубликовании наказа Государственной Думы. Совещание по польскому вопросу. Программа Штюрмера о разделении России на области. Доклад о выборах в Думу. О документах, переданных Хвостовым Протопопову. Записка по поводу доклада Штюрмера. О выборах в Думу. О назначении А. Н. Хвостова министром внутренних дел. О Комиссарове. О перлюстрации писем.

Председатель. — Вы изволили быть министром юстиции с 6 апреля 1915 года по 7 июля 1916 года и министром внутренних дел с 7 июля 1916 г. по 16 сентября того же года?

Хвостов. — Да, но в управление министерством внутренних дел я вступил по получении 11 июля 1916 г. из ставки указа о моем назначении.

Председатель. — Будьте добры изложить вкратце, при каких обстоятельствах состоялось ваше назначение министром юстиции, чем были вызваны ваши перемещения на пост министра внутренних дел и ваш уход с этого поста, а также расскажите об обстоятельствах, при которых вы приняли министерство юстиции от вашего предшественника Щегловитова, как вы получили мини-

стерство от вашего предшественника Штюрмера и как вы сдали министерство вашему преемнику Протопопову?

Хвостов. — Я жил в деревне, когда получил из Вильно от возвращавшегося из ставки И. Л. Горемыкина телеграмму, с просьбой приехать в Петроград. Из телеграммы я понял, что меня желают экстренно привлечь в ряды, так сказать, действующей армии, и, думая, что Горемыкин хочет это сделать исключительно по своей инициативе, поехал в Петроград с определенной целью отказаться. По приезде я видел Горемыкина, предложившего мне, как единственному, по его словам, кандидату государя, пост министра юстиции. Считая себя обязанным исполнить высочайшую волю, я хотя и доложил государю, что болен, но сказал, что опасности в том, что через две недели принужден буду выбыть из строя — нет, и государю угодно было меня назначить министром юстиции. Чем была вызвана отставка моего предместника — я не знаю. Почему государь остановился на мне — думаю, что по представлению И. Л. Горемыкина, с которым я знаком еще со времен ревизии сенатором Шамшиным Самарской и Саратовской губернии.

Председатель. — При каких обстоятельствах вы оставили министерство юстиции?

Хвостов. — 28-30 июня я был с последним моим докладом, по должности министра юстиции, в ставке. В виду доходивших до меня сведений о том, что вследствие моего упорства по некоторым делам, против меня, извините за тривиальное выражение, несколько раз создавалась интрига, желавшая меня выкинуть из министерства юстиции, а также в виду того, что мне нужно было представить государю доклад о замещении должностей важнейших моих сотрудников — директоров департаментов, я спросил у государя могу ли считать себя прочным на посту министра юстиции. Я говорил государю, что мне это нужно не в видах личного интереса, а потому, что, имея в виду просить о назначении моих ближайших сотрудников, я сделаю это только тогда, когда буду считать себя вполне прочным. Если же государю угодно меня заменить, я воздержусь от своего доклада, потому что моему преемнику, может быть, будут нужны другие сотрудники. Государь говорит: «Почему вам это пришло в голову? Конечно, прочно, дайте я подпишу». И государь удостоил мои доклады утверждением. Из этих докладов при мне состоялось только назначение в сенаторы бывшего директора Трегубова; последующие назначения, например, Мордухай-Болтовского и назначение на его место старшего юрисконсульта состоялось уже после моего перехода на пост министва внутренних дел. Что касается до интриги, о которой я уже упоминал, то она началась после того, как состоялось постановление первого департамента государственного совета о назначении предварительного следствия над генералом Сухомлиновым. Это дело возбуждено отчасти по моей инициативе, у меня были секретные

рапорты товарища прокурора палаты Жижина, командированного в ставку в распоряжение начальника штаба бывшего верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича и производившего, под наблюдением ставки, расследование по делу Мясоедова, по которому обнаружились некоторые обстоятельства, касающиеся генерала Сухомлинова. Конечно, Жижин должен был соблюдать тайну, но ему было разрешено не скрывать всех перипетий дела от своего непосредственного начальника генерал-прокурора — министра юстиции. Это было еще при моем предместнике и после вступления моего в управление министерством рапорты продолжали поступать ко мне. В виду того, что до меня рапорты, иногда в копии, иногда в подлиннике, представлялись государю и на одном из таких всеподданнейших докладов бывшего министра юстиции было написано государем: «Прошу и впредь доставлять мне эти рапорты», я считал своим долгом продолжать доставлять их государю. Рапорт, касавшийся дела Сухомлинова, я отвез государю лично, при одном из моих всеподданнейших докладов, причем словесно указал на его особую важность. Государь вернул мне рапорт без всякой резолюции. Когда была образована следственная комиссия, под председательством генерала Петрова, из членов Государственной Думы и государственного совета, я испросил высочайшее повеление на препровождение рапортов и всего имевшего отношение к делу Сухомлинова в верховную следственную комиссию. Поэтому я думаю, что вся деятельность следственной комиссии, касающаяся изменнических действий Сухомлинова, началась с материала, представленного мною. Следствие по делу Сухомлинова шло тоже под моим руководством и принятые меры пресечения—содержание под стражей и заключение в крепость—исходили также от меня. Приняты эти меры были не столько в видах безопасности, сколько в видах соблюдения достоинства судебной власти. За неделю до принятия мер я доложил о своих предположениях государю, доказав ему неотложность и необходимость приведения их в исполнение. Государь ничего против этого не сказал, а только заметил: «Да, да, я понимаю, что вы не испрашиваете указаний, я сам и не дал указаний».

Председатель. — Значит, вы были, безусловно, сторонником содержания Сухомлинова под стражей?

Хвостов. — Преступление было такое тяжкое и улики были настолько сильны, что мера пресечения — содержание под стражей — была несомненно необходима. Общество и так крайне недоверчиво относилось к будущему ходу этого дела и до меня доходили слухи, будто правительство и вышестоящая власть хотят всячески его затормозить. Комиссия отчасти оправдывала эти слухи, занятия шли медленно и когда, наконец, было назначено следствие и выбранный, по соглашению со мной, сенатор, перед самым производством следствия, заболел, стали говорить, что он заболел на-

рочно. Кроме того, Сухомлинов находился в нравственной зависимости от жены, и можно было всегда опасаться, что она поможет ему принять меры к побегу. Если бы такой побег случился, никто бы не поверил, что правительство об этом не знало, и все бы думали, что правительство способствовало побегу. Вот мотивы, побудившие меня остановиться на этой мере.

Председатель. — Все это относится к 1915 году?

Хвостов. — К началу 1916 года, потому что тогда председателем совета министров и министром внутренних дел был Штюрмер, с которым я беседовал перед тем, как принять эту меру. Отношение Штюрмера было, как и всегда на словах, согласное с моим, отчасти, пожалуй, потому, что я несколько напугал его возможностью побега, говорил, что не в силах устранить побег и что за побег он будет отвечать нравственно перед обществом и перед своей совестью.

Председатель. — Вы изволили подчеркнуть, что таковы были слова Штюрмера по отношению к этому вопросу?

Хвостов. — Я это подчеркнул нарочно, потому что на другой или на третий день, как мера пресечения была принята, начали появляться различные лица, между прочим ген. Максимович, которые просили моего заступничества и говорили, что вероятно мне известно, что несчастный старик уже арестован, что они, конечно, не хотят выносить сор из избы, не хотят докладывать государю, но что государь будет огорчен такой мерой. Тогда я сказал, чтобы они не беспокоились и не докладывали государю, потому что я такую меру никогда бы не мог принять, не доложив ему предварительно об этом сам. Для них было сюрпризом, что государю уже известно, и они от меня отстали, но при каждом моем всеподданнейшем докладе я замечал, что на государя кто-нибудь действовал, и государь хотя мне ничего не говорил, но интересовался этим делом и всякий раз возбуждал вопрос, нужно ли такое отношение к Сухомлинову, главным образом, на том основании, что он старик и никуда не убежит.

Председатель. — Вам не пришлось беседовать по поводу дела Сухомлинова с бывшей императрицей?

Хвостов. — Как же! Это было уже после ареста. Я увидел, что отношение Штюрмера к делу не таково, как мне могло казаться раньше, вследствие его внешнего сочувствия моим действиям. Он говорил, что императрица крайне встревожена тем, что Сухомлинов в крепости, что будь он в тюрьме, она бы больше с этим примирилась. Я говорю Штюрмеру: «Почему же вы не могли доложить императрице, что заключение Сухомлинова в крепость вызвано именно соображением, по возможности, облегчить ему содержание под стражей, потому что судебной власти нужно только, чтобы он содержался в одиночном заключении. Между тем, если бы он был заключен в тюремное здание, он подвергся бы

общему тюремному режиму». Штюрмер говорит: «Я не догадался это сказать. Хорошо, если бы вы сами поехали к императрице, она будет очень довольна, она даже высказывала мне, что желала бы с вами повидаться. Если вы будете свободны, поезжайте завтра». Я говорю: «Пожалуйста, отчего же мне не поехать, не повидаться». Тогда по прямому проводу снеслись с Царским Селом. Штюрмер просил доложить императрице, что министр юстиции спрашивает, может ли она его принять, и сейчас же последовал ответ, что императрица приглашает меня на другой день в 11 часов утра. Я был у императрицы больше часу; императрица говорила мне то же самое: «Ну, если бы в тюрьму, а то в крепость, там, где постоянно заключались враги царя». Я докладывал императрице, что она ошибается, что иногда крепость служила местом заключения для лиц других преступных категорий и что, кроме того, содержание старика в крепости для него гораздо легче, чем содержание под стражей. Мне указывалось на полное невероятие самого обвинения. Государыня говорила, что это человек наиболее преданный государю, человек, от которого государь слышал всегда только правду, и, когда я старался рассеять это неверное предположение о правдивости Сухомлинова, государыня даже схватилась за голову и сказала: «Боже мой, боже мой, кто бы мог это подумать». Говорила, не ошибаюсь ли я, что она верит мне, но, что может быть меня обманывают. Я удостоверил, что меня обманывать не могут, что я знаю лиц, которые мне это говорили, кроме того, я этих лиц проверяю фактическими данными. Этим свиданием с императрицей я воспользовался, чтобы при первом моем докладе государю опять осветить обстоятельства, которые ранее были мною мало освещены и которые могли быть освещены неверно в глазах государя путем неточной передачи моих мыслей. Я представил фотографические снимки с различных документов, с писем Сухомлинова, с его дневника, так что доклад был с иллюстрацией и произвел на государя сильное впечатление. Государь был, по обыкновению, очень милостив, просил меня, чтобы я уехал в отпуск недели на две, потому что я сказал, что на более долгое время я не могу покинуть министерство, и говорил: «Когда вернетесь, приезжайте ко мне с докладом, потом опять уезжайте в отпуск, потому что нужно беречь ваши силы, иначе ненадолго хватит».

Иванов. — Когда это было?

Хвостов. — Мой доклад был, кажется, 30 июня 1916 г., а 4 июля, по возвращении из ставки, Штюрмер просил меня приехать к нему и объявил, что он уходит из министров внутренних дел и что будто бы в феврале или марте перед своим назначением он указал на меня, как на единственного кандидата в министры внутренних дел, но когда государю угодно было остановиться на нем. Теперь, когда государь спросил, кто его кандидат, он сказал: «Мой кандидат остается тот самый, о котором я говорил

и раньше, — это министр юстиции». Я помню, до такой степени рассердился, что, вскочив, сказал: «Как же вы смели поднести мне такую пакость, не сказав ни одного слова?». Я сказал ему, кроме того, что хорошо понимаю, что он хочет выжить меня из состава кабинета, чего он и достиг, потому что я не приму это место. Он на это говорил, что государь будет огорчен и т. д. В тот же вечер я написал его величеству, что, «зная бесконечную милость государя, даже по отношению к лицам, впавшим в преступление, я умоляю его величество сжалиться надо мной, оказать мне этот знак милосердия и не налагать бремени выше моих сил и способностей». При этом я докладывал государю, что не имею никакой уверенности в том, что смогу оправдать его доверие на этом посту. В ответ я получил милостивое письмо государя, где было указано, что государь понимает это в смысле особой скромности и тем более уверен, что я с этим делом справлюсь, так как буду иметь прекрасных помощников, он назвал несколько лиц — Стремоухова, Степанова. Думаю, что эти лица были подсказаны Штюрмером, потому что Штюрмер мне говорил: «Как вы можете сомневаться, когда у вас есть такие помощники?». При чем он говорил и относительно ген. Климовича. Я знал, что он был с ним в скверных отношениях, но так как я говорил, что считаю Климовича порядочным человеком, то он упомянул о Климовиче, что «департамент полиции в руках человека, относительно честности и порядочности которого вы уверены, так что вам и в этом отношении будет легко действовать». Государь мне тогда же говорил, что некоторые наиболее трудные дела, как, например, дело продовольствия, отошли от министра внутренних дел и перешли в особое учреждение.

Председатель. — Скажите, как сложились ваши отношения с Распутиным за время вашего пребывания у власти в качестве министра юстиции?

Хвостов. — Никаких отношений у меня с ним не было, потому что видел я его всего единственный раз, когда он ко мне явился в бытность мою министром юстиции.

Председатель. — Это было в начале вашего министерства?

Хвостов. — Вероятно в начале, может быть через месяц или два после моего назначения. Помню, приходит курьер и говорит, что звонит по телефону господин Григорий Распутин и спрашивает, когда я его могу принять. Я приказал ответить, что приемный день у министра юстиции четверг от такого-то и до такого-то часа. Тогда меня спросили, могу ли я дать особый прием вечером. Я сказал, что лиц, мне незнакомых, я вечером у себя не принимаю, а в четверг он может ко мне явиться, как всякий другой человек. Он был поставлен об этом в известность тем же курьером и в следующий четверг он ко мне явился с просьбой о переводе какого-то нотаруиса, по фамилии, кажется, Копошинского, из Барнаула в более доходный город. Я сказал, что это не зависит от министра

юстиции. Потом он начал говорить об общем положении дел, на что я сказал, что не призван рассуждать с ним на такие высокие темы, встал, и он от меня ушел.

Председатель. — Он ссылался в разговоре с вами на императрицу?

Хвостов. — Нет. Он только сказал, что едет в Царское, я сделал вид, что не обращаю на это никакого внимания.

Председатель. — После этого к вам была обращена просьба императрицы устроить того же нотариуса?

Хвостов. — Как же! Не могу только сказать, была просьба до или после этого. Относительно Распутина могу еще сказать, что мое отношение к нему было заведомо отрицательное. Я несколько подчеркивал это не потому, чтобы хотел приобрести какую-либо популярность, но единственно, чтобы показать, что влияние Распутина в высших сферах не так сильно, как об этом говорили. Некоторым лицам, говорившим, что он заведует всем управлением, я приводил мой пример, потому что, раз я состою в должности министра и так к нему отношусь, то это является доказательством обратного. Делал я это сознательно, потому что считал распутинский вопрос — прескверным, могущим проникнуть в толщу населения и тем подорвать авторитет верховной власти, с которой я связывал благополучие России.

Председатель. — Скажите, вам известно, что около Штюрмера, в первые месяцы 1916 г., была предпринята большая агитация для спасения Сухомлинова, путем изъятия его из ведения гражданской юстиции и передачи военно-полевому суду?

Хвостов. — До меня доходили слухи, что это делается, чтобы скорее подвергнуть его смертной казни. Мне это говорили те, которые были наиболее возмущены и которые находили, что для него мало гражданского суда.

Председатель. — Следовательно, вы не слышали, что военно-полевому суду его хотели предать не за тем, чтобы повесить, а чтобы этим путем вывести исследование за пределы гласного рассмотрения и затем закончить дело?

Хвостов. — Этого я не слыхал.

Председатель. — По поводу вашей отставки вы не убедились в вашей ошибке относительно значения Распутина? Вам не стало известно, при перемещении на пост министра внутренних дел, что г-жа Сухомлинова в это время завязала особенно дружеские отношения с Распутиным?

Хвостов. — Это я знаю.

Председатель. — Вероятно, это стало вам известно post factum?

Хвостов. — Я должен сказать, что я не такой наивный человек, чтобы и тогда не считал Распутина важным фактором той жизни, но я считал своим долгом это отрицать.

Председатель. — Вы изволили выразиться в начале своего объяснения, что ваше упорство по некоторым делам послужило основанием к вашему переходу с поста министра юстиции на пост министра внутренних дел, — вы имели в виду только дело Сухомлинова или было еще какое-нибудь острое дело, отношение к которому министра юстиции кому-нибудь не нравилось?

Хвостов. — Еще было дело генерала Драчевского, но тут я не думаю, чтобы принимали участие те же лица, что и в деле Сухомлинова. Мне казалось, что здесь, вследствие своих симпатий к Драчевскому и его жене, были заинтересованы какие-то другие круги. По этому делу у меня тоже был подробный доклад у государя, в котором я, насколько мог, выражал свое полное несогласие на прекращение дела и настаивал на необходимости ведения его правильным судебным порядком.

Председатель. — А было заявлено желание о прекращении этого дела?

Хвостов. — Да, в виду того, что в настоящее время подобное дело может произвести неблагоприятное впечатление. Но я тогда докладывал и сумел доложить, что прекращение дела должно как раз породить те неблагоприятные последствия, о которых говорилось, как о последствиях его ведения. Государь совершенно согласился с моим докладом. Я помню, что, когда я увидел остроту положения, я начал искать выхода и представил его величеству, что неоднократно и раньше были случаи, когда временно дело приостанавливалось до окончания войны. Я высказал государю, что если ему угодно, то я бы просил сделать именно это, потому что если генерал Драчевский окажется более храбрым, чем он оказался честным, то быть может во время войны он совершит геройский подвиг, и, наконец, если будет убит, то дело само собою прекратится. Когда, после доклада, я спросил государя, какова будет его воля, государь сказал: «Пусть дело идет по закону».

Председатель. — Вы не замечали, когда вам пришлось бороться за суд и судебное течение процессов, что, в сущности говоря, аргументы были одни и те же и в деле генерала Драчевского и в деле генерала Сухомлинова, т.-е. пытались дела самых недобропорядочных людей связать с устоями монархии?

Хвостов. — Мне казалось, что тут скорее было чувство сожаления, особенно относительно Драчевского. Ему покровительствовала императрица Мария Федоровна и, конечно, без всяких политических соображений. Если не ошибаюсь, он был почетным опекуном. Следующее дело — это дело председателя кутаисского суда Федорова, которое тоже, по всей вероятности, вызвало некоторое недовольство. Когда я только что назначил расследование по этому делу и следователь Руднев приступил на месте к следствию, я получил записку от государя, без всякой его резолюции, только с подчеркнутыми некоторыми местами, заставившими понять, что

государь изволил обратить на дело Федорова внимание. По всей вероятности, это была записка от самого Федорова или от его родных, представленная государю и адресованная государем ко мне. В следующий мой всеподданнейший доклад я взял эту записку и, кроме того, к этому времени я получил телеграмму или письмо, хорошо не помню, от Руднева. Это мне очень помогло, потому что оказалось, что на записке должна была последовать резолюция, но ее не последовало. Государь мне сказал: «Я забыл написать свою резолюцию».

Председатель. — Она должна была быть какая?

Хвостов. — По всей вероятности согласная с запиской Федорова, просившей приостановить разбор дела до окончания войны. Когда государь сказал, что забыл поставить резолюцию, я говорю: «Ваше величество, если ваша резолюция должна быть согласная с ходатайством записки, то я счастлив, что вы изволили забыть, так как я вам должен доложить, что обнаружено то-то и то-то». Тогда государь сказал: «Как будет огорчен Сергей Петрович», т.-е. лейб-хирург. Когда было получено расследование и я его представил государю, то тут было новое ходатайство о том, чтобы опять отложить это дело, потому что Федоров хочет заняться благотворительностью под руководством принца Ольденбургского. Я тогда доложил государю, что от этого кутаисский суд очень пострадает, что необходимо приняться за очищение этого суда, потому что Федоров растлил этот суд. Мои доводы не вызвали сочувственного отношения, и я принужден был доложить государю: «Если бы вы разрешили мне переговорить с Сергеем Петровичем, я думаю, что и он признал бы, что убрать его брата из кутаисского суда необходимо». Я получил разрешение и, вызвав Сергея Петровича, все предъявил ему, и он согласился, что брат его остаться не может.

Председатель. — Чем кончилось дело Федорова?

Хвостов. — Он подал прошение об отставке и государь соизволил на это прошение согласиться.

Председатель. — Вы считали правильным прекращение течения судебного процесса?

Хвостов. — Тут не было судебного процесса, Федоров не был предан суду, было только назначено следствие и дело было в первичной стадии административного секретного дознания для руководства и для ознакомления одного министра юстиции.

Председатель. — Но предварительное дознание констатировало несомненное преступление данного лица?

Хвостов. — Вымогательства не было, а были излишние путешествия, которые иногда происходили только в воображении г. Федорова. На путешествия он получал прогоны; потом было усиленное расходование телеграфного кредита; им самим были представлены в контроль телеграммы совершенно частного характера, поздравительные и т. д. Так что, в сущности говоря, ничего

особенно резко преступного там не было, он просто производил на меня впечатление Хлестакова, любившего помпу, любившего окружать себя каким-то восточным престижем.

Председатель. — То, что вы изволили изложить, имеет на языке закона определенное название: представление в оправдание расходов частных телеграмм и выписка из казначейства сумм за мнимые поездки называются служебными подлогами и расхищениями казенных денег.

Хвостов. — Я руководился соображением, что иначе кутаисский суд не был бы скоро приведен в благополучное состояние, а здесь дело кончалось сразу.

Председатель. — Почему же? Ведь человек, которому грозят арестантские отделения, должен был быть отставлен от должности?

Хвостов. — Тогда эта должность не будет никем занята. А для меня было самым важным возможно скорее убрать его, тем более, что говорили, что он брат лейб-хирурга, что это дело совершенно пропавшее, и я рад был, когда смог добиться хоть такого результата. Если бы я был прокурор, для меня, быть может, была бы важнее другая сторона, в качестве же министра юстиции для меня важнее правильное положение суда.

Председатель. — Но вы были также и генерал-прокурором — это с одной стороны, а с другой стороны, правильное течение суда и правосудие, несомненно, требуют равенства и для писца полицейского участка и для председателя суда.

Хвостов. — Это непременно так. Если вы поставите вопрос о моей виновности, я скажу, что виновен, но так мне было легче достигнуть цели, к которой я стремился.

Председатель. — Скажите, не выдвигали ли вы в ваше министерство вопрос о помиловании, по двум или даже трем делам, лиц, которые были осуждены, и вы считали, что они были осуждены не вполне правильно? Я имею в виду дело Мищука, дело Бурцева и дело с.-д. фракции 2-й Государственной Думы?

Хвостов. — Все эти дела я помню. Дело Бурцева и 5 депутатов было выдвинуто в совете министров и в виду различных политических соображений, по мнению некоторых членов совета министров, необходимо было испросить помилование.

Председатель. — Кто из состава совета министров выдвигал этот вопрос, не вы?

Хвостов. — Нет, не я. Может быть Кривошеин. Я даже не мог выдвигать, потому что дела не знал.

Председатель. — Чем же было решено?

Хвостов. — Бурцев возвратился добровольно и за последние свои преступные деяния подвергся суду и был осужден. Тогда я испросил высочайшее соизволение на то, чтобы заменить ему присужденное судом наказание, кажется, пятилетним надзором

полиции в выбранном им месте жительства, или удалением за границу, смотря по тому, что он сам выберет. Он выбрал первое. Относительно дела 5 депутатов я не соглашался на представление его величеству всеподданнейшего доклада об их помиловании, или даже о смягчении им наказания. Во-первых, я рассмотрел это дело и признал, насколько можно судить по данным, которые были, что то преступление, за которое они осуждены, было действительно ими совершено. Кроме того, теперь перед моим отъездом, когда я был у бывшего министра юстиции Керенского, он мне напомнил о своем приходе ко мне с этим ходатайством. Тогда я лишен был возможности что-либо сделать, потому что всеподданнейшее ходатайство о снисхождении и смягчении наказания возможно только в форме всеподданнейшего прошения. Я просил Александра Федоровича, который ходатайствовал за этих членов Думы, что не может ли он побудить их подать всеподданнейшее прошение о снисхождении к их участи, и обещал, что не премину представить об этом его величеству. А. Ф. Керенский сказал, что он не надеется, чтобы эти лица подали всеподданнейшее прошение, а я не признал возможным, без подачи прошения, поднять вопрос о снисходительном к ним отношении.

Председатель. — Разве в совете министров не был поставлен вопрос о необходимости известного отношения к этим делам с точки зрения публично-правовой и может быть с точки зрения политической? Ведь поднимался вопрос о том, что в основе дела с.-д. фракции 2-й Государственной Думы лежит провокация? Так что уже интересы общественной справедливости, интересы правосудия требовали пересмотра.

Хвостов. — Относительно правосудия вопрос не поднимался и до меня не доходил, а относительно того, действительно ли они совершили деяние, которое им приписано, я вынес положительное заключение из производства по этому делу.

Председатель. — Вам не показывали переписку, относящуюся ко времени министра юстиции Щегловитова, с министром внутренних дел, где был констатирован факт укрывательства министром внутренних дел, главным образом департаментом полиции, провокаторши г-жи Шорниковой? Эта переписка возникла по доносу другого провокатора Бродского.

Хвостов. — Я впервые слышу это от вас. Я знал дело единственно по делам следствия и суда.

Председатель. — Что касается дела Мищука, то обвинение его последовало после кассации и оправдательного приговора, в результате небеспристрастного вмешательства в это дело киевской судебной власти и прокурорского надзора. Вы не рассматривали вопроса о необходимости обеспечения участи Мищука с точки зрения восстановления справедливости?

Хвостов. — Мне кажется, что тут главным образом подействовало на меня состояние его здоровья и его злосчастная судьба, ведь он скитался и нищенствовал.

Председатель. — При каких обстоятельствах произошла ваша отставка, как министра внутренних дел?

Хвостов. — Отставка моя последовала для меня совершенно неожиданно.

Председатель. — Вы имели высочайший доклад?

Хвостов. — Единственный раз, и этот высочайший доклад не давал мне основания предполагать, что моя отставка будет очень ускорена. Государь мне писал: «Я смотрю на ваше назначение, как на временное». В первый же мой доклад я докладывал государю, что благодарю его за милостивую надежду, которая мне дана, но что эту надежду я должен скрывать, по возможности, как от себя, так и от моих сослуживцев и подчиненных, потому что если я буду только думать о ней, то у меня не будет сил и решимости вести дальше дело; если я знаю, что я сейчас же ухожу, так стоит ли мне что-нибудь делать. Если я скажу об этом моим подчиненным, то невольно, по-человечески, у них будет другое отношение к моим требованиям, как к требованиям калифа на очень короткий час. Тогда государь мне сказал: «Конечно, это так, я это написал на тот случай, если состояние вашего здоровья, по вашему мнению, далее вам не позволит занимать эту должность, я даю вам право мне об этом сказать, и тогда я постараюсь найти вам заместителя». В том же письме государя было написано: «Не могу (хотя я об этом не просил) оставить вас на прежнем посту». С самого первого дня моего назначения министром внутренних дел у меня происходили разногласия со Штюрмером как по принципиальным, так и по частным вопросам. Первый вопрос был по поводу требования Штюрмера убрать Климовича. Это требование было предъявлено мне еще, как министру юстиции, чтобы я представил всеподданнейший доклад о назначении его в сенат. Я докладывал об этом государю и говорил, что не могу не сказать, что, как сенатор, Климович едва ли будет полезен. Кроме того, для сената слишком близка его служба в охранном отделении и хотя, по настоянию бывшего министра внутренних дел, когда он попал в директора департамента, ему и было объявлено о принципиальном согласии государя, чтобы он в будущем получил должность сенатора, но я предполагал, что это будущее должно было быть после многих лет его службы. Кроме того, я считал, что едва ли бы было полезно лишиться его знаний и его порядочности (как я его считал), главным образом, в департаменте полиции. Государь тогда сказал мне: «Да я и сам думаю и совершенно несогласен со Штюрмером, что полезно его убрать и нужно назначить в сенат». По всей вероятности Штюрмеру, вследствие такого моего доклада, выгнать Климовича не удалось. Когда был решен принципиальный

вопрос о моем уходе из министерства юстиции, но еще не был получен указ, Штюрмер обращается ко мне в заседании совета министров и говорит: «Когда же вы представите о назначении Климовича в сенат? Нужно воспользоваться последними днями вашего пребывания министром юстиции». Я говорю: «Разве ваше предположение о моем назначении министром внутренних дел отпало?».—«Нет, говорит, не отпало».—«Почему же вы думаете, что, только что вступив в министерство, я буду лишаться такого директора, которого я считаю порядочным и знающим человеком, в особенности в депаратаменте полиции. Я ни за что на это не соглашусь». С этого все и началось. Были различные эпизоды по поводу того, что якобы Климович его оскорбил публично на Троицком мосту, что жена Штюрмера не может спать, потому что боится, что Климович совершит покушение на жизнь Штюрмера. Наконец как-то Штюрмер мне сказал: «Я не могу больше жить — или я, или Климович». Я говорю: «Для чего же решаться на такие экстренные меры? У вас есть вернейший способ убрать Климовича, если вам так хочется, — перемените министра внутренних дел. Раз вы перемените министра, перемените и Климовича, а пока я министр внутренних дел, до тех пор Климович останется директором департамента. Когда я был у государя, я ему докладывал, что ко мне пристают, и докладывал государю, почему я не хочу увольнения Климовича, государь со мной согласился и говорит: «Я не знаю, что Штюрмеру нужно, почему он ему так ненавистен?». Я говорю: «Я не знаю. Когда он был министром внутренних дел — он мог менять, а пока я министр внутренних дел — я прошу, ваше величество, Климовича не менять». Я думаю, что это подействовало на Штюрмера в смысле моей отставки от должности министра внутренних дел. Кроме того, главным образом подействовало некоторое мое участие в аресте Манасевича-Мануйлова, о котором я 10-го апреля давал подробное показание в 27-м отделении, так что может быть можно ограничиться показанием, которое я уже дал.

Председатель. — Будьте добры повторить вкратце.

Хвостов. — Штюрмер ничего не знал об аресте Манасевича-Мануйлова, когда я ему сказал, что хочу сообщить интересную вещь, которая сначала его напугает, потом вероятно обрадует: «Сейчас арестован Манасевич-Мануйлов и арестован мертвой хваткой». Он действительно побледнел, потом бросился ко мне на шею и начал меня благодарить, и говорит, что он так доволен, что это негодяй и шантажист, и что как он смел уверять о своей близости с ним. Я сказал: «Я раньше вам не говорил об этом, зная, что вы робеете перед этим именем, и боялся, чтобы вы на меня не повлияли во всех моих предприятиях». Я думаю, главным образом, это послужило поводом к моей отставке, потому что Манасевич-Мануйлов, кроме связи со Штюрмером, имел отношения с Распу-

тиным. Он считался его ангелом хранителем, считалось, что при Манасевиче-Мануйлове жизнь Распутина будет сохранена, и на этом основании, вероятно, Штюрмер приобрел больших союзников и союзниц сбоку, которые и могли подействовать на государя в смысле необходимости моего удаления. Я забыл вам сказать, что когда я предоставил Штюрмеру уволить Климовича путем смены меня, как министра внутренних дел, то мы вместе с ним обсуждали вопрос о моем преемнике и даже остановились на одном лице. Он говорит: «Мне очень совестно, что я с вами об этом говорю, но вы ничего не будете иметь против того, чтобы я доложил?». Я говорю: «Вы только меня обрадуете». Штюрмер возил государю одного предполагаемого преемника. Это не был Протопопов, а другой — военный человек. Когда все важные дела кончились, я сказал Штюрмеру: «Борис Владимирович, что же вы меня мучаете, привезли ли вы мое освобождение?». Он замахал руками и говорит: «Как же в такое время можете вы об этом думать, мы все должны служить, и т. д.». Это было до ареста Манасевича-Мануйлова или, может быть, до возвращения Распутина, приехавшего через неделю после ареста Манасевича из Сибири, вместе с Вырубовой и комп. Вначале Штюрмеру не удавались походы против меня, даже на посту министра внутренних дел, а после Манасевича-Мануйлова это ему удалось к моему величайшему благополучию. Когда он объявил мне, что государю угодно было найти мне заместителя, я сказал: «В первый раз ухожу от вас с чувством искреннего удовольствия».

Председатель. — Он сказал (читает): «Правда, раньше был с ним в сношениях, но затем совершенно эти отношения прекратил, потому что считал Манасевича человеком низким».

Хвостов. — Да это раньше, много лет тому назад.

Председатель. — Потом вы, из осмотра служебной переписки по департаменту общих дел, обнаружили, что...

Хвостов. — Что он состоял при нем до самого последнего времени. Из разговора со Штюрмером мне пришло в голову, в особенности после моего доклада государю и после различных милостивых слов самого его величества, а что не передал ли Штюрмер мое ходатайство об увольнении, сказав, что я нездоров, и государь соблаговолил, тем более, что государь говорил, что это назначение временное, и т. д. Я тогда спрашивал Штюрмера: «Значит, надо мной не каплет, я могу написать прошение через неделю?». «Нет, говорит, раз там загорелось, так хотелось бы, чтобы было скорее. Прошу вас, сегодня же напишите Танееву прошение об увольнении». Я говорю: «Борис Владимирович, так никогда не делается, я Танееву ничего писать не буду, и сегодня же напишу государю». — «Зачем беспокоить его величество, напишите Танееву» Я говорю: «Разрещите, я сделаю так, как найду нужным». Мне казалось, он хотел, чтобы я написал Танееву, чтобы перед госуда-

рем не открылся какой-нибудь из выкинутых им фортелей. Тут я написал государю и тонко намекнул, что я государя не просил и что после его милостивых слов я бы сам не решился ни непосредственно, ни через кого-либо иного просить об увольнении до получения на это прямых указаний государя. Письмо я получил обратно с надписью государя: «Благодарю за верную службу и испытанную преданность, от души желаю здоровья на многие годы».

Председатель. — Что вы можете сказать про политику Штюрмера, как министра иностранных дел, в частности, в чем выражались его германофильские симпатии?

Хвостов. — Я довольно низко ставил способности Штюрмера и думал, что он с этим делом не справится, сделает какие-нибудь опрометчивые шаги и нарушит добрые отношения с союзниками, но до меня не доходило чего-либо подозрительного в смысле его изменнических поступков или предположений. При мне он всегда выражал самые патриотические чувства, ярую ненависть к немцам и Германии и полную симпатию к союзникам. Если он иногда и говорил, то я не видел ничго позорного, потому что и мне приходило в голову, что нас платонически не могут любить ни англичане, ни французы, и что они любят нас (я и теперь думаю так же) настолько, насколько им выгодно. И когда были различные переговоры, при которых я присутствовал при докладах бывшего министра Барка, относительно соглашения с ними по денежному вопросу, они своих выгод не забывали и довольно сильно на нас нажимали в некоторых отношениях. Да это вполне и естественно.

Председатель. — Каким человеком вы считали Штюрмера по вашему общению с ним в качестве министра?

Хвостов. — Я считал его всегда человеком фальшивым, двуличным, не особенно умным, хитрым, не верил ни одному его слову и мои присутствования в совете министров, в особенности после первого заседания, когда им был испрошен 5-миллионный кредит, на меня производили самые тягостные впечатления. Это была совершенная противоположность тому времени, когда председательствовал Горемыкин, которого я считал и считаю за безусловно порядочного и честного человека.

Председатель. — До вас доходили сведения о том, что он не особенно надежный человек и в делах имущественного характера?

Хвостов. — Да, сведения доходили, но я никогда их не проверял и теперь даже их позабыл.

Председатель. — Что вы помните о моменте, когда Горемыкин уступил свое место Штюрмеру? Какие действовали влияния и что нового в политику внес с собой Штюрмер?

Хвостов. — До меня доходили росказни более или менее правдоподобного свойства: об участии в этом деле Распутина, Питирима и т. д., но проверять эти сведения у меня не было ни времени,

ни охоты. Что до внешнего влияния, то, из-за перемены одного лица на другое, ничего нового не произошло, все, как катилось по наклонной плоскости, так и продолжало катиться. Ни в каких совещаниях я не участвовал, во-первых, мне было некогда и, во-вторых, я всемерно, насколько мог, старался от них отстраниться. Я не помню, чтобы у Штюрмера было какое-нибудь чисто политическое совещание, больше были совещания по поводу расстройства транспорта, продовольствия и в них я участие принимал.

Председатель. — Какие были у вас группировки по разным вопросам, внутри совета министров при Горемыкине и Штюрмере?

Хвостов. — Это мне очень трудно сказать. Вначале я был малоопытен, мало знаком с деятельностью министров. Может быть я ошибаюсь, но мне казалось, что при вступлении моем на пост министра юстиции была какая-то старая рознь между Горемыкиным и Кривошеиным и поэтому около Кривошеина сплачивались лица, бывшие против Горемыкина.

Председатель. — Пожалуйста, расскажите о сдаче вами должности министра внутренних дел Протопопову.

Хвостов. — Протопопова я видел по своем увольнении два раза. После состоявшегося указа о нем он просил меня, чтобы я остался на квартире сколько захочу и чем больше, тем лучше, потому что он тогда будет каждый вечер приходить ко мне и поучаться. Я тогда сказал, что, к сожалению, лишен возможности это сделать, потому что на другой день переезжаю к себе. Таким образом я только два вечера пользовался обществом А. Д. Протопопова. В первый день была просто беседа, при чем говорил больше он, на второй день я передавал ему министерство, знакомил его с личным составом, передал различные записки, которые хотел передать лично и которые не мог передать в департаменты.

Председатель. — Как вы себе представляете, каким образом Протопопов получил портфель министра внутренних дел?

Хвостов. — По сведениям, до меня доходившим, я думал, что это не без влияния того же самого пресловутого Распутина, хотя Протопопов и говорил, что он его не знает. Он многое говорил из того, что я знал наверное, что это неверно. Как-то в заседании государственного совета я с ним встретился, он бросился ко мне с обычным радушием и говорит: «Какой ад я испытываю, в особенности теперь стало еще труднее с департаментом полиции, там открылись новые различные революционные организации». Тогда я сказал: «Пожалуйста вы мне об этом не говорите, потому что все ваши затруднения с департаментом полиции меня нисколько не могут тронуть. Я вас очень жалел, когда без вашего согласия у вас вырвали опытного директора департамента полиции Климовича, но после того, как вы сами себя лишили, по требованию Штюрмера, опытного товарища министра, который ведал депар-

таментом полиции, — Степанова, человека вполне порядочного, и когда вы вместо Климовича пустили (я выразился не особенно одобрительно об умственных качествах преемника Климовича) Васильева, а вместо Степанова пустили обер-провокатора Курлова, то у меня нет к вам никакого чувства сожаления». Он говорит: «Курлов? Даю вам слово, что он за 5 верст не подходит к делам департамента полиции», а у меня были связи с министерством и мне было известно о всеподданнейшем докладе, который возлагал на Курлова эти обязанности.

Председатель. — Говорил он вам что-нибудь о своей программе, как министр внутренних дел?

Хвостов. — Нет, напротив, он говорил, что это назначение упало ему, как снег на голову, что если у него и было какое-нибудь стремление, то — чтобы я взял его к себе в товарищи, что это была его мечта, а чтобы заменить меня — он даже не думал об этом. Это такая роковая для него участь и такое бедствие, что он представить себе не может, как он из них выплывет.

Председатель. — Почему у вас о Курлове составилось мнение, как об обер-провокаторе?

Хвостов. — По газетным сведениям и по словам лиц, близко его знавших, — он ведь давно стал общеизвестен в этом отношении по делу Богрова. Кроме того, я раз видел его, когда он занимал пост товарища министра внутренних дел — заведывающего департаментом полиции.

Председатель. — В начале вашего вступления в должность министра юстиции, в августе 1915 г., у вас не было какого-либо совещания с представителями блока?

Хвостов. — У меня не было, но я принимал некоторое участие. Это было на квартире покойного П. А. Харитонова. Кроме Харитонова и меня, я не могу точно сказать, кто был из министров, кажется, Кривошеин, может быть был Шаховской, потом были члены Государственной Думы Милюков и С. И. Шидловский, кажется, был член государственного совета Гримм, но точно я не могу сказать. Главным образом, Харитонов вел разговор с некоторыми представителями Думы.

Председатель. — Какая была цель совещания, какие были выставлены взаимные требования или пожелания?

Хвостов. — Помню, что было высказано желание относительно допущения евреев в присяжные поверенные, потом говорилось о деле пяти депутатов. Было только одно совещание, так что подробности выпали у меня из памяти.

Иванов. — Разве не было перед этим совещанием программы блока?

Хвостов. — Только по отдельным пунктам.

Председатель. — Что же, вы сошлись или разошлись с представителями блока?

Хвостов. — В конце концов мы разошлись.

Председатель. — Какое было отношение к общественным организациям министерства Горемыкина в тот период, который вы застали?

Хвостов. — Что вы называете общественной организацией — земские союзы?

Председатель. — Союзы, сложившиеся в связи с войной, затем городские и земские самоуправления, профессиональные союзы. Кажется, несколько раньше до вас, весной 1915 г., этот вопрос был поставлен в совете министров?

Хвостов. — Вопрос был поставлен при Маклакове, а во время моего пребывания в составе совета, мы если и обращали внимание на необходимость земского и городского Союзов, то в смысле отчетности, потому что все союзы не давали никакой отчетности в требуемых ими миллионах казенных денег. С этой точки зрения почти каждое заседание совета министров обращалось к этому вопросу и принимались некоторые меры к побуждению их давать эти отчеты, но, кажется, они и до сих пор ничего не дали.

Иванов. — Очевидно, совет сокращал кредиты. Была ли эта тенденция в смысле стремления ограничить деятельность союзов этим путем, или это было просто в зависимости от непредставления отчетности, потому что отчеты все-таки представлялись.

Хвостов. — Нет, отчетов не было. Нужно сказать, что все требования шли в совет через комиссию Веденяпина и обыкновенно совет соглашался с заключениями Веденяпина, потому что он очень добросовестно относился к вверенному ему делу. Так что большинство сокращений было без всяких тенденций, просто потому, что комиссия Веденяпина находила, что эти траты излишни.

Иванов. — При рассмотрении в совете вопросов об отпуске кредитов и о сокращении Веденяпинской комиссией возбуждался вопрос, нужно ли отпускать кредиты или нет, так как были случаи сокращения уже в совете министров?

Хвостов. — Иногда государственный контроль или министр финансов находили, что требования излишни. Иногда, когда были ходатайства развить какой-нибудь лазарет сверх размеров, военный министр говорил, что нет надобности, потому что нет боев на том или другом фронте.

Председатель. — Вы сказали, что принимались меры к отчетности, но в бытность вашу министром внутренних дел 31 августа 1916 г. был запрещен съезд военно-промышленных комитетов, который предполагалось созвать в связи с бывшим тогда лекарственным голодом. Какие были соображения в пользу запрещения такого съезда?

Хвостов. — Нужно сказать, что весь этот вопрос был изъят из ведения министра внутренних дел и вообще всякого министра. Этот съезд мог зависеть и от министра внутренних дел и от принца

Ольденбургского. Я теперь могу ошибиться, но мне кажется, что созыв съезда был запрещен, в виду прямого категорического указания принца Ольденбургского.

Председатель. — Но принц Ольденбургский не был диктатором России.

Хвостов. — Принц Ольденбургский издавал, как верховный санитар, повеления, а все его распоряжения имели силу высочайших. В данном случае против этого повеления совет министров сделать ничего не мог, если бы даже и захотел.

Председатель. — Это входило в его область?

Хвостов. — Да, этот л карственный съезд входил, так как принц Ольденбургский считал своим все, что только затрагивает вопросы лекарственные или санитарные.

Иванов. — Когда вопрос о съезде рассматривался вторично, не был ли он поставлен так, что можно было разрешить этот съезд при условии, если ответственность за него возьмет на себя принц Ольденбургский?

Хвостов. — Я этого не помню. Помню, был случай, совет министров не разрешил какого-то съезда, а принц Ольденбургский этот съезд разрешил.

Председатель. — В последний момент вашего пребывания на посту министра внутренних дел был издан закон о присутствовании представителей министерства внутренних дел на съездах?

Хвостов. — Как же, он был издан не только по моей инициативе, но и по моему предложению. Я пришел к необходимости принять эту меру вот почему: еще до бытности моей министром внутренних дел вопрос о созыве съездов был отнесен к ведению совета министров и вследствие этого оказалось, что ни одного съезда нельзя было созвать. Это еще ничего, если совет министров заблаговременно обсудит и признает, что нельзя, — что же делать? Но иногда бывало так, что, вследствие сложности процедуры представления в совет министров этого дела, совет министров рассматривал это дело тогда, когда уже было нельзя созвать съезда, если бы совет министров на это согласился. Но так как совет министров твердо стоял на том, что эти съезды вообще нежелательны в военное время и что разрешать их можно только в случаях совершенно несомненных, когда эти съезды не могут быть опасны или когда они могут быть полезны, то совет министров решил передать вопрос о разрешении съездов министру внутренних дел, но, по условиям того времени, этого можно было достигнуть только в случае, если принята мера, что министр внутренних дел командирует или уполномачивает лицо своего ведомства к присутствованию на этих съездах. Так что мною указанная мера была принята только для того, чтобы иметь возможность допускать самые съезды и чтобы этот вопрос не остался на мертвой точке. Если бы я эту меру не принял, едва ли совет министров согласился предоставить право

разрешений съездов министру внутренних дел, и тогда, значит, это никогда не осуществилось бы. Между тем, они были до крайности необходимы и желательны.

Председатель. — При вас или при Протопопове в министерстве внутренних дел было сделано представление о вознаграждении некоего Тарасова за победу стародумцев на выборах петроградской городской думы?

Хвостов. — В мое время никаких представлений не было. Но я помню разговор о том, что Тарасов не был удовлетворен тем вознаграждением, которое ему дали или хотели дать.

Председатель. — Не было ли принято вами такой меры в бытность вашу министром внутренних дел, не дополняли ли вы перечня сведений, не подлежащих оглашению с точки зрения военной, пунктом, запрещавшим оглашать о переменах и работах по законопроектам в совете министров?

Хвостов. — Этого при мне не было.

Председатель. — Это дополнение было внесено 3-го августа 1916 года, что как раз совпадает с вашим пребыванием.

Хвостов. — Вы мне не можете указать, кто вносил, и разве, наконец, это зависело от министра внутренних дел?

Председатель. — По крайней мере это шло по главному управлению по делам печати. Скажите, вы не принимали участия в создании законопроекта об ассигновании средств на содержание особых военно-полицейских команд? Этот проект выдвигался правительством против требования и пожелания Думы о призыве полицейских в армию.

Хвостов. — Это было при Протопопове, но возбудил этот вопрос я.

Председатель. — Что вас заставило возбудить этот вопрос в порядке чрезвычайном?

Хвостов. — Штаты полиции лежали в Думе много лет. Они были представлены туда Маклаковым, и мне говорили чины моего ведомства, что против этих штатов в Думе особых возражений нет. Я не знаю, в виду ли неблагоприятных отношений к Маклакову они не проходили, или в виду того, что были другие дела, более спешные, по мнению Думы, но только они там застряли, и я застал министерство внутренних дел в таком положении, что полиции почти не существовало. В виду дороговизны и в виду того, что заработок в различных других профессиях очень возрос, многие чины полиции прямо убегали. Некоторые убегали и по другим причинам, но всюду полиция была в половинном составе или еще того меньше. Если не ошибаюсь, в Петрограде чуть ли не 60% городовых было в отлучке. Исходя из этого, я пришел к заключению, что вся полиция может разбежаться, так как оклады действительно ничтожны, и что нужно, в виду экстренной меры, ввести новые штаты полиции. Так как это можно было

ввести только по 87-й ст., то я и предпочел внести по 87-й ст. Таким образом, разработка этого законопроекта была сделана по моему указанию.

Председатель. — Вы находили правильным внесение проекта по 87-й ст. накануне открытия сессии Думы?

Хвостов. — Когда я об этом думал, это было не накануне. Но я считал, что этот вопрос до такой степени спешный, что нельзя ожидать собрания Думы, которая может его, не рассмотрев, отложить; кроме того, я даже и не мог вносить вопрос в Думу, потому что он уже лежал в Думе, а внесение этого вопроса по 87-й ст. только заставило бы Думу рассмотреть дело, поставить его на очередь, и потом мне казалось, что эти штаты должны быть введены немедленно. Я нисколько не буду отрицать, если бы я имел несчастье и дальше быть министром внутренних дел, может быть я накануне Думы распубликовал бы этот закон по 87-й ст., чтобы заставить Думу приняться за него, и, конечно, я не стал бы ожидать, чтобы прошел 2-месячный срок.

Председатель. — И вы предпочли провести этот закон по 87-й ст.?

Хвостов. — По моему убеждению, положение полиции было отчаянное, а так как мне не приходило в голову заменить полицию милицией, которая приведет к таким отрадным последствиям, то я и решился на это.

Председатель. — Вы заняли какое-нибудь положение по отношению к опубликованию наказа Государственной Думы или это прошло помимо вас?

Хвостов. — Это было очень давно, я даже не могу сказать, рассматривал ли я этот наказ, в качестве сенатора 1-го департамента. Кажется, рассматривал.

Председатель.—Какое было совещание при участии Штюрмера по польскому вопросу в августе 1916 г.?

Хвостов. — По всей вероятности это был проект готовившегося высочайшего манифеста. Если мне память не изменяет, бывший министр иностранных дел Сазонов привез из ставки нечто в роде проекта манифеста и по высочайшему повелению его предположения были переданы для редактирования бывшему государственному секретарю Крыжановскому, который составил проект манифеста, внесенного на совещание совета министров, где по этому поводу были высказаны различные соображения. Мне помнится, что проект этот был до крайности неудачен и невразумителен. Неудачен не только по своей редакции, но я даже затруднялся соглашаться с некоторыми его положениями. Тогда были высказаны различные мнения и, кажется, было поручено, если не ошибаюсь, Трепову и Макарову разработать на тех же основаниях новую редакцию проекта манифеста. Потом эти две редакции рассматривались и были изменены — часть взята из одной,

часть из другой, и уже после этого было представлено на воззрение государя.

Председатель. — Манифеста все-таки не последовало?

Хвостов. — Да. Я имел случай во время одного из моих докладов у государя коснуться этого вопроса, и, насколько я понял, государь отложил опубликование манифеста до момента вступления русских войск в пределы бывших губерний Царства Польского. Действительно, трудно было издать манифест, гласивший, что наши войска вступили в пределы Польши, когда они еще не вступали. Для меня это было понятно.

Председатель. — Дело не в этих словах, а в том, чтобы в противовес политики Германии издать государственный акт, направленный к дарованию польскому народу некоторых свобод, и противопоставить меру государственной важности мере, принятой Германией.

Хвостов. — С этим все соглашались. Возражали против подробностей, против излишних определений или уточнений свобод, которые предполагалось дать в будущем.

Председатель. — Что вы знаете от Штюрмера, в связи с внесением им программы о разделении России на области и об устройстве областных управлений с несколькими 10 — 12 — 15 наместниками?

Хвостов. — Относительно наместников я не помню. Вообще, сколько мне помнится, доклад был сумбурный: из него нельзя было понять, каким образом и что именно подразумевал Штюрмер под областным устройством. В совете министров при мне этот проект никогда не рассматривался. А лично мне о нем говорил Штюрмер, но не могу точно сказать, когда он сказал, тогда ли, когда передал мне свой кабинет и вместе с тем всякие бумаги, в том числе и этот доклад, или в другое время. На докладе была высочайшая резолюция о том, чтобы законопроект был внесен к созыву Думы.

Председатель. — Этот доклад датирован 7 июля (показывает).

Хвостов. — Совершенно верно. Но 7 июля ровно ничего не значит, потому что он мог доклад оставить у государя. В моем показании, вероятно, неверна дата.

Председатель. — Вы изволили сказать, что при передаче министерства Протопопову передали ему записки, которые не могли передать в виду их важности иным путем. Какие это были записки?

Хвостов. — Я передавал доклад, который вы мне только что показывали. Когда я докладывал государю, я доложил и об областной реформе. В докладе было изложено, что законопроект разработан Штюрмером еще в бытность его ярославским губернатором. Я спрашивал, где же этот законопроект? Был ли он на заключении ведомства? В совет министров он не вносился,

разработаны ли, наконец, материалы? Я справлялся и в министерстве, при чем оказалось, что ни материалов, ни законопроекта нет. Я снесся с Ярославлем, там тоже ничего не оказалось. Тогда я затруднился, как я могу взять на себя внести в Думу законопроект такой большой важности, который касается всех сфер управления, всех ведомств. Тут я узнал от автора доклада Гурлянда, что так как цель его была занять внимание Государственной Думы и интересными разговорами отвлечь от других, более важных предметов, то для доклада и не требовалось материалов. Я признал, что на эту игру я не согласен, и доложил государю. Государь разрешил не исполнять его резолюции, но все же заняться этим делом. Поэтому я даже не отметил в резолюции разрешения государя, а сообщил об этом на словах Протопопову при передаче доклада. Второй доклад, который я передал, был тоже Штюрмера о выборах в Думу. Я только не помню, как он был подписан — министр внутренних дел или председатель совета министров.

Председатель. — «Председатель совета министров Борис Штюрмер». Итак, вы передали Протопопову доклад о производстве выборов в лето нынешнего года в 5-ю Государственную Думу?

Хвостов. — Кажется, там было написано: «согласен».

Председатель. — Вам Штюрмер так и сказал, что он не придает значения этому докладу об областном устройстве и что нужно внести его в Думу, чтобы отвлечь внимание?

Хвостов. — Это сказал не Штюрмер, а Гурлянд. Когда я ему сказал: «Как же можно решиться на такое легкомыслие, не имея никаких материалов, никакого законопроекта, решиться до такой степени исказить слова государя, что можно получить резолюцию, возлагающую на министра внутренних дел обязанность внести законопроект?», он ответил: «Да это и не требовалось, особых материалов ведь не нужно. Главная цель — отвлечь Думу».

Председатель. — Вам известно, что таков был смысл записки, при которой он представил законопроект?

Хвостов. — Записка только одна и есть, другой я не знаю. Кажется, в этой записке ничего не было, иначе я не поразился бы сообщением Гурлянда.

Председатель. — Значит, вторая записка, которую вы передали Протопопову, была о выборах? Что еще вы передали ему?

Хвостов. — Затем различные документы по интересующему меня делу об израсходовании кредита — 1.300.000 руб. б. министром внутренних дел А. Н. Хвостовым. Мне была представлена справка о расходовании секретных сумм департамента полиции, вложенная, но уже не мною, в один из всеподданнейших докладов Хвостова. Я не помню, требовал ли я эту справку или нет. Но раз она оказалась в этих бумагах, то очень может быть, что она и была передана в бумагах Протопопову. Справку эту я мог требовать потому, что искал денег и не мог найти их в департаменте,

где шло производство отчетности по этого рода деньгам. Так как я требовал отчетность по департаменту полиции, то может быть, они и дали эту справку, чтобы я указал, те ли это деньги, о которых я домогался сведений.

Председатель. — Пожалуйста, посмотрите, это вашей рукой написана записка от 26 августа 1916 г. в связи с областным устройством (показывает). Это резюме вашего доклада бывшему государю?

Хвостов. — Да, это я тоже передал Протопопову. Эта записка, несомненно, моя, хотя я о ней забыл. Но нужно сказать, что редакция высочайшего указания, которая мне была дана, конечно, не в том, чтобы отложить до окончания войны, а в том, что я иной редакции не мог придумать. Я не мог сказать, что государь взял назад свою резолюцию, потому что он признал, что измышления Штюрмера — занять Думу разными разговорами — совершенно немыслимы, я должен был облечь в более приличную форму — что нужно прежде разработать законопроект, а потом уже представлять.

Председатель. — Вы не помните, при передаче Штюрмером этого доклада, вам была передана другая записка, при которой доклад был представлен бывшему государю (показывает)?

Хвостов. — Эта, наверно, мне не была передана.

Председатель. —Последние слова этой записки я позволю себе огласить (оглашается копия записки за подписью председателя совета министров от 7 июля 1916 г. на имя государя). (Читает): «Если бы оказалось осуществимым закончить разработку проекта к началу занятий Государственной Думы, правительство имело бы возможность выступить с предложением об областной реформе, в виде ответа на разрабатываемые Думою, в порядке ее почина, проекты о земской и волостной реформе, не говоря уже о значении областного вопроса по существу его. Внесение такого проекта, несомненно, отвлекло бы общественную мысль несколько в иную сторону и, во всяком случае, острота положения была бы значительно смягчена. Об изложенном имею счастье представить на монаршее вашего императорского величества благовоззрение». Таким образом это должно было быть ответом на серьезный проект Думы о земской и волостной реформе.

Хвостов. — Если бы мне эта записка была известна, тогда был бы совершенно праздным мой разговор с Гурляндом и вопрос — «Как же вы решились искажать слова государя и получить высочайшее повеление, чтобы без всяких материалов был изготовлен проект?» Из этого я заключаю, что этой записки я не имел.

Председатель. — Вы изволили изложить точку зрения Штюрмера на необходимость производства выборов в 5 Государственную Думу. А как относился к этому вопросу, в связи с докладом Штюрмера, бывший государь?

*

Хвостов. — Об этом я уже давал довольно подробные показания г. Вильце. Штюрмер дал мне оба доклада вместе. Прежде всего я обратил самое серьезное внимание на доклад об областном устройстве, потому что он обязывал министра внутренних дел произвести совершенно непосильную работу. Относительно другого доклада, который вероятно у вас тоже имеется, то он в свою очередь поразил меня легкомыслием и очень односторонним изложением соображений, по которым Штюрмер находил весьма желательным производить выборы как можно скорее и во всяком случае не далее того срока, который предопределен законом, т.-е. летом 1917 года. По первому вопросу мне было довольно нетрудно добиться согласия государя относительно неисполнения его резолюции, а по отношению ко второму вопросу, несмотря на то, что я излагал его весьма подробно и всесторонне, я не встретил сочувствия у государя, и мне показалось, что как будто бы государем вопрос был уже предрешен. Зная, что вопрос не находится на обсуждении совета министров, — потому что для меня было это неожиданностью,—я хотел спасти положение и не хотел, чтобы государь подтвердил свою резолюцию; мне удалось испросить высочайшее соизволение не считать этот вопрос окончательно решенным, а приступить к обсуждению его, в связи с мнениями известных деятелей, как правительственной службы, так и общественной, и внести мои соображения в совет министров.

Председатель. — Почему вы изволили в своем показании, в связи с вашим отношением к выборам, выразиться, что «думали с отвращением о том, что принуждены будете принять в заведывание дело, обычно грязное, соединенное с подкупами и другими нечистоплотными приемами»?

Хвостов. — Я думаю, это понятно, так как выборы не только у нас, но и за границей без этих приемов не обойдешься. Мне было, например, известно, что в прошлые выборы эти приемы употреблялись. За границей употребляются, быть может, худшие приемы. Но принимать участие в этих приемах едва ли желательно. Я даже не знал, кого мне взять помощником. Чуя, что, может быть, меня не минет беда, я говорил с моим помощником, товарищем министра Бальцем, он даже подпрыгнул от ужаса, что ему придется принять в этом участие. Когда я говорил со Штюрмером, то Штюрмер сказал: «Если вас это так озабочивает, так вам противно, я возьму это на себя». Тут моя совесть мне воспретила, и я подумал: может быть, я могу как-нибудь устроить лучше, чем устроит Штюрмер.

Председатель. — Но почему вы считали неизбежным следовать образцу худших стран Западной Европы? В Германии ряд последних выборов был без подкупов. Этим и объясняется победа соц.-дем.

Хвостов. — Вы более осведомлены, чем я, впрочем, я не стремился к господству социал-демократов и теперь не особенно этим утешаюсь.

Председатель. — Вы не беседовали с бывшим государем о том, нельзя ли эти выборы произвести без всяких давлений?

Хвостов. — Я не имел случая беседовать, потому что этот вопрос не был решен. Если бы он был решен, может быть и был бы случай беседовать, но государь согласился не считать этот вопрос решенным и, быть может, вопрос этот был бы решен в смысле продления полномочий нынешнего состава.

Председатель. — При назначении министром внутренних дел Хвостова спрашивали у вас отзыв?

Хвостов. — Да, но мои заключения были совершенно противоположны. Я отнесся к этому отрицательно. Когда Горемыкин вернулся с всеподданнейшего доклада и сказал, что государем намечен на пост министра внутренних дел А. Н. Хвостов, он сообщил мне, что сослался государю на то, что хорошо было бы в виду моего родства и ближайшего с А. Н. Хвостовым знакомства спросить меня об этом. Таким образом, Горемыкин меня предупредил, чтобы я подготовился, что могу быть вызван. Действительно, кажется, на другой день я был вызван скороходом Александровского дворца, который по телефону сказал, что его величество просит меня прибыть, во внедокладный день, в Царское Село и что самое удобное мне выезжать с таким-то поездом, так как государь примет меня в таком-то часу. Я немедленно отправился в Царское. Государь меня принял и сказал: «Вам говорил что-нибудь И. Л. Горемыкин о моем предположении назначить А. Н. Хвостова министром внутренних дел? Я хотел бы знать ваше мнение об этом». Я высказал свое совершенно отрицательное мнение. Сказал, что это человек безусловно несведущий в этом деле, человек и по характеру совершенно неподходящий, что никакой пользы я от этого не ожидаю, а в иных отношениях ожидаю даже вред. Что человек это весьма неглупый, но не умеющий критиковать свои собственные побуждения и мысли, а такого человека я не считаю достаточно разумным, чтобы занять столь важный пост. Потом говорил, что человек этот не чужд интриг и что я полагаю, что он не ограничится этим, столь для него желательным возвышением, а по всей вероятности будет стремиться к дальнейшему возвышению, будет стремиться стать председателем совета министров и, во всяком случае, вся служебная деятельность его на посту министра будет посвящена не делу, а чуждым делу соображениям. Государь очень благодарил меня за откровенные мнения. При чем, я просил государя помнить, что я нахожусь с А. Н. Хвостовым в родстве, и если будет ему известно от государя такое мнение, то едва ли ему будет приятно.

Председатель. — Знаете ли вы Комиссарова?

Хвостов. — Я знал, как и Курлова, по той репутации, которая шла, а когда я сделался министром внутренних дел, то до меня дошли сведения,—я не помню, была ли это жалоба или газетная статья, — что он совершенно неистовствует в Ростове на Дону, где он был градоначальником, пьет без просыпа, производит самые циничные действия, совершенно нагло развратничает. Я признал, что такого человека немыслимо держать на том посту, который он занимал. Но я привык не доверять словам, их не проверив. Я просил Степанова указать на кого-нибудь из жандармских генералов, которому можно было бы довериться; он назвал генерала Петрова или Попова, которого я и командировал туда, чтобы он произвел негласное дознание и сообщил бы, верно это или нет. Генерал Попов представил письменный доклад, в котором не только подтвердил, но представил такую иллюстрацию, что я ни на минуту не усомнился, взял этот доклад, доложил государю, и Комиссаров был немедленно уволен без прошения.

Председатель. — Вам впоследствии не встретилось какое-нибудь обстоятельство, которое бы заставило вас изменить эту точку зрения?

Хвостов. — Нет, до меня дошли сведения, что у Комиссарова нет никаких денег, что ему нечем жить — он все пропил. Потом мне говорили, что этот человек опасный в смысле знания скандальных тайн, близких ко двору, и т. д., что нельзя ли что-нибудь сделать в виду его несчастного положения, в смысле материальном, и чтобы он не был опасным человеком для разоблачения неприятных подробностей, которого я совсем не желал и считал долгом по возможности избегать. Повидавшись предварительно с Комиссаровым, который принес покаяние и говорил, что он погибнет, я испросил ему высочайшим докладом пенсию, кажется, в 3.000 руб. из сумм департамента полиции, и, кажется, потом он меня упросил еще, чтобы я испросил разрешения считать его уволенным, согласно его прошению.

Председатель. — Так что вы руководились в этом отношении побочными соображениями, а не тем, что вы ошиблись относительно его личности?

Хвостов. — Я не мог этим руководиться, потому что, придя ко мне гоголем, он просил потом прощения и признал сам, что, будь на моем месте, себя бы прогнал.

Председатель. — Что вам известно о перлюстрации частной переписки?

Хвостов. — Мне известно, что такая лавочка тайного советника Мардариева существовала в Петрограде. Раньше, еще будучи правителем канцелярии министра, я знал, что этим занимается тайный советник Фомин. Но я не обратил внимания на это дело, потому что меня поразила совершенно глупая постановка дела. Каждый день или каждое утро я получал пакет от Марда-

риева с 5-ю перлюстрированными письмами, не имевшими никакого государственного значения. На меня это производило впечатление чего-то подлого, что мне было совестно читать. Но в интересах охранения спокойствия государства я там ничего не получал, разве иногда получал интересные сведения, касавшиеся какого-нибудь злоупотребления — жалобы на губернатора и т. д., но таких сведений было очень мало. В числе перлюстрированных писем я нашел и свои письма. Когда я был министром юстиции, я узнал, что это стоит довольно много денег, и нашел, что это слишком большая роскошь иметь г. Мардариева, чтобы перлюстрировать письма министра юстиции или других сановников. Я несколько раз говорил товарищу министра, заведующему полицией, что перед началом будущего года необходимо войти в обсуждение этого вопроса и что мне хочется этого Мардариева упразднить. Но приступить к этому вопросу я не успел.

Председатель. — Как вы относились к денежным тратам и ассигновкам на эту часть?

Хвостов. — Ассигновка была по смете департамента полиции на содержание этого Мардариева. Очень было трудно заняться этим делом, так как у меня было много более важных с государственной точки зрения вопросов.

Председатель. — Я позволил себе задать этот вопрос потому, что вы, кажется, исхлопатывали ассигновку на Мардариева?

Хвостов. — Есть письмо за моей подписью? Я этого не помню.

Председатель. — Да, есть.

Хвостов. — Очень трудно было брать на себя ряд вопросов, не познакомившись с делом. Нужно было подробно изучить дело и войти со всеподданнейшим докладом. По более острому делу каждый министр, прежде чем пойти, должен был окопаться. Сам я Мардариева уничтожить не мог. Я должен был войти с всеподданнейшим докладом и, если бы я вошел со всеподданнейшим докладом, я бы мог похоронить дело.

Председатель. — 107.000 рублей — это была стоимость перлюстрации ежегодно. На известные его императорскому величеству управления вы предлагали департаменту общих дел отпустить под расписку тайного советника Мардариева 13.000 рублей.

Хвостов. — Значит, тайный советник Мардариев кушал из этих 107.000 рублей? Когда это было?

Председатель. — 17 сентября 1916 года. Так что к вам, изо-дня в день, на квартиру приносили от Мардариева несколько писем?

Хвостов. — Мой служебный кабинет и квартира—то же самое. Всегда вся почта, которая непосредственно отправлялась к министру внутренних дел, направляясь на квартиру, при чем секретные пакеты вскрывались самим министром, в числе этих пакетов был и пакет Мардариева.

Председатель. — Что же вы делали с этими письмами? Ведь они были в двух экземплярах?

Хвостов. — В двух — потому, что бывший министр внутренних дел Штюрмер непременно просил меня вторые экземпляры препровождать ему. Я запечатывал их в пакет и отправлял Штюрмеру, а другой экземпляр или уничтожал, или передавал директору канцелярии Писаренкову, который спрашивал, что с ними делать, и я говорил: «уничтожьте».

Председатель. — Вы не делали никаких распоряжений в связи с этими письмами?

Хвостов. — Нет. Может быть, одно только и было. Мне помнится, что это было о каких-то не особенно красивых поступках симбирского губернатора. Это письмо я мог передать в департамент общих дел для сведения.

Председатель. — Вы не знаете, ваши экземпляры передавались в департамент полиции?

Хвостов. — Этого я не думаю. Я был уверен, что они не передавались.

Председатель. — Скажите, когда в первый раз пришел к вам Мардариев, был некоторый, так сказать, ритуал в представлении его министру внутренних дел?

Хвостов. — Как представлялся он, я не помню. Я только помню, что он некоторое время ко мне не являлся, тогда я его вытребовал и спросил его, почему он не появляется. Оказывается, он продолжал носить письма к Штюрмеру. Желая познакомиться с этим делом и желая знать, какая тут важная надобность иметь эту перлюстрацию, я напомнил ему, что со дня состоявшегося указа он должен был меня считать министром внутренних дел и мне приносить все то, что он представлял прежнему министру. На это он сказал, что он не получал указаний от его высокопревосходительства Штюрмера. Я ему говорю: «Вам и не нужно указаний, а вам нужен только указ».

Председатель. — Каким образом, относясь отрицательно к перлюстрации, вы все-таки сделали некоторый выговор чиновнику за то, что он слишком поздно к вам явился?

Хвостов. — За то, что он представлял Штюрмеру, а не мне Я думал — не хочет ли Штюрмер совсем от этого меня избавить; я бы, конечно, был ему благодарен, если бы был вправе от этого избавиться.

Председатель. — Мардариев не предъявлял указа о перлюстрации, не оставлял вам копии или подлинника?

Хвостов. — Нет, я больше его не видел.

Председатель. — Посмотрите, пожалуйста, эти два документа (показывает). Как вы представляли себе законность укоренившегося порядка?

Хвостов. — Я слишком был ошеломлен моим назначением, чтобы думать об этом. Я думал, что это как-нибудь пройдет. Я не ожидал, что мое пребывание будет (слава богу) так кратковременно.

Председатель. — Ваши товарищи знали о перлюстрации? Пользовались ею?

Хвостов. — Я думаю, что нет. Я не слыхал, чтобы они получали. Некоторые вещи рассылались по департаментам самим Мардариевым, потому что я вспоминаю, что там, где был вопрос о каком-нибудь преступном деянии, там иногда на некоторых перлюстрациях было написано: «Копия препровождена в департамент полиции».

Председатель. — Так что для вас было совершенно ясно, что перлюстрация никакого государственного значения не имела?

Хвостов. — Никакого. Я выражал полное мое негодование и поражался, что производится такая глупая вещь.

Председатель. — Вам не приходилось говорить со Штюрмером и Протопоповым и выяснять их точку зрения на перлюстрацию?

Хвостов. — Со Штюрмером не надо было говорить, потому что раз он этим интересовался, то, значит, он придавал этому важное значение, а с Протопоповым не стоило об этом говорить. Я нашел некоторые перлюстрованные письма моего брата — сенатора Алексея Алексеевича Хвостова, где он писал о Штюрмере своему зятю Волжину. Я это передал моему брату.

Председатель. — А в ваш единственный доклад, как министра внутренних дел, вы не привозили бывшему царю перлюстрированные письма?

Хвостов. — Нет. Я бы мог, конечно, привезти, чтобы посмешить государя.

Председатель. — Какое было отношение к перлюстрации товарища министра, заведывавшего департаментом полиции?

Хвостов. — Никакого. Они получали. Но я не знаю, где им было отведено помещение.



СОДЕРЖАНИЕ.

ВОСПОМИНАНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.

Малаховский, Вл. — Из истории Красной Гвардии. Красногвардейцы Выборгского района. 1917. (Очерк с приложением документов и иллюстраций.) Предисловие и редакция Ц. С. Зеликсон-Бобровской. („Ленинградский Истпарт".) Стр. 63. Ц. 50 к.

Материалы для истории антиеврейских погромов в России. — Т. II. Восьмидесятые годы. (15 апреля 1881 г. — 29 февраля 1882 г.) Под ред. и со вступит. статьей Г. Я. Красного-Адмони. Стр. XXXII, 542, V. Ц. 3 р. 50 к.

Молок, А. И. — Парижская Коммуна и крестьянство. Проблема смычки города и деревни в революцию 1871 года. Стр. 80. Ц. 30 к.

Молок, А. И. — Парижская Коммуна 1871 года в документах и материалах (хрестоматия). С приложением карт и факсимиле документов. Стр. 581. Ц. 1 р. 50 к.

Николай II и великие князья. — (Родственные письма к последнему царю.) Предисловие В. И. Невского. Редакция и вступительная статья В. П. Семенникова. Стр. 154. Ц. 1 р.

О Ленине. — Сборник воспоминаний. I. Под редакцией Л. Б. Каменева. [Институт Ленина при ЦК РКП (б).] Стр. 159. Ц. 60 к.

Падение царского режима. — Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства (в 1917 г.). Редакция П. Е. Щеголева.

Том I.—Допросы А. Н. Хвостова, Климовича, Протопопова, Хабалова, Васильева, Штюрмера, Бурцева, Кафафова, Наумова, Андроникова. Стр. XXX, 432. Ц. 2 р. 75 к.

Том II. — Допросы А. Д. Протопопова, кн. М. М. Андроникова, А. Т. Васильева, И. Ф. Манасевича-Мануйлова, А. А. Макарова, К. Д. Беляева, кн. Н. Д. Голицына, Н. А. Добровольского, И. Г. Щегловитова. Стр. VI, 439. Ц. 2 р. 75 к.

Том III.—Допросы и показания: А. В. Герасимова, А. И. Спиридовича, В. Н. Воейкова, Н. А. Маклакова, М. С. Комиссарова, П. Г. Курлова, М. И. Трусевича, А. А. Вырубовой, С. П. Белецкого, И. Л. Горемыкина, О. А. Лохтиной, С. Е. Виссарионова, Н. С. Чхеидзе. Стр. IV, 508. Ц. 3 р.

Том IV. — Записки А. Д. Протопопова и С. П. Белецкого. Стр. 536. Ц. 3 р.

Новорусский, М. В. — Записки шлиссельбуржца 1887—1905. С портретами и рисунками. Стр. 245. Ц. 60 к.

Первая русская революция в Петербурге. 1905 г. Сборник II. По фабрикам и заводам. Под редакцией Ц. Зеликсон-Бобровской. („Ленинградский Истпарт".) Стр. 147. Ц. 60 к.

Переписка Николая и Александры Романовых. — 1914—1915 гг. Том III. С предисловием М. Н. Покровского. Стр. XXXIV, 524. Ц. 5 р.

Петров, Е. — Социальная революция и международная политика в переписке Маркса и Энгельса. Исторические очерки. Стр. 122. Ц. 60 к.

Поливанов, П. С. — Алексеевский равелин. Биографический очерк И. И. Майкова. Редакция текста, примечания и послесловие П. Е. Щеголева. („Библиотека мемуаров".) Стр. 208. Ц. 1 р. 50 к.

Попов, Александр. — Из истории забастовочного движения в России накануне империалистической войны. Бакинская забастовка 1914 г. („Ленинградский Истпарт".) Стр. 152. Ц. 80 к.

Прибылев, А. В. — В динамитной мастерской и Карийская политическая тюрьма. Из воспоминаний народовольца. Стр. 79. Ц. 60 к.

Прибылева-Корба, А. П., и В. Н. Фигнер. — А. Д. Михайлов. („Историко-революционная социалистическая библиотека".) Стр. 230. Ц. 1 р. 80 к.

Революционное юношество. Сборник I. Из истории революционного движения учащихся средне-учебных заведений Петербурга. 1905—1917 гг. („Ленинградский Истпарт".) Стр. 227. Ц. 1 р. 25 к.

Революция 1848 г. во Франции. (Донесения Я. Толстого.) Под редакцией и с предисловием Г. Зайделя и С. Красного. (Центрархив.) Стр. 184. Ц. 1 р. 70 к.

Робеспьер, Шарлотта. — Воспоминания. Перевод с французского Е. Л. Овсянниковой. С предисловием и примечаниями А. А. Ольшевского. Стр. 62. Ц. 55 к.

Розин-Азис, Фр. — Страница из истории крестьянства. Историко-экономическое исследование аграрных отношений в Прибалтике. Вступительная статья П. Стучки. Перевод, примечания и предисловие к русскому изданию А. Я. Клявс-Клявина. Стр. 233. Ц. 1 р.

Русско-японская война. Из дневников А. Н. Куропаткина и Н. П. Линевича. С предисловием М. Н. Покровского. (Центрархив.) Стр. VII, 189. Ц. 1 р. 80 к.

Сверчков, Д. — На заре революции. Изд. четвертое, иллюстрированное. Стр. 336. Ц. 2 р.

Сталин, И. — На путях к Октябрю. Статьи и речи. Март—Октябрь 1917. Изд. 2-е. Стр. XLV+220. Ц. 90 к.

1905 год в Петербурге. — Вып. I. Социал-демократические листовки. Собрали С. Н. Валк, Ф. Г. Матасова, К. К. Соколова и В. Н. Федорова. Вступительная статья К. Шелавина. („Ленинградский Истпарт".) Стр. 444. Ц. 2 р.

Уорд Джон. — Союзная интервенция в Сибири. 1918—1919. Записки начальника английского экспедиционного отряда. С предисловием И. Майского. Стр. 172. Ц. 1 р. 20 к.

Царская Россия в мировой войне. Том I. С предисловием М. Н. Покровского. (Центрархив.) Стр. XXIV, 304. Ц. 3 р. 20 к.

Цыперович, Г. — За полярным кругом. Десять лет ссылки в Колымске. Изд. 2-е. Стр. 242. Ц. 1 р. 50 к.

Шелгунов, Н. В. — Воспоминания. Ред., вступ. статья и прим. А. Шилова. („Библиотека мемуаров".) Стр. 317. Ц. 1 р.

Шилов, А. А. — Девятое Января. Книга для чтения. Предисловие В. И. Невского. Стр. 238. Ц. 1 р.

3 p.
p



